# БАБЕЛЬ

# ИСААК БАБЕЛЬ

Сочинения
в двух томах


Сочиняю
не страницами,
а одно слово
к другому

# ИСААК БАБЕЛЬ

## СОЧИНЕНИЯ
## ТОМ ВТОРОЙ

Конармия

Рассказы 1925—1938 гг.

Пьесы

Воспоминания, портреты

Статьи и выступления

Киносценарии



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1992

ББК 84Р7
Б12

Составление и подготовка текста

*А. Н. Пирожковой*

Комментарии

*С. Н. Поварцова*

Художник

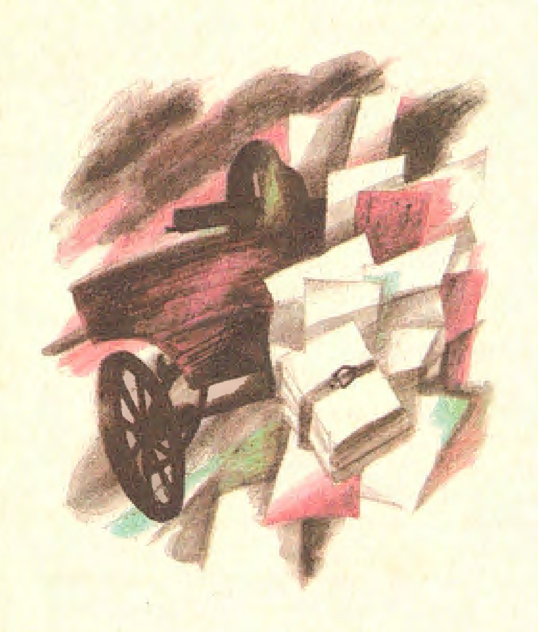
*В. А. Векслер*

Б $\frac{4702010206-459}{028(01)-92}$ без объявл.



ISBN 5-280-02453-8 [Т. 2]
ISBN 5-280-02452-8

# КОНАРМИЯ



## ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЗБРУЧ

Начдив шесть донес о том, что Новоград-Волынск взят сегодня на рассвете. Штаб выступил из Крапивно, и наш обоз шумливым арьергардом растянулся по шоссе, идущему от Бреста до Варшавы и построенному на мужичьих костях Николаем Первым.

Поля пурпурного мака цветут вокруг нас, полуденный ветер играет в желтеющей ржи, девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего монастыря. Тихая Волынь изгибается, Волынь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ, она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими руками путается в зарослях хмеля. Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова, нежный свет загорается в ущельях туч, штандарты заката веют над нашими головами. Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу. Почерневший Збруч шумит и закручивает пенистые узлы своих порогов. Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд. Величавая луна лежит на волнах. Лошади по спину уходят в воду, звучные потоки сочатся между сотнями лошадиных ног. Кто-то тонет и звонко порочит богородицу. Река усеяна черными квадратами телег, она полна гула, свиста и песен, гремящих поверх лунных змей и сияющих ям.

Поздней ночью приезжаем мы в Новоград. Я нахожу беременную женщину на отведенной мне квартире и двух рыжих евреев с тонкими шеями; третий спит, укрывшись с головой и приткнувшись к стене. Я нахожу развороченные шкафы в отведенной мне комнате, обрывки женских шуб на полу, человеческий кал и черепки сокровенной посуды, употребляющейся у евреев раз в году — на пасху.

— Уберите,— говорю я женщине.— Как вы грязно живете, хозяева...

Два еврея снимаются с места. Они прыгают на войлочных подошвах и убирают обломки с полу, они прыгают в безмолвии, по-обезьяньи, как японцы в цирке, их шеи пухнут и вертятся. Они кладут на пол распоротую перину, и я ложусь к стенке, рядом с третьим, заснувшим евреем. Пугливая нищета смыкается над моим ложем.

Все убито тишиной, и только луна, обхватив синими руками свою круглую, блещущую, беспечную голову, бродяжит под окном.

Я разминаю затекшие ноги, я лежу на распоротой перине и засыпаю. Начдив шесть снится мне. Он гонится на тяжелом жеребце за комбригом и всаживает ему две пули в глаза. Пули пробивают голову комбрига, и оба глаза его падают наземь. «Зачем ты поворотил бригаду?» — кричит раненому Савицкий, начдив шесть,— и тут я просыпаюсь, потому что беременная женщина шарит пальцами по моему лицу.

— Пане,— говорит она мне,— вы кричите со сна и вы бросаетесь. Я постелю вам в другом углу, потому что вы толкаете моего папашу...

Она поднимает с полу худые свои ноги и круглый живот и снимает одеяло с заснувшего человека. Мертвый старик лежит там; закинувшись навзничь. Глотка его вырвана, лицо разрублено пополам, синяя кровь лежит в его бороде, как кусок свинца.

— Пане,— говорит еврейка и встряхивает перину,— поляки резали его, и он молился им: убейте меня на черном дворе, чтобы моя дочь не видела, как я умру. Но они сделали так, как им было нужно,— он кончался в этой комнате и думал обо мне... И теперь я хочу знать,— сказала вдруг женщина с ужасной силой,— я хочу знать, где еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой отец...

## КОСТЕЛ В НОВОГРАДЕ

Я отправился вчера с докладом к военкому, остановившемуся в доме бежавшего ксендза. На кухне встретила меня пани Элиза, экономка иезуита. Она дала мне янтарного чаю с бисквитами. Бисквиты ее пахли, как распятие. Лукавый сок был заключен в них и благовонная ярость Ватикана.

Рядом с домом в костеле ревели колокола, заведенные обезумевшим звонарем. Был вечер, полный июльских звезд. Пани Элиза, тряся внимательными сединами, подсыпала мне печенья, я насладился пищей иезуитов.

Старая полька называла меня «паном», у порога стояли навытяжку серые старики с окостеневшими ушами, и где-то в змеином сумраке извивалась сутана монаха. Патер бежал, но он оставил помощника — пана Ромуальда.

Гнусавый скопец с телом исполина, Ромуальд величал нас «товарищами». Желтым пальцем водил он по карте, указывая круги польского разгрома. Охваченный хриплым восторгом, пересчитывал он раны своей родины. Пусть кроткое забвение поглотит память о Ромуальде, предавшем нас без сожаления и расстрелянном мимоходом. Но в тот вечер его узкая сутана шевелилась у всех портьер, яростно мела все дороги и усмехалась всем, кто хотел пить водку. В тот вечер тень монаха кралась за мной неотступно. Он стал бы епископом — пан Ромуальд, если бы он не был шпионом.

Я пил с ним ром, дыхание невиданного уклада мерцало под развалинами дома ксендза, и вкрадчивые его соблазны обессилили меня. О, распятия, крохотные, как талисманы куртизанки, пергамент папских булл и атлас женских писем, истлевших в синем шелку жилетов!..



Я вижу тебя отсюда, неверный монах в лиловой рясе, припухлость твоих рук, твою душу, нежную и безжалостную, как душа кошки, я вижу раны твоего бога, сочащиеся семенем, благоуханным ядом, опьяняющим девственниц.

Мы пили ром, дожидаясь военкома, но он все не возвращался из штаба. Ромуальд упал в углу и заснул. Он спит и трепещет, а за окном в саду под черной страстью неба переливается аллея. Жаждущие розы колышутся во тьме. Зеленые молнии пылают в куполах. Раздетый труп валяется под откосом. И лунный блеск струится по мертвым ногам, торчащим врозь.

Вот Польша, вот надменная скорбь Речи Посполитой! Насильственный пришелец, я раскидываю вшивый тюфяк в храме, оставленном священнослужителем, подкладываю под голову фолианты, в которых напечатана осанна ясновельможному и пресветлому Начальнику Панства, Иозефу Пилсудскому.

Нищие орды катятся на твои древние города, о Польша, песнь об единении всех холопов гремит над ними, и горе тебе, Речь Посполитая, горе тебе, князь Радзивилл, и тебе, князь Сапега, вставшие на час!..

Все нет моего военкома. Я ищу его в штабе, в саду, в костеле. Ворота костела раскрыты, я вхожу, мне навстречу два серебряных черепа разгораются на крышке сломанного

гроба. В испуге я бросаюсь вниз, в подземелье. Дубовая лестница ведет оттуда к алтарю. И я вижу множество огней, бегущих в высоте, у самого купола. Я вижу военкома, начальника особого отдела и казаков со свечами в руках. Они отзываются на слабый мой крик и выводят меня из подвала.

Черепа, оказавшиеся резьбой церковного катафалка, не пугают меня больше, и все вместе мы продолжаем обыск, потому что это был обыск, начатый после того, как в квартире ксендза нашли груды военного обмундирования.

Сверкая расшитыми конскими мордами наших обшлагов, перешептываясь и гремя шпорами, мы кружимся по гулкому зданию с оплывающим воском в руках. Богоматери, унизанные драгоценными камнями, следят наш путь розовыми, как у мышей, зрачками, пламя бьется в наших пальцах, и квадратные тени корчатся на статуях святого Петра, святого Франциска, святого Винцента, на их румяных щечках и курчавых бородах, раскрашенных кармином.

Мы кружимся и ищем. Под нашими пальцами прыгают костяные кнопки, раздвигаются разрезанные пополам иконы, открывая подземелья в зацветающие плесенью пещеры. Храм этот древен и полон тайн. Он скрывает в своих глянцевитых стенах потайные ходы, ниши и створки, распахивающиеся бесшумно.

О глупый ксендз, развесивший на гвоздях спасителя лифчики своих прихожанок. За царскими вратами мы нашли чемодан с золотыми монетами, сафьяновый мешок с кредитками и футляры парижских ювелиров с изумрудными перстнями.

А потом мы считали деньги в комнате военкома. Столбы золота, ковры из денег, порывистый ветер, дующий на пламя свечей, воронье безумье в глазах пани Элизы, громовый хохот Ромуальда и нескончаемый рев колоколов, заведенных паном Робацким, обезумевшим звонарем.

— Прочь,— сказал я себе,— прочь от этих подмигивающих мадонн, обманутых солдатами...

## ПИСЬМО

Вот письмо на родину, продиктованное мне мальчиком нашей экспедиции Курдюковым. Оно не заслуживает забвения. Я переписал его, не приукрашивая, и передаю дословно, в согласии с истиной.

*«Любезная мама Евдокия Федоровна. В первых строках сего письма спешу вас уведомить, что, благодаря господа, я есть жив и здоров, чего желаю от вас слыхать то же самое. А также нижающе вам кланяюсь, от бела лица до сырой земли...»* (Следует перечисление родственников, крестных, кумовьев. Опустим это. Перейдем ко второму абзацу.)

*«Любезная мама Евдокия Федоровна Курдюкова. Спешу вам написать, что я нахожусь в красной Конной армии товарища Буденного, а также тут находится ваш кум Никон Васильич, который есть в настоящее время красный герой. Они взяли меня к себе, в экспедицию Политотдела, где мы развозим на позиции литературу и газеты — Московские Известия ЦИК, Московская Правда и родную беспощадную газету Красный кавалерист, которую всякий боец на передовой позиции желает прочитать, и опосля этого он с геройским духом рубает подлую шляхту, и я живу при Никон Васильиче очень великолепно.*

*Любезная мама Евдокия Федоровна. Пришлите чего можете от вашей силы-возможности. Просю вас заколоть рябого кабанчика и сделать мне посылку в Политотдел товарища Буденного, получить Василию Курдюкову. Каждые сутки я ложусь отдыхать не евши и безо всякой одежды, так что дюже холодно. Напишите мне письмо за моего Степу, живой он или нет, просю вас, досматривайте до него и напишите мне за него — засекается он еще или перестал, а*

*также насчет чесотки в передних ногах, подковали его или нет? Просю вас, любезная мама Евдокия Федоровна, обмывайте ему беспременно передние ноги с мылом, которое я оставил за образами, а если папаша мыло истребили, так купите в Краснодаре, и бог вас не оставит. Могу вам описать также, что здеся страна совсем бедная, мужики со своими конями хоронятся от наших красных орлов по лесам, пшеницы, видать, мало и она ужасно мелкая, мы с нее смеемся. Хозяева сеют рожь и то же самое овес. На палках здесь растет хмель, так что выходит очень аккуратно; из него гонют самогон.*

*Во вторых строках сего письма спешу вам описать за папашу, что они порубали брата Федора Тимофеича Курдюкова тому назад с год времени. Наша красная бригада товарища Павличенки наступала на город Ростов, когда в наших рядах произошла измена. А папаша были в тое время у Деникина за командира роты. Которые люди их видали — то говорили, что они носили на себе медали, как при старом режиме. И по случаю той измены, всех нас побрали в плен и брат Федор Тимофеич попались папаше на глаза. И папаша начали Федю резать, говоря — шкура, красная собака, сукин сын и разно, и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеич не кончился. Я написал тогда до вас письмо, как ваш Федя лежит без креста. Но папаша пымали меня с письмом и говорили: вы — материны дети, вы — ейный корень, потаскухин, я вашу матку брюхатил и буду брюхатить, моя жизнь погибшая, изведу я за правду свое семя, и еще разно. Я принимал от них страдания, как спаситель Иисус Христос. Только вскорости я от папаши убег и прибился до своей части товарища Павличенки. И наша бригада получила приказание идти в город Воронеж пополняться, и мы получили там пополнение, а также коней, сумки, наганы и все, что до нас принадлежало. За Воронеж могу вам описать, любезная мама Евдокия Федоровна, что это городок очень великолепный, будет поболе Краснодара, люди в ем очень красивые, речка способная до купанья. Давали нам хлеб по два фунта в день, мяса полфунта и сахару подходяще, так что, вставши, пили сладкий чай, то же самое вечеряли и про голод забыли, а в обед я ходил к брату Семен Тимофеичу за блинами или гусятиной и опосля этого лягал отдыхать. В тое время Семен Тимофеича за его отчаянность весь полк желал иметь за командира и от товарища Буденного вышло такое приказание, и он получил двух коней, справную одежу, телегу для барахла отдельно и орден Красного Знамени, а я при ем считался братом.*

*Таперича какой сосед вас начнет забижать — то Семен Тимофеич может его вполне зарезать. Потом мы начали гнать генерала Деникина, порезали их тыщи и загнали в Черное море, но только папаши нигде не было видать, и Семен Тимофеич их разыскивали по всех позициях, потому что они очень скучали за братом Федей. Но только, любезная мама, как вы знаете за папашу и за его упорный характер, так он что сделал — нахально покрасил себе бороду с рыжей на вороную и находился в городе Майкопе, в вольной одеже, так что никто из жителей не знали, что он есть самый что ни на есть стражник при старом режиме. Но только правда — она себе окажет, кум ваш Никон Васильич случаем увидал его в хате у жителя и написал до Семен Тимофеича письмо. Мы посидали на коней и пробегли двести верст — я, брат Сенька и желающие ребята из станицы.*

*И что же мы увидали в городе Майкопе? Мы увидали, что тыл никак не сочувствует фронту и в ем повсюду измена и полно жидов, как при старом режиме. И Семен Тимофеич в городе Майкопе с жидами здорово спорился, которые не выпущали от себя папашу и засадили его в тюрьму под замок, говоря — пришел приказ не рубать пленных, мы сами его будем судить, не серчайте, он свое получит. Но только Семен Тимофеич свое взял и доказал, что он есть командир полка и имеет от товарища Буденного все ордена Красного Знамени, и грозился всех порубать, которые спорятся за папашину личность и не выдают ее, а также грозились ребята со станицы. Но только Семен Тимофеич папашу получили, и они стали папашу плетить и выстроили во дворе всех бойцов, как принадлежит к военному порядку. И тогда Сенька плеснул папаше Тимофей Родионычу воды на бороду, и с бороды потекла краска. И Сенька спросил Тимофей Родионыча:*

*— Хорошо вам, папаша, в моих руках?*

*— Нет,— сказал папаша,— худо мне.*

*Тогда Сенька спросил:*

*— А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?*

*— Нет,— сказал папаша,— худо было Феде.*

*Тогда Сенька спросил:*

*— А думали вы, папаша, что и вам худо будет?*

*— Нет,— сказал папаша,— не думал я, что мне худо будет.*

*Тогда Сенька поворотился к народу и сказал:*

*— А я так думаю, что если попадусь я к вашим, то*

*не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать...*

*И Тимофей Родионыч зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в богородицу и бить Сеньку по морде, и Семен Тимофеич услали меня со двора, так что я не могу, любезная мама Евдокия Федоровна, описать вам за то, как кончали папашу, потому я был усланный со двора.*

*Опосля этого мы получили стоянку в городе в Новороссийском. За этот город можно рассказать, что за ним никакой суши больше нет, а одна вода, Черное море, и мы там оставались до самого мая, когда выступили на польский фронт и треплем шляхту почем зря...*

*Остаюсь ваш любезный сын Василий Тимофеич Курдюков. Мамка, доглядайте до Степки, и бог вас не оставит».*

Вот письмо Курдюкова, ни в одном слове не измененное. Когда я кончил, он взял исписанный листок и спрятал его за пазуху, на голое тело.

— Курдюков,— спросил я мальчика,— злой у тебя был отец?

— Отец у меня был кобель,— ответил он угрюмо.

— А мать лучше?

— Мать подходящая. Если желаешь — вот наша фамилия...

Он протянул мне сломанную фотографию. На ней был изображен Тимофей Курдюков, плечистый стражник в форменном картузе и с расчесанной бородой, недвижный, скуластый, со сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз. Рядом с ним, в бамбуковом креслице, сидела крохотная крестьянка в выпущенной кофте, с чахлыми светлыми и застенчивыми чертами лица. А у стены, у этого жалкого провинциального фотографического фона, с цветами и голубями, высились два парня — чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученье, два брата Курдюковых — Федор и Семен.

## НАЧАЛЬНИК КОНЗАПАСА

На деревне стон стоит. Конница травит хлеб и меняет лошадей. Взамен приставших кляч кавалеристы забирают рабочую скотину. Бранить тут некого. Без лошади нет армии.

Но крестьянам не легче от этого сознания. Крестьяне неотступно толпятся у здания штаба.

Они тащат на веревках упирающихся, скользящих от слабости одров. Лишенные кормильцев, мужики, чувствуя в себе прилив горькой храбрости и зная, что храбрости ненадолго хватит, спешат безо всякой надежды надерзить начальству, богу и своей жалкой доле.

Начальник штаба Ж. в полной форме стоит на крыльце. Прикрыв воспаленные веки, он с видимым вниманием слушает мужичьи жалобы. Но внимание его не более как прием. Как всякий вышколенный и переутомившийся работник, он умеет в пустые минуты существования полностью прекратить мозговую работу. В эти немногие минуты блаженного бессмыслия начальник нашего штаба встряхивает изношенную машину.

Так и на этот раз с мужиками.

Под успокоительный аккомпанемент их бессвязного и отчаянного гула Ж. следит со стороны за той мягкой толкотней в мозгу, которая предвещает чистоту и энергию мысли. Дождавшись нужного перебоя, он ухватывает последнюю мужичью слезу, начальственно огрызается и уходит к себе в штаб работать.

На этот раз и огрызнуться не пришлось. На огненном англо-арабе подскакал к крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса — краснорожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар.

— Честным стервам игуменье благословенье! — прокричал он, осаживая коня на карьере, и в то же мгновенье к нему под стремя подвалилась облезлая лошаденка, одна из обмененных казаками.

— Вон, товарищ начальник,— завопил мужик, хлопая себя по штанам,— вон чего ваш брат дает нашему брату... Видал, чего дают? Хозяйствуй на ей...

— А за этого коня,— раздельно и веско начал тогда Дьяков,— за этого коня, почтенный друг, ты в полном своем праве получить в конском запасе пятнадцать тысяч рублей, а ежели этот конь был бы повеселее, то в ефтим случае ты получил бы, желанный друг, в конском запасе двадцать тысяч рублей. Но, однако, что конь упал,— это не хвакт. Ежели конь упал и подымается, то это — конь; ежели он, обратно сказать, не подымается, тогда это не конь. Но, между прочим, эта справная кобылка у меня подымется...

— О господи, мамуня же ты моя всемилостивая! — взмахнул руками мужик.— Где ей, сироте, подняться... Она, сирота, подохнет...

— Обижаешь коня, кум,— с глубоким убеждением ответил Дьяков,— прямо-таки богохульствуешь, кум,— и он ловко снял с седла свое статное тело атлета. Расправляя прекрасные ноги, схваченные в коленях ремешком, пышный и ловкий, как на сцене, он двинулся к издыхающему животному. Оно уныло уставилось на Дьякова своим крутым глубоким глазом, слизнуло с его малиновой ладони невидимое какое-то повеление, и тотчас же обессиленная лошадь почувствовала умелую силу, истекавшую от этого седого, цветущего и молодцеватого Ромео. Поводя мордой и скользя подламывающимися ногами, ощущая нетерпеливое и властное щекотание хлыста под брюхом, кляча медленно, внимательно становилась на ноги. И вот все мы увидели, как тонкая кисть в развевающемся рукаве потрепала грязную гриву и хлыст со стоном прильнул к кровоточащим бокам. Дрожа всем телом, кляча стояла на своих на четырех и не сводила с Дьякова собачьих, боязливых, влюбляющихся глаз.

— Значит, что конь,— сказал Дьяков мужику и добавил мягко: — А ты жалился, желанный друг...

Бросив ординарцу поводья, начальник конзапаса взял с маху четыре ступеньки и, взметнув оперным плащом, исчез в здании штаба.


что конь
упал — это
не хвакт

## ПАН АПОЛЕК

Прелестная и мудрая жизнь пана Аполека ударила мне в голову, как старое вино. В Новоград-Волынске, в наспех смятом городе, среди скрюченных развалин, судьба бросила мне под ноги укрытое от мира Евангелие. Окруженный простодушным сиянием нимбов, я дал тогда обет следовать примеру пана Аполека. И сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения — я принес их в жертву новому обету.

В квартире бежавшего новоградского ксендза висела высоко на стене икона. На ней была надпись: «Смерть Крестителя». Не колеблясь, признал я в Иоанне изображение человека, мною виденного когда-то.

Я помню: между прямых и светлых стен стояла паутинная тишина летнего утра. У подножия картины был положен солнцем прямой луч. В нем роилась блещущая пыль. Прямо на меня из синей глубины ниши спускалась длинная фигура Иоанна. Черный плащ торжественно висел на этом неумолимом теле, отвратительно худом. Капли крови блистали в круглых застежках плаща. Голова Иоанна была косо срезана с ободранной шеи. Она лежала на глиняном блюде, крепко взятом большими желтыми пальцами воина. Лицо мертвеца показалось мне знакомым. Предвестие тайны коснулось меня. На глиняном блюде лежала мертвая голова, списанная с пана Ромуальда, помощника бежавшего ксендза. Из оскаленного рта его, цветисто сияя чешуей, свисало крохотное туловище змеи. Ее головка, нежно-розовая, полная оживления, могущественно оттеняла глубокий фон плаща.

Я подивился искусству живописца, мрачной его выдумке. Тем удивительнее показалась мне на следующий день краснощекая богоматерь, висевшая над супружеской кроватью пани Элизы, экономки старого ксендза. На обоих полотнах лежала печать одной кисти. Мясистое лицо богоматери — это был портрет пани Элизы. И тут я приблизился к разгадке новоградских икон. Разгадка вела на кухню к пани Элизе, где душистыми вечерами собирались тени старой холопской Польши, с юродивым художником во главе. Но был ли юродивым пан Аполек, населивший ангелами пригородные села и произведший в святые хромого выкреста Янека?

Он пришел сюда со слепым Готфридом тридцать лет тому назад в невидный летний день. Приятели — Аполек и Готфрид — подошли к корчме Шмереля, что стоит на Ровненском шоссе, в двух верстах от городской черты. В правой руке у Аполека был ящик с красками, левой он вел слепого гармониста. Певучий шаг их немецких башмаков, окованных гвоздями, звучал спокойствием и надеждой. С тонкой шеи Аполека свисал канареечный шарф, три шоколадных перышка покачивались на тирольской шляпе слепого.

В кормче на подоконнике пришельцы разложили краски и гармонику. Художник размотал свой шарф, нескончаемый, как лента ярмарочного фокусника. Потом он вышел во двор, разделся донага и облил студеною водой свое розовое, узкое, хилое тело. Жена Шмереля принесла гостям изюмной водки и миску зразы. Насытившись, Готфрид положил гармонию на острые свои колени. Он вздохнул, откинул голову и пошевелил худыми пальцами. Звуки гейдельбергских песен огласили стены еврейского шинка. Аполек подпевал слепцу дребезжащим голосом. Все это выглядело так, как будто из костела святой Индегильды принесли к Шмерелю орган и на органе рядышком уселись музы в пестрых ватных шарфах и подкованных немецких башмаках.

Гости пели до заката, потом они уложили в холщовые мешки гармонику и краски, и пан Аполек с низким поклоном передал Брайне, жене корчмаря, лист бумаги.

— Милостивая пани Брайна,— сказал он,— примите от бродячего художника, крещенного христианским именем Аполлинария, этот ваш портрет — как знак холопской нашей признательности, как свидетельство роскошного вашего гостеприимства. Если бог Иисус продлит мои дни и укрепит мое искусство, я вернусь, чтобы переписать краска-

ми этот портрет. К волосам вашим подойдут жемчуга, а на груди мы припишем изумрудное ожерелье...

На небольшом листе бумаги красным карандашом, карандашом красным и мягким, как глина, было изображено смеющееся лицо пани Брайны, обведенное медными кудрями.

— Мои деньги! — вскричал Шмерель, увидев портрет жены. Он схватил палку и пустился за постояльцами в погоню. Но по дороге Шмерель вспомнил розовое тело Аполека, залитое водой, и солнце на своем дворике, и тихий звон гармоники. Корчмарь смутился духом и, отложив палку, вернулся домой.

На следующее утро Аполек представил новоградскому ксендзу диплом об окончании мюнхенской академии и разложил перед ним двенадцать картин на темы Священного писания. Картины эти были написаны маслом на тонких пластинках кипарисового дерева. Патер увидал на своем столе горящий пурпур мантий, блеск смарагдовых полей и цветистые покрывала, накинутые на равнины Палестины.

Святые пана Аполека, весь этот набор ликующих и простоватых старцев, седобородых, краснолицых, был втиснут в потоки шелка и могучих вечеров.

В тот же день пан Аполек получил заказ на роспись нового костела. И за бенедиктином патер сказал художнику.

— Санта Мария,— сказал он,— желанный пан Аполлинарий, из каких чудесных областей снизошла к нам ваша столь радостная благодать?..

Аполек работал с усердием, и уже через месяц новый храм был полон блеяния стад, пыльного золота закатов и палевых коровьих сосцов. Буйволы с истертой кожей влеклись в упряжке, собаки с розовыми мордами бежали впереди отары, и в колыбелях, подвешенных к прямым стволам пальм, качались тучные младенцы. Коричневые рубища францисканцев окружали колыбель. Толпа волхвов была изрезана сверкающими лысинами и морщинами, кровавыми, как раны. В толпе волхвов мерцало лисьей усмешкой старушечье личико Льва XIII, и сам новоградский ксендз, перебирая одной рукой китайские резные четки, благословлял другой, свободной, новорожденного Иисуса.

Пять месяцев ползал Аполек, заключенный в свое деревянное сиденье, вдоль стен, вдоль купола и на хорах.

— У вас пристрастие к знакомым лицам, желанный пан Аполек,— сказал однажды ксендз, узнав себя в одном из волхвов и пана Ромуальда — в отрубленной голове Иоанна.


Пятьдесят
злотых
за тайную
вечерю

Он улыбнулся, старый патер, и послал бокал коньяку художнику, работавшему под куполом.

Потом Аполек закончил тайную вечерю и побиение камнями Марии из Магдалы. В одно из воскресений он открыл расписанные стены. Именитые граждане, приглашенные ксендзом, узнали в апостоле Павле Янека, хромого выкреста, и в Марии Магдалине — еврейскую девушку Эльку, дочь неведомых родителей и мать многих подзаборных детей. Именитые граждане приказали закрыть кощунственные изображения. Ксендз обрушил угрозы на богохульника. Но Аполек не закрыл расписанных стен.

Так началась неслыханная война между могущественным телом католической церкви, с одной стороны, и беспечным богомазом — с другой. Она длилась три десятилетия. Случай едва не возвел кроткого гуляку в основатели новой ереси. И тогда это был бы самый замысловатый и смехотворный боец из всех, каких знала уклончивая и мятежная история римской церкви, боец, в блаженном хмелю обходивший землю с двумя белыми мышами за пазухой и с набором тончайших кисточек в кармане.

— Пятнадцать злотых за богоматерь, двадцать пять злотых за святое семейство и пятьдесят злотых за тайную вечерю с изображением всех родственников заказчика. Враг заказчика может быть изображен в образе Иуды Искариота, и за это добавляется лишних десять злотых,— так объявил Аполек окрестным крестьянам, после того как его выгнали из строившегося храма.

В заказах он не знал недостатка. И когда через год, вызванная исступленными посланиями новоградского ксендза, прибыла комиссия от епископа в Житомире, она нашла в самых захудалых и зловонных хатах эти чудовищные семейные портреты, святотатственные, наивные и живописные. Иосифы с расчесанной надвое сивой головой, напомаженные Иисусы, многорожавшие деревенские Марии с поставленными врозь коленями — эти иконы висели в красных углах, окруженные венцами из бумажных цветов.

— Он произвел вас при жизни в святые! — воскликнул викарий дубенский и новоконстантиновский, отвечая толпе, защищавшей Аполека.— Он окружил вас неизреченными принадлежностями святыни, вас, трижды впадавших в грех ослушания, тайных винокуров, безжалостных заимодавцев, делателей фальшивых весов и продавцов невинности собственных дочерей!

— Ваше священство,— сказал тогда викарию колченогий Витольд, скупщик краденого и кладбищенский сторож,— в чем видит правду всемилостивейший пан бог, кто скажет об этом темному народу? И не больше ли истины в картинах пана Аполека, угодившего нашей гордости, чем в ваших словах, полных хулы и барского гнева?

Возгласы толпы обратили викария в бегство. Состояние умов в пригородах угрожало безопасности служителей церкви. Художник, приглашенный на место Аполека, не решался замазать Эльку и хромого Янека. Их можно видеть и сейчас в боковом приделе новоградского костела: Янека — апостола Павла, боязливого хромца с черной клочковатой бородой, деревенского отщепенца, и ее, блудницу из Магдалы, хилую и безумную, с танцующим телом и впалыми щеками.

Борьба с ксендзом длилась три десятилетия. Потом казацкий разлив изгнал старого монаха из его каменного и пахучего гнезда, и Аполек — о, превратности судьбы! — водворился в кухне пани Элизы. И вот я, мгновенный гость, пью по вечерам вино его беседы.

Беседы — о чем? О романтических временах шляхетства, о ярости бабьего фанатизма, о художнике Луке дель Раббио и о семье плотника из Вифлеема.

— Имею сказать пану писарю...— таинственно сообщает мне Аполек перед ужином.

— Да,— отвечаю я,— да, Аполек, я слушаю вас...

Но костельный служка, пан Робацкий, суровый и серый, костлявый и ушастый, сидит слишком близко от нас. Он развешивает перед нами поблекшие полотна молчания и неприязни.

— Имею сказать пану,— шепчет Аполек и уводит меня в сторону,— что Иисус, сын Марии, был женат на Деборе, иерусалимской девице незнатного рода...

— О, тен чло́век! — кричит в отчаянии пан Робацкий.— Тен чло́век не умрет на своей постели... Тего чловека забиют людове...

— После ужина,— упавшим голосом шелестит Аполек,— после ужина, если пану писарю будет угодно...

Мне угодно. Зажженный началом Аполековой истории, я расхаживаю по кухне и жду заветного часа. А за окном стоит ночь, как черная колонна. За окном окоченел живой и темный сад. Млечным и блещущим потоком льется под луной дорога к костелу. Земля выложена сумрачным сиянием, ожерелья светящихся плодов повисли на кустах. Запах лилий чист и крепок, как спирт. Этот свежий яд впи-

вается в жирное бурливое дыхание плиты и мертвит смолистую духоту ели, разбросанной по кухне.

Аполек в розовом банте и истертых розовых штанах копошится в своем углу, как доброе и грациозное животное. Стол его измазан клеем и красками. Старик работает мелкими и частыми движениями, тишайшая мелодическая дробь доносится из его угла. Старый Готфрид выбивает ее своими трепещущими пальцами. Слепец сидит недвижимо в желтом и масляном блеске лампы. Склонив лысый лоб, он слушает нескончаемую музыку своей слепоты и бормотание Аполека, вечного друга.

— ...И то, что говорят пану попы и евангелист Марк и евангелист Матфей,— то не есть правда... Но правду можно открыть пану писарю, которому за пятьдесят марок я готов сделать портрет под видом блаженного Франциска на фоне зелени и неба. То был совсем простой святой, пан Франциск. И если у пана писаря есть в России невеста... Женщины любят блаженного Франциска, хотя не все женщины, пан...

Так началась в углу, пахнувшем елью, история о браке Иисуса и Деборы. Эта девушка имела жениха, по словам Аполека. Ее жених был молодой израильтянин, торговавший слоновыми бивнями. Но брачная ночь Деборы кончилась недоумением и слезами. Женщиной овладел страх, когда она увидела мужа, приблизившегося к ее ложу. Икота раздула ее глотку. Она изрыгнула все съеденное ею за свадебной трапезой. Позор пал на Дебору, на отца ее, на мать и на весь род ее. Жених оставил ее, глумясь, и созвал всех гостей. Тогда Иисус, видя томление женщины, жаждавшей мужа и боявшейся его, возложил на себя одежду новобрачного и, полный сострадания, соединился с Деборой, лежавшей в блевотине. Потом она вышла к гостям, шумно торжествуя, как женщина, которая гордится своим падением. И только Иисус стоял в стороне. Смертельная испарина выступила на его теле, пчела скорби укусила его в сердце. Никем не замеченный, он вышел из пиршественного зала и удалился в пустынную страну, на восток от Иудеи, где ждал его Иоанн. И родился у Деборы первенец...

— Где же он? — вскричал я.

— Его скрыли попы,— произнес Аполек с важностью и приблизил легкий и зябкий палец к своему носу пьяницы.

— Пан художник,— вскричал вдруг Робацкий, поднимаясь из тьмы, и серые уши его задвигались,— цо вы мувите? То же есть немыслимо...

— Так, так,— съежился Аполек и схватил Готфрида,— так, так, пане...

Он потащил слепца к выходу, но на пороге помедлил и поманил меня пальцем.

— Блаженный Франциск,— прошептал он, мигая глазами,— с птицей на рукаве, с голубем или щеглом, как пану писарю будет угодно...

И он исчез со слепым и вечным своим другом.

— О, дурацтво! — произнес тогда Робацкий, костельный служка.— Тен чло́век не умрет на своей постели...

Пан Робацкий широко раскрыл рот и зевнул, как кошка. Я распрощался и ушел ночевать к себе домой, к моим обворованным евреям.

По городу слонялась бездомная луна. И я шел с ней вместе, отогревая в себе неисполнимые мечты и нестройные песни.

## СОЛНЦЕ ИТАЛИИ

Я снова сидел вчера в людской у пани Элизы под нагретым венцом из зеленых ветвей ели. Я сидел у теплой, живой, ворчливой печи и потом возвращался к себе глубокой ночью. Внизу, у обрыва, бесшумный Збруч катил стеклянную темную волну.

Обгорелый город — переломленные колонны и врытые в землю крючки злых старушечьих мизинцев — казался мне поднятым на воздух, удобным и небывалым, как сновиденье. Голый блеск луны лился на него с неиссякаемой силой. Сырая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи. И я ждал потревоженной душой выхода Ромео из-за туч, атласного Ромео, поющего о любви, в то время как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключателе луны.

Голубые дороги текли мимо меня, как струи молока, брызнувшие из многих грудей. Возвращаясь домой, я страшился встречи с Сидоровым, моим соседом, опускавшим на меня по ночам волосатую лапу своей тоски. По счастью, в эту ночь, растерзанную молоком луны, Сидоров не проронил ни слова. Обложившись книгами, он писал. На столе дымилась горбатая свеча — зловещий костер мечтателей. Я сидел в стороне, дремал, сны прыгали вокруг меня, как котята. И только поздней ночью меня разбудил ординарец, вызвавший Сидорова в штаб. Они ушли вместе. Я подбежал тогда к столу, на котором писал Сидоров, и перелистал книги. Это был самоучитель итальянского языка, изображение римского форума и план города Рима. План был весь размечен крестами и точками. Я наклонился над исписанным листом и с замирающим сердцем, ломая пальцы, прочитал чужое письмо. Сидоров, тоскующий убийца, изорвал в клочья розовую вату моего воображения и потащил меня

в коридоры здравомыслящего своего безумия. Письмо начиналось со второй страницы, я не осмелился искать начала:

*«...пробито легкое и маленько рехнулся или, как говорит Сергей, с ума слетел. Не сходить же с него, в самом деле, с дурака этого, с ума. Впрочем, хвост набок и шутки в сторону... Обратимся к повестке дня, друг мой Виктория...*

*Я проделал трехмесячный махновский поход — утомительное жульничество, и ничего более... И только Волин все еще там. Волин рядится в апостольские ризы и карабкается в Ленины от анархизма. Ужасно. А батько слушает его, поглаживает пыльную проволоку своих кудрей и пропускает сквозь гнилые зубы мужицкую свою усмешку. И я теперь не знаю, есть ли во всем этом не сорное зерно анархии и утрем ли мы вам ваши благополучные носы, самодельные цекисты из самодельного цеха, made in Харьков, в самодельной столице. Ваши рубахи-парни не любят теперь вспоминать грехи анархической их юности и смеются над ними с высоты государственной мудрости — черт с ними...*

*А потом я попал в Москву. Как попал я в Москву? Ребята кого-то обижали в смысле реквизиционном и ином. Я, слюнтяй, вступился. Меня расчесали — и за дело. Рана была пустяковая, но в Москве, ах, Виктория, в Москве я онемел от несчастий. Каждый день госпитальные сиделки приносили мне крупицу каши. Взнузданные благоговением, они тащили ее на большом подносе, и я возненавидел эту ударную кашу, внеплановое снабжение и плановую Москву. В Совете встретился потом с горсточкой анархистов. Они пижоны или полупомешанные старички. Сунулся в Кремль с планом настоящей работы. Меня погладили по головке и обещали сделать замом, если исправлюсь. Я не исправился. Что было дальше? Дальше был фронт, Конармия и солдатня, пахнущая сырой кровью и человеческим прахом.*

*Спасите меня, Виктория. Государственная мудрость сводит меня с ума, скука пьянит. Вы не поможете — и я издохну безо всякого плана. Кто же захочет, чтобы работник подох столь неорганизованно, не вы ведь, Виктория, невеста, которая никогда не будет женой. Вот и сентиментальность, ну ее к распроэтакой матери...*

*Теперь будем говорить дело. В армии мне скучно. Ездить верхом из-за раны я не могу,— значит, не могу и драться. Употребите ваше влияние, Виктория,— пусть отправят меня в Италию. Язык я изучаю и через два месяца буду на нем говорить. В Италии земля тлеет. Многое там готово. Недостает пары выстрелов. Один из них я произведу. Там*

*нужно отправить короля к праотцам. Это очень важно. Король у них славный дядя, он играет в популярность и снимается с ручными социалистами для воспроизведения в журналах семейного чтения.*

*В Цека, в Наркоминделе вы не говорите о выстреле, о королях. Вас погладят по головке и промямлят: «Романтик». Скажите просто,— он болен, зол, пьян от тоски, он хочет солнца Италии и бананов. Заслужил ведь или, может, не заслужил? Лечиться — и баста. А если нет — пусть отправят в одесское Чека... Оно очень толковое и...*

*Как глупо, как незаслуженно и глупо пишу я, друг мой Виктория...*

*Италия вошла в сердце как наваждение. Мысль об этой стране, никогда не виданной, сладка мне, как имя женщины, как ваше имя, Виктория...»*

Я прочитал письмо и стал укладываться на моем продавленном нечистом ложе, но сон не шел. За стеной искренне плакала беременная еврейка, ей отвечало стонущее бормотание долговязого мужа. Они вспоминали об ограбленных вещах и злобствовали друг на друга за незадачливость. Потом, перед рассветом, вернулся Сидоров. На столе задыхалась догоревшая свеча. Сидоров вынул из сапога другой огарок и с необыкновенной задумчивостью придавил им оплывший фитилек. Наша комната была темна, мрачна, все дышало в ней ночной сырой вонью, и только окно, заполненное лунным огнем, сияло, как избавление.

Он пришел и спрятал письмо, мой томительный сосед. Сутулясь, сел он за стол и раскрыл альбом города Рима. Пышная книга с золотым обрезом стояла перед его оливковым невыразительным лицом. Над круглой его спиной блестели зубчатые развалины Капитолия и арена цирка, освещенная закатом. Снимок королевской семьи был заложен тут же, между большими глянцевитыми листами. На клочке бумаги, вырванном из календаря, был изображен приветливый тщедушный король Виктор-Эммануил со своей черноволосой женой, с наследным принцем Умберто и целым выводком принцесс.

...И вот ночь, полная далеких и тягостных звонов, квадрат света в сырой тьме — и в нем мертвенное лицо Сидорова, безжизненная маска, нависшая над желтым пламенем свечи.

## ГЕДАЛИ

В субботние кануны меня томит густая печаль воспоминаний. Когда-то в эти вечера мой дед поглаживал желтой бородой томы Ибн-Эзра. Старуха в кружевной наколке ворожила узловатыми пальцами над субботней свечой и сладко рыдала. Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как кораблик на заколдованных волнах...

Я кружу по Житомиру и ищу робкой звезды. У древней синагоги, у ее желтых и равнодушных стен старые евреи продают мел, синьку, фитили,— евреи с бородами пророков, со страстными лохмотьями на впалой груди...

Вот предо мною базар и смерть базара. Убита жирная душа изобилия. Немые замки висят на лотках, и гранит мостовой чист, как лысина мертвеца. Она мигает и гаснет — робкая звезда...

Удача пришла ко мне позже, удача пришла перед самым заходом солнца. Лавка Гедали спряталась в наглухо закрытых торговых рядах. Диккенс, где была в тот вечер твоя тень? Ты увидел бы в этой лавке древностей золоченые туфли и корабельные канаты, старинный компас и чучело орла, охотничий винчестер с выгравированной датой «1810» и сломанную кастрюлю.

Старый Гедали расхаживает вокруг своих сокровищ в розовой пустоте вечера — маленький хозяин в дымчатых очках и в зеленом сюртуке до полу. Он потирает белые ручки, он щиплет сивую бороденку и, склонив голову, слушает невидимые голоса, слетевшиеся к нему.

Эта лавка — как коробочка любознательного и важного мальчика, из которого выйдет профессор ботаники. В этой лавке есть и пуговицы, и мертвая бабочка. Маленького хозяина ее зовут Гедали. Все ушли с базара, Гедали остался. Он вьется в лабиринте из глобусов, черепов и мертвых

цветов, помахивает пестрой метелкой из петушиных перьев и сдувает пыль с умерших цветов.

Мы сидим на бочонках из-под пива. Гедали свертывает и разматывает узкую бороду. Его цилиндр покачивается над нами, как черная башенка. Теплый воздух течет мимо нас. Небо меняет цвета. Нежная кровь льется из опрокинутой бутылки там, вверху, и меня обволакивает легкий запах тления.

— Революция — скажем ей «да», но разве субботе мы скажем «нет»? — так начинает Гедали и обвивает меня шелковыми ремнями своих дымчатых глаз.— «Да», кричу я революции, «да», кричу я ей, но она прячется от Гедали и высылает вперед только стрельбу...

— В закрывшиеся глаза не входит солнце,— отвечаю я старику,— но мы распорем закрывшиеся глаза...

— Поляк закрыл мне глаза,— шепчет старик чуть слышно.— Поляк — злая собака. Он берет еврея и вырывает ему бороду,— ах; пес! И вот его бьют, злую собаку. Это замечательно, это революция! И потом тот, который бил поляка, говорит мне: «Отдай на учет твой граммофон, Гедали...» — «Я люблю музыку, пани»,— отвечаю я революции. «Ты не знаешь, что ты любишь, Гедали, я стрелять в тебя буду, тогда ты это узнаешь, и я не могу не стрелять, потому что я — революция...»

— Она не может не стрелять, Гедали,— говорю я старику,— потому что она — революция...

— Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому что он — контрреволюция. Вы стреляете потому, что вы — революция. А революция — это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек. Революция — это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди. Но поляки тоже злые люди. Кто же скажет Гедали, где революция и где контрреволюция? Я учил когда-то Талмуд, я люблю комментарии Раше и книги Маймонида. И еще другие понимающие люди есть в Житомире. И вот мы все, ученые люди, мы падаем на лицо и кричим на голос: горе нам, где сладкая революция?..

Старик умолк. И мы увидели первую звезду, пробивавшуюся вдоль Млечного Пути.

— Заходит суббота,— с важностью произнес Гедали,— евреям надо в синагогу... Пане товарищ,— сказал он, вставая, и цилиндр, как черная башенка, закачался на его голове,— привезите в Житомир немножко хороших людей. Ай, в нашем городе недостача, ай, недостача! Привезите добрых

людей, и мы отдадим им все граммофоны. Мы не невежды. Интернационал... мы знаем, что такое Интернационал. И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот, душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни свое удовольствие. Интернационал, пане товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают...

— Его кушают с порохом,— ответил я старику,— и приправляют лучшей кровью...

И вот она взошла на свое кресло из синей тьмы, юная суббота.

— Гедали,— говорю я,— сегодня пятница, и уже настал вечер. Где можно достать еврейский коржик, еврейский стакан чаю и немножко этого отставного бога в стакане чаю?..

— Нету,— отвечает мне Гедали, навешивая замок на свою коробочку,— нету. Есть рядом харчевня, и хорошие люди торговали в ней, но там уже не кушают, там плачут...

Он застегнул свой зеленый сюртук на три костяные пуговицы. Он обмахал себя петушиными перьями, поплескал водицы на мягкие ладони и удалился — крохотный, одинокий, мечтательный, в черном цилиндре и с большим молитвенником под мышкой.

Наступает суббота. Гедали — основатель несбыточного Интернационала — ушел в синагогу молиться.

## МОЙ ПЕРВЫЙ ГУСЬ

Савицкий, начдив шесть, встал, завидев меня, и я удивился красоте гигантского его тела. Он встал и пурпуром своих рейтуз, малиновой шапочкой, сбитой набок, орденами, вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо. От него пахло духами и приторной прохладой мыла. Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты.

Он улыбнулся мне, ударил хлыстом по столу и потянул к себе приказ, только что отдиктованный начальником штаба. Это был приказ Ивану Чеснокову выступить с вверенным ему полком в направлении Чугунов — Добрыводка и, войдя в соприкосновение с неприятелем, такового уничтожить...

«...*Каковое уничтожение*,— стал писать начдив и измазал весь лист,— *возлагаю на ответственность того же Чеснокова вплоть до высшей меры, которого и шлепну на месте, в чем вы, товарищ Чесноков, работая со мною на фронте не первый месяц, не можете сомневаться...*»

Начдив шесть подписал приказ с завитушкой, бросил его ординарцам и повернул ко мне серые глаза, в которых танцевало веселье.

Я подал ему бумагу о прикомандировании меня к штабу дивизии.

— Провести приказом! — сказал начдив.— Провести приказом и зачислить на всякое удовольствие, кроме переднего. Ты грамотный?

— Грамотный,— ответил я, завидуя железу и цветам этой юности,— кандидат прав Петербургского университета...

— Ты из киндербальзамов,— закричал он, смеясь,— и очки на носу. Какой паршивенький!.. Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки. Поживешь с нами, што ль?

— Поживу,— ответил я и пошел с квартирьером на село искать ночлега.

Квартирьер нес на плечах мой сундучок, деревенская улица лежала перед нами, круглая и желтая, как тыква,

умирающее солнце испускало на небе свой розовый дух.

Мы подошли к хате с расписными венцами, квартирьер остановился и сказал вдруг с виноватой улыбкой:

— Канитель тут у нас с очками и унять нельзя. Человек высшего отличия — из него здесь душа вон. А испорть вы даму, самую чистенькую даму, тогда вам от бойцов ласка...

Он помялся с моим сундучком на плечах, подошел ко мне совсем близко, потом отскочил в отчаянии и побежал в первый двор. Казаки сидели там на сене и брили друг друга.

— Вот, бойцы,— сказал квартирьер и поставил на землю мой сундучок.— Согласно приказания товарища Савицкого, обязаны вы принять этого человека к себе в помещение и без глупостев, потому этот человек, пострадавший по ученой части...

Квартирьер побагровел и ушел, не оборачиваясь. Я приложил руку к козырьку и отдал честь казакам. Молодой парень с льняным висячим волосом и прекрасным рязанским лицом подошел к моему сундучку и выбросил его за ворота. Потом он повернулся ко мне задом и с особенной сноровкой стал издавать постыдные звуки.

— Орудия номер два нуля,— крикнул ему казак постарше и засмеялся,— крой беглым...

Парень истощил нехитрое свое умение и отошел. Тогда, ползая по земле, я стал собирать рукописи и дырявые мои обноски, вывалившиеся из сундучка. Я собрал их и отнес на другой конец двора. У хаты, на кирпичиках, стоял котел, в нем варилась свинина, она дымилась, как дымится издалека родной дом в деревне, и путала во мне голод с одиночеством без примера. Я покрыл сеном разбитый мой сундучок, сделал из него изголовье и лег на землю, чтобы прочесть в «Правде» речь Ленина на Втором конгрессе Коминтерна. Солнце падало на меня из-за зубчатых пригорков, казаки ходили по моим ногам, парень потешался надо мной без устали, излюбленные строчки шли ко мне тернистою дорогой и не могли дойти. Тогда я отложил газету и пошел к хозяйке, сучившей пряжу на крыльце.

— Хозяйка,— сказал я,— мне жрать надо...

Старуха подняла на меня разлившиеся белки полуослепших глаз и опустила их снова.

— Товарищ,— сказала она, помолчав,— от этих дел я желаю повеситься.

— Господа бога душу мать,— пробормотал я тогда с досадой и толкнул старуху кулаком в грудь,— толковать тут мне с вами...

И, отвернувшись, я увидел чужую саблю, валявшуюся

неподалеку. Строгий гусь шатался по двору и безмятежно чистил перья. Я догнал его и пригнул к земле, гусиная голова треснула под моим сапогом, треснула и потекла. Белая шея была разостлана в навозе, и крылья заходили над убитой птицей.

— Господа бога душу мать! — сказал я, копаясь в гусе саблей.— Изжарь мне его, хозяйка.

Старуха, блестя слепотой и очками, подняла птицу, завернула ее в передник и потащила к кухне.

— Товарищ,— сказала она, помолчав,— я желаю повеситься,— и закрыла за собой дверь.

А на дворе казаки сидели уже вокруг своего котелка. Они сидели недвижимо, прямые, как жрецы, и не смотрели на гуся.

— Парень нам подходящий,— сказал обо мне один из них, мигнул и зачерпнул ложкой щи.

Казаки стали ужинать со сдержанным изяществом мужиков, уважающих друг друга, а я вытер саблю песком, вышел за ворота и вернулся снова, томясь. Луна висела над двором, как дешевая серьга.

— Братишка,— сказал мне вдруг Суровков, старший из казаков,— садись с нами снедать, покеле твой гусь доспеет...

Он вынул из сапога запасную ложку и подал ее мне. Мы похлебали самодельных щей и съели свинину.

— В газете-то что пишут? — спросил парень с льняным волосом и опростал мне место.

— В газете Ленин пишет,— сказал я, вытаскивая «Правду»,— Ленин пишет, что во всем у нас недостача...

И громко, как торжествующий глухой, я прочитал казакам ленинскую речь.

Вечер завернул меня в живительную влагу сумеречных своих простынь, вечер приложил материнские ладони к пылающему моему лбу.

Я читал, и ликовал, и подстерегал, ликуя, таинственную кривую ленинской прямой.

— Правда всякую ноздрю щекочет,— сказал Суровков, когда я кончил,— да как ее из кучи вытащить, а он бьет сразу, как курица по зерну.

Это сказал о Ленине Суровков, взводный штабного эскадрона, и потом мы пошли спать на сеновал. Мы спали шестеро там, согреваясь друг от друга, с перепутанными ногами, под дырявой крышей, пропускавшей звезды.

Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло.

## РАББИ

— ...Все смертно. Вечная жизнь суждена только матери. И когда матери нет в живых, она оставляет по себе воспоминание, которое никто еще не решился осквернить. Память о матери питает в нас сострадание, как океан, безмерный океан питает реки, рассекающие вселенную...

Слова эти принадлежали Гедали. Он произнес их с важностью. Угасающий вечер окружал его розовым дымом своей печали. Старик сказал:

— В страстном здании хасидизма вышиблены окна и двери, но оно бессмертно, как душа матери... С вытекшими глазницами хасидизм все еще стоит на перекрестке ветров истории.

Так сказал Гедали, и, помолившись в синагоге, он повел меня к рабби Моталэ, к последнему рабби из Чернобыльской династии.

Мы поднялись с Гедали вверх по главной улице. Белые костелы блеснули вдали, как гречишные поля. Орудийное колесо простонало за углом. Две беременные хохлушки вышли из ворот, зазвенели монистами и сели на скамью. Робкая звезда зажглась в оранжевых боях заката, и покой, субботний покой, сел на кривые крыши житомирского гетто.

— Здесь,— прошептал Гедали и указал мне на длинный дом с разбитым фронтоном.

Мы вошли в комнату — каменную и пустую, как морг. Рабби Моталэ сидел у стола, окруженный бесноватыми и лжецами. На нем была соболья шапка и белый халат, стянутый веревкой. Рабби сидел с закрытыми глазами и рылся худыми пальцами в желтом пухе своей бороды.

— Откуда приехал еврей? — спросил он и приподнял веки.

— Из Одессы,— ответил я.

— Благочестивый город,— сказал рабби,— звезда нашего изгнания, невольный колодезь наших бедствий!.. Чем занимается еврей?

— Я перекладываю в стихи похождения Герша из Острополя.

— Великий труд,— прошептал рабби и сомкнул веки.— Шакал стонет, когда он голоден, у каждого глупца хватает глупости для уныния, и только мудрец раздирает смехом завесу бытия... Чему учился еврей?

— Библии.

— Чего ищет еврей?

— Веселья.

— Реб Мордхэ,— сказал цадик и затряс бородой,— пусть молодой человек займет место за столом, пусть он ест в этот субботний вечер вместе с остальными евреями, пусть он радуется тому, что он жив, а не мертв, пусть он хлопает в ладоши, когда его соседи танцуют, пусть он пьет вино, если ему дадут вина...

И ко мне подскочил реб Мордхэ, давнишний шут с вывороченными веками, горбатый старикашка, ростом не выше десятилетнего мальчика.

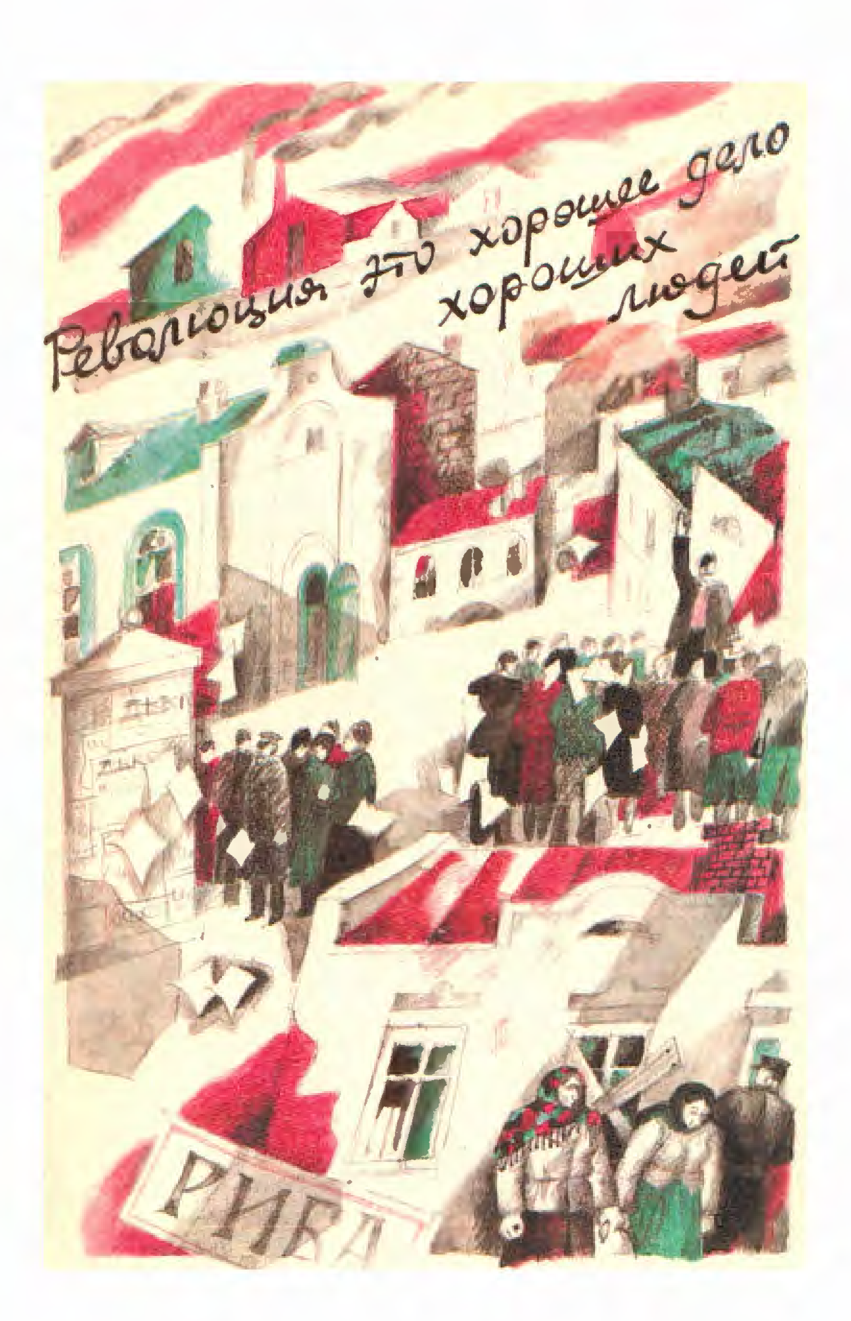
— Ах, мой дорогой и такой молодой человек! — сказал оборванный реб Мордхэ и подмигнул мне.— Ах, сколько богатых дураков знал я в Одессе, сколько нищих мудрецов знал я в Одессе! Садитесь же за стол, молодой человек, и пейте вино, которого вам не дадут...

Мы уселись все рядом — бесноватые, лжецы и ротозеи. В углу стонали над молитвенниками плечистые евреи, похожие на рыбаков и на апостолов. Гедали в зеленом сюртуке дремал у стены, как пестрая птичка. И вдруг я увидел юношу за спиной Гедали, юношу с лицом Спинозы, с могущественным лбом Спинозы, с чахлым лицом монахини. Он курил и вздрагивал, как беглец, приведенный в тюрьму после погони. Оборванный Мордхэ подкрался к нему сзади, вырвал папиросу изо рта и отбежал ко мне.

— Это — сын равви, Илья,— прохрипел Мордхэ и придвинул ко мне кровоточащее мясо развороченных век,— проклятый сын, последний сын, непокорный сын...

И Мордхэ погрозил юноше кулачком и плюнул ему в лицо.

— Благословен господь,— раздался тогда голос рабби Мотала Брацлавского, и он переломил хлеб своими монашескими пальцами,— благословен бог Израиля, избравший нас между всеми народами земли...


Революция это хорошее дело хороших людей

Рабби благословил пищу, и мы сели за трапезу. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном. Сын рабби курил одну папиросу за другой среди молчания и молитвы. Когда кончился ужин, я поднялся первый.

— Мой дорогой и такой молодой человек,— забормотал Мордхэ за моей спиной и дернул меня за пояс,— если бы на свете не было никого, кроме злых богачей и нищих бродяг, как жили бы тогда святые люди?

Я дал старику денег и вышел на улицу. Мы расстались с Гедали, я ушел к себе на вокзал. Там, на вокзале, в агитпоезде Первой Конной армии меня ждало сияние сотен огней, волшебный блеск радиостанции, упорный бег машин в типографии и недописанная статья в газету «Красный кавалерист».

## ПУТЬ В БРОДЫ

Я скорблю о пчелах. Они истерзаны враждующими армиями. На Волыни нет больше пчел.

Мы осквернили ульи. Мы морили их серой и взрывали порохом. Чадившее тряпье издавало зловонье в священных республиках пчел. Умирая, они летали медленно и жужжали чуть слышно. Лишенные хлеба, мы саблями добывали мед. На Волыни нет больше пчел.

Летопись будничных злодеяний теснит меня неутомимо, как порок сердца. Вчера был день первого побоища под Бродами. Заблудившись на голубой земле, мы не подозревали об этом — ни я, ни Афонька Бида, мой друг. Лошади получили с утра зерно. Рожь была высока, солнце было прекрасно, и душа, не заслужившая этих сияющих и улетающих небес, жаждала неторопливых болей.

— За пчелу и ее душевность рассказывают бабы по станицах,— начал взводный, мой друг,— рассказывают всяко. Обидели люди Христа или не было такой обиды,— об этом все прочие дознаются по происшествии времени. Но вот,— рассказывают бабы по станицах,— скучает Христос на кресте. И подлетает к Христу всякая мошка, чтобы его тиранить! И он глядит на нее глазами и падает духом. Но только неисчислимой мошке не видно евоных глаз. И то же самое летает вокруг Христа пчела. «Бей его,— кричит мошка пчеле,— бей его на наш ответ!..» — «Не умею,— говорит пчела, поднимая крылья над Христом,— не умею, он плотницкого классу...» Пчелу понимать надо,— заключает Афонька, мой взводный.— Нехай пчела перетерпит. И для нее небось ковыряемся...

И, махнув руками, Афонька затянул песню. Это была песня о соловом жеребчике. Восемь казаков — Афонькин взвод — стали ему подпевать.

— Соловый жеребчик, по имени Джигит, принадлежал подъесаулу, упившемуся водкой в день усекновения главы.— Так пел Афонька, вытягивая голос, как струну, и засыпая.— Джигит был верный конь, а подъесаул по праздникам не знал предела своим желаниям. Было пять штофов в день усекновения главы. После четвертого подъесаул сел на коня и стал править в небо. Подъем был долог, но Джигит был верный конь. Они приехали на небо, и подъесаул хватился пятого штофа. Но он был оставлен на земле — последний штоф. Тогда подъесаул заплакал о тщете своих усилий. Он плакал, и Джигит прядал ушами, глядя на хозяина...

Так пел Афонька, звеня и засыпая. Песня плыла, как дым. И мы двигались навстречу закату. Его кипящие реки стекали по расшитым полотенцам крестьянских полей. Тишина розовела. Земля лежала, как кошачья спина, поросшая мерцающим мехом хлебов. На пригорке сутулилась мазаная деревушка Клекотов. За перевалом нас ждало видение мертвенных и зубчатых Брод. Но у Клекотова нам в лицо звучно лопнул выстрел. Из-за хаты выглянули два польских солдата. Их кони были привязаны к столбам. На пригорок деловито въезжала легкая батарея неприятеля. Пули нитями протянулись по дороге.

— Ходу! — сказал Афонька.

И мы бежали.

О Броды! Мумии твоих раздавленных страстей дышали на меня непреоборимым ядом. Я ощущал уже смертельный холод глазниц, налитых стынувшей слезой. И вот — трясущийся галоп уносит меня от выщербленного камня твоих синагог...

## УЧЕНИЕ О ТАЧАНКЕ

Мне прислали из штаба кучера, или, как принято у нас говорить, повозочного. Фамилия его Грищук. Ему тридцать девять лет.

Пробыл он пять лет в германском плену, несколько месяцев тому назад бежал, прошел Литву, северо-запад России, достиг Волыни и в Белеве был пойман самой безмозглой в мире мобилизационной комиссией и водворен на военную службу. До Кременецкого уезда, откуда Грищук родом, ему осталось пятьдесят верст. В Кременецком уезде у него жена и дети. Он не был дома пять лет и два месяца. Мобилизационная комиссия сделала его моим повозочным, и я перестал быть парией среди казаков.

Я — обладатель тачанки и кучера в ней. Тачанка! Это слово сделалось основой треугольника, на котором зиждется наш обычай: рубить — тачанка — кровь...

Поповская, заседательская ординарнейшая бричка по капризу гражданской распри вошла в случа́й, сделалась грозным и подвижным боевым средством, создала новую стратегию и новую тактику, исказила привычное лицо войны, родила героев и гениев от тачанки. Таков Махно, сделавший тачанку осью своей таинственной и лукавой стратегии, упразднивший пехоту, артиллерию и даже конницу и взамен этих неуклюжих громад привинтивший к бричкам триста пулеметов. Таков Махно, многообразный, как природа. Возы с сеном, построившись в боевом порядке, овладевают городами. Свадебный кортеж, подъезжая к волостному исполкому, открывает сосредоточенный огонь, и чахлый попик, развеяв над собою черное знамя анархии, требует от властей выдачи буржуев, выдачи пролетариев, вина и музыки.

Армия из тачанок обладает неслыханной маневренной способностью.

Буденный показал это не хуже Махно. Рубить эту армию трудно, выловить — немыслимо. Пулемет, закопанный под скирдой, тачанка, отведенная в крестьянскую клуню,— они перестают быть боевыми единицами. Эти схоронившиеся точки, предполагаемые, но не ощутимые слагаемые, дают в сумме строение недавнего украинского села — свирепого, мятежного и корыстолюбивого. Такую армию, с растыканной по углам амуницией, Махно в один час приводит в боевое состояние; еще меньше времени требуется, чтобы демобилизовать ее.

У нас, в регулярной коннице Буденного, тачанка не властвует столь исключительно. Однако все наши пулеметные команды разъезжают только на бричках. Казачья выдумка различает два вида тачанок: колонистскую и заседательскую. Да это и не выдумка, а разделение, истинно существующее.

На заседательских бричках, на этих расхлябанных, без любви и изобретательности сделанных возках, тряслось по кубанским пшеничным степям убогое красноносое чиновничество, невыспавшаяся кучка людей, спешивших на вскрытия и на следствия, а колонистские тачанки пришли к нам из самарских и уральских приволжских урочищ, из тучных немецких колоний. На дубовых просторных спинках колонистской тачанки рассыпана домовитая живопись — пухлые гирлянды розовых немецких цветов. Крепкие днища окованы железом. Ход поставлен на незабываемые рессоры. Жар многих поколений чувствую я в этих рессорах, бьющихся теперь по развороченному волынскому шляху.

Я испытываю восторг первого обладания. Каждый день после обеда мы запрягаем. Грищук выводит из конюшни лошадей. Они поправляются день ото дня. Я нахожу уже с гордой радостью тусклый блеск на их начищенных боках. Мы растираем коням припухшие ноги, стрижем гривы, накидываем на спины казацкую упряжь — запутанную ссохшуюся сеть из тонких ремней — и выезжаем со двора рысью. Грищук боком сидит на козлах; мое сиденье устлано цветистым рядном и сеном, пахнущим духами и безмятежностью. Высокие колеса скрипят в зернистом белом песке. Квадраты цветущего мака раскрашивают землю, разрушенные костелы светятся на пригорках. Высоко над дорогой, в разбитой ядром нише стоит коричневая статуя святой Урсулы с обнаженными круглыми

руками. И узкие древние буквы вяжут неровную цепь на почерневшем золоте фронтона... «Во славу Иисуса и его божественной матери...»

Безжизненные еврейские местечки лепятся у подножия панских фольварков. На кирпичных заборах мерцает вещий павлин, бесстрастное видение в голубых просторах. Прикрытая раскидистыми хибарками, присела к нищей земле синагога, безглазая, щербатая, круглая, как хасидская шляпа. Узкоплечие евреи грустно торчат на перекрестках. И в памяти зажигается образ южных евреев, жовиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино. Несравнима с ними горькая надменность этих длинных и костлявых спин, этих желтых и трагических бород. В страстных чертах, вырезанных мучительно, нет жира и теплого биения крови. Движения галицийского и волынского еврея несдержанны, порывисты, оскорбительны для вкуса, но сила их скорби полна сумрачного величия, и тайное презрение к пану безгранично. Глядя на них, я понял жгучую историю этой окраины, повествование о талмудистах, державших на откупу кабаки, о раввинах, занимавшихся ростовщичеством, о девушках, которых насиловали польские жолнеры и из-за которых стрелялись польские магнаты.

## СМЕРТЬ ДОЛГУШОВА

Завесы боя продвигались к городу. В полдень пролетел мимо нас Корочаев в черной бурке — опальный начдив четыре, сражающийся в одиночку и ищущий смерти. Он крикнул мне на бегу:

— Коммуникации наши прорваны, Радзивиллов и Броды в огне!..

И ускакал — развевающийся, весь черный, с угольными зрачками.

На равнине, гладкой, как доска, перестраивались бригады. Солнце катилось в багровой пыли. Раненые закусывали в канавах. Сестры милосердия лежали на траве и вполголоса пели. Афонькины разведчики рыскали по полю, выискивая мертвецов и обмундирование. Афонька проехал в двух шагах от меня и сказал, не поворачивая головы:

— Набили нам ряшку. Дважды два. Есть думка за начдива, смещают. Сомневаются бойцы...

Поляки подошли к лесу, верстах в трех от нас, и поставили пулеметы где-то близко. Пули скулят и взвизгивают. Жалоба их нарастает невыносимо. Пули подстреливают землю и роются в ней, дрожа от нетерпения. Вытягайченко, командир полка, храпевший на солнцепеке, закричал во сне и проснулся. Он сел на коня и поехал к головному эскадрону. Лицо его было мятое, в красных полосах от неудобного сна, а карманы полны слив.

— Сукиного сына,— сказал он сердито и выплюнул изо рта косточку,— вот гадкая канитель. Тимошка, выкидай флаг!

— Пойдем, што ль? — спросил Тимошка, вынимая древко из стремян, и размотал знамя, на котором была нарисована звезда и написано про Третий Интернационал.

— Там видать будет,— сказал Вытягайченко и вдруг

закричал дико: — Девки, сидай на коников! Скликай людей, эскадронные!..

Трубачи проиграли тревогу. Эскадроны построились в колонну. Из канавы вылез раненый и, прикрываясь ладонью, сказал Вытягайченке:

— Тарас Григорьевич, я есть делегат. Видать, вроде того, что останемся мы...

— Отобьетесь...— пробормотал Вытягайченко и поднял коня на дыбы.

— Есть такая надея у нас, Тарас Григорьевич, что не отобьемся,— сказал раненый ему вслед.

— Не канючь,— обернулся Вытягайченко,— небось не оставлю,— и скомандовал повод.

И тотчас же зазвенел плачущий бабий голос Афоньки Биды, моего друга:

— Не переводи ты с места на рыся, Тарас Григорьевич, до его пять верст бежать. Как будешь рубать, когда у нас лошади заморенные... Хапать нечего — поспеешь к богородице груши околачивать...

— Шагом! — скомандовал Вытягайченко, не поднимая глаз.

Полк ушел.

— Если думка за начдива правильная,— прошептал Афонька, задерживаясь,— если смещают, тогда мыли холку и выбивай подпорки. Точка.

Слезы потекли у него из глаз. Я уставился на Афоньку в изумлении. Он закрутился волчком, схватился за шапку, захрипел, гикнул и умчался.

Грищук со своей глупой тачанкой да я — мы остались одни и до вечера мотались между огневых стен. Штаб дивизии исчез. Чужие части не принимали нас. Полки вошли в Броды и были выбиты контратакой. Мы подъехали к городскому кладбищу. Из-за могил выскочил польский разъезд и, вскинув винтовки, стал бить по нас. Грищук повернул. Тачанка его вопила всеми четырьмя своими колесами.

— Грищук! — крикнул я сквозь свист и ветер.

— Баловство,— ответил он печально.

— Пропадаем,— воскликнул я, охваченный гибельным восторгом,— пропадаем, отец!

— Зачем бабы трудаются? — ответил он еще печальнее.— Зачем сватання, венчання, зачем кумы на свадьбах гуляют...

В небе засиял розовый хвост и погас. Млечный Путь проступил между звездами.

— Смеха мне,— сказал Грищук горестно и показал кнутом на человека, сидевшего при дороге,— смеха мне, зачем бабы трудаются...

Человек, сидевший при дороге, был Долгушов, телефонист. Разбросав ноги, он смотрел на нас в упор.

— Я вот что,— сказал Долгушов, когда мы подъехали,— кончусь... Понятно?

— Понятно,— ответил Грищук, останавливая лошадей.

— Патрон на меня надо стратить,— сказал Долгушов.

Он сидел, прислонившись к дереву. Сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени и удары сердца были видны.

— Наскочит шляхта — насмешку сделает. Вот документ, матери отпишешь, как и что...

— Нет,— ответил я и дал коню шпоры.

Долгушов разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво...

— Бежишь? — пробормотал он, сползая.— Беги, гад...

Испарина ползла по моему телу. Пулеметы отстукивали все быстрее, с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката, к нам скакал Афонька Бида.

— По малости чешем,— закричал он весело.— Что у вас тут за ярмарка?

Я показал ему на Долгушова и отъехал.

Они говорили коротко,— я не слышал слов. Долгушов протянул взводному свою книжку. Афонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушову в рот.

— Афоня,— сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к казаку,— а я вот не смог.

— Уйди,— ответил он, бледнея,— убью! Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку...

И взвел курок.

Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной холод и смерть.

— Вона,— закричал сзади Грищук,— ан дури! — и схватил Афоньку за руку.

— Холуйская кровь! — крикнул Афонька.— Он от моей руки не уйдет...

Грищук нагнал меня у поворота. Афоньки не было. Он уехал в другую сторону.

— Вот видишь, Грищук,— сказал я,— сегодня я потерял Афоньку, первого моего друга...

Грищук вынул из сиденья сморщенное яблоко.

— Кушай,— сказал он мне,— кушай, пожалуйста...


Патрон
на меня надо
стратить

## КОМБРИГ ДВА

Буденный в красных штанах с серебряным лампасом стоял у дерева. Только что убили комбрига два. На его место командарм назначил Колесникова.

Час тому назад Колесников был командиром полка. Неделю тому назад Колесников был командиром эскадрона.

Нового бригадного вызвали к Буденному. Командарм ждал его, стоя у дерева. Колесников приехал с Алмазовым, своим комиссаром.

— Жмет нас гад,— сказал командарм с ослепительной своей усмешкой.— Победим или подохнем. Иначе — никак. Понял?

— Понял,— ответил Колесников, выпучив глаза.

— А побежишь — расстреляю,— сказал командарм, улыбнулся и отвел глаза в сторону начальника особого отдела.

— Слушаю,— сказал начальник особого отдела.

— Катись, Колесо! — бодро крикнул какой-то казак со стороны.

Буденный стремительно повернулся на каблуках и отдал честь новому комбригу. Тот растопырил у козырька пять красных юношеских пальцев, вспотел и ушел по распаханной меже. Лошади ждали его в ста саженях. Он шел, опустив голову, и с томительной медленностью перебирал кривыми, длинными ногами. Пылание заката разлилось над ним, малиновое и неправдоподобное, как надвигающаяся смерть.

И вдруг на распростершейся земле, на развороченной и желтой наготе полей мы увидали ее одну — узкую спину Колесникова с болтающимися руками и упавшей головой в сером картузе.

Ординарец подвел ему коня.

Он вскочил в седло и поскакал к своей бригаде, не оборачиваясь. Эскадроны ждали его у большой дороги, у Бродского шляха.

Стонущее «ура», разорванное ветром, доносилось до нас.

Наведя бинокль, я увидел комбрига, вертевшегося на лошади в столбах густой пыли.

— Колесников повел бригаду,— сказал наблюдатель, сидевший над нашими головами на дереве.

— Есть,— ответил Буденный, закурил папиросу и закрыл глаза.

«Ура» смолкло. Канонада задохлась. Ненужная шрапнель лопнула над лесом. И мы услышали великое безмолвие рубки.

— Душевный малый,— сказал командарм, вставая.— Ищет чести. Надо полагать — вытянет.

И, потребовав лошадей, Буденный уехал к месту боя. Штаб двинулся за ним.

Колесникова мне довелось увидеть в тот же вечер, через час после того, как поляки были уничтожены. Он ехал впереди своей бригады, один, на буланом жеребце, и дремал. Правая рука его висела на перевязи. В десяти шагах от него конный казак вез развернутое знамя. Головной эскадрон лениво запевал похабные куплеты. Бригада тянулась пыльная и бесконечная, как крестьянские возы на ярмарку. В хвосте пыхтели усталые оркестры.

В тот вечер в посадке Колесникова я увидел властительное равнодушие татарского хана и распознал выучку прославленного Книги, своевольного Павличенки, пленительного Савицкого.



## САШКА ХРИСТОС

Сашка — это было его имя, а Христом прозвали его за кротость. Он был общественный пастух в станице и не работал тяжелой работы с четырнадцати лет, с той поры, когда заболел дурной болезнью. Это все так было:

Тараканыч, Сашкин отчим, ушел на зиму в город Грозный и пристал там к артели. Артель сбилась успешная, из рязанских мужиков. Тараканыч делал для них плотницкую работу, и достатку у него прибывало. Он не управлялся с делами и выписал к себе мальчика подручным: зимой станица и без Сашки проживет. Сашка проработал при отчиме неделю. Потом настала суббота, они пошабашили и сели чай пить. На дворе стоял октябрь, но воздух был легкий. Они открыли окно и согрели второй самовар. Под окнами шлялась побирушка. Она стукнула в раму и сказала:

— Здравствуйте, иногородние крестьяне. Обратите внимание на мое положение.

— Какое там положение? — сказал Тараканыч.— Заходи, калечка.

Побирушка завозилась за стеной и потом вскочила в комнату. Она прошла к столу и поклонилась в пояс. Тараканыч схватил ее за косынку, кинул косынку долой и почесал в волосах. У побирушки волосы были серые, седые, в клочьях и в пыли.

— Фу ты, какой мужик занозистый и стройный,— сказала она,— чистый цирк с тобой... Пожалуйста, не побрезгуйте мной, старушкой,— прошептала она с поспешностью и вскарабкалась на лавку.

Тараканыч лег с ней. Побирушка закидывала голову набок и смеялась.

— Дождик на старуху,— смеялась она,— двести пудов с десятины дам...

И, сказавши это, она увидела Сашку, который пил чай у стола и не поднимал глаз на божий мир.

— Твой хлопец? — спросила она Тараканыча.

— Вроде моего,— ответил Тараканыч,— женин.

— Вот деточка, глазенапы выкатил,— сказала баба.— Ну, иди сюда.

Сашка подошел к ней — и захватил дурную болезнь. Но об дурной болезни в тот час никто не думал. Тараканыч дал побирушке костей с обеда и серебряный пятачок, очень блесткий.

— Начисть его, молитвенница, песком,— сказал Тараканыч,— он еще более вида получит. В темную ночь ссудишь его господу богу, пятачок заместо луны светить будет...

Калечка обвязалась косынкой, забрала кости и ушла. А через две недели все сделалось для мужиков явно. Они много страдали от дурной болезни, перемогались всю зиму и лечились травами. А весной уехали в станицу на свою крестьянскую работу.

Станица отстояла от железной дороги на девять верст. Тараканыч и Сашка шли полями. Земля лежала в апрельской сырости. В черных ямах блистали изумруды. Зеленая поросль прошивала землю хитрой строчкой. И от земли пахло кисло, как от солдатки на рассвете. Первые стада стекали с курганов, жеребята играли в голубых просторах горизонта.

Тараканыч и Сашка шли тропками, чуть заметными.

— Отпусти меня, Тараканыч, к обществу в пастухи,— сказал Сашка.

— Что так?

— Не могу я терпеть, что у пастухов такая жизнь великолепная.

— Я не согласен,— сказал Тараканыч.

— Отпусти меня, ради бога, Тараканыч,— повторил Сашка,— все святители из пастухов вышли.

— Сашка-святитель,— захохотал отчим,— у богородицы сифилис захватил.

Они прошли перегиб у Красного моста, миновали рощицу, выгон и увидели крест на станичной церкви.

Бабы ковырялись еще на огородах, а казаки, рассевшись в сирени, пили водку и пели. До Тараканычевой избы было с полверсты ходу.

— Давай бог, чтобы благополучно,— сказал он и перекрестился.

Они подошли к хате и заглянули в окошко. Никого в хате не было. Сашкина мать доила корову на конюшне. Мужики подкрались неслышно. Тараканыч засмеялся и закричал у бабы за спиной:

— Мотя, ваше высокоблагородие, собирай гостям ужинать...

Баба обернулась, затрепетала, побежала из конюшни и закружилась по двору. Потом она вернулась к своему месту, кинулась к Тараканычу на грудь и забилась.

— Вот какая ты дурная и незаманчивая,— сказал Тараканыч и отстранил ее ласково.— Кажи детей...

— Ушли дети со двора,— сказала баба, вся белая, снова побежала по двору и упала на землю.— Ах, Алешенька,— закричала она дико,— ушли наши детки ногами вперед...

Тараканыч махнул рукой и пошел к соседям. Соседи рассказали, что мальчика и девочку бог прибрал на прошлой неделе в тифу. Мотя писала ему, но он, верно, не успел получить письма. Тараканыч вернулся в хату. Баба его растапливала печь.

— Отделалась ты, Мотя, вчистую,— сказал Тараканыч,— терзать тебя надо.

Он сел к столу и затосковал,— и тосковал до самого сна, ел мясо и пил водку и не пошел по хозяйству. Он храпел у стола, и просыпался, снова храпел. Мотя постелила себе и мужу на кровати, а Сашке в стороне. Она задула лампу и легла с мужем. Сашка ворочался на сене в своем углу, глаза его были раскрыты, он не спал и видел, как бы во сне, хату, звезду в окне и край стола и хомуты под материной кроватью. Насильственное видение побеждало его, он поддавался мечтам и радовался своему сну наяву. Ему чудилось, что с неба свешиваются два серебряных шнура, крученных в толстую нитку, к ним приделана колыска, колыска из розового дерева, с разводами. Она качается высоко над землей и далеко от неба, и серебряные шнуры движутся и блестят. Сашка лежит в колыске, и воздух его обвевает. Воздух, громкий, как музыка, идет с полей, радуга цветет на незрелых хлебах.

Сашка радовался своему сну наяву и закрывал глаза, чтобы не видеть хомутов под материной кроватью. Потом он услышал сопение на Мотиной лежанке и подумал о том, что Тараканыч мнет мать.

— Тараканыч,— сказал он громко,— до тебя дело есть.

— Какие дела ночью? — сердито отозвался Тараканыч.— Спи, стервяга...

— Я крест приму, что дело есть,— ответил Сашка,— выдь во двор.

И во дворе, под немеркнущей звездой, Сашка сказал отчиму:

— Не обижай мать, Тараканыч, ты порченый.

— А ты мой характер знаешь? — спросил Тараканыч.

— Я твой характер знаю, но только ты видал мать, при каком она теле? У нее и ноги чистые, и грудь чистая. Не обижай ее, Тараканыч. Мы порченые.

— Мил человек,— ответил отчим,— уйди от крови и от моего характера. На вот двугривенный, проспи ночь, вытрезвись...

— Мне двугривенный без пользы,— пробормотал Сашка,— отпусти меня к обществу в пастухи...

— С этим я не согласен,— сказал Тараканыч.

— Отпусти меня в пастухи,— пробормотал Сашка,— а то я матери откроюсь, какие мы. За что ей страдать при таком теле...

Тараканыч отвернулся, пошел в сарай и принес топор.

— Святитель,— сказал он шепотом,— вот и вся недолга... я порубаю тебя, Сашка...

— Ты не станешь меня рубить за бабу,— сказал мальчик чуть слышно и наклонился к отчиму,— ты меня жалеешь, отпусти меня в пастухи...

— Шут с тобой,— сказал Тараканыч и кинул топор,— иди в пастухи.

И он вернулся в хату и переспал со своей женой.

В то же утро Сашка пошел к казакам наниматься и с той поры стал жить у общества в пастухах. Он прославился на весь округ простодушием, получил от станичников прозвище «Сашка Христос» и прожил в пастухах бессменно до призыва. Старые мужики, какие поплоше, приходили к нему на выгон чесать языки, бабы прибегали к Сашке опоминаться от безумных мужичьих повадок и не сердились на Сашку за его любовь и за его болезнь. С призывом своим Сашка угодил в первый год войны. Он пробыл на войне четыре года и вернулся в станицу, когда там своевольничали белые. Сашку подбили идти в станицу Платовскую, где собирался отряд против белых. Выслужившийся вахмистр — Семен Михайлович Буденный — заправлял делами в этом отряде, и при нем были три брата: Емельян, Лукьян и Денис. Сашка пошел в Платовскую, и там решилась его судьба. Он был в полку Буденного, в бригаде его, в дивизии и в Первой Конной армии. Он ходил выручать

героический Царицын, соединился с Десятой армией Ворошилова, бился под Воронежем, под Касторной и у Генеральского моста на Донце. В польскую кампанию Сашка вступил обозным, потому что был поранен и считался инвалидом.

Вот как все это было. С недавних пор стал я водить знакомство с Сашкой Христом и переложил свой сундучок на его телегу. Нередко встречали мы утреннюю зорю и сопутствовали закатам. И когда своевольное хотение боя соединяло нас — мы садились по вечерам у блещущей завалинки, или кипятили в лесах чай в закопченном котелке, или спали рядом на скошенных полях, привязав к ноге голодного коня.

## ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПАВЛИЧЕНКИ, МАТВЕЯ РОДИОНЫЧА

Земляки, товарищи, родные мои братья! Так осознайте же во имя человечества жизнеописание красного генерала Матвея Павличенки. Он был пастух, тот генерал, пастух в усадьбе Лидино, у барина Никитинского, и пас барину свиней, пока не вышла ему от жизни нашивка на погоны, и тогда с нашивкой этой стал Матюшка пасти рогатую скотину. И кто его знает,— уродись он в Австралии, Матвей наш, свет Родионыч, то возможная вещь, друзья, он и до слонов возвысился бы, слонов стал бы пасти Матюшка, кабы не это мое горе, что неоткуда взяться слонам в Ставропольской нашей губернии. Крупнее буйвола, откровенно вам выскажу, нет у нас животной в Ставропольской раскидистой нашей стороне. А от буйвола бедняк утехи себе не добудет, русскому человеку над буйволами издеваться скучно, нам, сиротам, лошадку на вечный суд подай, лошадку, чтобы душа у нее на меже с боками бы повылазила...

И вот пасу я рогатую мою скотину, коровами со всех сторон обставился, молоком меня навылет прохватило, воняю я, как разрезанное вымя, бычки вокруг меня для порядку ходят, мышастые бычки серого цвета. Воля кругом меня полегла на поля, трава во всем мире хрустит, небеса надо мной разворачиваются, как многорядная гармонь, а небеса, ребята, бывают в Ставропольской губернии очень синие. И пасу я этаким манером, с ветрами от нечего делать на дудках переигрываюсь, покеда один старец не говорит мне:

— Явись,— говорит,— Матвей, к Насте.

— Зачем,— говорю.— Или вы, старец, надо мной надсмехаетесь?..

— Явись,— говорит,— она желает.

И вот являюсь.

— Настя! — говорю я и всей моей кровью чернею.— Настя,— говорю,— или вы надо мной надсмехаетесь?

Но она не дает мне себя слыхать, а пускается от меня бегом и бежит из последних сил, и мы бежим с нею вместе, пока не стали на выгоне, мертвые, красные и без дыхания.

— Матвей,— говорит мне тут Настя,— третье воскресенье от этого, когда весенняя путина была и рыбалки к берегу шли,— вы то же самое с ними шли и голову опустили. Зачем же вы голову опускали, Матвей, или вам какая думка сердце жмет? Отвечайте мне...

И я отвечаю ей.

— Настя,— отвечаю,— мне отвечать вам нечего, голова моя не ружье, на ней мушки нету и прицельной камеры нету, а сердце мое вам известно, Настя, оно от всего пустое, оно небось молоком прохвачено, это ужасное дело, как я молоком воняю...

И Настя, вижу, заходится от этих моих слов.

— Я крест приму,— заходится она, смеется напропалую, смеется во весь голос, на всю степь, как будто на барабане играет,— я крест приму, вы с барышнями перемаргиваетесь...

И, поговоривши короткое время глупости, мы с ней вскорости женились. И стали мы жить с Настей, как умели, а уметь мы умели. Всю ночь нам жарко было, зимой нам жарко было, всю долгую ночь мы голые ходили и шкуру друг с дружки обрывали. Хорошо жили, как черти, и все до той поры, пока не заявляется ко мне старец во второй раз.

— Матвей,— говорит он,— барин давеча твою жену за все места трогал, он ее достигнет, барин...

А я:

— Нет,— говорю,— нет, и простите меня, старец, или я пришью вас на этом месте.

И старец, безусловно, пустился от меня ходом, а я обошел в тот день моими ногами двадцать верст земли, большой кусок земли обошел я в тот день моими ногами и вечером вырос в усадьбе Лидино у веселого барина моего Никитинского. Он сидел в горнице, старый старик, и разбирал три седла: английское, драгунское и казацкое,— а я рос у его двери, как лопух, цельный час рос, и все без последствий. Но потом он кинул на меня глаза.

— Чего ты желаешь? — говорит.

— Желаю расчета.

— Умысел на меня имеешь?

— Умысла не имею, но желаю.

Тут он свернул глаза на сторону, свернул с большака в переулочек, настелил на пол малиновых потничков, они малиновей царских флагов были, потнички его, встал над ними старикашка и запетушился.

— Вольному воля,— говорит он мне и петушится,— я мамашей ваших, православные христиане, всех тараканил, расчет можешь получить, только не должен ли ты мне, дружок мой Матюша, какой-нибудь пустяковины?

— Хи-хи,— отвечаю,— вот затейники вы, в сам-деле, убей меня бог, вот затейники! Мне небось с вас зажитое следует...

— Зажитое,— скрыгочет тут мой барин, и кидает меня на колюшки, и сучит ногами, и лепит мне в ухо отца, и сына, и святого духа,— зажитое тебе, а ярмо забыл, в прошлом годе ты мне ярмо от быков сломал,— где оно, мое ярмо?

— Ярмо я тебе отдам,— отвечаю я моему барину, и возвожу к нему простые мои глаза, и стою перед ним на колюшках ниже всякой земной низины,— отдам тебе ярмо, но ты не тесни меня с долгами, старый человек, а подожди на мне малость...

И что же, ребята вы ставропольские, земляки мои, товарищи, рóдные мои братья, пять годов барин на мне долги ждал, пять пропащих годов пропадал я, покуда ко мне, к пропащему, не прибыл в гости восемнадцатый годок. На веселых жеребцах прибыл он, на кабардинских своих лошадках. Большой обоз вел он за собой и всякие песни. И эх, люба ж ты моя, восемнадцатый годок! И неужели не погулять нам с тобой еще разок, кровиночка ты моя, восемнадцатый годок... Расточили мы твои песни, выпили твое вино, постановили твою правду, одни писаря нам от тебя остались. И эх, люба моя! Не писаря летели в те дни по Кубани и выпущали на воздух генеральскую душу с одного шагу дистанции, Матвей Родионыч лежал тогда на крови под Прикумском, и оставалось от Матвея Родионыча до усадьбы Лидино пять верст последнего перехода. Я и поехал туда один, без отряда, и, взойдя в горницу, взошел в нее смирно. Земельная власть сидела там, в горнице, Никитинский чаем ее обносил и ласкался до людей, но, увидев меня, сошел со своего лица, а я кубанку перед ним снял.

— Здравствуйте,— сказал я людям,— здравствуйте, пожалуйста. Принимайте, барин, гостя или как там у нас будет?

— Будет у нас тихо, благородно,— отвечает мне тут один человек, по выговору, замечаю, землемер,— будет у нас тихо, благородно, но ты, товарищ Павличенко, скакал, ви-

дать, издалека, грязь пересекает твой образ. Мы, земельная власть, ужасаемся такого образа, почему это такое?

— Потому это,— отвечаю,— земельная вы и холоднокровная власть, потому оно, что в образе моем щека одна пять годков горит, в окопе горит, при бабе горит, на последнем суде гореть будет. На последнем суде,— говорю и смотрю на Никитинского вроде как весело, а у него уже и глаз нету, только шары посреди лица стоят, как будто вкатили ему шары под лоб на позицию, и он хрустальными этими шарами мне примаргивает тоже вроде как весело, но очень ужасно.

— Матюша,— говорит он мне,— мы ведь знавались когда-то, и вот супруга моя, Надежда Васильевна, по причине происходящих времен рассудку лишившись, она ведь к тебе хороша была, Надежда Васильевна, ты ее, Матюша, больше всех уважал, неужели ты не пожелаешь ее увидеть, когда она свету лишилась?

— Можно,— говорю, и мы входим с ним в другую комнату, и там он руки стал у меня трогать, правую руку, потом левую.

— Матюша,— говорит,— ты судьба моя или нет?

— Нет,— говорю,— и брось эти слова. Бог от нас, холуев, ушился; судьба наша индейка, жисть наша копейка, брось эти слова и послушай, коли хочешь, письмо Ленина...

— Мне письмо, Никитинскому?

— Тебе,— и вынимаю я книгу приказов, раскрываю на чистом листе и читаю, хотя сам неграмотный до глубины души. «Именем народа,— читаю,— и для основания будущей светлой жизни, приказываю Павличенко, Матвею Родионычу, лишать разных людей жизни согласно его усмотрению...» Вот,— говорю,— это оно и есть, ленинское к тебе письмо...

А он мне: нет!

— Нет,— говорит,— Матюша, хоть жизнь наша на чертову сторону схилилась и кровь в российской равноапостольной державе дешева стала, но тебе сколько крови полагается — ты ее все равно достанешь и мои смертные взоры забудешь, и не лучше ли будет, если я тебе половицу покажу?

— Кажи,— говорю,— может, оно лучше будет.

И опять мы с ним по комнате пошли, в винный погреб спустились, там он кирпич один отвалил и нашел шкатулку за этим кирпичиком. В ней были перстни, в шкатулке, ожерелья, ордена и жемчужная святыня. Он кинул ее мне и обомлел.

— Твое,— говорит,— владей никитинской святыней и шагай прочь, Матвей, в прикумское твое логово...

И тут я взял его за тело, за глотку, за волосы.

— С щекой-то что мне делать,— говорю,— с щекой как мне быть, люди-братья?

И тогда он сам с себя посмеялся слишком громко и вырываться не стал.

— Шакалья совесть,— говорит и не вырывается.— Я с тобой, как с российской империи офицером говорю, а вы, хамы, волчицу сосали... Стреляй в меня, сукин сын...

Но я стрелять в него не стал, стрельбы я ему не должен был никак, а только потащил наверх в залу. Там, в зале, Надежда Васильевна, совершенно сумасшедшие, сидели, они с шашкой наголо по зале прохаживались и в зеркало гляделись. А когда я Никитинского в залу притащил, Надежда Васильевна побежали в кресло садиться, на них бархатная корона перьями убрана была, они в кресла бойко сели и шашкой мне на караул сделали. И тогда я потоптал барина моего Никитинского. Я час его топтал или более часу, и за это время я жизнь сполна узнал. Стрельбой,— я так выскажу,— от человека только отделаться можно: стрельба — это ему помилование, а себе гнусная легкость, стрельбой до души не дойдешь, где она у человека есть и как она показывается. Но я, бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часу, мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть...



## КЛАДБИЩЕ В КОЗИНЕ

Кладбище в еврейском местечке. Ассирия и таинственное тление Востока на поросших бурьяном волынских полях.

Обточенные серые камни с трехсотлетними письменами. Грубое тиснение горельефов, высеченных на граните. Изображение рыбы и овцы над мертвой человеческой головой. Изображения раввинов в меховых шапках. Раввины подпоясаны ремнем на узких чреслах. Под безглазыми лицами волнистая каменная линия завитых бород. В стороне, под дубом, размозженным молнией, стоит склеп рабби Азриила, убитого казаками Богдана Хмельницкого. Четыре поколения лежат в этой усыпальнице, нищей, как жилище водоноса, и скрижали, зазеленевшие скрижали, поют о них молитвой бедуина:

«Азриил, сын Анания, уста Еговы.

Илия, сын Азриила, мозг, вступивший в единоборство с забвением.

Вольф, сын Илии, принц, похищенный у Торы на девятнадцатой весне.

Иуда, сын Вольфа, раввин краковский и пражский.

О смерть, о корыстолюбец, о жадный вор, отчего ты не пожалел нас хотя бы однажды?»



## ПРИЩЕПА

Пробираюсь в Лешнюв, где расположился штаб дивизии. Попутчик мой по-прежнему Прищепа — молодой кубанец, неутомительный хам, вычищенный коммунист, будущий барахольщик, беспечный сифилитик, неторопливый враль. На нем малиновая черкеска из тонкого сукна и пуховый башлык, закинутый за спину. По дороге он рассказывал о себе...

Год тому назад Прищепа бежал от белых. В отместку они взяли заложниками его родителей и убили их в контрразведке. Имущество расхитили соседи. Когда белых прогнали с Кубани, Прищепа вернулся в родную станицу.

Было утро, рассвет, мужичий сон вздыхал в прокисшей духоте. Прищепа подрядил казенную телегу и пошел по станице собирать свои граммофоны, жбаны для кваса и расшитые матерью полотенца. Он вышел на улицу в черной бурке, с кривым кинжалом за поясом; телега плелась сзади. Прищепа ходил от одного соседа к другому, кровавая печать его подошв тянулась за ним следом. В тех хатах, где казак находил вещи матери или чубук отца, он оставлял подколотых старух, собак, повешенных над колодцем, иконы, загаженные пометом. Станичники, раскуривая трубки, угрюмо следили его путь. Молодые казаки рассыпались в степи и вели счет. Счет разбухал, и станица молчала. Кончив, Прищепа вернулся в опустошенный отчий дом. Он расставил отбитую мебель в порядке, который был ему памятен с детства, и послал за водкой. Запершись в хате, он пил двое суток, пел, плакал и рубил шашкой столы.

На третью ночь станица увидела дым над избой Прищепы. Опаленный и рваный, виляя ногами, он вывел из стойла корову, вложил ей в рот револьвер и выстрелил. Земля курилась под ним, голубое кольцо пламени вылетело из трубы и растаяло, в конюшне зарыдал оставленный бычок. Пожар сиял, как воскресенье. Прищепа отвязал коня, прыгнул в седло, бросил в огонь прядь своих волос и сгинул.



## ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛОШАДИ

Савицкий, наш начдив, забрал когда-то у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Это была лошадь пышного экстерьера, но с сырыми формами, которые мне всегда казались тяжеловатыми. Хлебников получил взамен вороную кобыленку неплохих кровей, с гладкой рысью. Но он держал кобыленку в черном теле, жаждал мести, ждал своего часу и дождался его.

После июльских неудачных боев, когда Савицкого сместили и заслали в резерв чинов командного запаса, Хлебников написал в штаб армии прошение о возвращении ему лошади. Начальник штаба наложил на прошении резолюцию: «Возворотить изложенного жеребца в первобытное состояние»,— и Хлебников, ликуя, сделал сто верст для того, чтобы найти Савицкого, жившего тогда в Радзивиллове, в изувеченном городишке, похожем на оборванную салопницу. Он жил один, смещенный начдив, лизуны из штабов не узнавали его больше. Лизуны из штабов удили жареных куриц в улыбках командарма, и, холопствуя, они отвернулись от прославленного начдива.

Облитый духами и похожий на Петра Великого, он жил в опале с казачкой Павлой, отбитой им у еврея-интенданта, и с двадцатью кровными лошадьми, которых мы считали его собственностью. Солнце на его дворе напрягалось и томилось слепотой своих лучей, жеребята на его дворе бурно сосали маток, конюхи с взмокшими спинами просеивали овес на выцветших веялках. Израненный истиной и ведомый местью, Хлебников шел напрямик к забаррикадированному двору.

— Личность моя вам знакомая? — спросил он у Савицкого, лежавшего на сене.

— Видал я тебя как будто,— ответил Савицкий и зевнул.

— Тогда получайте резолюцию начштаба,— сказал Хлебников твердо,— и прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом...

— Можно,— примирительно пробормотал Савицкий, взял бумагу и стал читать ее необыкновенно долго. Потом он позвал вдруг казачку, чесавшую себе волосы в холодку, под навесом.

— Павла,— сказал он,— с утра, слава тебе господи, чешемся... Направила бы самоварчик...

Казачка отложила гребень и, взяв в руки волосы, перебросила их за спину.

— Целый день сегодня, Константин Васильевич, цепляемся,— сказала она с ленивой и повелительной усмешкой,— то того вам, то другого...

И она пошла к начдиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь, шевелившуюся, как животное в мешке.

— Целый день цепляемся,— повторила женщина, сияя, и застегнула начдиву рубаху на груди.

— То этого мне, а то того,— засмеялся начдив, вставая, обнял Павлины отдавшиеся плечи и обернул вдруг к Хлебникову помертвевшее лицо.

— Я еще живой, Хлебников,— сказал он, обнимаясь с казачкой,— еще ноги мои ходют, еще кони мои скачут, еще руки мои тебя достанут и пушка моя греется около моего тела...

Он вынул револьвер, лежавший у него на голом животе, и подступил к командиру первого эскадрона.

Тот повернулся на каблуках, шпоры его застонали, он вышел со двора, как ординарец, получивший эстафету, и снова сделал сто верст для того, чтобы найти начальника штаба, но тот прогнал от себя Хлебникова.

— Твое дело, командир, решенное,— сказал начальник штаба.— Жеребец тебе мною возворочен, а докуки мне без тебя хватает...

Он не стал слушать Хлебникова и возвратил наконец первому эскадрону сбежавшего командира. Хлебников целую неделю был в отлучке. За это время нас перегнали на стоянку в Дубенские леса. Мы разбили там палатки и жили хорошо. Хлебников вернулся, я помню, в воскресенье утром, двенадцатого числа. Он потребовал у меня бумаги больше дести и чернил. Казаки обстругали ему пень, он положил на пень револьвер и бумаги и писал до вечера, перемарывая множество листов.

— Чистый Карл Маркс,— сказал ему вечером военком эскадрона.— Чего ты пишешь, хрен с тобой?

— Описываю разные мысли согласно присяге,— ответил Хлебников и подал военкому заявление о выходе из Коммунистической партии большевиков.

*«Коммунистическая партия,—* было сказано в этом заявлении,— *основана, палагаю, для радости и твердой правды без предела и должна также осматриваться на малых. Теперь коснусь до белого жеребца, которого я отбил у неимоверных по своей контре крестьян, имевший захудалый вид, и многие товарищи беззастенчиво надсмехались над этим видом, но я имел силы выдержать тот резкий смех и, сжав зубы за общее дело, выходил жеребца до желаемой перемены, потому я есть, товарищи, до серых коней охотник и положил на них силы, в малом количестве оставшиеся мне от империалистической и гражданской войны, и таковые жеребцы чувствуют мою руку, и я также могу чувствовать его бессловесную нужду и что ему требуется, но несправедливая вороная кобылица мне без надобности, я не могу ее чувствовать и не могу ее переносить, что все товарищи могут подтвердить, как бы не дошло до беды. И вот партия не может мне возворотить, согласно розолюции, мое кровное, то я не имею выхода, как писать это заявление со слезами, которые не подобают бойцу, но текут бесперечь и секут сердце, засекая сердце в кровь...»*

Вот это и еще много другого было написано в заявлении Хлебникова. Он писал его целый день, и оно было очень длинно. Мы с военкомом бились над ним с час и разобрали до конца.

— Вот и дурак,— сказал военком, разрывая бумагу,— приходи после ужина, будешь иметь беседу со мной.

— Не надо мне твоей беседы,— ответил Хлебников, вздрагивая,— проиграл ты меня, военком.

Он стоял, сложив руки по швам, дрожал, не сходя с места, и озирался по сторонам, как будто примериваясь, по какой дороге бежать. Военком подошел к нему вплотную, но недоглядел. Хлебников рванулся и побежал изо всех сил.

— Проиграл! — закричал он дико, влез на пень и стал обрывать на себе куртку и царапать грудь.

— Бей, Савицкий,— закричал он, падая на землю,— бей враз!

Мы потащили его в палатку, казаки нам помогли. Мы вскипятили ему чай и набили папирос. Он курил и все дрожал. И только к вечеру успокоился наш командир. Он не заговаривал больше о сумасбродном своем заявлении, но через неделю поехал в Ровно, освидетельствовался во врачебной комиссии и был демобилизован как инвалид, имеющий шесть поранений.

Так лишились мы Хлебникова. Я был этим опечален, потому что Хлебников был тихий человек, похожий на меня характером. У него одного в эскадроне был самовар. В дни затишья мы пили с ним горячий чай. Нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони.

## КОНКИН

Крошили мы шляхту по-за Белой Церковью. Крошили вдосталь, аж деревья гнулись. Я с утра отметину получил, но выкамаривал ничего себе, подходяще. Денек, помню, к вечеру пригибался. От комбрига я отбился, пролетариату всего казачишек пяток за мной увязалось. Кругом в обнимку рубаются, как поп с попадьей, юшка из меня помаленьку капает, конь мой передом мочится... Одним словом — два слова.

Вынеслись мы со Спирькой Забутым подальше от леска, глядим — подходящая арифметика... Сажнях в трехстах, ну не более, не то штаб пылит, не то обоз. Штаб — хорошо, обоз — того лучше. Барахло у ребятишек пооборвалось, рубашонки такие, что половой зрелости не достигают.

— Забутый,— говорю я Спирьке,— мать твою и так, и этак, и всяко, предоставляю тебе слово, как записавшемуся оратору,— ведь это штаб ихний уходит...

— Свободная вещь, что штаб,— говорит Спирька,— но только — нас двое, а их восемь...

— Дуй ветер, Спирька,— говорю,— все равно я им ризы испачкаю... Помрем за кислый огурец и мировую революцию...

И пустились. Было их восемь сабель. Двоих сняли мы винтами на корню. Третьего, вижу, Спирька ведет в штаб Духонина для проверки документов. А я в туза целюсь. Малиновый, ребята, туз, при цепке и золотых часах. Прижал я его к хуторку. Хуторок там был весь в яблоне и вишне. Конь под моим тузом как купцова дочка, но пристал. Бросает тогда пан генерал поводья, примеряется ко мне маузером и делает мне в ноге дырку.

«Ладно, думаю, будешь моя, раскинешь ноги...»

Нажал я колеса и вкладываю в коника два заряда. Жалко было жеребца. Большевичок был жеребец, чистый большевичок. Сам рыжий, как монета, хвост пулей, нога струной. Думал — живую Ленину свезу, ан не вышло. Ликвидировал я эту лошадку. Рухнула она, как невеста, и туз мой с седла снялся. Подорвал он в сторону, потом еще разок обернулся и еще один сквозняк мне в фигуре сделал. Имею я, значит, при себе три отличия в делах против неприятеля.

«Иисусе, думаю, он, чего доброго, убьет меня нечаянным порядком...»

Подскакал я к нему, а он уже шашку выхватил, и по щекам его слезы текут, белые слезы, человечье молоко.

— Даешь орден Красного Знамени! — кричу.— Сдавайся, ясновельможный, покуда я жив!..

— Не моге, пан,— отвечает старик,— ты зарежешь меня...

А тут Спиридон передо мной, как лист перед травой. Личность его в мыле, глаза от морды на нитках висят.

— Вася,— кричит он мне,— страсть сказать, сколько я людей кончил! А ведь это генерал у тебя, на нем шитье, мне желательно его кончить.

— Иди к турку,— говорю я Забутому и серчаю,— мне шитье его крови стоит.

И кобылой моей загоняю я генерала в клуню, сено там было или так. Тишина там была, темнота, прохлада.

— Пан,— говорю,— утихомирь свою старость, сдайся мне за-ради бога, и мы отдохнем с тобой, пан...

А он дышит у стенки грудью и трет лоб красным пальцем.

— Не моге,— говорит,— ты зарежешь меня, только Буденному отдам я мою саблю...

Буденного ему подавай. Эх, горе ты мое! И вижу — пропадает старый.

— Пан,— кричу я, и плачу, и зубами скрегочу,— слово пролетария, я сам высший начальник. Ты шитья на мне не ищи, а титул есть. Титул, вон он — музыкальный эксцентрик и салонный чревовещатель из города Нижнего... Нижний город на Волге-реке...

И бес меня взмыл. Генеральские глаза передо мной, как фонари, мигнули. Красное море передо мной открылось. Обида солью вошла мне в рану, потому, вижу, не верит мне дед. Замкнул я тогда рот, ребята, поджал брюхо, взял воздух и понес по старинке, по-нашенскому, по-бойцовски, по-нижегородски и доказал шляхте мое чревовещание.

Побелел тут старик, взялся за сердце и сел на землю.

— Веришь теперь Ваське-эксцентрику, Третьей непобедимой кавбригады комиссару?..

— Комиссар? — кричит он.

— Комиссар,— говорю я.

— Коммунист? — кричит он.

— Коммунист,— говорю я.

— В смертельный мой час,— кричит он,— в последнее мое воздыхание скажи мне, друг мой казак,— коммунист ты или врешь?

— Коммунист,— говорю.

Садится тут мой дед на землю, целует какую-то ладанку, ломает надвое саблю и зажигает две плошки в своих глазах, два фонаря над темной степью.

— Прости,— говорит,— не могу сдаться коммунисту,— и здоровается со мной за руку.— Прости,— говорит,— и руби меня по-солдатски...

Эту историю со всегдашним своим шутовством рассказал нам однажды на привале Конкин, политический комиссар N...ской кавбригады и троекратный кавалер ордена Красного Знамени.

— И до чего же ты, Васька, с паном договорился?

— Договоришься ли с ним?.. Гоноровый выдался. Покланялся я ему еще, а он упирается. Бумаги мы тогда у него взяли, какие были, маузер взяли, седелка его, чудака, и посейчас подо мной. А потом, вижу, каплет из меня все сильней, ужасный сон на меня нападает, сапоги мои полны крови, не до него...

— Облегчили, значит, старика?

— Был грех.

## БЕРЕСТЕЧКО

Мы делали переход из Хотина в Берестечко. Бойцы дремали в высоких седлах. Песня журчала, как пересыхающий ручей. Чудовищные трупы валялись на тысячелетних курганах. Мужики в белых рубахах ломали шапки перед нами. Бурка начдива Павличенки веяла над штабом, как мрачный флаг. Пуховый башлык его был перекинут через бурку, кривая сабля лежала сбоку.

Мы проехали казачьи курганы и вышку Богдана Хмельницкого. Из-за могильного камня выполз дед с бандурой и детским голосом спел про былую казачью славу. Мы прослушали песню молча, потом развернули штандарты и под звуки гремящего марша ворвались в Берестечко. Жители заложили ставни железными палками, и тишина, полновластная тишина взошла на местечковый свой трон.

Квартира мне попалась у рыжей вдовы, пропахшей вдовьим горем. Я умылся с дороги и вышел на улицу. На столбах висели объявления о том, что военкомдив Виноградов прочтет вечером доклад о Втором конгрессе Коминтерна. Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя под мышкой. Еврей затих и расставил ноги. Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись. Потом он стукнул в закрытую раму.

— Если кто интересуется,— сказал он,— нехай приберет. Это свободно...

И казаки завернули за угол. Я пошел за ними следом и стал бродить по Берестечку. Больше всего здесь евреев, а на окраинах расселились русские мещане — кожевники. Они живут чисто, в белых домиках за зелеными ставнями.

Вместо водки мещане пьют пиво или мед, разводят табак в палисадничках и курят его из длинных гнутых чубуков, как галицийские крестьяне. Соседство трех племен, деятельных и деловитых, разбудило в них упрямое трудолюбие, свойственное иногда русскому человеку, когда он еще не обовшивел, не отчаялся и не упился.

Быт выветрился в Берестечке, а он был прочен здесь. Отростки, которым перевалило за три столетия, все еще зеленели на Волыни теплой гнилью старины. Евреи связывали здесь нитями наживы русского мужика с польским паном, чешского колониста с лодзинской фабрикой. Это были контрабандисты, лучшие на границе, и почти всегда воители за веру. Хасидизм держал в удушливом плену это суетливое население из корчмарей, разносчиков и маклеров. Мальчики в капотиках все еще топтали вековую дорогу к хасидскому хедеру, и старухи по-прежнему возили невесток к цадику с яростной мольбой о плодородии.

Евреи живут здесь в просторных домах, вымазанных белой или водянисто-голубой краской. Традиционное убожество этой архитектуры насчитывает столетия. За домом тянется сарай в два, иногда в три этажа. В нем никогда не бывает солнца. Сараи эти, неописуемо мрачные, заменяют наши дворы. Потайные ходы ведут в подвалы и конюшни. Во время войны в этих катакомбах спасаются от пуль и грабежей. Здесь скопляются за много дней человечьи отбросы и навоз скотины. Уныние и ужас заполняют катакомбы едкой вонью и протухшей кислотой испражнений.

Берестечко нерушимо воняет и до сих пор, от всех людей несет запахом гнилой селедки. Местечко смердит в ожидании новой эры, и вместо людей по нему ходят слинявшие схемы пограничных несчастий. Они надоели мне к концу дня, я ушел за городскую черту, поднялся в гору и проник в опустошенный замок графов Рациборских, недавних владетелей Берестечка.

Спокойствие заката сделало траву у замка голубой. Над прудом взошла луна, зеленая, как ящерица. Из окна мне видно поместье графов Рациборских — луга и плантации из хмеля, скрытые муаровыми лентами сумерек.

В замке жила раньше помешанная девяностолетняя графиня с сыном. Она досаждала сыну за то, что он не дал наследников угасающему роду, и — мужики рассказывали мне — графиня била сына кучерским кнутом.

Внизу на площадке собрался митинг. Пришли крестьяне, евреи и кожевники из предместья. Над ними разгорелся

восторженный голос Виноградова и звон его шпор. Он говорил о Втором конгрессе Коминтерна, а я бродил вдоль стен, где нимфы с выколотыми глазами водят старинный хоровод. Потом в углу, на затоптанном полу я нашел обрывок пожелтевшего письма. На нем вылинявшими чернилами было написано:

*«Berestetchko, 1820, Paul, mon bien aimé, on dit que l'empereur Napoléon est mort, est-ce vrai? Moi, je me sens bien, les couches ont été faciles, notre petit héros achéve sept semaines...»*[1]

Внизу не умолкает голос военкомдива. Он страстно убеждает озадаченных мещан и обворованных евреев:

— Вы — власть. Все, что здесь,— ваше. Нет панов. Приступаю к выборам Ревкома...

---

[1] «Берестечко, 1820. Поль, мой любимый, говорят, что император Наполеон умер, правда ли это? Я чувствую себя хорошо, роды были легкие, нашему маленькому герою исполняется семь недель...» *(фр.)*

## СОЛЬ

«Дорогой товарищ редактор. Хочу описать вам за несознательных женщин, которые нам вредные. Надеюся на вас, что вы, объезжая гражданские фронты, которые брали под заметку, не миновали закоренелую станцию Фастов, находящуюся за тридевять земель, в некотором государстве, на неведомом пространстве, я там, конешно, был, самогон-пиво пил, усы обмочило, в рот не заскочило. Про эту вышеизложенную станцию есть много кой-чего писать, но, как говорится в нашем простом быту,— господнего дерьма не перетаскать. Поэтому опишу вам только за то, что мои глаза собственноручно видели.

Была тихая, славная ночка семь ден тому назад, когда наш заслуженный поезд Конармии остановился там, груженный бойцами. Все мы горели способствовать общему делу и имели направление на Бердичев. Но только замечаем, что поезд наш никак не отваливает, Гаврилка наш не крутит, и бойцы стали сомневаться переговаривать между собой,— в чем тут остановка? И действительно, остановка для общего дела вышла громадная по случаю того, что мешочники, эти злые враги, среди которых находилась также несметная сила женского полу, нахальным образом поступали с железнодорожной властью. Безбоязненно ухватились они за поручни, эти злые враги, на рысях пробегали по железным крышам, коловоротили, мутили, и в каждых руках фигурировала небезызвестная соль, доходя до пяти пудов в мешке. Но недолго длилось торжество капитала мешочников. Инициатива бойцов, повылазивших из вагона, дала возможность поруганной власти железнодорожников вздохнуть грудью. Один только женский пол со своими торбами остался в окрестностях. Имея сожаление, бойцы которых женщин посадили по теплушкам, а которых не посадили. Так же и в нашем вагоне второго взвода оказа-



лись налицо две девицы, а пробивши первый звонок, подходит к нам представительная женщина с дитем, говоря:

— Пустите меня, любезные казачки, всю войну я страдаю по вокзалам с грудным дитем на руках и теперь хочу иметь свидание с мужем, но по причине железной дороги ехать никак невозможно, неужели я у вас, казачки, не заслужила?

— Между прочим, женщина,— говорю я ей,— какое будет согласие у взвода, такая получится ваша судьба.— И, обратившись к взводу, я им доказываю, что представительная женщина просится ехать к мужу на место назначения и дите действительно при ней находится и какое будет ваше согласие — пускать ее или нет?

— Пускай ее,— кричат ребята,— опосле нас она и мужа не захочет...

— Нет,— говорю я ребятам довольно вежливо,— кланяюсь вам, взвод, но только удивляет меня слышать от вас такую жеребятину. Вспомните, взвод, вашу жизнь и как вы сами были дитями при ваших матерях, и получается вроде того, что не годится так говорить...

И казаки, проговоривши между собой, какой он, стало быть, Балмашев, убедительный, начали пускать женщину в вагон, и она с благодарностью лезет. И кажный, раскипятившись моей правдой, подсаживает ее, говоря наперебой:

— Садитесь, женщина, в куток, ласкайте ваше дите, как водится с матерями, никто вас в кутке не тронет, и приедете вы, нетронутая, к вашему мужу, как это вам желательно, и надеемся на вашу совесть, что вы вырастите нам смену, потому что старое старится, а молодняка, видать, мало. Горя мы видели, женщина, и на действительной и на сверхсрочной, голодом нас давнуло, холодом обожгло. А вы сидите здесь, женщина, без сомнения...

И, пробивши третий звонок, поезд двинулся. И славная ночка раскинулась шатром. И в том шатре были звезды-каганцы. И бойцы вспомнили кубанскую ночь и зеленую кубанскую звезду. И думка полетела, как птица. А колеса тарахтят, тарахтят...

По прошествии времени, когда ночь сменилась со своего поста и красные барабанщики заиграли зорю на своих красных барабанах, тогда подступилися ко мне казаки, видя, что я сижу без сна и скучаю до последнего.

— Балмашев,— говорят мне казаки,— отчего ты ужасно скучный и сидишь без сна?

— Низко кланяюсь вам, бойцы, и прошу маленького прощения, но только дозвольте мне переговорить с этой гражданкой пару слов...

И, задрожав всем корпусом, я поднимаюсь со своей лежанки, от которой сон бежал, как волк от своры злодейских псов, и подхожу до нее, и беру у ней с рук дите, и рву с него пеленки и тряпье, и вижу по-за пеленками добрый пудовик соли.

— Вот антиресное дите, товарищи, которое титек не просит, на подол не мочится и людей со сна не беспокоит...

— Простите, любезные казачки,— встревает женщина в наш разговор очень хладнокровно,— не я обманула, лихо мое обмануло...

— Балмашев простит твоему лиху,— отвечаю я женщине,— Балмашеву оно немногого стоит, Балмашев за что купил, за то и продаст. Но оборотитесь к казакам, женщина, которые тебя возвысили как трудящуюся мать в республике. Оборотитесь на этих двух девиц, которые плачут в настоящее время, как пострадавшие от нас этой ночью. Оборотитесь на жен наших на пшеничной Кубани, которые исходят женской силой без мужей, и мужья, то же самое одинокие, по злой неволе насильничают проходящих в их жизни девушек... А тебя не трогали, хотя тебя, неподобную, только и трогать. Оборотись на Расею, задавленную болью...

А она мне:




— Я соли своей решилась, я правды не боюсь. Вы за Расею не думаете, вы жидов Ленина и Троцкого спасаете...

— За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка. Жиды сюда не касаются. Между прочим, за Ленина не скажу, но Троцкий есть отчаянный сын тамбовского губернатора и вступился, хотя и другого звания, за трудящийся класс. Как присужденные каторжане, вытягают они нас — Ленин и Троцкий — на вольную дорогу жизни, а вы, гнусная гражданка, есть более контрреволюционерка, чем тот белый генерал, который с вострой шашкой грозится нам на своем тысячном коне... Его видать, того генерала, со всех дорог, и трудящийся имеет свою думку-мечту его порезать, а вас, нечестная гражданка, с вашими антиресными детками, которые хлеба не просют и до ветра не бегают,— вас не видать, как блоху, и вы точите, точите, точите...

И я действительно признаю, что выбросил эту гражданку на ходу под откос, но она, как очень грубая, посидела, махнула юбками и пошла своей подлой дорожкой. И, увидев эту невредимую женщину, и несказанную Расею вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девиц, и товарищей, которые много ездют на фронт, но мало возвращаются, я захотел спрыгнуть с вагона и себе кончить или ее кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали:

— Ударь ее из винта.

И, сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики.

И мы, бойцы второго взвода, клянемся перед вами, дорогой товарищ редактор, и перед вами, дорогие товарищи из редакции, беспощадно поступать со всеми изменниками, которые тащат нас в яму и хотят повернуть речку обратно и выстелить Расею трупами и мертвой травой.

За всех бойцов второго взвода — Никита Балмашев, солдат революции».

## ВЕЧЕР

О устав РКП! Сквозь кислое тесто русских повестей ты проложил стремительные рельсы. Три холостые сердца со страстями рязанских Иисусов ты обратил в сотрудников «Красного кавалериста», ты обратил их для того, чтобы каждый день могли они сочинять залихватскую газету, полную мужества и грубого веселья.

Галин с бельмом, чахоточный Слинкин, Сычев с объеденными кишками — они бредут в бесплодной пыли тыла и продирают бунт и огонь своих листовок сквозь строй молодцеватых казаков на покое, резервных жуликов, числящихся польскими переводчиками, и девиц, присланных к нам в поезд политотдела на поправку из Москвы.

Только к ночи бывает готова газета — динамитный шнур, подкладываемый под армию. На небе гаснет косоглазый фонарь провинциального солнца, огни типографии, разлетаясь, пылают неудержимо, как страсть машины. И тогда, к полуночи, из вагона выходит Галин для того, чтобы содрогнуться от укусов неразделенной любви к поездной нашей прачке Ирине.

— В прошлый раз,— говорит Галин, узкий в плечах, бледный и слепой,— в прошлый раз мы рассмотрели, Ирина, расстрел Николая Кровавого, казненного екатеринбургским пролетариатом. Теперь перейдем к другим тиранам, умершим собачьей смертью. Петра Третьего задушил Орлов, любовник его жены. Павла растерзали придворные и собственный сын. Николай Палкин отравился, его сын пал первого марта, его внук умер от пьянства... Об этом вам надо знать, Ирина...

И, подняв на прачку голый глаз, полный обожания, Галин неутомимо ворошит склепы погибших императоров. Су-

тулый — он облит луной, торчащей там, наверху, как дерзкая заноза, типографские станки стучат от него где-то близко, и чистым светом сияет радиостанция. Притираясь к плечу повара Василия, Ирина слушает глухое и нелепое бормотание любви, над ней в черных водорослях неба тащатся звезды, прачка дремлет, крестит запухший рот и смотрит на Галина во все глаза...

Рядом с Ириной зевает мордатый Василий, пренебрегающий человечеством, как и все повара. Повара — они имеют много дела с мясом мертвых животных и с жадностью живых, поэтому в политике повара ищут вещей, их не касающихся. Так и Василий. Подтягивая штаны к соскам, он спрашивает Галина о цивильном листе разных королей, о приданом для царской дочери и потом говорит, зевая.

— Ночное время, Ариша,— говорит он.— И завтра у людей день. Айда блох давить...

И они закрыли дверь кухни, оставив Галина наедине с луной, торчавшей там, вверху, как дерзкая заноза... Против луны, на откосе, у заснувшего пруда, сидел я в очках, с чирьями на шее и забинтованными ногами. Смутными поэтическими мозгами переваривал я борьбу классов, когда ко мне подошел Галин в блистающих бельмах.

— Галин,— сказал я, пораженный жалостью и одиночеством,— я болен, мне, видно, конец пришел, и я устал жить в нашей Конармии...

— Вы слюнтяй,— ответил Галин, и часы на тощей его кисти показали час ночи.— Вы слюнтяй, и нам суждено терпеть вас, слюнтяев... Мы чистим для вас ядро от скорлупы. Пройдет немного времени, вы увидите очищенное это ядро, выймете тогда палец из носу и воспоете новую жизнь необыкновенной прозой, а пока сидите тихо, слюнтяй, и не скулите нам под руку...

Он придвинулся ко мне ближе, поправил бинты, распустившиеся на чесоточных моих язвах, и опустил голову на цыплячью грудь. Ночь утешала нас в наших печалях, легкий ветер обвевал нас, как юбка матери, и травы внизу блестели свежестью и влагой.

Машины, гремевшие в поездной типографии, заскрипели и умолкли, рассвет провел черту у края земли, дверь в кухне свистнула и приоткрылась. Четыре ноги с толстыми пятками высунулись в прохладу, и мы увидели любящие икры Ирины и большой палец Василия с кривым и черным ногтем.

— Василек,— прошептала баба тесным, замирающим голосом,— уйдите с моей лежанки, баламут...

Но Василий только дернул пяткой и придвинулся ближе.

— Конармия,— сказал мне тогда Галин.— Конармия есть социальный фокус, производимый ЦК нашей партии. Кривая революции бросила в первый ряд казачью вольницу, пропитанную многими предрассудками, но ЦК, маневрируя, продерет их железною щеткой...

И Галин заговорил о политическом воспитании Первой Конной. Он говорил долго, глухо, с полной ясностью. Веко его билось над бельмом.

## АФОНЬКА БИДА

Мы дрались под Лешнювом. Стена неприятельской кавалерии появлялась всюду. Пружина окрепшей польской стратегии вытягивалась со зловещим свистом. Нас теснили. Впервые за всю кампанию мы испытали на своей спине дьявольскую остроту фланговых ударов и прорывов тыла — укусы того самого оружия, которое так счастливо служило нам.

Фронт под Лешнювом держала пехота. Вдоль криво накопанных ямок склонялось белесое, босое волынское мужичье. Пехоту эту взяли вчера от сохи для того, чтобы образовать при Конармии пехотный резерв. Крестьяне пошли с охотою. Они дрались с величайшей старательностью. Их сопящая мужицкая свирепость изумила даже буденновцев. Ненависть их к польскому помещику была построена из невидного, но добротного материала.

Во второй период войны, когда гиканье перестало действовать на воображение неприятеля и конные атаки на окопавшегося противника сделались невозможными,— эта самодельная пехота принесла бы Конармии величайшую пользу. Но нищета наша превозмогла. Мужикам дали по одному ружью на троих и патроны, которые не подходили к винтовкам. Затею пришлось оставить, и подлинное это народное ополчение распустили по домам.

Теперь обратимся к лешнювским боям. Пешка окопалась в трех верстах от местечка. Впереди их фронта расхаживал сутулый юноша в очках. Сбоку у него волочилась сабля. Он передвигался вприпрыжку, с недовольным видом, как будто ему жали сапоги. Этот мужицкий атаман, выбранный ими и любимый, был еврей, подслеповатый еврейский юноша, с чахлым и сосредоточенным лицом талмудиста. В бою он выказывал осмотрительное мужество и хладнокровие, которое походило на рассеянность мечтателя.

Шел третий час июльского просторного дня. В воздухе сияла радужная паутина зноя. За холмами сверкнула празд-

ничная полоса мундиров и гривы лошадей, заплетенные лентами. Юноша дал знак приготовиться. Мужики, шлепая лаптями, побежали по местам и взяли на изготовку. Но тревога оказалась ложной. На лешнювское шоссе выходили цветистые эскадроны Маслака[1]. Их отощавшие, но бодрые кони шли крупным шагом. На золоченых древках, отягощенных бархатными кистями, в огненных столбах пыли колебались пышные знамена. Всадники ехали с величественной и дерзкой холодностью. Лохматая пешка вылезла из своих ям и разинув рты следила за упругим изяществом этого небыстрого потока.

Впереди полка, на степной раскоряченной лошаденке ехал комбриг Маслак, налитый пьяной кровью и гнилью жирных своих соков. Живот его, как большой кот, лежал на луке, окованной серебром. Завидев пешку, Маслак весело побагровел и поманил к себе взводного Афоньку Биду. Взводный носил у нас прозвище «Махно» за сходство свое с батьком. Они пошептались с минуту — командир и Афонька. Потом взводный обернулся к первому эскадрону, наклонился и скомандовал негромко: «Повод!» Казаки повзводно перешли на рысь. Они горячили лошадей и мчались на окопы, из которых глазела обрадованная зрелищем пешка.

— К бою готовьсь! — пропел заунывный и как бы отдаленный Афонькин голос.

Маслак, хрипя, кашляя и наслаждаясь, отъехал в сторону, казаки бросились в атаку. Бедная пешка побежала, но поздно. Казацкие плети прошлись уже по их драным свиткам. Всадники кружились по полю и с необыкновенным искусством вертели в руках нагайки.

— Зачем балуетесь? — крикнул я Афоньке.

— Для смеху,— ответил он мне, ерзая в седле и доставая из кустов схоронившегося парня.

— Для смеху! — прокричал он, ковыряясь в обеспамятевшем парне.

Потеха кончилась, когда Маслак, размякший и величавый, махнул своей пухлой рукой.

— Пешка, не зевай! — прокричал Афонька и надменно выпрямил тщедушное тело.— Пошла блох ловить, пешка...

Казаки, пересмеиваясь, съезжались в ряды. Пешки след простыл. Окопы были пусты. И только сутулый еврей стоял на прежнем месте и сквозь очки всматривался в казаков внимательно и высокомерно.

---

[1] Масляков — командир первой бригады четвертой дивизии, неисправимый партизан, изменивший вскоре Советской власти. *(Здесь и далее примеч. автора.)*

Со стороны Лешнюва не утихала перестрелка. Поляки охватывали нас. В бинокль были видны отдельные фигуры конных разведчиков. Они выскакивали из местечка и проваливались, как ваньки-встаньки. Маслак построил эскадрон и рассыпал его по обе стороны шоссе. Над Лешнювом встало блещущее небо, невыразимо пустое, как всегда в часы опасности. Еврей, закинув голову, горестно и сильно свистел в металлическую дудку. И пешка, высеченная пешка, возвращалась на свои места.

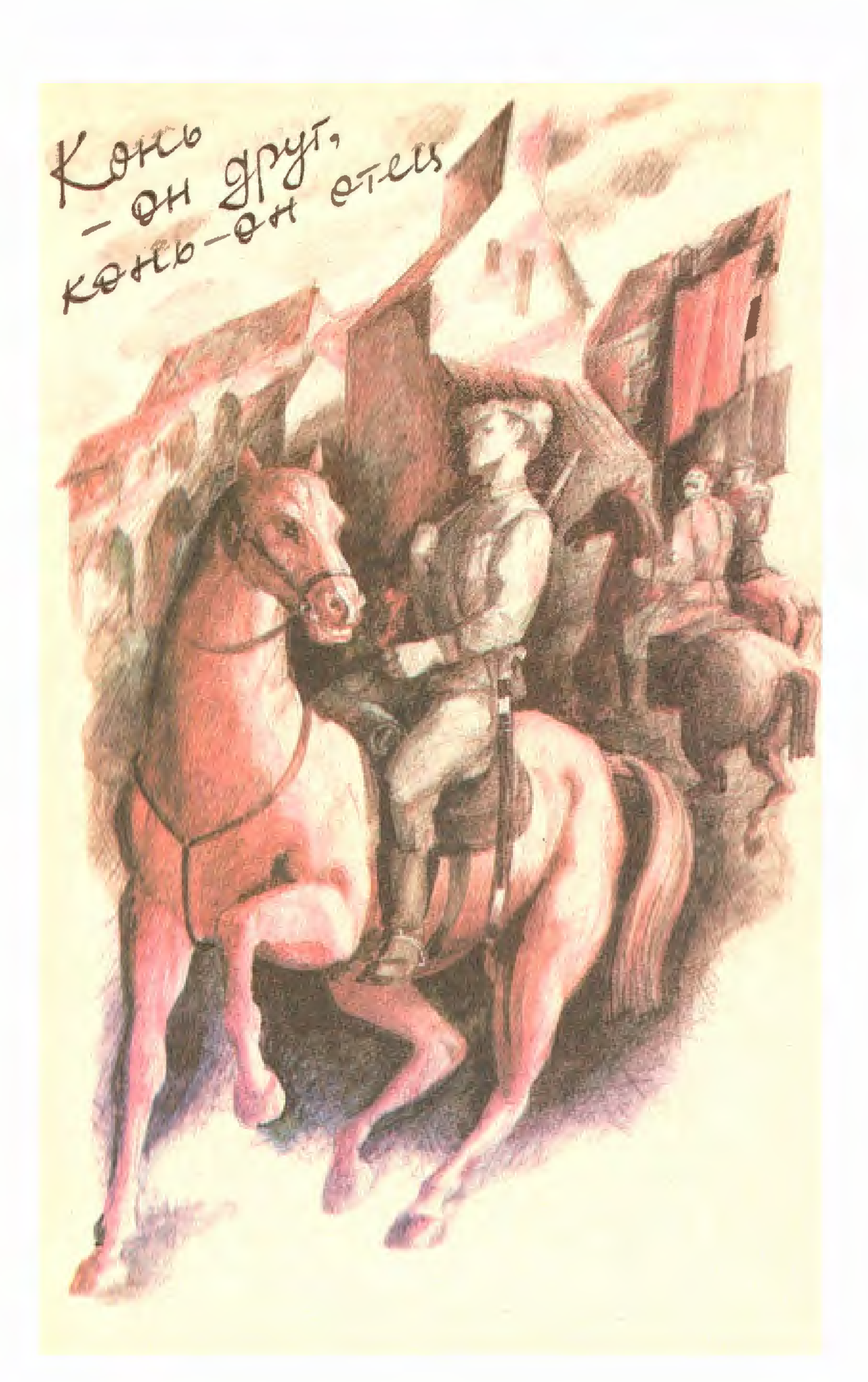
Пули густо летели в нашу сторону. Штаб бригады попал в полосу пулеметного обстрела. Мы бросились в лес и стали продираться сквозь кустарник, что по правую сторону шоссе. Расстрелянные ветви кряхтели над нами. Когда мы выбрались из кустов — казаков уже не было на прежнем месте. По приказанию начдива они отходили к Бродам. Только мужики огрызались из своих окопов редкими ружейными выстрелами да отставший Афонька догонял свой взвод.

Он ехал по самой обочине дороги, оглядывая и обнюхивая воздух. Стрельба на мгновение ослабла. Казак вздумал воспользоваться передышкой и двинулся карьером. В это мгновенье пуля пробила шею его лошади. Афонька проехал еще шагов сто, и здесь, в наших рядах, конь круто согнул передние ноги и повалился на землю.

Афонька не спеша вынул из стремени подмятую ногу. Он сел на корточки и поковырял в ране медным пальцем. Потом Бида выпрямился и обвел блистающий горизонт томительным взглядом.

— Прощай, Степан,— сказал он деревянным голосом, отступив от издыхающего животного, и поклонился ему в пояс,— как ворочуся без тебя в тихую станицу?.. Куда подеваю с-под тебя расшитое седелко? Прощай, Степан,— повторил он сильнее, задохся, пискнул, как пойманная мышь, и завыл. Клокочущий вой достиг нашего слуха, и мы увидели Афоньку, бьющего поклоны, как кликуша в церкви.— Ну, не покорюсь же судьбе-шкуре,— закричал он, отнимая руки от помертвевшего лица,— ну, беспощадно же буду рубать несказанную шляхту! До сердечного вздоха дойду, до вздоха ейного и богоматериной крови... При станичниках, дорогих братьях обещаюся тебе, Степан...

Афонька лег лицом в рану и затих. Устремив на хозяина сияющий глубокий фиолетовый глаз, конь слушал рвущееся Афонькино хрипение. Он в нежном забытьи поводил по земле упавшей мордой, и струи крови, как две рубиновые шлеи, стекали по его груди, выложенной белыми мускулами.


Конь
— он друг,
конь — он отец

Афонька лежал не шевелясь. Мелко перебирая толстыми ногами, к лошади подошел Маслак, вставил револьвер ей в ухо и выстрелил. Афонька вскочил и повернул к Маслаку рябое лицо.

— Сбирай сбрую, Афанасий,— сказал Маслак ласково,— иди до части...

И мы с пригорка увидели, как Афонька, согбенный под тяжестью седла, с лицом сырым и красным, как рассеченное мясо, брел к своему эскадрону, беспредельно одинокий в пыльной, пылающей пустыне полей.

Поздним вечером я встретил его в обозе. Он спал на возу, хранившем его добро — сабли, френчи и золотые проколотые монеты. Запекшаяся голова взводного с перекошенным мертвым ртом валялась, как распятая, на сгибе седла. Рядом была положена сбруя убитой лошади, затейливая и вычурная одежда казацкого скакуна — нагрудники с черными кистями, гибкие ремни нахвостников, унизанные цветными камнями, и уздечка с серебряным тиснением.

Тьма надвигалась на нас все гуще. Обоз тягуче кружился по Бродскому шляху; простенькие звезды катились по млечным путям неба, и дальние деревни горели в прохладной глубине ночи. Помощник эскадронного Орлов и длинноусый Биценко сидели тут же, на Афонькином возу, и обсуждали Афонькино горе.

— С дому коня ведет,— сказал длинноусый Биценко,— такого коня — где его найдешь?

— Конь — он друг,— ответил Орлов.

— Конь — он отец,— вздохнул Биценко,— бесчисленно раз жизню спасает. Пропасть Биде без коня...

А наутро Афонька исчез. Начались и кончились бои под Бродами. Поражение сменилось временной победой, мы пережили смену начдива, а Афоньки все не было. И только грозный ропот на деревнях, злой и хищный след Афонькиного разбоя указывал нам трудный его путь.

— Добывает коня,— говорили о взводном в эскадроне, и в необозримые вечера наших скитаний я немало наслушался историй о глухой этой, свирепой добыче.

Бойцы из других частей натыкались на Афоньку в десятках верст от нашего расположения. Он сидел в засаде на отставших польских кавалеристов или рыскал по лесам, отыскивая схороненные крестьянские табуны. Он поджигал деревни и расстреливал польских старост за укрывательство. До нашего слуха доносились отголоски этого яростного единоборства, отголоски воровского нападения одинокого волка на громаду.

Прошла еще неделя. Горькая злоба дня выжгла из нашего обихода рассказы о мрачном Афонькином удальстве, и «Махно» стали забывать. Потом пронесся слух, что где-то в лесах его закололи галицийские крестьяне. И в день вступления нашего в Берестечко Емельян Будяк из первого эскадрона пошел уже к начдиву выпрашивать Афонькино седло с желтым потником. Емельян хотел выехать на парад с новым седлом, но не пришлось ему.

Мы вступили в Берестечко 6 августа. Впереди нашей дивизии двигался азиатский бешмет и красный казакин нового начдива. Левка, бешеный холуй, вел за начдивом заводскую кобылицу. Боевой марш, полный протяжной угрозы, летел вдоль вычурных и нищих улиц. Ветхие тупики, расписной лес дряхлых и судорожных перекладин пролегал по местечку. Сердцевина его, выеденная временами, дышала на нас грустным тленом. Контрабандисты и ханжи укрылись в своих просторных сумрачных избах. Один только пан Людомирский, звонарь в зеленом сюртуке, встретил нас у костела.

Мы перешли реку и углубились в мещанскую слободу. Мы приближались к дому ксендза, когда из-за поворота на рослом жеребце выехал Афонька.

— Почтение,— произнес он лающим голосом и, расталкивая бойцов, занял в рядах свое место.

Маслак уставился в бесцветную даль и прохрипел, не оборачиваясь:

— Откуда коня взял?

— Собственный,— ответил Афонька, свернул папиросу и коротким движением языка заслюнил ее.

Казаки подъезжали к нему один за другим и здоровались. Вместо левого глаза на его обуглившемся лице отвратительно зияла чудовищная розовая опухоль.

А на другое утро Бида гулял. Он разбил в костеле раку святого Валента и пытался играть на органе. На нем была выкроенная из голубого ковра куртка с вышитой на спине лилией, и потный чуб его был расчесан поверх вытекшего глаза.

После обеда он заседлал коня и стрелял из винтовки в выбитые окна замка графов Рациборских. Казаки полукругом стояли вокруг него... Они задирали жеребцу хвост, щупали ноги и считали зубы.

— Фигуральный конь,— сказал Орлов, помощник эскадронного.

— Лошадь справная,— подтвердил длинноусый Биценко.



## У СВЯТОГО ВАЛЕНТА

Дивизия наша заняла Берестечко вчера вечером. Штаб остановился в доме ксендза Тузинкевича. Переодевшись бабой, Тузинкевич бежал из Берестечка перед вступлением наших войск. О нем я знаю, что он сорок пять лет возился с богом в Берестечке и был хорошим ксендзом. Когда жители хотят, чтобы мы это поняли, они говорят: его любили евреи. При Тузинкевиче обновили древний костел. Ремонт кончили в день трехсотлетия храма. Из Житомира приехал тогда епископ. Прелаты в шелковых рясах служили перед костелом молебен. Пузатые и благостные — они стояли, как колокола в росистой траве. Из окрестных сел текли покорные реки. Мужичье преклоняло колени, целовало руки, и на небесах в тот же день пламенели невиданные облака. Небесные флаги веяли в честь старого костела. Сам епископ поцеловал Тузинкевича в лоб и назвал его отцом Берестечка, pater Berestecka.

Эту историю я узнал утром в штабе, где разбирал донесение обходной колонны нашей, ведшей разведку на Львов в районе Радзихова. Я читал бумаги, храп вестовых за моей спиной говорил о нескончаемой нашей бездомности. Писаря, отсыревшие от бессонницы, писали приказы по дивизии, ели огурцы и чихали. Только к полудню я освободился, подошел к окну и увидел храм Берестечка — могущественный и белый. Он светился в нежарком солнце, как фаянсовая башня. Молнии полудня блистали в его глянцевитых боках. Выпуклая их линия начиналась у древней зелени куполов и легко сбегала книзу. Розовые жилы тлели в белом камне фронтона, а на вершине были колонны, тонкие, как свечи.

Потом пение органа поразило мой слух, и тотчас же в дверях штаба появилась старуха с распущенными желтыми волосами. Она двигалась, как собака с перебитой лапой,

кружась и припадая к земле. Зрачки ее были налиты белой влагой слепоты и брызгали слезами. Звуки органа, то тягостные, то поспешные, подплывали к нам. Полет их был труден, след звенел жалобно и долго. Старуха вытерла слезы желтыми своими волосами, села на землю и стала целовать сапоги мои у колена. Орган умолк и потом захохотал на басовых нотах. Я схватил старуху за руку и оглянулся. Писаря стучали на машинках, вестовые храпели все заливистей, шпоры их резали войлок под бархатной обивкой диванов. Старуха целовала мои сапоги с нежностью, обняв их, как младенца. Я потащил ее к выходу и запер за собой дверь. Костел встал перед нами ослепительный, как декорация. Боковые ворота его были раскрыты, и на могилах польских офицеров валялись конские черепа.

Мы вбежали во двор, прошли сумрачный коридор и попали в квадратную комнату, пристроенную к алтарю. Там хозяйничала Сашка, сестра 31-го полка. Она копалась в шелках, брошенных кем-то на пол. Мертвенный аромат парчи, рассыпавшихся цветов, душистого тления лился в ее трепещущие ноздри, щекоча и отравляя. Потом в комнату вошли казаки. Они захохотали, схватили Сашку за руку и кинули с размаху на гору материй и книг. Тело Сашки, цветущее и вонючее, как мясо только что зарезанной коровы, заголилось, поднявшиеся юбки открыли ее ноги эскадронной дамы, чугунные, стройные ноги, и Курдюков, придурковатый малый, усевшись на Сашке верхом и трясясь, как в седле, притворился объятым страстью. Она сбросила его и кинулась к дверям. И только тогда, пройдя алтарь, мы проникли в костел.

Он был полон света, этот костел, полон танцующих лучей, воздушных столбов, какого-то прохладного веселья. Как забыть мне картину, висевшую у правого придела и написанную Аполеком? На этой картине двенадцать розовых патеров качали в люльке, перевитой лентами, пухлого младенца Иисуса. Пальцы ног его оттопырены, тело отлакировано утренним жарким потом. Дитя барахтается на жирной спинке, собранной в складки, двенадцать апостолов в кардинальских тиарах склонились над колыбелью. Их лица выбриты до синевы, пламенные плащи оттопыриваются на животах. Глаза апостолов сверкают мудростью, решимостью, весельем, в углах их ртов бродит тонкая усмешка, на двойные подбородки посажены огненные бородавки, малиновые бородавки, как редиска в мае.

В этом храме Берестечка была своя, была обольстительная точка зрения на смертные страдания сынов челове-

ческих. В этом храме святые шли на казнь с картинностью итальянских певцов и черные волосы палачей лоснились, как борода Олоферна. Тут же над царскими вратами я увидел кощунственное изображение Иоанна, принадлежащего еретической и упоительной кисти Аполека. На изображении этом Креститель был красив той двусмысленной недоговоренной красотой, ради которой наложницы королей теряют свою наполовину потерянную честь и расцветающую жизнь.

Вначале я не заметил следов разрушения в храме, или они показались мне невелики. Была сломана только рака святого Валента. Куски истлевшей ваты валялись под ней и смехотворные кости святого, похожие больше всего на кости курицы. Да Афонька Бида играл еще на органе. Он был пьян, Афонька, дик и изрублен. Только вчера вернулся он к нам с отбитым у мужиков конем. Афонька упрямо пытался подобрать на органе марш, и кто-то уговаривал его сонным голосом: «Брось, Афоня, идем снедать». Но казак не бросал: их было множество — Афонькиных песен. Каждый звук был песня, и все звуки были оторваны друг от друга. Песня — ее густой напев — длилась мгновение и переходила в другую... Я слушал, озирался, следы разрушения казались мне невелики. Но не так думал пан Людомирский, звонарь церкви святого Валента и муж слепой старухи.

Людомирский выполз неизвестно откуда. Он вошел в костел ровным шагом с опущенной головой. Старик не решился накинуть покрывала на выброшенные мощи, потому что человеку простого звания не дозволено касаться святыни. Звонарь упал на голубые плиты пола, поднял голову, и синий нос его стал над ним, как флаг над мертвецом. Синий нос трепетал над ним, и в это мгновение у алтаря заколебалась бархатная завеса и, трепеща, отползла в сторону. В глубине открывшейся ниши, на фоне неба, изборожденного тучами, бежала бородатая фигурка в оранжевом кунтуше — босая, с разодранным и кровоточащим ртом. Хриплый вой разорвал тогда наш слух. Человека в оранжевом кунтуше преследовала ненависть и настигала погоня. Он выгнул руку, чтобы отвести занесенный удар, из руки пурпурным током вылилась кровь. Казачонок, стоявший со мной рядом, закричал и, опустив голову, бросился бежать, хотя бежать было не от чего, потому что фигура в нише была всего только Иисус Христос — самое необыкновенное изображение бога из всех виденных мною в жизни.

Спаситель пана Людомирского был курчавый еврей с клочковатой бородкой и низким, сморщенным лбом. Впалые

щеки его были накрашены кармином, над закрывшимися от боли глазами выгнулись тонкие рыжие брови.

Рот его был разодран, как губа лошади, польский кунтуш его был охвачен драгоценным поясом, и под кафтаном корчились фарфоровые ножки, накрашенные, босые, изрезанные серебристыми гвоздями.

Пан Людомирский в зеленом сюртуке стоял под статуей. Он простер над нами иссохшую руку и проклял нас. Казаки выпучили глаза и развесили соломенные чубы. Громовым голосом звонарь церкви святого Валента предал нас анафеме на чистейшей латыни. Потом он отвернулся, упал на колени и обнял ноги спасителя.

Придя к себе в штаб, я написал рапорт начальнику дивизии об оскорблении религиозного чувства местного населения. Костел было приказано закрыть, а виновных, подвергнув дисциплинарному взысканию, предать суду военного трибунала.

## ЭСКАДРОННЫЙ ТРУНОВ

В полдень мы привезли в Сокаль простреленное тело Трунова, эскадронного нашего командира. Он был убит утром в бою с неприятельскими аэропланами. Все попадания у Трунова были в лицо, щеки его были усеяны ранами, язык вырван. Мы обмыли, как умели, лицо мертвеца для того, чтобы вид его был менее ужасен, мы положили кавказское седло у изголовья гроба и вырыли Трунову могилу на торжественном месте — в общественном саду, посреди города, у самого забора. Туда явился наш эскадрон на конях, штаб полка и военком дивизии. И в два часа, по соборным часам, дряхлая наша пушчонка дала первый выстрел. Она салютовала мертвому командиру во все старые свои три дюйма, она сделала полный салют, и мы поднесли гроб к открытой яме. Крышка гроба была открыта, полуденное чистое солнце освещало длинный труп, и рот его, набитый разломанными зубами, и вычищенные сапоги, сложенные в пятках, как на ученье.

— Бойцы! — сказал тогда, глядя на покойника, Пугачов, командир полка, и стал у края ямы.— Бойцы! — сказал он, дрожа и вытягиваясь по швам.— Хороним Пашу Трунова, всемирного героя, отдаем Паше последнюю честь...

И, подняв к небу глаза, раскаленные бессонницей, Пугачов прокричал речь о мертвых бойцах из Первой Конной, о гордой этой фаланге, бьющей молотом истории по наковальне будущих веков. Пугачов громко прокричал свою речь, он сжимал рукоять кривой чеченской шашки и рыл землю ободранными сапогами в серебряных шпорах. Оркестр после его речи сыграл «Интернационал», и казаки простились с Пашкой Труновым. Весь эскадрон вскочил на коней и дал залп в воздух, трехдюймовка наша прошамкала во второй раз, и мы послали трех казаков за венком. Они

помчались, стреляя на карьере, выпадая из седел и джигитуя, и привезли красных цветов целые пригоршни. Пугачов рассыпал эти цветы у могилы, и мы стали подходить к Трунову с последним целованием. Я тронул губами прояснившийся лоб, обложенный седлом, и ушел в город, в готический Сокаль, лежавший в синей пыли и галицийском унынии.

Большая площадь простиралась налево от сада, площадь, застроенная древними синагогами. Евреи в рваных лапсердаках бранились на этой площади и таскали друг друга. Одни из них — ортодоксы — превозносили учение Адасии, раввина из Белза; за это на ортодоксов наступали хасиды умеренного толка, ученики гуссятинского раввина Иуды. Евреи спорили о Каббале и поминали в своих спорах имя Ильи, виленского гаона, гонителя хасидов...

Забыв войну и залпы, хасиды поносили самое имя Ильи, виленского первосвященника, и я, томясь печалью по Трунову, я тоже толкался среди них и для облегчения моего горланил вместе с ними, пока не увидел перед собой галичанина, мертвенного и длинного, как Дон-Кихот.

Галичанин этот был одет в белую холщовую рубаху до пят. Он был одет как бы для погребения или для причастия и вел на веревке взлохмаченную коровенку. На гигантское его туловище была посажена подвижная, крохотная, пробитая головка змеи; она была прикрыта широкополой шляпой из деревенской соломы и пошатывалась. Жалкая коровенка шла за галичанином на поводу; он вел ее с важностью и виселицей длинных своих костей пересекал горячий блеск небес.

Торжественным шагом миновал он площадь и вошел в кривой переулок, обкуренный тошнотворными густыми дымами. В обугленных домишках, в нищих кухнях возились еврейки, похожие на старых негритянок, еврейки с непомерными грудями. Галичанин прошел мимо них и остановился в конце переулка у фронтона разбитого здания.

Там, у фронтона, у белой покоробленной колонны сидел цыган-кузнец и ковал лошадей. Цыган бил молотом по копытам, потряхивая жирными волосами, свистел и улыбался. Несколько казаков с лошадьми стояли вокруг него. Мой галичанин подошел к кузнецу, безмолвно отдал ему с дюжину печеных картофелин и, ни на кого не глядя, повернул назад. Я зашагал было за ним, но тут меня остановил казак, державший наготове некованую лошадь. Фамилия этому казаку была Селиверстов. Он ушел от Махно когда-то и служил в 33-м кавполку.

— Лютов,— сказал он, поздоровавшись со мной за руку,— ты всех людей задираешь, в тебе черт сидит, Лютов,— зачем ты Трунова покалечил сегодняшнее утро?

И с глупых чужих слов Селиверстов закричал мне сущую нелепицу о том, будто я в нынешнее утро побил Трунова, моего эскадронного. Селиверстов укорял меня всячески за это, он укорял меня при всех казаках, но в истории его не было ничего верного. Мы побранились, правда, в это утро с Труновым, потому что Трунов заводил всегда с пленными нескончаемую канитель, мы побранились с ним, но он умер, Пашка, ему нет больше судей в мире, и я ему последний судья из всех. У нас вот почему вышла ссора.

Сегодняшних пленных мы взяли на рассвете у станции Заводы. Их было десять человек. Они были в нижнем белье, когда мы их брали. Куча одежды валялась возле поляков, это была их уловка для того, чтобы мы не отличили по обмундированию офицеров от рядовых. Они сами бросали свою одежду, но на этот раз Трунов решил добыть истину.

— Офицера́, выходи! — скомандовал он, подходя к пленным, и вытащил револьвер.

Трунов был уже ранен в голову в это утро, голова его была обмотана тряпкой, кровь стекала с нее, как дождь со скирды.

— Офицера, сознавайся! — повторил он и стал толкать поляков рукояткой револьвера.

Тогда из толпы выступил худой и старый человек, с большими голыми костями на спине, с желтыми скулами и висячими усами.

— ...Край той войне,— сказал старик с непонятным восторгом,— вси офицер утик, край той войне...

И поляк протянул эскадронному синие руки.

— Пять пальцев,— сказал он, рыдая и вертя вялой громадной рукой,— цими пятью пальцами я выховал мою семейству...

Старик задохся, закачался, истек восторженными слезами и упал перед Труновым на колени, но Трунов отвел его саблей.

— Офицера ваши гады,— сказал эскадронный,— офицера ваши побросали здесь одежду... На кого придется — тому крышка, я пробу сделаю...

И тут же эскадронный выбрал из кучи тряпья фуражку с кантом и надвинул ее на старого.

— Впору,— пробормотал Трунов, придвигаясь и пришептывая,— впору...— И всунул пленному саблю в глотку.

Старик упал, повел ногами, из горла его вылился пенистый коралловый ручей. Тогда к нему подобрался, блестя серьгой и круглой деревенской шеей, Андрюшка Восьмилетов. Андрюшка расстегнул у поляка пуговицы, встряхнул его легонько и стал стаскивать с умирающего штаны. Он перебросил их к себе на седло, взял еще два мундира из кучи, потом отъехал от нас и заиграл плетью. Солнце в это мгновение вышло из туч. Оно стремительно окружило Андрюшкину лошадь, веселый ее бег, беспечные качанья ее куцего хвоста. Андрюшка ехал по тропинке к лесу, в лесу стоял наш обоз, кучера из обоза бесновались, свистели и делали Восьмилетову знаки, как немому.

Казак доехал уже до середины пути, но тут Трунов, упавший вдруг на колени, прохрипел ему вслед:

— Андрей,— сказал эскадронный, глядя в землю,— Андрей,— повторил он, не поднимая глаз от земли,— республика наша Советская живая еще, рано дележку ей делать, скидай барахло, Андрей.

Но Восьмилетов не обернулся даже. Он ехал казацкой удивительной своей рысью, лошаденка его бойко выкидывала из-под себя хвост, точно отмахивалась от нас.

— Измена! — пробормотал тогда Трунов и удивился.— Измена! — сказал он, торопливо вскинул карабин на плечо, выстрелил и промахнулся второпях. Но Андрей остановился на этот раз. Он повернул к нам коня, запрыгал в седле по-бабьи, лицо его стало красно и сердито, он задрыгал ногами.

— Слышь, земляк,— закричал он, подъезжая, и тут же успокоился от звука глубокого и сильного своего голоса,— как бы я не стукнул тебя, земляк, к такой-то свет матери... Тебе десяток шляхты прибрать — ты вона каку панику делаешь, мы по сотне прибирали — тебя не звали... Рабочий ты если — так сполняй свое дело...

И, выбросив из седла штаны и два мундира, Андрюшка засопел носом и, отворачиваясь от эскадронного, взялся помогать мне составлять список на оставшихся пленных. Он терся возле меня, сопел необыкновенно шумно. Пленные выли и бежали от Андрюшки, он гнался за ними и брал в охапку, как охотник берет в охапку камыши для того, чтобы рассмотреть стаю, тянущую к речке на заре.

Возясь с пленными, я истощил все проклятия и кое-как записал восемь человек, номера их частей, род оружия и перешел к девятому. Девятый этот был юноша, похожий на немецкого гимнаста из хорошего цирка, юноша с белой немецкой грудью и с бачками, в триковой фуфайке и в еге-

ревских кальсонах. Он повернул ко мне два соска на высокой груди, откинул вспотевшие белые волосы и назвал свою часть. Тогда Андрюшка схватил его за кальсоны и спросил строго:

— Откуда сподники достал?

— Матка вязала,— ответил пленный и покачнулся.

— Фабричная у тебя матка,— сказал Андрюшка, все приглядываясь, и подушечками пальцев потрогал у поляка холеные ногти,— фабричная у тебя матка, наш брат таких не нашивал...

Он еще раз пощупал егеревские кальсоны и взял за руку девятого, для того чтобы отвести к остальным пленным, уже записанным. Но в это мгновение я увидел Трунова, вылезающего из-за бугра. Кровь стекала с головы эскадронного, как дождь со скирды, грязная тряпка его размоталась и повисла, он полз на животе и держал карабин в руках. Это был японский карабин, отлакированный и с сильным боем. С двадцати шагов Пашка разнес юноше череп, и мозги поляка посыпались мне на руки. Тогда Трунов выбросил гильзы из ружья и подошел ко мне.

— Вымарай одного,— сказал он, указывая на список.

— Не стану вымарывать,— ответил я, содрогаясь.— Троцкий, видно, не для тебя приказы пишет, Павел...

— Вымарай одного! — повторил Трунов и ткнул в бумажку черным пальцем.

— Не стану вымарывать! — закричал я изо всех сил.— Было десять, стало восемь, в штабе не посмотрят на тебя, Пашка...

— В штабе через несчастную нашу жизнь посмотрят,— ответил Трунов и стал подвигаться ко мне, весь разодранный, охрипший и в дыму, но потом остановился, поднял к небесам окровавленную голову и сказал с горьким упреком: — Гуди, гуди,— сказал он,— эвон еще и другой гудит...

И эскадронный показал нам четыре точки в небе, четыре бомбовоза, заплывавшие за сияющие лебединые облака. Это были машины из воздушной эскадрильи майора Фаунт-Ле-Ро, просторные бронированные машины.

— По коням! — закричали взводные, увидев их, и на рысях отвели эскадрон к лесу, но Трунов не поехал со своим эскадроном. Он остался у станционного здания, прижался к стене и затих. Андрюшка Восьмилетов и два пулеметчика, два босых парня в малиновых рейтузах, стояли возле него и тревожились.

— Нарезай винты, ребята,— сказал им Трунов, и кровь

стала уходить из его лица,— вот донесение Пугачову от меня...

И гигантскими мужицкими буквами Трунов написал на косо выдранном листке бумаги:

*«Имея погибнуть сего числа,—* написал он,— *нахожу долгом приставить двух номеров к возможному сбитию неприятеля и в то же время отдаю командование Семену Голову, взводному...»*

Он запечатал письмо, сел на землю и, понатужившись, стянул с себя сапоги.

— Пользовайся,— сказал он, отдавая пулеметчикам донесение и сапоги,— пользовайся, сапоги новые...

— Счастливо вам, командир,— пробормотали ему в ответ пулеметчики, переступили с ноги на ногу и мешкали уходить.

— И вам счастливо,— сказал Трунов,— как-нибудь, ребята...— и пошел к пулемету, стоявшему на холмике у станционной будки. Там ждал его Андрюшка Восьмилетов, барахольщик.

— Как-нибудь,— сказал ему Трунов и взялся наводить пулемет.— Ты со мной, што ль, побудешь, Андрей?..

— Господа Иисуса,— испуганно ответил Андрюшка, всхлипнул, побелел и засмеялся,— господа Иисуса хоругву мать!..

И стал наводить на аэроплан второй пулемет.

Машины залетали над станцией все круче, они хлопотливо трещали в вышине, снижались, описывали дуги, и солнце розовым лучом ложилось на блеск их крыльев.

В это время мы, четвертый эскадрон, сидели в лесу. Там, в лесу, мы дождались неравного боя между Пашкой Труновым и майором американской службы Реджинальдом Фаунт-Ле-Ро. Майор и три его бомбометчика выказали уменье в этом бою. Они снизились на триста метров и расстреляли из пулеметов сначала Андрюшку, потом Трунова. Все ленты, выпущенные нашими, не причинили американцам вреда; аэропланы улетели в сторону, не заметив эскадрона, спрятанного в лесу. И поэтому, выждав с полчаса, мы смогли поехать за трупами. Тело Андрюшки Восьмилетова забрали два его родича, служившие в нашем эскадроне, а Трунова, покойного нашего командира, мы отвезли в готический Сокаль и похоронили его там на торжественном месте — в общественном саду, в цветнике, посредине города.

## ИВАНЫ

Дьякон Аггеев бежал с фронта дважды. Его отдали за это в Московский клейменый полк. Главком Каменев, Сергей Сергеевич, смотрел этот полк в Можайске перед отправкой на позиции.

— Не надо их мне,— сказал главком,— обратно их в Москву, отхожие чистить...

В Москве кое-как сбили из клейменых маршевую роту. В числе других попал дьякон. Он прибыл на польский фронт и сказался там глухим. Лекпом Барсуцкий из перевязочного отряда, провозившись с ним неделю, не сломил его упорства.

— Шут с ним, с глухарем,— сказал Барсуцкий санитару Сойченке,— подыщи в обозе телегу, отправим дьякона в Ровно на испытание...

Сойченко ушел в обоз и добыл три телеги: на первой из них сидел кучером Акинфиев.

— Иван,— сказал ему Сойченко,— отвезешь глухаря в Ровно.

— Отвезти можно,— ответил Акинфиев.

— И расписку мне доставишь в получении...

— Ясно,— сказал Акинфиев,— а какая в ней причина, в глухоте его?..

— Своя рогожа чужой рожи дороже,— сказал Сойченко, санитар.— Тут вся причина. Фармазонщик он, а не глухарь...

— Отвезти можно,— повторил Акинфиев и поехал следом за другими подводами.

Всего собралось у перевязочного пункта три телеги. На первую посадили сестру, откомандированную в тыл, вторую отвели для казака, больного воспалением почек, на третью сел Иван Аггеев, дьякон.

Исполнив все дела, Сойченко позвал лекпома.

— Поехал наш фармазонщик,— сказал он,— погрузил на ревтрибунальских под расписку. Сейчас трогают...

Барсуцкий выглянул в окошко, увидел телеги и кинулся из дому, весь красный и без шапки.

— Ох, да ты его зарежешь! — закричал он Акинфиеву.— Пересадить надо дьякона.

— Куда его пересадишь,— ответили казаки, стоявшие поблизости, и засмеялись.— Ваня наш везде достанет...

Акинфиев с кнутом в руках стоял тут же, возле своих лошадей. Он снял шапку и сказал вежливо:

— Здравствуйте, товарищ лекпом.

— Здравствуй, друг,— ответил Барсуцкий,— ты ведь зверь, пересадить надо дьякона...

— Поинтересуюсь узнать,— визгливо сказал тогда казак, и верхняя губа его вздрогнула, поползла и затрепетала над ослепительными зубами,— поинтересуюсь узнать, подходяще ли оно нам или неподходяще, что когда враг тиранит нас невыразимо, когда враг бьет нас под самый вздох, когда он виснет грузом на ногах и вяжет змеями наши руки, подходяще ли оно нам законопачивать уши в смертельный этот час?

— Стоит Ваня за комиссариков,— прокричал Коротков, кучер с первой телеги,— ох, стоит...

— Чего там «стоит»! — пробормотал Барсуцкий и отвернулся.— Все мы стоим. Только дела надо делать форменно...

— А ведь он слышит, глухарь-то наш,— перебил вдруг Акинфиев, повертел кнут в толстых пальцах, засмеялся и подмигнул дьякону. Тот сидел на возу, опустив громадные плечи, и двигал головой.

— Ну, трогай с богом! — закричал лекарь с отчаянием.— Ты мне за все ответчик, Иван...

— Ответить я согласен,— задумчиво произнес Акинфиев и наклонил голову.— Сидай удобне́й,— сказал он дьякону, не оборачиваясь,— еще удобне́й седай,— повторил казак и собрал в руке вожжи.

Телеги выстроились в ряд и одна за другой помчались по шоссе. Впереди ехал Коротков, Акинфиев был третьим, он свистел песню и помахивал вожжей. Так отъехали они верст пятнадцать и к вечеру были опрокинуты внезапным разливом неприятеля.

В этот день, двадцать второго июля, поляки быстрым маневром исковеркали тыл нашей армии, ворвались с налета в местечко Козин и пленили многих бойцов из состава одиннадцатой дивизии. Эскадроны шестой дивизии были

брошены в район Козина для противодействия противнику. Молниеносное маневрирование частей искромсало движение обозов, ревтрибунальские телеги двое суток блуждали по кипящим выступам боя, и только на третью ночь они выбились на дорогу, по которой уходили тыловые штабы. На этой дороге в полночь я и встретил их.

Окоченевший от отчаяния, я встретил их после боя под Хотином. В бою под Хотином убили моего коня. Потеряв его, я пересел на санитарную линейку и до вечера подбирал раненых. Потом здоровых сбросили с линейки, и я остался один у развалившейся халупы. Ночь летела ко мне на резвых лошадях. Вопль обозов оглашал вселенную. На земле, опоясанной визгом, потухали дороги. Звезды выползли из прохладного брюха ночи, и брошенные села воспламенялись над горизонтом. Взвалив на себя седло, я пошел по развороченной меже и у поворота остановился по своей нужде. Облегчившись, я застегнулся и почувствовал брызги на моей руке. Я зажег фонарик, обернулся и увидел на земле труп поляка, залитый моей мочой. Записная книжка и обрывки воззваний Пилсудского валялись рядом с трупом. В тетрадке поляка были записаны карманные расходы, порядок спектаклей в краковском драматическом театре и день рождения женщины по имени Мария-Луиза. Воззванием Пилсудского, маршала и главнокомандующего, я стер вонючую жидкость с черепа неведомого моего брата и ушел, сгибаясь под тяжестью седла.

В это время где-то близко простонали колеса.

— Стой! — закричал я.— Кто идет?

Ночь летела ко мне на резвых лошадях, пожары извивались на горизонте.

— Ревтрибунальские,— ответил голос, задавленный тьмой.

Я побежал вперед и наткнулся на телегу.

— Коня у меня убили,— сказал я громко,— Лавриком коня звали...

Никто не ответил мне. Я взобрался на телегу, подложил седло под голову, заснул и проспал до рассвета, согреваемый прелым сеном и телом Ивана Акинфиева, случайного моего соседа. Утром казак проснулся позже меня.

— Развиднялось, слава богу,— сказал он, вытащил из-под сундучка револьвер и выстрелил над ухом дьякона. Тот сидел прямо перед ним и правил лошадьми. Над громадой лысеющего его черепа летал легкий серый волос. Акинфиев выстрелил еще раз над другим ухом и спрятал револьвер в кобуру.


Таперь
каждый
каждого
судит

— С добрым утром, Ваня! — сказал он дьякону, кряхтя и обуваясь.— Снедать будем, что ли?

— Парень,— закричал я,— чего ты делаешь?

— Чего делаю, все мало,— ответил Акинфиев, доставая пищу,— он симулирует надо мной третьи сутки...

Тогда с первой телеги отозвался Коротков, знакомый мне по 31-му полку, рассказал всю историю дьякона сначала. Акинфиев слушал его внимательно, отогнув ухо, потом вытащил из-под седла жареную воловью ногу. Она была прикрыта рядном и обвалялась в соломе.

Дьякон перелез к нам с козел, подрезал ножичком зеленое мясо и раздал всем по куску. Кончив завтрак, Акинфиев завязал воловью ногу в мешок и сунул его в сено.

— Ваня,— сказал он Аггееву,— айда беса выгонять. Стоянка все равно, коней напувают...

Он вынул из кармана пузырек с лекарством, шприц Тарновского и передал их дьякону. Они слезли с телеги и отошли в поле шагов на двадцать.

— Сестра,— закричал Коротков на первой телеге,— переставь очи на дальнюю дистанцию, ослепнешь от Акинфиевых достатков.

— Положила я на вас с прибором,— пробормотала женщина и отвернулась.

Акинфиев завернул тогда рубаху. Дьякон стал перед ним на колени и сделал спринцевание. Потом он вытер спринцовку тряпкой и посмотрел на свет. Акинфиев подтянул штаны; улучив минуту, он зашел дьякону за спину и снова выстрелил у него над самым ухом.

— Наше вам, Ваня,— сказал он, застегиваясь.

Дьякон отложил пузырек на траву и встал с колен. Легкий волос его взлетел кверху.

— Меня высший суд судить будет,— сказал он глухо,— ты надо мною, Иван, не поставлен...

— Таперя кажный кажного судит,— перебил кучер со второй телеги, похожий на бойкого горбуна.— И на смерть присуждает, очень просто...

— Или того лучше,— произнес Аггеев и выпрямился,— убей меня, Иван...

— Не балуй, дьякон,— подошел к нему Коротков, знакомый мне по прежним временам.— Ты понимай, с каким человеком едешь. Другой пришил бы тебя, как утку, и не крякнул, а он правду из тебя удит и учит тебя, расстригу...

— Или того лучше,— упрямо повторил дьякон и выступил вперед,— убей меня, Иван.

— Ты сам себя убьешь, стерва,— ответил Акинфиев, бледнея и шепелявя,— ты сам яму себе выроешь, сам себя в нее закопаешь...

Он взмахнул руками, разорвал на себе ворот и повалился на землю в припадке.

— Эх, кровиночка ты моя! — закричал он дико и стал засыпать себе песком лицо.— Эх, кровиночка ты моя горькая, власть ты моя совецкая...

— Вань,— подошел к нему Коротков и с нежностью положил ему руку на плечо,— не бейся, милый друг, не скучай. Ехать надо, Вань...

Коротков набрал в рот воды и прыснул ею на Акинфиева, потом он перенес его на подводу. Дьякон снова сел на козлы, и мы поехали.

До местечка Вербы оставалось нам не более двух верст. В местечке сгрудились в то утро неисчислимые обозы. Тут была одиннадцатая дивизия, и четырнадцатая, и четвертая. Евреи в жилетах, с поднятыми плечами, стояли у своих порогов, как ободранные птицы. Казаки ходили по дворам, собирали полотенца и ели неспелые сливы. Акинфиев, как только приехали, забрался в сено и заснул, а я взял одеяло с его телеги и пошел искать места в тени. Но поле по обе стороны дороги было усеяно испражнениями. Бородатый мужик в медных очках и в тирольской шляпке, читавший в сторонке газету, перехватил мой взгляд и сказал:

— Человеки зовемся, а гадим хуже шакалов. Земли стыдно...

И, отвернувшись, он снова стал читать газету через большие очки.

Я взял тогда к леску влево и увидел дьякона, подходившего ко мне все ближе.

— Куды котишься, земляк? — кричал ему Коротков с первой телеги.

— Оправиться,— пробормотал дьякон, схватил мою руку и поцеловал ее.— Вы славный господин,— прошептал он, гримасничая, дрожа и хватая воздух.— Прошу вас свободною минутой отписать в город Касимов, пущай моя супруга плачет обо мне...

— Вы глухи, отец дьякон,— закричал я в упор,— или нет?

— Виноват,— сказал он,— виноват,— и наставил ухо.

— Вы глухи, Агеев, или нет?

— Так точно, глух,— сказал он поспешно.— Третьего дня я имел слух в совершенстве, но товарищ Акинфиев стрельбою покалечил мой слух. Они в Ровно обязаны были

меня предоставить, товарищ Акинфиев, но полагаю, что они вряд ли меня доставят...

И, упав на колени, дьякон пополз между телегами головой вперед, весь опутанный поповским всклокоченным волосом. Потом он поднялся с колен, вывернулся между вожжами и подошел к Короткову. Тот отсыпал ему табаку, они скрутили папиросы и закурили друг у друга.

— Так-то вернее,— сказал Коротков и опростал возле себя место.

Дьякон сел с ним рядом, и они замолчали.

Потом проснулся Акинфиев. Он вывалил воловью ногу из мешка, подрезал ножиком зеленое мясо и раздал всем по куску. Увидев загнившую эту ногу, я почувствовал слабость и отчаяние и отдал обратно свое мясо.

— Прощайте, ребята,— сказал я,— счастливо вам...

— Прощай,— ответил Коротков.

Я взял седло с телеги и ушел и, уходя, слышал нескончаемое бормотание Ивана Акинфиева.

— Вань,— говорил он дьякону,— большую ты, Вань, промашку дал. Тебе бы имени моего ужаснуться, а ты в мою телегу сел. Ну, если мог ты еще прыгать, покеле меня не встренул, так теперь надругаюсь я над тобой, Вань, как пить дам надругаюсь...

## ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ОДНОЙ ЛОШАДИ

Четыре месяца тому назад Савицкий, бывший наш начдив, забрал у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Хлебников ушел тогда из армии, а сегодня Савицкий получил от него письмо.

### ХЛЕБНИКОВ — САВИЦКОМУ

*«И никакой злобы на Буденную армию больше иметь не могу, страдания мои посередь той армии понимаю и содержу их в сердце чище святыни. А вам, товарищ Савицкий, как всемирному герою, трудящаяся масса Витебщины, где нахожусь председателем уревкома, шлет пролетарский клич — «Даешь мировую революцию!» — и желает, чтобы тот белый жеребец ходил под вами долгие годы по мягким тропкам для пользы всеми любимой свободы и братских республик, в которых особенный глаз должны мы иметь за властью на местах и за волостными единицами в административном отношении...»*

### САВИЦКИЙ — ХЛЕБНИКОВУ

*«Неизменный товарищ Хлебников! Которое письмо ты написал для меня, то оно очень похвально для общего дела, тем более сказать, после твоей дурости, когда ты застелил глаза собственной шкурой и выступил из Коммунистической нашей партии большевиков. Коммунистическая наша партия есть, товарищ Хлебников, железная шеренга бойцов, отдающих кровь в первом ряду, и когда из железа вытекает кровь, то это вам, товарищ, не шутки, а победа*

*или смерть. То же самое относительно общего дела, которого не дожидаю увидеть расцвет, так как бои тяжелые и командный состав сменяю в две недели раз. Тридцатые сутки бьюсь арьергардом, заграждая непобедимую Первую Конную и находясь под действительным ружейным, артиллерийским и аэропланным огнем неприятеля. Убит Тардый, убит Лухманников, убит Лыкошенко, убит Гулевой, убит Трунов, и белого жеребца нет подо мной, так что согласно перемене военного счастья не дожидай увидеть любимого начдива Савицкого, товарищ Хлебников, а увидимся, прямо сказать, в царствии небесном, но, как по слухам, у старика на небесах не царствие, а бордель по всей форме, а трипперов и на земле хватает, то, может, и не увидимся. С тем прощай, товарищ Хлебников».*

## ВДОВА

На санитарной линейке умирает Шевелев, полковой командир. Женщина сидит у его ног. Ночь, пронзенная отблесками канонады, выгнулась над умирающим. Левка, кучер начдива, подогревает в котелке пищу. Левкин чуб висит над костром, стреноженные кони хрустят в кустах. Левка размешивает веткой в котелке и говорит Шевелеву, вытянувшемуся на санитарной линейке:

— Работал я, товарищок, в Тюмреке в городе, работал парфорсную езду, а также атлет легкого веса. Городок, конечно, для женщины утомительный, завидели меня дамочки, стены рушат... Лев Гаврилыч, не откажите принять закуску по карте, не пожалеете безвозвратно потерянного времени... Подались мы с одной в трактир. Требуем телятины две порции, требуем полштофа, сидим с ней совершенно тихо, выпиваем... Гляжу — суется ко мне некоторый господин, одет ничего, чисто, но в личности его я замечаю большое воображение, и сам он под мухой...

«Извиняюсь,— говорит,— какая у вас, между прочим, национальность?»

«По какой причине,— спрашиваю,— вы меня, господин, за национальность трогаете, когда я тем более нахожусь в дамском обществе?»

...А он:

«Какой вы,— говорит,— есть атлет... Во французской борьбе из таких бессрочную подкладку делают. Докажите мне свою нацию...»

...Ну, однако, еще не рубаю.

«Зачем вы,— не знаю вашего имени-отчества,— такое недоразумение вызываете, что здесь обязательно должен кто-нибудь в настоящее время погибнуть, иначе говоря, лечь до последнего издыхания?» До последнего лечь...—

повторяет Левка с восторгом и протягивает руки к небу, окружая себя ночью, как нимбом. Неутомимый ветер, чистый ветер ночи поет, наливается звоном и колышет души. Звезды пылают во тьме, как обручальные кольца, они падают на Левку, путаются в волосах и гаснут в лохматой его голове.

— Лев,— шепчет ему вдруг Шевелев синими губами,— иди сюда. Золото, какое есть,— Сашке,— говорит раненый,— кольца, сбрую — все ей. Жили, как умели... вознагражу. Одежду, сподники, орден за беззаветное геройство — матери на Терек. Отошли с письмом и напиши в письме: «Кланялся командир, и не плачь. Хата — тебе, старуха, живи. Кто тронет, скачи к Буденному: я — Шевелева матка...» Коня Абрамку жертвую полку, коня жертвую на помин моей души...

— Понял про коня,— бормочет Левка и взмахивает руками.— Саш,— кричит он женщине,— слыхала, чего говорит?.. При ём сознавайся — отдашь старухе ейное аль не отдашь?..

— Мать вашу в пять,— отвечает Сашка и отходит в кусты, прямая, как слепец.

— Отдашь сиротскую долю? — догоняет ее Левка и хватает за горло.— При ём говори...

— Отдам. Пусти!

И тогда, вынудив признание, Левка снял котелок с огня и стал лить варево умирающему в окостеневший рот. Щи стекали с Шевелева, ложка гремела в его сверкающих мертвых зубах, и пули все тоскливее, все сильнее пели в густых просторах ночи.

— Винтовками бьет, гад,— сказал Левка.

— Вот холуйское знатьё,— ответил Шевелев.— Пулеметами вскрывает нас на правом фланге...

И, закрыв глаза, торжественно, как мертвец на столе, Шевелев стал слушать бой большими восковыми своими ушами. Рядом с ним Левка жевал мясо, хрустя и задыхаясь. Кончив мясо, Левка облизал губы и потащил Сашку в ложбинку.

— Саш,— сказал он, дрожа, отрыгиваясь и вертя руками,— Саш, как перед богом, все одно в грехах как в репьях... Раз жить, раз подыхать. Поддайся, Саш, отслужу хучь бы кровью... Век его прошел, Саш, а дней у бога не убыло...

Они сели на высокую траву. Медлительная луна выползла из-за туч и остановилась на обнаженном Сашкином колене.


Всё одно
в грехах, как
в репьях

— Греетесь,— пробормотал Шевелев,— а он, гляди, Четырнадцатую дивизию погнал...

Левка хрустел и задыхался в кустах. Мглистая луна шлялась по небу, как побирушка. Далекая пальба плыла в воздухе. Ковыль шелестел на потревоженной земле, и в траву падали августовские звезды.

Потом Сашка вернулась на прежнее место. Она стала менять раненому бинты и подняла фонарик над загнивающей раной.

— К завтрему уйдешь,— сказала Сашка, обтирая Шевелева, вспотевшего прохладным потом.— К завтрему уйдешь, она в кишках у тебя, смерть...

И в это мгновение многоголосый плотный удар повалился на землю. Четыре свежие бригады, введенные в бой объединенным командованием неприятеля, выпустили по Буску первый снаряд и, разрывая наши коммуникации, зажгли водораздел Буга. Послушные пожары встали на горизонте, тяжелые птицы канонады вылетели из огня. Буск горел, и Левка полетел по лесу в качающемся экипаже начдива шесть. Он натянул малиновые вожжи и бился о пни лакированными колесами. Шевелевская линейка неслась за ним, внимательная Сашка правила лошадьми, прыгавшими из упряжки.

Так приехали они к опушке, где стоял перевязочный пункт. Левка выпряг лошадей и пошел к заведующему просить попону. Он пошел по лесу, заставленному телегами. Тела санитарок торчали под телегами, несмелая заря билась над солдатскими овчинами. Сапоги спящих были брошены врозь, зрачки заведены к небу, черные ямы ртов перекошены.

Попона нашлась у заведующего; Левка вернулся к Шевелеву, поцеловал его в лоб и покрыл с головой. Тогда к линейке приблизилась Сашка. Она вывязала себе платок под подбородком и отряхнула платье от соломы.

— Павлик,— сказала она.— Иисус Христос мой,— легла на мертвеца боком, прикрыв его своим непомерным телом.

— Убивается,— сказал тогда Левка,— ничего не скажешь, хорошо жили. Теперь ей снова под всем эскадроном хлопотать. Несладко...

И он проехал дальше, в Буск, где расположился штаб шестой кавдивизии.

Там, в десяти верстах от города, шел бой с савинковскими казаками. Предатели сражались под командой есаула Яковлева, передавшегося полякам. Они сражались мужест-

венно. Начдив вторые сутки был с войсками, и Левка, не найдя его в штабе, вернулся к себе в хату, почистил лошадей, облил водой колеса экипажа и лег спать в клуне. Сарай был набит свежим сеном, зажигательным, как духи. Левка выспался и сел обедать. Хозяйка сварила ему картошки, залила ее простоквашей. Левка сидел уже у стола, когда на улице раздался траурный вопль труб и топот многих копыт. Эскадрон с трубачами и штандартами проходил по извилистой галицийской улице. Тело Шевелева, положенное на лафет, было перекрыто знаменами. Сашка ехала за гробом на шевелевском жеребце, казацкая песня сочилась из задних рядов.

Эскадрон прошел по главной улице и повернул к реке. Тогда Левка, босой, без шапки, пустился бегом за уходящим отрядом и схватил за поводья лошадь командира эскадрона.

Ни начдив, остановившийся у перекрестка и отдававший честь мертвому командиру, ни штаб его не слышали, что сказал Левка эскадронному.

— Сподники...— донес к нам ветер обрывки слов,— мать на Тереке...— услышали мы Левкины бессвязные крики.

Эскадронный, не дослушав до конца, высвободил свои поводья и показал рукой на Сашку. Женщина помотала головой и проехала дальше. Тогда Левка вскочил к ней на седло, схватил за волосы, отогнул голову и разбил ей кулаком лицо. Сашка вытерла подолом кровь и поехала дальше. Левка слез с седла, откинул чуб и завязал на бедрах красный шарф. И завывающие трубачи повели эскадрон дальше, к сияющей линии Буга.

Левка скоро вернулся к нам и закричал, блестя глазами:

— Распатронил ее вчистую... Отошлю, говорит, матери, когда нужно. Евоную память, говорит, сама помню. А помнишь, так не забывай, гадючья кость... А забудешь — мы еще разок напомним. Второй раз забудешь — второй раз напомним.



## ЗАМОСТЬЕ

Начдив и штаб его лежали на скошенном поле в трех верстах от Замостья. Войскам предстояла ночная атака города. Приказ по армии требовал, чтобы мы ночевали в Замостье, и начдив ждал донесений о победе.

Шел дождь. Над залитой землей летели ветер и тьма. Звезды были потушены раздувшимися чернилами туч. Изнеможенные лошади вздыхали и переминались во мраке. Им нечего было дать. Я привязал повод коня к моей ноге, завернулся в плащ и лег в яму, полную воды. Размокшая земля открыла мне успокоительные объятия могилы. Лошадь натянула повод и потащила меня за ногу. Она нашла пучок травы и стала щипать его. Тогда я заснул и увидел во сне клуню, засыпанную сеном. Над клуней гудело пыльное золото молотьбы. Снопы пшеницы летали по небу, июльский день переходил в вечер, чащи заката запрокидывались над селом.

Я был простерт на безмолвном ложе, и ласка сена под затылком сводила меня с ума. Потом двери сарая разошлись со свистом. Женщина, одетая для бала, приблизилась ко мне. Она вынула грудь из черных кружев корсажа и понесла ее мне с осторожностью, как кормилица пищу. Она приложила свою грудь к моей. Томительная теплота потрясла основы моей души, и капли пота, живого, движущегося пота, закипели между нашими сосками.

«Марго,— хотел я крикнуть,— земля тащит меня на веревке своих бедствий, как упирающегося пса, но все же я увидел вас, Марго...»

Я хотел это крикнуть, но челюсти мои, сведенные внезапным холодом, не разжимались.

Тогда женщина отстранилась от меня и упала на колени.

— Иисусе,— сказала она,— прими душу усопшего раба твоего...

Она укрепила два истертых пятака на моих веках и забила благовонным сеном отверстие рта. Вопль тщетно метался по кругу закованных моих челюстей, потухающие зрачки медленно повернулись под медяками, я не мог разомкнуть моих рук и... проснулся.

Мужик с свалявшейся бородой лежал передо мной. Он держал в руках ружье. Спина лошади черной перекладиной резала небо. Повод тугой петлей сжимал мою ногу, торчавшую кверху.

— Заснул, земляк,— сказал мужик и улыбнулся ночными, бессонными глазами,— лошадь тебя с полверсты протащила...

Я распутал ремень и встал. По лицу, разодранному бурьяном, лилась кровь.

Тут же, в двух шагах от нас, лежала передовая цепь. Мне видны были трубы Замостья, вороватые огни в теснинах его гетто и каланча с разбитым фонарем. Сырой рассвет стекал на нас, как волны хлороформа. Зеленые ракеты взвивались над польским лагерем. Они трепетали в воздухе, осыпались, как розы под луной, и угасали.

И в тишине я услышал отдаленное дуновение стона. Дым потаенного убийства бродил вокруг нас.

— Бьют кого-то,— сказал я.— Кого это бьют?..

— Поляк тревожится,— ответил мне мужик,— поляк жидов режет...

Мужик переложил ружье из правой руки в левую. Борода его свернулась совсем набок, он посмотрел на меня с любовью и сказал:

— Длинные эти ночи в цепу, конца этим ночам нет. И вот приходит человеку охота поговорить с другим человеком, а где его возьмешь, другого человека-то?..

Мужик заставил меня прикурить от его огонька.

— Жид всякому виноват,— сказал он,— и нашему и вашему. Их после войны самое малое количество останется. Сколько в свете жидов считается?

— Десяток миллионов,— ответил я и стал взнуздывать коня.

— Их двести тысяч останется! — вскричал мужик и тронул меня за руку, боясь, что я уйду. Но я взобрался на седло и поскакал к тому месту, где был штаб.

Начдив готовился уже уезжать. Ординарцы стояли перед ним навытяжку и спали стоя. Спешенные эскадроны ползли по мокрым буграм.



— Прижалась наша гайка,— прошептал начдив и уехал.

Мы последовали за ним по дороге в Ситанец.

Снова пошел дождь. Мертвые мыши поплыли по дорогам. Осень окружила засадой наши сердца, и деревья, голые мертвецы, поставленные на обе ноги, закачались на перекрестках.

Мы приехали в Ситанец утром. Я был с Волковым, квартирьером штаба. Он нашел для нас свободную хату у края деревни.

— Вина,— сказал я хозяйке,— вина, мяса и хлеба!

Старуха сидела на полу и кормила из рук спрятанную под кровать телку.

— Ниц нема,— ответила она равнодушно.— И того времени не упомню, когда было...

Я сел за стол, снял с себя револьвер и заснул. Через четверть часа я открыл глаза и увидел Волкова, согнувшегося над подоконником. Он писал письмо к невесте.

«Многоуважаемая Валя,— писал он,— помните ли вы меня?»

Я прочитал первую строчку, потом вынул спички из кармана и поджег кучу соломы на полу. Освобожденное пламя заблестело и кинулось ко мне. Старуха легла на огонь грудью и затушила его.

— Что ты делаешь, пан? — сказала старуха и отступила в ужасе.

Волков обернулся, устремил на хозяйку пустые глаза и снова принялся за письмо.

— Я спалю тебя, старая,— пробормотал я, засыпая,— тебя спалю и твою краденую телку.

— Чекай! — закричала хозяйка высоким голосом. Она побежала в сени и вернулась с кувшином молока и хлебом.

Мы не успели съесть и половины, как во дворе застучали выстрелы. Их было множество. Они стучали долго и надоели нам. Мы кончили молоко, и Волков ушел во двор для того, чтобы узнать, в чем дело.

— Я заседлал твоего коня,— сказал он мне в окошко,— моего прострочили, лучше не надо. Поляки ставят пулеметы в ста шагах.

И вот на двоих у нас осталась одна лошадь. Она едва вынесла нас из Ситанца. Я сел в седло, Волков пристроился сзади.

Обозы бежали, ревели и тонули в грязи. Утро сочилось из нас, как хлороформ сочится на госпитальный стол.

— Ты женат, Лютов? — сказал вдруг Волков, сидевший сзади.

— Меня бросила жена,— ответил я, задремал на несколько мгновений, и мне приснилось, что я сплю на кровати.

Молчание.

Лошадь наша шатается.

— Кобыла пристанет через две версты,— говорит Волков, сидящий сзади.

Молчание.

— Мы проиграли кампанию,— бормочет Волков и всхрапывает.

— Да,— говорю я.

## ИЗМЕНА

«Товарищ следователь Бурденко. На вопрос ваш отвечаю, что партийность имею номер двадцать четыре два нуля, выданную Никите Балмашеву Краснодарским комитетом партии. Жизнеописание мое до 1914 года объясняю как домашнее, где занимался при родителях хлебопашеством и перешел от хлебопашества в ряды империалистов защищать гражданина Пуанкаре и палача германской революции Эберта-Носке, которые, надо думать, спали и во сне видели, как бы дать подмогу урожденной моей станице Иван Святой Кубанской области. И так вилась веревочка до тех пор, пока товарищ Ленин, совместно с товарищем Троцким, не отворотили озверелый мой штык и не указали ему предназначенную кишку и новый сальник поудобнее. С того времени я ношу номер двадцать четыре два нуля на конце зрячего моего штыка, и довольно оно стыдно и слишком мне смешно слыхать теперь от вас, товарищ следователь Бурденко, неподобную эту липу про неизвестный N...ский госпиталь. В госпиталь этот я не стрелял и не нападал, чего и не могло быть. Будучи ранены, мы все трое, а именно: боец Головицын, боец Кустов и я, имели жар в костях и не нападали, а только плакали, стоя в больничных халатах на площади посреди вольного населения по национальности евреев. А коснувшись повреждения трех стекол, которые мы повредили из офицерского нагана, то скажу от всей души, что стекла не соответствовали своему назначению, как будучи в кладовке, которой они без надобности. И доктор Явейн, видя горькую эту нашу стрельбу, только надсмехался разными улыбками, стоя в окошке своего госпиталя, что также могут подтвердить вышеизложенные вольные евреи местечка Козин. На доктора Явейна даю еще, товарищ следователь, тот материал, что он надсмехался, когда мы, трое раненых, а имен-

но: боец Головицын, боец Кустов и я, первоначально поступали на излечение, и с первых слов он заявил нам слишком грубо: вы, бойцы, искупайтесь каждый в ванной, ваше оружие и вашу одежду скидайте этой же минутой, я опасаюсь от них заразы, они пойдут у меня обязательно в цейхгауз... И тогда, видя перед собой зверя, а не человека, боец Кустов выступил вперед своею перебитой ногой и выразился, что какая в ней может быть зараза, в кубанской вострой шашке, кроме как для врагов нашей революции, и также поинтересовался узнать об цейхгаузе, действительно ли там при вещах находится партийный боец или же, напротив, один из беспартийной массы. И тут доктор Явейн, видно, заметил, что мы можем хорошо понимать измену. Он оборотился спиной и без другого слова отослал нас в палату и опять с разными улыбками, куда мы и пошли, ковыляя разбитыми ногами, махая калечеными руками и держась друг за друга, так как мы трое есть земляки из станицы Иван Святой, а именно: товарищ Головицын, товарищ Кустов и я, мы есть земляки с одной судьбой, и у кого разорвана нога, тот держит товарища за руку, а у кого недостает руки, тот опирается на товарищево плечо. Согласно отданного приказания пошли мы в палату, где ожидали увидеть культработу и преданность делу, но интересно узнать, что же мы увидели, взойдя в палату? Мы увидели красноармейцев, исключительно пехоту, сидящих на устланных постелях, играющих в шашки и при них сестер высокого росту, гладких, стоящих у окошек и разводящих симпатию. Увидев это, мы остановились как громом пораженные.

— Отвоевались, ребята? — восклицаю я раненым.

— Отвоевались,— отвечают раненые и двигают шашками, поделанными из хлеба.

— Рано,— говорю я раненым,— рано ты отвоевалась, пехота, когда враг на мягких лапах ходит в пятнадцати верстах от местечка и когда в газете «Красный кавалерист» можно читать про наше международное положение, что это одна ужасть и на горизонте полно туч.— Но слова мои отскочили от геройской пехоты, как овечий помет от полкового барабана, и заместо всего разговор получился у нас, что милосердные сестры подвели нас к лежанкам и снова начали тереть волынку про сдачу оружия, как будто мы уже были побеждены. Они растревожили этим Кустова нельзя сказать как, и тот стал обрывать свою рану, помещавшуюся у него на левом плече, над кровавым сердцем бойца и пролетария. Видя эту натугу, сиделки поутихли, но только поутихли они на самое малое время, а потом опять завели свое издева-

тельство беспартийной массы и стали подсылать охотников повытаскивать из-под нас, сонных, одежду или заставляли для культработы играть театральную ролю в женском платье, что не подобает.

Немилосердные сиделки... Не однажды примерялись они к нам ради одежи сонным порошком, так что отдыхать мы стали в очередь, имея один глаз раскрывши, и в отхожее даже по малой нужде ходили в полной форме, с наганами. И отстрадавши так неделю с одним днем, мы стали заговариваться, получили видения и, наконец, проснувшись в обвиняемое утро, 4 августа, заметили в себе ту перемену, что лежим в халатах под номерами, как каторжники, без оружия и без одежи, вытканной матерями нашими, слабосильными старушками с Кубани... И солнышко, видим, великолепно светит, а окопная пехота, среди которой страдало три красных конника, фулиганит над нами и с ней немилосердные сиделки, которые, всыпавши нам накануне сонного порошку, трясут теперь молодыми грудьями и несут нам на блюдах какаву, а молока в этом какаве хоть залейся! От развеселой этой карусели пехота стучит костылями громко до ужасти и щиплет нам бока, как купленным девкам, дескать, отвоевалась и она, Первая Конная Буденная армия. Но нет, раскудрявые товарищи, которые наели очень чудные пуза, что ночью играют, как на пулеметах: не отвоевалась она, а только отпросившись вроде как по надобности, сошли мы трое во двор и со двора пустились мы в жару, в синих язвах к гражданину Бойдерману, к предуревкома, без которого, товарищ следователь Бурденко, этого недоразумения со стрельбой, возможная вещь, и не существовало бы, то есть без того предуревкома, от которого совершенно мы потерялись. И хотя мы не можем дать твердого материала на гражданина Бойдермана, но только, зайдя к предуревкома, мы обратили внимание на гражданина пожилых лет, в тулупе, по национальности еврея, который сидит за столом, стол его набит бумагами, что это некрасота смотреть... Гражданин Бойдерман кидает глазами то туда, то сюда, и видно, что он ничего не может понимать в этих бумагах, ему горе с этими бумагами, тем более сказать, что неизвестные, но заслуженные бойцы грозно подступают к гражданину Бойдерману за продовольствием, вперебивку с ними местные работники указывают на контру в окрестных селах, и тут же являются рядовые работники центра, которые желают венчаться в уревкоме в самой скорости и без волокиты... Так же и мы возвышенным голосом изложили случай с изменой в госпитале, но гражданин Бойдерман только пучил на

нас глаза и опять кидал их то туда, то сюда, и ласкал нам плечи, что уже не есть власть и недостойно власти, резолюции никак не давал, а только заявлял: товарищи бойцы, если вы жалеете Советскую власть, то оставьте это помещение, на что мы не могли согласиться, то есть оставить помещение, а потребовали поголовное удостоверение личности, не получив какового, потеряли сознание. И, находясь без сознания, мы вышли на площадь, перед госпиталем, где обезоружили милицию в составе одного человека кавалерии и нарушили со слезами три незавидных стекла в вышеописанной кладовке. Доктор Явейн при этом недопустимом факте делал фигуры и смешки, и это в такой момент, когда товарищ Кустов должен был через четыре дня скончаться от своей болезни!

В короткой красной своей жизни товарищ Кустов без края тревожился об измене, которая вот она мигает нам из окошка, вот она насмешничает над грубым пролетариатом, но пролетариат, товарищи, сам знает, что он грубый, нам больно от этого, душа горит и рвет огнем тюрьму тела...

Измена, говорю я вам, товарищ следователь Бурденко, смеется нам из окошка, измена ходит, разувшись, в нашем дому, измена закинула за спину штиблеты, чтобы не скрипели половицы в обворовываемом дому...»

## ЧЕСНИКИ

Шестая дивизия скопилась в лесу, что у деревни Чесники, и ждала сигнала к атаке. Но Павличенко, начдив шесть, поджидал вторую бригаду и не давал сигнала. Тогда к начдиву подъехал Ворошилов. Он толкнул его мордой лошади в грудь и сказал:

— Волыним, начдив шесть, волыним.

— Вторая бригада,— ответил Павличенко глухо,— согласно вашего приказания идет на рысях к месту происшествия.

— Волыним, начдив шесть, волыним,— сказал Ворошилов и рванул на себе ремни.

Павличенко отступил от него на шаг.

— Во имя совести,— закричал он и стал ломать сырые пальцы,— во имя совести, не торопить меня, товарищ Ворошилов...

— Не торопить,— прошептал Клим Ворошилов, член Реввоенсовета, и закрыл глаза. Он сидел на лошади, глаза его были прикрыты, он молчал и шевелил губами. Казак в лаптях и в котелке смотрел на него с недоумением. Скачущие эскадроны шумели в лесу, как шумит ветер, и ломали ветви. Ворошилов расчесывал маузером гриву своей лошади.

— Командарм,— закричал он, оборачиваясь к Буденному,— скажите войскам напутственное слово. Вот он стоит на холмике, поляк, стоит, как картинка, и смеется над тобой!..

Поляки, в самом деле, были видны в бинокль. Штаб армии вскочил на коней, и казаки стали стекаться к нему со всех сторон.

Иван Акинфиев, бывший повозочный Ревтрибунала, проехал мимо и толкнул меня стременем.

— Ты в строю, Иван? — сказал я ему.— Ведь у тебя ребер нету...

— Положил я на эти ребра...— ответил Акинфиев, сидевший на лошади бочком.— Дай послухать, что человек рассказывает.

Он проехал вперед и притиснулся к Буденному в упор. Тот вздрогнул и тихо сказал:

— Ребята,— сказал Буденный,— у нас плохая положения, веселей надо, ребята...

— Даешь Варшаву! — закричал казак в лаптях и в котелке, выкатил глаза и рассек саблей воздух.

— Даешь Варшаву! — закричал Ворошилов, поднял коня на дыбы и влетел в середину эскадронов.

— Бойцы и командиры! — сказал он со страстью.— В Москве, в древней столице, борется небывалая власть. Рабоче-крестьянское правительство, первое в мире, приказывает вам, бойцы и командиры, атаковать неприятеля и привезти победу.

— Сабли к бою...— отдаленно запел Павличенко за спиной командарма, и вывороченные малиновые его губы с пеной заблестели в рядах. Красный казакин начдива был оборван, мясистое омерзительное его лицо искажено. Клинком неоценимой сабли он отдал честь Ворошилову.

— Согласно долгу революционной присяги,— сказал начдив шесть, хрипя и озираясь,— докладаю Реввоенсовету Первой Конной: вторая непобедимая кавбригада на рысях подходит к месту происшествия.

— Делай,— ответил Ворошилов и махнул рукой. Он тронул повод, Буденный поехал с ним рядом. Они ехали на длинных рыжих кобылах, рядом, в одинаковых кителях и в сияющих штанах, расшитых серебром. Бойцы, подвывая, двигались за ними, и бледная сталь мерцала в сукровице осеннего солнца. Но я не услышал единодушия в казацком вое, и, дожидаясь атаки, я ушел в лес, в глубь его, к стоянке питпункта.

Там лежал в бреду раненый красноармеец, и Степка Дуплищев, вздорный казачонок, чистил скребницей Урагана, кровного жеребца, принадлежавшего начдиву и происходившего от Люлюши, ростовской рекордистки. Раненый скороговоркой вспоминал о Шуе, о нетели и каких-то оческах льна, а Дуплищев, заглушая его жалкое бормотанье, пел песню о денщике и толстой генеральше, пел все громче, взмахивал скребницей и гладил коня. Но его прервала Сашка, опухшая Сашка, дама всех эскадронов. Она подъехала к мальчику и прыгнула на землю.

— Сделаемся, што ль? — сказала Сашка.

— Отваливай,— ответил Дуплищев, повернулся к ней спиной и стал заплетать ленточки в гриву Урагану.

— Своему слову ты хозяин, Степка,— сказала тогда Сашка,— или ты вакса?

— Отваливай,— ответил Степка,— своему слову я хозяин.

Он вплел все ленточки в гриву и вдруг закричал мне с отчаянием:

— Вот, Кирилл Васильич, обратите маленькое внимание, какое надругание она надо мной делает. Это цельный месяц я от нее вытерпляю несказанно што. Куды ни повернусь — она тут, куды ни кинусь — она загородка путя моего: спусти ей жеребца да спусти ей жеребца. Ну, когда начдив каждодневно мне наказывает: «К тебе, говорит, Степка, при таком жеребце много проситься будут, но не моги ты пускать его по четвертому году...»

— Вас небось по пятнадцатому году пускаешь,— пробормотала Сашка и отвернулась.— По пятнадцатому небось, и ничего, молчишь, только пузыри пускаешь...

Она отошла к своей кобыле, укрепила подпруги и изготовилась ехать.

Шпоры на ее туфлях гремели, ажурные чулки были забрызганы грязью и убраны сеном, чудовищная грудь ее закидывалась за спину.

— Целковый-то я привезла,— сказала Сашка в сторону и поставила туфлю со шпорой в стремя.— Привезла, да вот отвозить надо.

Женщина вынула два новеньких полтинника, поиграла ими на ладони и спрятала опять за пазуху.

— Сделаемся, што ль? — сказал тогда Дуплищев, не спуская глаз с серебра, и повел жеребца.

Сашка выбрала покатое место на полянке и поставила кобылу.

— Ты один, видно, на земле с жеребцом ходишь,— сказала она Степке и стала направлять Урагана,— да только кобыленка у меня позиционная, два года не покрыта,— дай, думаю, хороших кровей добуду...

Сашка справилась с жеребцом и потом отвела в сторонку свою лошадь.

— Вот мы и с начинкой, девочка,— прошептала она, поцеловав свою кобылу в лошадиные пегие мокрые губы с нависшими палочками слюны, потерлась о лошадиную морду и стала вслушиваться в шум, топавший по лесу.

— Вторая бригада бежит,— сказала Сашка строго и обернулась ко мне.— Ехать надо, Лютыч...

— Бежит не бежит,— закричал Дуплищев, и у него перехватило в горле,— ставь, дьякон, деньги на кон...

— С деньгами я вся тут,— пробормотала Сашка и вскочила на кобылу.

Я бросился за ней, и мы двинулись галопом. Вопль Дуплищева раздался за нами и легкий стук выстрела.

— Обратите маленькое внимание! — кричал казачонок и изо всех сил бежал по лесу.

Ветер прыгал между ветвями, как обезумевший заяц, вторая бригада летела сквозь галицийские дубы, безмятежная пыль канонады восходила над землей, как над мирной хатой. И по знаку начдива мы пошли в атаку, незабываемую атаку при Чесниках.

## ПОСЛЕ БОЯ

История распри моей с Акинфиевым такова.

Тридцать первого числа случилась атака при Чесниках. Эскадроны скопились в лесу возле деревни и в шестом часу вечера кинулись на неприятеля. Он ждал нас на возвышенности, до которой было три версты ходу. Мы проскакали три версты на лошадях, беспредельно утомленных, и, вскочив на холм, увидели мертвенную стену из черных мундиров и бледных лиц. Это были казаки, изменившие нам в начале польских боев и сведенные в бригаду есаулом Яковлевым. Построив всадников в каре, есаул ждал нас с шашкой наголо. Во рту его блестел золотой зуб, черная борода лежала на груди, как икона на мертвеце. Пулеметы противника палили с двадцати шагов, раненые упали в наших рядах. Мы растоптали их и ударились об неприятеля, но каре его не дрогнуло, тогда мы бежали.

Так была одержана савинковцами недолговременная победа над шестой дивизией. Она была одержана потому, что атакуемый не отвратил лица перед лавой налетающих эскадронов. Есаул стоял на этот раз, и мы бежали, не обагрив сабель жалкой кровью изменников.

Пять тысяч человек, вся дивизия наша неслась по склонам, никем не преследуемая. Неприятель остался на холме. Он не поверил неправдоподобной своей победе и не решался на погоню. Поэтому мы остались живы и скатились без ущерба в долину, где встретил нас Виноградов, начподив шесть. Виноградов метался на взбесившемся скакуне и возвращал в бой бегущих казаков.

— Лютов,— крикнул он, завидев меня,— завороти мне бойцов, душа из тебя вон!..

Виноградов колотил рукояткой маузера качавшегося жеребца, взвизгивал и сзывал людей. Я освободился от него и подъехал к киргизу Гулимову, скакавшему неподалеку.

— Наверх, Гулимов,— сказал я,— завороти коня...

— Кобылячий хвост завороти,— ответил Гулимов и оглянулся. Он оглянулся воровато, выстрелил и опалил мне волосы над ухом.

— Твоя завороти,— прошептал Гулимов, взял меня за

плечи и стал вытаскивать саблю другой рукой. Сабля туго сидела в ножнах, киргиз дрожал и озирался. Он обнимал мое плечо и наклонял голову все ближе.

— Твоя вперед,— повторял он чуть слышно,— моя за тобой следом...— легонько стукнул меня в грудь клинком подавшейся сабли.

Мне сделалось тошно от близости смерти и от тесноты ее, я отвел ладонью лицо киргиза, горячее, как камень под солнцем, и расцарапал его так глубоко, как только мог. Теплая кровь зашевелилась под моими ногтями, защекотала их, я отъехал от Гулимова, задыхаясь, как после долгого пути. Истерзанный друг мой, лошадь, шла шагом. Я ехал, не видя пути, я ехал, не оборачиваясь, пока не встретил Воробьева, командира первого эскадрона. Воробьев искал своих квартирьеров и не находил их. Мы добрались с ним до деревни Чесники и сели там на лавочку вместе с Акинфиевым, бывшим повозочным Ревтрибунала. Мимо нас прошла Сашка, сестра 31-го кавполка, и два командира подсели на лавочку. Командиры эти задремывали и молчали, один из них, контуженный, неудержимо качал головой и подмигивал выкатившимся глазом. Сашка пошла сказать об нем в госпиталь и потом вернулась к нам, таща лошадь на поводу. Кобыла ее упиралась и скользила ногами по мокрой глине.

— Куда паруса надула? — сказал сестре Воробьев.— Посиди с нами, Саш...

— Не сяду я с вами,— ответила Сашка и ударила кобылу в живот,— не сяду...

— Что так? — закричал Воробьев, смеясь.— Али ты, Саш, передумала с мужчинами чай пить?..

— С тобой передумала,— обернулась баба к командиру и бросила повод далеко от себя.— Передумала я, Воробьев, с тобой чай пить, потому видала я вас сегодня, герои, и твою некрасоту видала, командир...

— А когда видала,— пробормотал Воробьев,— так и стрелять было в пору...

— Стрелять?! — с отчаянием сказала Сашка и сорвала с рукава госпитальную повязку.— Этим, что ли, стрелять мне?

И тут придвинулся к нам Акинфиев, бывший повозочный Ревтрибунала, с которым не сведены были у меня давние счеты.

— Стрелять тебе нечем, Сашок,— сказал он успокоительно,— тебя ефтим никто не виноватит, но только виноватить я желаю тех, кто в драке путается, а патронов

в наган не залаживает... Ты в атаку шел,— закричал мне вдруг Акинфиев, и судорога облетела его лицо,— ты шел и патронов не залаживал... где тому причина?..

— Отвяжись, Иван,— сказал я Акинфиеву, но он не отставал и подступал все ближе, весь кособокий, припадочный и без ребер.

— Поляк тебя да, а ты его нет...— бормотал казак, вертясь и ворочая разбитым бедром.— Где тому причина?..

— Поляк меня да,— ответил я дерзко,— а я поляка нет...

— Значит, ты молокан? — прошептал Акинфиев, отступая.

— Значит, молокан,— сказал я громче прежнего.— Чего тебе надо?

— Мне того надо, что ты при сознании,— закричал Иван с диким торжеством,— ты при сознании, а у меня про молокан есть закон писан: их в расход пускать можно, они бога почитают...

Собирая толпу, казак кричал про молокан не переставая. Я стал уходить от него, но он догнал меня и, догнав, ударил по спине кулаком.

— Ты патронов не залаживал,— с замиранием прошептал Акинфиев над самым моим ухом и завозился, пытаясь большими пальцами разодрать мне рот,— ты бога почитаешь, изменник...

Он дергал и рвал мой рот, я отталкивал припадочного и бил его по лицу. Акинфиев боком повалился на землю и, падая, расшибся в кровь.

Тогда к нему подошла Сашка с болтающимися грудями. Женщина облила Ивана водой и вынула у него изо рта длинный зуб, качавшийся в черном рту, как береза на голом большаке.

— У петухов одна забота,— сказала Сашка,— друг дружке в морду стучаться, а мне от делов от этих от сегодняшних глаза прикрыть хочется...

Она сказала это с горестью и увела к себе разбитого Акинфиева, а я поплелся в деревню Чесники, поскользнувшуюся на неутомимом галицийском дожде.

Деревня плыла и распухала, багровая глина текла из ее скучных ран. Первая звезда блеснула надо мной и упала в тучи. Дождь стегнул ветлы и обессилел. Вечер взлетел к небу, как стая птиц, и тьма надела на меня мокрый свой венец. Я изнемог и, согбенный под могильной короной, пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из умений — уменье убить человека.



## ПЕСНЯ

На постое в сельце Будятичах мне пала на долю злая хозяйка. Она была вдова, она была бедна; я отбил много замков у ее чуланов, но не нашел в них живности.

Мне оставалось исхитриться, и вот однажды, вернувшись рано домой, до сумерек, я увидел, как хозяйка приставляла заслонку к неостывшей печи. В хате пахло щами, и, может быть, в этих щах было мясо. Я услышал мясо в ее щах и положил револьвер на стол, но старуха отпиралась, у нее показались судороги в лице и в черных пальцах, она темнела и смотрела на меня с испугом и удивительной ненавистью. Но ничто не спасло бы ее, я донял бы ее револьвером, кабы мне не помешал в этом Сашка Коняев, или, иначе, Сашка Христос.

Он вошел в избу с гармоникой под мышкой, прекрасные его ноги болтались в растоптанных сапогах.

— Поиграем песни,— сказал он и поднял на меня глаза, заваленные синими сонными льдами.— Поиграем песни,— сказал Сашка, присаживаясь на лавочку, и проиграл вступление.

Задумчивое это вступление шло как бы издалека, казак оборвал его и заскучал синими глазами. Он отвернулся и, зная, чем угодить мне, начал кубанскую песню.

«Звезда полей,— запел он,— звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука...»

Я любил эту песню. Сашка знал об этом, потому что мы оба — он и я — услышали ее в первый раз в девятнадцатом году в гирлах Дона и станицы Кагальницкой.

Один охотник, промышлявший в заповедных водах, научил нас этой песне. Там, в заповедных водах, мечет икру рыба и водятся несметные стаи птиц. Рыба плодится в гирлах в непередаваемом изобилии, ее можно брать ковшами

или просто руками, и если поставить в воду весло, то оно будет стоять стоймя,— рыба держит весло и несет его с собой. Мы видели это сами, мы не забудем никогда заповедных вод у Кагальницкой. Все власти запрещали там охоту,— это правильное запрещение, но в девятнадцатом году в гирлах была жестокая война, и охотник Яков, промышлявший у нас на виду неправильный свой промысел, подарил для отвода глаз гармонику эскадронному нашему певцу Сашке Христу. Он научил Сашку своим песням; из них многие были душевного, старинного распева. За это мы всё простили лукавому охотнику, потому что песни его были нужны нам: никто не видел тогда конца войне, и один Сашка устилал звоном и слезой утомительные наши пути. Кровавый след шел по этому пути. Песня летела над нашим следом. Так было на Кубани и в зеленых походах, так было на Уральске и в Кавказских предгорьях, и вот до сегодняшнего дня. Песни нужны нам, никто не видит конца войне, и Сашка Христос, эскадронный певец, не дозрел еще, чтобы умереть...

Вот и в этот вечер, когда я обманулся в хозяйских щах, Сашка смирил меня полузадушенным и качающимся своим голосом.

«Звезда полей,— пел он,— звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука...»

И я слушал его, растянувшись в углу на прелой подстилке. Мечта ломала мне кости, мечта трясла подо мной истлевшее сено, сквозь горячий ее ливень я едва различал старуху, подпершую рукой увядшую щеку. Уронив искусанную голову, она стояла у стены не шевелясь и не тронулась с места после того, как Сашка кончил играть. Сашка кончил и отложил гармонику в сторону, он зевнул и засмеялся, как после долгого сна, и потом, видя запустение вдовьей нашей хижины, смахнул сор с лавки и притащил ведро воды в хату.

— Вишь, сердце мое,— сказала ему хозяйка, поскреблась спиной у двери и показала на меня,— вот начальник твой пришел давеча, накричал на меня, натопал, отнял замки у моего хозяйства и оружию мне выложил... Это грех от бога — мне оружию выкладывать: ведь я женщина...

Она снова поскреблась о дверь и стала набрасывать кожухи на сына. Сын ее храпел под иконой на большой кровати, засыпанной тряпьем. Он был немой мальчик с оплывшей, раздувшейся белой головой и с гигантскими ступнями, как у взрослого мужика. Мать вытерла ему нечистый нос и вернулась к столу.

— Хозяюшка,— сказал ей тогда Сашка и тронул ее плечо,— ежели желаете, я вам внимание окажу...

Но бабка как будто не слыхала его слов.

— Никаких щей я не видала,— сказала она, подпирая щеку,— ушли они, мои щи; мне люди одну оружию показывают, а и попадется хороший человек и посластиться бы с ним в пору, да вот такая я тошная стала, что и греху не обрадуюсь...

Она тянула унылые свои жалобы и, бормоча, отодвинула к стене немого мальчика. Сашка лег с ней на тряпичную постель, а я попытался заснуть и стал придумывать себе сны, чтобы мне заснуть с хорошими мыслями.

## СЫН РАББИ

...Помнишь ли ты Житомир, Василий? Помнишь ли ты Тетерев, Василий, и ту ночь, когда суббота, юная суббота кралась вдоль заката, придавливая звезды красным каблучком?

Тонкий рог луны купал свои стрелы в черной воде Тетерева. Смешной Гедали, основатель IV Интернационала, вел нас к рабби Моталэ Брацлавскому на вечернюю молитву. Смешной Гедали раскачивал петушиные перышки своего цилиндра в красном дыму вечера. Хищные зрачки свечей мигали в комнате рабби. Склонившись над молитвенниками, глухо стонали плечистые евреи, и старый шут чернобыльских цадиков звякал медяшками в изодранном кармане...

...Помнишь ли ты эту ночь, Василий?.. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном, и рабби Моталэ Брацлавский, вцепившись в талес истлевшими пальцами, молился у восточной стены. Потом раздвинулась завеса шкапа, и в похоронном блеске свечей мы увидели свитки Торы, завороченные в рубашки из пурпурного бархата и голубого шелка, и повисшее над Торой безжизненное, покорное, прекрасное лицо Ильи, сына рабби, последнего принца в династии...

И вот третьего дня, Василий, полки Двенадцатой армии открыли фронт у Ковеля. В городе загремела пренебрежительная канонада победителей. Войска наши дрогнули и перемешались. Поезд политотдела стал уползать по мертвой спине полей. Тифозное мужичье катило перед собой привычный горб солдатской смерти. Оно прыгало на подножки нашего поезда и отваливалось, сбитое ударами прикладов. Оно сопело, скреблось, летело вперед и молчало. А на двенадцатой версте, когда у меня не стало картошки, я швырнул в них грудой листовок Троцкого. Но только

один из них протянул за листовкой грязную мертвую руку. И я узнал Илью, сына житомирского рабби. Я узнал его тотчас, Василий. И так томительно было видеть принца, потерявшего штаны, переломанного надвое солдатской котомкой, что мы, переступив правила, втащили его к себе в вагон. Голые колени, неумелые, как у старухи, стукались о ржавое железо ступенек; две толстогрудые машинистки в матросках волочили по полу длинное застенчивое тело умирающего. Мы положили его в углу редакции, на полу. Казаки в красных шароварах поправили на нем упавшую одежду. Девицы, уперши в пол кривые ноги незатейливых самок, сухо наблюдали его половые части, эту чахлую, курчавую мужественность исчахшего семита. А я, видевший его в одну из скитальческих моих ночей, я стал складывать в сундучок рассыпавшиеся вещи красноармейца Брацлавского.

Здесь все было свалено вместе — мандаты агитатора и памятки еврейского поэта. Портреты Ленина и Маймонида лежали рядом. Узловатое железо ленинского черепа и тусклый шелк портретов Маймонида. Прядь женских волос была заложена в книжку постановлений Шестого съезда партии, и на полях коммунистических листовок теснились кривые строки древнееврейских стихов. Печальным и скупым дождем падали они на меня — страницы «Песни песней» и револьверные патроны. Печальный дождь заката обмыл пыль с моих волос, и я сказал юноше, умиравшему в углу на драном тюфяке:

— Четыре месяца тому назад, в пятницу вечером, старьевщик Гедали провел меня к вашему отцу, рабби Моталэ, но вы не были тогда в партии, Брацлавский.

— Я был тогда в партии,— ответил мальчик, царапая грудь и корчась в жару,— но я не мог оставить мою мать...

— А теперь, Илья?

— Мать в революции — эпизод,— прошептал он, затихая.— Пришла моя буква, буква Б, и организация услала меня на фронт...

— И вы попали в Ковель, Илья?

— Я попал в Ковель! — закричал он с отчаянием.— Кулачье открыло фронт. Я принял сводный полк, но поздно. У меня не хватило артиллерии...

Он умер, не доезжая Ровно. Он умер, последний принц, среди стихов, филактерий и портянок. Мы похоронили его на забытой станции. И я, едва вмещающий в древнем теле бури моего воображения,— я принял последний вздох моего брата.

## АРГАМАК

Я решил перейти в строй. Начдив поморщился, услышав об этом.

— Куда ты прешься?.. Развесишь губы — тебя враз уконтрапупят...

Я настоял на своем. Этого мало. Выбор мой пал на самую боевую дивизию — шестую. Меня определили в 4-й эскадрон 23-го кавполка. Эскадроном командовал слесарь Брянского завода Баулин, по годам мальчик. Для острастки он запустил себе бороду. Пепельные клоки закручивались у него на подбородке. В двадцать два свои года Баулин не знал никакой суеты. Это качество, свойственное тысячам Баулиных, вошло важным слагаемым в победу революции. Баулин был тверд, немногословен, упрям. Путь его жизни был решен. Сомнений в правильности этого пути он не знал. Лишения были ему легки. Он умел спать сидя. Спал он, сжимая одну руку другой, и просыпался так, что незаметен был переход от забытья к бодрствованию.

Ждать себе пощады под командой Баулина нельзя было. Служба моя началась редким предзнаменованием удачи — мне дали лошадь. Лошадей не было ни в конском запасе, ни у крестьян. Помог случай. Казак Тихомолов убил без спросу двух пленных офицеров. Ему поручили сопровождать их до штаба бригады, офицеры могли сообщить важные сведения. Тихомолов не довел их до места. Казака решили судить в Ревтрибунале, потом раздумали. Эскадронный Баулин наложил кару страшнее трибунала — он забрал у Тихомолова жеребца по прозвищу Аргамак, а самого заслал в обоз.

Мука, которую я вынес с Аргамаком, едва ли не превосходила меру человеческих сил. Тихомолов вел лошадь с Терека, из дому. Она была обучена на казацкую рысь, на особый казацкий карьер — сухой, бешеный, внезапный.

Шаг Аргамака был длинен, растянут, упрям. Этим дьявольским шагом он выносил меня из рядов, я отбивался от эскадрона и, лишенный чувства ориентировки, блуждал потом по суткам в поисках своей части, попадал в расположение неприятеля, ночевал в оврагах, прибивался к чужим полкам и бывал гоним ими. Кавалерийское мое умение ограничивалось тем, что в германскую войну я служил в артдивизионе при пятнадцатой пехотной дивизии. Больше всего приходилось восседать на зарядном ящике, изредка мы ездили в орудийной запряжке. Мне негде было привыкнуть к жестокой, враскачку, рыси Аргамака. Тихомолов оставил в наследство коню всех дьяволов своего падения. Я трясся, как мешок, на длинной сухой спине жеребца. Я сбил ему спину. По ней пошли язвы. Металлические мухи разъедали эти язвы. Обручи запекшейся черной крови опоясали брюхо лошади. От неумелой ковки Аргамак начал засекаться, задние ноги его распухли в путовом суставе и стали слоновыми. Аргамак отощал. Глаза его налились особым огнем мучимой лошади, огнем истерии и упорства. Он не давался седлать.

— Аннулировал ты коня, четырехглазый,— сказал взводный.

При мне казаки молчали, за моей спиной они готовились, как готовятся хищники, в сонливой и вероломной неподвижности. Даже писем не просили меня писать...

Конная армия овладела Новоград-Волынском. В сутки нам приходилось делать по шестьдесят, по восемьдесят километров. Мы приближались к Ровно. Дневки были ничтожны. Из ночи в ночь мне снился тот же сон. Я рысью мчусь на Аргамаке. У дороги горят костры. Казаки варят себе пищу. Я еду мимо них, они не поднимают на меня глаз. Одни здороваются, другие не смотрят, им не до меня. Что это значит? Равнодушие их обозначает, что ничего особенного нет в моей посадке, я езжу, как все, нечего на меня смотреть. Я скачу своей дорогой и счастлив. Жажда покоя и счастья не утолялась наяву, от этого снились мне сны.

Тихомолова не было видно. Он сторожил меня где-то на краях похода, в неповоротливых хвостах телег, забитых тряпьем.

Взводный как-то сказал мне:

— Пашка все домогается, каков ты есть...

— А зачем я ему нужен?

— Видно, нужен...

— Он небось думает, что я его обидел?

— А неужели ж нет, не обидел...

Пашкина ненависть шла ко мне через леса и реки. Я чувствовал ее кожей и ежился. Глаза, налитые кровью, привязаны были к моему пути.

— Зачем ты меня врагом наделил? — спросил я Баулина.

Эскадронный проехал мимо и зевнул.

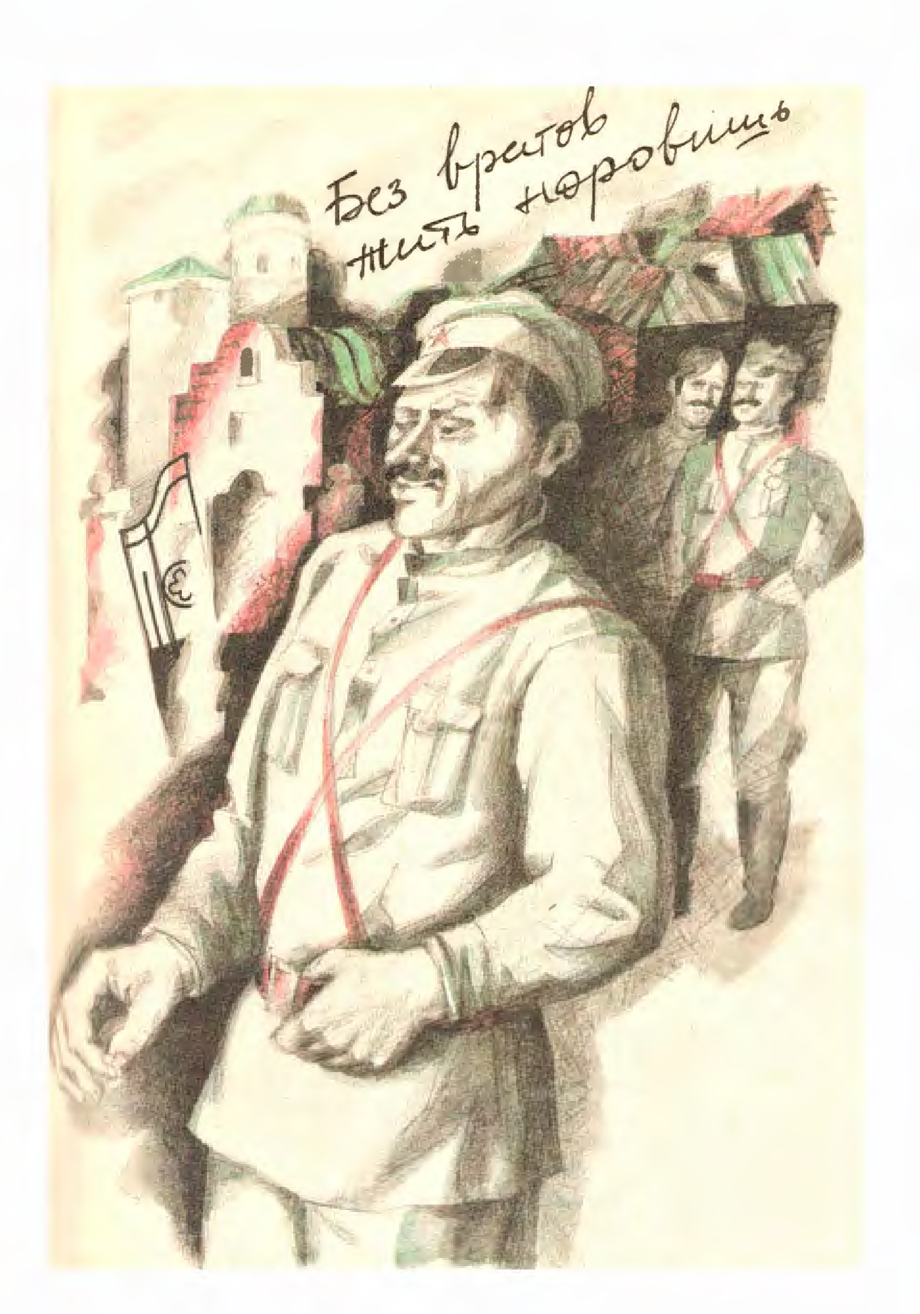
— Это не моя печаль,— ответил он, не оборачиваясь,— это твоя печаль...

Спина Аргамака подсыхала, потом открывалась снова. Я подкладывал под седло по три потника, но езды правильной не было, рубцы не затягивались. От сознания, что я сижу на открытой ране, меня всего зудило.

Один казак из нашего взвода, Бизюков по фамилии, был земляк Тихомолову, он знал Пашкиного отца там, на Тереке.

— Евоный отец, Пашкин,— сказал мне однажды Бизюков,— коней по охоте разводит... Боевитый ездок, дебелый... В табун приедет — ему сейчас коня выбирать... Приводят. Он станет против коня, ноги расставит, смотрит... Чего тебе надо?.. А ему вот чего надо: махнет кулачищем, даст раз промежду глаз — коня нету. Ты зачем, Калистрат, животную решил?.. По моей, говорит, страшенной охоте мне на этом коне не ездить... Меня этот конь не заохотил... У меня, говорит, охота смертельная... Боевитый ездок, это нечего сказать.

И вот Аргамак, оставленный в живых Пашкиным отцом, выбранный им, достался мне. Как быть дальше? Я прикидывал в уме множество планов. Война избавила меня от забот. Конная армия атаковала Ровно. Город был взят. Мы пробыли в нем двое суток. На следующую ночь поляки оттеснили нас. Они дали бой для того, чтобы провести отступающие свои части. Маневр удался. Прикрытием для поляков послужили ураган, секущий дождь, летняя тяжелая гроза, опрокинувшаяся на мир в потоках черной воды. Мы очистили город на сутки. В ночном этом бою пал серб Дундич, храбрейший из людей. В этом бою дрался и Пашка Тихомолов. Поляки налетели на его обоз. Место было равнинное, без прикрытия. Пашка построил свои телеги боевым порядком, ему одному ведомым. Так, верно, строили римляне свои колесницы. У Пашки оказался пулемет. Надо думать, он украл его и спрятал на случай. Этим пулеметом Тихомолов отбился от нападения, спас имущество и вывел весь обоз, за исключением двух подвод, у которых застрелены были лошади.


Без врагов
жить норовишь

— Ты что бойцов маринуешь,— сказали Баулину в штабе бригады через несколько дней после этого боя.

— Верно, надо, если мариную...

— Смотри, нарвешься...

Амнистии Пашке объявлено не было, но мы знали, что он придет. Он пришел в калошах на босу ногу. Пальцы его были обрублены, с них свисали ленты черной марли. Ленты волочились за ним, как мантия. Пашка пришел в село Будятичи на площадь перед костелом, где у коновязи поставлены были наши кони. Баулин сидел на ступеньках костела и парил себе в лохани ноги. Пальцы ног у него подгнили. Они были розоватые, как бывает розовым железо в начале закалки. Клочья юношеских соломенных волос налипли Баулину на лоб. Солнце горело на кирпичах и черепице костела. Бизюков, стоявший рядом с эскадронным, сунул ему в рот папиросу и зажег. Тихомолов, волоча рваную свою мантию, прошел к коновязи. Калоши его шлепали. Аргамак вытянул длинную шею и заржал навстречу хозяину, заржал негромко и визгливо, как конь в пустыне. На его спине сукровица загибалась кружевом между полосами рваного мяса. Пашка стал рядом с конем. Грязные ленты лежали на земле неподвижно.

— Знатьця так,— произнес казак едва слышно.

Я выступил вперед.

— Помиримся, Паша. Я рад, что конь идет к тебе. Мне с ним не сладить... Помиримся, что ли?..

— Еще пасхи нет, чтобы мириться,— взводный закручивал папиросу за моей спиной. Шаровары его были распущены, рубаха расстегнута на медной груди, он отдыхал на ступеньках костела.

— Похристосуйся с ним, Пашка,— пробормотал Бизюков, тихомоловский земляк, знавший Калистрата, Пашкиного отца,— ему желательно с тобой христосоваться...

Я был один среди этих людей, дружбы которых мне не удалось добиться.

Пашка как вкопанный стоял перед лошадью. Аргамак, сильно и свободно дыша, протягивал ему морду.

— Знатьця так,— повторил казак, резко ко мне повернулся и сказал в упор: — Я не стану с тобой мириться.

Шаркая калошами, он стал уходить по известковой, выжженной зноем дороге, заметая бинтами пыль деревенской площади. Аргамак пошел за ним, как собака. Повод покачивался под его мордой, длинная шея лежала низко. Баулин все тер в лохани железную красноватую гниль своих ног.

— Ты меня врагом наделил,— сказал я ему,— а чем я тут виноват?

Эскадронный поднял голову.

— Я тебя вижу,— сказал он,— я тебя всего вижу... Ты без врагов жить норовишь... Ты к этому все ладишь — без врагов...

— Похристосуйся с ним,— пробормотал Бизюков, отворачиваясь.

На лбу у Баулина отпечаталось огненное пятно. Он задергал щекой.

— Ты знаешь, что это получается? — сказал он, не управляясь со своим дыханием.— Это скука получается... Пошел от нас к трепаной матери...

Мне пришлось уйти. Я перевелся в 6-й эскадрон. Там дела пошли лучше. Как бы то ни было, Аргамак научил меня тихомоловской посадке. Прошли месяцы. Сон мой исполнился. Казаки перестали провожать глазами меня и мою лошадь.

## ПОЦЕЛУЙ

В начале августа штаб армии отправил нас для переформирования в Будятичи. Захваченное поляками в начале войны — оно вскоре было отбито нами. Бригада втянулась в местечко на рассвете; я приехал днем. Лучшие квартиры были заняты, мне достался школьный учитель. В низкой комнате, среди кадок с плодоносящими лимонными деревьями, сидел в кресле парализованный старик. На нем была тирольская шляпа с перышком; серая борода спускалась на грудь, осыпанную пеплом. Моргая глазами, он пролепетал какую-то просьбу. Умывшись, я ушел в штаб и вернулся ночью. Мишка Суровцев, ординарец, оренбургский лукавый казак, доложил мне обстановку; кроме парализованного старика, в наличности оказалась дочь его, Томилина Елизавета Алексеевна, и пятилетний сынок Миша, тезка Суровцева; дочь вдовеет после офицера, убитого в германскую войну, ведет себя исправно, но хорошему человеку, по сведениям Суровцева, может себя предоставить.

— Обладим,— сказал он, удалился на кухню и загремел там посудой; учительская дочка помогала ему. Куховаря, Суровцев рассказал о моей храбрости, о том, как я ссадил в бою двух польских офицеров и как уважает меня Советская власть. Ему отвечал сдержанный, негромкий голос Томилиной.

— Ты где отдыхаешь? — спросил ее Суровцев на прощанье.— Ты поближе к нам лягай, мы люди живые.

Он внес в комнату яичницу на гигантской сковороде и поставил ее на стол.

— Согласная,— сказал он, усаживаясь,— только не высказывает...

И в то же мгновенье сдавленный шепот, шуршанье, тяжелая осторожная беготня поднялись в доме. Мы не

успели съесть нашего блюда войны, как в дом потянулись старики на костылях, старухи, с головой закутанные в шали. Кровать маленького Миши перетащили в столовую, в лимонную чащу, рядом с креслом деда. Немощные гости, приготовившиеся защитить честь Елизаветы Алексеевны, сбились в кучу, как овцы в непогоду, и, забаррикадировав дверь, всю ночь бесшумно играли в карты, шепотом называя ремизы и замирая при каждом шорохе. За этой дверью я не мог заснуть от неловкости, от смущения и едва дождался света.

— К вашему сведению,— сказал я, встретив Томилину в коридоре,— к вашему сведению должен сообщить, что я окончил юридический факультет и принадлежу к так называемым интеллигентным людям...

Оцепенев, она стояла, опустив руки, в старомодной тальме, словно вылитой на тонкой ее фигуре. Не мигая, прямо на меня смотрели расширившиеся, сиявшие в слезах голубые глаза.

Через два дня мы стали друзьями. Страх и неведение, в котором жила семья учителя, семья добрых и слабых людей, были безграничны. Польские чиновники внушили им, что в дыму и варварстве кончилась Россия, как когда-то кончился Рим. Детская боязливая радость овладела ими, когда я рассказал о Ленине, о Москве, в которой бушует будущее, о Художественном театре. По вечерам к нам приходили двадцатидвухлетние большевистские генералы со спутанными рыжеватыми бородами. Мы курили московские папиросы, мы съедали ужин, приготовленный Елизаветой Алексеевной из армейских продуктов, и пели студенческие песни. Перегнувшись в кресле, парализованный слушал с жадностью, и тирольская шляпа тряслась в такт нашей песне. Старик жил все эти дни, отдавшись бурной, внезапной, неясной надежде, и, чтобы ничем не омрачить своего счастья, старался не замечать в нас некоторого щегольства кровожадностью и громогласной простоты, с какой мы решали к тому времени все мировые вопросы.

После победы над поляками — так постановлено было на семейном совете — Томилины переедут в Москву: старика мы вылечим у знаменитого профессора, Елизавета Алексеевна поступит учиться на курсы, а Мишку мы отдадим в ту самую школу на Патриарших прудах, где когда-то училась его мать. Будущее казалось никем не оспариваемой нашей собственностью, война — бурной подготовкой к счастью, и самое счастье — свойством нашего

характера. Нерешенными были только его подробности, и в обсуждении их проходили ночи, могучие ночи, когда огарок свечи отражался в мутной бутыли самогона. Расцветшая Елизавета Алексеевна была безмолвной нашей слушательницей. Никогда не видел я существа более порывистого, свободного и боязливого. По вечерам лукавый Суровцев отвозил нас в реквизированном еще на Кубани плетеном шарабане к холму, где светился в огне заката брошенный дом князей Гонсиоровских. Худые, но длинные и породистые лошади дружно бежали на красных вожжах; беспечная серьга колыхалась в ухе Суровцева, круглые башни вырастали изо рва, заросшего желтой скатертью цветов. Обломанные стены чертили в небе кривую, набухшую рубиновой кровью линию, куст шиповника прятал ягоды, и голубая ступень, остаток лестницы, по которой поднимались когда-то польские короли, блестела в кустарнике. Сидя на ней, я притянул к себе однажды голову Елизаветы Алексеевны и поцеловал ее. Она медленно отстранилась, выпрямилась и, ухватив руками стену, прислонилась к ней. Она стояла неподвижно, вокруг ослепшей ее головы бурлил огненный пыльный луч, потом, вздрогнув и словно вслушиваясь во что-то, Томилина подняла голову; пальцы ее оттолкнулись от стены; путаясь и ускоряя шаги, она побежала вниз. Я окликнул ее, мне не ответили. Внизу, разбросавшись в плетеном шарабане, спал румяный Суровцев. Ночью, когда все уснули, я прокрался в комнату Елизаветы Алексеевны. Она читала, далеко отставив от себя книгу: упавшая на стол рука казалась неживой. Обернувшись на стук, Елизавета Алексеевна поднялась с места.

— Нет,— сказала она, вглядываясь в меня,— нет, дорогой мой,— и, обхватив мое лицо голыми, длинными руками, поцеловала меня все усиливавшимся, нескончаемым, безмолвным поцелуем.

Треск телефона в соседней комнате оттолкнул нас друг от друга. Вызывал адъютант штаба.

— Выступаем,— сказал он в телефон,— приказание явиться к командиру бригады...

Я побежал без шапки, на ходу рассовывая бумаги. Из дворов выводили лошадей, во тьме, крича, мчались всадники. У комбрига, стоя завязывавшего на себе бурку, мы узнали, что поляки прорвали фронт под Люблином и что нам поручена обходная операция. Оба полка выступали через час. Разбуженный старик беспокойно следил за мной из-под листвы лимонного дерева.

— Скажите, что вы вернетесь,— повторял он и тряс головой.

Елизавета Алексеевна, накинув полушубок поверх батистовой ночной кофты, вышла провожать нас на улицу. Во мраке бешено промчался невидимый эскадрон. У поворота в поле я оглянулся — Томилина, наклонившись, поправляла куртку на мальчике, стоявшем впереди нее, и прерывистый свет лампы, горевшей на подоконнике, тек по нежному костлявому ее затылку...

Пройдя без дневок сто километров, мы соединились с 14-й кавдивизией и, отбиваясь, стали уходить. Мы спали в седлах. На привалах, сраженные сном, мы падали на землю, и лошади, натягивая повод, тащили нас, спящих, по скошенному полю. Начиналась осень и неслышно сыплющиеся галицийские дожди. Сбившись в молчащее взъерошенное тело, мы петляли и описывали круги, ныряли в мешок, завязанный поляками, и выходили из него. Сознание времени оставило нас. Располагаясь на ночлег в Тощенской церкви, я и не подумал о том, что мы находимся в девяти верстах от Будятичей. Напомнил Суровцев, мы переглянулись.

— Главное, что кони пристали,— сказал он весело,— а то съездили бы...

— Нельзя,— ответил я,— хватятся ночью...

И мы поехали. К седлам нашим были приторочены гостинцы — голова сахару, ротонда на рыжем меху и живой двухнедельный козленок. Дорога шла качающимся промокшим лесом, стальная звезда плутала в кронах дубов. Меньше чем в час мы доехали до местечка, выгоревшего в центре, заваленного побелевшими от мучной пыли грузовиками, орудийными упряжками и ломаными дышлами. Не слезая с лошади, я стукнул в знакомое окно — белое облако пронеслось по комнате. Все в той же батистовой кофте с обвислым кружевом Томилина выбежала на крыльцо. Горячей рукой она взяла мою руку и ввела в дом. В большой комнате на сломанных лимонных деревьях сушилось мужское белье, незнакомые люди спали на койках, поставленных без промежутков, как в госпитале. Высовывая грязные ступни, с криво окостеневшими ртами, они хрипло кричали со сна и жадно и шумно дышали. Дом был занят нашей трофейной комиссией, Томилины загнаны в одну комнату.

— Когда вы нас увезете отсюда? — стискивая мою руку, спросила Елизавета Алексеевна.

Старик, проснувшись, тряс головой. Маленький Миша,

прижимая к себе козленка, заливался счастливым, беззвучным смехом. Над ним, надувшись, стоял Суровцев и вытряхивал из карманов казацких шаровар шпоры, пробитые монеты, свисток на желтом витом шнуре. В этом доме, занятом трофейной комиссией, скрыться было негде, и мы ушли с Томилиной в дощатую пристройку, где на зиму складывали картофель и рамки от ульев. Там, в чулане, я увидел, какой неотвратимый губительный путь был путь поцелуя, начатого у замка князей Гонсиоровских...

Незадолго до рассвета к нам постучался Суровцев.

— Когда вы увезете нас? — глядя в сторону, сказала Елизавета Алексеевна.

Промолчав, я направился в дом, чтобы проститься со стариком.

— Главное, что время нет,— загородил мне дорогу Суровцев,— сидайте, поедем...

Он вытолкал меня на улицу и подвел лошадь. Томилина подала мне похолодевшую руку. Как всегда, она прямо держала голову. Лошади, отдохнув за ночь, понесли рысью. В черном сплетении дубов поднималось огнистое солнце. Ликование утра переполняло мое существо.

В лесу открылась прогалина, я пустил лошадь и, обернувшись, крикнул Суровцеву:

— Что бы еще побыть... Рано вспугнул...

— И то не рано,— ответил он, подравниваясь и разнимая рукой мокрые, сыплющие искры ветви,— кабы не старик, я и раньше бы вспугнул... А то разговорился, старый, разнервничался, крякает и на сторону валиться стал... Я подскочил к нему, смотрю — мертвый, испекся...

Лес кончился. Мы выехали на вспаханное поле без дороги. Привстав, поглядывая по сторонам, подсвистывая, Суровцев вынюхивал правильное направление и, втянув его с воздухом, пригнулся и поскакал.

Мы приехали вовремя. В эскадроне поднимали людей. Обещая жаркий день, пригревало солнце. В это утро наша бригада прошла бывшую государственную границу Царства Польского.

# РАССКАЗЫ

## 1925—1938 гг.





# ИСТОРИЯ МОЕЙ ГОЛУБЯТНИ

*М. Горькому*

В детстве я очень хотел иметь голубятню. Во всю жизнь у меня не было желания сильнее. Мне было девять лет, когда отец посулил дать денег на покупку тесу и трех пар голубей. Тогда шел тысяча девятьсот четвертый год. Я готовился к экзаменам в приготовительный класс Николаевской гимназии. Родные мои жили в городе Николаеве, Херсонской губернии. Этой губернии больше нет, наш город отошел к Одесскому району.

Мне было всего девять лет, и я боялся экзаменов. По обоим предметам — по русскому и по арифметике — мне нельзя было получить меньше пяти. Процентная норма была трудна в нашей гимназии, всего пять процентов. Из сорока мальчиков только два еврея могли поступить в приготовительный класс. Учителя спрашивали этих мальчиков хитро; никого не спрашивали так замысловато, как нас. Поэтому отец, обещая купить голубей, требовал двух пятерок с крестами. Он совсем истерзал меня, я впал в нескончаемый сон наяву, в длинный детский сон отчаяния, и пошел на экзамен в этом сне и все же выдержал лучше других.

Я был способен к наукам. Учителя, хоть они и хитрили, не могли отнять у меня ума и жадной памяти. Я был способен к наукам и получил две пятерки. Но потом все изменилось. Харитон Эфрусси, торговец хлебом, экспортировавший пшеницу в Марсель, дал за своего сына взятку в пятьсот рублей, мне поставили пять с минусом вместо пяти, и в гимназию на мое место приняли маленького Эфрусси. Отец очень убивался тогда. С шести лет он обучал меня всем наукам, каким только можно было. Случай с минусом при-

вел его в отчаяние. Он хотел побить Эфрусси или подкупить двух грузчиков, чтобы они побили Эфрусси, но мать отговорила его, и я стал готовиться к другому экзамену, в будущем году, в первый класс. Родные тайком от меня подбили учителя, чтобы он в один год прошел со мною курс приготовительного и первого классов сразу, и так как мы во всем отчаивались, то я выучил наизусть три книги. Эти книги были: грамматика Смирновского, задачник Евтушевского и учебник начальной русской истории Пуцыковича. По этим книгам дети не учатся больше, но я выучил их наизусть, от строки до строки, и в следующем году на экзамене из русского языка получил у учителя Караваева недосягаемые пять с крестом.

Караваев этот был румяный негодующий человек из московских студентов. Ему едва ли исполнилось тридцать лет. На мужественных его щеках цвел румянец, как у крестьянских ребят, сидела бородавка у него на щеке, из нее рос пучок пепельных кошачьих волос. Кроме Караваева, на экзамене был еще помощник попечителя Пятницкий, считавшийся важным лицом в гимназии и во всей губернии. Помощник попечителя спросил меня о Петре Первом, я испытал тогда чувство забвения, чувство близости конца и бездны, сухой бездны, выложенной восторгом и отчаянием.

О Петре Великом я знал наизусть из книжки Пуцыковича и стихов Пушкина. Я навзрыд сказал эти стихи, человечьи лица покатились вдруг в мои глаза и перемешались там, как карты из новой колоды. Они тасовались на дне моих глаз, и в эти мгновения, дрожа, выпрямляясь, торопясь, я кричал пушкинские строфы изо всех сил. Я кричал их долго, никто не прерывал безумного моего бормотанья. Сквозь багровую слепоту, сквозь свободу, овладевшую мною, я видел только старое, склоненное лицо Пятницкого с посеребренной бородой. Он не прерывал меня и только сказал Караваеву, радовавшемуся за меня и за Пушкина.

— Какая нация,— прошептал старик,— жидки ваши, в них дьявол сидит.

И когда я замолчал, он сказал:

— Хорошо, ступай, мой дружок...

Я вышел из класса в коридор и там, прислонившись к небеленой стене, стал просыпаться от судороги моих снов. Русские мальчики играли вокруг меня, гимназический колокол висел неподалеку под пролетом казенной лестницы, сторож дремал на продавленном стуле. Я смотрел на сторожа и просыпался. Дети подбирались ко мне со всех сторон. Они хотели щелкнуть меня или просто

поиграть, но в коридоре показался вдруг Пятницкий. Миновав меня, он приостановился на мгновение, сюртук трудной медленной волной пошел по его спине. Я увидел смятение на просторной этой, мясистой, барской спине и двинулся к старику.

— Дети,— сказал он гимназистам,— не трогайте этого мальчика,— и положил жирную, нежную руку на мое плечо.— Дружок мой,— обернулся Пятницкий, передай отцу, что ты принят в первый класс.

Пышная звезда блеснула у него на груди, ордена зазвенели у лацкана, большое черное мундирное его тело стало уходить на прямых ногах. Оно стиснуто было сумрачными стенами, оно двигалось в них, как движется барка в глубоком канале, и исчезло в дверях директорского кабинета. Маленький служитель понес ему чай с торжественным шумом, а я побежал домой, в лавку.

В лавке нашей, полон сомнения, сидел и скребся мужик-покупатель. Увидев меня, отец бросил мужика и, не колеблясь, поверил моему рассказу. Он закричал приказчику закрывать лавку и бросился на Соборную улицу покупать мне шапку с гербом. Бедная мать едва отодрала меня от помешавшегося этого человека. Мать была бледна в ту минуту и испытывала судьбу. Она гладила меня и с отвращением отталкивала. Она сказала, что о всех принятых в гимназию бывает объявление в газетах и что бог нас покарает и люди над нами посмеются, если мы купим форменную одежду раньше времени. Мать была бледна, она испытывала судьбу в моих глазах и смотрела на меня с горькой жалостью, как на калечку, потому что одна она знала, как несчастлива наша семья.

Все мужчины в нашем роду были доверчивы к людям и скоры на необдуманные поступки, нам ни в чем не было счастья. Мой дед был раввином когда-то в Белой Церкви, его прогнали оттуда за кощунство, и он с шумом и скудно прожил еще сорок лет, изучал иностранные языки и стал сходить с ума на восьмидесятом году жизни. Дядька мой Лев, брат отца, учился в Воложинском ешиботе, в 1892 году он бежал от солдатчины и похитил дочь интенданта, служившего в Киевском военном округе. Дядька Лев увез эту женщину в Калифорнию, в Лос-Анжелос, бросил ее там и умер в дурном доме, среди негров и малайцев. Американская полиция прислала нам после смерти наследство из Лос-Анжелоса — большой сундук, окованный коричневыми железными обручами. В этом сундуке были гири от гимнастики, пряди женских волос, дедовский талес, хлысты с золо-

чеными набалдашниками и цветочный чай в шкатулках, отделанных дешевыми жемчугами. Изо всей семьи оставались только безумный дядя Симон, живший в Одессе, мой отец и я. Но отец мой был доверчивый к людям, он обижал их восторгами первой любви, люди не прощали ему этого и обманывали. Отец верил поэтому, что жизнью его управляет злобная судьба, необъяснимое существо, преследующее его и во всем на него не похожее. И вот только один я оставался у моей матери изо всей нашей семьи. Как все евреи, я был мал ростом, хил и страдал от ученья головными болями. Все это видела моя мать, которая никогда не бывала ослеплена нищенской гордостью своего мужа и непонятной его верой в то, что семья наша станет когда-либо сильнее и богаче других людей на земле. Она не ждала для нас удачи, боялась купить форменную блузу раньше времени и только позволила мне сняться у фотографа для большого портрета.

Двадцатого сентября тысяча девятьсот пятого года в гимназии вывешен был список поступивших в первый класс. В таблице упоминалось и мое имя. Вся родня наша ходила смотреть на эту бумажку, и даже Шойл, мой двоюродный дед, пришел в гимназию. Я любил хвастливого этого старика за то, что он торговал рыбой на рынке. Толстые его руки были влажны, покрыты рыбьей чешуей и воняли холодными прекрасными мирами. Шойл отличался от обыкновенных людей еще и лживыми историями, которые он рассказывал о польском восстании 1861 года. В давние времена Шойл был корчмарем в Сквире; он видел, как солдаты Николая Первого расстреливали графа Годлевского и других польских инсургентов. Может быть, он и не видел этого. Теперь-то я знаю, что Шойл был всего только старый неуч и наивный лгун, но побасенки его не забыты мной, они были хороши. И вот даже глупый Шойл пришел в гимназию прочитать таблицу с моим именем и вечером плясал и топал на нашем нищем балу.

Отец устроил бал на радостях и позвал товарищей своих — торговцев зерном, маклеров по продаже имений и вояжеров, продававших в нашей округе сельскохозяйственные машины. Вояжеры эти продавали машины всякому человеку. Мужики и помещики боялись их, от них нельзя было отделаться, не купив чего-нибудь. Изо всех евреев вояжеры самые бывалые, веселые люди. На нашем вечере они пели хасидские песни, состоявшие всего из трех слов, но певшиеся очень долго, со множеством смешных интонаций. Прелесть этих интонаций может узнать

только тот, кому приходилось встречать пасху у хасидов или кто бывал на Волыни в их шумных синагогах. Кроме вояжеров, к нам пришел старый Либерман, обучавший меня Торе и древнееврейскому языку. Его называли у нас мосье Либерман. Он выпил бессарабского вина поболее, чем ему было надо, шелковые традиционные шнурки вылезли из-под красной его жилетки, и он произнес на древнееврейском языке тост в мою честь. Старик поздравил родителей в этом тосте и сказал, что я победил на экзамене всех врагов моих, я победил русских мальчиков с толстыми щеками и сыновей грубых наших богачей. Так в древние времена Давид, царь иудейский, победил Голиафа, и подобно тому как я восторжествовал над Голиафом, так народ наш силой своего ума победит врагов, окруживших нас и ждущих нашей крови. Мосье Либерман заплакал, сказав это, плача, выпил еще вина и закричал: «Виват!» Гости взяли его в круг и стали водить с ним старинную кадриль, как на свадьбе в еврейском местечке. Все были веселы на нашем балу, даже мать пригубила вина, хоть она и не любила водки и не понимала, как можно любить ее; всех русских она считала поэтому сумасшедшими и не понимала, как живут женщины с русскими мужьями.

Но счастливые наши дни наступили позже. Они наступили для матери тогда, когда по утрам до ухода в гимназию она стала приготовлять для меня бутерброды, когда мы ходили по лавкам и покупали елочное мое хозяйство — пенал, копилку, ранец, новые книги в картонных переплетах и тетради в глянцевых обертках. Никто в мире не чувствует новых вещей сильнее, чем дети. Дети содрогаются от этого запаха, как собака от заячьего следа, и испытывают безумие, которое потом, когда мы становимся взрослыми, называется вдохновением. И это чистое детское чувство собственничества над новыми вещами передавалось матери. Мы месяц привыкали к пеналу и к утреннему сумраку, когда я пил чай на краю большого освещенного стола и собирал книги в ранец; мы месяц привыкали к счастливой нашей жизни, и только после первой четверти я вспомнил о голубях.

У меня все было припасено для них — рубль пятьдесят копеек и голубятня, сделанная из ящика дедом Шойлом. Голубятня была выкрашена в коричневую краску. Она имела гнезда для двенадцати пар голубей, разные планочки на крыше и особую решетку, которую я придумал, чтобы удобнее было приманивать чужаков. Все было готово. В воскресенье двадцатого октября я собрался

на охотницкую, но на пути стали неожиданные препятствия.

История, о которой я рассказываю, то есть поступление мое в первый класс гимназии, происходила осенью тысяча девятьсот пятого года. Царь Николай давал тогда конституцию русскому народу, ораторы в худых пальто взгромождались на тумбы у здания городской думы и говорили речи народу. На улицах по ночам раздавалась стрельба, и мать не хотела отпускать меня на охотницкую. С утра в день двадцатого октября соседские мальчики пускали змей против самого полицейского участка, и водовоз наш, забросив все дела, ходил по улице напомаженный, с красным лицом. Потом мы увидели, как сыновья булочника Калистова вытащили на улицу кожаную кобылу и стали делать гимнастику посреди мостовой. Им никто не мешал, городовой Семерников подзадоривал их даже прыгать повыше. Семерников был подпоясан шелковым домотканым пояском, и сапоги его были начищены в тот день так блестко, как не бывали они начищены раньше. Городовой, одетый не по форме, больше всего испугал мою мать, из-за него она не отпускала меня, но я пробрался на улицу задворками и добежал до охотницкой, помещавшейся у нас за вокзалом.

На Охотницкой, на постоянном своем месте, сидел Иван Никодимыч, голубятник. Кроме голубей, он продавал еще кроликов и павлина. Павлин, распустив хвост, сидел на жердочке и поводил по сторонам бесстрастной головкой. Лапа его была обвязана крученой веревкой, другой конец веревки лежал прищемленный Ивана Никодимыча плетеным стулом. Я купил у старика, как только пришел, пару вишневых голубей с затрепанными пышными хвостами и пару чубатых и спрятал их в мешок за пазуху. У меня оставалось сорок копеек после покупки, но старик за эту цену не хотел отдать голубя и голубку крюковской породы. У крюковских голубей я любил их клювы, короткие, зернистые, дружелюбные. Сорок копеек была им верная цена, но охотник дорожился и отворачивал от меня желтое лицо, сожженное нелюдимыми страстями птицелова. К концу торга, видя, что не находится других покупщиков, Иван Никодимыч подозвал меня. Все вышло по-моему, и все вышло худо.

В двенадцатом часу дня или немногим позже по площади прошел человек в валеных сапогах. Он легко шел на раздутых ногах, в его истертом лице горели оживленные глаза.

— Иван Никодимыч,— сказал он, проходя мимо охотника,— складайте инструмент, в городе иерусалимские дво-

ряне конституцию получают. На Рыбной бабелевского деда насмерть угостили.

Он сказал это и легко пошел между клетками, как босой пахарь, идущий по меже.

— Напрасно,— пробормотал Иван Никодимыч ему вслед,— напрасно,— закричал он строже и стал собирать кроликов и павлина и сунул мне крюковских голубей за сорок копеек.

Я спрятал их за пазуху и стал смотреть, как разбегаются люди с охотницкой. Павлин на плече Ивана Никодимыча уходил последним. Он сидел, как солнце в сыром осеннем небе, он сидел, как сидит июль на розовом берегу реки, раскаленный июль в длинной холодной траве. На рынке никого уже не было, и выстрелы гремели неподалеку. Тогда я побежал к вокзалу, пересек сквер, сразу опрокинувшийся в моих глазах, и влетел в пустынный переулок, утоптанный желтой землей. В конце переулка на креслице с колесиками сидел безногий Макаренко, ездивший в креслице по городу и продававший папиросы с лотка. Мальчики с нашей улицы покупали у него папиросы, дети любили его, я бросился к нему в переулок.

— Макаренко,— сказал я, задыхаясь от бега, и погладил плечо безногого,— не видал ты Шойла?

Калека не ответил, грубое его лицо, составленное из красного жира, из кулаков, из железа, просвечивало. Он в волнении ерзал на креслице, жена его, Катюша, повернувшись ваточным задом, разбирала вещи, валявшиеся на земле.

— Чего насчитала? — спросил безногий и двинулся от женщины всем корпусом, как будто ему наперед невыносим был ее ответ.

— Камашей четырнадцать штук,— сказала Катюша, не разгибаясь,— пододеяльников шесть, теперь чепцы рассчитываю...

— Чепцы! — закричал Макаренко, задохся и сделал такой звук, как будто он рыдает.— Видно, меня, Катерина, бог сыскал, что я за всех ответить должен... Люди полотно целыми штуками носят, у людей все, как у людей, а у нас чепцы...

И в самом деле, по переулку пробежала женщина с распалившимся красивым лицом. Она держала охапку фесок в одной руке и штуку сукна в другой. Счастливым отчаянным голосом сзывала она потерявшихся детей; шелковое платье и голубая кофта волочились за летящим ее телом, и она не слушала Макаренко, катившего за ней на кресле. Безногий

не поспевал за ней, колеса его гремели, он изо всех сил вертел рычажки.

— Мадамочка,— оглушительно кричал он,— где брали сарпинку, мадамочка?

Но женщины с летящим платьем уже не было. Ей навстречу из-за угла выскочила вихлявая телега. Крестьянский парень стоял стоймя в телеге.

— Куда люди побегли? — спросил парень и поднял красную вожжу над клячами, прыгавшими в хомутах.

— Люди все на Соборной,— умоляюще сказал Макаренко,— там все люди, душа-человек; чего наберешь,— все мне тащи, все покупаю...

Парень изогнулся над передком, хлестнул по пегим клячам. Лошади, как телята, прыгнули грязными своими крупами и пустились вскачь. Желтый переулок снова остался желт и пустынен; тогда безногий перевел на меня погасшие глаза.

— Меня, што ль, бог сыскал,— сказал он безжизненно,— я вам, што ль, сын человеческий...

И Макаренко протянул мне руку, запятнанную проказой.

— Чего у тебя в торбе? — сказал он и взял мешок, согревший мое сердце.

Толстой рукой калека разворошил турманов и вытащил на свет вишневую голубку. Запрокинув лапки, птица лежала у него на ладони.

— Голуби,— сказал Макаренко и, скрипя колесами, подъехал ко мне,— голуби,— повторил он и ударил меня по щеке.

Он ударил меня наотмашь ладонью, сжимавшей птицу, Катюшин ваточный зад повернулся в моих зрачках, и я упал на землю в новой шинели.

— Семя ихнее разорить надо,— сказала тогда Катюша и разогнулась над чепцами,— семя ихнее я не могу навидеть и мужчин их вонючих...

Она еще сказала о нашем семени, но я ничего не слышал больше. Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен. Камешек лежал перед глазами, камешек, выщербленный, как лицо старухи с большой челюстью, обрывок бечевки валялся неподалеку и пучок перьев, еще дышавших. Мир мой был мал и ужасен.

Я закрыл глаза, чтобы не видеть его, и прижался к земле, лежавшей подо мной в успокоительной немоте. Утоптанная эта земля ни в чем не была похожа на нашу жизнь и на ожидание экзаменов в нашей жизни. Где-то далеко по ней ездила беда на большой лошади, но шум копыт слабел, пропадал, и тишина, горькая тишина, поражающая иногда детей в несчастье, истребила вдруг границу между моим телом и никуда не двигавшейся землей. Земля пахла сырыми недрами, могилой, цветами. Я услышал ее запах и заплакал без всякого страха. Я шел по чужой улице, заставленной белыми коробками, шел в убранстве окровавленных перьев, один в середине тротуаров, подметенных чисто, как в воскресенье, и плакал так горько, полно и счастливо, как не плакал больше во всю мою жизнь. Побелевшие провода гудели над головой, дворняжка бежала впереди, в переулке сбоку молодой мужик в жилете разбивал раму в доме Харитона Эфрусси. Он разбивал ее деревянным молотом, замахивался всем телом и, вздыхая, улыбался на все стороны доброй улыбкой опьянения, пота и душевной силы. Вся улица была наполнена хрустом, треском, пением разлетавшегося дерева. Мужик бил только затем, чтобы перегибаться, запотевать и кричать необыкновенные слова на неведомом, нерусском языке. Он кричал их и пел, раздирал изнутри голубые глаза, пока на улице не показался крестный ход, шедший от думы. Старики с крашеными бородами несли в руках портрет расчесанного царя, хоругви с гробовыми угодниками метались над крестным ходом, воспламененные старухи летели вперед. Мужик в жилетке, увидав шествие, прижал молоток к груди и побежал за хоругвями, а я, выждав конец процессии, пробрался к нашему дому. Он был пуст. Белые двери его были раскрыты, трава у голубятни вытоптана. Один Кузьма не ушел со двора. Кузьма, дворник, сидел в сарае и убирал мертвого Шойла.

— Ветер тебя носит, как дурную щепку,— сказал старик, увидев меня,— убег на целые веки... Тут народ деда нашего, вишь, как тюкнул...

Кузьма засопел, отвернулся и стал вынимать у деда из прорехи штанов судака. Их было два судака всунуты в деда: один в прореху штанов, другой в рот, и хоть дед был мертв, но один судак жил еще и содрогался.

— Деда нашего тюкнули, никого больше,— сказал Кузьма, выбрасывая судаков кошке,— он весь народ из матери в мать погнал, изматерил дочиста, такой славный... Ты бы ему пятаков на глаза нанес...


Кузьма
спаси нас

Но тогда, десяти лет от роду, я не знал, зачем бывают надобны пятаки мертвым людям.

— Кузьма,— сказал я шепотом,— спаси нас...

И я подошел к дворнику, обнял его старую кривую спину с одним поднятым плечом и увидел деда из-за этой спины. Шойл лежал в опилках, с раздавленной грудью, с вздернутой бородой, в грубых башмаках, одетых на босу ногу. Ноги его, положенные врозь, были грязны, лиловы, мертвы. Кузьма хлопотал вокруг них, он подвязал челюсти и все примеривался, чего бы ему еще сделать с покойником. Он хлопотал, как будто у него в дому была обновка, и остыл, только расчесав бороду мертвецу.

— Всех изматерил,— сказал он, улыбаясь, и оглянул труп с любовью,— кабы ему татары попались, он татар погнал бы, но тут русские подошли, и женщины с ними, кацапки; кацапам людей прощать обидно, я кацапов знаю...

Дворник подсыпал покойнику опилок, сбросил плотницкий передник и взял меня за руку.

— Идем к отцу,— пробормотал он, сжимая меня все крепче,— отец твой с утра тебя ищет, как бы не помер...

И вместе с Кузьмой мы пошли к дому податного инспектора, где спрятались мои родители, убежавшие от погрома.



## ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Десяти лет от роду я полюбил женщину по имени Галина Аполлоновна. Фамилия ее была Рубцова. Муж ее, офицер, уехал на японскую войну и вернулся в октябре тысяча девятьсот пятого года. Он привез с собой много сундуков. В этих сундуках были китайские вещи: ширмы, драгоценное оружие, всего тридцать пудов. Кузьма говорил нам, что Рубцов купил эти вещи на деньги, которые он нажил на военной службе в инженерном управлении Маньчжурской армии. Кроме Кузьмы, другие люди говорили то же. Людям трудно было не судачить о Рубцовых, потому что Рубцовы были счастливы. Дом их прилегал к нашему владению, стеклянная их терраса захватывала часть нашей земли, но отец не бранился с ними из-за этого. Рубцов, податной инспектор, слыл в нашем городе справедливым человеком, он водил знакомство с евреями. И когда с японской войны приехал офицер, сын старика, все мы увидели, как дружно и счастливо они зажили. Галина Аполлоновна по целым дням держала мужа за руки. Она не сводила с него глаз, потому что не видела мужа полтора года, но я ужасался ее взгляда, отворачивался и трепетал. Я видел в них удивительную постыдную жизнь всех людей на земле, я хотел заснуть необыкновенным сном, чтобы мне забыть об этой жизни, превосходящей мечты. Галина Аполлоновна ходила, бывало, по комнате с распущенной косой, в красных башмаках и китайском халате. Под кружевами ее рубашки, вырезанной низко, видно было углубление и начало белых, вздутых, отдавленных книзу грудей, а на халате розовыми шелками вышиты были драконы, птицы, дуплистые деревья.

Весь день она слонялась с неясной улыбкой на мокрых губах и наталкивалась на нераспакованные сундуки, на

гимнастические лестницы, разбросанные по полу. У Галины делались ссадины от этого, она подымала халат выше колена и говорила мужу:

— Поцелуй ваву...

И офицер, сгибая длинные ноги, одетые в драгунские чикчиры, в шпоры, в лайковые обтянутые сапоги, становился на грязный пол, и, улыбаясь, двигая ногами и подползая на коленях, он целовал ушибленное место, то место, где была пухлая складка от подвязки. Из моего окна я видел эти поцелуи. Они причиняли мне страдания, но об этом не стоит рассказывать, потому что любовь и ревность десятилетних мальчиков во всем похожи на любовь и ревность взрослых мужчин. Две недели я не подходил к окну и избегал Галины, пока случай не свел меня с нею. Случай этот был еврейский погром, разразившийся в пятом году в Николаеве и в других городах еврейской черты оседлости. Толпа наемных убийц разграбила лавку отца и убила деда моего Шойла. Все это случилось без меня, я покупал в то утро голубей у охотника Ивана Никодимыча. Пять лет из прожитых мною десяти я всею силою души мечтал о голубях, и вот, когда я купил их, калека Макаренко разбил голубей на моем виске. Тогда Кузьма отвел меня к Рубцовым. У Рубцовых на калитке был мелом нарисован крест, их не трогали, они спрятали у себя моих родителей. Кузьма привел меня на стеклянную террасу. Там сидела мать в зеленой ротонде и Галина.

— Нам надо умыться,— сказала мне Галина,— нам надо умыться, маленький раввин... У нас все лицо в перьях, и перья-то в крови...

Она обняла меня и повела по коридору, резко пахнувшему. Голова моя лежала на бедре Галины, бедро ее двигалось и дышало. Мы пришли на кухню, и Рубцова поставила меня под кран. Гусь жарился на кафельной плите, пылающая посуда висела по стенам, и рядом с посудой, в кухаркином углу, висел царь Николай, убранный бумажными цветами. Галина смыла остатки голубя, присохшие к моим щекам.

— Жених будешь, мой гарнесенький,— сказала она,— поцеловав меня в губы запухшим ртом, и отвернулась.

— Ты видишь,— прошептала она вдруг,— у папки твоего неприятности, он весь день ходит по улицам без дела, позови папку домой...

И я увидел из окна пустую улицу с громадным небом над ней и рыжего моего отца, шедшего по мостовой. Он шел без шапки, весь в легких поднявшихся рыжих воло-

сах, с бумажной манишкой, свороченной набок и застегнутой на какую-то пуговицу, но не на ту, на которую следовало. Власов, испитой рабочий в солдатских ваточных лохмотьях, неотступно шел за отцом.

— Так,— говорил он душевным хриплым голосом и обеими руками ласково трогал отца,— не надо нам свободы, чтобы жидам было свободно торговать... Ты подай светлость жизни рабочему человеку за труды за его, за ужасную эту громадность... Ты подай ему, друг, слышь, подай...

Рабочий молил о чем-то отца и трогал его, полосы чистого пьяного вдохновения сменялись на его лице унынием и сонливостью.

— На молокан должна быть похожа наша жизнь,— бормотал он и пошатывался на подворачивающихся ногах,— вроде молокан должна быть наша жизнь, но только без бога этого сталоверского, от него евреям выгода, другому никому...

И Власов с отчаянием закричал о сталоверском боге, пожалевшем одних евреев. Власов вопил, спотыкался и догонял неведомого своего бога, но в эту минуту казачий разъезд перерезал ему путь. Офицер в лампасах, в серебряном парадном поясе ехал впереди отряда, высокий картуз был поставлен на его голове. Офицер ехал медленно и не смотрел по сторонам. Он ехал как бы в ущелье, где смотреть можно только вперед.

— Капитан,— прошептал отец, когда казак поравнялся с ним,— капитан,— сжимая голову, сказал отец и стал коленями в грязь.

— Чем могу? — ответил офицер, глядя по-прежнему вперед, и поднес к козырьку руку в замшевой лимонной перчатке.

Впереди, на углу Рыбной улицы, громилы разбивали нашу лавку и выкидывали из нее ящики с гвоздями, машинами и новый мой портрет в гимназической форме.

— Вот,— сказал отец и не встал с колен,— они разбивают кровное, капитан, за что...

Офицер что-то пробормотал, приложил к козырьку лимонную перчатку и тронул повод, но лошадь не пошла. Отец ползал перед ней на коленях, притирался к коротким ее, добрым, чуть взлохмаченным ногам.

— Слушаю-с,— сказал капитан, дернул повод и уехал, за ним двинулись казаки.

Они бесстрастно сидели в высоких седлах, ехали в во-

ображаемом ущелье и скрылись в повороте на Соборную улицу.

Тогда Галина опять подтолкнула меня к окну.

— Позови папку домой,— сказала она,— он с утра ничего не ел.

И я высунулся из окна.

Отец обернулся, услышав мой голос.

— Сыночка моя,— пролепетал он с невыразимой нежностью.

И вместе с ним мы пошли на террасу к Рубцовым, где лежала мать в зеленой ротонде. Рядом с ее кроватью валялись гантели и гимнастический аппарат.

— Паршивые копейки,— сказала мать нам навстречу,— человеческую жизнь, и детей, и несчастное наше счастье,— ты все им отдал... Паршивые копейки,— закричала она хриплым, не своим голосом, дернулась на кровати и затихла.

И тогда в тишине стала слышна моя икота. Я стоял у стены в нахлобученном картузе и не мог унять икоты.

— Стыдно так, мой гарнесенький,— улыбнулась Галина пренебрежительной своей улыбкой и ударила меня негнущимся халатом. Она прошла в красных башмаках к окну и стала навешивать китайские занавески на диковинный карниз. Обнаженные ее руки утопали в шелку, живая коса шевелилась на ее бедре, я смотрел на нее с восторгом.

Ученый мальчик, я смотрел на нее, как на далекую сцену, освещенную многими софитами. И тут же я вообразил себя Мироном, сыном угольщика, торговавшего на нашем углу. Я вообразил себя в еврейской самообороне, и вот, как и Мирон, я хожу в рваных башмаках, подвязанных веревкой. На плече, на зеленом шнурке, у меня висит негодное ружье, я стою на коленях у старого дощатого забора и отстреливаюсь от убийц. За забором моим тянется пустырь, на нем свалены груды запылившегося угля, старое ружье стреляет дурно, убийцы, в бородах, с белыми зубами, все ближе подступают ко мне; я испытываю гордое чувство близкой смерти и вижу в высоте, в синеве мира, Галину. Я вижу бойницу, прорезанную в стене гигантского дома, выложенного мириадами кирпичей. Пурпурный этот дом попирает переулок, в котором плохо убита серая земля, в верхней бойнице его стоит Галина. Пренебрежительной своей улыбкой она улыбается из недосягаемого окна, муж, полуодетый офицер, стоит за спиной и целует ее в шею...

Пытаясь унять икоту, я вообразил себе все это затем, чтобы мне горше, горячей, безнадежней любить Рубцову, и, может быть, потому, что мера скорби велика для десятилетнего человека. Глупые мечты помогли мне забыть смерть голубей и смерть Шойла, я позабыл бы, пожалуй, об этих убийствах, если бы в ту минуту на террасу не взошел Кузьма с ужасным этим евреем Абой.

Были сумерки, когда они пришли. На террасе горела скудная лампа, покривившаяся в каком-то боку,— мигающая лампа, спутник несчастий.

— Я деда обрядил,— сказал Кузьма, входя,— теперь очень красивые лежат,— вот и служку привел, пускай поговорит чего-нибудь над стариком...

И Кузьма показал на шамеса Абу.

— Пускай поскулит,— проговорил дворник дружелюбно,— служке кишку напихать — служка цельную ночь богу надоедать будет...

Он стоял на пороге — Кузьма — с добрым своим перебитым носом, повернутым во все стороны, и хотел рассказать как можно душевнее о том, как он подвязывал челюсти мертвецу, но отец прервал старика.

— Прошу вас, реб Аба,— сказал отец,— помолитесь над покойником, я заплачу вам...

— А я опасываюсь, что вы не заплатите,— скучным голосом ответил Аба и положил на скатерть бородатое брезгливое лицо,— я опасываюсь, что вы заберете мой карбач и уедете с ним в Аргентину, в Буэнос-Айрес, и откроете там оптовое дело на мой карбач... Оптовое дело,— сказал Аба, пожевал презрительными губами и потянул к себе газету «Сын отечества», лежавшую на столе. В газете этой было напечатано о царском манифесте 17 октября и о свободе.

— «...Граждане свободной России,— читал Аба газету по складам и разжевывал бороду, которой он набрал полон рот,— граждане свободной России, с светлым вас Христовым воскресением...»

Газета стояла боком перед старым шамесом и колыхалась: он читал ее сонливо, нараспев и делал удивительные ударения на незнакомых ему русских словах. Ударения Абы были похожи на глухую речь негра, прибывшего с родины в русский порт. Они рассмешили даже мать мою.

— Я делаю грех,— вскричала она, высовываясь изпод ротонды,— я смеюсь, Аба... Скажите лучше, как вы поживаете и как семья ваша?

— Спросите меня о чем-нибудь другом,— пробурчал Аба, не выпуская бороды из зубов и продолжая читать газету.

— Спроси его о чем-нибудь другом,— вслед за Абой сказал отец и вышел на середину комнаты. Глаза его, улыбавшиеся нам в слезах, повернулись вдруг в орбитах и уставились в точку, никому не видную.

— Ой, Шойл,— произнес отец ровным, лживым, приготовляющимся голосом,— ой, Шойл, дорогой человек...

Мы увидели, что он закричит сейчас, но мать предупредила нас.

— Манус,— закричала она, растрепавшись мгновенно, и стала обрывать мужу грудь,— смотри, как худо нашему ребенку, отчего ты не слышишь его икотки, отчего это, Манус?..

Отец умолк.

— Рахиль,— сказал он боязливо,— нельзя передать тебе, как я жалею Шойла...

Он ушел в кухню и вернулся оттуда со стаканом воды.

— Пей, артист,— сказал Аба, подходя ко мне,— пей эту воду, которая поможет тебе, как мертвому кадило...

И правда, вода не помогла мне. Я икал все сильнее. Рычание вырывалось из моей груди. Опухоль, приятная на ощупь, вздулась у меня на горле. Опухоль дышала, надувалась, перекрывала глотку и вываливалась из воротника. В ней клокотало разорванное мое дыхание. Оно клокотало, как закипевшая вода. И когда к ночи я не был уже больше лопоухий мальчик, каким я был во всю мою прежнюю жизнь, а стал извивающимся клубком, тогда мать, закутавшись в шаль и ставшая выше ростом и стройнее, подошла к помертвевшей Рубцовой.

— Милая Галина,— сказала мать певучим, сильным голосом,— как мы беспокоим вас, и милую Надежду Ивановну, и всех ваших... Как мне стыдно, милая Галина...

С пылающими щеками мать теснила Галину к выходу, потом она кинулась ко мне и сунула шаль мне в рот, чтобы подавить мой стон.

— Потерпи, сынок,— шептала мать,— потерпи для мамы...

Но хоть бы и можно терпеть, я не стал бы этого делать, потому что не испытывал больше стыда...

Так началась моя болезнь. Мне было тогда десять лет. Наутро меня повели к доктору. Погром продолжался, но нас не тронули. Доктор, толстый человек, нашел у меня нервную болезнь.

Он велел поскорее ехать в Одессу, к профессорам, и дожидаться там тепла и морских купаний.

Мы так и сделали. Через несколько дней я выехал с матерью в Одессу к деду Лейви-Ицхоку и к дяде Симону. Мы выехали утром на пароходе, и уже к полдню бурные воды Буга сменились тяжелой зеленой волной моря. Передо мною открывалась жизнь у безумного деда Лейви-Ицхока, и я навсегда простился с Николаевом, где прошли десять лет моего детства.

## СТАРАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Три махновца — Гнилошкуров и еще двое — условились с женщиной об любовных услугах. За два фунта сахару она согласилась принять троих, но на третьем не выдержала и закружилась по комнате. Женщина выбежала во двор и повстречалась во дворе с Махно. Он перетянул ее арапником и рассек верхнюю губу, досталось и Гнилошкурову.

Это случилось утром в девятом часу, потом прошел день в хлопотах, и вот ночь, и идет дождь, мелкий дождь, шепчущий, неодолимый. Он шуршит за стеной, передо мной в окне висит единственная звезда. Каменка потонула во мгле; живое гетто налито живой тьмой, и в нем идет неумолимая возня махновцев. Чей-то конь ржет тонко, как тоскующая женщина, за околицей скрипят бессонные тачанки, и канонада, затихая, укладывается спать на черной, на мокрой земле.

И только на далекой улице пылает окно атамана. Ликующим прожектором взрезывает оно нищету осенней ночи и трепещет, залитое дождем. Там, в штабе батько, играет духовой оркестр в честь Антонины Васильевны, сестры милосердия, ночующей у Махно в первый раз. Меланхолические густые трубы гудят все сильнее, и партизаны, сбившись под моим окном, слушают громовой напев старинных маршей. Их трое сидит под моим окном — Гнилошкуров с товарищами, потом Кикин подкатывается к ним, бесноватый казачонок. Он мечет ноги в воздух, становится на руки, поет и верещит и затихает с трудом, как после припадка.

— Овсяница,— шепчет вдруг Гнилошкуров,— Овсяница,— говорит он с тоской,— отчего этому быть возможно,

когда она после меня двоих свезла и вполне благополучно... И тем более подпоясуюсь я, она мне такое закидает, пожилой, говорит, мерси за компанию, вы мне приятный... Анелей, говорит, звать меня, такое у меня имя — Анеля... И вот, Овсяница, я так раскладаю, что она с утра гадкой зелени наелась, она наелась, и тут Петька наскочил на наше горе...

— Тут Петька наскочил,— сказал пятнадцатилетний Кикин, усаживаясь, и закурил папиросу.— Мужчина, она Петьке говорит, будьте настолько любезны, у меня последняя сила уходит, и как вскочит, завинтилась винтом, а ребята руки расставили, не выпущают ее из дверей, а она сыпит и сыпит...— Кикин встал, засиял глазами и захохотал.— Бежит она, а в дверях батько... Стоп, говорит, вы, без сомнения, венерическая, на этом же месте вас порубаю, и как вытянет ее, и она, видать, хотит ему свое сказать.

— И то сказать,— вступает тут, перебивая Кикина, задумчивый и нежный голос Петьки Орлова,— и то сказать, что есть жады между людьми, есть безжалостные жады... Я сказывал ей — нас трое, Анеля, возьми себе подругу, поделись сахаром, она тебе подсобит... Нет, говорит, я на себя надеюсь, что выдержу, мне троих детей прокормить, неужели я девица какая-нибудь...

— Старательная женщина,— уверил Петьку Гнилошкуров, все еще сидевший под моим окном,— старательная до последнего...

И он умолк. Я услышал снова шум воды. Дождь попрежнему лепечет, и ноет, и стенает по крышам. Ветер подхватывает его и гнет набок. Торжественное гудение труб замолкает на дворе Махно. Свет в его комнате уменьшился наполовину. Тогда встал с лавочки Гнилошкуров и преломил своим телом мутное мерцание луны. Он зевнул, заворотил рубаху, почесал живот, необыкновенно белый, и пошел в сарай спать. Нежный голос Петьки Орлова поплыл за ним по следам.

— Был в Гуляй-Поле пришлый мужик Иван Голубь,— сказал Петька,— был тихий мужик, непьющий, веселый в работе, много на себя ставил и подорвался насмерть... Жалели его люди в Гуляй-Поле и всем селом за гробом пошли, чужой был, а пошли...

И подойдя к самой двери сарая, Петька забормотал об умершем Иване, он бормотал все тише, душевнее.

— Есть безжалостные между людей,— ответил ему Гнилошкуров, засыпая,— есть, это верное слово...

Гнилошкуров заснул, с ним еще двое, и только я остался у окна. Глаза мои испытывают безгласную тьму, зверь воспоминаний скребет меня, и сон нейдет.

...Она сидела с утра на главной улице и продавала ягоды. Махновцы платили ей отменными бумажками. У нее было пухлое, легкое тело блондинки. Гнилошкуров, выставив живот, грелся на лавочке. Он дремал, ждал, и женщина, спеша расторговаться, устремляла на него синие глаза и покрывалась медленным, нежным румянцем.

— Анеля,— шепчу я ее имя,— Анеля...

## КАРЛ-ЯНКЕЛЬ

В пору моего детства на Пересыпи была кузница Ойны Брутмана. В ней собирались барышники лошадьми, ломовые извозчики — в Одессе они называются биндюжниками — и мясники с городских скотобоен. Кузница стояла у Балтской дороги. Избрав ее наблюдательным пунктом, можно было перехватить мужиков, возивших в город овес и бессарабское вино. Ойна был пугливый, маленький человек, но к вину он был приучен, в нем жила душа одесского еврея.

В мою пору у него росли три сына. Отец доходил им до пояса. На пересыпском берегу я впервые задумался о могуществе сил, тайно живущих в природе. Три раскормленных бугая с багровыми плечами и ступнями лопатой — они сносили сухонького Ойну в воду, как сносят младенца. И все-таки родил их он и никто другой. Тут не было сомнений. Жена кузнеца ходила в синагогу два раза в неделю — в пятницу вечером и в субботу утром; синагога была хасидская, там доплясывались на пасху до исступления, как дервиши. Жена Ойны платила дань эмиссарам, которых рассылали по южным губерниям галицийские цадики. Кузнец не вмешивался в отношения жены своей к богу — после работы он уходил в погребок возле скотобойни и там, потягивая дешевое розовое вино, кротко слушал, о чем говорили люди,— о ценах на скот и политике.

Ростом и силой сыновья походили на мать. Двое из них, подросши, ушли в партизаны. Старшего убили под Вознесенском, другой Брутман, Семен, перешел к Примакову — в дивизию червонного казачества. Его выбрали командиром казачьего полка. С него и еще с нескольких местечковых юношей началась эта неожиданная порода еврейских рубак, наездников и партизанов.

Третий сын стал кузнецом по наследству. Он работает на плужном заводе Гена на старых местах. Он не женился и никого не родил.

Дети Семена кочевали вместе с его дивизией. Старухе нужен был внук, которому она могла бы рассказать о Баал-Шеме. Внука она дождалась от младшей дочери Поли. Одна во всей семье девочка пошла в маленького Иойну. Она была пуглива, близорука, с нежной кожей. К ней присватывались многие. Поля выбрала Овсея Белоцерковского. Мы не поняли этого выбора. Еще удивительнее было известие о том, что молодые живут счастливо. У женщин свое хозяйство; постороннему не видно, как бьются горшки. Но тут горшки разбил Овсей Белоцерковский. Через год после женитьбы он подал в суд на тещу свою Брану Брутман. Воспользовавшись тем, что Овсей был в командировке, а Поля ушла в больницу лечиться от грудницы, старуха похитила новорожденного внука, отнесла его к малому оператору Нафтуле Герчику, и там в присутствии десяти развалин, десяти древних и нищих стариков, завсегдатаев хасидской синагоги, над младенцем был совершен обряд обрезания.

Новость эту Овсей Белоцерковский узнал после приезда. Овсей был записан кандидатом в партию. Он решил посоветоваться с секретарем ячейки Госторга Бычачем.

— Тебя морально запачкали,— сказал ему Бычач,— ты должен двинуть это дело...

Одесская прокуратура решила устроить показательный суд на фабрике имени Петровского. Малый оператор Нафтула Герчик и Брана Брутман, шестидесяти двух лет, очутились на скамье подсудимых.

Нафтула был в Одессе такое же городское имущество, как памятник дюку де Ришелье. Он проходил мимо наших окон на Дальницкой с трепаной, засаленной акушерской сумкой в руках. В этой сумке хранились немудрящие его инструменты. Он вытаскивал оттуда то ножик, то бутылку водки с медовым пряником. Он нюхал пряник, прежде чем выпить, и, выпив, затягивал молитвы. Он был рыж, Нафтула, как первый рыжий человек на земле. Отрезая то, что ему причиталось, он не отцеживал кровь через стеклянную трубочку, а высасывал ее вывороченными своими губами. Кровь размазывалась по всклокоченной его бороде. Он выходил к гостям захмелевший. Медвежьи глазки его сияли весельем. Рыжий, как первый рыжий человек на земле, он гнусавил благословение над вином. Одной рукой Нафтула опрокидывал в заросшую, кривую, огнеды-


ничего
такого, чтобы
потом пригодилось
в жизни

шащую яму своего рта водку, в другой руке у него была тарелка. На ней лежал ножик, обагренный младенческой кровью, и кусок марли. Собирая деньги, Нафтула обходил с этой тарелкой гостей, он толкался между женщинами, валился на них, хватал за груди и орал на всю улицу.

— Толстые мамы,— орал старик, сверкая коралловыми глазками,— печатайте мальчиков для Нафтулы, молотите пшеницу на ваших животах, старайтесь для Нафтулы... Печатайте мальчиков, толстые мамы...

Мужья бросали деньги в его тарелку. Жены вытирали салфетками кровь с его бороды. Дворы Глухой и Госпитальной не оскудевали. Они кишели детьми, как устья рек икрой. Нафтула плелся со своим мешком, как сборщик подати. Прокурор Орлов остановил Нафтулу в его обходе.

Прокурор гремел с кафедры, стремясь доказать, что малый оператор является служителем культа.

— Верите ли вы в бога? — спросил он Нафтулу.

— Пусть в бога верит тот, кто выиграл двести тысяч,— ответил старик.

— Вас не удивил приход гражданки Брутман в поздний час, в дождь, с новорожденным на руках?..

— Я удивляюсь,— сказал Нафтула,— когда человек делает что-нибудь по-человечески, а когда он делает сумасшедшие штуки — я не удивляюсь...

Ответы эти не удовлетворили прокурора. Речь шла о стеклянной трубочке. Прокурор доказывал, что, высасывая кровь губами, подсудимый подвергал детей опасности заражения. Голова Нафтулы — кудлатый орешек его головы — болталась где-то у самого пола. Он вздыхал, закрывал глаза и вытирал кулачком провалившийся рот.

— Что вы бормочете, гражданин Герчик? — спросил его председатель.

Нафтула устремил потухший взгляд на прокурора Орлова.

— У покойного мосье Зусмана,— сказал он, вздыхая,— у покойного вашего папаши была такая голова, что во всем свете не найти другую такую. И, слава богу, у него не было апоплексии, когда он тридцать лет тому назад позвал меня на ваш брис[1]. И вот мы видим, что вы выросли большой человек у Советской власти и что Нафтула не захватил вместе с этим куском пустяков ничего такого, что бы вам потом пригодилось...

---

[1] Брис — обряд обрезания *(евр.)*.

Он заморгал медвежьими глазками, покачал рыжим своим орешком и замолчал. Ему ответили орудия смеха, громовые залпы хохота. Орлов, урожденный Зусман, размахивая руками, кричал что-то, чего в канонаде нельзя было расслышать. Он требовал занесения в протокол... Саша Светлов, фельетонист «Одесских известий», послал ему из ложи прессы записку. «Ты баран, Сема,— значилось в записке,— убей его иронией, убивает исключительно смешное... Твой *Саша*».

Зал притих, когда ввели свидетеля Белоцерковского.

Свидетель повторил письменное свое заявление. Он был долговяз, в галифе и кавалерийских ботфортах. По словам Овсея, Тираспольский и Балтский укомы партии оказывали ему полное содействие в работе по заготовке жмыхов. В разгаре заготовок он получил телеграмму о рождении сына. Посоветовавшись с заворгом Балтского укома, он решил, не срывая заготовок, ограничиться посылкой поздравительной телеграммы, приехал же он только через две недели. Всего было собрано по району шестьдесят четыре тысячи пудов жмыха. На квартире, кроме свидетельницы Харченко, соседки, по профессии прачки, и сына, он никого не застал. Супруга его отлучилась в лечебницу, а свидетельница Харченко, раскачивая люльку, что является устарелым, пела над ним песенку. Зная свидетельницу Харченко как алкоголика, он не счел нужным вникать в слова ее пения, но только удивился тому, что она называет мальчика Яшей, в то время как он указал назвать сына Карлом, в честь учителя Карла Маркса. Распеленав ребенка, он убедился в своем несчастье.

Несколько вопросов задал прокурор. Защита объявила, что у нее вопросов нет. Судебный пристав ввел свидетельницу Полину Белоцерковскую. Шатаясь, она подошла к барьеру. Голубоватая судорога недавнего материнства кривила ее лицо, на лбу стояли капли пота. Она обвела взглядом маленького кузнеца, вырядившегося точно в праздник — в бант и новые штиблеты, и медное, в седых усах, лицо матери. Свидетельница Белоцерковская не ответила на вопрос о том, что ей известно по данному делу. Она сказала, что отец ее был бедным человеком, сорок лет проработал он в кузнице на Балтской дороге. Мать родила шестерых детей, из них трое умерли, один является красным командиром, другой работает на заводе Гена...

— Мать очень набожна, это все видят, она всегда страдала от того, что дети ее неверующие, и не могла перенести мысли о том, что внуки ее не будут евреями. Надо

принять во внимание — в какой семье мать выросла... Местечко Меджибож всем известно, женщины там до сих пор носят парики...

— Скажите, свидетельница,— прервал ее резкий голос. Полина замолкла, капли пота окрасились на ее лбу, кровь, казалось, просачивается сквозь тонкую кожу.— Скажите, свидетельница,— повторил голос, принадлежавший бывшему присяжному поверенному Самуилу Линингу...

Если бы синедрион существовал в наши дни, Лининг был бы его главой. Но синедриона нет, и Лининг, в двадцать пять лет обучившийся русской грамоте, стал на четвертом десятке писать в сенат кассационные жалобы, ничем не отличавшиеся от трактатов Талмуда...

Старик проспал весь процесс. Пиджак его был засыпан пеплом. Он проснулся при виде Поли Белоцерковской.

— Скажите, свидетельница,— рыбий ряд синих выпадающих его зубов затрещал,— вам известно было о решении мужа назвать сына Карлом?

— Да.

— Как назвала его ваша мать?

— Янкелем.

— А вы, свидетельница, как вы называли вашего сына?

— Я называла его «дусенькой».

— Почему именно дусенькой?..

— Я всех детей называю дусеньками...

— Идем дальше,— сказал Лининг, зубы его выпали, он подхватил их нижней губой и опять сунул в челюсть,— идем далее... Вечером, когда ребенок был унесен к подсудимому Герчику, вас не было дома, вы были в лечебнице... Я правильно излагаю?

— Я была в лечебнице.

— В какой лечебнице вас пользовали?..

— На Нежинской улице, у доктора Дризо...

— Пользовали у доктора Дризо...

— Да.

— Вы хорошо это помните?..

— Как могу я не помнить...

— Имею представить суду справку,— безжизненное лицо Лининга приподнялось над столом,— из этой справки суд усмотрит, что в период времени, о котором идет речь, доктор Дризо отсутствовал и находился на конгрессе педиатров в Харькове...

Прокурор не возражал против приобщения справки.

— Идем далее,— треща зубами, сказал Лининг.

Свидетельница всем телом налегла на барьер. Шепот ее был едва слышен.

— Может быть, это не был доктор Дризо,— сказала она, лежа на барьере,— я не могу всего запомнить, я измучена...

Лининг чесал карандашом в желтой бороде, он терся сутулой спиной о скамью и двигал вставными зубами. На просьбу предъявить бюллетень из страхкассы Белоцерковская ответила, что она потеряла его...

— Идем далее,— сказал старик.

Полина провела ладонью по лбу. Муж ее сидел на краю скамьи, отдельно от других свидетелей. Он сидел выпрямившись, подобрав под себя длинные ноги в кавалерийских ботфортах... Солнце падало на его лицо, набитое перекладинами мелких и злых костей.

— Я найду бюллетень,— прошептала Полина, и руки ее соскользнули с барьера.

Детский плач раздался в это мгновенье. За дверью плакал и кряхтел ребенок.

— О чем ты думаешь, Поля,— густым голосом прокричала старуха,— ребенок с утра не кормленный, ребенок захлял от крика...

Красноармейцы, вздрогнув, подобрали винтовки. Полина скользила все ниже, голова ее закинулась и легла на пол. Руки взлетели, задвигались в воздухе и обрушились.

— Перерыв,— закричал председатель.

Грохот взорвался в зале. Блестя зелеными впадинами, Белоцерковский журавлиными шагами подошел к жене.

— Ребенка покормить,— приставив руки рупором, крикнули из задних рядов.

— Покормят,— ответил издалека женский голос,— тебя дожидались...

— Припутана дочка,— сказал рабочий, сидевший рядом со мной,— дочка в доле...

— Семья, брат,— произнес его сосед,— ночное дело, темное... Ночью запутают, днем не распутаешь...

Солнце косыми лучами рассекало зал. Толпа туго ворочалась, дышала огнем и потом. Работая локтями, я пробрался в коридор. Дверь из красного уголка была приоткрыта. Оттуда доносилось кряхтенье и чавканье Карл-Янкеля. В красном уголке висел портрет Ленина, тот, где он говорит с броневика на площади Финляндского вокзала; портрет окружали цветные диаграммы выработки фабрики имени Петровского. Вдоль стены стояли знамена и ружья в деревянных станках. Работница с лицом кир-

гизки, наклонив голову, кормила Карл-Янкеля. Это был пухлый человек пяти месяцев от роду в вязаных носках и с белым хохлом на голове. Присосавшись к киргизке, он урчал и стиснутым кулачком колотил свою кормилицу по груди.

— Галас какой подняли,— сказала киргизка,— найдется кому покормить...

В комнате вертелась еще девчонка лет семнадцати, в красном платочке и с щеками, торчавшими, как шишки. Она вытирала досуха клеенку Карл-Янкеля.

— Он военный будет,— сказала девочка,— ишь дерется...

Киргизка, легонько потягивая, вынула сосок изо рта Карл-Янкеля. Он заворчал и в отчаянии запрокинул голову — с белым хохолком... Женщина высвободила другую грудь и дала ее мальчику. Он посмотрел на сосок мутными глазенками, что-то сверкнуло в них. Киргизка смотрела на Карл-Янкеля сверху, скосив черный глаз.

— Зачем военный,— сказала она, поправляя мальчику чепец,— он авиатор у нас будет, он под небом летать будет...

В зале возобновилось заседание.

Бой шел теперь между прокурором и экспертами, давшими уклончивое заключение. Общественный обвинитель, приподнявшись, стучал кулаком по пюпитру. Мне видны были и первые ряды публики — галицийские цадики, положившие на колени бобровые свои шапки. Они приехали на процесс, где, по словам варшавских газет, собирались судить еврейскую религию. Лица раввинов, сидевших в первом ряду, повисли в бурном пыльном сиянии солнца.

— Долой! — крикнул комсомолец, пробравшись к самой сцене.

Бой разгорался жарче.

Карл-Янкель, бессмысленно уставившись на меня, сосал грудь киргизки.

Из окна летели прямые улицы, исхоженные детством моим и юностью,— Пушкинская тянулась к вокзалу, Мало-Арнаутская вдавалась в парк у моря.

Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карл-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дела до меня.

— Не может быть,— шептал я себе,— чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель... Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня...

## ПРОБУЖДЕНИЕ

Все люди нашего круга — маклеры, лавочники, служащие в банках и пароходных конторах — учили детей музыке. Отцы наши, не видя себе ходу, придумали лотерею. Они устроили ее на костях маленьких людей. Одесса была охвачена этим безумием больше других городов. И правда — в течение десятилетий наш город поставлял вундеркиндов на концертные эстрады мира. Из Одессы вышли Миша Эльман, Цимбалист, Габрилович, у нас начинал Яша Хейфец.

Когда мальчику исполнялось четыре или пять лет — мать вела крохотное, хилое это существо к господину Загурскому. Загурский содержал фабрику вундеркиндов, фабрику еврейских карликов в кружевных воротничках и лаковых туфельках. Он выискивал их в молдаванских трущобах, в зловонных дворах Старого базара. Загурский давал первое направление, потом дети отправлялись к профессору Ауэру в Петербург. В душах этих заморышей с синими раздутыми головами жила могучая гармония. Они стали прославленными виртуозами. И вот — отец мой решил угнаться за ними. Хоть я и вышел из возраста вундеркиндов — мне шел четырнадцатый год, но по росту и хилости меня можно было сбыть за восьмилетнего. На это была вся надежда.

Меня отвели к Загурскому. Из уважения к деду он согласился брать по рублю за урок — дешевая плата. Дед мой Лейви-Ицхок был посмешище города и украшение его. Он расхаживал по улицам в цилиндре и в опорках и разрешал сомнения в самых темных делах. Его спрашивали, что такое гобелен, отчего якобинцы предали Робеспьера, как готовится искусственный шелк, что такое кесарево сечение. Мой дед мог ответить на эти вопросы.

Из уважения к учености его и безумию Загурский брал с нас по рублю за урок. Да и возился он со мною, боясь деда, потому что возиться было не с чем. Звуки ползли с моей скрипки, как железные опилки. Меня самого эти звуки резали по сердцу, но отец не отставал. Дома только и было разговора о Мише Эльмане, самим царем освобожденном от военной службы. Цимбалист, по сведениям моего отца, представлялся английскому королю и играл в Букингэмском дворце; родители Габриловича купили два дома в Петербурге. Вундеркинды принесли своим родителям богатство. Мой отец примирился бы с бедностью, но слава была нужна ему.

— Не может быть,— нашептывали люди, обедавшие за его счет,— не может быть, чтобы внук такого деда...

У меня же в мыслях было другое. Проигрывая скрипичные упражнения, я ставил на пюпитре книги Тургенева или Дюма,— и, пиликая, пожирал страницу за страницей. Днем я рассказывал небылицы соседским мальчишкам, ночью переносил их на бумагу. Сочинительство было наследственное занятие в нашем роду. Лейви-Ицхок, тронувшийся к старости, всю жизнь писал повесть под названием «Человек без головы». Я пошел в него.

Нагруженный футляром и нотами, я три раза в неделю тащился на улицу Витте, бывшую Дворянскую, к Загурскому. Там, вдоль стен, дожидаясь очереди, сидели еврейки, истерически воспламененные. Они прижимали к слабым своим коленям скрипки, превосходившие размерами тех, кому предстояло играть в Букингэмском дворце.

Дверь в святилище открывалась. Из кабинета Загурского, шатаясь, выходили головастые, веснушчатые дети с тонкими шеями, как стебли цветов, и припадочным румянцем на щеках. Дверь захлопывалась, поглотив следующего карлика. За стеной, надрываясь, пел, дирижировал учитель, с бантом, в рыжих кудрях, с жидкими ногами. Управитель чудовищной лотереи — он населял Молдаванку и черные тупики Старого рынка призраками пиччикато и кантилены. Этот распев доводил потом до дьявольского блеска старый профессор Ауэр.

В этой секте мне нечего было делать. Такой же карлик, как и они, я в голосе предков различал другое внушение.

Трудно мне дался первый шаг. Однажды я вышел из дому, навьюченный футляром, скрипкой, нотами и двенадцатью рублями денег — платой за месяц ученья. Я шел по Нежинской улице, мне бы повернуть на Дворянскую, что-




бы попасть к Загурскому, вместо этого я поднялся вверх по Тираспольской и очутился в порту. Положенные мне три часа пролетели в Практической гавани. Так началось освобождение. Приемная Загурского больше не увидела меня. Дела поважнее заняли все мои помыслы. С однокашником моим Немановым мы повадились на пароход «Кенсингтон» к старому одному матросу по имени мистер Троттибэрн. Неманов был на год моложе меня, он с восьми лет занимался самой замысловатой торговлей в мире. Он был гений в торговых делах и исполнил все, что обещал. Теперь он миллионер в Нью-Йорке, директор General Motors C°, компании столь же могущественной, как и Форд. Неманов таскал меня с собой потому, что я повиновался ему молча. Он покупал у мистера Троттибэрна трубки, провозимые контрабандой. Эти трубки точил в Линкольне брат старого матроса.

— Джентльмены,— говорил нам мистер Троттибэрн,— помяните мое слово, детей надо делать собственноручно... Курить фабричную трубку — это то же, что вставлять себе в рот клистир... Знаете ли вы, кто такое был Бенвенуто Челлини?.. Это был мастер. Мой брат в Линкольне мог бы рассказать вам о нем. Мой брат никому не мешает жить. Он только убежден в том, что детей надо делать своими руками,

а не чужими... Мы не можем не согласиться с ним, джентльмены...

Неманов продавал трубки Троттибэрна директорам банка, иностранным консулам, богатым грекам. Он наживал на них сто на сто.

Трубки линкольнского мастера дышали поэзией. В каждую из них была уложена мысль, капля вечности. В их мундштуке светился желтый глазок, футляры были выложены атласом. Я старался представить себе, как живет в старой Англии Мэтью Троттибэрн, последний мастер трубок, противящийся ходу вещей.

— Мы не можем не согласиться с тем, джентльмены, что детей надо делать собственноручно...

Тяжелые волны у дамбы отдаляли меня все больше от нашего дома, пропахшего луком и еврейской судьбой. С Практической гавани я перекочевал за волнорез. Там на клочке песчаной отмели обитали мальчишки с Приморской улицы. С утра до ночи они не натягивали на себя штанов, ныряли под шаланды, воровали на обед кокосы и дожидались той поры, когда из Херсона и Каменки потянутся дубки с арбузами и эти арбузы можно будет раскалывать о портовые причалы.

Мечтой моей сделалось уменье плавать. Стыдно было сознаться бронзовым этим мальчишкам в том, что, родившись в Одессе, я до десяти лет не видел моря, а в четырнадцать не умел плавать.

Как поздно пришлось мне учиться нужным вещам! В детстве, пригвожденный к Гемаре, я вел жизнь мудреца, выросши — стал лазать по деревьям.

Уменье плавать оказалось недостижимым. Водобоязнь всех предков — испанских раввинов и франкфуртских менял — тянула меня ко дну. Вода меня не держала. Исполосованный, налитый соленой водой, я возвращался на берег — к скрипке и нотам. Я привязан был к орудиям моего преступления и таскал их с собой. Борьба раввинов с морем продолжалась до тех пор, пока надо мной не сжалился водяной бог тех мест — корректор «Одесских новостей» Ефим Никитич Смолич. В атлетической груди этого человека жила жалость к еврейским мальчикам. Он верховодил толпами рахитичных заморышей. Никитич собирал их в клоповниках на Молдаванке, вел их к морю, зарывал в песок, делал с ними гимнастику, нырял с ними, обучал песням и, прожариваясь в прямых лучах солнца, рассказывал истории о рыбаках и животных. Взрослым Никитич объяснял, что он натурфилософ. Еврейские дети от историй Никитича

помирали со смеху, они визжали и ластились, как щенята. Солнце окропляло их ползучими веснушками, веснушками цвета ящерицы.

За единоборством моим с волнами старик следил молча сбоку. Увидев, что надежды нет и что плавать мне не научиться,— он включил меня в число постояльцев своего сердца. Оно было все тут с нами — его веселое сердце, никуда не заносилось, не жадничало и не тревожилось... С медными своими плечами, с головой состарившегося гладиатора, с бронзовыми, чуть кривыми ногами,— он лежал среди нас за волнорезом, как властелин этих арбузных, керосиновых вод. Я полюбил этого человека так, как только может полюбить атлета мальчик, хворающий истерией и головными болями. Я не отходил от него и пытался услуживать.

Он сказал мне:

— Ты не суетись... Ты укрепи свои нервы. Плаванье придет само собой... Как это так — вода тебя не держит... С чего бы ей не держать тебя?

Видя, как я тянусь,— Никитич для меня одного изо всех своих учеников сделал исключение, позвал к себе в гости на чистый просторный чердак в циновках, показал своих собак, ежа, черепаху и голубей. В обмен на эти богатства я принес ему написанную мною накануне трагедию.

— Я так и знал, что ты пописываешь,— сказал Никитич,— у тебя и взгляд такой... Ты все больше никуда не смотришь...

Он прочитал мои писания, подергал плечом, провел рукой по крутым седым завиткам, прошелся по чердаку.

— Надо думать,— произнес он врастяжку, замолкая после каждого слова,— что в тебе есть искра божия...

Мы вышли на улицу. Старик остановился, с силой постучал палкой о тротуар и уставился на меня.

— Чего тебе не хватает?.. Молодость не беда, с годами пройдет... Тебе не хватает чувства природы.

Он показал мне палкой на дерево с красноватым стволом и низкой кроной.

— Это что за дерево?

Я не знал.

— Что растет на этом кусте?

Я и этого не знал. Мы шли с ним сквериком Александровского проспекта. Старик тыкал палкой во все деревья, он схватывал меня на плечо, когда пролетала птица, и заставлял слушать отдельные голоса.

— Какая это птица поет?

Я ничего не мог ответить. Названия деревьев и птиц, деление их на роды, куда летят птицы, с какой стороны восходит солце, когда бывает сильнее роса — все это было мне неизвестно.

— И ты осмеливаешься писать?.. Человек, не живущий в природе, как живет в ней камень или животное, не напишет во всю свою жизнь двух стоящих строк... Твои пейзажи похожи на описание декораций. Черт меня побери,— о чем думали четырнадцать лет твои родители?..

О чем они думали?.. О протестованных векселях, об особняках Миши Эльмана... Я не сказал об этом Никитичу, я смолчал.

Дома — за обедом — я не прикоснулся к пище. Она не проходила в горло.

«Чувство природы,— думал я.— Бог мой, почему это не пришло мне в голову... Где взять человека, который растолковал бы мне птичьи голоса и названия деревьев?.. Что известно мне о них? Я мог бы распознать сирень, и то когда она цветет. Сирень и акацию. Дерибасовская и Греческая улицы обсажены акациями...»

За обедом отец рассказал новую историю о Яше Хейфеце. Не доходя до Робина, он встретил Мендельсона, Яшиного дядьку. Мальчик, оказывается, получает восемьсот рублей за выход. Посчитайте — сколько это выходит при пятнадцати концертах в месяц.

Я сосчитал — получилось двенадцать тысяч в месяц. Делая умножение и оставляя четыре в уме, я взглянул в окно. По цементному дворику, в тихонько отдуваемой крылатке, с рыжими колечками, выбивающимися из-под мягкой шляпы, опираясь на трость, шествовал господин Загурский, мой учитель музыки. Нельзя сказать, что он хватился слишком рано. Прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как скрипка моя опустилась на песок у волнореза...

Загурский подходил к парадной двери. Я кинулся к черному ходу — его накануне заколотили от воров. Тогда я заперся в уборной. Через полчаса возле моей двери собралась вся семья. Женщины плакали. Бобка терлась жирным плечом о дверь и закатывалась в рыданиях. Отец молчал. Заговорил он так тихо и раздельно, как не говорил никогда в жизни.

— Я офицер,— сказал мой отец,— у меня есть имение. Я езжу на охоту. Мужики платят мне аренду. Моего сына я отдал в кадетский корпус. Мне нечего заботиться о моем сыне...


Я думал о победе

Он замолк. Женщины сопели. Потом страшный удар обрушился в дверь уборной, отец бился об нее всем телом, он налетал с разбегу.

— Я офицер,— вопил он,— я езжу на охоту... Я убью его... Конец...

Крючок соскочил с двери, там была еще задвижка, она держалась на одном гвозде. Женщины катались по полу, они хватали отца за ноги; обезумев, он вырывался. На шум подоспела старуха — мать отца.

— Дитя мое,— сказала она ему по-еврейски,— наше горе велико. Оно не имеет краев. Только крови недоставало в нашем доме. Я не хочу видеть кровь в нашем доме...

Отец застонал. Я услышал удалявшиеся его шаги. Задвижка висела на последнем гвозде.

В моей крепости я досидел до ночи. Когда все улеглись, тетя Бобка увела меня к бабушке. Дорога нам была дальняя. Лунный свет оцепенел на неведомых кустах, на деревьях без названия... Невидимая птица издала свист и угасла, может быть, заснула... Что это за птица? Как зовут ее? Бывает ли роса по вечерам?.. Где расположено созвездие Большой Медведицы? С какой стороны восходит солнце?..

Мы шли по Почтовой улице. Бобка крепко держала меня за руку, чтобы я не убежал. Она была права. Я думал о побеге.



## В ПОДВАЛЕ

Я был лживый мальчик. Это происходило от чтения. Воображение мое всегда было воспламенено. Я читал во время уроков, на переменах, по дороге домой, ночью — под столом, закрывшись свисавшей до пола скатертью. За книгой я проморгал все дела мира сего — бегство с уроков в порт, начало бильярдной игры в кофейнях на Греческой улице, плаванье на Ланжероне. У меня не было товарищей. Кому была охота водиться с таким человеком?..

Однажды в руках первого нашего ученика, Марка Боргмана, я увидел книгу о Спинозе. Он только что прочитал ее и не утерпел, чтобы не сообщить окружившим его мальчикам об испанской инквизиции. Это было ученое бормотание — то, что он рассказывал. В словах Боргмана не было поэзии. Я не выдержал и вмешался. Тем, кто хотел меня слушать, я рассказал о старом Амстердаме, о сумраке гетто, о философах — гранильщиках алмазов. К прочитанному в книгах было прибавлено много своего. Без этого я не обходился. Воображение мое усиливало драматические сцены, переиначивало концы, таинственнее завязывало начала. Смерть Спинозы, свободная, одинокая его смерть, предстала в моем изображении битвой. Синедрион вынуждал умирающего покаяться, он не сломился. Сюда же я припутал Рубенса. Мне казалось, что Рубенс стоял у изголовья Спинозы и снимал маску с мертвеца.

Мои однокашники разинув рты слушали эту фантастическую повесть. Она была рассказана с воодушевлением. Мы нехотя разошлись по звонку. В следующую перемену Боргман подошел ко мне, взял меня под руку, мы стали прогуливаться вместе. Прошло немного времени — мы сго-

ворились. Боргман не представлял из себя дурной разновидности первого ученика. Для сильных его мозгов гимназическая премудрость была каракулями на полях настоящей книги. Эту книгу он искал с жадностью. Двенадцатилетними несмышленышами мы знали уже, что ему предстоит ученая, необыкновенная жизнь. Он и уроков не готовил, только слушал их. Этот трезвый и сдержанный мальчик привязался ко мне из-за моей особенности перевирать все вещи в мире, такие вещи, проще которых и выдумать нельзя было.

В тот год мы перешли в третий класс. Ведомость моя была уставлена тройками с минусом. Я так был странен со своими бреднями, что учителя, подумав, не решились выставить мне двойки. В начале лета Боргман пригласил меня к себе на дачу. Его отец был директором Русского для внешней торговли банка. Этот человек был одним из тех, кто делал из Одессы Марсель или Неаполь. В нем жила закваска старого одесского негоцианта. Он принадлежал к обществу скептических и обходительных гуляк. Отец Боргмана избегал говорить по-русски; он объяснялся на грубоватом обрывистом языке ливерпульских капитанов. Когда в апреле к нам приехала итальянская опера, у Боргмана на квартире устраивался обед для труппы. Одутловатый банкир — последний из одесских негоциантов — завязывал двухмесячную интрижку с грудастой примадонной. Она увозила с собой воспоминания, не отягчавшие совести, и колье, выбранное со вкусом и стоившее не очень дорого.

Старик состоял аргентинским консулом и председателем биржевого комитета. К нему-то в дом я был приглашен. Моя тетка — по имени Бобка — разгласила об этом по всему двору. Она приодела меня, как могла. Я поехал на паровичке к шестнадцатой станции Большого фонтана. Дача стояла на невысоком красном обрыве у самого берега. На обрыве был разделан цветник с фуксиями и подстриженными шарами туи.

Я происходил из нищей и бестолковой семьи. Обстановка боргмановской дачи поразила меня. В аллеях, укрытые зеленью, белели плетеные кресла. Обеденный стол был покрыт цветами, окна обведены зелеными наличниками. Перед домом просторно стояла деревянная невысокая колоннада.

Вечером приехал директор банка. После обеда он поставил плетеное кресло у самого края обрыва, перед идущей равниной моря, задрал ноги в белых штанах, закурил сигару и стал читать «Manchester guardian». Гости, одес-

ские дамы, играли на веранде в покер. В углу стола шумел узкий самовар с ручками из слоновой кости.

Картежницы и лакомки, неряшливые щеголихи и тайные распутницы с надушенным бельем и большими боками — женщины хлопали черными веерами и ставили золотые. Сквозь изгородь дикого винограда к ним проникало солнце. Огненный круг его был огромен. Отблески меди тяжелили черные волосы женщин. Искры заката входили в бриллианты — бриллианты, навешанные всюду: в углублениях разъехавшихся грудей, в подкрашенных ушах и на голубоватых припухлых самочьих пальцах.

Наступил вечер. Прошелестела летучая мышь. Море чернее накатывалось на красную скалу. Двенадцатилетнее мое сердце раздувалось от веселья и легкости чужого богатства. Мы с приятелем, взявшись за руки, ходили по дальней аллее. Боргман сказал мне, что он станет авиационным инженером. Есть слух о том, что отца назначат представителем Русского для внешней торговли банка в Лондон,— Марк сможет получить образование в Англии.

В нашем доме, доме тети Бобки, никто не толковал о таких вещах. Мне нечем было отплатить за непрерывное это великолепие. Тогда я сказал Марку, что хоть у нас в доме все по-другому, но дед Лейви-Ицхок и мой дядька объездили весь свет и испытали тысячи приключений. Я описал эти приключения по порядку. Сознание невозможного тотчас же оставило меня, я провел дядьку Вольфа сквозь русско-турецкую войну — в Александрию, в Египет...

Ночь выпрямилась в тополях, звезды налегли на погнувшиеся ветви. Я говорил и размахивал руками. Пальцы будущего авиационного инженера трепетали в моей руке. С трудом просыпаясь от галлюцинаций, он пообещал прийти ко мне в следующее воскресенье. Запасшись этим обещанием, я уехал на паровичке домой, к Бобке.

Всю неделю после этого визита я воображал себя директором банка. Я совершал миллионные операции с Сингапуром и Порт-Саидом. Я завел себе яхту и путешествовал на ней один. В субботу настало время проснуться. Назавтра должен был прийти в гости маленький Боргман. Ничего из того, что я рассказал ему,— не существовало. Существовало другое, много удивительнее, чем то, что я придумал, но двенадцати лет от роду я совсем еще не знал, как мне быть с правдой в этом мире. Дед Лейви-Ицхок, раввин, выгнанный из своего местечка за то, что он подделал на векселях подпись графа Браницкого, был на взгляд наших соседей и окрестных мальчишек сумасшедший. Дядьку Си-

мон-Вольфа я не терпел за шумное его чудачество, полное бессмысленного огня, крику и притеснения. Только с Бобкой можно было сговориться. Бобка гордилась тем, что сын директора банка дружит со мной. Она считала это знакомство началом карьеры и испекла для гостя штрудель с вареньем и маковый пирог. Все сердце нашего племени, сердце, так хорошо выдерживающее борьбу, заключалось в этих пирогах. Деда с его рваным цилиндром и тряпьем на распухших ногах мы упрятали к соседям Апельхотам, и я умолял его не показываться до тех пор, пока гость не уйдет. С Симон-Вольфом тоже уладилось. Он ушел со своими приятелями-барышниками пить чай в трактир «Медведь». В этом трактире прихватывали водку вместе с чаем, можно было рассчитывать, что Симон-Вольф задержится. Тут надо сказать, что семья, из которой я происхожу, не походила на другие еврейские семьи. У нас и пьяницы были в роду, у нас соблазняли генеральских дочерей и, не довезши до границы, бросали, у нас дед подделывал подписи и сочинял для брошенных жен шантажные письма.

Все старания я положил на то, чтобы отвадить Симон-Вольфа на весь день. Я отдал ему сбереженные три рубля. Прожить три рубля — это нескоро делается, Симон-Вольф вернется поздно, и сын директора банка никогда не узнает о том, что рассказ о доброте и силе моего дядьки — лживый рассказ. По совести говоря, если сообразить сердцем, это была правда, а не ложь, но при первом взгляде на грязного и крикливого Симон-Вольфа непонятной этой истины нельзя было разобрать.

В воскресенье утром Бобка вырядилась в коричневое суконное платье. Толстая ее, добрая грудь лежала во все стороны. Она надела косынку с черными тиснеными цветами, косынку, которую одевают в синагогу на Судный день и на Рош-Гашоно. Бобка расставила на столе пироги, варенье, крендели и принялась ждать. Мы жили в подвале. Боргман поднял брови, когда проходил по горбатому полу коридора. В сенях стояла кадка с водой. Не успел Боргман войти, как я стал занимать его всякими диковинами. Я показал ему будильник, сделанный до последнего винтика руками деда. К часам была приделана лампа; когда будильник отсчитывал половинку или полный час, лампа зажигалась. Я показал еще бочонок с ваксой. Рецепт этой ваксы составлял изобретение Лейви-Ицхока: он никому этого секрета не выдавал. Потом мы прочитали с Боргманом несколько страниц из рукописи деда. Он писал по-еврейски, на желтых квадратных листах, громадных, как географические

карты. Рукопись называлась «Человек без головы». В ней описывались все соседи Лейви-Ицхока за семьдесят лет его жизни — сначала в Сквире и Белой Церкви, потом в Одессе. Гробовщики, канторы, еврейские пьяницы, поварихи на брисах и проходимцы, производившие ритуальную операцию,— вот герои Лейви-Ицхока. Все это были вздорные люди, косноязычные, с шишковатыми носами, прыщами на макушке и косыми задами.

Во время чтения появилась Бобка в коричневом платье. Она плыла с самоваром на подносе, обложенная своей толстой, доброй грудью. Я познакомил их. Бобка сказала: «Очень приятно»,— протянула вспотевшие, неподвижные пальцы и шаркнула обеими ногами. Все шло хорошо, как нельзя лучше. Апельхоты не выпускали деда. Я выволакивал его сокровища одно за другим: грамматики на всех языках и шестьдесят шесть томов Талмуда. Марка ослепил бочонок с ваксой, мудреный будильник и гора Талмуда, все эти вещи, которых нельзя увидеть ни в каком другом доме.

Мы выпили по два стакана чаю со штруделем,— Бобка, кивая головой и пятясь назад, исчезла. Я пришел в радостное состояние духа, стал в позу и начал декламировать строфы, больше которых я ничего не любил в жизни. Антоний, склонясь над трупом Цезаря, обращается к римскому народу:

О римляне, сограждане, друзья,
Меня своим вниманьем удостойте.
Не восхвалять я Цезаря пришел,
Но лишь ему последний долг отдать.

Так начинает игру Антоний. Я задохся и прижал руки к груди.

Мне Цезарь другом был, и верным другом,
Но Брут его зовет властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек...
Он пленных приводил толпами в Рим,
Их выкупом казну обогащая.
Не это ли считать за властолюбье?..
При виде нищеты он слезы лил,—
Так мягко властолюбье не бывает.
Но Брут его зовет властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек...
Вы видели во время Луперкалий,
Я трижды подносил ему венец,
И трижды от него он отказался.
Ужель и это властолюбье?..
Но Брут его зовет властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек...

Перед моими глазами — в дыму вселенной — висело лицо Брута. Оно стало белее мела. Римский народ, ворча, надвигался на меня. Я поднял руку,— глаза Боргмана покорно двинулись за ней,— сжатый мой кулак дрожал, я поднял руку... и увидел в окне дядьку Симон-Вольфа, шедшего по двору в сопровождении маклака Лейкаха. Они тащили на себе вешалку, сделанную из оленьих рогов, и красный сундук с подвесками в виде львиных пастей. Бобка тоже увидела их из окна. Забыв про гостя, она влетела в комнату и схватила меня трясущимися ручками.

— Серденько мое, он опять купил мебель...

Боргман привстал в своем мундирчике и в недоумении поклонился Бобке. В дверь ломились. В коридоре раздался грохот сапог, шум передвигаемого сундука. Голоса Симон-Вольфа и рыжего Лейкаха гремели оглушительно. Оба были навеселе.

— Бобка,— закричал Симон-Вольф,— попробуй угадать, сколько я отдал за эти рога?!

Он орал, как труба, но в голосе его была неуверенность. Хоть и пьяный, Симон-Вольф знал, как ненавидим мы рыжего Лейкаха, подбивавшего его на все покупки, затоплявшего нас ненужной, бессмысленной мебелью.

Бобка молчала. Лейках пропищал что-то Симон-Вольфу. Чтобы заглушить змеиное его шипение, чтобы заглушить мою тревогу, я закричал словами Антония:

Еще вчера повелевал вселенной
Могучий Цезарь; он теперь во прахе,
И всякий нищий им пренебрегает.
Когда б хотел я возбудить к восстанью,
К отмщению сердца и души ваши,
Я повредил бы Кассию и Бруту,
Но ведь они почтеннейшие люди...

На этом месте раздался стук. Это упала Бобка, сбитая с ног ударом мужа. Она, верно, сделала горькое какое-нибудь замечание об оленьих рогах. Началось ежедневное представление. Медный голос Симон-Вольфа законопачивал все щели вселенной.

— Вы тянете из меня клей,— громовым голосом кричал мой дядька,— вы клей тянете из меня, чтобы запихать собачьи ваши рты... Работа отбила у меня душу. У меня нечем работать, у меня нет рук, у меня нет ног... Камень вы одели на мою шею, камень висит на моей шее...

Проклиная меня и Бобку еврейскими проклятиями, он сулил нам, что глаза наши вытекут, что дети наши еще во чреве матери начнут гнить и распадаться, что мы не бу-

дем поспевать хоронить друг друга и что нас за волосы стащат в братскую могилу.

Маленький Боргман поднялся со своего места. Он был бледен и озирался. Ему непонятны были обороты еврейского кощунства, но с русской матерщиной он был знаком. Симон-Вольф не гнушался и ею. Сын директора банка мял в руке картузик. Он двоился у меня в глазах, я силился перекричать все зло мира. Предсмертное мое отчаяние и свершившаяся уже смерть Цезаря слились в одно. Я был мертв, и я кричал. Хрипение поднималось со дна моего существа.

Коль слезы есть у вас, обильным током
Они теперь из ваших глаз польются.
Всем этот плащ знаком. Я помню даже,
Где в первый раз его накинул Цезарь:
То было летним вечером, в палатке,
Где находился он, разбив неврийцев.
Сюда проник нож Кассия; вот рана
Завистливого Каски; здесь в него
Вонзил кинжал его любимец Брут.
Как хлынула потоком алым кровь,
Когда кинжал из раны он извлек...

Ничто не в силах было заглушить Симон-Вольфа. Бобка, сидя на полу, всхлипывала и сморкалась. Невозмутимый Лейках двигал за перегородкой сундук. Тут мой сумасбродный дед захотел прийти мне на помощь. Он вырвался от Апельхотов, подполз к окну и стал пилить на скрипке, для того, верно, чтобы посторонним людям не слышна была брань Симон-Вольфа. Боргман взглянул в окно, вырезанное на уровне земли, и в ужасе подался назад. Мой бедный дед гримасничал своим синим окостеневшим ртом. На нем был загнутый цилиндр, черная ваточная хламида с костяными пуговицами и опорки на слоновых ногах. Прокуренная борода висела клочьями и колебалась в окне. Марк бежал.

— Это ничего,— пробормотал он, вырываясь на волю,— это, право, ничего...

Во дворе мелькнули его мундирчик и картуз с поднятыми краями.

С уходом Марка улеглось мое волнение. Я ждал вечера. Когда дед, исписав еврейскими крючками квадратный свой лист (он описывал Апельхотов, у которых, по моей милости, провел весь день), улегся на койку и заснул, я выбрался в коридор. Пол там был земляной. Я двигался во тьме, босой, в длинной и заплатанной рубахе. Сквозь щели досок остриями света мерцали булыжники. В углу,

как всегда, стояла кадка с водой. Я опустился в нее. Вода разрезала меня надвое. Я погрузил голову, задохся, вынырнул. Сверху, с полки, сонно смотрела кошка. Во второй раз я выдержал дольше, вода хлюпала вокруг меня, мой стон уходил в нее. Я открыл глаза и увидел на дне бочки парус рубахи и ноги, прижатые друг к дружке. У меня снова не хватило сил, я вынырнул. Возле бочки стоял дед в кофте. Единственный его зуб звенел.

— Мой внук,— он выговорил эти слова презрительно и внятно,— я иду принять касторку, чтобы мне было что принесть на твою могилу...

Я закричал, не помня себя, и опустился в воду с размаху. Меня вытащила немощная рука деда. Тогда впервые за этот день я заплакал,— и мир слез был так огромен и прекрасен, что все, кроме слез, ушло из моих глаз.

Я очнулся на постели, закутанный в одеяла. Дед ходил по комнате и свистел. Толстая Бобка грела мои руки на груди.

— Как он дрожит, наш дурачок,— сказала Бобка,— и где дитя находит силы так дрожать...

Дед дернул бороду, свистнул и зашагал снова. За стеной с мучительным выдохом храпел Симон-Вольф. Навоевавшись за день, он ночью никогда не просыпался.

## ГАПА ГУЖВА

На масленой тридцатого года в Великой Кринице сыграли шесть свадеб. Их отгуляли с буйством, какого давно не было. Обычаи старины возродились. Один сват, захмелев, сунулся пробовать невесту — порядок этот лет двадцать как был оставлен в Великой Кринице. Сват успел размотать кушак и бросил его на землю. Невеста, ослабев от смеха, трясла старика за бороду. Он наступал на нее грудью, гоготал и топал сапожищами. Старику, впрочем, не из чего было тревожиться. Из шести моняк, поднятых над хатами, только две были смочены брачной кровью, остальным невестам досвитки не прошли даром. Одну моняку достал красноармеец, приехавший на побывку, за другой полезла Гапа Гужва. Колотя мужчин по головам, она вскочила на крышу и стала взбираться по шесту. Он гнулся и качался под тяжестью ее тела. Гапа сорвала красную тряпку и съехала вниз по шесту. На изгорбине крыши стояли стол и табурет, а на столе пол-литра и нарезано кусками холодное мясо. Гапа опрокинула бутылку себе в рот; свободной рукой она размахивала монякой. Внизу гремела и плясала толпа. Стул скользил под Гапой, трещал и разъезжался. Березанские чабаны, гнавшие в Киев волов, воззрились на бабу, пившую водку в высоте, под самым небом.

— Разве то баба,— ответили им сваты,— то черт, вдова наша...

Гапа швыряла с крыши хлеб, прутья, тарелки. Допив водку, она разбила бутылку о выступ трубы. Мужики, собравшиеся внизу, ответили ей ревом. Вдова прыгнула на землю, отвязала дремавшую у тына кобылу с мохнатым брюхом и поскакала за вином. Она вернулась, обложенная фляжками, как черкес патронами. Кобыла, тяжело дыша, запрокидывала морду, жеребый ее живот западал и раздувался, в глазах тряслось лошадиное безумие.

Плясали на свадьбах с платочками, опустив глаза и топчась на месте. Одна Гапа разлеталась по-городскому. Она плясала в паре с любовником своим Гришкой Савченко. Они схватывались, словно в бою; в упрямой злобе обрывали друг другу плечи; как подшибленные, падали они на землю, выбивая дробь сапогами.

Шел третий день великокриницких свадеб. Дружки, обмазавшись сажей и вывернув тулупы, колотили в заслонки и бегали по селу. На улице зажглись костры. Через них прыгали люди с нарисованными рогами. Лошадей запрягли в лохани; они бились по кочкам и неслись через огонь. Мужики упали, сраженные сном. Хозяйки выбрасывали на задворки битую посуду. Новобрачные, помыв ноги, взошли на высокие постели, и только Гапа доплясывала одна в пустом сарае. Она кружилась, простоволосая, с багром в руках. Дубина ее, обмазанная дегтем, обрушивалась на стены. Удары сотрясали строение и оставляли черные липкие раны.

— Мы смертельные,— шептала Гапа, ворочая багром.

Солома и доски сыпались на женщину, стены рушились. Она плясала, простоволосая, среди развалин, в грохоте и пыли рассыпающихся плетней, летящей трухи и переламывающихся досок. В обломках вертелись, отбивая такт, ее сапожки с красными отворотами.

Спускалась ночь. В оттаявших ямах угасали костры. Сарай взъерошенной грудой лежал на пригорке. Через дорогу в сельраде зачадил рваный огонек. Гапа отшвырнула от себя багор и побежала по улице.

— Ивашко,— закричала она, врываясь в сельраду,— ходим гулять с нами, пропивать нашу жизнь...

Ивашко был уполномоченный рика по коллективизации. Два месяца прошло с тех пор, как начался разговор его с Великой Криницей. Положив на стол руки, Ивашко сидел перед мятой, обкусанной грудой бумаг. Кожа его возле висков сморщилась, зрачки больной кошки висели в глазницах. Над ними торчали розовые голые дуги.

— Не брезговай нашим крестьянством,— закричала Гапа и топнула ногой.

— Я не брезговаю,— уныло сказал Ивашко,— только мне нетактично с вами гулять.

Притоптывая и разводя руками, Гапа прошлась перед ним.

— Ходи с нами каравай делить,— сказала баба,— все твои будем, представник, только завтра, не сегодня...

Ивашко покачал головой.

— Мне нетактично с вами каравай делить,— сказал он,— разве ж вы люди?.. Вы ж на собак гавкаете, я от вас восемь кил весу потерял...

Он пожевал губами и прикрыл веки. Руки его потянулись, нашарили на столе холстинный портфель. Он встал, качнулся грудью вперед и, словно во сне, волоча ноги, пошел к выходу.

— Этот гражданин — чистое золото,— сказал ему вслед секретарь Харченко,— большую совесть в себе имеет, но только Великая Криница слишком грубо с ним обратилась...

Над прыщами и пуговкой носа у Харченки был выделан пепельный хохолок. Он читал газету, задрав ноги на скамью.

— Дождутся люди вороньковского судьи,— сказал Харченко, переворачивая газетный лист,— тогда воспомянут.

Гапа вывернула из-под юбки кошель с подсолнухами.

— Почему ты должность свою помнишь, секретарь,— сказала баба,— почему ты смерти боишься?.. Когда это было, чтобы мужик помирать отказывался?..

На улице, вокруг колокольни, кипело черное вспухшее небо, мокрые хаты выгнулись и сползли. Над ними трудно высекались звезды, ветер стлался понизу.

В сенях своей хаты Гапа услышала мерное бормотанье, чужой осипший голос. Странница, забредшая ночевать, подогнув под себя ноги, сидела на печи. Малиновые нити лампад оплетали угол. В прибранной хате развешана была тишина; спиртным, яблочным духом несло от стен и простенков. Большегубые дочери Гапы, задрав снизу головы, уставились на побирушку. Девушки поросли коротким, конским волосом, губы их были вывернуты, узкие лбы светились жирно и мертво.

— Бреши, бабуся Рахивна,— сказала Гапа и прислонилась к стене,— я тому охотница, когда брешут...

Под потолком Рахивна заплетала себе косицы, рядками накладывала на маленькую голову. У края печи расставились вымытые изуродованные ее ступни.

— Три патриарха рахуются в свете,— сказала старуха, мятое ее лицо поникло,— московского патриарха заточила наша держава, иерусалимский живет у турок, всем христианством владеет антиохийский патриарх... Он выслал на Украину сорок грецких попов, чтоб проклясть церкви, где держава сняла дзвоны... Грецкие попы прошли Холодный Яр, народ бачил их в Остроградском, к прощеному воскресенью будут они у вас в Великой Кринице...

Рахивна прикрыла веки и умолкла. Свет лампады стоял в углублениях ее ступней.

— Вороньковский судья,— очнувшись, сказала старуха,— в одни сутки произвел в Воронькове колгосп... Девять господарей он забрал в холодную... Наутро их доля была идти на Сахалин. Доню моя, везде люди живут, везде Христос славится... Перебули тыи господари ночь в холодной, является стража — брать их... Видчиняет стража дверь от острога, на свете полное утро, девять господарей качаются под балками, на своих опоясках...

Рахивна долго возилась, прежде чем улечься, разбирая лоскутики, она шепталась со своим богом, как шепчутся со стариком, который тут же лежит на печи, потом сразу и легко задышала. Чужой муж, Гришка Савченко, спал внизу на лаве [1]. Он сложился, как раздавленный, на самом краю и выгнул спину; жилетка вздыбилась на ней, голова его была всунута в подушки.

— Мужицкое кохання.— Гапа встряхнула его и растолкала.— Я добре знаю мужицкое це кохання... Отворотили рыло — чоловик от жинки — и топтаются... Не к себе пришел, не к Одарке...

Полночи они катались по лаве, во тьме, с сжатыми губами, с руками, протянутыми через тьму. Коса Гапы перелетала через подушку. На рассвете Гришка вскинулся, застонал и заснул, оскалившись. Гапе видны были коричневые плечи дочерей, низколобых, губатых, с черными грудями.

«Верблюды такие,— подумала она,— откуда они ко мне?..»

В дубовой раме окна двинулась тьма. Рассвет раскрыл в тучах фиолетовую полосу. Гапа вышла во двор. Ветер сжал ее, как студеная вода в реке. Она запрягла, взвалила на дровни мешки с пшеницей — за праздники мука подбилась у всех. В тумане, в пару рассвета проползла дорога.

На мельнице справились только к следующему вечеру. Весь день шел снег. У самого села, из льющейся прямой стены, навстречу Гапе вынырнул коротконогий Юшко Трофим в размокшем треухе. Плечи его, накрытые снежным океаном, раздались и осели.

— Ну, просыпались,— забормотал он, подходя к саням, и поднял черное костистое лицо.

— А именно што?..— Гапа потянула к себе вожжи.

— Ночью вся головка наехала,— сказал Трофим,— бабусю твою законвертовали... Голова рику приехал, секретарь райкому... Ивашку замели, на его должность — вороньковский судья...

---

[1] Лава — скамейка, лавка, прикрепленная к стене избы (*укр.*).

Усы Трофима поднялись, как у моржа, снег шевелился на них. Гапа тронула лошадь, потом снова потянула вожжи.

— Трофиме, бабусю за што?..

Юшко остановился и протрубил издалека, сквозь веющие, летящие снега.

— Кажу́ть, агитацию разводила про конец света...

Припадая на ногу, он пошел дальше, и сейчас же широкую его спину затерло небо, небо, слившееся с землей.

Подъехав к хате, Гапа постучала в окно кнутом. Дочери ее торчали у стола в шалях и башмаках, как на посиделках.

— Маты,— сказала старшая, сваливая мешки,— без вас приходила Одарка, взяла Гришку до дому...

Дочери накрыли на стол, поставили самовар. Поужинав, Гапа ушла в сельраду. Там, усевшись на лавках вдоль стен, молчали старики из села Великая Криница. Окно, разбитое во время прошлых споров, заделали листом фанеры, стекло лампы было протерто, к щербатой стене прибили плакат «Прохання не палить». Вороньковский судья, подняв плечи, читал у стола. Он читал книгу протоколов великокриницкой сельрады; воротник драпового его пальтишка был наставлен. Рядом за столом секретарь Харченко писал своему селу обвинительный акт. Он разносил по разграфленным листам все преступления, недоимки и штрафы, все раны, явные и скрытые. Приехав в село, Осмоловский, судья из Воронькова, отказался созвать сборы, общее собрание граждан, как это делали уполномоченные до него, он не произнес речи и только приказал составить список недоимщиков, бывших торговцев, списки их имущества, посевов и усадеб.

Великая Криница молчала, присев на лавки. Свист и треск Харченкиного пера юлил в тишине. Движение пронеслось и замерло, когда в сельраду вошла Гапа. Голова Евдоким Назаренко оживился, увидев ее.

— То есть первейший наш актив, товарищ судья,— Евдоким захохотал и потер ладони,— вдова наша, всех парубков нам перепортила...

Гапа, щурясь, стояла у двери. Гримаса тронула губы Осмоловского, узкий нос его сморщился. Он наклонил голову и сказал: «Здравствуйте».

— В колгосп первая записалась,— силясь разогнать тучу, Евдоким сыпал словами,— потом добрые люди подговорили, она и выписалась...

Гапа не двигалась. Кирпичный румянец лежал на ее лице.

— ...А кажуть добрые люди,— произнесла она звучным,

низким своим голосом,— кажуть, что в колгоспе весь народ под одним одеялом спать будет...

Глаза ее смеялись в неподвижном лице.

— ...А я этому противница, гуртом спать, мы по двох любим, и горилку, батькови нашему черт, любим...

Мужики засмеялись и оборвали. Гапа щурилась. Судья поднял воспаленные глаза и кивнул ей. Он съежился еще больше, забрал голову в узкие рыжие руки и снова погрузился в книгу великокриницких протоколов. Гапа повернулась, статная ее спина зажглась перед оставшимися.

Во дворе, на мокрых досках, расставив колени, сидел дед Абрам, заросший диким мясом. Желтые космы падали на его плечи.

— Что ты, диду? — спросила Гапа.

— Журюсь,— сказал дед.

Дома у нее дочери уже легли. Поздней ночью, наискосок, в хатыне комсомольца Нестора Тягая ртутным языком повис огонек,— Осмоловский пришел на отведенную ему квартиру. На лавку брошен был тулуп, судью ждал ужин — миска простокваши и краюха хлеба с луковицей. Сняв очки, он прикрыл ладонями больные глаза — судья, прозванный в районе «двести шестнадцать процентов». Этой цифры он добился на хлебозаготовках в буйном селе Воронькове. Тайны, песни, народные поверья облекали проценты Осмоловского.

Он жевал хлеб и луковицу и разостлал перед собой «Правду», инструкции райкома и сводки Наркомзема по коллективизации. Было поздно, второй час ночи, когда дверь его раскрылась и женщина, накрест стянутая шалью, переступила порог.

— Судья,— сказала Гапа,— что с блядями будет?..

Осмоловский поднял лицо, обтянутое рябоватым огнем.

— Выведутся.

— Житье будет блядям или нет?

— Будет,— сказал судья,— только другое, лучшее.

Баба невидящими глазами уставилась в угол. Она тронула монисто на груди.

— Спасыби на вашем слове...

Монисто зазвенело. Гапа вышла, притворив за собой дверь.

Беснующаяся, режущая ночь набросилась на нее, кустарники туч, горбатые льдины с черным блеском в них. Просветляясь, низко неслись облака. Безмолвие распростерлось над Великой Криницей, над плоской, могильной, обледенелой пустыней деревенской ночи.

## КОНЕЦ БОГАДЕЛЬНИ

В пору голода не было в Одессе людей, которым жилось бы лучше, чем богадельщикам на втором еврейском кладбище. Купец суконным товаром Кофман когда-то воздвиг в память жены своей Изабеллы богадельню рядом с кладбищенской стеной. Над этим соседством много потешались в кафе Фанкони. Но прав оказался Кофман. После революции призреваемые на кладбище старики и старухи захватили должности могильщиков, канторов, обмывальщиц. Они завели себе дубовый гроб с покрывалом и серебряными кистями и давали его напрокат бедным людям.

Тес в то время исчез из Одессы. Наемный гроб не стоял без дела. В дубовом ящике покойник отстаивался у себя дома и на панихиде; в могилу же его сваливали облаченным в саван. Таков забытый еврейский закон.

Мудрецы учили, что не следует мешать червям соединиться с падалью, она нечиста. «Из земли ты произошел и в землю обратишься».

Оттого, что старый закон возродился, старики получали к своему пайку приварок, который никому в те годы не снился. По вечерам они пьянствовали в погребке Залмана Криворучки и подавали соседям объедки.

Благополучие их не нарушалось до тех пор, пока не случилось восстания в немецких колониях. Немцы убили в бою коменданта гарнизона Герша Лугового.

Его хоронили с почестями. Войска прибыли на кладбище с оркестрами, походными кухнями и пулеметами на тачанках. У раскрытой могилы были произнесены речи и даны клятвы.

— Товарищ Герш,— кричал, напрягаясь, Ленька Бройтман, начальник дивизии,— вступил в РСДРП большевиков в тысяча девятьсот одиннадцатом году, где проводил работу пропагандиста и агента связи. Репрессиям това-

рищ Герш начал подвергаться вместе с Соней Яновской, Иваном Соколовым и Моносзоном в тысяча девятьсот тринадцатом году в городе Николаеве...

Арье-Лейб, староста богадельни, держался со своими товарищами наготове. Ленька не успел кончить прощальное слово, как старики начали поворачивать гроб на сторону, чтобы вывалить мертвеца, прикрытого знаменем. Ленька незаметно толкнул Арье-Лейба шпорой.

— Отскочь,— сказал он,— отскочь отсюда... Герш заслужил у Республики...

На глазах оцепеневших стариков Луговой был зарыт вместе с дубовым ящиком, кистями и черным покрывалом, на котором серебром были вытканы щиты Давида и стих из древнееврейской заупокойной молитвы.

— Мы мертвые люди,— сказал Арье-Лейб своим товарищам после похорон,— мы у фараона в руках...

И он бросился к заведующему кладбищем Бройдину с просьбой о выдаче досок для нового гроба и сукна для покрывала. Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В его планы не входило обогащение стариков. Он сказал в конторе:

— Мне больше сердце болит за безработных коммунальников, чем за этих спекулянтов...

Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В погребке Залмана Криворучки на его голову и на головы членов союза коммунальников сыпались талмудические проклятия. Старики закляли мозг в костях Бройдина и членов союза, свежее семя в утробе их жен и пожелали каждому из них особый вид паралича и язвы.

Доход их уменьшился. Паек состоял теперь из синей похлебки с рыбьими костями. На второе подавалась ячная каша, ничем не подмасленная.

Старик из Одессы может есть всякую похлебку, из чего бы она ни была сварена, если только в нее положены лавровый лист, чеснок и перец. Тут ничего этого не было.

Богадельня имени Изабеллы Кофман разделила общую участь. Ярость изголодавшихся стариков возрастала. Она обрушилась на голову человека, который меньше всего ждал этого. Этим человеком оказалась докторша Юдифь Шмайсер, пришедшая в богадельню прививать оспу.

Губисполком издал распоряжение об обязательном оспопрививании. Юдифь Шмайсер разложила на столе свои инструменты и зажгла спиртовку. Перед окнами стояли изумрудные стены кладбищенских кустов. Голубой язычок пламени мешался с июньскими молниями.




Ближе всего к Юдифи стоял Меер Бесконечный, тощий старик. Он угрюмо следил за ее приготовлениями.

— Разрешите вас уколоть,— сказала ему Юдифь и взмахнула пинцетом. Она стала вытягивать из тряпья голубую плеть его руки.

Старик отдернул руку:

— Меня не во что колоть...

— Больно не будет,— вскричала Юдифь,— в мякоть не больно...

— У меня нет мякоти,— сказал Меер Бесконечный,— меня не во что колоть...

Из угла комнаты ему ответили глухим рыданием. Это рыдала Доба-Лея, бывшая повариха на обрезаниях. Меер искривил истлевшие щеки.

— Жизнь — смитье,— пробормотал он,— свет — бордель, люди — аферисты...

Пенсне на носике Юдифи закачалось, грудь ее вышла из накрахмаленного халата. Она открыла рот для того, чтобы объяснить пользу оспопрививания, но ее остановил Арье-Лейб, староста богадельни.

— Барышня,— сказал он,— нас родила мама так же, как и вас. Эта женщина, наша мама, родила нас для того, чтобы мы жили, а не мучились. Она хотела, чтобы мы жи-

ли хорошо, и она была права, как может быть права мать. Человек, которому хватает того, что Бройдин ему отпускает,— этот человек недостоин материала, который пошел на него. Ваша цель, барышня, состоит в том, чтобы прививать оспу, и вы, с божьей помощью, прививаете ее. Наша цель состоит в том, чтобы дожить нашу жизнь, а не домучить ее, и мы не исполняем этой цели.

Доба-Лея, усатая старуха с львиным лицом, зарыдала еще громче, услышав эти слова. Она зарыдала басом.

— Жизнь — смитье,— повторил Меер Бесконечный,— люди — аферисты...

Парализованный Симон-Вольф схватился за руль своей тележки и, визжа и выворачивая ладони, двинулся к двери. Ермолка сдвинулась с малиновой, раздутой его головы.

Вслед за Симоном-Вольфом на главную аллею, рыча и гримасничая, вывалились все тридцать стариков и старух. Они потрясали костылями и ревели, как голодные ослы.

Сторож, увидев их, захлопнул кладбищенские ворота. Могильщики подняли вверх лопаты с налипшей на них землей и корнями трав и остановились в изумлении.

На шум вышел бородатый Бройдин, в крагах и кепи велосипедиста и в кургузом пиджачке.

— Аферист,— закричал ему Симон-Вольф,— нас не во что колоть... У нас на руках нет мяса...

Доба-Лея оскалилась и зарычала. Тележкой парализованного она стала наезжать на Бройдина. Арье-Лейб начал, как всегда, с иносказаний, с притч, крадущихся издалека и к цели, не всем видимой.

Он начал с притчи о рабби Осии, отдавшем свое имущество детям, сердце — жене, страх — богу, подать — цезарю и оставившему себе только место под масличным деревом, где солнце, закатываясь, светило дольше всего. От рабби Осии Арье-Лейб перешел к доскам для нового гроба и к пайку.

Бройдин расставил ноги в крагах и слушал, не поднимая глаз. Коричневое заграждение его бороды лежало неподвижно на новом френче; он, казалось, отдается печальным и мирным мыслям.

— Ты простишь меня, Арье-Лейб,— Бройдин вздохнул, обращаясь к кладбищенскому мудрецу,— ты простишь меня, если я скажу, что не могу не видеть в тебе задней мысли и политического элемента... За твоей спиной я не могу не видеть, Арье-Лейб, тех, кто знает, что они делают, точно так же, как и ты знаешь, что ты делаешь...

Тут Бройдин поднял глаза. Они мгновенно залились белой водой бешенства. Трясущиеся холмы его зрачков уперлись в стариков.

— Арье-Лейб,— сказал Бройдин сильным своим голосом,— прочитай телеграммы из Татреспублики, где крупные количества татар голодают, как безумные... Прочитай воззвание питерских пролетариев, которые работают и ждут, голодая, у своих станков...

— Мне некогда ждать,— прервал заведующего Арье-Лейб,— у меня нет времени...

— Есть люди,— ничего не слыша, гремел Бройдин,— которые живут хуже тебя, и есть тысячи людей, которые живут хуже тех, кто живет хуже тебя... Ты сеешь неприятности, Арье-Лейб, ты получишь завирюху. Вы будете мертвыми людьми, если я отвернусь от вас. Вы умрете, если я пойду своей дорогой, а вы своей. Ты умрешь, Арье-Лейб. Ты умрешь, Симон-Вольф. Ты умрешь, Меер Бесконечный. Но перед тем, как вам умереть, скажите мне,— я интересуюсь это знать,— есть у нас Советская власть или, может быть, ее нет у нас? Если ее нет у нас и я ошибся,— тогда отведите меня к господину Берзону на угол Дерибасовской и Екатерининской, где я отработал жилеточником все годы моей жизни... Скажи мне, что я ошибся, Арье-Лейб...

И заведующий кладбищем вплотную подошел к калекам. Трясущиеся его зрачки были выпущены на них. Они неслись на помертвевшее, застонавшее стадо, как лучи прожекторов, как языки пламени. Краги Бройдина трещали, пот кипел на изрытом лице, он все ближе подступал к Арье-Лейбу и требовал ответа — не ошибся ли он, считая, что Советская власть уже наступила...

Арье-Лейб молчал. Молчание это могло бы стать его гибелью, если бы в конце аллеи не показался босой Федька Степун в матросской рубахе.

Федьку контузили когда-то под Ростовом, он жил на излечении в хибарке рядом с кладбищем, носил на оранжевом полицейском шнуре свисток и наган без кобуры.

Федька был пьян. Каменные завитки кудрей выложены были на его лбу. Под завитками кривилось судорогой скуластое лицо. Он подошел к могиле Лугового, обнесенной увядшими венками.

— Где ты был, Луговой,— сказал Федька покойнику,— когда я Ростов брал?..

Матрос заскрипел зубами, засвистел в полицейский свисток и вытащил из-за пояса наган. Вороненое дуло револьвера осветилось.

— Подавили царей,— закричал Федька,— нету царей... Всем без гробов лежать...

Матрос сжимал револьвер. Грудь его была обнажена. На ней татуировкой разрисовано было слово «Рива» и дракон, голова которого загибалась к соску.

Могильщики с поднятыми вверх лопатами столпились вокруг Федьки. Женщины, обмывавшие покойников, вышли из своих клетей и приготовились реветь вместе с Добой-Леей. Воющие волны бились о запертые кладбищенские ворота.

Родственники, привезшие покойников на тачках, требовали, чтобы их впустили. Нищие колотили костылями об решетки.

— Подавили царей.— Матрос выстрелил в небо.

Люди прыжками понеслись по аллее. Бройдин медленно покрывался бледностью. Он поднял руку, согласился на все требования богадельни и, повернувшись по-солдатски, ушел в контору. Ворота в то же мгновение разъехались. Родственники умерших, толкая перед собой тележки, бойко катили их по дорожкам. Самозваные канторы пронзительными фальцетами запели «Эль молей рахим»[1] над разрытыми могилами. Вечером они отпраздновали свою победу у Криворучки. Федьке поднесли три кварты бессарабского вина.

— «Гэвэл гаволим»[2],— чокаясь с матросом, сказал Арье-Лейб,— ты душа-человек, с тобой можно жить... «Кулой гэвэл»...[3]

Хозяйка, жена Криворучки, перемывала за стенкой стаканы.

— Если у русского человека попадается хороший характер,— заметила мадам Криворучка,— так это действительно роскошь...

Федьку вывели во втором часу ночи.

— Гэвэл гаволим,— бормотал он губительные, непонятные слова, пробираясь по Степовой улице,— кулой гэвэл...

На следующий день старикам в богадельне выдали по четыре куска пиленого сахару и мясо к борщу. Вечером их повезли в Городской театр на спектакль, устроенный Соцобесом. Шла «Кармен». Впервые в жизни инвалидцы и уродцы увидели золоченые ярусы одесского театра, бар-

---

[1] Заупокойная еврейская молитва.
[2] Суета сует *(евр.)*.
[3] И всяческая суета *(евр.)*.

хат его барьеров, масляный блеск его люстр. В антрактах всем роздали бутерброды с ливерной колбасой.

На кладбище стариков отвезли на военном грузовике. Взрываясь и грохоча, он пролагал свой путь по замерзшим улицам. Старики заснули с оттопыренными животами. Они отрыгивались во сне и дрожали от сытости, как забегавшиеся собаки.

Утром Арье-Лейб встал раньше других. Он обратился к востоку, чтобы помолиться, и увидел на дверях объявление. В бумажке этой Бройдин извещал, что богадельня закрывается для ремонта и все призреваемые имеют сего числа явиться в Губернский отдел социального обеспечения для перерегистрации по трудовому признаку.

Солнце всплыло над верхушками зеленой кладбищенской рощи. Арье-Лейб поднес пальцы к глазам. Из потухших впадин выдавилась слеза.

Каштановая аллея, светясь, уходила к мертвецкой. Каштаны были в цвету, деревья несли высокие белые цветы на растопыренных лапах. Незнакомая женщина в шали, туго подхватывавшей грудь, хозяйничала в мертвецкой. Там все было переделано наново — стены украшены елками, столы выскоблены. Женщина обмывала младенца. Она ловко ворочала его с боку на бок: вода бриллиантовой струей стекала по вдавившейся, пятнистой спинке.

Бройдин в крагах сидел на ступеньках мертвецкой. У него был вид отдыхающего человека. Он снял свое кепи и вытирал лоб желтым платком.

— В союзе я так и сказала товарищу Андрейчику,— голос незнакомой женщины был певуч,— мы работы не бежим... О нас пусть спросят в Екатеринославе... Екатеринослав знает нашу работу...

— Устраивайтесь, товарищ Блюма, устраивайтесь,— мирно сказал Бройдин, пряча в карман желтый платок,— со мной можно ладить... Со мной можно ладить...— повторил он и обратил сверкающие глаза к Арье-Лейбу, подтащившемуся к самому крыльцу,— не надо только плевать мне в кашу...

Бройдин не окончил своей речи: у ворот остановилась пролетка, запряженная высокой вороной лошадью. Из пролетки вылез заведующий комхозом в отложной рубашке. Бройдин подхватил его и повел к кладбищу.

Старый портняжеский подмастерье показал своему начальнику столетнюю историю Одессы, покоящуюся

под гранитными плитами. Он показал ему памятники и склепы экспортеров пшеницы, корабельных маклеров и негоциантов, построивших русский Марсель на месте поселка Хаджибей. Они лежали тут — лицом к воротам — Ашкенази, Гессены и Эфрусси, лощеные скупцы, философические гуляки, создатели богатств и одесских анекдотов. Они лежали под памятниками из лабрадора и розового мрамора, отгороженные цепями каштанов и акаций от плебса, жавшегося к стенам.

— Они не давали жить при жизни,— Бройдин стучал по памятнику сапогом,— они не давали умереть после смерти...

Воодушевившись, он рассказал заведующему комхозом свою программу переустройства кладбищ и план кампании против погребального братства.

— И вот этих убрать.— Заведующий указал на нищих, выстроившихся у ворот.

— Делается,— ответил Бройдин,— понемножку все делается...

— Ну, двигай,— сказал заведующий Майоров,— у тебя, отец, порядочек... Двигай...

Он занес ногу на подножку пролетки и вспомнил о Федьке.

— Это что за петрушка была?..

— Контуженый парень,— опустив глаза, сказал Бройдин,— и бывает невыдержанный... Но теперь ему объяснили, и он извиняется...

— Варит котелок,— сказал Майоров своему спутнику, отъезжая,— ворочает как надо...

Высокая лошадь несла к городу его и заведующего отделом благоустройства. По дороге им встретились старики и старухи, выгнанные из богадельни. Они прихрамывали, согнувшись под узелками, и плелись молча. Разбитные красноармейцы сгоняли их в ряды. Тележки парализованных скрипели. Свист удушья, покорное хрипение вырывалось из груди отставных канторов, свадебных шутов, поварих на обрезаниях и отслуживших приказчиков.

Солнце стояло высоко. Зной терзал груду лохмотьев, тащившихся по земле. Дорога их лежала по безрадостному, выжженному каменистому шоссе, мимо глинобитных хибарок, мимо полей, задавленных камнями, мимо раскрытых домов, разрушенных снарядами, и чумной горы. Невыразимо печальная дорога вела когда-то в Одессе от города к кладбищу.

## ДОРОГА

Я ушел с развалившегося фронта в ноябре семнадцатого года. Дома мать собрала мне белья и сухарей. В Киев я угодил накануне того дня, когда Муравьев начал бомбардировку города. Мой путь лежал на Петербург. Двенадцать суток отсидели мы в подвале гостиницы Хаима Цирюльника на Бессарабке. Пропуск на выезд я получил от коменданта советского Киева.

В мире нет зрелища унылее, чем Киевский вокзал. Временные деревянные бараки уже много лет оскверняют подступ к городу. На мокрых досках трещали вши. Дезертиры, мешочники, цыгане валялись вперемешку. Старухи галичанки мочились на перрон стоя. Низкое небо было изборождено тучами, налито мраком и дождем.

Трое суток прошло, прежде чем ушел первый поезд. Вначале он останавливался через каждую версту, потом разошелся, колеса застучали горячей, запели сильную песню. В нашей теплушке это сделало всех счастливыми. Быстрая езда делала людей счастливыми в восемнадцатом году. Ночью поезд вздрогнул и остановился. Дверь теплушки разошлась, зеленое сияние снегов открылось нам. В вагон вошел станционный телеграфист в дохе, стянутой ремешком, и мягких кавказских сапогах. Телеграфист протянул руку и пристукнул пальцем по раскрытой ладони.

— Документы об это место...

Первой у двери лежала на тюках неслышная, свернувшаяся старуха. Она ехала в Любань к сыну-железнодорожнику. Рядом со мной дремали, сидя, учитель Иегуда Вейнберг с женой. Учитель женился несколько дней тому назад и увозил молодую в Петербург. Всю дорогу они шептались о комплексном методе преподавания,

потом заснули. Руки их и во сне были сцеплены, вдеты одна в другую.

Телеграфист прочитал их мандат, подписанный Луначарским, вытащил из-под дохи маузер с узким и грязным дулом и выстрелил учителю в лицо.

У женщины вздулась мягкая шея. Она молчала. Поезд стоял в степи. Волнистые снега роились полярным блеском. Из вагонов на полотно выбрасывали евреев. Выстрелы звучали неровно, как возгласы. Мужик с развязавшимся треухом отвел меня за обледеневшую поленницу дров и стал обыскивать. На нас, затмеваясь, светила луна. Лиловая стена леса курилась. Чурбаки негнувшихся мороженых пальцев ползли по моему телу. Телеграфист крикнул с площадки вагона:

— Жид или русский?

— Русский,— роясь во мне, пробормотал мужик,— хучь в раббины отдавай...

Он приблизил ко мне мятое озабоченное лицо,— отодрал от кальсон четыре золотых десятирублевки, зашитых матерью на дорогу, снял с меня сапоги и пальто, потом, повернув спиной, стукнул ребром ладони по затылку и сказал по-еврейски:

— Анклойф[1], Хаим...

Я пошел, ставя босые ноги в снег. Мишень зажглась на моей спине, точка мишени проходила сквозь ребра. Мужик не выстрелил. В колоннах сосен, в накрытом подземелье леса качался огонек в венце багрового дыма. Я добежал до сторожки. Она курилась в кизяковом дыму. Лесник застонал, когда я ворвался в будку. Обмотанный полосами, нарезанными из шуб и шинелей, он сидел в бамбуковом бархатном креслице и крошил табак у себя на коленях. Растягиваемый дымом, лесник стонал, потом, поднявшись, он поклонился мне в пояс:

— Уходи, отец родной. Уходи, родной гражданин...

Он вывел меня на тропинку и дал тряпку, чтобы обмотать ноги. Я добрел до местечка поздним утром. В больнице не оказалось доктора, чтобы отрезать отмороженные мои ноги; палатой заведовал фельдшер. Каждое утро он подлетал к больнице на вороном коротком жеребце, привязывал его к коновязи и входил к нам воспламененный, с ярким блеском в глазах.

— Фридрих Энгельс,— светясь углями зрачков, фельдшер склонялся к моему изголовью,— учит вашего брата,

---

[1] Беги *(евр.)*.

что нации не должны существовать, а мы обратно говорим,— нация обязана существовать...

Срывая повязки с моих ног, он выпрямлялся и, скрипя зубами, спрашивал негромко:

— Куда? Куда вас носит... Зачем она едет, ваша нация?.. Зачем мутит, турбуется...

Совет вывез нас ночью на телеге — больных, не поладивших с фельдшером, и старых евреек в париках, матерей местечковых комиссаров.

Ноги мои зажили. Я двинулся дальше по нищему пути на Жлобин, Оршу, Витебск.

Дуло гаубичного орудия служило мне прикрытием на перегоне Ново-Сокольники — Локня. Мы ехали на открытой площадке. Федюха, случайный спутник, проделывавший великий путь дезертиров, был сказочник, острослов, балагур. Мы спали под могучим, коротким, задранным вверх дулом и согревались друг от друга в холстинной яме, устланной сеном, как логово зверя. За Локней Федюха украл мой сундучок и исчез. Сундучок выдан был местечковым Советом и заключал в себе две пары солдатского белья, сухари и несколько денег. Двое суток — мы приближались к Петербургу — прошли без пищи. На Царскосельском вокзале я отбыл последнюю стрельбу. Заградительный отряд палил в воздух, встречая подходивший поезд. Мешочников вывели на перрон, с них стали срывать одежду. На асфальт, рядом с настоящими людьми, валились резиновые, налитые спиртом. В девятом часу вечера вокзал вышвырнул меня на Загородный проспект из воющего своего острога. На стене, через улицу, у заколоченной аптеки, термометр показывал 24 градуса мороза. В туннеле Гороховой гремел ветер; над каналом закатывался газовый рожок. Базальтовая, остывшая Венеция стояла недвижимо. Я вошел в Гороховую, как в обледенелое поле, заставленное скалами.

В доме номер два, в бывшем здании градоначальства, помещалась Чека. Два пулемета, две железные собаки, подняв морду, стояли в вестибюле. Я показал коменданту письма Вани Калугина, моего унтер-офицера в Шуйском полку. Калугин стал следователем в Чека; он звал меня в письмах.

— Ступай в Аничков,— сказал комендант,— он там теперь...

— Не дойти мне,— и я улыбнулся в ответ.

Невский Млечным Путем тек вдаль. Трупы лошадей отмечали его, как верстовые столбы. Поднятыми ногами

лошади поддерживали небо, упавшее низко. Раскрытые животы их были чисты и блестели. Старик, похожий на гвардейца, провез мимо меня игрушечные резные сани. Напрягаясь, он вбивал в лед кожаные ноги, на макушке у него сидела тирольская шапочка, бечевка связывала бороду, сунутую в шаль.

— Не дойти мне,— сказал я старику.

Он остановился. Львиное, изрытое лицо его было полно спокойствия. Он подумал о себе и повлек сани дальше.

«Так отпадает необходимость завоевать Петербург»,— подумал я и попытался вспомнить имя человека, раздавленного копытами арабских скакунов в самом конце пути. Это был Иегуда Галеви.

Два китайца в котелках, с буханками хлеба под мышками стояли на углу Садовой. Зябким ногтем они отмечали дольки на хлебе и показывали их подходившим проституткам. Женщины безмолвным парадом проходили мимо них.

У Аничкова моста, у Клодтовых коней, я присел на выступ статуи.

Локоть мой подвернулся под голову, я растянулся на полированной плите, но гранит опалил меня, выстрелил мною, ударил и бросил вперед, ко дворцу.

В боковом, брусничного цвета, флигеле дверь была раскрыта. Голубой рожок блестел над заснувшим в креслах лакеем. В морщинистом чернильно-мертвенном лице спадала губа, облитая светом гимнастерка без пояса накрывала придворные штаны, шитый золотом позумент. Мохнатая, чернильная стрелка указывала путь к коменданту. Я поднялся по лестнице и прошел пустые низкие комнаты. Женщины, написанные черно и сумрачно, водили хороводы на потолках и стенах. Металлические сетки затягивали окна, на рамах висели отбитые шпингалеты. В конце анфилады, освещенный точно на сцене, сидел за столом в кружке соломенных мужицких волос — Калугин. Перед ним на столе горою лежали детские игрушки, разноцветные тряпицы, изорванные книги с картинками.

— Вот и ты,— сказал Калугин, поднимая голову,— здорово... Тебя здесь надо...

Я отодвинул рукой игрушки, разбросанные по столу, лег на блистающую его доску и... проснулся — прошли мгновения или часы — на низком диване. Лучи люстры играли надо мной в стеклянном водопаде. Срезанные с меня лохмотья валялись на полу в натекшей луже.

— Купаться,— сказал стоявший над диваном Калу-

гин, поднял меня и понес в ванну. Ванна была старинная, с низкими бортами. Вода не текла из кранов. Калугин поливал меня из ведра. На палевых, атласных пуфах, на плетеных стульях без спинок разложена была одежда — халат с застежками, рубаха и носки из витого, двойного шелка. В кальсоны я ушел с головой, халат был скроен на гиганта, ногами я отдавливал себе рукава.

— Да ты шутишь с ним, что ли, с Александром Александровичем,— сказал Калугин, закатывая на мне рукава,— мальчик был пудов на девять...

Кое-как мы подвязали халат императора Александра Третьего и вернулись в комнату, из которой вышли. Это была библиотека Марии Федоровны, надушенная коробка с прижатыми к стенам золочеными, в малиновых полосах шкафами.

Я рассказал Калугину — кто убит у нас в Шуйском полку, кто выбран в комиссары, кто ушел на Кубань. Мы пили чай, в хрустальных стенах стаканов расплывались звезды. Мы заедали их колбасой из конины, черной и сыроватой. От мира отделял нас густой и легкий шелк гардин; солнце, вделанное в потолок, дробилось и сияло, душный жар налетал от труб парового отопления.

— Была не была,— сказал Калугин, когда мы разделались с кониной. Он вышел куда-то и вернулся с двумя ящиками — подарком султана Абдул-Гамида русскому государю. Один был цинковый, другой сигарный ящик, заклеенный лентами и бумажными орденами. «A sa majesté, l'Empereur de toutes les Russies[1],— было выгравировано на цинковой крышке,— от доброжелательного кузена...»

Библиотеку Марии Федоровны наполнил аромат, который был ей привычен четверть столетия назад. Папиросы двадцать сантиметров в длину и толщиной в палец были обернуты в розовую бумагу; не знаю, курил ли кто в свете, кроме всероссийского самодержца, такие папиросы, но я выбрал сигару. Калугин улыбался, глядя на меня.

— Была не была,— сказал он,— авось не считаны... Мне лакеи рассказывали — Александр Третий был завзятый курильщик: табак любил, квас да шампанское... А на столе у него, погляди, пятачковые глиняные пепельницы да на штанах — латки...

И вправду, халат, в который меня облачили, был засален, лоснился и много раз чинен.

---

[1] Его величеству императору всероссийскому *(фр.)*.

Остаток ночи мы провели, разбирая игрушки Николая Второго, его барабаны и паровозы, крестильные его рубашки и тетрадки с ребячьей мазней. Снимки великих князей, умерших в младенчестве, пряди их волос, дневники датской принцессы Дагмары, письма сестры ее, английской королевы, дыша духами и тленом, рассыпались под нашими пальцами. На титулах Евангелий и Ламартина подруги и фрейлины — дочери бургомистров и государственных советников — в косых старательных строчках прощались с принцессой, уезжавшей в Россию. Мелкопоместная королева Луиза, мать ее, позаботилась об устройстве детей; она выдала одну дочь за Эдуарда VII, императора Индии и английского короля, другую за Романова, сына Георга сделали королем греческим. Принцесса Дагмара стала Марией в России. Далеко ушли каналы Копенгагена, шоколадные баки короля Христиана. Рожая последних государей, маленькая женщина с лисьей злобой металась в частоколе преображенских гренадеров, но родильная ее кровь пролилась в неумолимую мстительную гранитную землю...

До рассвета не могли мы оторваться от глухой, гибельной этой летописи. Сигара Абдул-Гамида была докурена. Наутро Калугин повел меня в Чека, на Гороховую, 2. Он поговорил с Урицким. Я стоял за драпировкой, падавшей на пол суконными волнами. До меня долетали обрывки слов.

— Парень свой,— говорил Калугин,— отец лавочник, торгует, да он отбился от них... Языки знает...

Комиссар внутренних дел коммун Северной области вышел из кабинета раскачивающейся своей походкой. За стеклами пенсне вываливались обожженные бессонницей, разрыхленные, запухшие веки.

Меня сделали переводчиком при Иностранном отделе. Я получил солдатское обмундирование и талоны на обед. В отведенном мне углу зала бывшего Петербургского градоначальства я принялся за перевод показаний, данных дипломатами, поджигателями и шпионами.

Не прошло и дня, как все у меня было,— одежда, еда, работа и товарищи, верные в дружбе и смерти, товарищи, каких нет нигде в мире, кроме как в нашей стране.

Так началась тринадцать лет назад превосходная моя жизнь, полная мысли и веселья.

## «ИВАН-ДА-МАРЬЯ»

Сергей Васильевич Малышев, ставший потом председателем Нижегородского ярмарочного комитета, образовал летом восемнадцатого года первую в нашей стране продовольственную экспедицию. С одобрения Ленина он нагрузил несколько поездов товарами крестьянского обихода и повез их в Поволжье, для того чтобы там обменять на хлеб.

В эту экспедицию я попал конторщиком. Местом действия мы выбрали Ново-Николаевский уезд Самарской губернии. По вычислениям ученых этот уезд при правильном на нем хозяйствовании может прокормить всю Московскую область.

Неподалеку от Саратова, на прибрежной станции Увек, товары были перегружены на баржу. Трюм этой баржи превратился в самодельный универсальный магазин. Между выгнутыми ребрами плавучего склада мы прибили портреты Ленина и Маркса, окружили их колосьями, на полках расположили ситцы, косы, гвозди, кожу; не обошлось без гармоник и балалаек.

Там же, на Увеке, нам придали буксир — «Иван Тупицын», названный по имени волжского купца, прежнего хозяина. На пароходе разместился «штаб» — Малышев с помощниками и кассирами. Охрана и приказчики устроились в барже, под стойками.

Перегрузка заняла неделю. В июльское утро «Тупицын», вываливая жирные клубы дыма, потащил нас вверх по Волге, к Баронску. Немцы называли его Катариненштадт. Это теперь столица области немцев Поволжья, прекрасного края, населенного мужественными немногословными людьми.

Степь, прилегающая к Баронску, покрыта таким тяжелым золотом пшеницы, какое есть только в Канаде. Она завалена коронами подсолнухов и маслеными глыбами чернозема. Из Петербурга, вылизанного гранитным огнем, мы перенеслись в русскую и этим еще более необыкновенную Калифорнию. Фунт хлеба стоил в нашей Калифорнии шестьдесят копеек, а не десять рублей, как на севере. Мы накинулись на булку с ожесточением, которого теперь нельзя передать; в паутинную мякоть вонзались собачьи отточившиеся зубы. Недели две после приезда нас томил хмель блаженного несварения желудка. Кровь, потекшая по жилам, имела — так мне казалось — вкус и цвет малинового варенья...

Малышев рассчитал верно: торговля пошла ходко. Со всех краев степи к берегу тянулись медленные потоки телег. По спинам сытых лошадей двигалось солнце. Солнце сияло на вершинах пшеничных холмов. Телеги тысячами точек спускались к Волге. Рядом с лошадьми шагали гиганты в шерстяных фуфайках, потомки голландских фермеров, переселенных при Екатерине в Приволжские урочища. Лица их остались такими же, как в Саардаме и Гаарлеме. Под патриархальным мхом бровей, в сети кожаных морщин, блестели капли поблекшей бирюзы. Дым трубок таял в голубых молниях, протянувшихся над степью. Колонисты медленно всходили на баржу по трапу; деревянные их башмаки стучали, как колокола твердости и покоя. Товар выбирали старухи в накрахмаленных чепцах и коричневых тальмах. Покупки выносились к бричкам. Доморощенные живописцы рассыпали вдоль этих возков охапки полевых цветов и розовые бычьи морды. Наружная сторона бричек была закрашена обыкновенно синим глубоким тоном. В нем горели восковые яблоки и сливы, тронутые солнечным лучом.

Из дальних мест приезжали на верблюдах. Животные ложились на берегу, расчерчивая горизонт сваливающимися горбами. Торговля наша кончалась к вечеру. Лавка запиралась; охрана, состоявшая из инвалидов, и приказчики разоблачались и прыгали с бортов в Волгу, подожженную закатом. В далекой степи красными валами ходили хлеба, в небе обрушивались стены заката. Купанье сотрудников продовольственной в Самарскую губернию экспедиции (так назывались мы в официальных бумагах) представляло собой необыкновенное зрелище. Калеки поднимали в воде илистые розовые фонтаны. Охранники были об одной ноге, другие недосчитывали руки или

глаза. Они спрягались по двое, чтобы плавать. На двух человек приходилось две ноги, они колотили обрубками по воде, илистые струи втягивались водоворотом между их тел. Рыча и фыркая, калеки вываливались на берег; разыгравшись, они потрясали культяпками навстречу несущимся небесам, закидывали себя песком и боролись, уминая друг дружке обрубленные конечности. После купанья мы отправлялись ужинать в трактир Карла Бидермаера. Этот ужин увенчивал наши дни. Две девки с кроваво-кирпичными руками — Августа и Анна — подавали нам котлеты, рыжие булыжники, шевелившиеся в струях кипящего масла и заваленные скирдами жареного картофеля. Для вкуса в деревенскую гороподобную эту еду подбавляли лук и чеснок. Перед нами ставили банки с кислыми огурцами. Из круглых окошечек, вырезанных высоко, у потолка, шел с базарной площади дым заката. Огурцы курились в багровом дыму и пахли, как морской берег. Мы запивали мясо сидром. Обитатели Песков и Охты, обыватели пригородов, обледеневших в желтой моче, мы каждый вечер наново чувствовали себя завоевателями. Окошечки, высеченные в столетних черных стенах, походили на иллюминаторы. Сквозь них просвечивал дворик божественной чистоты, немецкий дворик с кустами роз и глициний, с фиолетовой пропастью раскрытой конюшни. Старухи в тальмах вязали у порогов чулки Гулливера. С пастбищ возвращались стада. Августа и Анна присаживались на скамеечки к коровам. В сумерках мерцали радужные коровьи глаза. Войны, казалось, не было и нет на свете. И все-таки фронт уральских казаков проходил в двадцати верстах от Баронска. Карл Бидермаер не догадывался о том, что гражданская война катится к его дому.

Ночью я возвращался в наш трюм с Селецким, таким же конторщиком, как и я. Он запевал по дороге. Из стрельчатых окон высовывались головы в колпаках. Лунный свет стекал по красным каналам черепицы. Глухой лай собак поднимался над русским Саардамом. Августы и Анны, окаменев, слушали пение Селецкого. Бас его доносил нас до степи, к готической изгороди хлебных амбаров. Лунные перекладины дрожали на реке, тьма была легка; она отступала к прибрежному песку; в порванном неводе загибались светящиеся черви.

Голос Селецкого был неестественной силы. Саженный детина, он принадлежал к тому разряду провинциальных Шаляпиных, которых, на счастье наше, рассеяно множество на Руси. У него было такое же лицо, как у Шаляпи-

на,— не то шотландского кучера, не то екатерининского вельможи. Он был простоват, не в пример божественному своему прототипу, но голос его, безгранично, смертельно раздвигаясь, наполнял душу сладостью самоуничтожения и цыганского забытья. Кандальные песни он предпочитал итальянским ариям. От Селецкого первый раз услышал я гречаниновскую «Смерть». Грозно, неумолимо, страстно шло по ночам над темной водой:

...Она не забудет, придет, приголубит,
Обнимет, навеки полюбит,—
И брачный свой, тяжкий, наденет венец!..

В мгновенной оболочке, называемой человеком, песня течет, как вода вечности. Она все смывает и все родит.

Фронт проходил в двадцати верстах. Уральские казаки, соединившись с чешским батальоном майора Воженилика, пытались выбить из Николаевска разрозненные отряды красных. Севернее — из Самары — наступали войска Комуча — Комитета членов Учредительного собрания. Распыленные и необученные, наши части перегруппировались на левом берегу. Только что изменил Муравьев. Советским главнокомандующим был назначен Вацетис.

Оружие для фронта привозили из Саратова. Раз, а то и два раза в неделю к баронской пристани пришвартовывался бело-розовый самолетский пароход «Иван-да-Марья». Он привозил винтовки и снаряды. Палуба парохода бывала уставлена ящиками с набитыми по трафарету черепами, с надписью под черепами: «Смертельно».

Командовал пароходом Коростелев, испитой человек с льняным висячим волосом. Коростелев был бегун, неустроенная душа, бродяга. Он на парусниках ездил по Белому морю, пешком обошел Россию, побывал в тюрьме и в монастыре на послушании.

Возвращаясь от Бидермаера, мы всегда заходили к нему, если находили у пристани огни «Иван-да-Марьи». Однажды ночью, поравнявшись с хлебными амбарами, с волшебной этой линией синих и коричневых замков, мы увидели факел, пылавший высоко в небе. Мы возвращались с Селецким домой в том размягченном и страстном состоянии, какое может произвести необыкновенная эта сторона, молодость, ночь, тающие огненные кольца на реке.

Волга катилась неслышно. Огней не было на «Иван-да-Марье», корпус парохода темнел мертво, только факел

рвался высоко над ним. Пламя металось над мачтой и чадило. Селецкий пел, побледнев и закинув голову. Он подошел к воде и оборвал. Мы взошли на мостики, никем не охраняемые. На палубе валялись ящики и орудийные колеса. Я толкнул дверь капитанской каюты, она открылась. На залитом столе горела без стекла жестяная лампа. Железка, окружавшая фитиль, плавилась. Окна были забиты горбатыми досками. От бидонов, валявшихся под столом, шел серный дух самогона. Коростелев в холщовой рубахе сидел на полу в зеленых струях блевотины. Монашеский волос, склеившись, стоял вокруг его лица. Коростелев не отрываясь смотрел с полу на своего комиссара латыша Ларсона. Тот, поставив перед собой желтый картон «Правды», читал его в свете плавящегося керосинового костра.

— Вот ты какой,— сказал с полу Коростелев,— продолжай то, что ты говорил... Мучай нас, если хочешь...

— Зачем я буду говорить,— отозвался Ларсон, повернулся спиной и отгородился своим картоном,— лучше я тебя послушаю...

На бархатном диване, свесив ноги, сидел рыжий мужик.

— Лисей,— сказал ему Коростелев,— водки.

— Вся,— ответил Лисей,— и достать негде...

Ларсон отставил картон и захохотал вдруг, точно дробь стал выбивать.

— Российскому человеку выпить требуется,— латыш говорил с акцентом,— у российского человека душа мало-мало разошлась, а тут достать негде... Зачем тогда Волга называется?..

Худая детская шея Коростелева вытянулась, ноги его в холщовых штанах разбросались по полу. Жалобное недоумение отразилось в его глазах, потом они засияли.

— Мучай нас,— сказал он чуть слышно и вытянул шею,— мучай нас, Карл...

Лисей сложил пухлые руки и посмотрел на латыша сбоку:

— Ишь, Волгу ремизит... Нет, товарищ, ты нашу Волгу не ремизь, не порочь... Знаешь, как у нас песня играется: «Волга-матушка, река-царица...»

Мы с Селецким все стояли у двери. Я подумывал об отступлении.

— Вот никоим образом не пойму,— обратился к нам Ларсон, он, видимо, продолжал давнишний спор,— может,

товарищи разъяснят мне, как это так выходит, что железобетон оказывается хуже березок да осинок, а дирижабли хуже калуцкого дерьма?..

Лисей повертел головой в ваточном воротнике. Ноги его не доставали до полу, пухлыми пальцами, прижатыми к животу, он плел невидимую сеть.

— Что ты, друг, об Калуге знаешь,— успокоительно сказал Лисей,— в Калуге, я тебе скажу, знаменитый народ живет: великолепный, если желаешь знать, народ...

— Водки,— произнес с полу Коростелев.

Ларсон снова запрокинул поросячью свою голову и резко захохотал.

— Мы-ста да вы-ста,— пробормотал латыш, придвигая к себе картон,— авось да небось...

Бурный пот бил на его лбу, в колтуне бесцветных волос плавали масленые струи огня.

— Авось да небось,— он снова фыркнул,— мы-ста да вы-ста...

Коростелев потрогал пальцами вокруг себя. Он двинулся и пополз, забирая вперед руками, таща за собой скелет в холщовой рубахе.

— Ты не смеешь мучить Россию, Карл,— прошептал он, подползши к латышу, ударил его сведенной ручкой по лицу и с визгом стал об него стучаться.

Тот надулся и поверх сползших очков осмотрел всех нас. Потом он обмотал вокруг пальцев шелковую реку волос Коростелева и вдавил его лицом в пол. Он поднял его и снова опустил.

— Получил,— отрывисто сказал Ларсон и отшвырнул костлявое тело,— и еще получишь...

Коростелев, упершись в ладони, приподнялся над полом по-собачьи. Кровь текла у него из ноздрей, глаза косили. Он поводил ими, потом вскинулся и с воем забрался под стол.

— Россия,— проговорил он под столом и забился,— Россия...

Лопаты босых его ступней выскочили и втянулись. Одно только слово — со свистом и стоном — можно было расслышать в его визге.

— Россия,— выл он, протягивая руки, и колотился головой.

Рыжий Лисей сидел на бархатном диване.

— С полдня завелись,— обернулся он ко мне и Селецкому,— все об Рассее бьются, все Рассею жалеют...

— Водки,— твердо сказал из-под стола Коростелев. Он вылез и стал на ноги. Волосы его, замокшие в кровавой луже, падали на щеку.

— Где водка, Лисей?

— Водка, друг, в Вознесенском, сорок верст, хошь по воде сорок верст, хошь по земле сорок верст... Там ноне храм, самогон обязан быть... Немцы, что хошь делай, не держат...

Коростелев повернулся и вышел на прямых журавлиных ногах.

— Мы калуцкие,— неожиданно закричал Ларсон.

— Не уважает Калугу,— вздохнул Лисей,— хоть ты што... А я в ей был, в Калуге... В ей стройный народ живет, знаменитый...

За стеной прокричали команду, послышался звук якоря, якорь пошел вверх. Брови Лисея поднялись.

— Никак в Вознесенское едем?..

Ларсон захохотал, откинув голову. Я выбежал из каюты. Босой Коростелев стоял на капитанском мостике. Медный отблеск луны лежал на раскроенном его лице. Сходни упали на берег. Матросы, кружась, наматывали канаты.

— Дмитрий Алексеевич,— крикнул вверх Селецкий,— нас-то отпусти, мы-то при чем?..

Машины, взорвавшись, перешли на беспорядочный стук. Колесо рыло воду. У пристани мягко разодралась сгнившая доска. «Иван-да-Марья» ворочал носом.

— Поехали,— сказал Лисей, вышедший на палубу,— поехали в Вознесенское за самогоном...

Раскручивая колесо, «Иван-да-Марья» набирал быстроту. В машине нарастала масляная толкотня, шелест, свист, ветер. Мы летели во мраке, не сворачивая по сторонам, сбивая бакены, сигнальные вешки и красные огни. Вода, пенясь под колесами, летела назад, как позлащенное крыло птицы. Луна врылась в черные водовороты. «Фарватер Волги извилист,— вспомнил я фразу из учебника,— он изобилует мелями...» Коростелев переминался на капитанском мостике. Голубая светящаяся кожа обтягивала его скулы.

— Полный,— сказал он в рупор.

— Есть полный,— ответил глухой невидимый голос.

— Еще дай...

Внизу молчали.

— Сорву машину,— ответил голос после молчания.

Факел сорвался с мачты и проволочился по крутя-

щейся волне. Пароход качнулся; взрыв, продрожав, прошел по корпусу. Мы летели во мраке, никуда не сворачивая. На берегу взвилась ракета, по нас ударили трехдюймовкой. Снаряд просвистал в мачтах. Поваренок, тащивший по палубе самовар, поднял голову. Самовар выскользнул из его рук, покатился по лестнице, треснул, и блещущая струя понеслась по грязным ступеням. Поваренок оскалился, привалился к лестнице и заснул. Изо рта его забил смертный запах самогона. Внизу, среди замаслившихся цилиндров, кочегары, голые до пояса, ревели, размахивали руками, валились на пол. В жемчужном свечении валов отражались искаженные их лица. Команда парохода «Иван-да-Марья» была пьяна. Один рулевой твердо двигал свой круг. Он обернулся, увидев меня.

— Жид,— сказал мне рулевой,— что с детями будет?..

— С какими детями?

— Дети не учатся,— сказал рулевой, ворочая кругом,— дети воры будут...

Он приблизил ко мне свинцовые синие скулы и заскрипел зубами. Челюсти его скрежетали, как жернова. Зубы, казалось, размалываются в песок.

— Загрызу...

Я попятился от него. По палубе проходил Лисей.

— Что будет, Лисей?

— Должен довезти,— сказал рыжий мужик и сел на лавочку отдохнуть.

Мы спустили его в Вознесенском. «Храма» там не оказалось, ни огней, ни карусели. Пологий берег был темен, прикрыт низким небом. Лисей потонул в темноте. Его не было больше часу, он вынырнул у самой воды, нагруженный бидонами. Его сопровождала рябая баба, статная как лошадь. Детская кофта, не по ней, обтягивала грудь бабы. Какой-то карлик в остроконечной ватной шапке и маленьких сапожках, разинув рот, стоял тут же и смотрел, как мы грузились.

— Сливочный,— сказал Лисей, ставя бидоны на стол,— самый сливочный самогон...

И гонка призрачного нашего корабля возобновилась. Мы приехали в Баронск к рассвету. Река расстилалась необозримо. Вода стекала с берега, оставляя атласную синюю тень. Розовый луч ударил в туман, повисший на клочьях кустов. Глухие крашеные стены амбаров, тонкие их шпили медленно повернулись и стали подплывать к нам. Мы под-

ходили к Баронску под раскаты песни. Селецкий прочистил горло бутылкой самого сливочного и распелся. Тут все было — «Блоха» Мусоргского, хохот Мефистофеля и ария помешавшегося мельника «Не мельник я — я ворон...».

Босой Коростелев, перегнувшись, лежал на перильцах капитанского мостика. Голова его с прикрытыми веками поматывалась, рассеченное лицо было закинуто к небу, по нем блуждала неясная детская улыбка. Коростелев очнулся, когда мы замедлили ход.

— Алеша,— сказал он в рупор,— самый полный.

И мы врезались в пристань с полного хода. Доска, помятая нами в прошлый раз, разлетелась. Машину застопорили вовремя.

— Вот и довез,— сказал Лисей, оказавшийся рядом со мной,— а ты, друг, опасывался...

На берегу выстроились уже чапаевские тачанки. Радужные полосы темнели и остывали на берегу, только что оставленном водой. У самой пристани валялись зарядные ящики, брошенные в прежние приезды. На одном из ящиков в папахе и неподпоясанной рубахе сидел Макеев, командир сотни у Чапаева. Коростелев пошел к нему, расставив руки.

— Опять я, Костя, начудил,— сказал он с детской своей улыбкой,— все горючее извел...

Макеев боком сидел на ящике, клочья папахи свисали над безбровыми желтыми дугами глаз. Маузер с некрашеной ручкой лежал у него на коленях. Он выстрелил, не оборачиваясь, и промахнулся.

— Фу-ты ну-ты,— пролепетал Коростелев, весь светясь,— вот ты и рассердился...— Он шире расставил худые руки.— Фу-ты ну-ты...

Макеев вскочил, завертелся и выпустил из маузера все патроны. Выстрелы прозвучали торопливо. Коростелев еще что-то хотел сказать, но не успел, вздохнул и упал на колени. Он опустился к ободьям, к колесам тачанки, лицо его разлетелось, молочные пластинки черепа прилипли к ободьям. Макеев, пригнувшись, выдергивал из обоймы последний застрявший патрон.

— Отшутились,— сказал он, обводя взглядом красноармейцев и всех нас, скопившихся у сходен.

Лисей, приседая, протрусил с попоной в руках и накрыл ею Коростелева, длинного, как дерево. На пароходе шла одиночная стрельба. Чапаевцы, бегая по палубе, арестовывали команду. Баба, приставив ладонь к рябому лицу,

смотрела с борта на берег сощуренными, незрячими глазами.

— Я те погляжу,— сказал ей Макеев,— я научу горючее жечь...

Матросов выводили по одному. За амбарами их встречали немцы, высыпавшие из своих домов. Карл Бидермаер стоял среди своих земляков. Война пришла к его порогу.

В этот день нам выпало много работы. Большое село Фриденталь приехало за товаром. Цепь верблюдов легла у воды. Вдали, в бесцветной жести горизонта, завертелись ветряки.

До обеда мы ссыпали в баржу фридентальское зерно, к вечеру меня вызвал Малышев. Он умывался на палубе «Тупицына». Инвалид с зашпиленным рукавом сливал ему из кувшина. Малышев фыркал, кряхтел, подставляя щеки. Обтираясь полотенцем, он сказал своему помощнику, продолжая, видимо, ранее затеянный разговор:

— И правильно... Будь ты трижды хороший человек,— и в скитах ты был, и по Белому морю ходил, и человек ты отчаянный,— а вот горючее, сделай милость, не жги...

Мы пошли с Малышевым в каюту. Я обложился там ведомостями и стал писать под диктовку телеграмму Ильичу.

— Москва. Кремль. Ленину.

В телеграмме мы сообщали об отправке пролетариям Петербурга и Москвы первых маршрутов с пшеницей, двух поездов по двадцать тысяч пудов зерна в каждом.



## ГЮИ ДЕ МОПАССАН

Зимой шестнадцатого года я очутился в Петербурге с фальшивым паспортом и без гроша денег. Приютил меня учитель русской словесности — Алексей Казанцев.

Он жил на Песках, в промерзшей, желтой, зловонной улице. Приработком к скудному его жалованью были переводы с испанского; в ту пору входил в славу Бласко Ибаньес.

Казанцев и проездом не бывал в Испании, но любовь к этой стране заполняла его существо — он знал в Испании все замки, сады и реки. Кроме меня, к Казанцеву жалось еще множество вышибленных из правильной жизни людей. Мы жили впроголодь. Изредка бульварные листки печатали мелким шрифтом наши заметки о происшествиях.

По утрам я околачивался в моргах и полицейских участках.

Счастливее нас был все же Казанцев. У него была родина — Испания.

В ноябре мне представилась должность конторщика на Обуховском заводе, недурная служба, освобождавшая от воинской повинности.

Я отказался стать конторщиком.

Уже в ту пору — двадцати лет от роду — я сказал себе: лучше голодовка, тюрьма, скитания, чем сидение за конторкой часов по десяти в день. Особой удали в этом обете нет, но я не нарушал его и не нарушу. Мудрость дедов сидела в моей голове: мы рождены для наслаждения трудом, дракой, любовью, мы рождены для этого и ни для чего другого.

Слушая мои рацеи, Казанцев ерошил желтый короткий пух на своей голове. Ужас в его взгляде перемешивался с восхищением.

На рождестве к нам привалило счастье. Присяжный поверенный Бендерский, владелец издательства «Альциона», задумал выпустить в свет новое издание сочинений Мопассана. За перевод взялась жена присяжного поверенного — Раиса. Из барской затеи ничего не вышло.

У Казанцева, переводившего с испанского, спросили, не знает ли он человека в помощь Раисе Михайловне. Казанцев указал на меня.

На следующий день, облачившись в чужой пиджак, я отправился к Бендерским. Они жили на углу Невского и Мойки, в доме, выстроенном из финляндского гранита и обложенном розовыми колонками, бойницами, каменными гербами. Банкиры без роду и племени, выкресты, разжившиеся на поставках, настроили в Петербурге перед войной множество пошлых, фальшиво величавых этих замков.

По лестнице пролегал красный ковер. На площадках, поднявшись на дыбы, стояли плюшевые медведи.

В их разверстых пастях горели хрустальные колпаки.

Бендерские жили в третьем этаже. Дверь открыла горничная в наколке, с высокой грудью. Она ввела меня в гостиную, отделанную в древнеславянском стиле. На стенах висели синие картины Рериха — доисторические камни и чудовища. По углам — на поставцах — расставлены были иконы древнего письма. Горничная с высокой грудью торжественно двигалась по комнате. Она была стройна, близорука, надменна. В серых раскрытых ее глазах окаменело распутство. Девушка двигалась медленно. Я подумал, что в любви она, должно быть, ворочается с неистовым проворством. Парчовый полог, висевший над дверью, заколебался. В гостиную, неся большую грудь, вошла черноволосая женщина с розовыми глазами. Не нужно было много времени, чтобы узнать в Бендерской упоительную эту породу евреек, пришедших к нам из Киева и Полтавы, из степных, сытых городов, обсаженных каштанами и акациями. Деньги оборотистых своих мужей эти женщины переливают в розовый жирок на животе, на затылке, на круглых плечах. Сонливая, нежная их усмешка сводит с ума гарнизонных офицеров.

— Мопассан — единственная страсть моей жизни,— сказала мне Раиса.

Стараясь удержать качание больших бедер, она вышла из комнаты и вернулась с переводом «Мисс Гарриэт». В переводе ее не осталось и следа от фразы Мопассана, свободной, текучей, с длинным дыханием страсти. Бендерская

писала утомительно правильно, безжизненно и развязно — так, как писали раньше евреи на русском языке.

Я унес рукопись к себе и дома в мансарде Казанцева — среди спящих — всю ночь прорубал просеки в чужом переводе. Работа эта не так дурна, как кажется. Фраза рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте, едва ощутимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреваться. Повернуть его надо один раз, а не два.

Наутро я снес выправленную рукопись. Раиса не лгала, когда говорила о своей страсти к Мопассану. Она сидела недвижимо во время чтения, сцепив руки; атласные эти руки текли к земле, лоб ее бледнел, кружевце между отдавленными грудями отклонялось и трепетало.

— Как вы это сделали?

Тогда я заговорил о стиле, об армии слов, об армии, в которой движутся все роды оружия. Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя. Она слушала, склонив голову, приоткрыв крашеные губы. Черный луч сиял в лакированных ее волосах, гладко прижатых и разделенных пробором. Облитые чулком ноги с сильными и нежными икрами расставились по ковру.

Горничная, уводя в сторону окаменевшие распутные глаза, внесла на подносе завтрак.

Стеклянное петербургское солнце ложилось на блеклый неровный ковер. Двадцать девять книг Мопассана стояли над столом на полочке. Солнце тающими пальцами трогало сафьяновые корешки книг — прекрасную могилу человеческого сердца.

Нам подали кофе в синих чашечках, и мы стали переводить «Идиллию». Все помнят рассказ о том, как голодный юноша-плотник отсосал у толстой кормилицы молоко, тяготившее ее. Это случилось в поезде, шедшем из Ниццы в Марсель, в знойный полдень, в стране роз, на родине роз, там, где плантации цветов спускаются к берегу моря...

Я ушел от Бендерских с двадцатью пятью рублями аванса. Наша коммуна на Песках была пьяна в этот вечер, как стадо упившихся гусей. Мы черпали ложкой зернистую икру и заедали ее ливерной колбасой. Захмелев, я стал бранить Толстого.

— Он испугался, ваш граф, он струсил... Его рели-

гия — страх... Испугавшись холода, старости, граф сшил себе фуфайку из веры...

— И дальше? — качая птичьей головой, спрашивал меня Казанцев.

Мы заснули рядом с собственными постелями. Мне приснилась Катя, сорокалетняя прачка, жившая под нами. По утрам мы брали у нее кипяток. Я и лица ее толком не успел разглядеть, но во сне мы с Катей бог знает что делали. Мы измучили друг друга поцелуями. Я не удержался от того, чтобы зайти к ней на следующее утро за кипятком.

Меня встретила увядшая, перекрещенная шалью женщина, с распустившимися пепельно-седыми завитками и отсыревшими руками.

С этих пор я всякое утро завтракал у Бендерских. В нашей мансарде завелась новая печка, селедка, шоколад. Два раза Раиса возила меня на острова. Я не утерпел и рассказал ей о моем детстве. Рассказ вышел мрачным, к собственному моему удивлению. Из-под кротовой шапочки на меня смотрели блестящие испуганные глаза. Рыжий мех ресниц жалобно вздрагивал.

Я познакомился с мужем Раисы — желтолицым евреем с голой головой и плоским сильным телом, косо устремившимся к полету. Ходили слухи о его близости к Распутину. Барыши, получаемые им на военных поставках, придали ему вид одержимого. Глаза его блуждали, ткань действительности порвалась для него. Раиса смущалась, знакомя новых людей со своим мужем. По молодости лет я заметил это на неделю позже, чем следовало.

После Нового года к Раисе приехали из Киева две ее сестры. Я принес как-то рукопись «Признания» и, не застав Раисы, вернулся вечером. В столовой обедали. Оттуда доносилось серебристое кобылье ржанье и гул мужских голосов, неумеренно ликующих. В богатых домах, не имеющих традиций, обедают шумно. Шум был еврейский — с перекатами и певучими окончаниями. Раиса вышла ко мне в бальном платье с голой спиной. Ноги в колеблющихся лаковых туфельках ступали неловко.

— Я пьяна, голубчик.— И она протянула мне руки, унизанные цепями платины и звездами изумрудов.

Тело ее качалось, как тело змеи, встающей под музыку к потолку. Она мотала завитой головой, бренча перстнями, и упала вдруг в кресло с древнерусской резьбой. На пудреной ее спине тлели рубцы.

За стеной еще раз взорвался женский смех. Из столовой вышли сестры с усиками, такие же полногрудые и рослые, как Раиса. Груди их были выставлены вперед, черные волосы развевались. Обе были замужем за своими собственными Бендерскими. Комната наполнилась бессвязным женским весельем, весельем зрелых женщин. Мужья закутали сестер в котиковые манто, в оренбургские платки, заковали их в черные ботики; под снежным забралом платков остались только нарумяненные пылающие щеки, мраморные носы и глаза с семитическим близоруким блеском. Пошумев, они уехали в театр, где давали «Юдифь» с Шаляпиным.

— Я хочу работать,— пролепетала Раиса, протягивая голые руки,— мы упустили целую неделю...

Она принесла из столовой бутылку и два бокала. Грудь ее свободно лежала в шелковом мешке платья; соски выпрямились, шелк накрыл их.

— Заветная,— сказала Раиса, разливая вино,— мускат восемьдесят третьего года. Муж убьет меня, когда узнает...

Я никогда не имел дела с мускатом восемьдесят третьего года и не задумался выпить три бокала один за другим. Они тотчас же увели меня в переулки, где веяло оранжевое пламя и слышалась музыка.

— Я пьяна, голубчик... Что у нас сегодня?

— Сегодня у нас «L'aveu»...

— Итак, «Признание». Солнце — герой этого рассказа, le soleil de France...[1] Расплавленные капли солнца, упав на рыжую Селесту, превратились в веснушки. Солнце отполировало отвесными своими лучами, вином и яблочным сидром рожу кучера Полита. Два раза в неделю Селеста возила в город на продажу сливки, яйца и куриц. Она платила Политу за проезд десять су за себя и четыре су за корзину. И в каждую поездку Полит, подмигивая, справляется у рыжей Селесты: «Когда же мы позабавимся, ma belle?»[2] — «Что это значит, мсье Полит?» Подпрыгивая на козлах, кучер объяснил: «Позабавиться — это значит позабавиться, черт меня побери... Парень с девкой — музыки не надо...» — «Я не люблю таких шуток, мсье Полит»,— ответила Селеста и отодвинула от парня свои юбки, нависшие над могучими икрами в красных чулках.

---

[1] Солнце Франции... *(фр.)*

[2] Красавица *(фр.)*.

Но этот дьявол Полит все хохотал, все кашлял,— когда-нибудь мы позабавимся, ma belle,— и веселые слезы катились по его лицу цвета кирпичной крови и вина.

Я выпил еще бокал заветного муската. Раиса чокнулась со мной.

Горничная с окаменевшими глазами прошла по комнате и исчезла.

Ce diable de Polyte...[1] За два года Селеста переплатила ему сорок восемь франков. Это пятьдесят франков без двух. В конце второго года, когда они были одни в дилижансе и Полит, хвативший сидра перед отъездом, спросил по своему обыкновению: «А не позабавиться ли нам сегодня, мамзель Селеста?» — она ответила, потупив глаза: «Я к вашим услугам, мсье Полит...»

Раиса с хохотом упала на стол. Ce diable de Polyte...

Дилижанс был запряжен белой клячей. Белая кляча с розовыми от старости губами пошла шагом. Веселое солнце Франции окружило рыдван, закрытый от мира порыжевшим козырьком. Парень с девкой, музыки им не надо...

Раиса протянула мне бокал. Это был пятый.

— Mon vieux[2], за Мопассана...

— А не позабавиться ли нам сегодня, ma belle...

Я потянулся к Раисе и поцеловал ее в губы. Они задрожали и вспухли.

— Вы забавный,— сквозь зубы пробормотала Раиса и отшатнулась.

Она прижалась к стене, распластав обнаженные руки. На руках и на плечах у нее зажглись пятна. Изо всех богов, распятых на кресте, это был самый обольстительный.

— Потрудитесь сесть, мсье Полит...

Она указала мне на косое синее кресло, сделанное в славянском стиле. Спинку его составляли сплетения, вырезанные из дерева с расписными хвостами. Я побрел туда, спотыкаясь.

Ночь подложила под голодную мою юность бутылку муската восемьдесят третьего года и двадцать девять книг, двадцать девять петард, начиненных жалостью, гением, страстью... Я вскочил, опрокинул стул, задел полку. Двадцать девять томов обрушились на ковер, страницы их

---

[1] Этот пройдоха Полит... *(фр.)*

[2] Старина *(фр.)*.

разлетелись, они стали боком... и белая кляча моей судьбы пошла шагом.

— Вы забавный,— прорычала Раиса.

Я ушел из гранитного дома на Мойке в двенадцатом часу, до того, как сестры и муж вернулись из театра. Я был трезв и мог ступать по одной доске, но много лучше было шататься, и я раскачивался из стороны в сторону, распевая на только что выдуманном мною языке. В туннелях улиц, обведенных цепью фонарей, валами ходили пары тумана. Чудовища ревели за кипящими стенами. Мостовые отсекали ноги идущим по ним.

Дома спал Казанцев. Он спал сидя, вытянув тощие ноги в валенках. Канареечный пух поднялся на его голове. Он заснул у печки, склонившись над «Дон-Кихотом» издания 1624 года. На титуле этой книги было посвящение герцогу де Броглио. Я лег неслышно, чтобы не разбудить Казанцева, придвинул к себе лампу и стал читать книгу Эдуарда де Мениаль — «О жизни и творчестве Гюи де Мопассана».

Губы Казанцева шевелились, голова его сваливалась.

И я узнал в эту ночь от Эдуарда де Мениаль, что Мопассан родился в 1850 году от нормандского дворянина и Лауры де Пуатевен, двоюродной сестры Флобера. Двадцати пяти лет он испытал первое нападение наследственного сифилиса. Плодородие и веселье, заключенные в нем, сопротивлялись болезни. Вначале он страдал головными болями и припадками ипохондрии. Потом призрак слепоты стал перед ним. Зрение его слабело. В нем развилась мания подозрительности, нелюдимость и сутяжничество. Он боролся яростно, метался на яхте по Средиземному морю, бежал в Тунис, в Марокко, в Центральную Африку — и писал непрестанно. Достигнув славы, он перерезал себе на сороковом году жизни горло, истек кровью, но остался жив. Его заперли в сумасшедший дом. Он ползал там на четвереньках... Последняя надпись в его скорбном листе гласит:

«Monsieur de Maupassant va s'animaliser» («Господин Мопассан превратился в животное»). Он умер сорока двух лет. Мать пережила его.

Я дочитал книгу до конца и встал с постели. Туман подошел к окну и скрыл вселенную. Сердце мое сжалось. Предвестие истины коснулось меня.

## НЕФТЬ

«...Новостей много, как всегда... Шабсовичу дали премию за крекинг, ходит весь в «заграничном», начальство получило повышение. Узнав о назначении, все прозрели: парень вырос... По сему случаю встречаться с ним я перестала. «Выросши», парень почувствовал, что знает истину, которая от нас, обыкновенных смертных, скрыта, и напустил на себя такую стопроцентность и ортодоксальность (ортобокс, как говорит Харченко), что никуда не сдвинешь... Увиделись мы дня два тому назад, он спросил, почему я не поздравляю. Я ответила: кого поздравлять — его или Советскую власть?.. Он понял, вильнул, сказал: «Звоните...» Об этом немедленно пронюхала супруга. Вчера — звонок: «Клавдюша, мы теперь прикреплены к ГОРТ, если тебе нужно что из белья...» Я ответила, что надеюсь дожить до мировой революции со своей собственной книжкой...

Теперь — о себе. Да будет тебе известно — я управделами Нефтесиндиката. Намечалось давно, я отказывалась. Мои доводы — неспособность к канцелярской работе и затем желание поступить в Промакадемию... Вопрос четыре раза стоял на бюро, пришлось согласиться, теперь не раскаиваюсь... Отсюда ясная картина предприятия, кое-что удалось сделать, организовала экспедицию на нашу часть Сахалина, усилила разведку, много занимаюсь Нефтяным институтом. Зинаида при мне. Она здорова, скоро родит, перипетий было много... О беременности Зинаида сказала своему Максу Александровичу (я зову его Макс и Мориц) поздно, пошел четвертый месяц. Он изобразил восторг, запечатлел на Зинаидином лбу ледяной поцелуй и потом дал понять, что ему предстоит великое научное открытие, мысли его далеки от действительной жизни, нельзя себе вообразить что-нибудь более неприспособленное к семейной жиз-

ни, чем он, Макс Александрович Шоломович, но, конечно, он не задумается от всего отказаться и прочее, и прочее, прочее... Зинаида, будучи женщиной двадцатого столетия, заплакала, но характер выдержала... Ночью она не спала, задыхалась, вытягивала шею. Чуть свет, непричесанная, страшная, в старой юбке помчалась в Гипромез, наговорила ему, что она просит забыть вчерашнее, ребенка она уничтожит, но никогда этого людям не простит... Все это происходит в коридоре Гипромеза, в толкучке. Макс и Мориц краснеет, бледнеет, бормочет:

— Надо созвониться, встретиться...

Зинаида не дослушала, полетела ко мне и объявила:

— Завтра на работу не выйду!

Меня взорвало, сдерживаться не сочла нужным и левиты прочитала ей по-настоящему... Подумать только — девке четвертый десяток, красотой не блещет, хороший мужик на нее не высморкается, подвернулся этот Макс и Мориц (и то не на нее, а на чужую расу, на предков-аристократов полез), запопала от него штучку, держи, расти... Метисы от евреев очень хороши получаются, мы знаем — погляди, какой экземпляр у Ани,— да и когда рожать, если не теперь, когда мускулы живота еще действуют, когда можно еще плод этот выкормить?! На все один ответ: «Я не могу, чтобы у моего ребенка не было отца», то есть девятнадцатое столетие продолжается, папаша-генерал выйдет из кабинета с иконой и проклянет (или без иконы — не знаю, как там проклинали), девки стащут младенца в воспитательный или на деревню к кормилке...

— Вздор, Зинаида,— говорю я ей,— другие времена, другие песни, обойдемся без Макса и Морица...

Не успела я договорить, позвали на собрание. К тому времени остро стал вопрос о Викторе Андреевиче. Тут подоспело решение ЦК о том, чтобы в отмену прежнего варианта пятилетки довести в 1932 году добычу нефти до 40 миллионов тонн. Разработать материалы поручили плановикам, то есть Виктору Андреевичу. Он заперся у себя, потом вызывает меня и показывает письмо. Адресовано президиуму ВСНХ. Содержание: слагаю с себя ответственность за плановый отдел. Цифру в сорок миллионов тонн считаю произвольной. Больше трети предположено взять с неразведанных областей, что означает делить шкуру медведя, не только не убитого, но еще не выслеженного... Далее, с трех крекинг-установок, действующих сегодня, мы перескакиваем, согласно новому плану, к ста двадцати в последнем году пятилетки. Это при дефиците металла и при

том, что сложнейшее производство крекингов у нас не освоено... Кончалось письмо так: подобно всем смертным я предпочитаю стоять за высокие темпы, но сознание долга... и прочее и прочее. Прочитала. Он спрашивает:

— Посылать или нет?

Я говорю:

— Виктор Андреевич, доводы ваши и вся установка для меня неприемлемы, но я не считаю себя вправе советовать скрывать свои взгляды...

Письмо он отослал. ВСНХ — на дыбы. Назначили собрание. От ВСНХ приехал Багриновский. На стене укрепили карту Союза с новыми месторождениями, с трубчатками, нефте- и продуктопроводами; как сказал Багриновский:

— Страна с новым кровообращением...

На собрании молодые инженеры из типа «всеядных» требовали поставить Виктора Андреевича на колени. Я выступила, говорила сорок пять минут. «Не сомневаясь в знаниях и доброй воле профессора Клоссовского и даже преклоняясь перед ним, мы отвергаем фетишизм цифр, в плену которых он находится»,— вот мысль, которую я защищала.

— Отвергнем таблицу умножения как правило государственной мудрости... На основании голых цифр можно ли было сказать, что мы выполним нефтяную пятилетку по части добычи в два с половиной года?.. На основании голых цифр можно ли было сказать, что мы с тысяча девятьсот тридцать первого года увеличим экспорт в девять раз и выйдем на второе место после Соединенных Штатов?

После меня выступил Мурадьян с критикой направления нефтепровода Каспий — Москва. Виктор Андреевич молча делал заметки. На щеках его выступил старческий румянец, румянец венозной крови... Мне было жалко, я не дослушала, ушла к себе. Зинаида все сидит в кабинете, сцепив руки.

— Будешь рожать,— спрашиваю,— или нет?

Она смотрит и не видит, голова пошатывается, говорит, и в словах нет звука.

— Нас двое, Клавдюша,— говорит она мне,— я и мое горе, точно горб приклеили... И как скоро все забывается, вот уж и не помню, как живут люди без несчастья...

Говорит она это, нос вытянулся еще больше, покраснел, мужицкие скулы (у дворян бывают такие скулы) выперли... Макс и Мориц, думаю, не больно бы воспламенился, увидев тебя такую... Я раскричалась, прогнала ее на кухню картошку чистить... Не смейся, приедешь — и тебя заста-

вим. На проектировку Орского завода дали такие сроки, что конструкторская и чертежники сидят день и ночь, на обед Васена начистит им картошки с селедкой, изжарит яичницу — и снова трубят... Ушла она на кухню. Через минуту слышу крик. Прибегаю — Зинаида моя на полу, пульса нет, глаза закатились... Измучились мы с ней нельзя сказать как: Виктор Андреевич, Васена и я. Вызвали доктора. Сознание вернулось к ней ночью, она потрогала мою руку,— ты знаешь Зину, необыкновенную ее нежность... Я вижу: все перегорело в ней за эти часы и все родилось вновь... Времени упускать было нельзя.

— Зинуша,— говорю я,— мы позвоним Розе Михайловне (она у нас по-прежнему по этим делам придворная), что ты раздумала, что ты не придешь... Можно мне звонить?

Она сделала знак, что можно, иди. На диване возле нее сидел Виктор Андреевич, все пульс щупал. Я отошла, слушаю — он говорит:

— Мне шестьдесят пять лет, Зинуша, тень от меня на землю все слабее ложится. Я ученый, старый человек, и вот бог (все — бог!) так сделал, что последние пять лет моей жизни совпадают с этой,— ну, вы знаете с чем — с пятилеткой... Теперь мне уж до самой смерти не передохнуть, не подумать о себе... И если бы по вечерам не приходила моя дочь и не хлопала меня по плечу, если бы сыновья не писали мне писем, я был бы так грустен, что и сказать нельзя... Родите, Зинуша, мы с Клавдией Павловной возьмем шефство.

Старик бормочет, я звоню Розе Михайловне, что вот, мол, душечка Роза Михайловна, Мурашова обещалась прийти завтра, так вот она раздумала... В телефон молодцеватый голос:

— Блестяще, что раздумала, совершенно чудно...

Придворная наша — все та же; розовая шелковая кофточка, английская юбка, завита, душ, гимнастика, хахали...

Перевезли Зинаиду домой, я уложила ее потеплее, заварила чаю. Спали мы вместе,— тут и поплакали, вспомнили, что не надо было, все обговорили, так, перемешав слезы, и заснули... Мой «черт» сидел тихонько, работал, переводил с немецкого техническую книгу. Ты бы, Даша, «черта» не узнала — он присмирел, съежился, притих. Меня это мучает... Целый день гнет спину в Госплане, вечером — переводы.

— Зинаида родит,— я ему говорю.— Как назвать мальчика? (О девочке никто не помышляет).— Решили — Иваном,— Юрии и Леониды надоели... Будет он парень, навер-

ное, сволочеватый, с острыми зубами, зубов — на шестьдесят человек. Горючего мы ему наготовили, будет катать барышень куда-нибудь в Ялту, в Батум,— не то что нас — на Воробьевы горы... До свидания, Даша. «Черт» напишет отдельно. Как твои дела?

*Клавдия.*

P. S. Строчу у себя на службе, над головой грохот, с потолка валится штукатурка. Дом наш, оказывается, еще крепок, к прежним четырем этажам мы пристраиваем еще четыре. Москва вся разрыта, в окопах, завалена трубами, кирпичами, трамвайные линии перепутаны, ворочают хоботом привезенные из-за границы машины, трамбуют, грохочут, пахнет смолой, дым идет, как над пожарищем... Вчера на Варварской площади видела одного парня... Рожа широкая, красная бритая голова блестит, косоворотка без пояса, на босу ногу сандалии. Прыгали мы с ним с кочки на кочку, с горы на гору, вылезали, снова проваливались...

— Вот она, когда сражения пошла,— он мне говорит.— Теперь, барышня, в Москве самый фронт, самая война...

Рожа добрая, улыбается, как ребенок. Так его и вижу перед собой...»

## УЛИЦА ДАНТЕ

От пяти до семи гостиница наша «Hôtel Danton»[1] поднималась в воздух от стонов любви. В номерах орудовали мастера. Приехав во Францию с убеждением, что народ ее обессилел, я немало удивился этим трудам. У нас женщину не доводят до такого накала, далеко нет. Мой сосед Жан Бьеналь сказал мне однажды:

— Mon vieux, за тысячу лет нашей истории мы сделали женщину, обед и книгу... В этом никто нам не откажет...

В деле познания Франции Жан Бьеналь, торговец подержанными автомобилями, сделал для меня больше, чем книги, которые я прочитал, и города, которые я видел. Он спросил при первом знакомстве о моем ресторане, о моем кафе, о публичном доме, где я бываю. Ответ ужаснул его.

— On va refaire votre vie...[2]

И мы ее переделали. Обедать мы стали в харчевне скотопромышленников и торговцев вином — против Halles aux vins[3].

Деревенские девки в шлепанцах подавали нам омаров в красном соусе, жаркое из зайца, начиненного чесноком и трюфелями, и вино, которого нельзя было достать в другом месте. Заказывал Бьеналь, платил я, но платил столько, сколько платят французы. Это не было дешево, но это была настоящая цена. И эту же цену я платил в публичном доме, содержимом несколькими сенаторами возле Gare St. Lazare[4]. Бьеналю стоило большего труда представить меня обитательницам этого дома, чем если бы я захотел

---

[1] Отель Дантон *(фр.)*.
[2] Нужно переделать вашу жизнь... *(фр.)*
[3] Винный рынок *(фр.)*.
[4] Вокзал Сент-Лазар *(фр.)*.

присутствовать на заседании палаты, когда свергают министерство. Вечер мы кончали у Porte Mailot в кафе, где собираются устроители матчей бокса и автомобильные гонщики. Учитель мой принадлежал к той половине нации, которая торгует автомобилями; другая их обменивает. Он был агентом Рено и торговал больше всего с румынскими дельцами, самыми грязными из дельцов. В свободное время Бьеналь обучал меня искусству купить подержанный автомобиль. Для этого, по его словам, нужно было отправиться на Ривьеру к концу сезона, когда разъезжаются англичане и бросают в гаражах машины, послужившие два или три месяца. Сам Бьеналь разъезжал на облупившемся «рено», которым он управлял, как самоед управляет собаками. По воскресеньям мы отправлялись на прыгающем этом возке за сто двадцать километров в Руан есть утку, которую там жарят в собственной ее крови. Нас сопровождала Жермен, продавщица перчаток в магазине на Rue Royale[1]. Их дни с Бьеналем были среда и воскресенье. Она приходила в пять часов. Через мгновенье в их комнате раздавались ворчание, стук падающих тел, возглас испуга, и потом начиналась нежная агония женщины:

— Oh, Jean...[2]

Я высчитывал про себя: ну, вот вошла Жермен, она закрыла за собой дверь, они поцеловали друг друга, девушка сняла с себя шляпу, перчатки и положила их на стол, и больше, по моему расчету, времени у них не оставалось. Его не оставалось на то, чтобы раздеться. Не произнесши ни одного слова, они прыгали в своих простынях, как зайцы. Постонав, они помирали со смеху и лепетали о своих делах. Я знал об этом все, что может знать сосед, живущий за дощатой перегородкой. У Жермен были несогласия с мосье Анриш, заведующим магазином. Родители ее жили в Туре, она ездила к ним в гости. В одну из суббот она купила себе меховую горжетку, в другую субботу слушала «Богему» в Гранд-Опера. Мосье Анриш заставлял своих продавщиц носить гладкие костюмы tailleur[3]. Мосье Анриш англезировал Жермен, она стала в ряды деловых женщин, плоскогрудых, подвижных, завитых, подкрашенных пылающей коричневой краской, но полная щиколотка ее ноги, низкий и быстрый смех, взгляд внимательных и блестящих глаз и этот стон агонии — oh, Jean! — все оставлено было для Бьеналя.

---

[1] Королевская улица *(фр.)*.

[2] О, Жан... *(фр.)*

[3] Английский дамский костюм *(фр.)*.


Мы сделали
женщину,
обед
и книгу
ART

В дыму и золоте парижского вечера двигалось перед нами сильное и тонкое тело Жермен; смеясь, она откидывала голову и прижимала к груди розовые ловкие пальцы. Сердце мое согревалось в эти часы. Нет одиночества безвыходнее, чем одиночество в Париже.

Для всех пришедших издалека этот город есть род изгнания, и мне приходило на ум, что Жермен нужна нам больше, чем Бьеналю. С этой мыслью я уехал в Марсель.

Прожив месяц в Марселе, я вернулся в Париж. Я ждал среды, чтобы услышать голос Жермен.

Среда прошла, никто не нарушил молчания за стеной. Бьеналь переменил свой день. Голос женщины раздался в четверг, в пять часов, как всегда. Бьеналь дал своей гостье время на то, чтобы снять шляпу и перчатки. Жермен переменила день, но она переменила и голос. Это не было больше прерывистое, умоляющее oh, Jean... и потом молчание, грозное молчание чужого счастья. Оно заменилось на этот раз домашней хриплой возней, гортанными выкриками. Новая Жермен скрипела зубами, с размаху валилась на диван и в промежутках рассуждала густым протяжным голосом. Она ничего не сказала о мосье Анриш, а прорычав до семи часов, собралась уходить. Я приоткрыл дверь, чтобы встретить ее, и увидел идущую по коридору мулатку с поднятым гребешком лошадиных волос, с выставленной вперед большой, отвислой грудью. Мулатка, шаркая ногами в разносившихся туфлях без каблуков, прошла по коридору. Я постучал к Бьеналю. Он валялся на кровати без пиджака, измятый, посеревший, в застиранных носках.

— Mon vieux, вы дали отставку Жермен?..

— Cette femme est folle[1],— ответил он и стал ежиться,— то, что на свете бывает зима и лето, начало и конец, то, что после зимы наступает лето и наоборот,— все это не касается мадемуазель Жермен, все это песни не для нее... Она навьючивает вас ношей и требует, чтобы вы ее несли... куда? Никто этого не знает, кроме мадемуазель Жермен...

Бьеналь сел на кровати, штаны обмялись вокруг жидких его ног, бледная кожа головы просвечивала сквозь слипшиеся волосы, треугольник усов вздрагивал. Макон по четыре франка за литр поправил моего друга. За десертом он пожал плечами и сказал, отвечая своим мыслям:

— ...Кроме вечной любви, на свете есть еще румыны,

[1] Эта женщина сумасшедшая *(фр.)*.

векселя, банкроты, автомобили с лопнувшими рамами. Oh, j'en ai plein le dos...[1]

Он повеселел в кафе «Де Пари» за рюмкой коньяку. Мы сидели на террасе под белым тентом. Широкие полосы были положены на нем. Перемешавшись с электрическими звездами, по тротуару текла толпа. Против нас остановился автомобиль, вытянутый, как мина. Из него вышел англичанин и женщина в собольей накидке. Она проплыла мимо нас в нагретом облаке духов и меха, нечеловечески длинная, с маленькой фарфоровой светящейся головой. Бьеналь подался вперед, увидев ее, выставил ногу в трепаной штанине и подмигнул, как подмигивают девицам с Rue de la Gaîte[2]. Женщина улыбнулась углом карминного рта, наклонила едва заметно обтянутую розовую голову и, колебля и волоча змеиное тело, исчезла. За ней, потрескивая, прошел негнущийся англичанин.

— Ah, canaille![3]— сказал им вслед Бьеналь.— Два года назад с нее довольно было аперитива...

Мы расстались с ним поздно. В субботу я назначил себе пойти к Жермен, позвать ее в театр, поехать с ней в Шартр, если она захочет, но мне пришлось увидеть их — Бьеналя и бывшую его подругу — раньше этого срока. На следующий день вечером полицейские заняли входы в отель «Дантон», синие их плащи распахнулись в нашем вестибюле. Меня пропустили, удостоверившись, что я принадлежу к числу жильцов мадам Трюффо, нашей хозяйки. Я нашел жандармов у порога моей комнаты. Дверь из номера Бьеналя была растворена. Он лежал на полу в луже крови, с помутившимися и полузакрытыми глазами. Печать уличной смерти застывала на нем. Он был зарезан, мой друг Бьеналь, и хорошо зарезан. Жермен в костюме tailleur и шапочке, сдавленной по бокам, сидела у стола. Здороваясь со мной, она склонила голову, и с нею вместе склонилось перо на шапочке...

Все это случилось в шесть часов вечера, в час любви; в каждой комнате была женщина. Прежде чем уйти — полуодетые, в чулках до бедер, как пажи,— они торопливо накладывали на себя румяна и черной краской обводили рты. Двери были раскрыты, мужчины в незашнурованных башмаках выстроились в коридоре. В номере у морщинистого итальянца, велосипедиста, плакала на подушке

---

[1] О, у меня достаточно хлопот... *(фр.)*
[2] Улица Веселья *(фр.)*.
[3] А, каналья! *(фр.)*

босая девочка. Я спустился вниз, чтобы предупредить мадам Трюффо. Мать этой девочки продавала газеты на улице Сен-Мишель. В конторке собрались уже старухи с нашей улицы, с улицы Данте: зеленщицы и консьержки, торговки каштанами и жареным картофелем, груды зобастого, перекошенного мяса, усатые, тяжело дышавшие, в бельмах и багровых пятнах.

— Voila qui n'est pas gai,— сказал я, входя,— quel malheur![1]

— C'est l'amour, monsieur... Elle l'aimait...[2]

Под кружевцем вываливались лиловые груди мадам Трюффо, слоновые ноги расставились посреди комнаты, глаза ее сверкали.

— L'amore,— как это сказала за ней синьора Рокка, содержательница ресторана на улице Данте.— Dio cartiga quelli, chi non conoseono l'amore...[3]

Старухи сбились вместе и бормотали все разом. Оспенный пламень зажег их щеки, глаза вышли из орбит.

— L'amour,— наступая на меня, повторила мадам Трюффо,— c'est une grosse affaire, l'amour...[4]

На улице заиграл рожок. Умелые руки поволокли убитого вниз, к больничной карете. Он стал номером, мой друг Бьеналь, и потерял имя в прибое Парижа. Синьора Рокка подошла к окну и увидела труп. Она была беременна, живот грозно выходил из нее, на оттопыренных боках лежал шелк, солнце прошло по желтому, запухшему ее лицу, по желтым мягким волосам.

— Dio,— произнесла синьора Рокка,— tu non perdoni quelli, chi non ama...[5]

На истертую сеть Латинского квартала падала тьма, в уступах его разбегалась низкорослая толпа, горячее чесночное дыхание шло из дворов. Сумерки накрыли дом мадам Трюффо, готический фасад его с двумя окнами, остатки башенок и завитков, окаменевший плющ.

Здесь жил Дантон полтора столетия тому назад. Из своего окна он видел замок Консьержери, мосты, легко переброшенные через Сену, строй слепых домишек, прижатых к реке, то же дыхание восходило к нему. Толкаемые ветром, скрипели ржавые стропила и вывески заезжих дворов.

---

[1] Вот кому невесело. Какой ужас! *(фр.)*

[2] Это любовь, сударь... Она любила его... *(фр.)*

[3] Любовь. Бог наказывает тех, кто не знает любви... *(ит.)*

[4] Любовь... это великое дело, любовь... *(фр.)*

[5] Господи, ты не прощаешь тем, кто не любит... *(ит.)*




## ДИ ГРАССО

Мне было четырнадцать лет. Я принадлежал к неустрашимому корпусу театральных барышников. Мой хозяин был жулик с всегда прищуренным глазом и шелковыми громадными усами. Звали его Коля Шварц. Я угодил к нему в тот несчастный год, когда в Одессе прогорела итальянская опера. Послушавшись рецензентов из газеты, импресарио не выписал на гастроли Ансельми и Тито Руффо и решил ограничиться хорошим ансамблем. Он был наказан за это, он прогорел, а с ним и мы. Для поправки дел нам пообещали Шаляпина, но Шаляпин запросил три тысячи за выход. Вместо него приехал сицилианский трагик ди Грассо с труппой. Их привезли в гостиницу на телегах, набитых детьми, кошками, клетками, в которых прыгали итальянские птицы. Осмотрев этот табор, Коля Шварц сказал:

— Дети, это не товар...

Трагик после приезда отправился с кошелкой на базар. Вечером — с другой кошелкой — он явился в театр. На первый спектакль собралось едва ли пятьдесят человек. Мы уступали билеты за полцены, охотников не находилось.

Играли в тот вечер сицилианскую народную драму, историю обыкновенную, как смена дня и ночи. Дочь богатого крестьянина обручилась с пастухом. Она была верна ему до тех пор, пока из города не приехал барчук в бархатном жилете. Разговаривая с приезжим, девушка невпопад хихикала и невпопад замолкала. Слушая их, пастух ворочал головой, как потревоженная птица. Весь первый акт он прижимался к стенам, куда-то уходил в развевающихся штанах и, возвращаясь, озирался.

— Мертвое дело,— сказал в антракте Коля Шварц,— это товар для Кременчуга...

Антракт был сделан для того, чтобы дать девушке время созреть для измены. Мы не узнали ее во втором действии — она была нетерпима, рассеянна и, торопясь, отдала пастуху обручальное кольцо. Тогда он подвел ее к нищей и раскрашенной статуе святой девы и на сицилианском своем наречии сказал:

— Синьора,— сказал он низким своим голосом и отвернулся,— святая дева хочет, чтобы вы выслушали меня... Джованни, приехавшему из города, святая дева даст столько женщин, сколько он захочет; мне же никто не нужен, кроме вас, синьора... Дева Мария, непорочная наша покровительница, скажет вам то же самое, если вы спросите ее, синьора...

Девушка стояла спиной к раскрашенной деревянной статуе. Слушая пастуха, она нетерпеливо топала ногой. На этой земле — о, горе нам! — нет женщины, которая не была бы безумна в те мгновенья, когда решается ее судьба... Она остается одна в эти мгновения, одна, без девы Марии, и ни о чем не спрашивает у нее...

В третьем действии приехавший из города Джованни встретился со своей судьбой. Он брился у деревенского цирюльника, разбросав на авансцене сильные мужские ноги; под солнцем Сицилии сияли складки его жилета. Сцена представляла из себя ярмарку в деревне. В дальнем углу стоял пастух. Он стоял молча, среди беспечной толпы. Голова его была опущена, потом он поднял ее, и под тяжестью загоревшегося, внимательного его взгляда Джованни задвигался, стал ерзать в кресле и, оттолкнув цирюльника, вскочил. Срывающимся голосом он потребовал от полицейского, чтобы тот удалил с площади сумрачных подозрительных людей. Пастух — играл его ди Грассо — стоял задумавшись, потом он улыбнулся, поднялся в воздух, перелетел сцену городского театра, опустился на плечи Джованни и, перекусив ему горло, ворча и косясь, стал высасывать из раны кровь. Джованни рухнул, и занавес,— грозно, бесшумно сдвигаясь,— скрыл от нас убитого и убийцу. Ничего больше не ожидая, мы бросились в Театральный переулок к кассе, которая должна была открыться на следующий день. Впереди всех несся Коля Шварц. На рассвете «Одесские новости» сообщили тем немногим, кто был в театре, что они видели самого удивительного актера столетия.

Ди Грассо в этот свой приезд сыграл у нас «Короля Лира», «Отелло», «Гражданскую смерть», тургеневского «Нахлебника», каждым словом и движением своим утверждая, что в исступлении благородной страсти больше справедливости и надежды, чем в безрадостных правилах мира.

На эти спектакли билеты шли в пять раз выше своей стоимости. Охотясь за барышниками, покупатели находили их в трактире — горланящих, багровых, извергающих безвредное кощунство.

Струя пыльного розового зноя была впущена в Театральный переулок. Лавочники в войлочных шлепанцах вынесли на улицу зеленые бутыли вина и бочонки с маслинами. В чанах, перед лавками, кипели в пенистой воде макароны, и пар от них таял в далеких небесах. Старухи в мужских штиблетах продавали ракушки и сувениры и с громким криком догоняли колеблющихся покупателей. Богатые евреи с раздвоенными, расчесанными бородами подъезжали в экипажах к Северной гостинице и тихонько стучались в комнаты черноволосых толстух с усиками — актрис из труппы ди Грассо. Все были счастливы в Театральном переулке, кроме одного человека, и этот человек был я. Ко мне в эти дни приближалась гибель. С минуты на минуту отец мог хватиться часов, взятых у него без позволения и заложенных у Коли Шварца. Успев привыкнуть к золотым часам и будучи человеком, пившим по утрам вместо чая бессарабское вино, Коля, получив обратно свои деньги, не мог, однако, решиться вернуть мне часы. Таков был его характер. От него ничем не отличался характер моего отца. Стиснутый этими людьми, я смотрел, как проносятся мимо меня обручи чужого счастья. Мне не оставалось ничего другого, как бежать в Константинополь. Все уже было сговорено со вторым механиком парохода «Duke of Kent»[1], но, перед тем как выйти в море, я решил проститься с ди Грассо. Он в последний раз играл пастуха, которого отделяет от земли непонятная сила. В театр пришли итальянская колония во главе с лысым и стройным консулом, поеживающиеся греки, бородатые экстерны, фанатически уставившиеся в никому не видимую точку, и длиннорукий Уточкин. И даже Коля Шварц привел с собой жену в фиолетовой шали с бахромой, женщину, годную в гренадеры и длинную, как степь, с мятым, сонливым личиком на краю. Оно было омочено слезами, когда опустился занавес.

[1] «Граф Кентский» *(англ.)*.

— Босяк,— выходя из театра, сказала она Коле,— теперь ты видишь, что такое любовь...

Тяжело ступая, мадам Шварц шла по Ланжероновской улице; из рыбьих глаз ее текли слезы, на толстых плечах содрогалась шаль с бахромой. Шаркая мужскими ступнями, тряся головой, она оглушительно, на всю улицу, высчитывала женщин, которые хорошо живут со своими мужьями.

— Циленька,— называют эти мужья своих жен,— золотко, деточка...

Присмиревший Коля шел рядом с женой и тихонько раздувал шелковые усы. По привычке я шел за ними и всхлипывал. Затихнув на мгновенье, мадам Шварц услышала мой плач и обернулась.

— Босяк,— вытаращив рыбьи глаза, сказала она мужу,— пусть я не доживу до хорошего часа, если ты не отдашь мальчику часы...

Коля застыл, раскрыл рот, потом опомнился и, больно ущипнув меня, боком сунул часы.

— Что я имею от него,— безутешно причитал, удаляясь, грубый плачущий голос мадам Шварц,— сегодня животные штуки, завтра животные штуки... Я тебя спрашиваю, босяк, сколько может ждать женщина?..

Они дошли до угла и повернули на Пушкинскую. Сжимая часы, я остался один и вдруг, с такой ясностью, какой никогда не испытывал до тех пор, увидел уходившие ввысь колонны Думы, освещенную листву на бульваре, бронзовую голову Пушкина с неярким отблеском луны на ней, увидел в первый раз окружавшее меня таким, каким оно было на самом деле,— затихшим и невыразимо прекрасным.

## СУЛАК

В двадцать втором году в Винницком районе была разгромлена банда Гулая. Начальником штаба был у него Адриян Сулак, сельский учитель. Ему удалось уйти за рубеж в Галицию, вскоре газеты сообщили о его смерти. Через шесть лет после этого сообщения мы узнали, что Сулак жив и скрывается на Украине. Чернышову и мне поручили поиски. С мандатами зоотехников в кармане мы отправились в Хощеватое, на родину Сулака. Председателем сельрады оказался там демобилизованный красноармеец, парень добрый и простоватый.

— Вы тут кувшина молока не расстараетесь,— сказал он нам,— в том Хощеватом людей живьем едят...

Расспрашивая о ночлеге, Чернышов навел разговор на хату Сулака.

— Можно,— сказал председатель,— у цей вдовы и хатына есть...

Он повел нас на край села, в дом, крытый железом. В горнице, перед грудой холста, сидела карлица в белой кофте навыпуск. Два мальчика в приютских куртках, склонив стриженые головы, читали книгу. В люльке спал младенец с раздутой, белесой головой. На всем лежала холодная монастырская чистота.

— Харитина Терентьевна,— неуверенным голосом сказал председатель,— хочу хороших людей к тебе постановить...

Женщина показала нам хатыну и вернулась к своему холсту.

— Ця вдова не откажет,— сказал председатель, когда мы вышли,— у ней обстановка такая...

Оглядываясь по сторонам, он рассказал, что Сулак служил когда-то у желто-блакитных, а от них перешел к папе римскому.

— Муж у папы римского,— сказал Чернышов,— а жена в год по ребенку приводит...

— Живое дело,— ответил председатель, увидел на дороге подкову и поднял ее,— вы на эту вдову не глядите, что она недомерок, у ней молока на пятерых хватит. У ней молоком другие женщины заимствуются...

Дома председатель зажарил яичницу с салом и поставил водки. Опьянев, он полез на печь. Оттуда мы услышали шепот, детский плач.

— Ганночко, божусь тебе,— бормотал наш хозяин,— божусь тебе, завтра до вчительки пойду...

— Разговорились,— крикнул Чернышов, лежавший рядом со мной,— людям спать не даешь...

Всклокоченный председатель выглянул из-за печи; ворот его рубахи был расстегнут, босые ноги свисали книзу.

— Вчителька в школе трусов на развод давала,— сказал он виновато,— трусиху дала, а самого нет... Трусиха побыла, побыла, а тут весна, живое дело, она и подалась в лес. Ганночко,— закричал вдруг председатель, оборачиваясь к девочке,— завтра до вчительки пойду, пару тебе принесу, клетку сделаем...

Отец с дочерью долго еще переговаривались за печкой, он все вскрикивал «Ганночко», потом заснул. Рядом со мной на сене ворочался Чернышов.

— Пошли,— сказал он.

Мы встали. На чистом, без облачка, небе сияла луна. Весенний лед затянул лужи. На огороде Сулака, заросшем бурьяном, торчали голые стебли кукурузы, валялось обломанное железо. К огороду примыкала конюшня, внутри ее слышался шорох, в расщелинах досок мелькал свет. Подкравшись к воротам, Чернышов налег на них, запор поддался. Мы вошли и увидели раскрытую яму посреди конюшни, на дне ее сидел человек. Карлица в белой кофте стояла над краем ямы с миской борща в руках.

— Здравствуй, Адриян,— сказал Чернышов,— ужинать собрался?..

Упустив миску, карлица бросилась ко мне и укусила за руку. Зубы ее свело, она тряслась и стонала. Из ямы выстрелили.

— Адриян,— сказал Чернышов и отскочил,— нам тебя живого надо...

Сулак внизу возился с затвором, затвор щелкнул.

— С тобой как с человеком разговаривают,— сказал Чернышов и выстрелил.

Сулак прислонился к желтой оструганной стене, построгал ее, кровь вылилась у него изо рта и ушей, и он упал.

Чернышов остался на страже. Я побежал за председателем. В ту же ночь мы увезли убитого. Мальчики шли рядом с Чернышовым по мокрой, тускло блиставшей дороге. Ноги мертвеца в польских башмаках, подкованных гвоздями, высовывались из телеги. В головах у мужа неподвижно сидела карлица. В затмевающемся свете луны лицо ее с перекосившимися костями казалось металлическим. На маленьких ее коленях спал ребенок.

— Молочная,— сказал вдруг Чернышов, шагавший по дороге,— я тебе покажу молоко...

## СУД

Мадам Бляншар, шестидесяти одного года от роду, встретилась в кафе на Boulevard des Italiens[1] с бывшим подполковником Иваном Недачиным. Они полюбили друг друга. В их любви было больше чувственности, чем рассудка. Через три месяца подполковник бежал с акциями и драгоценностями, которые мадам Бляншар поручила ему оценить у ювелира на Rue de la Paix[2].

— Accès de folie passagère[3],— определил врач припадок, случившийся с мадам Бляншар.

Вернувшись к жизни, старуха повинилась невестке. Невестка заявила в полицию. Недачина арестовали на Монпарнасе в погребке, где пели московские цыгане. В тюрьме Недачин пожелтел и обрюзг. Судили его в четырнадцатой камере уголовного суда. Первым прошло автомобильное дело, затем предстал перед судом шестнадцатилетний Раймонд Лепик, застреливший из ревности любовницу. Мальчика сменил подполковник. Жандармы вытолкнули его на свет, как выталкивали когда-то Урса на арену цирка. В зале суда французы в небрежно сшитых пиджаках громко кричали друг на друга, покорно раскрашенные женщины обмахивали веерами заплаканные лица. Впереди них — на возвышении, под мраморным гербом республики — сидел краснощекий мужчина с галльскими усами, в тоге и в шапочке.

---

[1] Итальянский бульвар *(фр.)*.
[2] Улица Мира *(фр.)*.
[3] Припадок временного безумия *(фр.)*.

— Eh bien, Nedatchine[1],— сказал он, увидев обвиняемого,— eh bien, mon ami[2].— И картавая, быстрая речь опрокинулась на вздрогнувшего подполковника.

— Происходя из рода дворян Nedatchine,— звучно говорил председатель,— вы записаны, мой друг, в геральдические книги Тамбовской провинции... Офицер царской армии, вы эмигрировали вместе с Врангелем и сделались полицейским в Загребе... Разногласия по вопросу о границах государственной и частной собственности,— звучно продолжал председатель, то высовывая из-под мантии носок лакированного башмака, то снова втягивая его,— разногласия эти, мой друг, заставили вас расстаться с гостеприимным королевством югославов и обратить взор на Париж... В Париже...— Тут председатель пробежал глазами лежавшую перед ним бумагу.— В Париже, мой друг, экзамен на шофера такси оказался крепостью, которой вы не смогли овладеть... Тогда вы отдали запас неизрасходованных сил отсутствующей в заседании мадам Бляншар...

Чужая речь сыпалась на Недачина как летний дождь. Беспомощный, громадный, с повисшими руками — он возвышался над толпой, как грустное животное другого мира.

— Voyons[3],— сказал председатель неожиданно,— я вижу со своего места невестку почтенной мадам Бляншар.

Наклонив голову, к свидетельскому столу пробежала жирная женщина без шеи, похожая на рыбу, всунутую в сюртук. Задыхаясь, подымая к небу короткие ручки, она стала перечислять названия акций, похищенных у мадам Бляншар.

— Благодарю вас, мадам,— перебил ее председатель и кивнул сидевшему налево от суда сухощавому человеку с породистым и впалым лицом.

Слегка приподнявшись, прокурор процедил несколько слов и сел, сцепив руки в круглых манжетах. Его сменил адвокат, натурализовавшийся киевский еврей. Он обиженно, словно ссорясь с кем-то, закричал о Голгофе русского офицерства. Невнятно произносимые французские слова крошились, сыпались у него во рту и к концу речи стали похожи на еврейские. Несколько мгновений председатель молча, без выражения смотрел на адвоката и вдруг кач-

---

[1] Итак, Недачин *(фр.)*.
[2] Итак, друг мой *(фр.)*.
[3] Ну вот *(фр.)*.

нулся вправо — к иссохшему старику в тоге и в шапочке, потом он качнулся в другую сторону к такому же старику, сидевшему слева.

— Десять лет, мой друг,— кротко сказал председатель, кивнув Недачину головой, и схватил на лету брошенное ему секретарем новое дело.

Вытянувшись во фронт, Недачин стоял неподвижно. Бесцветные глазки его мигали, на маленьком лбу выступил пот.

— T'a encaissé dix ans[1],— сказал жандарм за его спиной,— c'est fini, mon vieux[2].— И, тихонько работая кулаками, жандарм стал подталкивать осужденного к выходу.

---

[1] Тебе дали десять лет *(фр.)*.

[2] Все кончено, старина *(фр.)*.

## МОЙ ПЕРВЫЙ ГОНОРАР

Жить весной в Тифлисе, иметь двадцать лет от роду и не быть любимым — это беда. Такая беда приключилась со мной. Я служил корректором в типографии Кавказского военного округа. Под окнами моей мансарды клокотала Кура. Солнце, восходившее за горами, зажигало по утрам мутные ее узлы. Мансарду я снимал у молодоженов-грузин. Хозяин мой торговал на восточном базаре мясом. За стеной, осатанев от любви, мясник и его жена ворочались как большие рыбы, запертые в банку. Хвосты обеспамятевших этих рыб бились о перегородку. Они трясли наш чердак, почернелый под отвесным солнцем, срывали его со столбов и несли в бесконечность. Зубы их, сведенные упрямой злобой страсти, не могли разжаться. По утрам новобрачная Милиет спускалась за лавашом. Она так была слаба, что держалась за перила, чтобы не упасть. Ища тонкой ногой ступеньку, Милиет улыбалась неясно и слепо, как выздоравливающая. Прижав ладони к маленькой груди, она кланялась всем, кто ей встречался на пути,— зазеленевшему от старости айсору, разносчику керосина и мегерам, продававшим мотки бараньей шерсти, мегерам, изрезанным жгучими морщинами. По ночам толкотня и лепет моих соседей сменялись молчанием, пронзительным, как свист ядра.

Иметь двадцать лет от роду, жить в Тифлисе и слушать по ночам бури чужого молчания — это беда. Спасаясь от нее, я кидался опрометью вон из дому, вниз к Куре, там настигали меня банные пары тифлисской весны. Они накидывались с размаху и обессиливали. С пересохшим горлом я кружил по горбатым мостовым. Туман весенней духоты загонял меня снова на чердак, в лес почернелых пней, озаренных луной. Мне ничего не оставалось, кроме

как искать любви. Конечно, я нашел ее. На беду или на счастье, женщина, выбранная мною, оказалась проституткой. Ее звали Вера. Каждый вечер я крался за нею по Головинскому проспекту, не решаясь заговорить. Денег для нее у меня не было, да и слов — неутомимых этих пошлых и роющих слов любви — тоже не было. Смолоду все силы моего существа были отданы на сочинение повестей, пьес, тысячи историй. Они лежали у меня на сердце, как жаба на камне. Одержимый бесовской гордостью, я не хотел писать их до времени. Мне казалось пустым занятием — сочинять хуже, чем это делал Лев Толстой. Мои истории предназначались для того, чтобы пережить забвение. Бесстрашная мысль, изнурительная страсть стоят труда, потраченного на них, только тогда, когда они облачены в прекрасные одежды. Как сшить эти одежды?..

Человеку, взятому на аркан мыслью, присмиревшему под змеиным ее взглядом, трудно изойти пеной незначащих и роющих слов любви. Человек этот стыдится плакать от горя. У него недостает ума, чтобы смеяться от счастья. Мечтатель — я не овладел бессмысленным искусством счастья. Мне пришлось поэтому отдать Вере десять рублей из скудных моих заработков.

Решившись, я стал однажды вечером на страже у дверей духана «Симпатия». Мимо меня небрежным парадом двигались князья в синих черкесках и мягких сапогах. Ковыряя в зубах серебряными зубочистками, они рассматривали женщин, крашенных кармином, грузинок с большими ступнями и узкими бедрами. В сумерках просвечивала бирюза. Распустившиеся акации завывали вдоль улиц низким, осыпающимся голосом. Толпа чиновников в белых кителях колыхалась по проспекту; ей навстречу летели с Казбека бальзамические струи.

Вера пришла позже, когда стемнело. Рослая, белолицая — она плыла впереди обезьяньей толпы, как плывет богородица на носу рыбачьего баркаса. Она поравнялась с дверьми духана «Симпатия». Я качнулся, двинулся.

— В какие Палестины?

Широкая розовая спина двигалась передо мною. Вера обернулась.

— Вы что там лепечете?..

Она нахмурилась, глаза ее смеялись.

— Куда бог несет?..

Во рту моем слова раскалывались, как высохшие поленья. Переменив ногу, Вера пошла со мною рядом.

— Десятка — вам не обидно будет?..


— Десятка
— вам не обидно будет?
СИМПАТIЯ

Я согласился так быстро, что это возбудило ее подозрения.

— Да есть ли они у тебя, десять рублей?..

Мы вошли в подворотню, я подал ей мой кошелек. Она насчитала в нем двадцать один рубль, серые глаза ее щурились, губы шевелились. Золотые монеты она положила к золотым, серебряные к серебряным.

— Десятку мне,— отдавая кошелек, сказала Вера,— пять рублей прогуляем, на остальные живи. У тебя когда получка?..

Я ответил, что получка через четыре дня. Мы вышли из подворотни. Вера взяла меня под руку и прижалась плечом. Мы пошли вверх по остывающей улице. Тротуар был засыпан ковром увядших овощей.

— В Боржом бы от этакой жары...

Бант охватывал Верины волосы. В нем лились и гнулись молнии от фонарей.

— Ну и дуй в Боржом...

Это я сказал — «дуй». Для чего-то оно было мною произнесено — это слово.

— Пети-мети нет,— ответила Вера, зевнула и забыла обо мне. Она забыла обо мне потому, что день ее был сделан и заработок со мной был легок. Она поняла, что я не подведу ее под полицию и не заберу ночью денег вместе с серьгами.

Мы дошли до подножия горы святого Давида. Там, в харчевне, я заказал люля-кебаб. Не дожидаясь пищи, Вера пересела к группе старых персов, обсуждавших свои дела. Опершись на стоящие палки, кивая оливковыми головами, они убеждали кабатчика в том, что для него пришла пора расширить торговлю. Вера вмешалась в их разговор. Она стала на сторону стариков. Она стояла за то, чтобы перевести харчевню на Михайловский проспект. Кабатчик, ослепший от рыхлости и осторожности, сопел. Я один ел мой люля-кебаб. Обнаженные Верины руки текли из шелка рукавов, она пристукивала по столу кулаком, серьги ее летали между длинных выцветших спин, оранжевых бород и крашеных ногтей. Люля-кебаб остыл, когда она вернулась к столику. Лицо ее горело от волнения.

— Вот не сдвинешь его с места, ишака этого... На Михайловском с восточной кухней, знаешь, какие дела можно поднять...

Мимо столика, один за другим, проходили знакомые Веры — князья в черкесках, немолодые офицеры, лавочники в чесучовых пиджаках и пузатые старики с загорелыми

лицами и зелеными угрями на щеках. Только в двенадцатом часу ночи попали мы в гостиницу, но и там у Веры нашлись нескончаемые дела. Какая-то старушка снаряжалась в путь к сыну в Армавир. Оставив меня, Вера побежала к отъезжающей и стала тискать коленями ее чемодан, увязывать ремнями подушки, заворачивать пирожки в масленую бумагу. Плечистая старушка в газовой шляпёнке, с рыжей сумкой на боку, ходила по номерам прощаться. Она шаркала по коридору резиновыми ботиками, всхлипывала и улыбалась всеми морщинами. Час — не меньше — ушел на проводы. Я ждал Веру в прелом номере, заставленном трехногими креслами, глиняной печью, сырыми углами в разводах.

Меня мучили и таскали по городу так долго, что самая любовь моя показалась мне врагом, прилипчивым врагом...

В коридоре шаркала и разражалась внезапным хохотом чужая жизнь. В пузырьке, наполненном молочной жидкостью, умирали мухи. Каждая умирала по-своему. Агония одной была длительна, предсмертные содрогания порывисты; другая умирала, трепеща чуть заметно. Рядом с пузырьком на потертой скатерти валялась книга, роман из боярской жизни Головина. Я раскрыл ее наугад. Буквы построились в ряд и смешались. Предо мною, в квадрате окна, уходил каменистый подъем, кривая турецкая уличка. В комнату вошла Вера.

— Проводили Федосью Маврикиевну,— сказала она.— Поверишь, она нам всем как родная была... Старушка одна едет, ни попутчика, никого...

Вера села на кровать, расставив колени. Глаза ее блуждали в чистых областях забот и дружбы. Потом она увидела меня, в двубортной куртке. Женщина сцепила руки и потянулась.

— Заждался небось... Ничего, сейчас сделаемся...

Но что собиралась Вера делать — я так и не понял. Приготовления ее были похожи на приготовления доктора к операции. Она зажгла керосинку и поставила на нее кастрюлю с водой. Она положила чистое полотенце на спинку кровати и повесила кружку от клизмы над головой, кружку с белой кишкой, болтающейся по стене. Когда вода согрелась, Вера перелила ее в клизму, бросила в кружку красный кристалл и стала через голову стягивать с себя платье. Большая женщина с опавшими плечами и мятым животом стояла передо мной. Расплывшиеся соски слепо уставились в стороны.

— Пока вода доспеет,— сказала моя возлюбленная,— подь-ка сюда, попрыгунчик...

Я не двинулся с места. Во мне оцепенело отчаяние. Зачем променял я одиночество на это логово, полное нищей тоски, на умирающих мух и трехногую мебель...

О боги моей юности!.. Как не похожа была будничная эта стряпня на любовь моих хозяев за стеной, на протяжный, закатывающийся их визг...

Вера подложила ладони под груди и покачала их.

— Что сидишь невесел, голову повесил?.. Поди сюда...

Я не двинулся с места. Вера подняла рубаху к животу и снова села на кровать.

— Или денег пожалел?

— Моих денег не жалко...

Я сказал это рвущимся голосом.

— Почему так — не жалко?.. Или ты вор?..

— Я не вор.

— Нинкуешь у воров?..

— Я мальчик.

— Я вижу, что не корова,— пробормотала Вера. Глаза ее слипались. Она легла и, притянув меня к себе, стала шарить по моему телу.

— Мальчик,— закричал я,— ты понимаешь, мальчик у армян...

О боги моей юности!.. Из двадцати прожитых лет — пять ушло на придумывание повестей, тысячи повестей, сосавших мозг. Они лежали у меня на сердце, как жаба на камне. Сдвинутая силой одиночества, одна из них упала на землю. Видно, на роду мне было написано, чтобы тифлисская проститутка сделалась первой моей читательницей. Я похолодел от внезапности моей выдумки и рассказал ей историю о мальчике у армян. Если бы я меньше и ленивей думал о своем ремесле,— я заплел бы пошлую историю о выгнанном из дому сыне богатого чиновника, об отце-деспоте и матери-мученице. Я не сделал этой ошибки. Хорошо придуманной истории незачем походить на действительную жизнь; жизнь изо всех сил старается походить на хорошо придуманную историю. Поэтому и еще потому, что так нужно было моей слушательнице,— я родился в местечке Алешки, Херсонской губернии. Отец работал чертежником в конторе речного пароходства. Он дни и ночи бился над чертежами, чтобы дать нам, детям, образование, но мы пошли в мать, лакомку и хохотунью. Десяти лет я стал воровать у отца деньги, подросши, убежал в Баку, к родственникам матери. Они познакомили

меня с армянином Степаном Ивановичем. Я сошелся с ним, и мы прожили вместе четыре года...

— Да лет-то тебе сколько было тогда?..

— Пятнадцать...

Вера ждала злодейств от армянина, развратившего меня. Тогда я сказал:

— Мы прожили четыре года. Степан Иванович оказался самым доверчивым и щедрым человеком из всех людей, каких я знал, самым совестливым и благородным. Всем приятелям он верил на слово. Мне бы за эти четыре года изучить ремесло — я не ударил пальцем о палец... У меня другое было на уме — бильярд... Приятели разорили Степана Ивановича. Он выдал им бронзовые векселя, друзья представили их ко взысканию...

Бронзовые векселя... Сам не знаю, как взбрели они мне на ум. Но я сделал правильно, упомянув о них. Вера поверила всему, услышав о бронзовых векселях. Она закуталась в шаль, шаль заколебалась на ее плечах.

...Степан Иванович разорился. Его выгнали из квартиры, мебель продали с торгов. Он поступил приказчиком на выезд. Я не стал жить с ним, с нищим, и перешел к богатому старику, церковному старосте...

Церковный староста — это было украдено у какого-то писателя, выдумка ленивого сердца, не захотевшего потрудиться над рождением живого человека.

Церковный староста — сказал я, и глаза Веры мигнули, ушли из-под моей власти. Тогда, чтобы поправиться, я вдвинул астму в желтую грудь старика, припадки астмы, сиплый свист удушья в желтой груди. Старик вскакивал по ночам с постели и дышал со стоном в бакинскую керосиновую ночь. Он скоро умер. Астма удавила его. Родственники прогнали меня. И вот — я в Тифлисе, с двадцатью рублями в кармане, с теми самыми, которые Вера пересчитала в подворотне на Головинском. Номерной гостиницы, в которой я остановился, обещал мне богатых гостей, но пока он приводит только духанщиков с вываливающимися животами... Эти люди любят свою страну, свои песни, свое вино и топчут чужие души и чужих женщин, как деревенский вор топчет огород соседа...

И я стал молоть про духанщиков вздор, слышанный мною когда-то... Жалость к себе разрывала мне сердце. Гибель казалась неотвратимой. Дрожь горя и вдохновения корчила меня. Струи леденящего пота потекли по лицу, как змеи, пробирающиеся по траве, нагретой солнцем. Я замолчал, заплакал и отвернулся. История была кончена.

Керосинка давно потухла. Вода закипела и остыла. Резиновая кишка свисала со стены. Женщина неслышно пошла к окну. Передо мной двигалась ее спина, ослепительная и печальная. В окне, в уступах гор, загорался свет.

— Чего делают,— прошептала Вера не оборачиваясь,— боже, чего делают...

Она протянула голые руки и развела створки окна. На улице посвистывали остывающие камни. Запах воды и пыли шел по мостовой... Голова Веры пошатывалась.

— Значит — бляха... Наша сестра — стерва...

Я понурился.

— Ваша сестра — стерва...

Вера обернулась ко мне. Рубаха косым клочком лежала на ее теле.

— Чего делают,— повторила женщина громче.— Боже, чего делают... Ну, а баб ты знаешь?..

Я приложил обледеневшие губы к ее руке.

— Нет... Откуда мне их знать, кто меня допустит?

Голова моя тряслась у ее груди, свободно вставшей надо мной. Оттянутые соски толкались о мои щеки. Раскрыв влажные веки, они толкались, как телята. Вера сверху смотрела на меня.

— Сестричка,— прошептала она, опускаясь на пол рядом со мной,— сестричка моя, бляха...

Теперь скажите, мне хочется спросить об этом, скажите, видели ли вы когда-нибудь, как рубят деревенские плотники избу для своего же собрата плотника, как споро, сильно и счастливо летят стружки прочь от обтесываемого бревна?.. В ту ночь тридцатилетняя женщина обучила меня своей науке. Я узнал в ту ночь тайны, которых вы не узнаете, испытал любовь, которой вы не испытаете, услышал слова женщины, обращенные к женщине. Я забыл их. Нам не дано помнить это.

Мы заснули на рассвете. Нас разбудил жар наших тел, жар, камнем лежавший в кровати. Проснувшись, мы засмеялись друг другу. Я не пошел в этот день в типографию. Мы пили чай на майдане, на базаре старого города. Мирный турок налил нам из завернутого в полотенце самовара чай, багровый, как кирпич, дымящийся, как только что пролитая кровь. В стенках стакана пылало дымное пожарище солнца. Тягучий крик ослов смешивался с ударами котельщиков. Под шатрами на выцветших коврах были выставлены в ряд медные кувшины. Собаки рылись мордами в воловьих кишках. Караван пыли летел на Тифлис — город роз и бараньего сала. Пыль заносила малиновый

костер солнца. Турок подливал нам чаю и на счетах отсчитывал баранки. Мир был прекрасен для того, чтобы сделать нам приятное. Когда испарина бисером обложила меня, я поставил стакан донышком вверх. Расплачиваясь с турком, я придвинул к Вере две золотых пятирублевки. Полная ее нога лежала на моей ноге. Она отодвинула деньги и сняла ногу.

— Расплеваться хочешь, сестричка?..

Нет, я не хотел расплеваться. Мы уговорились встретиться вечером, и я положил обратно в кошелек два золотых — мой первый гонорар.

Прошло много лет с тех пор. За это время много раз получал я деньги от редакторов, от ученых людей, от евреев, торгующих книгами. За победы, которые были поражениями, за поражения, ставшие победами, за жизнь и за смерть они платили ничтожную плату, много ниже той, которую я получил в юности от первой моей читательницы. Но злобы я не испытываю. Я не испытываю ее потому, что знаю, что не умру, прежде чем не вырву из рук любви еще один — и это будет мой последний — золотой.

## ФРОИМ ГРАЧ

В девятнадцатом году люди Бени Крика напали на арьергард добровольческих войск, вырезали офицеров и отбили часть обоза. В награду они потребовали у Одесского Совета три дня «мирного восстания», но разрешения не получили и вывезли поэтому мануфактуру из всех лавок, расположенных на Александровском проспекте. Деятельность их перенеслась потом на Общество взаимного кредита. Пропуская вперед клиентов, они входили в банк и обращались к артельщикам с просьбой положить в автомобиль, ждавший на улице, тюки с деньгами и ценностями. Прошел месяц, прежде чем их стали расстреливать. Тогда нашлись люди, сказавшие, что к делам поимки и арестов имеет отношение Арон Пескин, владелец мастерской. В чем состояла работа этой мастерской — установлено не было. На квартире Пескина стоял станок — длинная машина с покоробленным свинцовым валом; на полу валялись опилки и картон для переплетов.

Однажды в весеннее утро приятель Пескина Миша Яблочко постучался к нему в мастерскую.

— Арон,— сказал гость Пескину,— на улице дивная погода. В моем лице ты имеешь типа, который способен захватить с собой полбутылки с любительской закуской и поехать кататься по воздуху в Аркадию... Ты можешь смеяться над таким субъектом, но я любитель сбросить иногда все эти мысли с головы...

Пескин оделся и поехал с Мишей Яблочко на штейгере в Аркадию. Они катались до вечера; в сумерках Миша Яблочко вошел в комнату, где мадам Пескина мыла в корыте четырнадцатилетнюю свою дочь.

— Приветствую,— сказал Миша, снимая шляпу,— мы бесподобно провели время. Воздух — это что-то небы-

валое, но только надо наесться горохом, прежде чем говорить с вашим мужем... Он имеет надоедливый характер.

— Вы нашли кому рассказывать,— произнесла мадам Пескина, хватая дочь за волосы и мотая ее во все стороны.— Где он, этот авантюрист?

— Он отдыхает в палисаднике.

Миша снова приподнял шляпу, простился и уехал на штейгере. Мадам Пескина, не дождавшись мужа, пошла за ним в палисадник. Он сидел в шляпе панама, облокотившись о садовый стол, и скалил зубы.

— Авантюрист,— сказала ему мадам Пескина,— ты еще смеешься... У меня делается припадок от твоей дочери, она не хочет мыть голову... Пойди, имей беседу с твоей дочерью...

Пескин молчал и все скалил зубы.

— Бонабак,— начала мадам Пескина, заглянула мужу под шляпу панама и закричала.

Соседи сбежались на ее крик.

— Он не живой,— сказала им мадам Пескина.— Он мертвый.

Это была ошибка. Пескину в двух местах прострелили грудь и проломили череп, но он жил еще. Его отвезли в еврейскую больницу. Не кто другой, как доктор Зильберберг, сделал раненому операцию, но Пескину не посчастливилось — он умер под ножом. В ту же ночь Чека арестовала человека по прозвищу Грузин и его друга Колю Лапидуса. Один из них был кучером Миши Яблочко, другой ждал экипаж в Аркадии, на берегу моря у поворота, ведущего в степь. Их расстреляли после допроса, длившегося недолго. Один Миша Яблочко ушел из засады. След его потерялся, и несколько дней прошло прежде, чем на двор к Фроиму Грачу пришла старуха, торговавшая семечками. Она несла на руке корзину со своим товаром. Одна бровь ее мохнатым угольным кустом была поднята кверху, другая, едва намеченная, загибалась над веком. Фроим Грач сидел, расставив ноги, у конюшни и играл со своим внуком Аркадием. Мальчик этот три года назад выпал из могучей утробы дочери его Баськи. Дед протянул Аркадию палец, тот охватил его, повис и стал качаться на нем, как на перекладине.

— Ты — чепуха...— сказал внуку Фроим, глядя на него единственным глазом.

К ним подошла старуха с мохнатой бровью и в мужских штиблетах, перевязанных бечевкой.

— Фроим,— произнесла старуха,— я говорю тебе, что у этих людей нет человечества. У них нет слова. Они да-

вят нас в погребах, как собак в яме. Они не дают нам говорить перед смертью... Их надо грызть зубами, этих людей, и вытаскивать из них сердце... Ты молчишь, Фроим,— прибавил Миша Яблочко,— ребята ждут, что ты перестанешь молчать...

Миша встал, переложил корзину из одной руки в другую и ушел, подняв черную бровь. Три девочки с заплетенными косицами встретились с ним на Алексеевской площади у церкви. Они прогуливались, взявшись за талии.

— Барышни,— сказал им Миша Яблочко,— я не угощу вас чаем с семитатью...

Он насыпал им в карман платьиц семечек из стакана и исчез, обогнув церковь.

Фроим Грач остался один на своем дворе. Он сидел неподвижно, устремив в пространство свой единственный глаз. Мулы, отбитые у колониальных войск, хрустели сеном на конюшне, разъевшиеся матки паслись с жеребятами на усадьбе. В тени под каштаном кучера играли в карты и прихлебывали вино из черепков. Жаркие порывы ветра налетали на меловые стены, солнце в голубом своем оцепенении лилось над двором. Фроим встал и вышел на улицу. Он пересек Прохоровскую, чадившую в небо нищим тающим дымом своих кухонь, и площадь Толкучего рынка, где люди, завернутые в занавеси и гардины, продавали их друг другу. Он дошел до Екатерининской улицы, свернул у памятника императрице и вошел в здание Чека.

— Я Фроим,— сказал он коменданту,— мне надо до хозяина.

Председателем Чека в то время был Владислав Симен, приехавший из Москвы. Узнав о приходе Фроима, он вызвал следователя Борового, чтобы расспросить его о посетителе.

— Это грандиозный парень,— ответил Боровой,— тут вся Одесса пройдет перед вами...

И комендант ввел в кабинет старика в парусиновом балахоне, громадного, как здание, рыжего, с прикрытым глазом и изуродованной щекой.

— Хозяин,— сказал вошедший,— кого ты бьешь?.. Ты бьешь орлов. С кем ты останешься, хозяин, со смитьем?..

Симен сделал движение и приоткрыл ящик стола.

— Я пусто,— сказал тогда Фроим,— в руках у меня ничего нет, и в чеботах у меня ничего нет, и за воротами на улице я никого не оставил... Отпусти моих ребят, хозяин, скажи твою цену...


С кем ты
останешься,
хозяин,
со смитьём?

Старика усадили в кресло, ему принесли коньяку. Боровой вышел из комнаты и собрал у себя следователей и комиссаров, приехавших из Москвы.

— Я покажу вам одного парня,— сказал он,— это эпопея, второго нет...

И Боровой рассказал о том, что одноглазый Фроим, а не Беня Крик, был истинным главой сорока тысяч одесских воров. Игра его была скрыта, но все совершалось по планам старика — разгром фабрик и казначейства в Одессе, нападения на добровольцев и на союзные войска. Боровой ждал выхода старика, чтоб поговорить с ним. Фроим не появлялся. Соскучившийся следователь отправился на поиски. Он обошел все здание и под конец заглянул на черный двор. Фроим Грач лежал там распростертый под брезентом у стены, увитой плющом. Два красноармейца курили самодельные папиросы над его трупом.

— Чисто медведь,— сказал старший, увидев Борового,— это сила непомерная... Такого старика не убить, ему б износу не было... В нем десять зарядов сидит, а он все лезет...

Красноармеец раскраснелся, глаза его блестели, картуз сбился набок.

— Мелешь больше пуду,— прервал его другой конвоир,— помер и помер, все одинакие...

— Ан не все,— вскричал старший,— один просится, кричит, другой слова не скажет... Как это так можно, чтобы все одинакие...

— У меня они все одинакие,— упрямо повторил красноармеец помоложе,— все на одно лицо, я их не разбираю...

Боровой наклонился и отвернул брезент. Гримаса движения осталась на лице старика.

Следователь вернулся в свою комнату. Это был циркульный зал, обитый атласом. Там шло собрание о новых правилах делопроизводства. Симен делал доклад о непорядках, которые он застал, о неграмотных приговорах, о бессмысленном ведении протоколов следствия. Он настаивал на том, чтоб следователи, разбившись на группы, начали занятия с юрисконсультами и вели бы дела по формам и образцам, утвержденным Главным управлением в Москве.

Боровой слушал, сидя в своем углу. Он сидел один, далеко от остальных. Симен подошел к нему после собрания и взял за руку.

— Ты сердишься на меня, я знаю,— сказал он,— но только мы власть, Саша, мы — государственная власть, это надо помнить...

— Я не сержусь,— ответил Боровой и отвернулся,— вы не одессит, вы не можете этого знать, тут целая история с этим стариком...

Они сели рядом, председатель, которому исполнилось двадцать три года, со своим подчиненным. Симен держал руку Борового в своей руке и пожимал ее.

— Ответь мне как чекист,— сказал он после молчания,— ответь мне как революционер — зачем нужен этот человек в будущем обществе?

— Не знаю,— Боровой не двигался и смотрел прямо перед собой,— наверное, не нужен...

Он сделал усилие и прогнал от себя воспоминания. Потом, оживившись, он снова начал рассказывать чекистам, приехавшим из Москвы, о жизни Фроима Грача, об изворотливости его, неуловимости, о презрении к ближнему, все эти удивительные истории, отошедшие в прошлое...

## ЗАКАТ

Однажды Левка, младший из Криков, увидел Любкину дочь Табл. Табл по-русски значит голубка. Он увидел ее и ушел на трое суток из дому. Пыль чужих мостовых и герань в чужих окнах доставляли ему отраду. Через трое суток Левка вернулся домой и застал отца своего в палисаднике. Отец его вечерял. Мадам Горобчик сидела рядом с мужем и озиралась, как убийца.

— Уходи, грубый сын,— сказал папаша Крик, завидев Левку.

— Папаша,— ответил Левка,— возьмите камертон и настройте ваши уши.

— В чем суть?

— Есть одна девушка,— сказал сын.— Она имеет блондинный волос. Ее зовут Табл. Табл по-русски значит голубка. Я положил глаз на эту девушку.

— Ты положил глаз на помойницу,— сказал папаша Крик,— а мать ее бандерша.

Услышав отцовские слова, Левка засучил рукава и поднял на отца богохульственную руку. Но мадам Горобчик вскочила со своего места и встала между ними.

— Мендель,— завизжала она,— набей Левке вывеску! Он скушал у меня одиннадцать котлет...

— Ты скушал у матери одиннадцать котлет! — закричал Мендель и подступил к сыну, но тот вывернулся и побежал со двора, и Бенчик, его старший брат, увязался за ним следом. Они до ночи кружили по улицам, они задыхались, как дрожжи, на которых всходит мщение, и под конец Левка сказал брату своему Бене, которому через несколько месяцев суждено было стать Беней Королем.

— Бенчик,— сказал он,— возьмем это на себя, и люди придут целовать нам ноги. Убьем папашу, которого Молдава не называет уже Мендель Крик. Молдава называет его Мендель Погром. Убьем папашу, потому что можем ли мы ждать дальше?

— Еще не время,— ответил Бенчик,— но время идет. Слушай его шаги и дай ему дорогу. Посторонись, Левка.

И Левка посторонился, чтобы дать времени дорогу.

Оно тронулось в путь — время, древний кассир,— и повстречалось в пути с Двойрой, сестрой Короля, с Манассе, кучером, и с русской девушкой Марусей Евтушенко.

Еще десять лет тому назад я знал людей, которые хотели иметь Двойру, дочь Менделя Погрома, но теперь у Двойры болтается зоб под подбородком и глаза ее вываливаются из орбит. Никто не хочет иметь Двойру. И вот отыскался недавно пожилой вдовец с взрослыми дочерьми. Ему понадобилась полуторная площадка и пара коней. Узнав об этом, Двойра выстирала свое зеленое платье и развесила его во дворе. Она собралась идти к вдовцу, чтобы узнать, насколько он пожилой, какие кони ему нужны и может ли она его получить. Но папаша Крик не хотел вдовцов. Он взял зеленое платье, спрятал его в свой биндюг и уехал на работу. Двойра развела утюг, чтобы выгладить платье, но она не нашла его. Тогда Двойра упала на землю и получила припадок. Братья подтащили ее к водопроводному крану и облили водой. Узнаете ли вы, люди, руку отца их, прозванного Погромом?

Теперь о Манассе, старом кучере, ездящем на Фрейлине и Соломоне Мудром. На погибель свою он узнал, что кони старого Буциса, и Фроима Грача, и Хаима Дронга подкованы резиной. Глядя на них, Манассе пошел к Пятирубелю и подбил резиной Соломона Мудрого. Манассе любил Соломона Мудрого, но папаша Крик сказал ему:

— Я не Хаим Дронг и не Николай Второй, чтобы кони мои работали на резине.

И он взял Манассе за воротник, поднял его к себе на биндюг и поехал со двора. На протянутой его руке Манассе висел, как на виселице. Закат варился в небе, густой закат, как варенье, колокола стонали на Алексеевской церкви, солнце садилось за Ближними Мельницами, и Левка, хозяйский сын, шел за биндюгом, как собака за хозяином.

Несметная толпа бежала за Криками, как будто они были карета «скорой помощи», и Манассе неутомимо висел на железной руке.

— Папаша,— сказал тогда отцу Левка,— в вашей протянутой руке вы сжимаете мне сердце. Бросьте его, и пусть оно катится в пыли.

Но Мендель Крик даже не обернулся. Лошади несли вскачь, колеса гремели, и у людей был готовый цирк. Биндюг выехал на Дальницкую к кузнице Ивана Пятирубеля. Мендель потер кучера Манассе об стенку и бросил его в кузню на груду железа. Тогда Левка побежал за ведром воды и вылил его на старого кучера Манассе. Узнаете ли вы

теперь, люди, руку Менделя, отца Криков, прозванного погромом?

— Время идет,— сказал однажды Бенчик, и брат его Левка посторонился, чтобы дать времени дорогу. И так стоял Левка в сторонке, пока не занеслась Маруся Евтушенко.

— Маруся занеслась,— стали шушукаться люди, и папаша Крик смеялся, слушая их.

— Маруся занеслась,— говорил он и смеялся, как дитя,— горе всему Израилю, кто эта Маруся?

В эту минуту Бенчик вышел из конюшни и положил папаше руку на плечо.

— Я любитель женщин,— сказал Бенчик строго и передал папаше двадцать пять рублей, потому что он хотел, чтобы вычистка была сделана доктором и в лечебнице, а не у Маруси на дому.

— Я отдам ей эти деньги,— ответил папаша,— и она сделает себе вычистку, иначе пусть не дожить мне до радости.

И на следующее утро, в обычный час, он выехал на Налетчике и Любезной Супруге, а в обед на двор к Крикам явилась Маруся Евтушенко.

— Бенчик,— сказала она,— я любила тебя, будь ты проклят.

И швырнула ему в лицо десять рублей. Две бумажки по пяти — это никогда не было больше десяти.

— Убьем папашу,— сказал тогда Бенчик брату своему Льву, и они сели на лавочку у ворот, и рядом с ними сел Семен, сын дворника Анисима, человек семи лет. И вот, кто бы сказал, что такое семилетнее ничто уже умеет любить и что оно умеет ненавидеть. Кто знал, что оно любит Менделя Погрома, а оно любило.

Братья сидели на лавочке и высчитывали, сколько лет может быть папаше и какой хвост тянется за шестьюдесятью его годами, и Семен, сын дворника Анисима, сидел с ними рядом.

В тот час солнце не дошло еще до Ближних Мельниц. Оно лилось в тучи, как кровь из распоротого кабана, и на улицах громыхали площадки старого Буциса, возвращавшиеся с работы. Скотницы доили уже коров в третий раз, и работницы мадам Парабелюм таскали ей на крыльцо ведра вечернего молока. И мадам Парабелюм стояла на крыльце, хлопала в ладоши.

— Бабы,— кричала она,— свои бабы и чужие бабы. Берта Ивановна, мороженщики и кефирщики! Подходите за вечерним молоком.

Берта Ивановна, учительница немецкого языка, которая получала за урок две кварты молока, первая получила свою порцию. За ней подошла Двойра Крик, для того чтобы посмотреть, сколько воды налила мадам Парабелюм в свое молоко и сколько соды она всыпала в него.

Но Бенчик отозвал сестру в сторону.

— Сегодня вечером,— сказал он,— когда ты увидишь, что старик убил нас, подойди к нему и провали ему голову друшляком. И пусть настанет конец фирме «Мендель Крик и Сыновья».

— Аминь, в добрый час,— ответила Двойра и вышла за ворота. И она увидела, что Семена, сына Анисима, нет больше во дворе и что вся Молдаванка идет к Крикам в гости.

Молдаванка шла толпами, как будто во дворе у Криков были перекидки. Жители шли, как идут на Ярмарочную площадь во второй день Пасхи. Кузнечный мастер Иван Пятирубель прихватил беременную невестку и внучат. Старый Буцис привел племянницу, приехавшую на лиман из Каменец-Подольска. Табл пришла с русским человеком. Она опиралась на его руку и играла лентой от косы. Позже всех прискакала Любка на чалом жеребце. И только Фроим Грач пришел совсем один, рыжий, как ржавчина, одноглазый и в парусиновой бурке.

Люди расселись в палисаднике и вынули угощение. Мастеровые разулись, послали детей за пивом и положили головы на животы своих жен. И тогда Левка сказал Бенчику, своему брату:

— Мендель Погром нам отец,— сказал он,— мадам Горобчик нам мать, а люди — псы, Бенчик. Мы работаем для псов.

— Надо подумать,— ответил Бенчик, но не успел он произнести этих слов, как гром грянул на Головковской. Солнце взлетело кверху и завертелось, как красная чаша на острие копья. Биндюг старика мчался к воротам. Любезная Супруга была в мыле. Налетчик рвал упряжку. Старик взвил кнут над взбесившимися конями. Растопыренные ноги его были громадны, малиновый пот кипел на его лице, и он пел песни пьяным голосом. И тут-то Семен, сын Анисима, скользнул, как змея, мимо чьих-то ног, выскочил на улицу и закричал изо всех сил:

— Заворачивайте биндюг, дяденька Крик, бо сыны ваши хочут лупцовать вас...

Но было поздно. Папаша Крик на взмыленных конях влетел во двор. Он поднял кнут, он открыл рот и... умолк.

Люди, рассевшиеся в палисаднике, пучили на него глаза. Бенчик стоял на левом фланге у голубятни. Левка стоял на правом фланге у дворницкой.

— Люди и хозяева! — сказал Мендель Крик чуть слышно и опустил кнут.— Вот смотрите на мою кровь, которая заносит на меня руку.

И, соскочив с биндюга, старик кинулся к Бене и размозжил ему кулаком переносье. Тут подоспел Левка и сделал что мог. Он перетасовал лицо своему отцу, как новую колоду. Но старик был сшит из чертовой кожи, и петли этой кожи были заметаны чугуном. Старик вывернул Левке руки и кинул на землю рядом с братом. Он сел Левке на грудь, и женщины закрыли глаза, чтобы не видеть выломанных зубов старика и лица, залитого кровью. И в это мгновение жители неописуемой Молдавы услышали быстрые шаги Двойры и ее голос.

— За Левку,— сказала она,— за Бенчика, за меня, Двойру, и за всех людей,— и провалила папаше голову друшляком. Люди вскочили на ноги и побежали к ним, размахивая руками. Они оттащили старика к водопроводу, как когда-то Двойру, и открыли кран. Кровь текла по желобу, как вода, и вода текла, как кровь. Мадам Горобчик протискалась боком сквозь толпу и приблизилась, подпрыгивая как воробей.

— Не молчи, Мендель,— сказала она шепотом,— кричи что-нибудь, Мендель...

Но, услышав тишину во дворе и увидев, что старик приехал с работы и кони не распряжены и никто не льет воды на разогревшиеся колеса, она кинулась прочь и побежала по двору, как собака о трех ногах. И тогда почетные хозяева подошли ближе. Папаша Крик лежал бородою кверху.

— Каюк,— сказал Фроим Грач и отвернулся.

— Крышка,— сказал Хаим Дронг, но кузнечный мастер Иван Пятирубель помахал указательным пальцем перед самым его носом.

— Трое на одного,— сказал Пятирубель,— позор для всей Молдавы, но еще не вечер. Не видел я еще того хлопца, который кончит старого Крика...

— Уже вечер,— прервал его Арье-Лейб, неведомо откуда взявшийся,— уже вечер, Иван Пятирубель. Не говори «нет», русский человек, когда жизнь шумит тебе «да».

И, усевшись возле папаши, Арье-Лейб вытер ему платком губы, поцеловал его в лоб и рассказал ему о царе Давиде, о царе над евреями, имевшем много жен, много земель и сокровищ и умевшем плакать вовремя.

— Не скули, Арье-Лейб,— закричал ему Хаим Дронг и стал толкать Арье-Лейба в спину,— не читай нам панихид, ты не у себя на кладбище!

И, оборотившись к папаше Крику, Хаим Дронг сказал:

— Вставай, старый ломовик, прополощи глотку, скажи нам что-нибудь грубое, как ты это умеешь, старый грубиян, и приготовь пару площадок наутро, бо мне надо возить отходы...

И весь народ стал ждать, что скажет Мендель насчет площадок. Но он молчал долго, потом открыл глаза и стал разевать рот, залепленный грязью и волосами, и кровь проступала у него между губами.

— У меня нет площадок,— сказал папаша Крик,— меня сыны убили. Пусть сыны хозяйнуют.

И вот не надо завидовать тем, кто хозяйнует над горьким наследием Менделя Крика. Не надо им завидовать, потому что все кормушки в конюшне давно сгнили, половину колес надо было перешиновать. Вывеска над воротами развалилась, на ней нельзя было прочесть ни одного слова, и у всех кучеров истлело последнее белье. Полгорода было должно Менделю Крику, но кони, выбирая овес из кормушки, вместе с овсом слизывали цифры, написанные мелом на стене. Целый день к ошеломленным наследникам ходили какие-то мужики и требовали денег за сечку и ячмень. Целый день ходили женщины и выкупали из заклада золотые кольца и никелированные самовары. Покой ушел из дома Криков, но Беня, которому через несколько месяцев суждено было сделаться Беней Королем, не сдался и заказал новую вывеску «извозопромышленное заведение Мендель Крик и сыновья». Это должно было быть написано золотыми буквами по голубому полю и перевито подковами, отделанными под бронзу. Он купил еще штуку полосатого тика на исподники для кучеров и неслыханный лес для ремонта площадок. Он подрядил Пятирубеля на целую неделю и завел квитанции для каждого заказчика. И к вечеру следующего дня, знайте это, люди, он уморился больше, чем если бы сделал пятнадцать туров из Арбузной гавани на Одессу-Товарную. И к вечеру, знайте это, люди, он не нашел дома ни крошки хлеба и ни одной перемытой тарелки. Теперь обнимите умом заядлое варварство мадам Горобчик. Невыметенное сметье лежало в комнатах, небывалый телячий холодец выбросили собакам. И мадам Горобчик торчала у мужниной лежанки, как облитая помоями ворона на осенней ветке.

— Возьми их под заметку,— сказал тогда Бенчик млад-

шему брату,— держи их под микроскопом, эту пару новобрачных, потому, сдается мне, Левка, они копают на нас.

Так сказал Левке брат его Бенчик, видевший всех насквозь своими глазами Бени Короля, но он, Левка-подпасок, не поверил и лег спать. Папаша его тоже храпел уже на своих досках, и мадам Горобчик ворочалась с боку на бок. Она плевала на стены и харкала на пол. Вредный характер ее мешал ей спать. Под конец заснула и она. Звезды рассыпались перед окном, как солдаты, когда они оправляются, зеленые звезды по синему полю. Граммофон, наискосок, у Петьки Овсяницы, заиграл еврейские песни, потом и граммофон умолк. Ночь занималась себе своим делом, и воздух, богатый воздух лился в окно к Левке, младшему из Криков. Он любил воздух, Левка. Он лежал, и дышал, и дремал, и игрался с воздухом. Богатое настроение испытывал он, и это было до тех пор, пока на отцовской лежанке не послышался шорох и скрип. Парень прикрыл тогда глаза и выкатил на позицию уши. Папаша Крик поднял голову, как нюхающая мышь, и сполз с лежанки. Старик вытянул из-под подушки торбочку с монетой и перекинул через плечо сапоги. Левка дал ему уйти, потому что куда он мог уйти, старый пес? Потом парень вылез вслед за отцом и увидел, что Бенчик ползет с другой стороны двора и держится у стенки. Старик подкрался неслышно к биндюгам, он всунул голову в конюшню и засвистал лошадям, и лошади сбежались, чтобы потереться мордами об Менделеву голову. Ночь была во дворе, засыпанная звездами, синим воздухом и тишиной.

— Т-с-с,— приложил Левка палец к губам, и Бенчик, который лез с другой стороны двора, тоже приложил палец к губам. Папаша свистел коням, как маленьким детям, потом он побежал между площадками и брызнул в подворотню.

— Анисим,— сказал он тихим голосом и стукнул в окошко дворницкой.— Анисим, сердце мое, отопри мне ворота.

Анисим вылез из дворницкой, всклокоченный, как сено.

— Старый хозяин,— сказал он,— прошу вас великодушно, не срамитесь передо мною, простым человеком. Идите отдыхать, хозяин...

— Ты отопрешь мне ворота,— прошептал папаша еще тише,— я знаю это, Анисим, сердце мое...

— Вернись в помещение, Анисим,— сказал тогда Бенчик, вышел к дворницкой и положил руку своему папаше

на плечо. И Анисим увидел прямо перед собой лицо Менделя Погрома, белое как бумага, и он отвернулся, чтобы не видеть такого лица у своего хозяина.

— Не бей меня, Бенчик,— сказал старый Крик, отступая,— где конец мучениям твоего отца...

— О низкий отец,— ответил Бенчик,— как могли вы сказать то, что вы сказали?

— Я мог! — закричал Мендель и ударил себя кулаком по голове.— Я мог, Бенчик! — закричал он изо всех сил и закачался, как припадочный.— Вот вокруг меня этот двор, в котором я отбыл половину человеческой жизни. Он видел меня, этот двор, отцом моих детей, мужем моей жены и хозяином над моими конями. Он видел мою славу и двадцать моих жеребцов и двенадцать площадок, окованных железом. Он видел ноги мои, непоколебимые, как столбы, и руки мои, злые руки мои. А теперь, дорогие сыны, отоприте мне ворота, и пусть будет сегодня так, как я хочу, пусть уйду я из этого двора, который видел слишком много...

— Папаша,— ответил Беня, не поднимая глаз,— вернитесь к вашей супруге.

Но к ней незачем было возвращаться, к мадам Горобчик. Она сама примчалась в подворотню и покатилась по земле, болтая в воздухе старыми, желтыми своими ногами.

— Ай,— кричала она, катаясь по земле,— Мендель Погром и сыны мои, байстрюки мои... Что вы сделали со мной, байстрюки мои, куда дели вы мои волосы, мое тело, где они, мои зубы, где моя молодость...

Старуха визжала, срывала рубаху со своих плеч и, встав на ноги, закрутилась на одном месте, как собака, которая хочет себя укусить. Она исцарапала сыновьям лица, она целовала сыновьям лица и обрывала им щеки.

— Старый вор,— ревела мадам Горобчик и скакала вокруг мужа, и крутила ему усы и дергала их,— старый вор, мой старый Мендель...

Все соседи были разбужены ее ревом, и весь двор сбежался в подворотню, и голопузые дети засвистели в дудки. Молдаванка стекалась на скандал. И Беня Крик, на глазах у людей поседевший от позора, едва загнал своих новобрачных в квартиру. Он разогнал людей палкой, он оттеснил их к воротам, но Левка, младший брат, взял его за воротник и стал трясти как грушу.

— Бенчик,— сказал он,— мы мучаем старика... Слеза меня точит, Бенчик...

— Слеза тебя точит,— ответил Бенчик, и, собрав во рту слюну, он плюнул Левке ею в лицо.— О низкий брат,—

прошептал он,— подлый брат, развяжи мне руки, а не путайся у меня под ногами.

И Левка развязал ему руки. Парень проспал на конюшне до рассвета и потом исчез из дому. Пыль чужих мостовых и герань в чужих окнах доставляли ему отраду. Юноша измерил дороги скорби, пропадал двое суток и, вернувшись на третьи, увидел голубую вывеску, пылавшую над домом Криков. Голубая вывеска толкнула его в сердце, бархатные скатерти сбили с ног Левкины глаза, бархатные скатерти были разостланы на столах, и множество гостей хохотало в палисаднике. Двойра в белой наколке ходила между гостями, накрахмаленные бабы блестели в траве, как эмалированные чайники, и вихлявые мастеровые, уже успевшие скинуть с себя пиджаки, схватив Левку, втолкнули его в комнаты. Там сидел уже с исполосованным лицом Мендель Крик, старший из Криков. Ушер Боярский, владелец фирмы «Шедевр», горбатый закройщик Ефим и Беня Крик вертелись вокруг изуродованного папаши.

— Ефим,— говорил Ушер Боярский своему закройщику,— будьте такой ласковый спуститься к нам поближе и прикиньте на мосье Крика цветной костюмчик prima, как для своего, и осмельтесь на маленькую справку, на какой именно материал они рассчитывают — на английский морской двубортный, на английский сухопутный однобортный, на лодзинский демисезон или на московский плотный...

— Какую робу желаете вы себе справить? — спросил тогда Бенчик папашу Крика.— Сознавайтесь перед мосье Боярским.

— Какое ты имеешь сердце на твоего отца,— ответил папаша Крик и вынул слезу из глаза,— такую справь ему робу.

— Коль скоро папаша не флотский,— прервал отца Беня,— то ему наиболее подходящее будет сухопутное. Подберите ему сначала соответственную пару на каждый день.

Мосье Боярский подался вперед и пригнул ухо.

— Выразите вашу мысль,— сказал он.

— Моя мысль такая,— ответил Беня...

## КОЛЫВУШКА

Во двор Ивана Колывушки вступило четверо — уполномоченный Рика Ивашко, Евдоким Назаренко, голова сельрады, Житняк, председатель колхоза, только что образовавшегося, и Адриян Моринец. Адриян двигался так, как если бы башня тронулась с места и пошла. Прижимая к бедру переламывающийся холстинный портфель, Ивашко пробежал мимо сараев и вскочил в хату. На потемневших прялках, у окна, сучили нитку жена Ивана и две его дочери. Повязанные косынками, с высокими тальмами и чистыми маленькими босыми ногами — они походили на монашек. Между полотенцами и дешевыми зеркалами висели фотографии прапорщиков, учительниц и горожан на даче. Иван вошел в хату вслед за гостями и снял шапку.

— Сколько податку платит? — вертясь, спросил Ивашко.

Голова Евдоким, сунув руки в карманы, наблюдал за тем, как летит колесо прялки.

Ивашко фыркнул, узнав, что Колывушка платит двести шестнадцать рублей.

— Бильш не сдужил?

— Видно, что не сдужил...

Житняк растянул сухие губы, голова Евдоким все смотрел на прялку. Колывушка, стоявший у порога, мигнул жене, та вынула из-за образов квитанцию и подала уполномоченному Рика.

— Семфонд?..— Ивашко спрашивал отрывисто, от нетерпения он ерзал ногой, вдавливая ее в половицы.

Евдоким поднял глаза и обвел ими хату.

— В этом господарстве,— сказал Евдоким,— все сдано, товарищ представник... В этом господарстве не может того быть, чтобы не сдано...

Беленые стены низким теплым куполом сходились над гостями. Цветы в ламповых стеклах, плоские шкафы, натертые лавки — все отражало мучительную чистоту. Ивашко снялся со своего места и побежал с вихляющим портфелем к выходу.

— Товарищ представник,— Колывушка ступил вслед за ним,— распоряжение будет мне или как?..

— Довидку получишь,— болтая руками, прокричал Ивашко и побежал дальше.

За ним двигался Адриян Моринец, нечеловечески громадный. Веселый виконавец Тымыш мелькнул у ворот,— вслед за Ивашкой. Тымыш мерил длинными ногами грязь деревенской улицы.

— У чому справа, Тымыш?..

Иван поманил его и схватил за рукав. Виконавец, веселая жердь, перегнулся и открыл пасть, набитую малиновым языком и обсаженную жемчугами.

— Дом твой под реманент забирают...

— А меня?..

— Тебя на высылку...

И журавлиными своими ногами Тымыш бросился догонять начальство.

Во дворе у Ивана стояла запряженная лошадь. Красные вожжи были брошены на мешки с пшеницей. У погнувшейся липы посреди двора стоял пень, в нем торчал топор. Иван потрогал рукой шапку, сдвинул ее и сел. Кобыла подтащила к нему розвальни, высунула язык и сложила его трубочкой. Лошадь была жереба, живот ее оттягивался круто. Играя, она ухватила хозяина за ватное плечо и потрепала его. Иван смотрел себе под ноги. Истоптанный снег рябил вокруг пня. Сутулясь, Колывушка вытянул топор, подержал его в воздухе, на весу, и ударил лошадь по лбу. Одно ухо ее отскочило, другое прыгнуло и прижалось; кобыла застонала и понесла. Розвальни перевернулись, пшеница витыми полосами разостлалась по снегу. Лошадь прыгала передними ногами и запрокидывала морду. У сарая она запуталась в зубьях бороны. Из-под кровавой, льющейся завесы вышли ее глаза. Жалуясь, она запела. Жеребенок повернулся в ней, жила вспухла на ее брюхе.

— Помиримось,— протягивая ей руку, сказал Иван,— помиримось, дочка...

Ладонь в его руке была раскрыта. Ухо лошади повисло, глаза ее косили, кровавые кольца сияли вокруг них, шея образовала с мордой прямую линию. Верхняя губа ее запрокинулась в отчаянии. Она натянула шлею и двину-

лась, таща прыгавшую борону. Иван отвел за спину руку с топором. Удар пришелся между глаз, в рухнувшем животном еще раз повернулся жеребенок. Описав круг по двору, Иван подошел к сараю и выкатил на волю веялку. Он размахивался широко и медленно, разбивая машину, и поворачивал топор в тонком плетении колес и барабана. Жена в высокой тальме появилась на крыльце.

— Маты,— услышал Иван далекий голос,— маты, он все погубляет...

Дверь открылась; из дому, опираясь на палку, вышла старуха в холстинных штанах. Желтые волосы облегали дыры ее щек, рубаха висела как саван на плоском ее теле. Старуха ступила в снег мохнатыми чулками.

— Кат,— отнимая топор, сказала она сыну,— ты отца вспомнил?.. Ты братов, каторжников, вспомнил?..

Во двор набрались соседи. Мужики стояли полукругом и смотрели в сторону. Чужая баба рванулась и завизжала.

— Примись, стерво,— сказал ей муж.

Иван стоял, упершись в стену. Дыхание его, гремя, разносилось по двору. Казалось, он производит трудную работу, вбирая в себя воздух и выталкивая его.

Дядька Колывушки, Терентий, бегая вокруг ворот, пытался запереть их.

— Я человек,— сказал вдруг Иван окружившим его,— я есть человек, селянин... Неужто вы человека не бачили?..

Терентий, толкаясь и приседая, прогнал посторонних. Ворота завизжали и съехались. Раскрылись они к вечеру. Из них выплыли сани, туго, с перекатом, уложенные добром. Женщины сидели на тюках, как окоченевшие птицы. На веревке, привязанная за рога, шла корова. Воз проехал краем села и утонул в снежной, плоской пустыне. Ветер мял снизу и стонал в этой пустыне, рассыпая голубые валы. Жестяное небо стояло за ними. Алмазная сеть, блестя, оплетала небо.

Колывушка, глядя прямо перед собой, прошел по улице к сельраде. Там шло заседание нового колхоза «Видродження». За столом распластался горбатый Житняк.

— Перемена нашей жизни, в чем она есть, ця перемена?

Руки горбуна прижимались к туловищу и снова уносились.

— Селяне, мы переходим к молочно-огородному направлению, тут громаднейшее значение... Батьки и деды наши топтали чеботами клад, в настоящее время мы его

вырываем. Разве это не позор, разве ж то не гоньба, что, существуя в яких-нибудь шестидесяти верстах от центрального нашего миста, мы не поладили господарства на научных данных? Очи наши были затворены, селяне, утикать мы утикали сами от себя... Что такое обозначает шестьдесят верст, кому это известно?.. В нашей державе это обозначает час времени, но и цей малый час есть человеческое наше имущество, есть драгоценность...

Дверь сельрады раскрылась. Колывушка в литом полушубке и высокой шапке прошел к стене. Пальцы Ивашки запрыгали и врылись в бумаги.

— Посбавленных права голоса,— сказал он, глядя вниз на бумаги,— прохаю залишить наши сборы...

За окном, за грязными стеклами, разливался закат, изумрудные его потоки. В сумерках деревенской избы в сыром дыму махорки слабо блестели искры. Иван снял шапку, корона черных его волос развалилась.

Он подошел к столу, за которым сидел президиум,— батрачка Ивга Мовчан, голова Евдоким и безмолвный Адриян Моринец.

— Мир,— сказал Колывушка, протянул руку и положил на стол связку ключей,— я увольняюсь от вас, мир...— Железо, прозвенев, легло на почернелые доски. Из тьмы вышло искаженное лицо Адрияна.

— Куда ты пойдешь, Иване?..

— Люди не приймают, может, земля примет...

Иван вышел на цыпочках, ныряя головой.

— Номер,— взвизгнул Ивашко, как только дверь закрылась за ним,— самая провокация... Он за обрезом пошел, он никуда, кроме как за обрезом, не пойдет...

Ивашко застучал кулаком по столу. К устам его рвались слова о панике и о том, чтобы соблюдать спокойствие. Лицо Адрияна снова втянулось в темный угол.

— Не,— сказал он из тьмы,— мабуть не за обрезом, представник.

— Маю пропозицию...— вскричал Ивашко.

Предложение состояло в том, чтобы нарядить стражу у Колывушкиной хаты. В стражники выбрали Тымыша, виконавца. Гримасничая, он вынес на крыльцо венский стул, развалился на нем, поставил у ног своих дробовик и дубинку. С высоты крыльца, с высоты деревенского своего трона Тымыш перекликался с девками, свистал, выл и постукивал дробовиком. Ночь была лилова, тяжела, как горный цветной камень. Жилы застывших ручьев пролегали в ней; звезда опустилась в колодцы черных облаков.

Наутро Тымыш донес, что происшествий не было. Иван ночевал у деда Абрама, у старика, заросшего диким мясом. С вечера Абрам протащился к колодцу.

— Ты зачем, диду Абрам?..

— Самовар буду ставить,— сказал дед.

Они спали поздно. Над хатами закурился дым; их дверь все была затворена.

— Смылся,— сказал Ивашко на собрании колхоза,— заплачем чи шо?.. Как вы мыслите, селяне?..

Житняк, раскинув по столу трепещущие острые локти, записывал в книгу приметы обобществленных лошадей. Горб его отбрасывал движущуюся тень.

— Чем нам теперь глотку запхнешь,— разглагольствовал Житняк между делом,— нам теперь все на свете нужно... Дождевиков искусственных надо, распашников надо пружинных, трактора, насосы... Это есть ненасытность, селяне... Вся наша держава есть ненасытная...

Лошади, которых записывал Житняк, все были гнедые и пегие, по именам их звали «Мальчик» и «Жданка». Житняк заставлял владельцев расписываться против каждой фамилии.

Его прервал шум, глухой и дальний топот. Прибой накатывался и плескал в Великую Старицу. По разломившейся улице повалила толпа. Безногие катились впереди нее. Невидимая хоругвь реяла над толпой. Добежав до сельрады, люди сменили ноги и построились. Круг обнажился среди них, круг вздыбленного снега, пустое место, как оставляют для попа во время крестного хода. В кругу стоял Колывушка в рубахе навыпуск под жилеткой, с белой головой. Ночь посеребрила цыганскую его корону, черного волоса не осталось в ней. Хлопья снега, слабые птицы, уносимые ветром, пронеслись под потеплевшим небом. Старик со сломанными ногами, подавшись вперед, с жадностью смотрел на белые волосы Колывушки.

— Скажи, Иване,— поднимая руки, произнес старик,— скажи народу, что ты маешь на душе...

— Куда вы гоните меня, мир,— прошептал Колывушка, озираясь,— куда я пойду... Я рожденный среди вас, мир...

Ворчанье проползло в рядах. Разбрасывая людей, Моринец выбрался вперед.

— Нехай робит,— вопль не мог вырваться из могучего его тела, низкий голос дрожал,— нехай робит... чю долю он заест?..

— Мою,— сказал Житняк и засмеялся. Шаркая ногами, он подошел к Колывушке и подмигнул ему.— Цию

ночку я с бабой переспал,— сказал горбун,— как вставать — баба оладий напекла, мы, как кабаны, нашамались с нею, аж газ пущали...

Горбун умолк, смех его оборвался, кровь ушла из его лица.

— Ты к стенке нас ставить пришел,— сказал он тише,— ты тиранить нас пришел белой своей головой, мучить нас — только мы не станем мучиться, Ваня... Нам это — скука в настоящее время — мучиться.

Горбун придвигался на тонких вывороченных ногах. Что-то свистело в нем, как в птице.

— Тебя убить надо,— прошетал он, догадавшись,— я за пистолью пойду, унистожу тебя...

Лицо его просветлело, радуясь, он тронул руку Колывушки и кинулся в дом за дробовиком Тымыша. Колывушка, покачавшись на месте, двинулся. Серебряный свиток его головы уходил в клубящемся пролете хат. Ноги его путались, потом шаг стал тверже. Он повернул по дороге на Ксеньевку.

С тех пор никто не видел его в Великой Старице.

# ПЬЕСЫ



# ЗАКАТ

*Пьеса в 8 сценах*

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Мендель Крик — владелец извозопромышленного заведения, 62 года.
Нехама — его жена, 60 лет.

| | | |
|---|---|---|
| Беня | их дети | — щеголеватый молодой человек, 26 лет. |
| Левка | | — гусар в отпуску, 22 года. |
| Двойра | | — перезрелая девица, 30 лет. |

Арье-Лейб — служка в синагоге извозопромышленников, 65 лет.
Никифор — старший кучер у Криков, 50 лет.
Иван Пятирубель — кузнец, друг Менделя, 50 лет.
Бен Захарья — раввин на Молдаванке, 70 лет.
Фомин — подрядчик, 40 лет.
Евдокия Потаповна Холоденко — торгует живой и битой птицей на рынке, тучная старуха с вывороченным боком. Пьяница, 50 лет.
Маруся — ее дочь, 20 лет.
Рябцов — хозяин трактира.
Митя — официант в трактире.
Мирон Попятник — флейтист в трактире Рябцова.
Мадам Попятник — его жена. Сплетница с ненстовыми глазами.
Урусов — подпольный ходатай по делам. Картавит.
Семен — лысый мужик.
Бобринец — шумный еврей. Шумит оттого, что богат.
Вайнер — гундосый богач.
Мадам Вайнер — богачиха.
Клаша Зубарева — беременная бабенка.
Мосье Боярский — владелец конфексиона готовых платьев под фирмой «Шедевр».
Сенька Топун.
Кантор Цвибак.

Действие происходит в Одессе в 1913 г.



## ПЕРВАЯ СЦЕНА

Столовая в доме Криков. Низкая обжитая мещанская комната. Бумажные цветы, комоды, граммофон, портреты раввинов и рядом с раввинами семейные фотографии Криков — окаменелых, черных, с выкатившимися глазами, с плечами широкими, как шкафы.

В столовой приготовлено к приему гостей. На столе, покрытом красной скатертью, расставлены вина, варенье, пироги.

Старуха Крик заваривает чай. Сбоку, на маленьком столике — кипящий самовар.

В комнате старуха Нехама, Арье-Лейб, Левка в парадной гусарской форме. Желтая бескозырка косо посажена на его кирпичное лицо, длиннополая шинель брошена на плечи. За Левкой волочится кривая сабля. Беня Крик, разукрашенный, как испанец на деревенском празднике, вывязывает перед зеркалом галстук.

Арье-Лейб. Ну, хорошо, Левка, отлично... Арье-Лейб, сват с Молдаванки и шамес у биндюжников, знает теперь, что такое рубка лозы... Сначала рубят лозу, потом рубят человека... Матери в нашей жизни роли не играют... Но объясни мне, Левка, почему такому гусару, как ты, нельзя опоздать из отпуска на неделю, пока твоя сестра не сделает своего счастья?

Левка *(хохочет. В грубом его голосе движутся громы)*. На неделю!.. Вы набитый дурак, Арье-Лейб!.. Опоздать на неделю!.. Кавалерия — это вам не пехота. Кавалерия плевала на вашу пехоту... Опоздал я на один час, и вахмистр берет меня к себе в помещение, пускает мне из души юшку, и из носу пускает мне юшку, и еще под суд меня отдает. Три генерала судят каждого конника, три генерала с медалями за турецкую войну.

Арье-Лейб. Это со всеми так делают или только с евреями?

Л е в к а. Еврей, который сел на лошадь, перестал быть евреем и стал русским. Вы какой-то болван, Арье-Лейб!.. При чем тут евреи?

Сквозь полуоткрытую дверь просовывается лицо Д в о й р ы.

Д в о й р а. Мама, пока у вас что-нибудь найдешь, можно мозги себе сломать. Куда вы подевали мое зеленое платье?

Н е х а м а *(ни на кого не глядя, бурчит себе под нос)*. Посмотри в комоде.

Д в о й р а. Я смотрела в комоде — нету.

Н е х а м а. В шкафу.

Д в о й р а. В шкафе нету.

Л е в к а. Какое платье?

Д в о й р а. Зеленое с гесткой.

Л е в к а. Кажется, папаша подхватил.

Полуодетая, нарумяненная, завитая Д в о й р а входит в комнату. Она высока ростом, дебела.

Д в о й р а *(деревянным голосом)*. Ох, я умру!

Л е в к а *(матери)*. Вы небось признались ему, старая хулиганка, что Боярский придет сегодня смотреть Двойру?.. Она призналась. Готово дело!.. Я его еще с утра заметил. Он запряг в биндюг Соломона Мудрого и Муську, поснедал, нажрался водки, как кабан, бросил в козлы что-то зеленое и подался со двора.

Д в о й р а. Ох, я умру! *(Она разражается громовым плачем, сдирает с окна занавеску, топчет ее и бросает старухе.)* Нате вам!..

Н е х а м а. Издохни! Сегодня издохни...

Рыча и рыдая, Двойра убегает. Старуха прячет занавеску в комод.

Б е н я *(вывязывает галстук)*. Папаша, понимаете ли вы меня, жалеет приданое.

Л е в к а. Зарезать такого старика ко всем свиньям!

А р ь е - Л е й б. Ты это про отца, Левка?

Л е в к а. Пусть не будет босяком.

А р ь е - Л е й б. Отец старше тебя на субботу.

Л е в к а. Пусть не будет грубияном.

Б е н я *(закалывает в галстук жемчужную булавку)*. В прошлом году Семка Мунш хотел Двойру, но папаша, понимаете ли вы меня, жалеет приданое. Он сделал из Семкиной вывески кашу с подливкой и выбросил его со всех лестниц.

Л е в к а. Зарезать такого старика ко всем свиньям!

А р ь е - Л е й б. Про такого свата, как я, сказано у Ибн-Эзра: «Если ты вздумаешь, человек, заняться изготовлением

свечей, то солнце станет посреди неба, как тумба, и никогда не закатится...»

Левка *(матери)*. Сто раз на дню старик убивает нас, а вы молчите ему, как столб. Тут каждую минуту жених может наскочить...

Арье-Лейб. Сказано про меня у Ибн-Эзра: «Вздумай саваны шить для мертвых, и ни один человек не умрет отныне и во веки веков, амины!..»

Беня *(вывязал галстук, сбросил с головы малиновую повязку, поддерживавшую прическу, облачился в кургузый пиджачок, налил рюмку водки)*. Здоровье присутствующих!

Левка *(грубым голосом)*. Будем здоровы.

Арье-Лейб. Чтобы было хорошо.

Левка *(грубым голосом)*. Пусть будет хорошо!

В комнату вкатывается мосье Боярский, бодрый круглый человек. Он сыплет без умолку.

Боярский. Привет! Привет! *(Представляется.)* Боярский... Приятно, чересчур приятно!.. Привет!

Арье-Лейб. Вы обещались в четыре, Лазарь, а теперь шесть.

Боярский *(усаживается и берет из рук старухи стакан чаю)*. Бог мой, мы живем в Одессе, а в нашей Одессе есть заказчики, которые вынимают из вас жизнь, как вы вынимаете косточку из финика, есть добрые приятели, которые согласны скушать вас в одежде и без соли, есть вагон неприятностей, тысяча скандалов. Когда тут подумать о здоровье, и зачем купцу здоровье? Насилу забежал в теплые морские ванны — и прямо к вам.

Арье-Лейб. Вы принимаете морские ванны, Лазарь?

Боярский. Через день, как часы.

Арье-Лейб *(старухе)*. Худо-бедно положите пятьдесят копеек на ванну.

Боярский. Бог мой, молодое вино есть в нашей Одессе. Греческий базар, Фанкони...

Арье-Лейб. Вы захаживаете к Фанкони, Лазарь?

Боярский. Я захаживаю к Фанкони.

Арье-Лейб *(победоносно)*. Он захаживает к Фанкони!.. *(Старухе.)* Худо-бедно тридцать копеек надо оставить у Фанкони, я не скажу — сорок.

Боярский. Простите меня, Арье-Лейб, если я, как более молодой, перебью вас. Фанкони обходится мне ежедневно в рубль, а также в полтора рубля.

Арье-Лейб *(с упоением)*. Так вы же мот, Лазарь, вы негодяй, какого еще свет не видел!.. На тридцать рублей

живет семья, и еще детей учат на скрипке, еще откладывают где какую копейку...

В комнату вплывает Двойра. На ней оранжевое платье, могучие ее икры стянуты высокими башмаками.

Это наша Вера.

Боярский *(вскакивает)*. Привет! Боярский.

Двойра *(хрипло)*. Очень приятно.

Все садятся.

Левка. Наша Вера сегодня немножко угорела от утюга.

Боярский. Угореть от утюга может всякий, но быть хорошим человеком — это не всякий может.

Арье-Лейб. Тридцать рублей в месяц кошке под хвост... Лазарь, вы не имели права родиться!

Боярский. Тысячу раз простите меня, Арье-Лейб, но о Боярском надо вам знать, что он не интересуется капиталом,— капитал — это ничтожество,— Боярский интересуется счастьем... Я спрашиваю вас, дорогие, что вытекает для меня из того, что моя фирма выдает в месяц сто — полтораста костюмов плюс к этому брючные комплекты, плюс к этому польты?

Арье-Лейб *(старухе)*. Положите на костюм пять рублей чистых, я не скажу — десять...

Боярский. Что вытекает для меня из моей фирмы, когда я интересуюсь исключительно счастьем?

Арье-Лейб. И я вам отвечу на это, Лазарь, что если мы поведем наше дело как люди, а не как шарлатаны, то вы будете обеспечены счастьем до самой вашей смерти, живите сто двадцать лет... Это я говорю вам, как шамес, а не как сват.

Беня *(разливает вино)*. Исполнение обоюдных желаний.

Левка *(грубым голосом)*. Будем здоровы!

Арье-Лейб. Чтобы было хорошо!

Левка. Пусть будет хорошо.

Боярский. Я начал про Фанкони. Выслушайте, мосье Крик, историю про еврея-нахала... Забегаю сегодня к Фанкони, кофейня набита людьми, как синагога в Судный день. Люди закусывают, плюют на пол, расстраиваются... Один расстраивается оттого, что у него плохие дела, другой расстраивается оттого, что у соседа хорошие дела. Присесть, между прочим, некуда... Поднимается тут мне навстречу мосье Шапелон, видный из себя француз... Заметьте, что это большая редкость, чтобы француз был из себя

видный... поднимается мне навстречу и приглашает к своему столику. Мосье Боярский, говорит он мне по-французски, я уважаю вас, как фирму, и у меня есть дивная крыша для шубы...

Левка. Крыша?

Боярский. Сукно, верх для шубы... Дивная крыша для шубы, говорит он мне по-французски, и прошу вас, как фирму, выпить со мною две кружки пива и скушать десять раков...

Левка. Я люблю раков.

Арье-Лейб. Скажи еще, что ты любишь жабу.

Боярский. ...и скушать десять раков...

Левка *(грубым голосом)*. Я люблю раков!

Арье-Лейб. Рак — это же жаба.

Боярский *(Левке)*. Вы простите меня, мосье Крик, если я скажу вам, что еврей не должен уважать раков. Это я говорю вам замечание из жизни. Еврей, который уважает раков, может позволить себе с женским полом больше, чем себе надо позволять, он может сказать сальность за столом, и если у него бывают дети, так на сто процентов выродки и бильярдисты. Это говорю вам замечание из жизни. Теперь выслушайте историю про еврея-нахала...

Беня. Боярский!

Боярский. Я.

Беня. Прикинь мне, Боярский, на скорую руку, во что мне обойдется зимний костюм прима?

Боярский. Двубортный, однобортный?

Беня. Однобортный.

Боярский. Фалды вы себе мыслите — круглые или отрезанные?

Беня. Фалды круглые.

Боярский. Сукно ваше или мое?

Беня. Сукно твое.

Боярский. Какой товар вы себе рисуете — английский, лодзинский или московский?

Беня. Какой лучше?

Боярский. Английское сукно, мосье Крик, это хорошее сукно, лодзинское сукно — это дерюга, на которой что-то нарисовано, а московское сукно — это дерюга, на которой ничего не нарисовано.

Беня. Возьмем английское.

Боярский. Доклад ваш или мой?

Беня. Доклад твой.

Боярский. Сколько вам обойдется?

Б е н я. Сколько мне обойдется?

Б о я р с к и й *(осененный внезапной мыслью)*. Мосье Крик, мы сойдемся!

А р ь е - Л е й б. Вы сойдетесь!

Б о я р с к и й. Мы сойдемся... Я начал про Фанкони.

Слышен гром сапог, окованных гвоздями. Входит М е н д е л ь К р и к с кнутом и Н и к и ф о р, старший кучер.

А р ь е - Л е й б *(оробел)*. Познакомьтесь, Мендель, с мосье Боярским...

Б о я р с к и й *(вскакивает)*. Привет! Боярский.

Гремя сапогами, ни на кого не глядя, старик идет через всю комнату. Он бросает кнут, садится на кушетку, протягивает длинные толстые ноги. Нехама опускается на колени и стягивает с мужа сапоги.

А р ь е - Л е й б *(заикаясь)*. Мосье Боярский рассказывал нам здесь про свою фирму. Она выдает полтораста костюмов в месяц...

М е н д е л ь. Так что ты говоришь, Никифор?

Н и к и ф о р *(прислонился к косяку двери и уставился в потолок)*. Я то говорю, хозяин, что с нас люди смеются.

М е н д е л ь. Почему с нас люди смеются?

Н и к и ф о р. Люди говорят — у вас тыща хозяев на конюшне, у вас семь пятниц на неделе... Вчера возили в гавань пшеницу, кинулся я в контору деньги получать, они мне — назад: тут, говорят, молодой хозяин был, Бенчик, он приказание дал, чтобы деньги в банк платить, на квитанцию.

М е н д е л ь. Приказание дал?

Н и к и ф о р. Приказание дал.

Н е х а м а *(стянула сапог, размотала грязную портянку, Мендель подает ей другую ногу. Старуха поднимает на мужа глаза, полные ненависти, и бормочет сквозь стиснутые зубы)*. Чтоб ты света не дождался, мучитель!..

М е н д е л ь. Так что ты говоришь, Никифор?

Н и к и ф о р. Я то говорю, что от Левки сегодня грубость видели.

Б е н я *(отставив мизинец, пьет вино)*. Обоюдное исполнение желаний.

Л е в к а. Будем здоровы.

Н и к и ф о р. Повели сегодня Фрейлину ковать, наскочил в кузню Левка, открыл рот, как лоханку, приказывает кузнецу Пятирубелю подковы резиной подбивать. Я тут встреваю. Что мы, полицмейстеры, говорю, или мы цари, Николаи Вторые, чтобы резиной подбивать? Хозяин не


Хозяин, с нас люди смеются

приказывал... А Левка стал красный, как буряк, и кричит: кто твой хозяин?..

Нехама стянула второй сапог. Мендель встал. Он потянул к себе скатерть. Посуда, пирог, варенье — все полетело на пол.

Мендель. Кто же твой хозяин, Никифор?

Никифор *(угрюмо)*. Вы мой хозяин.

Мендель. А если я твой хозяин *(он подходит к Никифору и берет его за грудь)*, а если я твой хозяин, так бей того, кто вступит ногой в мою конюшню, бей его в душу, в жилы, в глаза... *(Он трясет Никифора и отшвыривает от себя.)*

Согнувшись, шаркая босыми ногами, Мендель идет через всю комнату к выходу, за ним бредет Никифор. Старуха тащится на коленях к двери.

Нехама. Чтоб ты свету не дождался, мучитель...

Молчание.

Арье-Лейб. Если я скажу вам, Лазарь, что старик не кончил Высших женских курсов...

Боярский. ...так я поверю вам без честного слова.

Беня *(подает Боярскому руку)*. Зайдешь другим разом, Боярский.

Боярский. Бог мой, в семье все случается. Бывает холодное, бывает горячее. Привет! Привет! Зайду другим разом. *(Исчезает.)*

Беня встает, закуривает папиросу, перекидывает через руку щегольской плащ.

Арье-Лейб. Про такого свата, как я, сказано у Ибн-Эзра: «Если ты вздумаешь шить саваны для мертвых...»

Левка. Зарезать такого старика ко всем свиньям!

Двойра откинулась на спинку кресла и завизжала.

Здрасте! Двойра получила истерику *(он разжимает ножом крепко стиснутые зубы сестры. Она верещит все пронзительнее)*.

В комнату входит Никифор. Беня перекладывает плащ на левую руку и правой бьет Никифора по лицу.

Беня. Заложи мне гнедого в дрожки!

Никифор *(из носу у него вытекает нерешительная струйка крови)*. Расчет мне дайте...

Беня *(подходит к Никифору в упор и говорит ласковым, вздрагивающим голосом)*. Ты у меня умрешь сегодня, не поужинав, Никифор, дружок мой...



## ВТОРАЯ СЦЕНА

**Ночь. Спальня Криков. Черные балки на низком потолке. Лунный луч, роящийся и голубой, входит в окно. С т а р и к и Н е х а м а на двуспальной кровати. Они укрыты одним одеялом. Всклокоченная грязно-седая старуха сидит на постели. Она бубнит низким голосом, бубнит нескончаемо.**

Н е х а м а. У людей все как у людей... У людей берут к обеду десять фунтов мяса, делают суп, делают котлеты, делают компот. Отец приходит с работы, все садятся за стол, люди кушают и смеются... А у нас?.. Бог, милый бог, как темно в моем доме!

М е н д е л ь. Дай жить, Нехама. Спи!

Н е х а м а. ...Бенчик, такой Бенчик, такое солнце на небе, он пошел в эту жизнь. Сегодня один пристав, завтра другой пристав... Сегодня люди имеют кусок хлеба, завтра им обложат ноги железом...

М е н д е л ь. Дай дыхать, Нехама! Спи.

Н е х а м а. ...Такой Левка. Дите придет из солдат и тоже кинется в налеты. Куда ему кинуться? Отец выродок, отец не пускает детей в дело...

М е н д е л ь. Делай ночь, Нехама. Спи!

Молчание.

Н е х а м а. Раввин сказал, раввин Бен Зхарья... Настанет новый месяц, сказал Бен Зхарья, и я не впущу Менделя в синагогу. Евреи не дадут мне...

М е н д е л ь *(сбрасывает одеяло, садится рядом со старухой)*. Чего не дадут евреи?

Н е х а м а. Придет новолуние, сказал Бен Зхарья...

М е н д е л ь. Что мне не дадут евреи и что мне дали твои евреи?

Н е х а м а. Не пустят, не пустят в синагогу.

М е н д е л ь. Карбованец с откусанным углом мне дали твои евреи, тебя, клячу, и этот гроб с клопами.

Н е х а м а. А кацапы что тебе дали, что кацапы тебе дали?

М е н д е л ь *(укладывается)*. О, кляча на мою голову!

Н е х а м а. Водку кацапы тебе дали, матерщины полный рот, бешеный рот, как у собаки... Ему шестьдесят два года, бог, милый бог, и он горячий, как печка, он здоровый, как печка.

М е н д е л ь. Выйми мне зубы, Нехама, налей жидовский суп в мои жилы, согни мне спину...

Н е х а м а. Горячий как печка... Как мне стыдно, бог!.. *(Она забирает свою подушку и укладывается на полу, в лунном луче. Молчание. Потом снова раздается ее бормотанье.)* В пятницу вечером люди выходят за ворота, люди цацкаются с внуками...

М е н д е л ь. Делай ночь, Нехама.

Н е х а м а *(плачет)*. Люди цацкаются с внуками...

Входит Б е н я. Он в нижнем белье.

Б е н я. Может быть, хватит на сегодня, молодожены?

Мендель приподнимается. Он смотрит на сына во все глаза.

Или я должен пойти в гостиницу, чтобы выспаться?

М е н д е л ь *(встал с кровати. Он, как и сын, в нижнем белье)*. Ты... ты вошел?

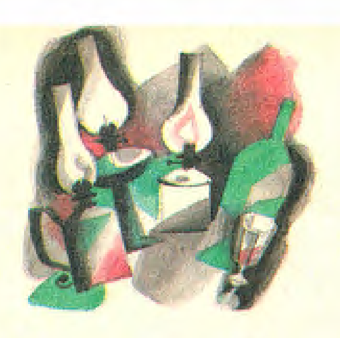
Б е н я. Дать два рубля за номер, чтобы выспаться?

М е н д е л ь. Ночью, ночью ты вошел?

Б е н я. Она мне мать. Ты слышишь, супник!

Отец и сын стоят в нижнем белье друг против друга. Мендель все ближе, все медленнее подходит к Бене. В луином луче трясется всклокоченная грязно-серая голова Нехамы.

М е н д е л ь. Ночью, ночью ты вошел...



## ТРЕТЬЯ СЦЕНА

Трактир на Привозной площади. Ночь. Хозяин трактира Рябцов, болезненный строгий человек, читает у стойки Евангелие. Безрадостные пыльные его волосы разложены по обеим сторонам лба. На возвышении сидит кроткий флейтист Мирон (в просторечии Майор) Попятник. Флейта его выводит слабую дрожащую мелодию. За одним из столов черноусые, седоватые греки играют в кости с Сенькой Топуном, приятелем Бени Крика. Перед Сенькой разрезанный арбуз, финский нож и бутылка малаги. Два матроса спят, положив на стол литые плечи. В дальнем углу смиренно попивает зельтерскую воду подрядчик Фомин. Его в чем-то горячо убеждает пьяная Потаповна. За передним столом стоит Мендель Крик, пьяный, воспаленный, громадный, и Урусов, ходатай по делам.

Мендель *(бьет кулаком по столу)*. Темно! Ты в могиле меня держишь, Рябцов, в черной могиле!..

Официант Митя, старичок с серебряными волосами ежиком, приносит лампу и ставит ее перед Менделем.

Я все лампы приказывал! Я хор требовал! Я со всего трактира лампы приказывал!

Митя. Керосин-то, вишь, нашему брату даром не дают. Вот, видишь, какое дело...

Мендель. Темно!

Митя *(Рябцову)*. Добавку освещения требует.

Рябцов. Рупь.

Митя. Получайте рупь.

Рябцов. Получил рупь.

Мендель. Урусов!

Урусов. Есть!

Мендель. Скрозь мое сердце сколько, говоришь, крови льется?

Урусов. По науке считается, скрозь человеческое сердце льется в сутки двести пудов крови. А в Америке такое изобрели...

Мендель. Стой! Стой!.. А если я в Америку хочу ехать — это слободно?

Урусов. Свободно вполне. Сел и поехал...

Переваливаясь, виляя кривым боком, к столу подходит Потаповна.

Потаповна. Мендель, мама моя, мы не в Америку, мы в Бессарабию поедем, сады покупать?

Мендель. Сел, говоришь, и поехал?

Урусов. По науке считается, что вы четыре моря проезжаете — Черное море, Ионическое, Эгейское, Средиземное и два всемирных океана — Атлантический океан и Тихий.

Мендель. А ты сказал — человек через моря лететь может?

Урусов. Может.

Мендель. Через горы, через высокие горы может человек лететь?

Урусов *(с твердостью)*. Может.

Мендель *(сжимает ладонями лохматую голову)*. Конца нет, краю нет... *(Рябцову.)* Поеду. В Бессарабию поеду.

Рябцов. А делать чего будешь в Бессарабии?

Мендель. Чего захочу, то и буду.

Рябцов. А чего тебе хотеть?

Мендель. Слухай меня, Рябцов, я еще живой...

Рябцов. Не живой ты, если тебя бог убил.

Мендель. Когда это меня бог убил?

Рябцов. Годов-то тебе сколько?

Голос из трактира. Годков ему всех-всех шестьдесят два.

Рябцов. Шестьдесят два года бог тебя и убивает.

Мендель. Рябцов, я бога хитрей.

Рябцов. Ты русского бога хитрей, а жидовского бога ты не хитрей.

Митя вносит еще одну лампу. За ним гуськом выступают четыре заспанных толстых девки с засаленными грудями. В руках у каждой из них по зажженной лампе. Ослепительный свет разливается по трактиру.

Митя. Со светлым тебя, значит, Христовым воскресеньем! Девки, обставь его, бешеного, лампами.

Девки ставят лампы на стол перед Менделем. Сияние озаряет багровое его лицо.

Голос из трактира. Из ночи день делаем, Мендель?

Мендель. Конца нет.

П о т а п о в н а *(дергает Урусова за рукав)*. Прошу вашей дорогой любезности, выпейте со мной, господин... Вот я курями на базаре торгую, мне мужики все летошних кур всучивают, да рази я к курям к этим присужденная? У меня папочка садовник был, первый садовник. Я, какая где яблонька задичится, я ее раздичу...

Г о л о с  и з  т р а к т и р а. Из понедельника воскресенье делаем, Мендель?

П о т а п о в н а *(кофта разошлась на жирной ее груди. Водка, жара, восторг душат ее)*. Мендель дело свое продаст, получим, бог даст, деньги, мы тогда с ясочкой нашей в сады уедем, на нас, послухайте, господин, на нас с липы цвет лететь будет... Мендель, золотко, я же садовница, я папочкина дочка!..

М е н д е л ь *(идет к стойке)*. Рябцов, у меня глаза были... слухай меня, Рябцов, у меня глаза сильней телескопов были, а чего я сделал с моими глазами? У меня ноги быстрей паровозов были, мои ноги по морю ходят, а чего я сделал с моими ногами? От обжорки к сортиру, от сортира к обжорке... Я полы мордой заметал, а теперь я сады поставлю.

Р я б ц о в. Ставь. Кто тебя не пущает?

Г о л о с  и з  т р а к т и р а. Найдутся — не пустят. Наступят на хвост — не выдерет...

М е н д е л ь. Я песни приказывал! Дай военную, музыкант... Не мотай жилы... Жизнь дай! Еще дай!..

Колеблясь, срываясь, флейта выводит пронзительную мелодию. Мендель пляшет, топает чугунными ногами.

М и т я *(Урусову шепотом)*. Фомину приходить или рано?

У р у с о в. Рано. *(Музыканту.)* Прибавь, Майор!

Г о л о с  и з  т р а к т и р а. И прибавлять нечего, хор пришел. Пятирубель хор приволок.

Входит хор — с л е п ц ы в красных рубахах. Они натыкаются на стулья, машут перед собой камышовыми тросточками. Их ведет кузнец П я т и р у б е л ь, азартный человек, друг Менделя.

П я т и р у б е л ь. Со сна чертей похватал. Не будем, говорят, песни играть. Ночь, говорят, на всем белом свете, наигрались... Да вы, говорю, перед каким человеком, говорю, стоите?!

М е н д е л ь *(бросается к запевале, рябому рослому слепцу)*. Федя, я в Бессарабию еду.

С л е п о й *(густым, глубоким басом)*. Счастливо вам, хозяин!

М е н д е л ь. Песню, Федя, последнюю мою!..

С л е п о й. «Славное море» — споем?

М е н д е л ь. Последнюю мою...

С л е п ы е *(настраивают гитары. Тягучие их басы запевают)*.

Славное море — священный Байкал,
Славный корабль — омулевая бочка,
Эй, баргузин, пошевеливай вал:
Плыть молодцу недалечко.

М е н д е л ь *(швыряет в окно пустую бутылку. Стекло разлетается с треском)*. Бей!

П я т и р у б е л ь. Ох, и герой же, сукин сын!

М и т я *(Рябцову)*. За стекло сколько посчитаем?

Р я б ц о в. Рупь.

М и т я. Получайте рупь.

Р я б ц о в. Получил рупь.

С л е п ы е *(поют)*.

Долго я тяжкие цепи носил,
Долго скитался в горах Акатуя,
Старый товарищ бежать пособил,
Ожил я, волю почуя...

М е н д е л ь *(ударом кулака вышибает оконную раму)*. Бей.

П я т и р у б е л ь. Сатана, а не старик!

Г о л о с а  и з  т р а к т и р а:

— Форсовито гуляет!..

— Ничего не форсовито... Обнаковенно гуляет.

— Обнаковенно так не бывает. Помер у него кто-нибудь?

— Никто у него не помер... Обыкновенно гуляет.

— А причина какая, по какой причине гуляет?

Р я б ц о в. Поди разбери причину. У одного деньги есть — он от денег гуляет, у другого денег нет — он от бедности гуляет. Человек ото всего гуляет...

Песня гремит все могущественнее. Звон гитар бьется о стены и зажигает сердца. В разбитом окне качается звезда. Заспанные девки встали у косяков, подперли груди шершавыми руками и запели. Матрос качается на расставленных больших ногах и подпевает чистым тенором.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь.
Горная стража меня не поймала.
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка миновала...

П о т а п о в н а *(пьяна и счастлива)*. Мендель, мама моя, выпейте со мной! Выпьем за нашу ясочку!

П я т и р у б е л ь. Швейцару на почте морду бил. Вот какой старик! Телеграфные столбы крал и домой на плечах приносил...

Шел я ночью и средь бела дня,
Вкруг городов озирался я зорко,
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой...

М е н д е л ь. Согни мне спину, Нехама, налей жидовский суп в мои жилы!.. *(Он бросается на пол, ворочается, стонет, хохочет.)*

Г о л о с а  и з  т р а к т и р а:

— Чисто слон!

— У нас и слоны слезами плакали...

— Это врешь, слоны не плачут...

— Говорю тебе, слезами плакал...

— В зверинце я слона одного задражнил...

М и т я *(Урусову)*. Фомину приходить или рано?

У р у с о в. Рано.

Певцы поют во всю мочь. Песня грохочет.
Гитары захлебываются, дрожмя дрожат.

Славное море — священный Байкал,
Славный мой парус — кафтан дыроватый,
Эй, баргузин, пошевеливай вал.
Слышатся грома раскаты...

Страшными, радостными, рыдающими голосами поют слепцы последние строки. Окончив песню, они встают и уходят, как по команде.

М и т я. И все?

З а п е в а л а. Хватит.

М е н д е л ь *(вскочил с пола и затопал)*. Военное мне дай! Жизнь, музыкант, дай!

М и т я *(Урусову)*. Фомину взойти или рано?

У р у с о в. Самое время.

Митя подмигивает Фомину, сидящему в дальнем углу.
Фомин рысью подбирается к столу Менделя.

Ф о м и н. С приятным заседанием!

У р у с о в *(Менделю)*. Теперь, дорогой, оно у нас так будет — потехе время, делу час. *(Вытаскивает исписанный лист бумаги.)* Читать, что ли?

Ф о м и н. Если вам нежелательно, скажем, плясать, то можно читать.

У р у с о в. Сумму, что ли, читать?

Ф о м и н. Согласен на такое ваше предложение.

М е н д е л ь *(во все глаза смотрит на Фомина и отодвигается)*. Я песни приказывал...

Ф о м и н. И петь будем и гулять будем, а придется помирать — помирать будем.

У р у с о в *(читает очень картаво)*. «...Согласно каковым пунктам, уступаю в полную собственность Фомину Василию Елисеевичу извозопромышленное заведение мое в составе, как поименовано...»

П я т и р у б е л ь. Фомин, ты понимай, паяц, каких коней забираешь! Кони эти миллион пшеницы отвезли, они полмира угля перетаскали. Ты от нас всю Одессу с этими конями забираешь...

У р у с о в. «...А всего за сумму двенадцать тысяч рублей, из коих треть при подписании сего, а остальные...»

М е н д е л ь *(указывая пальцем на турка, безмятежно курившего кальян в углу)*. Вон человек сидит, обсуждает меня.

П я т и р у б е л ь. Верно, обсуждает... А ну, стукнитесь! *(Фомину.)* Ей-богу, сейчас человека убьет.

Ф о м и н. Авось не убьет.

Р я б ц о в. Дуришь, дурак! Гость этот — турок, святой человек.

П о т а п о в н а *(потягивает вино мелкими глотками и блаженно смеется)*. Папочкина дочка!

Ф о м и н. Вот, дорогой, тут и распишись.

П о т а п о в н а *(хлопает Фомина по груди)*. Здеся у него, у Васьки, деньги, здеся они!

М е н д е л ь. Расписаться, говоришь?.. *(Шаркая сапогами, он идет через весь трактир к турку, садится рядом с ним)*. И што я, дорогой человек, девок поимел на моем веку, и што я счастья видел, и дом поставил, и сынов выходил,— цена этому, дорогой человек, двенадцать тысяч. А потом крышка — помирай!

Турок кланяется, прикладывает руку к сердцу, ко лбу. М е н д е л ь бережно целует его в губы.

Ф о м и н *(Потаповне)*. Значит, Янкеля со мной вертеть?

П о т а п о в н а. Продаст он, Василий Елисеевич, убиться мне, если не продаст!

М е н д е л ь *(возвращается, мотает головой)*. Скука какая!

М и т я. Вот те и скука — платить надо.

М е н д е л ь. Уйди!

М и т я. Врешь, уплатишь!

М е н д е л ь. Убью!

М и т я. Ответишь.

М е н д е л ь *(кладет голову на стол и плюет. Длинная его слюна тянется, как резина)*. Уйди, я спать буду...

М и т я. Не платишь? Ох, старички, убивать буду!

П я т и р у б е л ь. Погоди убивать. Ты сколько с него за полбутылки гребешь?

М и т я *(распалился)*. Я мальчик злой, я покусаю!

Мендель, не поднимая головы, выбрасывает из кармана деньги. Монеты катятся по полу. Митя ползет за ними, подбирает. Заспанная девка дует на лампы, тушит их. Темно. Мендель спит, положив голову на стол.

Ф о м и н *(Потаповне)*. Суешься поперед батьки... Стучишь языком, как собака бегает... Всю музыку испортила!

П о т а п о в н а *(выжимает слезы из грязных мятых морщин)*. Василий Елисеевич, я дочку жалею.

Ф о м и н. Жалеть умеючи надо.

П о т а п о в н а. Жиды, как воши, обсели.

Ф о м и н. Жид умному не помеха.

П о т а п о в н а. Продаст он, Василий Елисеевич, покуражится и продаст.

Ф о м и н *(грозно, медленно)*. А не продаст, так богом Иисусом Христом, богом нашим вседержителем божусь тебе, старая, домой придем — я со спины у тебя ремни резать буду!



## ЧЕТВЕРТАЯ СЦЕНА

Мансарда Потаповны. С т а р у х а, разодетая в новое яркое платье, лежит на окне и переговаривается с соседкой. Из окна виден порт, блистающее море. На столе ворох покупок — отрез материи, дамские туфли, шелковый зонтик.

Г о л о с  с о с е д к и. Погордиться бы пришла, покрасоваться перед нами.

П о т а п о в н а. Да приду к вам, проведаю...

Г о л о с  с о с е д к и. А то в одном ряду на птичьей девятнадцать лет торговали, и хвать — нет ее, Потаповны.

П о т а п о в н а. Да авось я не присужденная к курям к этим. Видно, не век мне маяться...

Г о л о с  с о с е д к и. Видно, что не век.

П о т а п о в н а. У людей-то небось на Потаповну глаза разбегаются?

Г о л о с  с о с е д к и. Каково разбегаются-то! Счастья-то каждому подай. Испеки да подай...

П о т а п о в н а *(смеется, тучное ее тело сотрясается)*. Девка-то, вишь, не у всякого есть.

Г о л о с  с о с е д к и. Девка-то, говорят, худая.

П о т а п о в н а. У кости, милая, мясо слаще.

Г о л о с  с о с е д к и. Сыны, слышь, против вас копают...

П о т а п о в н а. Девка сынов перетянет.

Г о л о с  с о с е д к и. И я говорю — перетянет.

П о т а п о в н а. Старик небось девку не бросает.

Г о л о с  с о с е д к и. Сады, слышь, он вам покупает...

П о т а п о в н а. А еще чего люди говорят?

Г о л о с  с о с е д к и. Да ничего не говорят, только гавкают. Кто их разберет?

П о т а п о в н а. Разберем. Я разберу... Про полотно-то чего толкуют?

Голос соседки. Толкуют, старик вам двадцать аршин справил.

Потаповна. Пятьдесят!

Голос соседки. Башмаков пару...

Потаповна. Три!

Голос соседки. Очень смертно любят старики.

Потаповна. Видно, к курям-то мы не присужденные...

Голос соседки. Видно, не присужденные. Покрасоваться бы пришла, погордиться перед нами.

Потаповна. Приду. Проведаю вас... Прощай, милая!

Голос соседки. Прощай, милая!

Потаповна слезает с окна. Переваливаясь, напевая, бродит она по комнате, открывает шкаф. Взбирается на стул, чтобы достать до верхней полки, на которой штоф наливки, пьет, закусывает трубочкой с кремом. В комнату входит Мендель, одетый по-праздничному, и Маруся.

Маруся *(очень звонко)*. Птичка-то наша куда взгромоздилась! Сбегайте к Мойсейке, мама.

Потаповна *(слезая со стула)*. А чего купить?

Маруся. Кавуны купите, бутылку вина, копченой скумбрии полдесятка... *(Менделю.)* Дай ей рубль.

Потаповна. Не хватит рубля.

Маруся. Арапа не заправляйте! Хватит, еще сдачи будет.

Потаповна. Не хватит мне рубля.

Маруся. Хватит! Придете через час. *(Она выталкивает мать, захлопывает дверь, запирает ее на ключ.)*

Голос Потаповны. Я за воротами посижу, надо будет — покличешь.

Маруся. Ладно. *(Она бросает на стол шляпку, распускает волосы, заплетает золотую косу. Голосом, полным силы, звона и веселья, она продолжает прерванный рассказ.)* ...Пришли на кладбище, глядим — первый час. Все похороны отошли, народу никакого, только в кустах целуются. У крестного могилка хорошенькая — чудо!.. Я кутью разложила, мадеру, что ты мне дал, две бутылки, побежала за отцом Иоанном. Отец Иоанн старенький, с голубенькими глазами, ты его знать должен...

Мендель смотрит на Марусю с обожанием. Он дрожит и мычит что-то в ответ, непонятно, что мычит.

Батюшка панихиду отслужил, я ему рюмку мадеры налила, рюмку полотенцем вытерла, он выпил, я ему вторую... *(Маруся заплела косу, распушила конец. Она садится на*

*кровать, расшнуровывает желтые, длинные, по тогдашней моде, башмаки.)* Ксенька, та, как будто не у отца на могиле, надулась, как мышь на крупу, вся накрашенная, намазанная, жениха глазами ест. А Сергей Иванович, тот мне все бутерброды мажет... Я Ксеньке в пику и говорю... Что вы, говорю, Сергей Иваныч, Ксении Матвеевне, невесте вашей, внимание не уделяете?.. Сказала, и проехало. Мадеру мы твою дочиста выпили... *(Маруся снимает башмаки и чулки, она идет босиком к окну, задергивает занавеску.)* Крестная все плакала, а потом стала розовая, как барышня, хорошенькая — чудо! Я тоже выпила — и Сергею Иванычу *(Маруся раскрывает постель):* айда, Сергей Иваныч, на Ланжерон купаться! Он: айда! *(Маруся хохочет, стягивает с себя платье, оно подается туго.)* А у Ксеньки-то спина небось полна прыщей, и ноги три года не мыла... Она на меня тут язык свой спустила *(Маруся перекрыта с головой наполовину стянутым платьем):* ты, мол, фасон давишь, ты интересантка, ты то, ты се, на стариковы деньги позарилась, ну, тебя отошьют от этих денег... *(Маруся сняла платье и прыгнула в постель.)* А я ей: знаешь что, Ксенька,— это я ей,— не дразни ты, Ксенька, моих собак... Сергей Иваныч слушает нас, помирает со смеху!.. *(Голой девической прекрасной рукой Маруся тащит к себе Менделя. Она снимает с него пиджак и швыряет пиджак на пол.)* Ну, иди сюда, скажи — Марусичка...

М е н д е л ь. Марусичка!

М а р у с я. Скажи — Марусичка, солнышко мое...

Старик хрипит, дрожит, не то плачет, не то смеется.

*(Ласково.)* Ах ты, рыло!

## ПЯТАЯ СЦЕНА

Синагога общества извозопромышленников на Молдаванке. Богослужение в пятницу вечером. Зажженные свечи. У амвона кантор Цвибак в талесе и сапогах. Прихожане, красномордые извозчики, оглушительно беседуют с богом, слоняются по синагоге, раскачиваются, отплевываются. Ужаленные внезапной пчелой благодати, они издают громовые восклицания, подпевают кантору неистовыми, привычными голосами, стихают, долго бормочут себе под нос и потом снова ревут, как разбуженные волы. В глубине синагоги, над фолиантом Талмуда склонились два древних еврея, два костистых горбатых гиганта с желтыми бородами, свороченными набок. Арье-Лейб, шамес, величественно расхаживает между рядами. На передней скамье толстяк с оттопыренными румяными щеками зажал между коленями мальчика лет десяти. Отец тычет мальчика в молитвенник. На боковой скамье Беня Крик. Позади него сидит Сенька Топун. Они не подают вида, что знакомы друг с другом.

Кантор *(возглашает)*. Лху нранно ладонай норийо ицур ишейну!

Извозчики подхватили напев. Гудение молитвы.

Арбоим шоно окут бдойр вооймар... *(Сдавленным голосом.)* Арье-Лейб, крысы!

Арье-Лейб. Ширу ладонай шир ходош. Ой, пойте господу новую песню... *(Подходит к молящемуся еврею.)* Как стоит сено?

Еврей *(раскачивается)*. Поднялось.

Арье-Лейб. На много?

Еврей. Пятьдесят две копейки.

Арье-Лейб. Доживем, будет шестьдесят.

Кантор. Лифней адонай ки во, ки во мишпойт гоорец...[1] Арье-Лейб, крысы!

Арье-Лейб. Довольно кричать, буян.

Кантор *(сдавленным голосом)*. Я увижу еще одну крысу — я сделаю несчастье.

Арье-Лейб *(безмятежно)*. Лифней адонай ки во, ки во... Ой, стою, ой, стою перед господом... Как стоит овес?

Второй еврей *(не прерывая молитвы)*. Рупь четыре, рупь четыре...

Арье-Лейб. С ума сойти!

---

[1] Перед лицом господа бога — силы моей... *(евр.)*

В т о р о й  е в р е й *(раскачивается с ожесточением).* Будет рупь десять, будет рупь десять...

А р ь е - Л е й б. С ума сойти! Лифней адонай ки во, ки во...

Все молятся. В наступившей тишине слышны отрывистые приглушенные слова, которыми обмениваются Беня Крик и Сенька Топун.

Б е н я *(склонился над молитвенником).* Ну?

С е н ь к а *(за спиной Бени).* Есть дело.

Б е н я. Какое дело?

С е н ь к а. Оптовое дело.

Б е н я. Что можно взять?

С е н ь к а. Сукно.

Б е н я. Много сукна?

С е н ь к а. Много.

Б е н я. Какой городовой?

С е н ь к а. Городового не будет.

Б е н я. Ночной сторож?

С е н ь к а. Ночной сторож в доле.

Б е н я. Соседи?

С е н ь к а. Соседи согласны спать.

Б е н я. Что ты хочешь с этого дела?

С е н ь к а. Половину.

Б е н я. Мы не сделали дела.

С е н ь к а. Докладываешь батькино наследство?

Б е н я. Докладываю батькино наследство.

С е н ь к а. Что ты даешь?

Б е н я. Мы не сделали дела.

Грянул выстрел. Кантор Цвибак застрелил пробежавшую мимо амвона крысу. Молящиеся воззрилась на кантора. Мальчик, стиснутый скучными коленями отца, бьется, пытается вырваться. Арье-Лейб застыл с раскрытым ртом. Талмудисты подняли равнодушные большие лица.

Т о л с т я к  с  р у м я н ы м и  щ е к а м и. Цвибак, это босяцкая выходка!

К а н т о р. Я договаривался молиться в синагоге, а не в кладовке с крысами. *(Он оттягивает дуло револьвера, выбрасывает гильзу.)*

А р ь е - Л е й б. Ай, босяк, ай, хам!

К а н т о р *(указывает револьвером на убитую крысу).* Смотрите на эту крысу, евреи, позовите людей. Пусть люди скажут, что это не корова...

А р ь е - Л е й б. Босяк, босяк, босяк!..

К а н т о р *(хладнокровно).* Конец этим крысам. *(Он заворачивается в талес и подносит к уху камертон.)*

Мальчик разжал наконец плен отцовских коленей, ринулся к гильзе, схватил ее и убежал.

1-й еврей. Гоняешься целый день за копейкой, приходишь в синагогу получить удовольствие и — на тебе!

Арье-Лейб *(визжит)*. Евреи, это шарлатанство! Евреи, вы не знаете, что здесь происходит! Молочники дают этому босяку на десять рублей больше... Иди к молочникам, босяк, целуй молочников туда, куда ты их должен целовать!

Сенька *(хлопает кулаком по молитвеннику)*. Пусть будет тихо! Нашли себе толчок!

Кантор *(торжественно)*. Мизмойр лдовид![1]

Все молятся.

Беня. Ну?

Сенька. Есть люди.

Беня. Какие люди?

Сенька. Грузины.

Беня. Имеют оружие?

Сенька. Имеют оружие.

Беня. Откуда они взялись?

Сенька. Живут рядом с вашим покупателем.

Беня. С каким покупателем?

Сенька. Который ваше дело покупает.

Беня. Какое дело?

Сенька. Ваше дело — площадки, дом, весь извоз.

Беня *(оборачивается)*. Сказился?

Сенька. Сам говорил.

Беня. Кто говорил?

Сенька. Мендель говорил, отец... Едет с Маруськой в Бессарабию сады покупать.

Гул молитвы. Евреи завывают очень замысловато.

Беня. Сказился.

Сенька. Все люди знают.

Беня. Божись!

Сенька. Пусть мне счастья не видеть!

Беня. Матерью божись!

Сенька. Пусть я мать живую не застану!

Беня. Еще божись, стерва!

Сенька *(пренебрежительно)*. Дурак ты!

Кантор. Борух ато адонай...[2]

---

[1] Песнь Давида! *(евр.)*

[2] Благословен ты, господь бог... *(евр.)*



## ШЕСТАЯ СЦЕНА

Двор Криков. Закат. Семь часов вечера. У конюшни, на телеге с торчащим дышлом, сидит Беня и чистит револьвер. Левка прислонился к двери конюшни. Арье-Лейб объясняет сокровенный смысл «Песни Песней» тому самому мальчику, который в пятницу вечером удрал из синагоги. Никифор без толку мечется по двору. Он, видимо, чем-то обеспокоен.

Беня. Время идет. Дай времени дорогу!

Левка. Зарезать ко всем свиньям!

Беня. Время идет. Посторонись, Левка! Дай времени дорогу!

Арье-Лейб. «Песня Песней» учит нас — ночью на ложе моем искала я того, кого люблю... Что же говорит нам Рашэ?[1]

Никифор *(указывает Арье-Лейбу на братьев)*. Вон выставились коло конюшни, как дубы.

Арье-Лейб. Вот что говорит нам Рашэ: ночью — это значит днем и ночью. Искала я на ложе моем... Кто искал? — спрашивает Рашэ. Израиль искал, народ Израиля. Того, кого люблю... Кого же любит Израиль? — спрашивает Рашэ. Израиль любит Тору, Тору любит Израиль.

Никифор. Я спрашиваю, зачем без дела коло конюшни стоять?

Беня. Кричи больше.

Никифор *(мечется по двору)*. Я свое знаю... У меня хомуты пропадают. Кого хочу, того подозревать буду.

Арье-Лейб. Старый человек учит ребенка закону, а ты мешаешь ему, Никифор...

Никифор. Зачем они коло конюшни выставились, как дубы паршивые?

---

[1] Рашэ — комментатор Священного Писания и Талмуда *(евр.)*.

Б е н я *(разбирает револьвер, чистит)*. Замечаю я, Никифор, что ты очень растревожился.

Н и к и ф о р *(кричит, но в голосе его нет силы)*. Я хомутам вашим не присягал! У меня, если хотите знать, брат на деревне живет, еще при силах! Меня, если хотите знать, брат с дорогой душой возьмет...

Б е н я. Кричи, кричи перед смертью.

Н и к и ф о р *(Арье-Лейбу)*. Старик, скажи, зачем они так делают?

А р ь е - Л е й б *(поднимает на кучера выцветшие глаза)*. Один человек учит закон, а другой кричит, как корова. Разве так оно должно быть на свете?

Н и к и ф о р. Ты смотришь, старик, а чего ты видишь? *(Уходит.)*

Б е н я. Растревожился наш Никифор.

А р ь е - Л е й б. Ночью искала я на ложе моем. Кого искала? — учит нас Рашэ.

М а л ь ч и к. Рашэ учит нас — искала Тору.

Слышны громкие голоса.

Б е н я. Время идет. Посторонись, Левка, дай времени дорогу!

Входят М е н д е л ь, Б о б р и н е ц, Н и к и ф о р, П я т и р у б е л ь под хмельком.

Б о б р и н е ц *(оглушительным голосом)*. Если не ты, Мендель, отвезешь в гавань мою пшеницу, так кто же отвезет? Если не к тебе, Мендель, я пойду, так к кому же мне идти?

М е н д е л ь. Есть на свете люди, кроме Менделя. Есть на свете извоз, кроме моего извоза.

Б о б р и н е ц. Нет в Одессе извоза, кроме твоего... Или ты пошлешь меня к Буцису с его клячами на трех ногах, к Журавленке с его побитыми лоханками?..

М е н д е л ь *(не глядя на сыновей)*. Люди крутятся около моей конюшни.

Н и к и ф о р. Выставились, как дубы паршивые.

Б о б р и н е ц. Запряжешь мне завтра десять пар, Мендель, отвезешь пшеницу, получишь деньги, пропустишь шкалик, споешь песню... Ай, Мендель!

П я т и р у б е л ь. Ай, Мендель!

М е н д е л ь. Зачем люди крутятся около моей конюшни?

Н и к и ф о р. Хозяин, за-ради бога!..

М е н д е л ь. Ну?

Никифор. Тикай со двора, хозяин, бо сыны твои...
Мендель. Что сыны мои?
Никифор. Сыны твои хочут лупцовать тебя.
Беня *(прыгнул с телеги на землю. Нагнув голову, он говорит раздельно)*. Пришлось мне слышать от чужих людей, мне и брату моему Левке, что вы продаете, папаша, дело, в котором есть золотник и нашего пота...

Соседи, работавшие во дворе, придвигаются поближе к Крикам.

Мендель *(смотрит в землю)*. Люди, хозяева...
Беня. Правильно ли мы слышали, я и брат мой Левка?
Мендель. Люди и хозяева, вот смотрите на мою кровь *(он поднимает голову, и голос его крепнет)*, на мою кровь, которая заносит на меня руку...
Беня. Правильно ли мы слышали, я и брат мой Левка?
Мендель. Ой, не возьмете!.. *(Он кидается на Левку, валит его с ног, бьет по лицу.)*
Левка. Ой, возьмем!..

Небо залито кровью заката. Старик и Левка катаются по земле, раздирают друг другу лица, откатываются за сарай.

Никифор *(прислонился к стене)*. Ох, грех...
Бобринец. Левка, отца?!
Беня *(отчаянным голосом)*. Никишка, счастьем тебе клянусь, он коней, дом, жизнь — все девке под ноги бросил!
Никифор. Ох, грех...
Пятирубель. Убью, кто разнимет! Чур, не разнимать!

Хрипение и стоны доносятся из-за сарая.

Не уродился еще человек на земле против Менделя.
Арье-Лейб. Иди со двора, Иван.
Пятирубель. Я ста рублями отвечу...
Арье-Лейб. Иди со двора, Иван.

Старик и Левка вываливаются из-за сарая. Они вскакивают на ноги, но Мендель снова сшибает сына.

Бобринец. Левка, отца?!
Мендель. Не возьмешь! *(Он топчет сына.)*
Пятирубель. Ста рублями любому отвечу...

Мендель побеждает. У Левки выбиты зубы, вырваны клочья волос.

Мендель. Не возьмешь!

Б е н я. Ой, возьмем! *(Он с силой опускает рукоятку револьвера на голову отца.)*

Старик рухнул. Молчание. Все ниже опускаются пылающие леса заката.

Н и к и ф о р. Теперь убили.

П я т и р у б е л ь *(склонился над неподвижным Менделем)*. Миш?..

Л е в к а *(приподнимается, хватаясь за землю кулаками. Он плачет и топает ногой)*. Он под низ живота меня бил, сука!

П я т и р у б е л ь. Миш?..

Б е н я *(оборачивается к толпе зевак)*. Что вы здесь забыли?

П я т и р у б е л ь. А я говорю — еще не вечер. Еще тыща верст до вечера.

А р ь е - Л е й б *(на коленях перед поверженным стариком)*. Ай, русский человек, зачем шуметь, что еще не вечер, когда ты видишь, что перед нами уже нет человека?

Л е в к а *(кривые ручьи слез и крови текут по его лицу)*. Он под низ живота меня бил, сука!

П я т и р у б е л ь *(отходит, пошатываясь)*. Двое — на одного.

А р ь е - Л е й б. Иди со двора, Иван.

П я т и р у б е л ь. Двое — на одного... Стыд, стыд на всю Молдаву! *(Уходит, спотыкаясь.)*

Арье-Лейб вытирает мокрым платком раздробленную голову Менделя. В глубине двора неверными кругами движется Н е х а м а — одичавшая, грязно-серая. Она становится на колени рядом с Арье-Лейбом.

Н е х а м а. Не молчи, Мендель.

Б о б р и н е ц *(густым голосом)*. Довольно строить штуки, старый шутник!

Н е х а м а. Кричи что-нибудь, Мендель!

Б о б р и н е ц. Вставай, старый ломовик, прополощи глотку, пропусти шкалик...

На земле, расставив босые ноги, сидит Левка. Он не торопясь выплевывает изо рта длинные ленты крови.

Б е н я *(загнал зевак в тупик, прижал к стене обезумевшего от страха парня лет двадцати и взял его за грудь)*. Ну-ка, назад!

Молчание. Вечер. Синяя тьма, но над тьмою небо еще багрово, раскалено, изрыто огненными ямами.



## СЕДЬМАЯ СЦЕНА

Каретник Криков — сваленные в кучу хомуты, распряженные дрожки, сбруя. Видна часть двора.

В дверях за небольшим столом пишет Б е н я. На него наскакивает лысый нескладный мужик С е м е н, тут же шныряет м а д а м   П о п я т н и к. Во дворе на телеге с торчащим дышлом сидит, свесив ноги, М а й о р. К стенке приставлена новая вывеска. На ней золотыми буквами: «Извозопромышленное заведение Мендель Крик и сыновья». Вывеска украшена гирляндами подков и скрещенными кнутами.

С е м е н. Я ничего не знаю... Мне штоб деньги были...

Б е н я *(продолжает писать)*. Грубо говоришь, Семен.

С е м е н. Мне штоб деньги были... Я глотку вырву!

Б е н я. Добрый человек, я на тебя плевать хочу!

С е м е н. Ты куда старика дел?

Б е н я. Старик больной.

С е м е н. Вон тута на стенке он писал, сколько за овес следует, сколько за сено — все чисто. И платил. Двадцать годов ему возил, худого не видел.

Б е н я *(встает)*. Ты ему возил, а мне не будешь, он на стенке писал, а я не буду писать, он платил тебе, а я, может, и не заплачу, потому что...

М а д а м   П о п я т н и к *(с величайшим неодобрением разглядывает мужика)*. Человек, когда он дурак,— это очень паскудно.

Б е н я. ...потому что ты можешь у меня помереть, не поужинав, добрый человек.

С е м е н *(струсил, но еще петушится)*. Мне штоб деньги были!

М а д а м   П о п я т н и к. Я не философка, мосье Крик, но я вижу, что на свете живут люди, которые совсем не должны жить на свете.

Беня. Никифор!

Входит Никифор, он смотрит исподлобья, говорит нехотя.

Никифор. Я Никифор.

Беня. Рассчитаешь Семена и возьмешь у Грошева.

Никифор. Там поденные пришли, спрашивают, кто с ними уговариваться будет.

Беня. Я буду уговариваться.

Никифор. Стряпка там шурует. У ней самовар хозяин в заклад брал. У кого, спрашивает, самовар выкупать?

Беня. У меня выкупать... Семена рассчитаешь вчистую. Возьмешь у Грошева сена пятьсот пудов...

Семен *(остолбенев)*. Пятьсот?! Двадцать годов возил...

Мадам Попятник. За свои деньги можно достать и сено, и овес, и вещи получше сена.

Беня. Овса — двести.

Семен. Я возить не отказываюсь.

Беня. Потеряй мой адрес, Семен.

Семен мнет шапку, вертит шеей, уходит, оборачивается, опять уходит.

Мадам Попятник. Один паскудный мужик и так разволновал вас... Боже мой, если бы люди захотели вспомнить, кто им остался должен! Еще сегодня я говорю моему Майору: муж, миленький муж, Мендель Крик заслужил у нас эти несчастные два рубля...

Майор *(мелодическим глухим голосом)*. Рубль девяносто пять.

Беня. Какие два рубля?

Мадам Попятник. Не о чем говорить, ей-богу, не о чем говорить!.. В прошлый четверг у мосье Крика было дивное настроение, он заказал военное... Сколько раз военное, Майор?

Майор. Военное — девять раз.

Мадам Попятник. И потом танцы...

Майор. Двадцать один танец.

Мадам Попятник. Вышло рубль девяносто пять. Боже мой, заплатить музыканту — это было у мосье Крика на первом плане...

Шлепая сапогами, входит Никифор. Он смотрит в сторону.

Никифор. Потаповна пришла.

Беня. Зачем мне знать, что кто-то пришел?

Никифор. Грозится.

Беня. Зачем мне знать...

Припадая на ногу, ворочая чудовищным бедром, вламывается Потаповна. Старуха пьяна. Она валится на землю и устремляет на Беню мутные немигающие глаза.

Потаповна. Цари наши...

Беня. Что скажете, мадам Холоденко?

Потаповна. Цари наши...

Никифор. Пошла дурить!

Потаповна *(подмигивает)*. Д-ж-ж, жидовские шарики жужжат... Прыгают в голове шарики — д-ж-ж-ж.

Беня. В чем суть, мадам Холоденко?

Потаповна *(бьет по земле кулаком)*. Правильно, правильно! Нехай умный панует, а свинья в монопольку...

Мадам Попятник. Интеллигентная дама!

Потаповна *(разбрасывает по земле медяки)*. Вот сорок копеек заработала... Встала, света не было, мужиков на Балтской дороге поджидала... *(Задирает голову к небу.)* Теперь сколько часов будет? Три будет?

Беня. В чем суть, мадам Холоденко?

Потаповна. Д-ж-ж-ж, пустил шарики...

Беня. Никифор!

Никифор. Ну?

Потаповна *(подманивает Никифора толстым слабым пьяным пальцем)*. А девочка-то наша занеслась, Никиша!

Мадам Попятник *(присела и зажглась)*. Интрига, ай, какая интрига!

Беня. Что вы потеряли здесь, мадам Попятник, и что вы хотите здесь найти?

Мадам Попятник *(приседает, глазки ее ворочаются, стреляют, сыплют искры)*. Я иду... я иду... Дай бог свидеться в счастье, в удовольствии, в добрый час, в счастливую минуту!.. *(Она дергает мужа за руки, пятится, вертится, глаза стали у нее косые и светят вбок черным огнем.)*

Майор тащится за женой и шевелит пальцами. Наконец они исчезают.

Потаповна *(размазывает слезы по мятому дряблому лицу)*. Ночью я к ней подобралась, грудь тронула, я ей каждую ночь грудь трогаю, а у ней уже налилось, в руке не помещается.

Беня *(лоск с него слетел. Он говорит быстро, оглядывается)*. Какой месяц?

Потаповна *(не мигая смотрит она на Беню с земли)*. Четвертый.

Б е н я. Врешь!

П о т а п о в н а. Ну, третий.

Б е н я. Чего тебе от нас надо?

П о т а п о в н а. Д-ж-ж, пустил шарики...

Б е н я. Чего тебе надо?

П о т а п о в н а *(подвязывает платок)*. Вычистка сто рублей стоит.

Б е н я. Двадцать пять!

П о т а п о в н а. Портовых наведу.

Б е н я. Портовых наведешь?.. Никифор!

Н и к и ф о р. Я Никифор.

Б е н я. Взойди к папаше и спроси его, приказывает он давать двадцать пять...

П о т а п о в н а. Сто!

Б е н я. ...двадцать пять рублей на вычистку или не приказывает?

Н и к и ф о р. Не взойду я.

Б е н я. Не взойдешь?! *(Он бросается к ситцевой занавеске, разделяющей каретник на две половины.)*

Н и к и ф о р *(хватает Беню за руки)*. Парень, я бога не боюсь... Я бога видел и не испугался... Я убью и не испугаюсь...

Занавеска трепещет и раздвигается. Выходит М е н д е л ь. За спину у него закинуты сапоги. Лицо его сине и одутловато, как лицо мертвеца.

М е н д е л ь. Отоприте.

П о т а п о в н а. Ай, страшно!

Н и к и ф о р. Хозяин!

К каретнику приближаются А р ь е - Л е й б и Л е в к а.

М е н д е л ь. Отоприте.

П о т а п о в н а *(лезет по полу)*. Ай, страшно!

Б е н я. Взойдите в помещение к вашей супруге, папаша.

М е н д е л ь. Ты отопрешь мне ворота, Никифор, сердце мое...

Н и к и ф о р *(падает на колени)*. Великодушно прошу вас, хозяин, не срамитесь передо мной, простым человеком!

М е н д е л ь. Почему ты не хочешь отпереть ворота, Никифор? Почему ты не хочешь выпустить меня из двора, в котором я отбыл мою жизнь? *(Голос старика усиливается, свет разгорается на дне его глаз.)* Он видел меня, этот двор, отцом моих детей, мужем моей жены, хозяином над моими конями. Он видел силу мою, и двадцать моих жеребцов, и двенадцать площадок, окованных железом. Он

видел ноги мои, большие, как столбы, и руки мои, злые руки мои... А теперь отоприте мне, дорогие сыны, пусть будет сегодня так, как я хочу. Пусть я уйду из этого двора, который видел слишком много...

Б е н я. Взойдите в помещение к вашей супруге, папаша! *(Он приближается к отцу.)*

М е н д е л ь. Не бей меня, Бенчик.

Л е в к а. Не бей его.

Б е н я. Низкие люди!.. *(Пауза.)* Как вы могли... *(Пауза.)* Как могли вы сказать то, что вы только что сказали?

А р ь е - Л е й б. Отчего вы не видите, люди, что вам надо уйти отсюда?

Б е н я. Звери, о звери!.. *(Он быстро уходит. Левка за ним.)*

А р ь е - Л е й б *(ведет Менделя к лежанке)*. Мы отдохнем, Мендель, мы заснем...

П о т а п о в н а *(поднялась с земли и заплакала)*. Убили сокола!..

А р ь е - Л е й б *(укладывает Менделя на лежанке за занавеской)*. Мы заснем, Мендель...

П о т а п о в н а *(валится на землю рядом с лежанкой, она целует свисающую безжизненную руку старика)*. Сыночек мой, любочка моя!

А р ь е - Л е й б *(перекрывает лицо Менделя платком, садится и начинает тихо, издалека)*. В старые старинные времена жил человек Давид. Он был пастух и потом был царь, царь над Израилем, над войском Израиля и над мудрецами его...

П о т а п о в н а *(всхлипывает)*. Сыночек мой!

А р ь е - Л е й б. Богатство испытал Давид и славу, но не узнал сытости. Сила жаждет, и только печаль утоляет сердце. Состарившись, увидел Давид-царь на крышах Иерусалима, под небом Иерусалима Вирсавию, жену Урии-военачальника. Грудь Вирсавии была красива, ноги ее были красивы, веселье ее было велико. И был послан Урия-военачальник в битву, и царь соединился с Вирсавией, женой мужа, еще не умерщвленного. Грудь ее была красива, веселье ее было велико...



## ВОСЬМАЯ СЦЕНА

Столовая в доме Криков. Вечер. Комната ярко освещена доморощенной висячей лампой, свечами, вставленными в канделябры, и старинными голубыми лампами, ввинченными в стену. У стола, убранного цветами, заставленного закусками и вином, суетится мадам Попятник, облачившаяся в шелковое платье. В глубине столовой безмолвно сидит Майор. На нем вздулась бумажная манишка, флейта покоится на его коленях, он шевелит пальцами и двигает головой. Много гостей. Одни расхаживают по анфиладе раскрытых комнат, другие сидят у стены. В столовую входит беременная Клаша Зубарева. На ней платок, расписанный гигантскими цветами. За Клашей вваливается пьяный Левка, наряженный в парадную гусарскую форму.

Левка *(орет кавалерийские сигналы)*.

Всадники, други, вперед!
Рысью вперед!
По временам коням
Освежайте рот.

Клаша *(хохочет)*. Ой, живот! Ой, выкину!..

Левка. Левый шенкель приложи и направо поверни!

Клаша. Ой, уморил!..

Проходят. Навстречу им Боярский в сюртуке и Двойра.

Боярский. Мамзель Крик, на черное я не скажу, что оно белое, и на белое не позволю себе сказать, что оно черное. С тремя тысячами мы ставим конфексион на Дерибасовской и венчаемся в добрый час.

Двойра. Но почему сразу все три тысячи?

Боярский. Потому что мы имеем сегодня июль на дворе, а июль — это же не сентябрь. Демисезонный товар

работает у меня июль, а сентябрь работает у меня саки... Что вы имеете после сентября? Ничего. Сентяб, октяб, нояб, декаб... На ночь я не скажу, что это день, и на день не позволю себе сказать, что это ночь...

Проходят. Появляются Беня и Бобринец.

Беня. У вас готово, мадам Попятник?

Мадам Попятник. Николаю Второму не стыдно сесть за такой стол!

Бобринец. Вырази мне твою мысль, Беня.

Беня. Моя мысль такая: еврей не первой молодости, еврей, отходивший всю свою жизнь голый, и босой, и замазанный, как ссыльнопоселенец с острова Сахалина... И теперь, когда он, благодаря бога, вошел в свои пожилые годы, надо сделать конец этой бессрочной каторге, надо сделать, чтобы суббота была субботой...

Проходят Боярский и Двойра.

Боярский. Сентяб, октяб, нояб, декаб...

Двойра. И потом, я хочу, чтобы вы меня немножко любили, Боярский.

Боярский. А что с вами делать, если не любить вас? На котлеты вас рубить? Смешно, ей-богу!..

Проходят. У стены, под голубой лампой, сидит степенный прасол и парень в тройке, с толстыми ногами. Парень осторожно грызет подсолнухи и прячет шелуху в карман.

Парень с толстыми ногами. Р-раз ему в морду, два ему в морду, старик с катушек слетел.

Прасол. Татары — и те стариков почитают. Жизнь пройти — не поле перейти.

Парень с толстыми ногами. Кабы человек ловчился жить, а то... *(сплевывает шелуху)*, а то живет, как поживется. За что почитать-то?

Прасол. Что с дураком толковать...

Парень с толстыми ногами. Бенчик сена одного тыщу пудов купил.

Прасол. Старик по сто покупал — хватало.

Парень с толстыми ногами. Старика они все равно зарежут.

Прасол. Это жиды-то? Это отца-то?

Парень с толстыми ногами. Зарежут до смерти.

Прасол. Толкуй с дураком...

Проходят Беня и Бобринец.

Бобринец. Что же ты хочешь, Беня?

Беня. Я хочу, чтобы суббота была субботой. Я хочу, чтобы мы были люди не хуже других людей. Я хочу ходить вниз ногами и вверх головой... Ты понял меня, Бобринец?

Бобринец. Я понял тебя, Бенчик.

У стены рядом с Пятирубелем сидят надувшиеся от величия богачи муж и жена Вайнер.

Пятирубель *(тщетно ищет у них сочувствия)*. Городовикам ремни обрывал, на главной почте швейцара бил. По четверти выпивал, не закусывая, всю Одессу в руках держал... Вот какой старик был!

Вайнер долго ворочает тяжелым слюнявым языком, но разобрать, что он говорит, невозможно.

*(Робко.)* Они гундосые?

Мадам Вайнер *(злобно)*. Ну да!

Проходят Двойра и Боярский.

Боярский. Сентяб, октяб, нояб, декаб...

Двойра. И потом, я хочу ребенка, Боярский.

Боярский. Вот видите, ребенок при конфексионе — это красиво, это имеет вид. А ребенок без дела — какой это может иметь вид?

В величайшем возбуждении влетает мадам Попятник.

Мадам Попятник. Бен Захарья приехал! Раввин... Бен Захарья...

Комната наполняется гостями. Среди них Двойра, Левка, Беня, Клаша Зубарева, Сенька Топун; напомаженные кучера, переваливающиеся лавочники, пересмеивающиеся бабы.

Парень с толстыми ногами. На деньги и раввин прибежал. Тут как тут.

Арье-Лейб и Бобринец вкатывают большое кресло. Оно прячет в развороченных своих недрах крохотное тельце Бен Захарьи.

Бен Захарья *(визгливо)*. Еще только рассвет чихает, еще бог на небе красной водой умывается...

Бобринец *(хохочет, предвкушая замысловатый ответ)*. Почему красной, рабби?

Бен Захарья. ...еще я на спине лежу, как таракан...

Бобринец. Почему на спине, рабби?

Бен Захарья. По утрам бог переворачивает меня на спину, чтобы я не мог молиться. Богу надоели мои молитвы...

Бобринец шумно хохочет.

Еще курицы не вставали, а меня будит Арье-Лейб: бегите к Крикам, рабби, у них ужин, у них обед. Крики дадут вам пить, они дадут вам есть...

Б е н я. Они дадут вам пить, они дадут вам есть, все, что вы захотите, рабби.

Б е н  З х а р ь я. Все, что я захочу?.. И лошадей своих отдашь?

Б е н я. И лошадей моих отдам.

Б е н  З х а р ь я. Сбегайте тогда, евреи, в погребальное братство, запрягите его лошадей в их колесницу и отвезите меня... куда?

Б о б р и н е ц. Куда, рабби?

Б е н  З х а р ь я. На второе еврейское кладбище, дуралей!

Б о б р и н е ц *(шумно хохочет, срывает с раввина ермолку и целует его облезлую, розовую макушку)*. Ай, хулиган!.. Ай, умница!..

А р ь е - Л е й б *(представляет Беню)*. Это он и есть, рабби, сын Менделя — Бенцион.

Б е н  З х а р ь я *(жует губами)*. Бенцион... сын Сиона... *(Молчит.)* Соловья не кормят баснями, сын Сиона, а женщин мудростью...

Л е в к а *(оглушительным голосом)*. Кидайтесь на стулья, урканы, жмите скамейки!

К л а ш а *(качает головой, улыбается)*. Ох, здоровый!

Б е н я *(мечет на брата негодующий взгляд)*. Дорогие, присаживайтесь! Мосье Бобринец сядет рядом с рабби.

Б е н  З х а р ь я *(ерзает в кресле)*. Зачем я сяду с этим евреем, длинным, как наше изгнанье? Пусть государственный банк *(тычет пальцем в Клашу)* сядет рядом со мной...

Б о б р и н е ц *(предвкушая новую остроту)*. Почему государственный банк?

Б е н  З х а р ь я. Она лучше банка. В нее хорошо положишь — она такой процент даст, что пшенице завидно. Плохое в нее положишь — она всеми кишками заскрипит, чтобы выменять поломанную твою копейку на новый золотой... Она лучше банка, она лучше банка...

Б о б р и н е ц *(поднял кверху палец)*. Надо понимать, что он говорит.

Б е н  З х а р ь я. А где же звезда наша во Израиле, где хозяин дома сего, где рабби Мендель Крик?

Л е в к а. Он сегодня больной.

Б е н я. Рабби, он здоров... Никифор!

В дверях показывается Н и к и ф о р в затрапезном своем армяке.

Пусть взойдет папаша со своей супругой.

Молчание.

Н и к и ф о р *(отчаянным голосом)*. Уважающие гости!..

Б е н я *(очень медленно)*. Пусть взойдет папаша.

А р ь е - Л е й б. Бенчик, у нас, евреев, отца не срамят перед людьми.

Л е в к а. Рабби, человек так не мучает кабанчика, как он мучает папашу.

Вайнер возмущенно лопочет, брызгается слюной.

Б е н я *(склоняется к мадам Вайнер)*. Что он говорит?

М а д а м  В а й н е р. Он говорит — стыд и срам!

А р ь е - Л е й б. Евреи так не делают, Беня!

К л а ш а. Расти сынов...

Б е н я. Арье-Лейб, старый человек, старый сват, служитель в синагоге биндюжников и кладбищенский кантор, не расскажешь ли ты мне, как делаются дела у людей?.. *(Он стучит кулаком по столу и говорит с расстановкой, сопровождая каждое слово ударом кулака.)* Пусть взойдут папаша!

Никифор исчез. Склонив голову, расставив ноги, стоит Беня посреди комнаты. Медленная кровь заливает его шею. Молчание. И только бессмысленное бормотанье Бен Захарьи нарушает томительную тишину.

Б е н  З х а р ь я. Бог умывается на небе красной водой. *(Молчит, ерзает в кресле.)* Почему красной, почему не белой? Потому что красная веселее белой...

Половинки боковой двери скрипят, стонут и расходятся. Все лица обращаются в эту сторону. Показывается М е н д е л ь с иссеченным напудренным лицом. Он в новом костюме. С ним Н е х а м а в наколке, в тяжелом бархатном платье.

Б е н я. Друзья, сидящие в моем доме! Этот бокальчик позвольте мне поднять за моего отца, за труженика Менделя Крика, и его супругу, Нехаму Борисовну, которые тридцать пять лет идут по совместной дороге жизни. Дорогие! Мы знаем, слишком хорошо мы знаем, что никто не выложил цементом эту дорогу, никто не поставил скамеек на длинном этом пути, и оттого, что великие кучи людей пробежали по этой дороге, она не стала легче, она стала тяжелее. Друзья, сидящие в моем доме! Я жду от вас, что вы не разбавите водой вино в ваших стаканах и вино в ваших сердцах.

Вайнер восторженно лопочет.

Что он говорит?

Мадам Вайнер. Он говорит — ура!

Беня (*ни на кого не глядя*). Учи меня, Арье-Лейб!.. (*Подносит отцу и матери вино.*) Наши гости почитают вас, папаша. Скажите слово.

Мендель (*озирается и говорит очень тихо*). Желаю доброго здоровья...

Беня. Папаша хочет сказать, что он жертвует сто рублей в чью-нибудь пользу.

Прасол. Толкуют мне про жидов...

Беня. Пятьсот рублей жертвует папаша. В чью пользу, рабби?

Бен Зхарья. В чью пользу? Молоко в девушке не должно киснуть, евреи... В пользу невест-бесприданниц надо пожертвовать!

Бобринец (*заливается хохотом*). Ай, хулиган!.. Ай, умница!..

Мадам Попятник. Я даю туш.

Беня. Давайте!

Заунывный туш оглашает комнату. Вереница гостей с бокалами тянется к Менделю и Нехаме.

Клаша Зубарева. Ваше здоровье, дедушка!

Сенька Топун. Вагон удовольствия, папаша, сто тысяч на мелкие расходы!

Беня (*ни на кого не глядя*). Учи меня, Арье-Лейб!

Бобринец. Мендель, дай бог мне иметь такого сына, как твой сын!

Левка (*через весь стол*). Папаша, не серчайте! Папаша, вы свое отгуляли...

Прасол. Толкуют мне про жидов! Я жидов получше вашего знаю...

Пятирубель (*лезет к Бене и порывается целовать его*). Ты нас купишь, черт, и продашь, и в узел завяжешь!

Громкое рыдание раздается за спиной Бени. Слезы текут по лицу Арье-Лейба и опутывают его бороду. Он трясется и целует плечо Бени.

Арье-Лейб. Пятьдесят лет, Бенчик! Пятьдесят лет вместе с твоим отцом... (*Кричит истерически.*) У тебя был хороший отец, Беня!

Вайнер (*обрел дар речи*). Выведите его!

Мадам Вайнер. Боже, какие штуки!

Боярский. Арье-Лейб, вы ошиблись. Теперь надо смеяться.

Вайнер. Выведите его!

Арье-Лейб *(всхлипывает)*. У тебя был хороший отец, Беня...

Мендель бледнеет под своей пудрой. Он протягивает Арье-Лейбу новый платок. Тот вытирает слезы. Плачет и смеется.

Бобринец. Болван, вы не у себя на кладбище!

Пятирубель. Свет наскрозь пройдете, такого Бенчика не сыщете. Я об заклад буду биться...

Беня. Дорогие, присаживайтесь!

Левка. Жмите скамейки, урканы!

Гром сдвигаемых стульев. Менделя усаживают рядом с рабби и Клашей Зубаревой.

Бен Зхарья. Евреи!

Бобринец. Тихо чтоб было!

Бен Зхарья. Старый дуралей Бен Зхарья хочет сказать слово...

Левка фыркает, падает грудью на стол, но Беня встряхивает его, и он замолкает.

День есть день, евреи, и вечер есть вечер. День затопляет нас потом трудов наших, но вечер держит наготове веера своей божественной прохлады. Иисус Навин, остановивший солнце, всего только сумасброд. Иисус из Назарета, укравший солнце, был злой безумец. И вот Мендель Крик, прихожанин нашей синагоги, оказался не умнее Иисуса Навина. Всю жизнь хотел он жариться на солнцепеке, всю жизнь хотел он стоять на том месте, где его застал полдень. Но бог имеет городовых на каждой улице, и Мендель Крик имел сынов в своем доме. Городовые приходят и делают порядок. День есть день, и вечер есть вечер. Все в порядке, евреи. Выпьем рюмку водки!

Левка. Выпьем рюмку водки!..

Дребезжанье флейты, звон бокалов, бессвязные крики, громовой хохот.




## МАРИЯ

*Пьеса в 8 картинах*

### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Муковнин Николай Васильевич.
Людмила — его дочь.
Фельзен Катерина Вячеславовна.
Дымшиц Исаак Маркович.
Голицын Сергей Илларионович — бывший князь.
Нефедовна — нянька в доме Муковнина.
Евстигнеич, Бишонков, Филипп — инвалиды.
Висковский — бывший ротмистр гвардии.
Кравченко.
Мадам Дора.
Надзиратель — в милиции.
Калмыкова — горничная в номерах на Невском, 86.
Агаша — дворничиха.
Андрей, Кузьма — полотеры.
Сушкин.
Сафонов — рабочий.
Елена — его жена.
Нюшка.
Милиционер.
Пьяный — в милиции.
Красноармеец — с фронта.

Действие происходит в Петрограде, в первые годы революции.



## КАРТИНА ПЕРВАЯ

**Номера на Невском. Комната Дымшица — грязно, нагромождение мешков, ящиков, мебели. Два инвалида, Бишонков и Евстигнеич, раскладывают привезенные продукты. У Евстигнеича — тучного человека с большим красным лицом — выше колен отняты ноги. У Бишонкова зашпилен пустой рукав. На груди у инвалидов — медали, георгиевские кресты. Дымшиц бросает на счетах.**

Евстигнеич. Дорогу всю расшлепали... Зандберг был на Вырице, людям жить давал,— убрали.

Бишонков. Слишком тиранят, Исаак Маркович.

Дымшиц. А Королев есть?

Евстигнеич. Зачем «есть»,— коцнули. Дорогу как есть расшлепали, все заградиловки новые.

Бишонков. Слишком стало затруднительно с продуктовым делом, Исаак Маркович. К одной заградиловке привыкнешь, а ее уже нет. Хоть бы отбирали, а то ведь смерть к глазам приставляют.

Евстигнеич. Ума не дашь... Кажный день изобретение делают... Подъезжаем нонче к Царскосельскому — стрельба. Что такое?.. Думаем — власть отошла, а они это моду такую взяли — допрежде всякого разбору бахать.

Бишонков. Большое богатство продуктов нонешний день отобрали. Деткам, говорят, пойдет... В Царском Селе в настоящее время одни дети — колония считается.

Евстигнеич. Деткам, да с бородой.

Бишонков. А если я голодный, неужели ж я себе не возьму? Обязательно я себе возьму, если я голодный.

Дымшиц. Где Филипп? Я о Филиппе думаю... Зачем вы человека бросили?

Бишонков. Мы его, Исаак Маркович, не бросали: он чувства свои потерял.

Евстигнеич. Водит его кто-нибудь...

Б и ш о н к о в. Одно слово — тиранство, Исаак Маркович.

Е в с т и г н е и ч. Того же Филиппа взять: мужчина рослый, заметный, а внутренности нет, внутренность слабая... Подъезжаем к вокзалу — стрельба, народ плачет, падает... Я ему говорю: «Филипп, говорю, мы форткой на Загородный пройдем, там вся цепочка своя». А уж он не тот, потерялся. «Я, говорит, опасываюсь идти».— «Ну, говорю, опасываешься,— сиди... Спиртонос — божий человек, только в морду дадут, чего тебе бояться? На тебе один пояс с вином...» А его уж к полу привалило. Мужчина сильный, лошадиная сила, а внутренность не та.

Б и ш о н к о в. Мы так надеемся, Исаак Маркович,— отыщется. За ним следу большого нет.

Д ы м ш и ц. Почем колбасу брали?

Б и ш о н к о в. Колбасу, Исаак Маркович, по восемнадцать тысяч брали, да и похужело. В настоящее время что Витебск, что Петроград — один завод.

Е в с т и г н е и ч *(открывает в стенке потайное место, переносит туда продукты)*. Подравняли Расею.

Д ы м ш и ц. Крупа почем?

Б и ш о н к о в. Крупа, Исаак Маркович, девять тысяч, а слово напротив скажешь — не бери. Торговлей никак не интересуются. Он того только и ждет, чтобы тебе не понравилось. Такой кураж у этих купцов пошел — не передать!

Е в с т и г н е и ч *(прячет в стену хлебы)*. Супруги сами хлебы пекли, свои труды клали... Кланяться велели.

Д ы м ш и ц. Дети как — живы, здоровы?

Б и ш о н к о в. Дети живы, здоровы, очень благополучны. Одеваны в шубки, богатые детки... Супруга приехать просят.

Д ы м ш и ц. Больше делать нечего... *(Бросает на счетах.)* Бишонков!

Б и ш о н к о в. Я.

Д ы м ш и ц. Не вижу пользы, Бишонков.

Б и ш о н к о в. Слишком затруднительно стало, Исаак Маркович.

Д ы м ш и ц. Расчету не вижу, Бишонков.

Б и ш о н к о в. Расчету, Исаак Маркович, никак не видать... У нас с Евстигнеичем такая думка, что надо на другой товар перекидаться. Продукт — он вещество громоздкое: мука — она громоздкая, крупа — громоздкая, ножка телячья — тоже громоздкая. Надо, Исаак Маркович, на другое перекидаться — на сахарин или, там, на камешки... Бриллиант — это прелестное вещество: за щеку положил — и нету.

Дымшиц. Филиппа нет... Я об Филиппе думаю.

Евстигнеич. Пожалуй, покалечили.

Бишонков. И то сказать,— инвалид по восемнадцатому году фирма была, а в настоящий момент...

Евстигнеич. Куда тебе,— образовались! Раньше у народа перед инвалидами совести не хватало, а теперь — ноль внимания. «Ты зачем инвалид?» — спрашивают. «У меня, говорю, бризантный снаряд обе ноги отобрал».— «А в этом, говорят, ничего такого особенного нет, у тебя, говорят, без страдания оторвало, сразу... Ты, говорят, страдания не принимал».— «Как это, говорю, страдания не принимал?» — «А так, говорят, известная вещь: тебе ноги под хлороформом подравняли, ты ничего и не слыхал. У тебя только с пальцами недоразумение, пальцы у тебя вроде стремят, чешутся, хотя они и отобраны, и больше ничего такого с тобой нет».— «Как ты, говорю, можешь это знать?» — «А так, говорит,— народ, слава те филькиной сучке, образовался».— «Видно, образовался, если инвалида с поезда скидает... Зачем ты, говорю, меня на путь скидаешь? Я калека...» — «А потому и скидаем, что нам в Расее, говорит, на калек глядеть обрыдло». И скидает, как поленницу... Я, Исаак Маркович, очень на наш народ обижаюсь.

Входит Висковский — в бриджах, в пиджаке. Рубаха расстегнута.

Дымшиц. Это вы?

Висковский. Это я.

Дымшиц. А где здравствуйте?

Висковский. Людмила Муковнина приходила к вам, Дымшиц?

Дымшиц. Здравствуйте собака съела?.. А если приходила, так что?

Висковский. Кольцо Муковниных у вас, я знаю, Мария Николаевна передать его вам не могла...

Дымшиц. Передали мне люди, не обезьяны.

Висковский. Как попало к вам это кольцо, Дымшиц?

Дымшиц. Люди дали, чтоб продать.

Висковский. Продайте мне.

Дымшиц. Почему вам?

Висковский. Пытались вы когда-нибудь быть джентльменом, Дымшиц?

Дымшиц. Я всегда джентльмен.

Висковский. Джентльмены не задают вопросов.

Дымшиц. Люди хотят валюту за кольцо.

В и с к о в с к и й. Вы должны мне пятьдесят фунтов.

Д ы м ш и ц. За какие такие дела?

В и с к о в с к и й. За дело с нитками.

Д ы м ш и ц. Которые вы просыпали...

В и с к о в с к и й. В конной гвардии нас не учили торговать нитками.

Д ы м ш и ц. Вы просыпали потому, что вы горячий.

В и с к о в с к и й. Дайте срок, маэстро, я научусь.

Д ы м ш и ц. Что за учение, когда вы не слушаетесь? Вам говорят одно, вы делаете другое... На войне вы там ротмистр или граф,— я не знаю, кто вы там,— может быть, на войне нужно, чтобы вы были горячий, но в деле купец должен видеть, куда он садится.

В и с к о в с к и й. Слушаю-с.

Д ы м ш и ц. Я серчаю на вас, Висковский, я еще за другое на вас серчаю. Что это был за номер с княжной?

В и с к о в с к и й. Задумано, как побогаче.

Д ы м ш и ц. Вы знали, что она девушка?

В и с к о в с к и й. Самый цимис...

Д ы м ш и ц. Так вот, этого цимиса мне не надо. Я маленький человек, господин ротмистр, и не хочу, чтобы эта княжна приходила ко мне, как божья матерь с картины, и смотрела на меня глазами, как серебряные ложки... О чем шел разговор? — спрашиваю я вас. Пусть это будет женщина под тридцать, мы говорили, под тридцать пять, домашняя женщина, которая знает, почем пуд лиха, которая взяла бы мою крупу и печеный хлеб и четыреста граммов какао для детей — и не сказала бы мне потом: «Паршивый мешочник, ты меня запачкал, ты мною воспользовался».

В и с к о в с к и й. Про запас остается младшая Муковнина.

Д ы м ш и ц. Она врунья. Я не люблю женщину, когда она врунья... Почему вы меня со старшей не познакомили?

В и с к о в с к и й. Мария Николаевна уехала в армию.

Д ы м ш и ц. Вот это был человек — Мария Николаевна, вот тут было на что посмотреть, с кем поговорить... Вы дождались того, что она уехала.

В и с к о в с к и й. Со старшей это сложно, Дымшиц. Это очень сложно.

Е в с т и г н е и ч. «Тебя, говорит, без страху убило, ты, говорит, отмучился»,— вон ведь как он меня обеспечил...

Отдаленный выстрел, потом ближе; выстрелы учащаются. Дымшиц гасит свет, запирает двери на ключ. Свет из окна, зеленые стекла, мороз.

*(Шепотом.)* Житуха...


...всё требуют
к текущему моменту

Б и ш о н к о в. Окаянство!

Е в с т и г н е и ч. Все матросня орудует...

Б и ш о н к о в. Никак жизни нет, Исаак Маркович!

Стук в дверь. Молчание. Висковский вынимает револьвер из кармана, открывает предохранитель. Снова стук.

Кто там?

Ф и л и п п *(за дверью)*. Я.

Е в с т и г н е и ч. Голос дай... Кто это я?

Ф и л и п п. Откройте.

Д ы м ш и ц. Это Филипп.

Бишонков открывает дверь. В комнату проникает бесформенное огромное существо. Вошедший приваливается к стене, молчит. Вспыхивает свет. Половина Филиппова лица заросла диким мясом. Голова его упала на грудь, глаза закрыты.

В тебя стреляли?

Ф и л и п п. Не.

Е в с т и г н е и ч. Наморился, Филипп?

Евстигнеич с Бишонковым снимают с Филиппа тулуп, верхнюю одежду, вытаскивают из-под нее резиновый костюм, бросают его на пол. Безрукий резиновый человек — второй Филипп — распростерт на полу. Пальцы Филиппа изрезаны, кровоточат.

Оборудовали как следует быть... Человеки зовемся...

Ф и л и п п *(голова его все свалена на грудь)*. По следу... по следу шел...

Е в с т и г н е и ч. Он шел?

Ф и л и п п. Он.

Е в с т и г н е и ч. В крагах?

Ф и л и п п. Он.

Е в с т и г н е и ч. Таперича взялись...

Д ы м ш и ц. До дому довел?

Ф и л и п п *(с трудом выговаривая слова)*. До дому не довел... Стрельба перехватила, на стрельбу пошел...

Бишонков с Евстигнеичем подхватывают раненого, укладывают его.

Е в с т и г н е и ч. Я тебе сказывал — воротами пройдем...

Филипп стонет, охает. Вдалеке выстрелы, пулеметная очередь, потом тишина.

Житуха...

Б и ш о н к о в. Окаянство!..

В и с к о в с к и й. Где кольцо, маэстро?

Д ы м ш и ц. Приспичило с кольцом, горит под вами...



## КАРТИНА ВТОРАЯ

Комната в доме Муковнина, служащая одновременно спальней, столовой, кабинетом,— комната 20-го года. Стильная старинная мебель; тут же «буржуйка», трубы протянуты через всю комнату; под печкой сложены мелко наколотые дрова. За ширмой одевается, перед тем как ехать в театр, Людмила Николаевна. На лампе греются щипцы для завивки волос. Катерина Вячеславовна гладит платье.

Людмила. Сударыня, ты отстала... В Мариинке теперь очень нарядная публика. Сестры Крымовы, Варя Мейендорф — все одеваются по журналу и живут превосходно, уверяю тебя.

Катя. Да кто теперь хорошо живет? Нет таких.

Людмила. Очень есть. Ты отстала, Катюша... Господа пролетарии входят во вкус: они хотят, чтобы женщина была изящна. Ты думаешь, твоему Редько нравится, когда ты ходишь замарашкой? Ничуть не нравится... Господа пролетарии входят во вкус, Катюша.

Катя. На твоем месте я бы ресниц не делала, и это платье без рукавов...

Людмила. Сударыня, вы забываете — я с кавалером.

Катя. Кавалер, пожалуй, не разберет.

Людмила. Не скажи. У него свой вкус, темперамент...

Катя. Рыжие горячи — это известно.

Людмила. Какой же он рыжий, мой Дымшиц? Он шоколадный.

Катя. И правда — у него так много денег?.. Висковский, по-моему, бредит.

Людмила. У Дымшица шесть тысяч фунтов стерлингов.

Катя. Все на калеках нажил?

Людмила. Ничего не на калеках... Вольно же было другим додуматься. У них артель, складчина. Инвалидов до сих пор не обыскивали, легче было провезти.

Катя. Нужно быть евреем, чтобы додуматься...

Людмила. Ах, Катюша, лучше быть евреем, чем кокаинистом, как наши мужчины... Один, смотришь, кокаинист, другой дал себя расстрелять, третий в извозчики пошел, стоит у «Европейской», седоков поджидает... Par le temps qui court[1] евреи вернее всего.

Катя. Да уж вернее Дымшица не найти.

Людмила. И потом, мы бабы... Katy, мы простые бабы, вот как дворникова Агаша говорит, «трепаться надоело». Мы не умеем быть неприкаянными, правда же, не умеем...

Катя. И детей родишь?

Людмила. Рожу двух рыженьких.

Катя. Значит — законный брак?

Людмила. С евреями иначе нельзя, Катюша. Они страшно семейственны, жена у них советчица, над детьми они трясутся... И потом — еврей всегда благодарен женщине, которая ему принадлежала. Поэтому — эта благородная черта — уважение к женщине.

Катя. Да ты откуда евреев так знаешь?

Людмила. Ну вот — «откуда». Папа в Вильне корпусом командовал, там все евреи... У папы приятель раввин был... Они все философы — их раввины.

Катя *(подает через ширму разглаженное платье)*. После театра — ужин?

Людмила. Не исключено.

Катя. Конечно, вы выпьете, Людмила Николаевна, порыв страсти, все потонуло в тумане...

Людмила. Пальцем в небо, сударыня!.. Манеж будет продолжаться месяц, два месяца — с евреями так надо. Еще даже не решено, будут ли поцелуи...

Входит генерал в валенках; шинель на красной подкладке переделана в халат; две пары очков.

Муковнин *(читает)*. «...Октября шестнадцатого дня тысяча восемьсот двадцатого года, в царствование благословенного императора Александра, рота лейб-гвардии Семеновского полка, забыв долг присяги и воинского повиновения начальству, дерзнула самовольно собраться в позднее вечернее время...» *(Подымает голову.)* В чем же оно выразилось — забвение присяги? Выразилось оно в том, что люди вышли в коридор после переклички и решили просить у командира роты отмены очередного смотра по десяткам на дому... у командира полка бывали и такие смотры. За это, за так называемый бунт, было определено

---

[1] В наше время *(фр.)*.

наказание... какое? *(Читает.)* «...Нижних чинов, признанных зачинщиками, лишить живота, людей первой и второй рот, подавших пример беспорядка, наказать виселицей, рядовых, помянутых в параграфе третьем, в пример другим, прогнать шпицрутенами сквозь батальон по шести раз...»

Людмила. Разве это не ужасно?

Катя. Кто же спорит, что прежде было много жестокого?

Людмила. По-моему, большевики должны ухватиться за папину книгу. Им же выгодно, чтобы бранили старую армию.

Катя. Они все требуют к текущему моменту.

Муковнин. Я разбиваю семеновскую трагедию на две главы. Первая — исследование причин мятежа, вторая — описание бунта, истязаний, отсылки в рудники... История моя будет история казармы,— не перечень народов, а судьба всех этих Сидоровых и Прошек, отданных Аракчееву, сосланных на двадцатилетнюю военную каторгу.

Людмила. Папа, ты должен прочитать Кате главу об императоре Павле. Если бы жил Толстой, он оценил бы, я уверена.

Катя. В газетах все требуют к настоящему моменту.

Муковнин. Без познания прошлого — нет пути к будущему. Большевики исполняют работу Ивана Калиты — собирают русскую землю. Мы, кадровые офицеры, нужны им хотя бы для того, чтобы рассказать о наших ошибках...

Звонок. Возня в прихожей. Входит Дымшиц с пакетами, в шубе.

Дымшиц. Здравия желаю, Николай Васильевич! Здравия желаю, Катерина Вячеславна! Людмила Николаевна в доме?

Катя. Ждет вас.

Людмила *(из-за ширмы)*. Я одеваюсь...

Дымшиц. Здравия желаю, Людмила Николаевна! На улице такая погода, что хороший хозяин собаку не выпустит... Меня привез Ипполит, наговорил полную голову, все шиворот-навыворот,— такого типа поискать надо... Мы не опоздаем, Людмила Николаевна?

Муковнин. На улице белый день, а они в театр.

Катя. Николай Васильевич, театры теперь начинают в пять часов дня.

Муковнин. Электричество экономят?

Катя. Во-первых, электричество. Потом, если поздно возвращаться,— разденут.

Дымшиц *(раскладывая пакеты)*. Маленький окорочок, Николай Васильевич. Я в этом не специалист, но мне его продали, как хлебный... Хлебом его кормили или чем другим — при этом мы не были...

Катя отошла в угол, курит.

Муковнин. Право, Исаак Маркович, вы слишком добры к нам.

Дымшиц. Немножко шкварок...

Муковнин *(не понял)*. Виноват!

Дымшиц. У вашего папы вы этого не кушали, но в Минске, в Вилюйске, в Чернобыле их уважают. Это кусочки от гусятины. Вы отведаете и скажете мне ваше мнение... Как поживает книжка, Николай Васильевич?

Муковнин. Книжка подвигается. Я подошел к царствованию Александра Павловича.

Людмила. Читается, как роман, Исаак Маркович. Я считаю, что это напоминает «Войну и мир»,— там, где Толстой о солдатах говорит...

Дымшиц. Очень приятно слушать... На улице пусть стреляют, Николай Васильевич, на улице пусть бьются головой об стенку,— вы должны делать свое. Кончите книжку — магарыч мой, и на первые сто экземпляров — я покупатель... Кусочек сальтисона, Николай Васильевич: сальтисон домашний, от одного немца...

Муковнин. Исаак Маркович, право, я рассержусь...

Дымшиц. Это для меня честь, чтобы генерал Муковнин на меня сердился... Сальтисон дивный! Этот немец был довольно видный профессор, теперь занимается колбасами... Людмила Николаевна, я сильно подозреваю, что мы опоздаем.

Людмила *(из-за ширмы)*. Я готова.

Муковнин. Сколько я вам должен, Исаак Маркович?

Дымшиц. Вы мне должны подкову от лошади, которая издохла сегодня на Невском проспекте.

Муковнин. Нет, серьезно...

Дымшиц. Хотите серьезно — две подковы от двух лошадей.

Из-за ширмы выходит Людмила Николаевна. Она ослепительна, стройна, румяна. В мочках ушей бриллианты. На ней черное бархатное платье без рукавов.

Муковнин. Хороша у меня дочка, Исаак Маркович?

Дымшиц. Не скажу — нет.

Катя. Вот это она и есть, Исаак Маркович,— русская красота.

Дымшиц. Не специалист в этом, но вижу, что хорошо.

Муковнин. Я вас еще со старшей моей познакомлю — с Машей.

Людмила. Предупреждаю: Мария Николаевна у нас любимица,— и вот, пожалуйте, любимица в солдаты ушла.

Муковнин. Какие же это солдаты, Люка?.. В политотдел.

Дымшиц. Ваше превосходительство, про политотдел спросите меня. Это те же солдаты.

Катя *(отводит Людмилу в сторону)*. Право, серег не надо.

Людмила. Ты думаешь?

Катя. Конечно, не надо. И потом — этот ужин...

Людмила. Сударыня, спите спокойно. Ученого учить... *(Целует Катю.)* Катюша, ты глупая, милая... *(Дымшицу.)* Мои ботики... *(Отвернувшись, снимает серьги.)*

Дымшиц *(кидается)*. Момент!

Одевание: ботики, шуба, оренбургский платок. Дымшиц услуживает, мечется.

Людмила. Надеваю и сама удивляюсь — еще не продано... Папа, изволь без меня принять лекарство. И не давай ему работать, Катя.

Муковнин. Мы домовничать будем с Катей.

Людмила *(целует отца в лоб)*. Вам нравится мой папка, Исаак Маркович? Правда, он у нас не такой, как у всех...

Дымшиц. Николай Васильевич роскошь, а не человек!

Людмила. Его никто не знает — одни мы... Где вы оставили князя Ипполита?

Дымшиц. Оставил у ворот. Приказ — ждать, дисциплина. Момент — и будем там... Всего хорошего, Николай Васильевич!

Катя. Очень не кутите.

Дымшиц. Очень не будем, теперь это обеспечено.

Людмила. Папочка, до свидания!

Муковнин провожает дочь и Дымшица в переднюю. Голоса и смех за дверью. Генерал возвращается.

Муковнин. Очень милый и достойный еврей.

Катя *(забилась в угол дивана, курит)*. Мне кажется — им всем не хватает такта.

Муковнин. Катя, голубчик, откуда взяться такту?.. Людям позволяли жить на одной стороне улицы и городовыми гнали с другой. Так было в Киеве, на Бибиковском бульваре. Откуда такту взяться? Тут другому надо удивляться — энергии, жизненной силе, сопротивляемости...

Катя. Энергия эта вошла теперь в русскую жизнь, но мы ведь другие, все это чуждо нам.

Муковнин. Фатализм — вот это нам не чуждо. Распутин и немка Алиса, погубившая династию,— это нам не чуждо. Ничего, кроме пользы, от чудесного этого народа, давшего Гейне, Спинозу, Христа...

Катя. Вы и японцев хвалили, Николай Васильевич.

Муковнин. Что ж японцы... Японцы — великий народ, у них учиться и учиться.

Катя. Вот и видно, что Марье Николаевне есть в кого пойти... Вы большевик, Николай Васильевич.

Муковнин. Я русский офицер, Катя, и спрашиваю: как это так, господа, с каких пор, спрашиваю я, правила военной игры стали чуждыми для вас?.. Мы мучили и унижали этих людей, они защищались, они перешли в наступление и дерутся с находчивостью, с обдуманностью, с отчаянием, скажу я,— дерутся во имя идеала, Катя.

Катя. Идеал?.. Не знаю. Мы несчастны и счастливы не будем. Нами пожертвовали, Николай Васильевич.

Муковнин. Пусть растрясут Ванюху и Петруху, превосходно будет. И времени больше нет, Катя... Единственный русский император, Петр, сказал: «Промедление времени смерти подобно». Вот заповедь! И если это так, то должно же у вас, господа офицеры, хватить мужества посмотреть на карту, узнать, с какого фланга вы обойдены, где и почему нанесено вам поражение... Держать глаза открытыми — мое право, и я не отказываюсь от него.

Катя. Николай Васильевич, вам надо лекарство принять.

Муковнин. Соратникам моим, людям, с которыми я дрался бок о бок, я говорю: господа, tirez vos conclusions[1], промедление времени — смерти подобно. *(Уходит.)*

За стеной на виолончели холодно и чисто играют фугу Баха. Катя слушает, потом встает, подходит к телефону.

Катя. Дайте штаб округа... Дайте Редько... Это ты, Редько?.. Я хотела сказать... Надо думать, кроме тебя, еще есть люди, которые делают революцию, но вот ты один ни-

---

[1] Делайте выводы *(фр.)*.

как не найдешь времени, чтобы повидаться с человеком... С человеком, у которого ты ночуешь, когда тебе это надо...

Пауза.

Редько, прокати меня. Приезжай за мной на машине... Ну да, если ты занят... Нет, я не сержусь. За что же сердиться?.. *(Вешает трубку.)*

Музыка прекращается. Входит Голицын, длинный человек в солдатской куртке и обмотках, с виолончелью в руках.

Катя. Князь, как это вам сказали в трактире — «не играй плачевное»?

Голицын. «Не играй плачевное, не тяни жилы».

Катя. Им веселое нужно, Сергей Илларионович. Люди забыться хотят, отдыха...

Голицын. Не все. Другие требуют чувствительного.

Катя *(садится за рояль)*. Ваша публика — кто она?

Голицын. Грузчики с Обводного.

Катя. Пожалуй, в профсоюз пройдете... Вы и ужин там получаете?

Голицын. Получаю.

Катя *(играет «Яблочко», поет вполголоса)*.

Пароход идет, вода кольцами.
Будем рыбу мы кормить добровольцами.

Подбирайте за мной. Вы им лучше «Яблочко» в трактире сыграйте.

Голицын подбирает, фальшивит, потом поправляется.

Сергей Илларионович, стоит мне заняться стенографией?

Голицын. Стенографией? Не знаю.

Катя.

Я на бочке сидю, слезы капают,
Никто замуж не берет, только лапают...

В стенографистках нужда теперь.

Голицын. Не умею вам сказать. *(Подбирает «Яблочко».)*

Катя. Из всех нас настоящая женщина — Маша. У нее сила, смелость, она женщина. Мы вздыхаем здесь, а она счастлива в своем политотделе... Кроме счастья — какой другой закон выдумали люди?.. Его, верно, и нет, другого закона.

Голицын. Мария Николаевна руль всегда поворачивала круто. Этим она и отличается.

К а т я. Она права...

Ах ты, яблочко, куда котишься...

И потом, у нее роман с этим Аким Иванычем...

Г о л и ц ы н *(перестает играть)*. Кто это Аким Иваныч?

К а т я. Их командир дивизии, бывший кузнец... Она о нем в каждом письме упоминает.

Г о л и ц ы н. Почему же роман?

К а т я. Там между строк есть, я знаю... Или уехать мне в Борисоглебск, к родным? Все-таки гнездо... Вот вы в лавру к монаху этому ходите... как зовут его?

Г о л и ц ы н. Сионий.

К а т я. К Сионию. Чему он учит вас?

Г о л и ц ы н. Вы говорили о счастье... Он учит меня видеть его не в чувстве власти над людьми и не в этой беспрестанной жадности — жадности, которую мы утолить не можем.

К а т я. Давайте, Сергей Илларионович.

Я на бочке сидю, бочка котится,
Хоть в кармане ни гроша,
Выпить хотется...

Сионий — красивое имя.



## КАРТИНА ТРЕТЬЯ

**Людмила и Дымшиц в его номере. На столе остатки ужина, бутылки. Видна часть соседней комнаты. Бишонков, Филипп и Евстигнеич играют там в карты. Евстигнеича с отрубленными ногами поставили на стул.**

Людмила. Феликс Юсупов был бог по красоте, теннисист, чемпион России. Его красоте недоставало мужественности, в нем была кукольность... С Владимиром Баглеем мы встретились у Феликса. Император так до конца и не понял рыцарскую натуру этого человека. Его называли у нас «тевтонский рыцарь»... Фредерикс был дружен с князем Сергеем... Вы знаете князя Сергея, который играет на виолончели?.. На вечере был еще номер hors programme[1], архиепископ Амвросий. Старик ухаживал за мною,— можете себе представить! — подливал крюшону и делал такую постную, лукавую мину. Вначале я не произвела на Владимира впечатления, он признался мне в этом: «Вы были курносая, si démesurement russe[2], с пылающим румянцем...» На рассвете мы поехали в Царское, оставили машину в парке и взяли лошадь. Он сам правил. «Людмила Николаевна, нужно ли вам сказать, что я весь вечер не сводил с вас глаз?..» — «Это учтено Ниной Бутурлиной, mon prince». Я знала, что у них роман, вернее — флирт. «Бутурлина — c'est le passé, Людмила Николаевна...» — «On revient toujours, ses premiers ámours, mon prince»[3], Владимир не носил великокняжеского титула, он был от морганатического брака, их семья не встречалась с императрицей... Владимир называл эту женщину гением зла. И потом — он был

---

[1] Сверх программы *(фр.)*.

[2] Такая бесконечно русская *(фр.)*.

[3] Первые увлечения обычно возвращаются, князь *(фр.)*.

поэт, мальчик, ничего не понимал в политике... Мы приехали в Царское. Рассвет. Над прудом где-то, совсем понизу, запел соловей... Мой спутник повторяет: «Mademoiselle Boutourline c'est le passé»[1].— «Mon prince, прошлое возвращается иногда, и возвращения эти ужасны...»

Дымшиц гасит свет, накидывается на Муковнину, валит ее на диван, борьба. Она вырывается, поправляет волосы, платье.

Бишонков *(подкидывает карту)*. Подсекай...

Филипп. Подсечешь у тебя, как же!

Евстигнеич. Ну, повели к забору, руки связаны... «Ну, говорят, поворачивайся, друг». А он: «Не надо поворачиваться, я военный человек, коцайте так...» А заборы у них вроде плетня, полроста человеческого... Ночь, конец села, за селом степь, на краю степи — яр...

Бишонков *(убивая карту)*. Вот ты и козел!

Филипп. Отвечаю на все!

Евстигнеич. ...Привели, берут на изготовку. Он стоит у плетня, да как снимется от земли, с завязанными-то руками, ровно господь бог его от земли отнял. Перелетел через плетень — и наискосок... Они — стрелять... да ночь, темнота, он кружит, петляет — ушел.

Филипп *(сдает карты)*. Это герой!

Евстигнеич. Это герой вечный. Джигит считался. Я его, как тебя, знал... Полгода гулял, потом прикрыли.

Филипп. Неужто доделали?

Евстигнеич. Доделали. Я считаю — неправильно. Человек из могилы вылез, человек тот свет видал,— значит, не судьба его убивать.

Филипп. Ноль внимания в настоящее время.

Евстигнеич. Я считаю — неправильно. Во всех странах такой закон: не добили — твое счастье, живи дальше.

Филипп. У нас давай только... Доделают.

Бишонков. У нас давай...

Людмила. Зажгите свет.

Дымшиц открывает выключатель.

Я ухожу. *(Оборачивается, смотрит на Дымшица, разражается смехом.)* Не надувайте губ, идите ко мне... Скажите, друг мой, как вы все это себе представляете? Должна же я привыкнуть к вам сначала...

Дымшиц. Я не штиблет, чтобы ко мне привыкать.

---

[1] Мадемуазель Бутурлина — это прошлое *(фр.)*.

Л ю д м и л а. Я не скрываю — какое-то чувство симпатии вы мне внушаете, но надо этому чувству укрепиться... Из армии приедет Маша, вы познакомитесь: в нашей семье без нее ничего не делается... Папа — тот хорошо относится к вам, но он беспомощный — вы видели... И потом, много еще не решено; ваша жена?..

Д ы м ш и ц. При чем здесь жена?

Л ю д м и л а. Я знаю — евреи привязаны к своим детям.

Д ы м ш и ц. Не о чем говорить, ей-богу, не о чем говорить.

Л ю д м и л а. Поэтому до поры до времени надо тихонько сидеть рядом со мной, вооружиться терпением...

Д ы м ш и ц. С тех пор как евреи ждут мессию — они вооружены терпением. Выпейте еще бокальчик.

Л ю д м и л а. Я много выпила.

Д ы м ш и ц. Это вино мне принесли с броненосца. У великого князя был сундучок на броненосце...

Л ю д м и л а. Как это вы все достаете?

Д ы м ш и ц. Где я достану — там другой не достанет... выпейте этот бокальчик.

Л ю д м и л а. С условием, что вы будете сидеть тихо.

Д ы м ш и ц. Тихо сидят в синагоге.

Л ю д м и л а. Вот вы и сюртук надели,— верно, для синагоги. Сюртук, Исачок, носили директора гимназии на выпускных актах и купцы на поминальных обедах.

Д ы м ш и ц. Я не буду носить сюртука.

Л ю д м и л а. И потом — билеты. Никогда, мой друг, не покупайте билеты в первом ряду,— это делают выскочки, парвеню...

Д ы м ш и ц. Я же выскочка и есть.

Л ю д м и л а. У вас внутреннее благородство — это совсем другое. Вам даже имя ваше не идет... Теперь можно дать объявление в газете, в «Известиях»... Я бы переменила на Алексей... Вам нравится — Алексей?

Д ы м ш и ц. Нравится. *(Он снова гасит свет и накидывается на Муковнину.)*

Е в с т и г н е и ч. Взвозились...

Ф и л и п п *(прислушивается)*. Вроде наша...

Б и ш о н к о в. Мне Людмила Николаевна больше всех по сердцу — она человека привечает... А то ходят дикие, трепаные... Меня по отечеству привечает...

В комнату инвалидов входит В и с к о в с к и й, становится за спиной Евстигнеича, смотрит, как падают карты.

Людмила *(вырывается)*. Позовите мне извозчика...

Дымшиц. Моментально!.. Больше мне делать нечего.

Людмила. Позовите сию минуту!

Дымшиц. На улице тридцать градусов мороза, сумасшедшую собаку выпустить жалко.

Людмила. На мне все порвано... Как я домой покажусь?..

Дымшиц. Где пьют — там и льют.

Людмила. Пошло... Исаак Маркович, вы ошиблись адресом.

Дымшиц. Такое мое счастье.

Людмила. Я же вам говорю — у меня болят зубы, болят невыносимо!..

Дымшиц. Где именье, где вода... При чем тут зубы?

Людмила. Достаньте мне зубных капель... Я страдаю.

Дымшиц выходит, в соседней комнате сталкивается с Висковским.

Висковский. С легким паром, учитель.

Дымшиц. У нее зубы болят.

Висковский. Бывает...

Дымшиц. Бывает, что и не болят.

Висковский. Липа, Исаак Маркович, обязательно липа.

Филипп. Это изобретение ее, Исаак Маркович, а не зубы болят...

Людмила *(поправила волосы перед зеркалом. Статная, веселая, раскрасневшаяся, она ходит по комнате и напевает)*.

Милый мой строен и высок,
Милый мой ласков и жесток,
Больно хлещет шелковый шнурок...

Дымшиц. Я не мальчик, Евгений Александрович,— уже оно давно прошло, то время, когда я был мальчиком.

Висковский. Слушаю-с.

Людмила *(снимает телефонную трубку)*. 3-75-02. Папочка, ты?.. Мне очень хорошо... В театре была Надя Иогансон с мужем. Мы ужинаем у Исаака Марковича... Ты обязательно посмотри Спесивцеву, она заменит Павлову... Лекарство ты принял? Тебе надо лечь... Твоя дочь умница, папа, ужасная выдумщица... Катюша, ты?.. Ваше приказание, сударыня, исполнено. Le menège continue, j'ai

mal aux dents se soir[1]. *(Ходит по комнате, поет, взбивает волосы.)*

Д ы м ш и ц. И она может дождаться того, что в следующий раз меня для нее не будет дома...

В и с к о в с к и й. Дело хозяйское.

Д ы м ш и ц. Потому что о моих детях и моей жене пусть меня спрашивают другие, а не она.

В и с к о в с к и й. Слушаю-с.

Д ы м ш и ц. Люди недостойны завязать башмак у моей жены, если вы хотите знать,— шнурок от башмака.

---

[1] Манеж продолжается, нынешним вечером у меня болят зубы *(фр.)*.



## КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

У Висковского. Он в галифе, в сапогах, без куртки, ворот рубахи расстегнут. На столе бутылки, выпито много. На тахте, привалившись, румяный, короткий К р а в ч е н к о в военной форме и м а д а м Д о р а — тощая женщина в черном, с испанским гребнем в волосах и качающимися большими серьгами.

В и с к о в с к и й. Один удар, Яшка...

Я знал одной лишь силы власть.
Одну, но пламенную страсть...

К р а в ч е н к о. Сколько же тебе надо?

В и с к о в с к и й. Десять тысяч фунтов. Один удар... Ты видел когда-нибудь фунт стерлингов, Яшка?

К р а в ч е н к о. И все на нитках?

В и с к о в с к и й. Нитки пóбоку!.. Бриллианты. Трехкаратники, голубая вода, чистые, без песку. Других в Париже не берут.

К р а в ч е н к о. Да их небось уже нету.

В и с к о в с к и й. В каждом доме есть бриллианты, надо уметь их взять... У Римских-Корсаковых есть, у Шаховских... Есть еще алмазы в императорском Санкт-Петербурге.

К р а в ч е н к о. Не выйдет из тебя красный купец, Евгений Александрович.

В и с к о в с к и й. Выйдет!.. У меня отец торговал — выменивал усадьбы на жеребцов... Гвардия сдается, товарищ Кравченко, но не умирает.

К р а в ч е н к о. Ты бы Муковнину позвал... Мается женщина в коридоре...

В и с к о в с к и й. В Париж, Яшка, я приеду барином.

К р а в ч е н к о. Дымшиц этот — куда он запропастился?

В и с к о в с к и й. Отсиживается в уборной или в «шестьдесят шесть» играет с курляндчиком и Шапирой... *(Открывает дверь.)* Мисс, к нашему огоньку... *(Выходит в коридор.)*

Д о р а *(целует у Кравченко руки)*. Ты солнце! Ты божество!

Входят Л ю д м и л а в шубке и В и с к о в с к и й.

Л ю д м и л а. Это непостижимо! Был уговор...

В и с к о в с к и й. Который дороже денег.

Л ю д м и л а. Был уговор, что я приду в восемь. Теперь три четверти десятого... и ключа не оставил... Куда же он делся?

В и с к о в с к и й. Поспекулирует и придет.

Л ю д м и л а. Все-таки они не джентльмены — эти люди...

В и с к о в с к и й. Выпейте водки, девочка.

Л ю д м и л а. Правда, я выпью, озябла... Непостижимо все-таки!

В и с к о в с к и й. Разрешите вам представить, Людмила Николаевна, мадам Дору, гражданку Французской республики — Liberté, Egalité, Fraternité[1]. Между прочими достоинствами обладает заграничным паспортом.

Л ю д м и л а *(подает руку)*. Муковнина.

В и с к о в с к и й. Яшку Кравченко вы знаете: прапорщик военного времени, ныне красный артиллерист. Стоит у десятидюймовых орудий Кронштадтской крепостной артиллерии и может их повернуть в любом направлении.

К р а в ч е н к о. Евгений Александрович нынче в ударе.

В и с к о в с к и й. В любом направлении... Все можно представить себе, Яшка. Тебе прикажут разрушить улицу, на которой ты родился,— ты разрушишь ее, обстрелять детский приют,— ты скажешь: «Трубка два ноль восемь» — и обстреляешь детский приют. Ты сделаешь это, Яшка, только бы тебе позволили существовать, бренчать на гитаре, спать с худыми женщинами: ты толст и любишь худых... Ты на все пойдешь, и если тебе скажут: трижды отрекись от своей матери,— ты отречешься от нее. Но дело не в том, Яшка,— дело в том, что они пойдут дальше: тебе не позволят пить водку в той компании, которая тебе нравится, книги тебя заставят читать скучные, и песни, которым тебя станут обучать, тоже будут скучные... Тогда ты рассердишься, красный артиллерист, ты взбесишься, забегаешь глазка-

[1] Свобода, Равенство, Братство *(фр.)*.

ми... Два гражданина придут к тебе в гости: «Пойдем, товарищ Кравченко...» — «Вещи,— спросишь ты,— брать с собой или нет?» — «Вещи можно не брать, товарищ Кравченко, дело минутное, допрос, пустяки...» И тебе поставят точку, красный артиллерист,— это будет стоить четыре копейки денег. Высчитано, что пуля от кольта стоит четыре копейки, и ни сантима больше.

Дора. Жак, берите меня домой...

Висковский. Твое здоровье, Яков!.. За победоносную Францию, мадам Дора!

Людмила *(ей все время подливают)*. Я схожу посмотрю, не вернулся ли он...

Висковский. Поспекулирует и придет... Маркиза, липу с зубами сами придумали?

Людмила. Сама... Здорово?.. *(Смеется.)* Право же, теперь иначе нельзя. Евреи должны уважать женщину, с которой они хотят быть близки.

Висковский. Я смотрю на вас, Люка,— вы похожи на синичку... Выпьем, синичка!

Людмила. Теперь за меня примется. Вы чего-то намешали в это пойло, Висковский.

Висковский. Синичка... Все силы Муковниных ушли на Марию, вам остался только ряд мелких зубов.

Людмила. Дешево, Висковский.

Висковский. И маленькую твою грудь я не люблю... Грудь женщины должна быть красива, велика, беспомощна, как у овцы...

Кравченко. Мы пошли, Евгений Александрович.

Висковский. Никуда вы не пойдете... Синичка, выходи за меня замуж.

Людмила. Нет, уж я лучше за Дымшица... Знаем, как за вас выходить: нынче вы напились, завтра у вас похмелье, потом вы уезжаете неведомо куда, потом вы стреляетесь... Нет, уж мы за Дымшица.

Кравченко. Отпусти нас, Евгений Александрович, сделай милость!

Висковский. Никуда вы не пойдете... Тост! Тост за женщину. *(Доре.)* Это Люка... Сестру ее зовут Мария.

Кравченко. Мария Николаевна в армии, кажется?

Людмила. Она на границе теперь.

Висковский. На фронте, на фронте, Кравченко. Дивизией у них командует шестерка.

Людмила. Висковский, это неправда. Он — металлист.

Висковский. Шестерку зовут Аким... Выпьем за

женщин, мадам Дора! Женщины любят прапорщиков, половых, акцизных чиновников, китайцев... Их дело любить,— в участке разберутся. *(Поднимает бокал.)* «За милых женщин, прелестных женщин, любивших нас хотя бы час...» Впрочем, и часу не было. Паутина. Потом паутина порвалась... Ее сестру зовут Мария... Представь себе, Яшка, что ты полюбил царицу. «Вы гадки,— говорит она тебе,— уходите...»

Людмила *(смеется)*. Узнаю Машу...

Висковский. «Вы гадки, уходите...» Конную гвардию отвергли, тогда решено было пойти на Фурштадтскую, шестнадцать, квартира четыре...

Людмила. Висковский, не смейте!

Висковский. За кронштадтскую артиллерию, Яша!.. Было решено пойти на Фурштадтскую. Мария Николаевна вышла из дому в сером костюме tailleur. Она купила фиалки у Троицкого моста и приколола их к петлице своего жакета... Князь,— он играет на виолончели,— князь убрал свою холостую квартиру, запихал под шкаф грязное белье, немытые тарелки снес на антресоли... Был приготовлен кофе на Фурштадтской и petits fours[1]. Кофе выпили. Она принесла с собой весну, фиалки и забралась с ногами на диван. Он покрыл шалью ее сильные нежные ноги, навстречу ему сияла улыбка, ободряющая, покорная, печальная ободряющая улыбка... Она обняла его седеющую голову... «Князь! Что же вы, князь?» Но голос у князя оказался как у папского певчего. Passe, rien ne va plus[2].

Людмила. Боже, какая злюка!

Висковский. Вообрази, Яша, царица снимает перед тобой лиф, чулки, панталоны... Может, и ты оробел бы, Яшка...

Людмила Николаевна опрокидывается, хохочет.

Она ушла с Фурштадтской, шестнадцать... Где след ее ноги, чтобы я мог поцеловать его?.. Где след ее ноги?.. Но у Акима, будем надеяться, голос звучит погрубее... Ваше мнение, Людмила Николаевна?

Людмила. Висковский, вы намешали что-то в эту водку... У меня голова кружится...

Висковский. Иди сюда, мелочь! *(С силой берет ее за плечи и приближает к себе.)* Дымшиц — сколько заплатил он тебе за кольцо?

---

[1] Печенье *(фр.)*.

[2] Все в прошлом *(фр.)*.

Л ю д м и л а. Что вы говорите такое?

В и с к о в с к и й. Кольцо не твое, сестры. Ты продала чужое кольцо.

Л ю д м и л а. Оставьте меня!

В и с к о в с к и й *(отталкивает ее в боковую дверь)*. Иди со мною, мелочь!..

В комнате остаются Дора и Кравченко. В окне медленный луч прожектора. Дора, взъерошенная, выпученная, тянется к Кравченко, целует у него руки, стонет, лепечет. Входит на цыпочках босой Филипп с обваренным лицом, не торопясь, бесшумно берет со стола вино, колбасу, хлеб.

Ф и л и п п *(негромко, склонив голову набок)*. Не обидно будет, Яков Иванович?

Кравченко кивает головой, инвалид, осторожно ступая босыми ногами, уходит.

Д о р а. Ты солнце! Ты бог! Ты все!

Кравченко молчит, прислушивается. Входит В и с к о в с к и й, закуривает, руки его дрожат. Дверь в соседнюю комнату открыта. Брошенная на диван, плачет Муковнина.

В и с к о в с к и й. Спокойствие, Людмила Николаевна, до свадьбы заживет...

Д о р а. Жак, я хочу нашу комнату... Берите меня домой, Жак...

К р а в ч е н к о. Погоди, Дора.

В и с к о в с к и й. По разгонной, граждане?

К р а в ч е н к о. Погоди, Дора.

В и с к о в с к и й. По разгонной — за дам...

К р а в ч е н к о. Нехорошо, ротмистр.

В и с к о в с к и й. За дам, Яков Иванович!

К р а в ч е н к о. Нехорошо, ротмистр.

В и с к о в с к и й. Что именно нехорошо?

К р а в ч е н к о. Трипперитики не спят с женщинами, господин Висковский.

В и с к о в с к и й *(офицерским голосом)*. Как вы сказали?

Пауза. Плач смолкает.

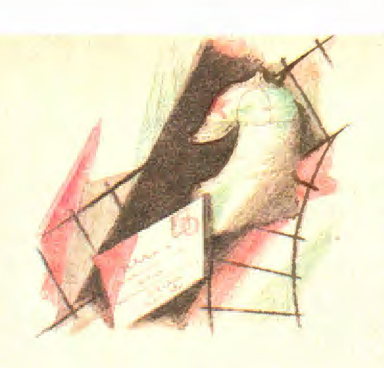
К р а в ч е н к о. Я сказал — больные гонореей...

В и с к о в с к и й. Снимите очки, Кравченко. Я буду бить вам морду!..

Кравченко вынимает револьвер.

Очень хорошо.

Кравченко стреляет. Занавес. За спущенным занавесом — выстрелы, падение тел, женский крик.



## КАРТИНА ПЯТАЯ

У Муковниных. В углу на сундуке свернулась старуха нянька. Спит. На столе пятно света от лампы. Катя читает Муковнину письмо.

Катя. «...На рассвете меня будит рожок штабного эскадрона. К восьми надо быть в политотделе, я там за все... Правлю статьи в дивизионную газету, веду школу ликбеза. Пополнение у нас — украинцы, языком и выразительностью они напоминают мне итальянцев. Казенная Россия в течение столетий подавляла и унижала их культуру... На нашей Миллионной в Петербурге, в доме против Эрмитажа и Зимнего дворца, мы жили, как в Полинезии,— не зная нашего народа, не догадываясь о нем... Вчера на уроке я прочитала из папиной книги главу об убийстве Павла. Наказание свое император заслужил так очевидно, что никто об этом не задумался: спрашивали меня — здесь сказался точный ум простолюдина — о расположении полка, комнат во дворце, о том, какая рота гвардии была в карауле, среди кого были набраны заговорщики, чем обидел их Павел... Я все мечтаю о том, что папа приедет к нам летом, если только поляки не зашевелятся... Ты увидишь, дружок мой папа, новую армию, новую казарму — в противовес той, о которой ты рассказываешь. К тому времени наш парк расцветет и зазеленеет, лошади поправятся на подножном корму, седла приготовлены... Я говорила Аким Иванычу — он согласен, только бы у вас все было благополучно, милые мои... Теперь ночь. Я освободилась поздно и поднялась к себе по истоптанным четырехсотлетним ступеням. Я живу на вышке, в сводчатой зале, служившей

когда-то оружейной графам Красницким. Замок построен на крутизне, у подножия его синяя река, пространство лугов необозримо, с туманной стеной леса вдали... В каждом этаже замка выбита ниша для дозорного: отсюда они следили приближение татар и русских и лили кипящее масло на головы осаждающих. Старушка Гедвига, экономка последнего Красницкого, приготовила мне ужин и растопила камин, глубокий и черный, как подземелье... В парке внизу переминаются, задремывают лошади. Кубанцы ужинают вокруг костра и заводят песню. Снег налег на деревья, ветви дубов и каштанов переплелись, неровная серебряная крыша накрыла занесенные дорожки, статуи. Они еще сохранились — юноши, бросающие копье, и обнаженные закоченевшие богини с согнутыми руками, с волнистой линией волос и слепыми глазами... Гедвига дремлет и трясет головой, поленья в камине вспыхивают и распадаются. Столетия сделали кирпичи звонкими, как стекло — они озарены золотом в ту минуту, когда я пишу вам... Карточка Алеши у меня на столе... Здесь те самые люди, которые не задумались убить его. Я ушла только что от них и помогла их освобождению... Правильно ли я сделала, Алексей, исполнила ли я твое завещание жить мужественно?.. И тем, что в нем есть неумирающего, он не отвергает меня... Поздно, не могу заснуть — от необъяснимой тревоги за вас, от боязни снов. Во сне я вижу погоню, мучительство, смерть. Я живу странной смесью — близостью к природе, беспокойством о вас. Почему Люка пишет так редко? Несколько дней тому назад я послала ей бумажку, подписанную Аким Ивановичем, о том, что у меня, как у военнослужащей, не имеют права реквизировать комнату. Кроме того, у папы должна быть охранная грамота на библиотеку. Если срок ее прошел, надо возобновить в Наркомпросе, у Чернышева моста, комната сорок. Я буду счастлива, если Люке удастся основать свою семью, но надо, чтобы этот человек бывал у нас в доме, познакомился бы с папой — тут сердце не обманет. И пусть нянька увидит его... Катюша все жалуется на старуху, что та не работает. Катюша, нянька стара, она вырастила два поколения Муковниных, у нее свои мысли и чувства, она не простой человек... Мне всегда казалось, что в ней мало крестьянского,— а впрочем, что знали мы в нашей Полинезии о крестьянах?.. В Петербурге, говорят, стало еще труднее с продовольствием; у тех, кто не служит, забирают комнаты и белье... Мне стыдно за то, что мы живем хорошо. Два раза Аким Иванович

брал меня с собой на охоту, у меня верховая лошадь, донец...» *(Катя поднимает голову.)* Вот видите, Николай Васильевич, как хорошо.

Муковнин закрывает глаза ладонью.

Не надо плакать...

Муковнин. Я спрашиваю у бога,— у каждого из нас есть бог его души,— за что ты дал мне, дурному, себялюбивому человеку, таких детей — Машу, Люку?..

Катя. Но это же хорошо, Николай Васильевич. Зачем плакать?



## КАРТИНА ШЕСТАЯ

Участок милиции ночью. Под лавкой скрючился пьяный. Он двигает пальцами перед самым своим лицом, внушает себе что-то. На лавке дремлет грузный старый человек, хорошо одетый, в енотовой шубе и высокой шапке. Шуба распахнулась, под ней голая серая грудь. Надзиратель допрашивает Муковнину. Кротовая шапочка ее сбита набок, волосы растрепаны, шубка стащена с плеча.

Надзиратель. Имя?

Людмила. Отпустите меня.

Надзиратель. Имя?

Людмила. Варвара.

Надзиратель. Отчество?

Людмила. Ивановна.

Надзиратель. Где работаете?

Людмила. У Лаферма, на табачной фабрике.

Надзиратель. Профбилет?

Людмила. Я не ношу с собой.

Надзиратель. Зачем липу гоните?

Людмила. Я замужем... Отпустите меня...

Надзиратель. Почему вам интересно липу гнать, скажите? Брылева давно знаете?

Людмила. О ком вы говорите?.. Я не знаю.

Надзиратель. Ордера на нитки Брылев подписывал, через вас шло к Гутману, где вы склад сделали?..

Людмила. Что вы говорите? Какой склад?..

Надзиратель. Сейчас — узнаете — какой... *(Милиционеру.)* Позовите Калмыкову.

Милиционер вводит Шуру Калмыкову, горничную в номерах на Невском, 86.

Надзиратель. Вы коридорная?

Калмыкова. Я подменяю.

Надзиратель. Признаете гражданку?

Калмыкова. Очень отлично признаю.

Надзиратель. Что можете показать?

Калмыкова. Могу отвечать по вопросам... Отец их — генерал.

Надзиратель. Работает она?

Калмыкова. Пару поддает — это у ней работа.

Надзиратель. Муж есть?

Калмыкова. Под кустом венчались... У ней мужьев много. Один от ее зубов весь вечер в отхожем хоронился.

Надзиратель. Какие зубы? Чего плетешь?..

Калмыкова. Людмила Николаевна знает, какие зубы.

Надзиратель *(Муковниной)*. Приводы были?.. Сколько?

Людмила. Меня заразили... Я больна.

Надзиратель *(Калмыковой)*. Нам удостоверить надо, сколько у ней приводов.

Калмыкова. Это не знаю, не скажу... Я то не скажу, чего не знаю.

Людмила. Я измучена... Отпустите меня...

Надзиратель. Не волноваться! На меня смотрите.

Людмила. У меня голова кружится... Я упаду...

Надзиратель. На меня смотреть!

Людмила. Боже мой, зачем мне смотреть на вас?..

Надзиратель *(в бешенстве)*. Затем, что я пятые сутки не спавши... Можете вы это понять?..

Людмила. Я могу понять.

Надзиратель *(подступает к ней ближе, берет за плечи и смотрит ей в глаза)*. Приводов сколько — говори...



## КАРТИНА СЕДЬМАЯ

У Муковниных. Горят коптилки. Тени на стенах и потолке. Перед зажженной лампадой молится **Голицын**. На сундуке спит **нянька**.

**Голицын**. ...Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падая в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит — того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел...

**Катя** *(подходит неслышно, становится рядом с Голицыным, кладет голову на его плечо)*. Свидания мои с Редько происходят в штабе, Сергей Илларионович, в бывшей прихожей, там клеенчатый диван есть... Я прихожу, Редько запирает дверь, потом дверь отмыкается...

**Голицын**. Да.

**Катя**. Я уезжаю в Борисоглебск, князь.

**Голицын**. Уезжайте.

**Катя**. Редько все учит меня, все учит — кого любить, кого ненавидеть... Он говорит — закон больших чисел. Но я-то сама малое число — или это не считается?..

**Голицын**. Должно считаться.

**Катя**. Вот видите — должно считаться... Вот я и свободна, нянька... Проснись. Пожалуйста, проснись. Ты царствие небесное проспишь...

**Нефедовна** *(поднимает голову)*. Люка-то где?

**Катя**. Люка скоро придет, нянька, а я уезжаю, некому будет тебя бранить.

Нефедовна. Зачем меня бранить, какие мои дела... Я нянька рожденная, для детей взята, детей растить, а их тут нету... Баб полон дом, а ребенков нету. Одна воевать пошла, без нее некому, другая шатается без пути... Какой это может быть дом — без ребенков?

Катя. Вот родим тебе от святого духа...

Нефедовна. Вы треплетесь, разве я не вижу, треплетесь, да толку нет.

Голицын. Уезжайте в Борисоглебск, вы нужны там... В Борисоглебске пустыня, Катерина Вячеславна, в этой пустыне звери пожирают друг друга...

Нефедовна. Вон Молостовы — скверные совсем купчишки, выхлопотали своей няньке пенсион, пятьдесят рублев в месяц... Похлопочи за меня, князь, почему мне пенсион не дают?

Голицын *(растапливает «буржуйку»)*. Меня не послушают, Нефедовна, у меня теперь силы нет.

Нефедовна. Вон ведь простые совсем купчики.

Открывается дверь. Муковнин отступает перед Филиппом, закутанным в тряпье и башлык, громадным и бесформенным. Половина Филиппова лица заросла диким мясом, он в валенках.

Муковнин. Кто вы?

Филипп *(продвигается ближе)*. Я Людмиле Николаевне знакомый.

Муковнин. Что вам угодно?

Филипп. Там заварушка получилась, ваше превосходительство.

Катя. Вы от Исаака Марковича?

Филипп. Так точно, от Исаака Марковича... Вроде как ни с чего и получилось.

Катя. Людмила Николаевна?..

Филипп. Там же, при них они и были, в компании... Маленько, ваше превосходительство, перехорошили. Евгений Александрович — одно, Яков Иваныч им вроде как напротив, стали цапаться, оба с мухой...

Голицын. Николай Васильевич, я поговорю с этим товарищем.

Филипп. Особого такого ничего не случилось, а только недоразумение... Оба с мухой, оружия при себе...

Муковнин. Где моя дочь?

Филипп. Ваше превосходительство, неизвестно.

Муковнин. Где моя дочь, скажите? Мне все можно сказать.

Филипп *(чуть слышно)*. Законвертовали.

М у к о в н и н. Я смотрел смерти в глаза. Я солдат.

Ф и л и п п *(громче)*. Законвертовали, ваше превосходительство.

М у к о в н и н. Арестовали — за что?

Ф и л и п п. Вроде как из-за болезни сыр-бор получился. Яков Иванович говорят: «Вы болезнью наделили»,— Евгений Александрович — стрелять. Оружия при себе, оружия — тут она...

М у к о в н и н. Это Чека?

Ф и л и п п. Люди взяли, а кто их разберет?.. Люди сейчас неформенные, ваше превосходительство, себя не показывают.

М у к о в н и н. Надо ехать в Смольный, Катя.

К а т я. Никуда вы, Николай Васильевич, не поедете.

М у к о в н и н. Надо ехать в Смольный, сейчас же.

К а т я. Николай Васильевич, дорогой мой...

М у к о в н и н. Дело в том, Катя, что моя дочь должна быть возвращена мне. *(Подходит к телефону.)* Прошу штаб военного округа...

К а т я. Не надо, Николай Васильевич!

М у к о в н и н. Прошу к телефону товарища Редько... Говорит Муковнин... Я не могу объяснить вам лучше, товарищ, кто говорит,— в прошлом я генерал-квартирмейстер Шестой армии... Товарищ Редько, вы?.. Здравствуйте, Федор Никитич. У аппарата Муковнин. Здравия желаю... Если оторвал от дела — сожалею очень... Сегодня, Федор Никитич, в доме восемьдесят шесть по Невскому, вечером, вооруженными людьми взята моя дочь Людмила. Я не ходатайствую перед вами, Федор Никитич,— знаю, что в организации вашей это не принято,— но только хотел доложить, что мне нужно увидеться со старшей моей дочерью, Марией Николаевной. Дело в том, что я недомогаю в последнее время, Федор Никитич, и чувствую необходимость посоветоваться с Марией Николаевной. Мы посылали телеграммы и срочные письма, Катерина Вячеславна, знаю, и вас затрудняла — ответа нет... Просьба связать по прямому проводу, Федор Никитич... Могу добавить, что я вызван генералом Брусиловым в Москву для переговоров о службе... Вы говорите — доставлено?.. Доставлено восьмого?.. Покорно благодарю, желаю успеха, Федор Никитич. *(Вешает трубку.)* Все хорошо, Машу разыскали, телеграмма вручена восьмого. Она будет в Петербурге завтра, послезавтра, самое позднее. Надо убрать Машину комнату, Нефедовна,— подняться завтра чуть свет и убрать... Катюша права — квартира запущена. Мы ужасно все запустили в последнее

время, везде пыль. Надо чехлы надеть. У нас есть чехлы, Катюша?

Катя. Не на всю мебель, но есть.

Муковнин *(мечется по комнате)*. Непременно надеть надо чехлы... Маше приятно будет застать все в том виде, как она оставила. Почему не создать уют, когда это можно сделать... И вот Катя у нас не амюзируется,— ты совсем не амюзируешься[1], Катюша, не ходишь в театр, так можно отстать.

Катя. Маша вернется — я пойду.

Муковнин *(инвалиду)*. Простите, ваше имя-отчество?..

Филипп. Филипп Андреевич.

Муковнин. Почему вы не садитесь, Филипп Андреевич?.. Мы вас даже за хлопоты не поблагодарили... Надо угостить Филиппа Андреевича... Нянька, найдется у нас чем угостить? Дом наш открыт, Филипп Андреевич, милости просим по-простому, будем рады. Мы вас непременно с Марией Николаевной познакомим...

Катя. Вам надо отдохнуть, Николай Васильевич, лечь надо.

Муковнин. И если хотите, я за Люку ни одного мгновения не беспокоюсь. Это урок — урок за ребячество, за отсутствие опыта... Если хотите — я доволен... *(Вздрагивает, останавливается, падает на стул. К нему подбегает Катя.)* Спокойствие, Катя, спокойствие...

Катя. Что с вами?

Муковнин. Ничего,— сердце...

Катя и Голицын берут его под руки, уводят.

Филипп. Расстроился.

Нефедовна *(ставит на стол прибор)*. Барышню нашу при тебе брали?

Филипп. При мне.

Нефедовна. Билась?

Филипп. Сперва билась, потом пошла ничего.

Нефедовна. Я тебе картошку дам, кисель есть...

Филипп. Поверишь, бабушка, дома пельменей целый ушат навалили, заварушка эта поднялась,— глядь, и уперли.

Нефедовна *(ставит перед Филиппом картошку)*. Лицо-то у тебя на войне обварило?

---

[1] От французского глагола s'amuser — приятно проводить время, развлекаться.

Филипп. Лицо у меня гражданским порядком обварило, давно дело было...

Нефедовна. А война будет? Чего у вас говорят?

Филипп *(ест)*. Война, бабушка, будет в августе месяце.

Нефедовна. С поляками, что ли?

Филипп. С поляками.

Нефедовна. Не все им отдали?

Филипп. Они, бабушка, желают иметь свое государство от одного моря и до самого другого моря. Как в старину было, так они и в настоящий момент желают.

Нефедовна. Ишь дураки какие!

Входит Катя.

Катя. Очень худо Николаю Васильевичу. Нужно доктора.

Филипп. Доктор, барышня, сейчас не пойдет.

Катя. Он умирает, нянька, у него нос синий... Уже видно, какой он будет мертвый...

Филипп. Доктора, барышня, сейчас на запоре, в ночное время не пойдут, хоть стреляй в него.

Катя. В аптеку надо за кислородом...

Филипп. Они союзные — их превосходительство?

Катя. Не знаю... Мы ничего здесь не знаем.

Филипп. Если не союзные — не дадут.

Резкий звонок. Филипп идет открывать, возвращается.

Там... там... Мария Николаевна...

Катя. Маша?!

Катя идет вперед, протягивает руки, плачет, останавливается, закрывает лицо руками, потом отнимает их. Перед ней красноармеец, лет девятнадцати, мальчик на длинных ногах, он тащит за собой мешок. Входит Голицын, останавливается у двери.

Красноармеец. Здравствуйте!

Катя. Боже мой, Маша!..

Красноармеец. Тут Мария Николаевна из продуктов кое-что прислали.

Катя. Где же она?.. Она с вами?

Красноармеец. Мария Николаевна в дивизии, сейчас все на местах... Из вещей тут кое-что есть — сапоги...

Катя. Она не приехала с вами?

Красноармеец. Там бои, товарищи, идут,— как можно?

Катя. Мы телеграммы посылали, письма...

К р а с н о а р м е е ц. Что ни посылайте — все равно... Части день и ночь в движении.

К а т я. Вы увидите ее?

К р а с н о а р м е е ц. Как же не увидеть?.. Если передать что-нибудь...

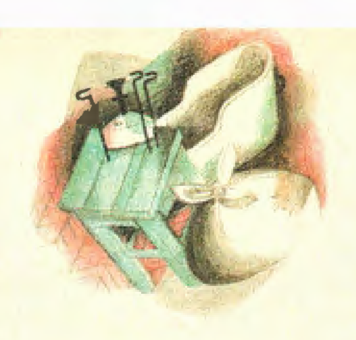
К а т я. Да, передайте ей, пожалуйста... Передайте, что отец ее умирает и мы не надеемся его спасти. Передайте, что, умирая, он звал ее... Сестра ее Люка не живет с нами больше — она арестована. Скажите, что мы желаем счастья Марии Николаевне, желаем, чтобы она не думала о тех днях и часах, когда ее не было с нами...

Красноармеец озирается, отступает. Шатаясь, выходит из своей комнаты М у к о в н и н. Глаза его блуждают, волосы поднялись, он улыбается.

М у к о в н и н. Вот, Маша, тебя не было, и я не хворал, все время был молодцом, Маша... *(Видит красноармейца.)* Кто это? *(Повторяет громче.)* Кто это?.. Кто это?.. *(Падает.)*

Н е ф е д о в н а *(опускается на колени рядом с Муковниным)*. Ну что, Коля, уходишь?.. Не ждешь няньку...

Старик хрипит. Агония.



## КАРТИНА ВОСЬМАЯ

**Полдень. Ослепительный свет. В окне облитые солнцем колонны Эрмитажа, угол Зимнего дворца. Пустая зала Муковниных. В глубине натирают паркет Андрей и подмастерье Кузьма, толстомордый парень. Агаша кричит в окно.**

Агаша. Нюшка, проклятущая, не давай дитю об стенку мазаться!.. Куда глаза подевала? Сидишь, что ли, на глазах?.. Выросла — небо прободаешь, а толку все то же... Тихон, слышь, Тихон, зачем у тебя сарай растворенный? Замкни сарай-то... Егоровна, здравствуй! Я у тебя сольцы до первого не достану?.. Первого разживусь по купону — отдам. Девка моя зайдет, насыпь ей в пузырек, до первого... Тихон, слышь, Тихон, у Новосельцевых был? Когда они съезжают?

Голос Тихона. Съезжать, говорят, некуда.

Агаша. Жить умели — умейте и съезжать... До воскресенья дай им срок, а после воскресенья у нас с ними серьез будет, так и скажи... Нюшка, проклятущая, гляди, дите себе в нос землю пихает!.. Бери дите наверх, марш домой, окна мыть!.. *(Полотеру.)* Ну как, мастер, действуешь?

Андрей. Прикладываем труды.

Агаша. Не больно прикладываешь... Углы все поставляли.

Андрей. Это какие углы?

Агаша. Да все четыре — и пол у тебя рыжий. Разве он должен быть рыжий?.. Не тот колер совсем.

Андрей. Материал теперь не тот, хозяйка.

Агаша. Сам хитришь и малого учишь... За деньгами небось аккуратно придешь.

Андрей. А я тебе, Аграфена, то отвечу, что ты врагу своему закажешь впервой после революции полы чистить... Тут за революцию грязи на три вершка наросло, рубанком

не отстругаешь. Мне за это медаль нацепить, за то, что я после революции полы чищу, а ты лаешься...

В глубине проходят Сушкин и Катя в трауре.

Сушкин. Единственно как фанатик мебельной отрасли покупаю, единственно по охоте моей, что не могу мимо античной вещи пройти,— я за античную вещь болею. Громоздкую вещь в настоящий момент покупать — это камень на шею, с ним тонуть, Катерина Вячеславна... Вот сделаешь сегодняшний день покупку — мечтаешь, а завтра ты страдалец куда бы рассовать.

Катя. Вы забываете, Аристарх Петрович, что здесь ни одной простой вещи нет. Мебель эту сто лет назад Строгановы из Парижа выписывали.

Сушкин. Оттого миллиард двести и даю.

Катя. Что значит теперь этот миллиард, если на хлеб перевести?

Сушкин. А вы не на хлеб, а на мою ненормальность переведите, что я как охотник покупаю. С громоздкой вещью в настоящий момент остаться — ведь это я у них первый кандидат буду... *(Меняя тон.)* Тут у меня и молодежь приготовлена... *(Кричит вниз.)* Ребятежь, подхватывайся, веревки с собой тащи!..

Агаша *(выступает вперед)*. Это куда подхватываться?

Сушкин. С кем имею честь-удовольствие?..

Катя. Это наша смотрительница двора, Аристарх Петрович.

Агаша. Ну, хоть дворничиха.

Сушкин. Очень приятно. Теперь, значит, такой разговор: вы нам, как говорится, поможете мебель снести, мы обоюдно вам поможем.

Агаша. Не получится у вас, гражданин.

Сушкин. Что именно у нас не получится?

Агаша. Тут переселенные люди будут, из подвала...

Сушкин. Это нам, конечно, интересно знать, что переселенные...

Агаша. Мебель-то где они возьмут?

Сушкин. А вот это нам, гражданка, совершенно неинтересно знать.

Катя. Агаша, Мария Николаевна поручила мне продать...

Сушкин. Прошу прощения, гражданка, мебель-то ваша?

Агаша. Мебель не моя, да и не твоя тоже.

Сушкин. На это первично отвечу, что мы с вами над

одной ямкой не сидели, а вторично я вам скажу, что вы в настоящий момент, гражданка, неприятность себе наживаете.

А г а ш а. Ордер принесешь — я мебель выпущу.

К а т я. Агаша, мебель принадлежит Марии Николаевне, ты же знаешь...

А г а ш а. Я что знала, барышня, то забыла, переучиваюсь теперь.

С у ш к и н. Гляди, баба, нарвешься!

А г а ш а. Не ругайся, выгоню...

К а т я. Уйдемте, Аристарх Петрович.

С у ш к и н. Превышение власти, баба, делаешь.

А г а ш а. Ордер принеси — выпущу.

С у ш к и н. В другом месте поговорим.

А г а ш а. Хочь на Гороховой.

К а т я. Уйдемте, Аристарх Петрович...

С у ш к и н. Я уйду, да вернусь,— не один вернусь, с людями.

А г а ш а. Нехорошо делаете, барышня.

Уходят. Андрей и Кузьма кончают натирать, собирают свой снаряд.

К у з ь м а. Умыла как следует.

А н д р е й. Колкая дамочка.

К у з ь м а. Она и при генерале была?

А н д р е й. При генерале она низко ходила, головы не высовывала.

К у з ь м а. Генерал-то дрался небось?

А н д р е й. Зачем дрался? Совершенно он не дрался. Ты к нему придешь — он с тобой за ручку возьмется, поздоровкается... Его и народ любил.

К у з ь м а. Как это так — народ генерала любил?

А н д р е й. По дурости нашей — любили... Он вреда больше положенного не делал. Сам себе дрова колол.

К у з ь м а. Старый был?

А н д р е й. Особо старый не был.

К у з ь м а. А помер...

А н д р е й. Помирает, брат Кузьма, не зрелый, а поспелый. Значит, поспел.

Входят А г а ш а, рабочий С а ф о н о в, костлявый молчаливый парень, и беременная жена его Е л е н а, длинная, с маленьким светлым лицом, молодая женщина лет двадцати, не более, она в последних днях. Все нагружены домашним скарбом, тащут с собой табуретки, матрацы, примус.

Погоди, погоди, дай подстелю...

А г а ш а. Входи, Сафонов, не бойся. Тут тебе и помещаться.

Е л е н а. Нам бы другого чего-нибудь, похуже...

А г а ш а. Привыкай к хорошему.

А н д р е й. Плевое дело — к хорошему привыкнуть.

А г а ш а. Налево кухня, там ванная — мыться... Пойдем, хозяин, остальное притащим... Ты сиди, Елена, не ходи — выкинешь, пожалуй.

Агаша и Сафонов уходят. Андрей собирает свои пожитки — щетки, ведра, Елена садится на табуретку.

А н д р е й. С новосельем, значит?

Е л е н а. Вроде неудобно помещение, велико...

А н д р е й. Когда рассыпаться тебе?

Е л е н а. Завтра пойду.

А н д р е й. Очень просто. На Мойку, что ли, во дворец?

Е л е н а. На Мойку.

А н д р е й. Дворец этот — нонче называется матери и ребенка,— его в прежнее время царица для пастуха построила, теперь там бабы опрастываются. Все по порядку, очень просто.

Е л е н а. Завтра идти. То боюсь, дядя Андрей, а то ничего.

А н д р е й. Бояться тут нечего: родишь — не чихнешь. Проработает тебе все жилы, разделаешься, опосля этого себя не узнаешь.

Е л е н а. У меня, дядя Андрей, кость узкая...

А н д р е й. Попросят ее, твою кость, она подвинется... Другой раз посмотришь на бабочку, кое-как слеплена, волосьев копна, да ножки, да ручки, а выпечатает такого мужичищу, он водки ведро выпьет да вола кулаком убьет... На все специальность... *(Взваливает на плечи мешок.)* Мальчика желаешь или девочку?

Е л е н а. Мне все равно, дядя Андрей.

А н д р е й. Это верно, что все равно... Я так располагаю, которые дети теперь изготовляются, должны к хорошей жизни поспеть. Иначе-то как же?.. *(Собирает свой инструмент)*. Пошли, Кузьма... *(Елене.)* Родишь — не чихнешь, на все специальность... Поехали, казак.

Полотеры уходят. Елена раскрывает окна, в комнату входят солнце и шум улицы. Выставив живот, женщина осторожно идет вдоль стен, трогает их, заглядывает в соседние комнаты, зажигает люстру, гасит ее. Входит Н ю ш а, непомерная багровая девка, с ведром и тряпкой — мыть окна. Она становится на подоконник, затыкает подол выше колен, лучи солнца льются на нее. Подобно статуе, поддерживающей своды, стоит она на фоне весеннего неба.

Е л е н а. На новоселье придешь ко мне, Нюша?

Н ю ш а *(басом)*. Позовешь — приду, а чего поднесешь?..

Е л е н а. Много не поднесу, что найдется...

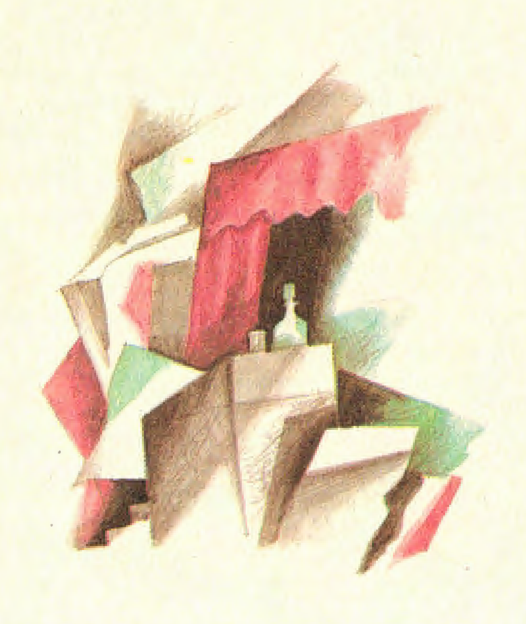
Н ю ш а. Мне сладенького поднеси, красного... *(Пронзительно и неожиданно она запевает.)*

Скакал казак через долину,
Через маньчжурские края,
Скакал он садиком зеленым.
Кольцо блестело на руке.
Кольцо казачка подарила,
Когда казак пошел в поход.
Она дарила — говорила, что
Через год буду твоя.
Вот год прошел...

З а н а в е с



# ВОСПОМИНАНИЯ
# ПОРТРЕТЫ



## В ОДЕССЕ КАЖДЫЙ ЮНОША...

В Одессе каждый юноша — пока он не женился — хочет быть юнгой на океанском судне. Пароходы, приходящие к нам в порт, разжигают одесские наши сердца жаждой прекрасных и новых земель.

Вот семь молодых одесситов. У них нет ни денег, ни виз. Дать бы им паспорт и три английских фунта — и они укатили бы в недосягаемые страны, названия которых звонки и меланхоличны, как речь негра, ступившего на чужой берег.

Вот семь молодых одесситов. Они читают колониальные романы по вечерам, а днем они служат в самом скучном из губстатбюро. И потому что у них нет ни визы, ни английских фунтов — поэтому Гехт пишет об уездном Можайске, как о стране, открытой им и не изведанной никем другим, а Славин повествует о Балте, как Расин о Карфагене. Душевным и чистым голосом подпевает им Паустовский, попавший на Пересыпь, к мельнице Вайнштейна, и необыкновенно трогательно притворяющийся, что он на тропиках. Впрочем, и притворяться нечего. Наша Пересыпь, я думаю, лучше тропиков.

Третий одессит — Ильф. По Ильфу, люди — замысловатые актеры, подряд гениальные.

Потом Багрицкий, плотояднейший из фламандцев. Он пахнет, как скумбрия, только что изжаренная моей матерью на подсолнечном масле. Он пахнет, как уха из бычков, которую на прибрежном ароматическом песку варят малофонтанские рыбаки в двенадцатом часу июльского неудержимого дня. Багрицкий полон пурпурной влаги, как арбуз, который когда-то в юности мы разбивали с ним о тумбы в Практической гавани у пароходов, поставленных на близкую Александрийскую линию.

Колычев и Гребнев моложе других в этой книге. У них есть о чем порассказать, и мы от них не спасемся. Они возьмут свое и расскажут о диковинных вещах.

Тут все дело в том, что в Одессе каждый юноша — пока он не женился — хочет быть юнгой на океанском судне. И одна у нас беда,— в Одессе мы женимся с необыкновенным упорством.



## ⟨ФУРМАНОВ⟩

Товарищи, я не мог собрать материала к этому вечеру, я не готовился к нему, и на эту трибуну меня привела только настоятельная потребность быть сегодня здесь и участвовать в воспоминаниях.

Два дня тому назад я приехал из Крыма. Вместе с одним французским писателем мы были у Горького, и перед нами предстало зрелище необычайной жизни большого человека. Этот старый человек работает героически, лежа на столе с подушками кислорода. В истории человечества было мало таких героических примеров.

И снова Горький, как всегда, говорил о нашей жизни, говорил о том, что мы плохо пишем, что мало учимся, что, написав одну книгу, мы успокаиваемся или пишем все хуже и хуже, оттого что знания наши малы, что уважение к самому лучшему читателю мира невелико.

Когда он говорил об этом, я подумал: вот грешные человеческие привычки. Я стал в своей памяти перебирать праведников и грешников. Скажу откровенно, что грешников я нашел очень много, а вот настоящего праведника только одного: того человека, который умер десять лет тому назад и в честь которого мы сегодня собрались.

Мне много вечеров пришлось провести с Фурмановым в Нащекинском переулке. Шли разговоры о его книге. Книжка, разошедшаяся в сотнях тысяч экземпляров, не удовлетворяла Фурманова в полной мере. Рост его был велик; с каждым месяцем способности этого писателя увеличивались. И если бы вы знали, какая любовь к слову, к самому изысканному сочетанию слов жила в этом человеке, как он прислушивался к звуку греческих поэтов, римских поэтов. В эти моменты я смотрел на него растроганный

и потрясенный, он казался мне воплощением пролетария, овладевающего искусством поэзии.

Вспомните его жизнь, он никогда не шел по линии наименьшего сопротивления. До революции он боролся с царизмом, после революции он пошел на фронт, после фронта он выбрал самый опасный участок, участок борьбы с поэзией, с искусством. Я на своем веку не видел борьбы более страшной и напряженной. Поражала та быстрота, с которой он овладевал искусством. Пожалуй, и это привело его к могиле.

Два дня тому назад в этом же зале вспоминали Багрицкого. Я тоже знал его и скажу, что стихи его с каждым годом становятся все живее, потому что он нес правду.

Но подумайте о Фурманове в этом направлении. На наших глазах два года тому назад совершилось событие небывалое в истории литературы и искусства: страницы книги Фурманова распахнулись, и из них вышли живые люди, настоящие герои нашей страны, настоящие дети нашей страны.

Когда я смотрел эту картину, я думал вот о чем. Мне казалось, что режиссеры, поставившие картину, не отличаются гениальной способностью, что у нас есть режиссеры, обладающие бóльшими способностями, большей виртуозностью. Я не мог сказать, чтобы и актеры играли как-то особенно в этой картине. У нас много хороших актеров. Я себя спросил, в чем громадная сила этой картины, почему же о ней не было никаких споров, почему впервые в нашу страну пришло то подлинное искусство, которое отразилось в наших сердцах, почему наши сердца так сжимались, когда мы смотрели «Чапаева»? Я уверен, что это происходило потому, что эта картина не сделана на фабрике, она сделала всей страной. Потому, товарищи, и сумели сделать средние люди такую гениальную картину, что она сделана всей страной, она заражена воздухом нашей страны, она основана на том уровне искусства, к которому мы пришли, на том понимании, на тех чувствах героизма, доброты, мужества и революционности, которые живут в нашей стране.

Что все это значит, товарищи? Это значит, что дело умершего Чапаева было продолжено всей нашей страной. Восемь лет она читала «Чапаева», и что произошло после этих восьми лет? Наша страна созданием этого фильма ответила Чапаеву, как она поняла его, как она почувствовала. Вы знаете, товарищи, впечатление, произведенное этой картиной. Я считаю, что каждый человек, в котором бьется со-

ветское сердце, честное и неподкупное, каждый человек, который страстно, напряженно, целомудренно, без суеты и подвоха стремится овладеть истинными вершинами искусства и науки, каждый наш рабфаковец, комсомолец, студент и красноармеец, которые к литературе, к искусству, к науке относятся с такой же строгостью и страстью, с какой относился Фурманов, является прямым продолжателем его дела. Для меня создание «Чапаева» страной является показателем, как лучшие наши люди продолжают его дело.

Товарищи, конечно, очень счастлив и велик писатель, чье дело продолжают миллионы и десятки миллионов людей первой рабочей страны мира. Несомненно, что это дело велико и непобедимо, и поэтому счастлив и велик Фурманов, который начал это дело.

## БАГРИЦКИЙ

Усилие, направленное на создание прекрасных вещей, усилие постоянное, страстное, все разгорающееся — вот жизнь Багрицкого. Она была — подъем непрерывный. Среди первых его стихов попадались слабые, с годами он писал все строже. Воодушевление его поэзии возрастало. Страсть, в ней заключенная, усиливалась, потому что усиливалась работа Багрицкого над мыслью и чувством. Работу эту он исполнял честно, с упрямством и веселостью.

Писание Багрицкого — не физиологическая способность, а увеличенные против нормы сердце и мозги, увеличенные против того, что́ мы считаем нормой и что́ будет беднейшим прожиточным минимумом сердца в будущем.

Я помню его юношей в Одессе.

Он опрокидывал на собеседника громады стихов — своих и чужих. Он ел не по-нашему, одежду его составляли шаровары и кофта, повадка у него была шумная, но с остановками.

В те годы, когда стандарт указывался обстоятельствами, Багрицкий был похож на самого себя и ни на кого больше.

Слава Франсуа Виллона из Одессы внушала к нему любовь, она не внушала доверия. И вот — охотничьи его рассказы стали пророчеством, ребячливость — мудростью, потому что он был мудрый человек, соединивший в себе комсомольца с Бен-Акибой.

Ему ничего не пришлось ломать в себе, чтобы стать поэтом чекистов, рыбоводов, комсомольцев. Говорят, он испытал кризисы, подобно другим литераторам. Я не заметил этого.

Любовь к справедливости, к изобилию и веселью, любовь к звучным, умным словам — вот была его философия. Она оказалась поэзией революции.

Как хорошая стройка,— он всегда был в поэтических лесах. Они менялись на нем, и эту работу вечного обновления он делал мужественно, неподкупно, открыто.

От него — умирающего — шел ток жизни. Сердца людей, впавших в тревогу, тянулись к нему. Жизнью своей он говорил нам, что поэзия есть дело насущное, необходимое, ежедневное.

По пути к тому, чтобы стать членом коммунистического общества, Багрицкий прошел дальше многих других...

Я вспоминаю последний наш разговор. Пора бросить чужие города, согласились мы с ним, пора вернуться домой, в Одессу, снять домик на Ближних Мельницах, сочинять там истории, стариться... Мы видели себя стариками, лукавыми, жирными стариками, греющимися на одесском солнце, у моря — на бульваре, и провожающими женщин долгим взглядом...

Желания наши не осуществились. Багрицкий умер тридцати восьми лет, не сделав и малой части того, что мог.

В государстве нашем основан ВИЭМ — Институт экспериментальной медицины. Пусть добьется он того, чтобы бессмысленные эти преступления природы не повторялись больше.

## М. ГОРЬКИЙ

В 1898 году в издательстве Дороватовского и Чарушникова появилась книга рассказов автора со странным именем — Максим Горький. Все было ново и сильно в этой книге: герои ее, вышибленные из жизни, но недвусмысленно ей угрожающие; изобразительные средства, полные движения, силы, красок. Во всей литературе дворян и разночинцев не найдем мы столько описаний солнца, сверкающего моря, лета и зноя — сколько в первых рассказах Горького. Они принесли ему славу, молниеносно распространившуюся на оба континента, славу, редко выпадавшую на долю человека. Радикальная Россия, пролетариат всего мира нашли своего писателя. Скрывшийся за псевдонимом — он оказался нижегородским цеховым малярного цеха Алексеем Пешковым. С первого же появления своего в литературе бывший булочник, грузчик стал в ряды разрушителей старого мира. Книги его, с такой небывалой, почти физической силой толкавшие на борьбу за социальную справедливость, зажегшие в миллионах эксплуатируемых людей действенную жажду красоты и полноты жизни — сделали Горького массовым, любимым, истинно народным писателем. Ни один литератор нашей эпохи не нанес обществу угнетателей таких действительных ударов, как он, ни одному литератору не удалось в такой мере, как ему, стать участником и строителем нового мира. Близкий друг Ленина и Сталина Горький сорок лет с неукротимым мужеством боролся с капитализмом, самодержавием и в последние годы своей жизни — с фашизмом. Великих сил потребовала эта борьба. Они были у Горького. Нищий, задерганный мальчишка, украдкой от хозяев читавший по ночам книги, Горький, учась всю жизнь, достиг вершины человеческого знания. Образованность его была всеобъемлюща. Она опиралась на память, являвшую-

ся у Горького одной из самых удивительных способностей, когда-либо виденных у человека. В мозгу его и сердце — всегда творчески возбужденных — впечатались книги, прочитанные за шестьдесят лет, люди, встреченные им,— встретил он их неисчислимо много,— слова, коснувшиеся его слуха, и звук этих слов, и блеск улыбок, и цвет неба... Все это он взял с жадностью и вернул в живых, как сама жизнь, образах искусства, вернул полностью. Четыре десятилетия грызла его неизлечимая болезнь, ни разу не одержав победы над его духом; в последний раз он победил ее на одре смерти. Громадностью сделанного им мы обязаны тому, что он первый исполнил свою заповедь — превратить труд подневольный в непрерывную и радостную жизнь творчества. Им написано триста двадцать пять художественных произведений, среди них много романов, повестей, пьес и около тысячи публицистических статей; им основаны десятки журналов, газет, сборников, ставших возбудителями революционной и созидательной энергии русского народа. Работа его духа не знала остановок, уныния, падений. Сын рабочего класса — точный, неутомимый мастер,— он всю жизнь настойчиво передавал свой опыт другим. Все, что есть лучшего в советской литературе, открыто и взращено им. Переписка его, превосходящая по объему и непосредственным результатам эпистолярное наследие Вольтера и Толстого, по существу, является удесятеренным собранием его сочинений. Письма Горького, проникшие в самые глухие и скудные углы, обращенные вначале к отдельным лицам и группам, станут скоро достоянием человечества и зеркалом одной из самых плодотворных жизней на земле.

Перед нами образ великого человека социалистической эпохи. Он не может не стать для нас примером — настолько мощно соединены в нем опьянение жизнью и укращающая ее работа.

## НАЧАЛО

Лет двадцать тому назад, находясь в весьма нежном возрасте, расхаживал я по городу Санкт-Петербургу с липовым документом в кармане и — в лютую зиму — без пальто. Пальто, надо признаться, у меня было, но я не надевал его по принципиальным соображениям. Собственность мою в ту пору составляли несколько рассказов — столь же коротких, сколь и рискованных. Рассказы эти я разносил по редакциям, никому не приходило в голову читать их, а если они кому-нибудь попадались на глаза, то производили обратное действие. Редактор одного из журналов выслал мне через швейцара рубль, другой редактор сказал о рукописи, что это сущая чепуха, но что у тестя его есть мучной лабаз и в лабаз этот можно поступить приказчиком. Я отказался и понял, что мне не остается ничего другого, как пойти к Горькому.

В Петрограде издавался тогда интернационалистский журнал «Летопись», сумевший за несколько месяцев существования сделаться лучшим нашим ежемесячником. Редактором его был Горький. Я отправился к нему на Большую Монетную улицу. Сердце мое колотилось и останавливалось. В приемной редакции собралось самое необыкновенное общество из всех, какое только можно себе представить: великосветские дамы и так называемые «босяки», арзамасские телеграфисты, духоборы и державшиеся особняком рабочие, подпольщики-большевики.

Прием должен был начаться в шесть часов. Ровно в шесть дверь открылась, и вошел Горький, поразив меня своим ростом, худобой, силой и размером громадного костяка, синевой маленьких и твердых глаз, заграничным костюмом, сидевшим на нем мешковато, но изысканно. Я сказал: дверь открылась ровно в шесть. Всю жизнь он оста-

вался верен этой точности, добродетели королей и старых, умелых, уверенных в себе рабочих.

Посетители в приемной разделялись — на принесших рукописи и на тех, кто ждал решения участи.

Горький подошел ко второй группе. Походка его была легка, бесшумна, я бы сказал — изящна, в руках он держал тетради; на некоторых из них его рукой было написано больше, чем рукой автора. С каждым он говорил сосредоточенно и долго, слушал собеседника с всепоглощающим жадным вниманием. Мнение свое он высказывал прямо и сурово, выбирая слова, силу которых мы узнали много позже, через годы и десятилетия, когда слова эти, прошедшие в душе нашей длинный, неотвратимый путь, сделались правилом и направлением жизни.

Покончив с авторами, уже знакомыми ему, Горький подошел к нам и стал собирать рукописи. Мельком он взглянул на меня. Я представлял тогда собой румяную, пухлую и неперебродившую смесь толстовца и социал-демократа, не носил пальто, но был вооружен очками, замотанными вощеной ниткой.

Дело происходило во вторник. Горький взял тетрадку и сказал:

— За ответом — в пятницу.

Неправдоподобно звучали тогда эти слова... Обычно рукописи истлевали в редакциях по нескольку месяцев, а чаще всего — вечность.

Я вернулся в пятницу и застал новых людей: как и в первый раз, среди них были княгини и духоборы, рабочие и монахи, морские офицеры и гимназисты. Войдя в комнату, Горький снова взглянул на меня беглым своим, мгновенным взглядом, но оставил меня напоследок. Все ушли. Мы остались одни — Максим Горький и я, свалившийся с другой планеты, из собственного нашего Марселя (не знаю, нужно ли пояснять, что я говорю об Одессе). Горький позвал меня в кабинет. Слова, сказанные им там, решили мою судьбу.

— Гвозди бывают маленькие,— сказал он,— бывают и большие — с мой палец.— И он поднес к моим глазам длинный, сильно и нежно вылепленный палец.— Писательский путь, уважаемый пистолет (с ударением на о), усеян гвоздями, преимущественно крупного формата. Ходить по ним придется босыми ногами, крови сойдет довольно, и с каждым годом она будет течь все обильнее... Слабый вы человек — вас купят и продадут, вас затормошат, усыпят, и вы увянете, притворившись деревом в цвету... Честному же че-

ловеку, честному литератору и революционеру пройти по этой дороге — великая честь, на каковые нелегкие действия я вас, сударь, и благословляю...

Надо думать, в моей жизни не было часов важнее тех, которые я провел в редакции «Летописи». Выйдя оттуда, я полностью потерял физическое ощущение моего существа. В тридцатиградусный, синий, обжигающий мороз я бежал в бреду по громадным пышным коридорам столицы, открытым далекому темному небу, и опомнился, когда оставил за собой Черную Речку и Новую Деревню...

Прошла половина ночи, и тогда только я вернулся на Петербургскую сторону, в комнату, снятую накануне у жены инженера, молодой, неопытной женщины. Когда со службы пришел ее муж и осмотрел мою загадочную и юную персону, он распорядился убрать из передней все пальто и галоши и закрыть на ключ дверь из моей комнаты в столовую.

Итак, я вернулся в свою новую квартиру. За стеной была передняя, лишенная причитавшихся ей галош и накидок, в душе кипела и заливала меня жаром радость, тиранически требовавшая выхода. Выбирать было не из чего. Я стоял в передней, чему-то улыбался и неожиданно для себя открыл дверь в столовую. Инженер с женой пили чай. Увидев меня в этот поздний час, они побледнели, особенно у них побелели лбы.

«Началось»,— подумал инженер и приготовился дорого продать свою жизнь.

Я ступил два шага по направлению к нему и сознался в том, что Максим Горький обещал напечатать мои рассказы.

Инженер понял, что он ошибся, приняв сумасшедшего за вора, и побледнел еще смертельнее.

— Я прочту вам мои рассказы,— сказал я, усаживаясь и придвигая к себе чужой стакан чая,— те рассказы, которые он обещал напечатать...

Краткость содержания соперничала в моих творениях с решительным забвением приличий. Часть из них, к счастью благонамеренных людей, не явилась на свет. Вырезанные из журналов, они послужили поводом для привлечения меня к суду по двум статьям сразу — за попытку ниспровергнуть существующий строй и за порнографию. Суд надо мной должен был состояться в марте 1917 года, но вступившийся за меня народ в конце февраля восстал, сжег обвинительное заключение, а вместе с ним и самое здание Окружного суда.

Алексей Максимович жил тогда на Кронверкском проспекте. Я приносил ему все, что писал, а писал я по одному рассказу в день (от этой системы мне пришлось впоследствии отказаться, с тем чтобы впасть в противоположную крайность). Горький все читал, все отвергал и требовал продолжения. Наконец мы оба устали, и он сказал мне глуховатым своим басом:

— С очевидностью выяснено, что ничего вы, сударь, толком не знаете, но догадываетесь о многом... Ступайте посему в люди...

И я проснулся на следующий день корреспондентом одной неродившейся газеты, с двумястами рублей подъемных в кармане. Газета так и не родилась, но подъемные мне пригодились. Командировка моя длилась семь лет, много дорог было мною исхожено и многих боев я был свидетель. Через семь лет, демобилизовавшись, я сделал вторую попытку печататься и получил от него записку: «Пожалуй, можно начинать...»

И снова, страстно и непрерывно, стала подталкивать меня его рука. Это требование — увеличивать непрестанно и во что бы то ни стало число нужных и прекрасных вещей на земле — он предъявлял тысячам людей, им отысканных и взращенных, а через них и человечеству. Им владела не ослабевавшая ни на мгновенье, невиданная, безграничная страсть к человеческому творчеству. Он страдал, когда человек, от которого он ждал много, оказывался бесплоден. И счастливый, он потирал руки и подмигивал миру, небу, земле, когда из искры возгоралось пламя...

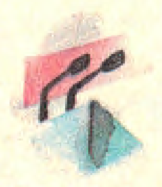
## ⟨УТЕСОВ⟩

Утесов столько же актер, сколько пропагандист. Пропагандирует он неутомимую и простодушную любовь к жизни, веселье, доброту, лукавство человека легкой души, охваченного жаждой веселости и познания. При этом — музыкальность, певучесть, нежащие наши сердца; при этом — ритм дьявольский, непогрешимый, негритянский, магнетический; нападение на зрителя яростное, радостное, подчиненное лихорадочному, но точному ритму.

Двадцать пять лет исповедует Утесов свою оптимистическую, гуманистическую религию, пользуясь всеми средствами и видами актерского искусства,— комедией и джазом, трагедией и опереттой, песней и рассказом. Но до сих пор его лучшая, ему «присущая» форма не найдена и поиски продолжаются, поиски напряженные.

Революция открыла Утесову важность богатств, которыми он обладает, великую серьезность легкомысленного его искусства, народность, заразительность его певучей души. Тайна утесовского успеха — успеха непосредственного, любовного, легендарного — лежит в том, что советский наш зритель находит черты народности в образе, созданном Утесовым, черты родственного ему мироощущения, выраженного зажигательно, щедро, певуче. Ток, летящий от Утесова, возвращается к нему, удесятеренный жаждой и требовательностью советского зрителя. То, что он возбудил в нас эту жажду, налагает на Утесова ответственность, размеров которой он, может быть, и сам не сознает. Мы предчувствуем высоты, которых он может достигнуть: тирания вкуса должна царить в них. Сценическое создание Утесова — великолепный этот, зараженный электричеством парень и опьяненный жизнью, всегда готовый к движению сердца и бурной борьбе со злом,— может стать образцом, народным спутником, радующим людей. Для этого содержание утесовского творчества должно подняться до высоты удивительного его дарования.

# СТАТЬИ
# ВЫСТУПЛЕНИЯ



## ⟨ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СЕКРЕТАРИАТА ФОСП⟩

В связи с этим выступлением Дана рождается ряд вопросов. Когда я был за границей, я был потрясен своей популярностью в Польше и Германии. Происхождение фотографии, изображающей меня с сыном, помещенной в польской газете, объясняется следующим обстоятельством, по поводу которого у меня также было столкновение с коммунистическим издательством «Малик-Ферлаг» в Берлине. Когда из издательства прислали за текстом проспекта к моей книге, моя мать случайно отдала посланному вместе с нужным материалом и эту мою карточку с сыном. «Малик» издал проспекты с фотографией, а потом она появилась и в американских переводах. Судя по статье Б. Ясенского, «интервью» Дана написано под явным влиянием моего рассказа «Гедали». Молодой человек из польской газеты лишь подновил тему, облек ее в форму интервью. Особенно удивительно, что это «интервью» появилось через два года после моего приезда из-за границы. В свое время мои рассказы о прежней работе в Чека подняли за границей страшный скандал, и я был более или менее байкотируемым человеком. Конечно, в то время такая информация не могла бы появиться.

Все же «Литературная газета» поступила неправильно, не показав предварительно статью мне. Мне кажется, что здесь речь идет о человеке безукоризненной репутации, и по отношению к такому человеку «Литгазета» поступила несколько поспешно. Правда, найти меня трудно. Но если бы статья была своевременно мне показана, все дело выглядело бы, конечно, иначе, ясно было бы, что речь идет только о фальшивке. Статья производит неприятное впечатление. Как могло случиться, чтобы на человека, кото-

рый с октября 1917 года работал в Чека, против которого за все эти годы не поднялся и не мог подняться ни один голос,— как могло случиться, чтобы на такого человека был вылит такой ушат грязи. Я думаю, что это в значительной мере можно объяснить тем, что я, напечатав в 1925—26 гг. книгу, исчез из литературы.

Зеленым мальчиком я попал к Горькому и двадцати лет — в ноябре 1916 года — напечатал свою первую вещь в горьковской «Летописи». Мне сейчас же было предъявлено обвинение сразу по трем статьям царского свода законов: я был привлечен за порнографию, кощунство и покушение на ниспровержение царствующего строя. В марте 1917 года я должен был привлекаться к суду. Писал я тогда в течение одного месяца. Горький сказал, что — плохо. И было действительно плохо. После этого, подобно Горькому, я пошел «в люди». «В люди» — было для меня Красной Армией, Чека, советскими учреждениями, в одном из которых, между прочим, я работал в одно время с Жигой, который мне первому показывал свои стихи, которые он тогда писал. В 1920 году тов. Симмен был заведующим Госиздатом в Одессе, и я работал с ним в качестве заведующего редакционно-издательским отделом. После семилетнего перерыва, в течение шести месяцев печатались мои вещи. Потом я перестал писать потому, что все то, что было написано мною раньше, мне разонравилось. Я не могу больше писать так, как раньше, ни одной строчки. И мне жаль, что С. М. Буденный не догадался обратиться ко мне в свое время за союзом против моей «Конармии», ибо «Конармия» мне не нравится. За все эти годы я проделал большой путь — от Архангельска до Батуми. Я многого в жизни не уважаю, но советскую литературу уважаю превыше всего. У меня в то время была квартира, была тысяча-две рублей гонорара в месяц, был почет, я имел возможность заказывать себе «красную мебель». Почему мне понадобилось уйти от всего этого, бросить проверенный метод, знание того, с чего нужно начать в художественном произведении, чем нужно кончить, где нужно вставить иностранное слово, то есть была еще готовая рента лет на десять? Отказ от всего этого я рассматриваю как свою величайшую заслугу и следствие правильного отношения к советской литературе. Последние два года я живу «внизу», в деревне, в колхозах, стараюсь смотреть на жизнь изнутри. Я не говорил этого раньше потому, что считал, что надо сначала написать книгу, сказать это через книгу. Может быть, в наше время так поступать нельзя.

Недавно я почувствовал, что мне опять хорошо писать. Я давно уже понял, что приближается смерть «попутнической» литературы. Она производит жалчайшее впечатление, представляя собой чудовищный диссонанс с темпами нашей большевистской эпохи. Прошли тягчайшие для меня годы. Я искал новый язык, новый образ, соответствующий ведущей роли советской литературы. Я действовал как один из немногих ее фанатиков. Медвежьи углы подсказали мне новый ритм. За последний год — год усиленной работы — я видел, как заблудились между трех сосен мои товарищи, которые не остановились в своем ежедневном беге. И вдруг когда я вновь полон жажды работать, меня встречает статья Ясенского, говорящая о моем пребывании за границей, где меня на собственной улице избивали пьяные офицеры.

Мне не приходило в голову в течение всего этого времени, что нужны были с моей стороны декларации о моем отношении к Советской власти, как человеку, честно прослужившему десять лет в сов[етском] учреждении, не пришло бы в голову дать подписку о том, что он из этого учреждения ничего не украдет.

Недавно я был с триумфом отправлен от фининспектора, ибо оказался единственным писателем в СССР, не обложенным подоходным налогом. Все мое состояние — полтора чемодана и долг ГИЗу.

Я еще раз повторяю, я думал, что весь этот разговор я поведу через три месяца, через мою книгу.

## РАБОТА НАД РАССКАЗОМ

Когда я начинал работать, писать рассказы, я, бывало, на две-три страницы нанижу в рассказе сколько полагается слов, но не дам им достаточно воздуха. Я прочитывал слова вслух, старался, чтобы ритм был строго соблюден, и вместе с тем так уплотнял свой рассказ, что нельзя было перевести дыхания.

В рассказах молодых писателей, которые я прочел, дело обстоит лучше.

Рассказы эти хороши тем, что написаны просто. Здесь нет претензий, вычурности, но стиля своего маловато, удара и страсти мало.

Я считаю, что нужно было подробней описать фабрику, больше показать ее специфику, для того чтобы ощущалась присущая ей атмосфера. Конечно, не надо запутывать рассказ всякими техническими словами, но ритмику фабричной жизни следует показать более ярко.

В описании у автора какие-то не свои слова, не им рожденные. Такие же фразы мы уже не раз читали.

Возьмем, например, такую фразу: «Дымились сочные тополя». Ведь это уже было сказано; я уверен, что автор не продумал этих слов. Он не вспомнил как следует описываемого им вечера, его краски, небо. А если бы он подумал об этом, если бы почувствовал всю красоту вечера, то нашел бы неповторимые слова для его описания.

Я вовсе не говорю, что нужно находить такие слова, которыми можно огорошить читателя. Я вовсе не требую особой вычурности, такой, чтобы все ахнули и сказали: «Написал, мол, такое, чего никто другой не придумает». Но нужно изменять затрепанные образы или дополнять их своими словами.

Мне не нравится и такая фраза: «Мысленно выругала Тоня подругу» — та́к уже много раз говорили.

Русский язык еще сыроват, и русские писатели находятся, в смысле языка, в более выгодном положении, чем

французские. По художественной цельности и отточенности французский язык доведен до предельной степени совершенства и тем осложняет работу писателей. Об этом с грустью говорили мне молодые французские писатели. Чем заменить сухость, блеск, отточенность старых книг,— разве что шумовым оркестром?

Мы не находимся в таком положении. Нам следует искать страстные, но простые и новые слова. А вот такая фраза: «Мысленно выругала Тоня подругу»,— несомненно, встречалась.

Возьмите Горького. Изучение его важно, оно много даст для понимания техники рассказа и новеллы. Я говорю о Горьком не в том смысле, что ему надо слепо подражать, а потому, что он создает рассказы, которые при сплаве с ритмом нашей жизни дают изумительные результаты.

Возьмите его маленькие рассказы в полторы-две страницы, они летят, летят как песня. Кто помнит его рассказ «Едут»?

Рассказ «Едут» очень короток. Всем надо его прочесть. Но вернемся к Меньшикову.

Вот у него такая фраза: «Колхоз вырос уверенно и скоро». Слова «уверенно и скоро», может быть, и хорошие слова, но в данном случае они становятся плохими, общими.

Или вот такая фраза: «Прошумела, проканонадила революция». Я люблю новые слова, но это слово какое-то неуклюжее, неудобное.

Или такая фраза: «И когда тоска проходила...» Это не раз повторялось, затрепано. Я должен сказать, что мне в этом рассказе больше нравится то, чего в нем нет, чем то, что в нем есть. В нем нет пошлости — это хорошо, и это чрезвычайно важно.

Я опять вернусь к Горькому. В основе его статей о литературе лежит борьба с пошлостью, являющейся в наших условиях, в условиях нашей литературы, могучим орудием враждебных нам сил.

Мы хотим наши мысли, желания и устремления сделать достоянием миллионов людей. Но если слова и фразы затрепаны, если у автора нет мужественного отношения к словам и фразам, то они превращаются в силу, отравляющую наше сознание. Это важно понять.

Наша литература не похожа на западную,— в частности, на литературу Франции. О чем там пишут? Полюбил молодой человек девушку — ничего из этого не вышло. Хотел работать — тоже ничего не вышло. В результате застрелился.

У нас пишут не так. Нашему автору — о чем бы он ни писал — совершенно ясно, что дело идет о величайшей переделке людей, о ломке старого мира. И, о чем бы он ни повествовал, он будет говорить именно об этом. А об этом нельзя говорить пошло, что у нас, к сожалению, часто бывает.

Если о революционных сдвигах говорить разухабисто, без чувства ответственности, то тем самым можно только помочь контрреволюции чувств.

Вот этого дефекта в рассказах Меньшикова нет. И это очень хорошо.

Но вместе с тем у него мыслей маловато, нет удара, нет настоящей внутренней мускулатуры в словах. Вы здесь не видите внутренней жизни автора, не видите основы под его словами. Они плавают на поверхности.

Я оптимист в области литературы и уверен, что мы дадим еще не виданные произведения. Они родятся на основе совмещения великолепной техники со страстностью, с ритмом нашей эпохи.

Нам нужны теперь небольшие рассказы. У десятков миллионов новых читателей досуга мало, и поэтому они требуют небольших рассказов. Нужно признать, что у нас романы пишутся слабо. У наших авторов еще не хватает темперамента и своих мыслей на триста страниц. Получаются десятки тетрадей, исписанных механически.

М е н ь ш и к о в. Скажите, каким путем вы избавлялись от литературщины? Как вы находили свое лицо?

Б а б е л ь. В детстве я учился плохо. В семнадцать лет на меня «нашло», я стал много читать и учиться. В течение одного года изучил три языка, прочел много книг. До сих пор я в значительной степени питаюсь этим багажом.

Теперь настало время коренным образом этот багаж обновить и дополнить. В наши дни из писателя, мало знающего, полагающегося на нутро, ничего не выйдет. Конечно, забота о самостоятельности писателя должна быть постоянной.

Только теперь я начинаю подходить к профессионализму. Прежде чем что-нибудь написать, я проверяю себя. Не надо прибавлять к сотням тысяч напечатанных плохих страниц еще одну страницу болтовни.

Вы спрашиваете меня: можно ли написать рассказ в короткий срок? Если вам, например, сейчас скажут: «Поезжайте во Францию и напишите о ней очень быстро хороший рассказ»,— вы, наверное, этого сделать не сможете. Но если бы у вас были определенно сложившийся взгляд, жизнен-

ный опыт, собственная оценка явлений, вы бы смогли написать такой рассказ.

Представьте себе, что Ленин, который не являлся специалистом — писателем, пожелал бы исследовать быт какой-либо американской народности. Он пошел бы в рабочие кварталы, на фабрики, заводы, в банки, в исследовательские институты и проверил бы свои, всей жизнью накопленные, мысли и убеждения, и именно под этим углом он написал бы так же блестяще об опыте какого-нибудь народа, как писал и другие, знакомые нам исследования.

М е н ь ш и к о в. Как вы пишете: сразу или работаете подолгу над каждой фразой?

Б а б е л ь. Раньше я как бы декламировал фразу за фразой, проверял все на слух, потом садился, писал без помарки и сразу же сдавал в редакцию. Все прежние мои рассказы, которые вы читали, написаны без помарок, можно сказать, по памяти. Потом я изменил метод. Вот пришла мне мысль, и я ее записываю. Затем надолго откладываю. Проходит два-три месяца, опять к ней возвращаюсь, и так это иногда несколько лет продолжается. У меня особая какая-то любовь к переделкам. Есть такие люди, которые напишут вещь и больше не могут ее видеть. У меня иначе: написать мне трудно, а переделывать нравится.

Все то, что я говорю сейчас, можно, конечно, принять к сведению, а работать каждый должен по-своему. Я знаю людей, которые могут писать только при абсолютной тишине. А вот Илья Эренбург любит писать на вокзале. Это все равно что работать рядом с шумящим авиамотором. Все лучшее, что Эренбургом создано, написано в кафе, куда он приходит каждое утро. Великолепный образец высокого профессионализма и стиля в работе дает Горький. Вот у него, мне кажется, учиться надо.

Почему я мало печатал в последние годы? Все старался переломить себя, научиться писать длинно. Затея была гордая, но неправильная. Теперь вернулся к самому себе и выбираю из груды заготовленного материала (у меня хватило вкуса его не печатать) годное.

Работникам в области литературы думать — дело не лишнее, а сейчас в особенности. Нельзя вливать новое вино в старые мехи. Идеям, рожденным пролетарской революцией, идеям нового человека, тесно в кацавейке Баранцевича, Рышкова или Потапенко.

Надо упорно работать и над формой и над содержанием, памятуя о высоком звании писателя в Советской стране.

## РЕЧЬ НА ПЕРВОМ ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Товарищи, статьи Горького о языке, мне кажется, нельзя толковать ограничительно. Они имеют далеко идущий смысл и значение. Важно не только то, что говорится, скажем, о какой-нибудь ошибке автора, о его небрежности, невежестве — тут больше вины, пожалуй, редактора, чем автора. Это статьи о великой ответственности и революционной важности слов в наши дни, особенно в нашей стране.

В истории человечества не было такого времени, когда за ведущим классом (а в нашей стране за рабочим классом и его партией) шли бы миллионы и десятки миллионов трудящихся людей, спаянных одной мыслью, одной идеей и стремлением. С этой точки зрения необыкновенно важен, я бы сказал, потрясающе интересен наш съезд. Были у нас съезды инженеров, профессоров, химиков, строителей, но этот съезд людей по самой своей профессии, по их технологии разъединенных (и они обязательно должны быть разъединены) разностью самоощущения, вкусами, методами работы,— необычаен.

И никогда в истории человечества все эти люди, знающие, что такое «сопротивление материала», сопротивление слова, не чувствовали такой силы единства, как чувствуем мы и трудящиеся нашей страны. Мы объединены этой общностью идеи, мысли, борьбы, потому что, товарищи, борьба, видоизменившаяся в нашей стране, развернется с невиданной силой во всем мире. В этой борьбе нужно немного слов, но это должны быть хорошие слова, а выдуманные, пошлые, казенные слова, пожалуй, играют на руку враждебным нам силам. Пошлость в наши дни — это уже не дурное свойство характера, а это преступление. Больше того: пошлость — это контрреволюция. Пошлость — вот один из важнейших врагов, по моему мнению.

На днях я был свидетелем такого случая. Монтер по соседству избил свою жену. Сбежались люди. Один говорит: дрянной человек, женщину избил. Другой: это припадочный. Подходит третий и говорит: какой черт припадочный, это — контрреволюционер.

Товарищи, я испытал чувство растроганности, когда услышал эти слова. Если в широкую массу, в толщу нашего народа вошло такое высокое духовное понятие о революции, то действительно победа ее окончательна. За этими чувствами слова не поспевают. Наша задача — облагородить эти слова. Посмотрите вы на превращение наших газет. Они были скучноваты, тусклы, не отражали многообразия жизни. Но вот поистине с чудесной, возможной только в нашей стране, быстротой с ними произошло изменение.

Очередь за газетой — радостная очередь, если не говорить, конечно, с точки зрения бумажной промышленности *(смех и аплодисменты)*.

Теперь происходит как бы массовый призыв литераторов в газету (я говорю главным образом о газете, о брошюре, потому что это многомиллионные тиражи, многомиллионный рупор), и этому призыву надо последовать.

Со здания социализма снимаются первые леса. Самым близоруким видны уже очертания этого здания, красота его. И мы все — свидетели того, как нашу страну охватило могучее чувство просто физической радости.

Но выразители этой радости у нас иногда хромают. Иногда вдруг какой-нибудь человек — в сущности, глубоко унылая личность — зарядит о своей радости, начнет талдычить и нудить; на таких радующихся тошно глядеть.

Этот человек становится еще более страшен, когда он испытывает потребность объясниться кому-нибудь в любви *(смех)*. Невыносимо громко говорят у нас о любви. Товарищи, на месте женщин я бы впал в панику: если так будет продолжаться, им перебьют все барабанные перепонки. Если так будет продолжаться, у нас скоро будут объясняться в любви через рупор, как судьи на футбольных матчах. И ведь дошло уже до того, что объекты любви начинают протестовать, вот как Горький вчера.

Серьезное тут заключается в том, что мы, литераторы, обязаны содействовать победе нового, большевистского вкуса в стране. Это будет немалая политическая победа, потому что, по счастью нашему, у нас не политических побед нет. Это будет и утверждение стиля нашей эпохи... Он не в болтовне, не в декларациях и не в необыкновенной способности говорить длинно, когда мысль коротка (причем спе-

циалистов говорить длинно можно убедить говорить коротко только тогда, когда у них никакой мысли нет) *(смех)*.

Стиль большевистской эпохи — в мужестве, в сдержанности, он полон огня, страсти, силы, веселья.

На чем можно учиться? Говоря о слове, я хочу сказать о человеке, который со словом профессионально не соприкасается: посмотрите, как Сталин кует свою речь, как кованны его немногочисленные слова, какой полны мускулатуры. Я не говорю, что всем нужно писать, как Сталин, но работать, как Сталин над словом, нам надо *(аплодисменты)*.

Вот я сказал об уважении к читателю, о читателе. С ним прямо беда. Если сказать словами Зощенко, это получается форменная труба *(смех)*. Вот иностранные товарищи жалуются на него. Товарищи, а у нас читатели наступают сомкнутыми рядами, они идут прямо в кавалерийскую атаку на нас, бреющим полетом носятся над головой и протягивают руку, в которую вы камень не положите. Тут надо положить хлеб искусства. Он требует этого иногда с трогательностью, иногда с прямолинейным простодушием. Конечно, нужно его предупредить во избежание могущих возникнуть недоразумений: хлеб-то мы ему постараемся положить, но насчет стандарта формы этого хлеба — тут хорошо бы удивить его неожиданностью искусства, а не то чтобы он сказал: «Правильно, с подлинным верно». Без высоких мыслей, без философии нет литературы. Довольно теней на стекле! И этого читатель от нас ждет.

Я заговорил об уважении к читателю. Я, пожалуй, страдаю гипертрофией этого чувства. Я к нему испытываю такое беспредельное уважение, что немею, замолкаю *(смех)*.

Представишь себе аудиторию читателей человек в пятьсот секретарей райкомов, которые знают в десять раз больше нас, писателей, и пчеловодство, и сельское хозяйство, и как строить металлургические гиганты, и тоже — «инженеры душ»,— тогда и чувствуешь, что тут разговорами, болтовней, гимназической чепухой не отделаешься. Тут разговор должен быть серьезный и вплотную.

Если заговорили о молчании, то нельзя не сказать обо мне — великом мастере этого жанра *(смех)*.

Надо сказать прямо, что в любой уважающей себя буржуазной стране я бы давно подох с голоду, и никакому издателю не было бы дела до того, как говорит Эренбург, кролик я или слониха. Произвел бы меня этот издатель, скажем, в зайцы и в этом качестве заставил бы меня прыгать, а не стал бы — меня заставили бы продавать галантерею. А вот здесь, в нашей стране, интересуются —

а он кролик или слониха, что у него там в утробе, причем и не очень эту утробу толкают,— маленько, но не очень *(смех, аплодисменты)*, и не очень допытываются, какой будет младенец: шатен или брюнет, и что он будет говорить и прочее. Вот, товарищи, я этому не радуюсь, но это, пожалуй, живое доказательство того, как в нашей стране уважаются методы работы, хотя бы необычные и медлительные.

Вслед за Горьким мне хочется сказать, что на нашем знамени должны быть написаны слова Соболева, что все нам дано партией и правительством и отнято только одно право — плохо писать.

Товарищи, не будем скрывать. Это было очень важное право, и отнимают у нас немало *(смех)*. Это была привилегия, которой мы широко пользовались.

Так вот, товарищи, давайте на писательском съезде отдадим эту привилегию, и да поможет нам бог. Впрочем, бога нет, сами себе поможем *(аплодисменты)*.

## ⟨О РАБОТНИКАХ НОВОЙ КУЛЬТУРЫ⟩

Товарищи, нас сюда привело восстание читателя, бунт читательской публики.

В театре я иногда ловлю себя на том, что смотрю не на сцену, а на зрителя. Интереснее, лучше, содержательнее; прекрасные лица. В них такая жажда хорошего слова, такая сила восприятия, такая юность и страстность, что становится жалко и стыдно, когда слушаешь какие-нибудь жеваные слова со сцены.

Я думал про себя: до каких пор они будут слушать? Оказывается, зритель взбунтовался, его восстание и привело нас сюда.

Конечно, значение этого движения далеко выходит за пределы частных личных случаев. Можно соглашаться, можно не соглашаться с теми способами нанесения увечий различным товарищам, которые иногда практикуются нашей критикой, но по существу этих увечий должен сказать, что я с ними согласен *(смех)*. Речь идет о деле громадном.

Есть обновленный 170-миллионный народ, большая часть которого лишь десяток, два десятка лет тому назад научилась грамоте. Появились десятки миллионов новых читателей, которым начинать с Джойса и Пруста невозможно. В руководстве великим, небывалым этим движением возможны ошибки; на редакциях и критиках наших лежит историческая ответственность. Я не собираюсь заступаться за них. В той путанице, которую критики наши сейчас разбирают, часто они сами повинны, часто суждения их по своей неожиданности напоминают атмосферические явления. Но все это имеет малое, второстепенное значение. Значение имеет то, что 170-миллионный народ, строящий новую культуру, провозвестник и создатель нового общества,

говорит нам, что ему не хватает книг и что значительная часть тех, которые есть,— плохи. Заявление, важность которого и обязательность для нас нельзя переоценить. Исходя из этого, надо, чтобы совещание наше стало совещанием производственным.

Я не умею говорить о теориях, мне хотелось бы сказать о конкретных случаях.

Все мы здесь сидящие бесталанного человека даровитым не сделаем, из пошляка и приспособленца — создателя новой культуры тоже не сделаем. Устрашить бы их — и то хорошо.

Мы говорим о людях доброй воли и способностей, которые могут и хотят работать,— и говорим конкретно. Добрых намерений на всех наших литературных совещаниях высказано было много, добрыми намерениями вымощен ад и наша литература *(смех)*. Признаний Советской власти тоже мы выслушали немало. По-моему, речь теперь должна идти о том — признает ли Советская власть тех, кто ее признает *(аплодисменты)*.

Что должны мы делать для поднятия своей квалификации и как это делать? Вот вопрос, который каждый из нас должен себе задать.

Возьму случай с товарищем Бабелем — случай, известный мне лучше других. Мне трудно тут не присоединиться к хору жалующихся на товарища Бабеля. Жить с ним так долго, как я это делаю, нелегко. Человек он тяжелого характера. Случай этот может быть для нас конкретным литературным примером.

Меня упрекают в малой продуктивности. В ранней юности мною было напечатано несколько рассказов, встреченных с интересом, после чего я замолчал на семь лет. Потом снова стал печататься, и кончилось это тем, что мне разонравилось то, что я делал, показалось, что я начинаю повторяться.

Мне перестало нравиться то, что я делал, и у меня возникло законное желание делать по-другому.

Я не могу связать слово «ошибка» с тем чувством недовольства собой, которое я испытывал. И вообще считаю, что в вопросе о так называемой литературной ошибке напущено много туману и что дело серьезнее, чем мы думаем.

Можно понять ошибку в арифметике. Можно понять ошибку в политике. Нам объяснили, что они редко бывают случайными и как надо их исправлять. Ошибка в литературе — это же и есть литератор. Людовик XIV сказал когда-то: «Королевство — это я». Литератор мог бы сказать:

«Ошибка — это я». И тут надо принять далеко идущие меры по отношению к себе. Я стараюсь держаться конкретных рамок, и поэтому мне кажется просто неуместным говорить о деталях.

В начале моей работы было у меня стремление писать коротко и точно, был у меня, я думал, свой способ выражать чувства и мысли. Потом я остыл в этой страсти и убедил себя, что писать надо плавно, длинно, с классической холодностью и спокойствием. И я исполнил свое намерение, уединился, исписал столько бумаги, сколько полагается графоману *(смех)*.

В числе моих пороков есть свойство, которое, пожалуй, надо сохранить. Я считаю, что нужно быть себе предварительной цензурой, а не последующей. Поэтому, написав, я дал сочиненному отлежаться, и когда прочитал со свежей головой, то, по совести, не узнал себя: вяло, скучно, длинно, нет удара, неинтересно. И тогда снова — в который раз — как сказано у Горького, я решил идти в люди, объехал много тысяч километров, видел множество дел и людей.

Мысль моя была такова — совершаются мировой важности события, рождаются люди еще не виданные, совершаются вещи небывалые, и, пожалуй, один только фактический материал может потрясать в наше время.

И вот я постарался изложить этот фактический материал, написал, отложил его, прочитал и увидел — неинтересно *(смех)*.

Это начало становиться серьезным. Пришло время пересмотра и решения. И я понял, что первое мое желание было желание техникой и формой, каким-то особым объективизмом подменить то, чем был я. Вторым внутренним моим расчетом было то, что за меня будет говорить Советская страна, что события наших дней так удивительны, что мне и делать особенно нечего — они сами за себя говорят. Нужно только правильно их изложить, и это будет важно, потрясающе, интересно для всего мира. И вот — не вышло. Получилось неинтересно. Тогда я понял окончательно, что книга — это есть мир, видимый через человека. В моем построении человека и не было,— он ушел от самого себя. Надо было к нему вернуться; у меня, как у литератора, никаких других инструментов, кроме как мои чувства, желания и склонности, не было и не могло быть; в наших условиях высокой ответственности нужна ничем не ограниченная добросовестность к себе.

Так пришел я к убеждению, что для того, чтобы хорошо писать, нужно чувства мои, мечты, сокровенные желания

довести до их предела, довести до полного голоса, сказать себе со всей силой, что я есть, очистить себя, пойти полным ходом, и только тогда видно будет, дело я затеял или нет, товар это или не товар. И тут, товарищи, впервые за несколько лет я почувствовал легкость в работе и прелесть ее. Только будучи самим собой, с величайшей силой и искренностью развивая свои способности и чувства, можно подвергнуть себя решительной проверке. Человеческий мой характер, работа моя, то, чему я хочу учить и к чему я хочу вести,— является ли это частью созидающейся социалистической культуры, работником которой я являюсь? Вот в чем заключается эта проверка. Представитель ли я тех людей, новых людей нашей страны, с жадностью смотрящих на сцену, ждущих и требующих нового, страстного, сильного слова?

Я себе ответил на этот вопрос так, что работу мне надо продолжать с гораздо большей настойчивостью и ясностью, чем это было раньше. Чтобы не удариться в область «добрых намерений», я не стану распространяться об этом. Подождем дел моих... Постараюсь, чтобы ждать было недолго.

Не может быть хорошей литературы, если собрание литераторов не будет собранием могучих, сильных, страстных и разнообразных характеров. Объединенные одной целью и страстной любовью к строительству социализма, они должны создать новую социалистическую культуру.

Здесь было выступление Серебрянского, правильно отметившего, что мало говорили о Фурманове и Островском. Книги Фурманова и Островского с громадным увлечением читаются миллионами людей. О них можно сказать, что они формируют душу. Огненное содержание побеждает несовершенство формы. Книга Островского — одна из советских книг, которую я с биением сердца дочитал до конца, а ведь написана она неискусно, и отношусь я к разряду скорее строгих читателей.

В ней сильный, страстный, цельный человек *(аплодисменты)*, знающий, что он делает, говорит полным голосом. Вот что нужно нам всем — вот образец, который мы обязаны переработать в себе в соответствии с особенностями каждого из нас.



## ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ФРАНЦИЮ

### «ГОРОД-СВЕТОЧ»

С детства слышал я о великом городе. Французы называют его «город-светоч» (ville-lumière), на Западе он — всеми признанная столица мира...

И вот наш поезд въехал на Северный вокзал Парижа. Вышли мы на перрон и испытали что-то вроде разочарования: грязновато, шумновато, видимого порядка нет...

Где висят таблицы «Не ходить»,— ходят; где написано «Не курить»,— курят. Кто-то поет, кто-то хохочет. Шумно целуется группа молодежи, свист и песни...

Вышли мы с вокзала. Трехэтажные и четырехэтажные, закопченные, сумрачные дома, порядочно мусора на тротуарах. День нашего приезда был удушливо-жаркий. Над раскаленными камнями города висело желтое солнце. На тротуарах, в кафе, без пиджаков, в одних жилетах, сидят, шумно и непринужденно ведут себя толстоватые люди, напомнившие мне моих земляков — одесситов,— такой же невидный, быстрый, уверенный в себе народ.

Итак, мы встретили не то, что ждали: никакой торжественности, натянутости и парадной пышности; ни особого блеска, ни громадных зданий. Старинный, плохо расположенный город; рядом с просторными блестящими бульварами — узкие улички, тупики, беспорядочное и громовое движение.

Но вот мы пожили в Париже некоторое время, присмотрелись к чему-то неясному еще для вас самих, но важному, и новое чувство медленно, непреодолимо начинает проникать в вас, и все более становятся вам понятны художники разных стран, приехавшие в Париж на неделю или на ме-

сяц и оставшиеся на всю жизнь в этом городе, созданном, как произведение искусства.

Городу — тысяча лет. В нем живут люди всех наций, и уклад жизни всех наций — мир в миниатюре. Он обладает разнообразием, невозможным в другом месте. Нет языка, которого вы не услышали бы в Париже, нет человеческого чувства, которое не было бы выражено на одном из бесчисленных и чужих языков. Нет вина, которое нельзя было там выпить. И недаром один француз со страстью убеждал меня в том, что лучший украинский борщ изготовляется не в Полтаве, а в Париже, на одной из уличек, прилегающих к Елисейским полям. Елисейские поля — так странно для нашего уха называется улица, которую французы считают самой прекрасной улицей мира. Она тянется от площади Согласия до древнего и вечно юного Булонского леса, прерываемая в победоносном просторном своем беге хрустальными фонтанами, зелеными скверами, уложенная мраморными плитами, на которых сияет и переливается вода во время дождя.

Так постепенно отделываетесь вы от первого впечатления, для того чтобы дать место другим. На бульварах мало детей... зато множество стариков и старушек, вяжущих, читающих газеты, наблюдающих за детьми. Эти люди могут долго говорить о кушаньях, о том, какая в прошлый четверг была погода,— и, должен сознаться, они в конце концов отучили меня от пренебрежительного отношения к тому, что мы называем «разговорами о погоде». Я понял, что для горожанина — это хоть слабое, но все же приближение к природе.

На улицах мы видели народ, насмешливый и беспокойный. Стоит появиться уличному певцу, как вокруг него собираются люди, расхватывают листки с песнями, которые он исполняет, и тут же подпевают ему. Стоит кондукторше в трамвае сделать кому-нибудь замечание, как поднимается веселый скандал на полчаса. Все это может создать впечатление существования поверхностного. Вначале думаешь: неужели легкий и неуважительный этот народ создал искусство, недосягаемое по красоте, простоте и легкости изложения? Неужели народ этот дал Бальзака и Гюго, Вольтера, Робеспьера?.. Нужен срок, чтобы почувствовать, в чем прелесть и тайна этого города, его народа, его прекрасной страны, разделанной с тщательностью, любовью и вкусом.

В Париже есть книжные издательства, насчитывающие столетия существования, и часто в книжной лавке сидит праправнук по прямой линии того человека, который осно-

вал эту лавку лет триста назад, то есть в то время, когда у нас на окраины Москвы заходили волки и медведи. Накопление богатств, знаний, технического уменья началось на столетия раньше, чем у нас. Культура Франции не в показном блеске: нужны внимание и серьезность, чтобы проникнуть в ее глубину.

Если говорить о том, что называется национальным характером, то французы в массе своей — народ философичный, народ ясной, точной, изящной мысли, скрывающий часто под шуткой глубокое содержание. Народ, несмотря на свою репутацию, замкнутый, не раскрывающий по пустякам своего сердца. Беда в том, однако, что власть капиталистов, политическое устройство капиталистического государства искажают прекрасное лицо этой страны, поражают ее жизненные центры.

## ШКОЛА ВО ФРАНЦИИ

По нашим, советским представлениям, она поставлена плохо. В этом деле Франция — одна из отсталых стран Европы, со старым, схоластическим обучением, с зубрежкой как основой преподавания.

Дети проводят в школе часов по десять в день. Учиться начинают с шести лет. Задают много и требуют много. Физкультура только начинает прививаться. Французский школьник — существо хилое и озабоченное. Наши ребята выгодно от них отличаются силой, простым и здоровым весельем. Старинные колледжи французских детей походят на казематы, на крепости,— это угрюмые, казенные здания. Здания эти, самый распорядок школьной жизни подавляют воображение и запугивают его. Зубрежка латыни и греческого начинается чуть ли не со второго класса. К концу обучения французские школьники знают древние языки и классических авторов, но это дается непосильным напряжением физических сил. И сами французы признают, что больше половины того, что проходится в школах, настолько неприменимо к жизни, настолько ложно и схоластично, что они сожалеют о потерянном времени и потраченных силах.

Лучше поставлено преподавание в школах, принадлежащих ордену иезуитов — одному из самых способных, настойчивых и образованных отрядов католической церкви. Яд религиозного воспитания вводится в сознание ребенка так тонко и незаметно, методами столь гибкими и со-

вершенными, что опасность эту нельзя недооценить. У иезуитов — лучшие преподаватели, богатое оборудование, горячие завтраки, умелое внешкольное воспитание, внешнее благообразие и мягкость. Многие трудовые люди попадаются на эту удочку и обрабатываются в духе, выгодном иезуитам.

Другой дух веет в высшей школе. И хотя Сорбонна — комплекс парижских университетов — здание серое, тяжелое, холодное, но в нем кипит веселая, разноязычная, бурная толпа.

Любой человек может прийти в Сорбонну, записаться на любой курс, заплатить за этот курс несколько десятков франков и прослушать его. Скажем, вы изучили археологию или географию. Можете прийти к знаменитому профессору и сказать:

— Профессор, я желаю у вас экзаменоваться по географии за весь курс.

Он обязан вас проэкзаменовать и выдать вам аттестат. Для этого вы не должны даже быть записаны на лекции.

Не знаю, хорошая ли это система,— во всяком случае, она небюрократична.

## ГОРОДА И ДЕРЕВНИ

Я ехал по удивительному французскому шоссе, в руках у меня была карта; счет оставленных позади километров неопровержимо говорил за то, что я должен въехать в деревню.

Но вместо нее по обе стороны дороги выстроились глухие, безглазые стены, без окон и дверей. Я проехал это угрюмое собрание складов, или цейхгаузов, и спросил у первого попавшего мне прохожего, где же деревня.

Он ответил: «Вы проехали ее». Стены, показавшиеся мне цейхгаузами, или сараями, на самом деле оказались складами человеческих сердец и стремлений, а не только плугов и зерна.

Французские богатые фермеры (кулаки — в переводе на язык честных людей) строят свои дома окнами и дворами внутрь, сооружают замкнутые в себе крепости, только размерами и обыденностью отличающиеся от средневековых феодальных замков. «Человек человеку — волк» — вот что невидимыми буквами написано на этих стенах. Один двор враждебен другому. Одно хозяйство противопоставлено другому. Душа отдыхает, когда это сумрачное виде-

ние сменяется панорамой городка — они встречаются часто,— спрятанного в зелени, обведенного цветами, покойного, готического и романтичного. Многое во Франции устарело, но многое выстроено вновь: земля украшена и расчищена руками работавших на ней многих поколений. Труду помог благословенный климат юга.

Незабываемы для меня дни, проведенные в Марселе, на берегу Средиземного моря, «под небом, вечно голубым», под щедрым, сверкающим солнцем. Свежий морской ветер колышет ветви пальм, олив, лимонных и апельсиновых деревьев. Веселые южные улицы берут начало у моря. И в этом же Марселе есть старая часть города, где нет доступа солнцу. Там узкие улицы, средневековые шести- и восьмиэтажные дома. Солнце не проникает в теснины средневековых громад, близко поставленных друг к другу, в извилистые и сырые коридоры улиц, где не разъедутся две повозки, в одуряющее зловоние отверженных кварталов. Наверху между домами висит белье; внизу, на очагах, на угольных плитках, на улице и в коридорах, готовят еду, распространяющую едкие, пряные запахи. Здесь живут мавры, арабы, негры — беднота, подавленная рабочая сила марсельского порта. Всего только в пятистах метрах сверкает изумрудное море, вода отражает белые стремительные корпуса яхт, вверх подымаются кварталы вилл и дворцов, улицы простреливают сильные, неудержимые тела дорогих автомобилей... Товарищи, это называется капитализмом...

## ПРАВОСУДИЕ И ПАРЛАМЕНТ

Камера уголовного суда. Сидит судья, а вокруг него такой визг, шум, такая суета, что никак вы не можете разобрать, где подсудимый, где защитник, где стороны.

Приговор объявляется мимоходом, как будто между делом.

— Два года. Три года. Шесть месяцев. Уходи, подсудимый...

Сначала вся эта ярмарка забавляет, но потом, когда оказывается, что по этим приговорам, брошенным вскользь, мимоходом, в грохоте базарной суеты, надо прожить годы в тюрьме с каторжным режимом, настроение ваше меняется. Судебное следствие ввиду многочисленности дел проходит с быстротой пулеметной очереди. Ведет его председатель, для которого обильно расточаемые остроты являются

признаком хорошего тона. Допрос приблизительно выглядит так: председатель обращается к подсудимому:

— Здравствуйте, мой друг. Ну вот мы наконец и познакомились. Попали вы ко мне, конечно, по недоразумению, ни в чем вы, конечно, не виноваты?.. Но все же, может быть, вы нам расскажете, как проделывали вы все эти гадости?..

Вторая по важности фигура во французском суде — адвокат. Как бы незначительно ни было дело, адвокат считает своим долгом многословие, пафос, широкие жесты, изыскания во тьме времен. Его слушают, как актера в театре. И судят о нем, как об актере. Впрочем, председателю это представление не мешает заниматься своим делом, переговариваться с сотрудниками, писать. Это не мешает ему по окончании речи качнуться направо и налево к двум другим судьям, древним старцам, мало чем отличающимся от египетских мумий, и небрежно произнести:

— Три года. Идите, мой друг. Уберите его, жандармы.

Немногим больше порядка во французском парламенте. Красивый, полукруглый зал, обыкновенно на три четверти пустой. Депутаты, не слушая оратора, громко разговаривают друг с другом, пишут письма, читают. Оратор говорит не для них, а для стенограммы. Оживление бывает во время речи знаменитого оратора или по скандальному какому-нибудь поводу, в чем недостатка никогда нет.

## НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Последние выборы усилили роль и значение коммунистической фракции в парламенте. Коммунисты во Франции были творцами народного фронта против фашизма. Они объединили для совместного действия в единый народный фронт партии коммунистов, социалистов и радикалов.

Сейчас во Франции правительство, опирающееся на народный фронт. В правительство входят социалисты и радикалы. Коммунисты поддерживают его во имя борьбы с отвратительной угрозой, нависшей над миром,— во имя борьбы с фашизмом. Коммунисты стоят во главе народной борьбы за мир, за счастливую, свободную Францию.

Никогда не забуду я 14 июля 1935 года, день взятия Бастилии, проведенный мною в Париже. На площади Бастилии была тюрьма, которую восставший народ разрушил 14 июля 1789 года и начал этим революцию, свергнувшую короля, опрокинувшую феодальный порядок и открывшую новую эпоху в истории человечества. Этот день празд-

нуется: народ Парижа выходит на улицу, пляшет день и ночь, веселится, как мудрец и как ребенок. И вот старая площадь, видевшая многое, 14 июля 1935 года увидела миллионы пролетариев, давших клятву единства и борьбы.

Впереди демонстрации шли вожди народного фронта. Тротуары, окна, карнизы были заполнены стотысячной толпой. Французская толпа — веселая толпа. Она смеется, балагурит, трещат хлопушки, фальшиво, но весело гремят песни. Вот показались вожди народного фронта, за ними шли центральные комитеты трех партий и затем, отдельно, деятели народного фронта: писатели, ученые, художники.

По тому, какими аплодисментами, какими криками встречали вождей этих трех партий, мы увидели, на чьей стороне любовь народа. Самые горячие приветствия, самые шумные аплодисменты трудовой народ Парижа посылал ЦК коммунистической партии.

Это была рабочая демонстрация, шествие людей с мозолистыми руками, во фригийских колпаках. В это время другая демонстрация, другие люди, с другими целями, шли по Елисейским полям. Мы с товарищами взяли такси и поехали с площади Бастилии на Елисейские поля. Все, что лежало между ними, казалось, вымерло... На бульварах, на площадях и набережных не было детей, стариков и старушек, только в скверах стояли отряды солдат и ружья в козлах.

Другой мир и другую душу увидели мы на Елисейских полях. Здесь, как и на площади Бастилии, были французы. Но на площади Бастилии кричали: «Да здравствует Советская Россия!», а с Елисейских полей несся исступленный крик: «На виселицу Советы!», «Долой Советскую Россию!»

На площади Бастилии шла веселая трудовая толпа, а здесь, по Елисейским полям, шли фашисты в черных рубахах, в черных шапочках, и по-солдатски отбивали шаг.

## ВЛАСТЬ ДЕНЕГ

Рабочие поддерживают правительство, которое сейчас во Франции, потому что оно борется за мир, против фашизма, укрепляет отношения с Советским Союзом. Но все же Франция — буржуазная страна, и главная власть в ней — власть денег. Правительство не может отменить эту власть: оно только пытается ограничить безраздельную власть над страной крупных банкиров и денежных тузов.

Этого требуют не только рабочие и фермеры, но и большая часть интеллигенции и часть мелкой буржуазии, которых душат банкиры и фабриканты.

В правлении французского банка, в главной денежной организации страны, был совет двенадцати директоров. Эти двенадцать человек и были основными финансовыми хозяевами Франции.

Правительство распустило совет двенадцати, назначило нового управляющего государственным банком и выбило этим из рук банкиров и спекулянтов могучее орудие.

Все мы читали откровенные и удивительные истории о подкупе прессы в буржуазных странах. Но только приехав туда, на месте, столкнулись мы с этим ежедневным злодеянием и только удивились тому, как просто это делается.

Где-нибудь в Марокко или Алжире нашел кто-то залежи свинца или цинка. Нашли их ровно два с половиной пуда, то есть никакого промышленного значения эти «залежи» не имеют. Но спекулянты такого случая не пропустят. Сейчас же образуется акционерное торговое предприятие с капиталом, скажем, в миллион франков с целью эксплуатировать новые рудники. Для того чтобы собрать этот миллион франков, выпускается сто тысяч бумажек — акций, которые надо продать. А дело-то все дутое, никакого цинка нет и в помине, акции продать трудно. Тогда зовут журналиста и говорят:

— Вот тебе десять тысяч франков, напиши, что ты там был и все видел...

И через три дня в газете появляется статья:

«Богатейшие залежи свинца, цинка, меди... Чудная природа. Кто хочет разбогатеть, должен купить эти акции».

Одна статья, вторая, третья — и все от собственного корреспондента, снимки, фотографии. Купившему облигации на 100 франков обещают, что он заработает на них 200 франков в будущем году. И публика несет последние гроши...

Все это произошло благодаря широкой и лживой рекламе. В стране есть такие люди, которые называются рантье. Часто это старик со старухой, которые, скопив небольшой капиталец, сидят на солнышке, делать ничего не делают, не работают, а все думают, как бы, не работая, нажиться. Одна газета советует: вкладывайте деньги в цинковые залежи. Другая кричит: в медные рудники!.. Наконец они выбрали... Они верят, что за свои десять тысяч франков в будущем году получат 20 тысяч. А в действительности не только этих 20 тысяч, но даже своих десяти они уже больше никогда не

увидят. Мы говорим о старике со старухой; не в них одних, конечно, дело. Находится довольно людей, воспитанных так, что мысль о том, чтобы нажиться за счет других, не только не кажется им преступной, а является заветной и любимейшей их мечтой.

Так во всем.

Везде ложь, покупаемая и продаваемая. В театре так же, как и везде. Есть у меня деньги,— значит, могу я приехать в Париж, объявить, что приехал знаменитый певец, позвать к себе журналистов. Они напишут пятьдесят статей о том, какой у меня голос, как я пою, что в Москве меня на руках носили, и публика, конечно, придет. Несомненно здесь одно: чем хуже у меня голос, тем больше денег должен я заплатить за рекламу.

И гниль эта разъедает страну, изумительную по разнообразию и богатству, страну великих ученых, поэтов и живописцев.

## «КРАСНЫЙ ПОЯС»

Париж опоясан небольшими городками. Они считаются его предместьями. В них расположены большинство фабрик и заводов столицы, крупнейшие ее предприятия и учреждения. Голоса этой трудовой массы отданы коммунистам. В большинстве окрестных городков коммунистические муниципалитеты (самоуправления). Пояс, стянувшийся вокруг Парижа,— «красный пояс».

Однажды советская делегация (мы приехали на Конгресс защиты культуры) отправилась в Вилльжюиф, в одно из красных предместий столицы. Мэр Вилльжюифа — Вайян Кутюрье — член ЦК Французской коммунистической партии, писатель и журналист, редактор газеты «Юманите».

Переход от города — сложного, противоречивого и страшного аппарата буржуазного государства — в Вилльжюиф — ячейку грядущего — был разителен.

Географически границы, где кончается Париж и начинаются пригороды, нет: нескончаемый город тянется на десятки километров, только кварталы становятся беднее по мере удаления от центра и все чаще попадаются рабочие блузы, пока они не становятся преобладающим родом одежды.

Мы приехали в Вилльжюиф и отправились в мэрию. В канцелярии все говорят друг другу «товарищ», и везде стоит такое содружество, простота и искренность, что мы сразу почувствовали себя на родине и поняли сердцем, а не

только умом, что родина коммунистической идеи велика и безгранична, как мир.

В мэрии мы просидели несколько часов на приеме у Вайяна Кутюрье. К нему, к коммунистическому мэру, ходят с самыми необыкновенными делами. Ходят рабочие, бывают и буржуа, и спекулянты, и военные.

Больше всего было безработных. Один из них пожаловался Вайяну:

— Этот верблюд — мой хозяин — уволил меня и теперь отказывается дать записку в кассу для безработных. Помоги мне, пожалуйста, Вайян.

И Вайян помогает. Тут же он пишет «верблюду»:

«Уважаемый господин... такой-то... предлагаю Вам учинить полный расчет с таким-то. В противном случае...»

Есть полная надежда, что «верблюд» «противного случая» дожидаться не будет. Рабочий берет записку и благодарит.

Через полчаса прибегает расстроенный, взбудораженный хозяин:

— Мосье Вайян, клянусь вам, в душе я тоже коммунист, но ста франков, клянусь вам, я ему не должен. Вы меня разоряете, вы неправильно насчитываете. Рабочим живется лучше, чем мне, я разорен. У меня не хватает денег на то, чтобы выплачивать проценты...

Тогда Вайян похлопывает его по плечу:

— Ничего, мой друг, терпеть осталось недолго... Когда у нас будет коммунизм, вам не придется платить проценты, а государству — пособий по безработице...

Хозяин цепенеет и уходит в задумчивости.

В Вилльжюифе коммунистическим муниципалитетом выстроена лучшая школа во Франции. Необыкновенно привлекательная, радостная и виртуозная по архитектуре. Стенная роспись, выполненная художником Люрса, полные света и гармонии классы, цветники, залы для физкультуры и кино. Для французов, привыкших к мрачным, средневековым колледжам, коммунистическая школа была восьмым чудом света. Перед прелестью и простотой этого сооружения, новых методов преподавания в новой школе должны были сдаться даже официальные власти. Министр народного просвещения выразил желание приехать на открытие школы. Ему дали понять, что приезд его не прибавит веселья... Он понял и не явился.

«Красный пояс» окружает Париж, и недалек час, когда красные предместья — к счастью всего передового человечества — сольются с красным Парижем.

## ⟨О ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ ПИСАТЕЛЯ⟩

*Беседа*

В о п р о с.— Вы сейчас меньше пишете о гражданской войне?

Б а б е л ь.— Надо сказать, что после довольно длительного перерыва (блуждания между тремя соснами) сейчас с писанием у меня идет легче дело. Пишу я довольно много, и это будет напечатано. Я сейчас другими глазами смотрю на гражданскую войну.

Есть другие темы. Мне очень хочется писать о селе, о коллективизации (вот что сейчас меня очень занимает), о людях во время коллективизации, о переделке сельского хозяйства. Это самое большое движение нашей революции, кроме гражданской войны. Я более или менее близкое участие принимал в коллективизации 1929—1930 годов. Я несколько лет пытаюсь это описать. Как будто теперь у меня это получается.

В о п р о с.— За сколько времени вы написали первый рассказ?

Б а б е л ь.— Так как мы находимся на вечере журнала «Литературная учеба», я думаю, вопросы о характере работы уместны здесь. И вот что могу сказать о себе.

Вначале, когда я писал рассказы, то у меня была такая «техника»: я очень долго соображал про себя, и когда садился за стол, то почти знал рассказ наизусть. Он у меня был выношен настолько, что сразу выливался ⟨на бумагу⟩. Я мог ходить три месяца и написать потом пол-листа в три-четыре часа, причем почти без всяких помарок.

Потом я в этом методе разочаровался. Мне показалось, что уже до самого написания все сделано и остается мало простора для импровизации. Когда водишь пером по бумаге,

это может черт знает куда завести, завлечь. Не всегда повинуешься тому ритму и даже выражениям, которые складываются.

Теперь я делаю иначе. Когда у меня появляется желание писать что-нибудь, например, рассказ, то я пишу, как бог на душу положит, после чего откладываю на несколько месяцев, потом просматриваю и переписываю. Я могу переписывать (терпение у меня в этом отношении большое) несчетное число раз. Я считаю, что эта система (это можно посмотреть в тех рассказах, которые будут напечатаны) дает бóльшую легкость, плавность повествования и бóльшую непосредственность.

Вопрос.— Вызывает недоумение у читателя ваше более чем продолжительное молчание.

Бабель.— У меня самого это вызывает большое недоумение, так что в этом отношении я от вас ненамного отличаюсь.

Если говорить честно, то я просто не приспособлен для этого ремесла и я бы им не занимался, если бы я себя чувствовал более приспособленным для другого ремесла. ⟨Но⟩ это все-таки единственное, что я могу после больших усилий делать более или менее прилично. Это первое. Во-вторых, критическое чувство у меня развито. В-третьих, мы живем в революционную и бурную эпоху, и я принадлежу к числу людей, которых слово «что» мало занимает. Чувство восхищения, ненависти, горя — все это у меня возникает мгновенно. Некоторые товарищи, почувствовавшие это, немедленно кидаются к бумаге, и если у них есть способность журналиста или способность писать оды и сатиры, то у них выходит часто очень хорошо.

По характеру меня интересует всегда «как и почему». Над этими вопросами надо много думать и много изучать и относиться к литературе с большой честностью, чтобы на это ответить в художественной форме. Я себе это так объясняю.

Кроме того, я в этих делах рецидивист, это у меня не новость.

Я начал писать юношей, потом на много лет прекратил, потом писал много лет залпом, потом прекратил, и сейчас у меня начинается второй акт комедии или трагедии, не знаю, что выйдет.

Вообще, это биография, причем биография довольно затруднительная.

Вопрос.— Назовите, пожалуйста, своих любимых писателей, классиков и современных, у кого вы учились.

Б а б е л ь.— В последнее время я начинаю сосредоточиваться все больше на одном писателе — на Льве Николаевиче Толстом. (Я не говорю о Пушкине, который вечный спутник.) Мне кажется, что у нас начинающие литераторы мало читают и изучают Льва Николаевича Толстого, пожалуй, самого удивительного из всех писателей, когда-либо существовавших.

Должен сказать, что еще несколько лет тому назад я опять прочитал «Хаджи-Мурата» и расстроился совершенно невыразимо. Я вспоминаю, мне Горький как-то рассказал. Всем известна книга Горького «Рассказы о Толстом», но неизвестно, что Горький, кроме этого, всю жизнь писал большую книгу о Толстом, которая, как он мне сказал, ему не удавалась. Я думаю, что причина этого в том, что ⟨первую⟩ он писал под впечатлением, со страстью написал, а во второй книге он хотел написать трактат...

Перечитывая «Хаджи-Мурата», я думал, вот где надо учиться. Там ток шел от земли, прямо через руки, прямо к бумаге, без всякого средостения, совершенно беспощадно срывая всякие покровы чувством правды, причем когда эта правда появлялась, то она облекалась в прозрачные и прекрасные одежды.

Когда читаешь Толстого, то это пишет мир, многообразие мира. Действительно, говорят, есть трюки, приемы. Если вы возьмете любую главу Толстого, там горы всего, есть философия там, смерть. Причем, казалось бы, что для того, чтобы так написать, нужно трюкачество, необыкновенное техническое умение. А там это поглощается чувством мироздания, которое им водило.

Литературный критик я не только плохой, но ужасающий. Я должен извиниться за то, что я здесь наболтал. Но я отвечаю вот, кого из классиков я люблю и у кого надо учиться.

Что касается современных ⟨писателей⟩, то я думаю, что мы приближаемся ко времени «гамбургского счета», как писал когда-то Шкловский. Я лично не верю в то, что писатель есть человек с какой-то физической способностью к писанию, что в мозгу ⟨у него⟩ есть мозоль, которая толкает его перо, и что у писателя мозги и сердце увеличены против стандарта. Мне кажется, что мы подходим к той поре, когда сочинения схоластические, надуманные, не пронизанные страстью и искренностью, отживают свой век и не будут засорять нашу литературу.

А персонально если назвать, то я считаю, что на хорошем, правильном пути находится Шолохов. Это человек,

в писаниях которого есть добротность ткани. Когда читаешь его, то видишь то, что читаешь, и написано это горячо. Дело вот в чем. Подстилка, подкладка его сочинений не так значительна, как подкладка сочинений Толстого, потому что когда у Толстого барин выходит и скажет: «Извозчик, двугривенный, на Тверскую», то все это носит характер мирового события, которое укладывается в мировую гармонию.

У Шолохова о такой значительности деталей не может быть и речи, но я считаю, что это человек с большой внутренней начинкой, который находится на правильном пути.

Высоко я очень ставлю Валентина Катаева, который, считаю, будет писать все лучше и лучше, который проделал очень правильную эволюцию, который, делаясь старше, делается серьезнее и книгу которого «Белеет парус одинокий» я считаю необыкновенно полезной для советской литературы. Книга Катаева сделала очень много для того, чтобы вернуть советскую литературу к великим традициям литературы: к скульптурности и простоте, к изобразительному искусству, которое у нас почти потеряно. У нас почти не умеют показать вещь, а о ней очень многословно рассказывают, причем техника ужасающая. Я лично считаю, что Валентин Катаев на большом и долгом подъеме и будет писать все лучше и лучше. Это одна из больших надежд.

Вопрос.— Из ваших предыдущих высказываний можно было заключить, что вы являетесь горячим приверженцем широких масштабов, добротности, реализма, ориентируетесь на Толстого, Шолохова. Как это увязать с тем, что встречается в ваших произведениях? Из них можно вывести заключение, что вас в жизни больше интересуют исключения из правил, исключения, а не типическое. Между тем реализм является краеугольным камнем вашего художественного мировоззрения.

Бабель.— В письме Гете к Эккерману я прочитал определение новеллы — небольшого рассказа, того жанра, в котором я себя чувствую более удобно, чем в другом. Его определение новеллы очень просто: это есть рассказ о необыкновенном происшествии. Может быть, это неверно, я не знаю. Гете так думал.

Я думаю, что для того, чтобы писать типическое таким потоком, как писал Лев Толстой, ни сил, ни данных, ни интереса у меня нет. Мне интересно его читать, но мне неинтересно писать по его методу.

Вы говорите о молчании. Должен вам открыть тайну. Несколько лет у меня ушло на то, чтобы, соответственно своим вкусам, писать длинно, подробно, философично, чтобы выходила та самая правда, о которой я говорил. У меня это не получилось. И поэтому, оставаясь поклонником Толстого, я, для того чтобы что-нибудь получилось, иду в своей работе противоположным путем.

Я понял очень хорошо ваш вопрос, но, кажется, очень невразумительно на него ответил. Дело вот в чем, в том, что у Льва Николаевича Толстого хватало темперамента на то, чтобы описать все двадцать четыре часа в сутках, причем он помнил все, что с ним произошло, а у меня, очевидно, хватает темперамента только на то, чтобы описать самые интересные пять минут, которые я испытал. Отсюда и появился этот жанр новеллы. Так нужно думать.

В о п р о с.— Значит, силы у Толстого было на 23 часа 55 минут больше?

Б а б е л ь.— Видите ли, самоуничижение совершенно не в моем характере, и если бы я хотел себе отравить жизнь и думать о том, кто пишет лучше — Лев Николаевич Толстой или я, то даже придя к убеждению, что он пишет лучше, я бы, кроме ненависти и злобы, иного чувства к нему не испытал бы.

Но поскольку дело происходит в редакции «Литучебы» и можно говорить о некоторых секретах, то я сказал, почему у меня более или менее получаются короткие вещи и не получаются длинные вещи, причем для того, чтобы снять с себя всякий упрек в самоуничижении, я могу сказать, что множество моих товарищей, хотя располагают не бóльшим количеством интересных фактов и наблюдений, чем я, между прочим, пишут об этом «толстовским способом». Что из этого получается — всем пострадавшим известно.

В о п р о с.— В ваших очень хорошо написанных рассказах есть некоторые фразы, которые мне кажутся смелыми. В первом вашем рассказе у вас написано «добрые ноги». Я не понимаю, как можно писать о ногах — добрые или злые. Во втором рассказе есть фраза: «Он замотал головой, как вспугнутая птичка». Если она вспугнута, то она улетит.

Б а б е л ь.— Что касается первого рассказа, то вас это покоробило потому, что я не убедителен, но человеческие ноги могут быть добрые, злые, зрячие, слепые. Несомненно, всеми этими свойствами характера человека ноги обладают, надо только уметь это описать. Первый рассказ

несколько обрывается, это не доказано. В этом отношении вы правы.

Что касается второй фразы, то, мне кажется, это можно, я так чувствую. А что касается смелости, то это, как известно, добродетель, но только, конечно, если человек кидается в бой с подходящим оружием. В этом отношении, конечно, смелость хороша.

Мне кажется, что о технике рассказа хорошо бы поговорить, потому что этот жанр у нас не очень в чести. Надо сказать, что и раньше этот жанр у нас никогда в особенном расцвете не был, здесь французы шли впереди нас. Собственно, настоящий новеллист у нас — Чехов. У Горького большинство рассказов — это сокращенные романы. У Толстого — тоже сокращенные романы, кроме «После бала». Это настоящий рассказ. Вообще у нас рассказы пишут плоховато, больше тянутся на романы.

Вопрос.— Ваше мнение о Паустовском?

Бабель.— Глубоко положительное. Если бы я продолжил разговор о Катаеве и Шолохове, то он должен был бы включить и Паустовского с его интересной литературной биографией. Я его знаю давно, мы земляки, я читал его первые опыты. Это очень хорошая иллюстрация к тому, что я вам говорил, когда говорил о первом рассказе. Эти первые опыты были столь многоречивы, столь запутанны, столь неискусно написаны, причем это писал взрослый человек. Ему было не 18—20 лет, а 25—26—27 лет, причем это была такая перегрузка прилагательными, метафорами, это было такое богатство, в котором читатель буквально тонул, причем от пряности этой атмосферы, которую он описывал, было трудно дышать. Это была в беспорядочно построенной теплице оранжерея с тропическими цветами. Но наряду с этим наблюдалась всегда истинная страсть. Вот Паустовский в течение пятнадцати лет занимался тем, что он отшлифовывал эту страсть, что он убирал много лишнего, и вот что получилось. Интересно именно то, что сорокалетний человек начал писать.

Вопрос.— Толстой никогда этой работой не занимался.

Бабель.— Это тоже неприятность для нас всех. В сущности, Толстой кончил так же, как и начал. Он сразу нашел и форму, и содержание своей мысли. Она становилась у него только нервнее с годами, причем когда ему было 75 или 80 лет, то он мысль писал физически, не литературно, так как она выражала все оттенки.

Вопрос.— Вы сторонник короткой фразы. Как вы

считаете, в рассказе надо разжевать идею или только намекнуть?

Б а б е л ь.— Это ужасное заблуждение. Я не сторонник короткой фразы. Я сторонник чередования коротких фраз с длинными, причем человеческая мысль нуждается в знаках препинания. Это все.

Теперь что касается того, нужно ли разжевать идею или только намекнуть. Товарищ, нужно ее точно выразить. Хотелось бы, чтобы идеи передавались совершенно нетронутыми и нежеваными.

В о п р о с.— Считаете ли вы, что Юрий Олеша уже выдохся или он будет еще писать? Ваше мнение о нем?

Б а б е л ь.— Вы задаете вопросы, довольно близко ко мне относящиеся, причем о людях, мне чрезвычайно близких. Это все земляки, это так называемая одесская, южнорусская школа, которую я очень ценю. Мое мнение о Юрии Олеше очень высокое. Я его считаю одним из самых талантливых и оригинальных советских писателей. Будет ли он еще писать? Он ничего, кроме этого, не может делать. Если он будет жить, то он будет писать. Думаю, что он может писать великолепно. Я думаю, что воображаемые препятствия мешают его производительности. Талант эту черту взрывает. Это большой писатель — Олеша.

В о п р о с.— Не увлекается ли он публицистикой, может быть, это мешает ему работать?

Б а б е л ь.— Юрий Карлович Олеша — декламатор по своему существу. Он может декламировать на отвлеченные темы и на темы дня. Я не вижу никакого водораздела между его так называемыми статьями и другими работами. Последние написаны второпях, несколько быстро, они менее значительны, но всегда в них есть некоторое оригинальное звучание.

В о п р о с.— Как работать над новеллой?

Б а б е л ь.— Как работать над коротким рассказом? Я совершенно не верю ни в рецепты, ни в учебники, и, между прочим, стыдно признаться, может быть, это реакционное чувство, но я Литвуза очень побаиваюсь. Я понимаю, что там работают над повышением культуры и квалификации человека, это необходимо; если там преподают французский, английский языки — это очень хорошо, но как научить писать — этого я не понимаю. Здесь можно говорить только о собственном опыте.

Я стараюсь выбрать себе читателей, причем я тут стараюсь не задавать себе легкой задачи. Я себе задаю читателя, чтобы он был умный, образованный, со здоровым

и строгим вкусом. Вообще считаю, что хорошо рассказ читать только очень умной женщине, потому что эта самая половина рода человеческого в хороших своих экземплярах обладает иногда абсолютным вкусом, как некоторые люди обладают абсолютным слухом. Здесь самое главное — представить себе читателя и представить построже. Со мною так. Читатель живет в душе моей, но так как он живет довольно долго, то я его смастерил по образу и подобию своему. Может быть, этот читатель слился со мной.

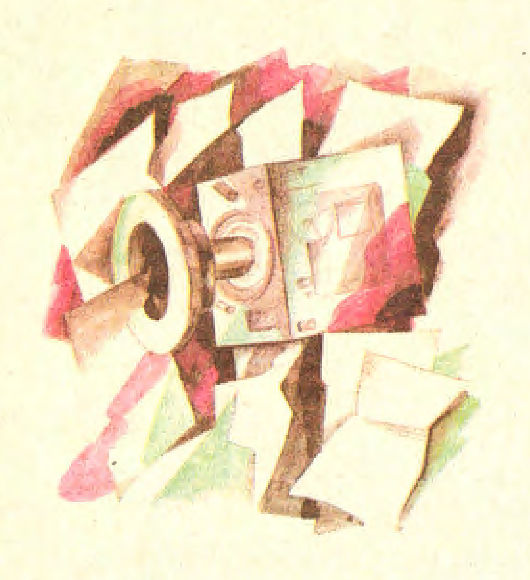
После написания рассказа никогда в воспламененном состоянии его никому не читайте, не бегите поделиться великой новостью: разродился. Это не очень легкая штука. Потребуется довольно много усилий, чтобы заставить себя не читать, не бежать в соседнюю комнату, а чтобы дать ему ⟨рассказу⟩ отлежаться и читать его со свежим чувством. Причем, если я выбрал себе читателя, то тут я думаю о том, как мне обмануть, оглушить этого умного читателя. Я его уважаю. Это ужасная вещь — старинная актерская мудрость — «публика дура». Надо взять себе серьезного критика и стараться его оглушить до бесчувствия. Такое самолюбие у человека должно быть. А как только это чувство пробуждается, вы перестаете делать гримасы.

Мое отношение к прилагательным — это история моей жизни. Если бы я написал свою биографию, то назвал бы ее «История одного прилагательного». В молодости я думал, что пышность выражается пышностью. Оказывается, нет. Оказывается, что надо очень часто идти от обратного. Причем всю жизнь — «что писать» я почти всегда знал, но так как я не мог это написать на двенадцати страницах, так как я сам себя сковал, то я должен выбирать слова значительные — во-первых, простые — во-вторых, красивые — в-третьих.

Вопрос.— Почему вы не поклонник тех вещей, которые написали?

Бабель.— Я считаю, что те вещи, которые написаны, могли быть лучше, проще. Но я принадлежу к числу тех молодых людей, которые даже прыщи в молодости принимают как закон. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я ослеплен гордостью, но мне кажется, что я вижу теперь мысль и способ выразить ее лучше, чем я делал это тогда, когда писал эти вещи. Единственное, что меня не огорчает, это то, что мне не приходится брать свои слова обратно.

# КИНОСЦЕНАРИИ





# БЕНЯ КРИК

*Киноповесть*

## Часть первая

## КОРОЛЬ

### Досуги пристава Соковича

Комната Соковича. Под потолком у окна с геранью покачивается в клетке канарейка.

У рояля вяжет старушка в чепце. Спицы быстро ходят в ее руках. Видна часть рояля. Отлакированная крышка инструмента блестит.

Пристав играет на рояле с необыкновенным чувством — он шевелит губами, поднимает плечи, открывает рот.

Клавиатура. По клавишам бегают пальцы пристава, украшенные перстнями в форме черепов, копыт, ассирийских печатей.

В клетке заливается канарейка.

Сокович играет, раскачиваясь, и с ним вместе раскачиваются — комната, канарейка, спицы, старушка.

В глубине комнаты показывается еврей Маранц в затрапезном сюртуке. Маранц покашливает, скользит, шаркает ногами, упоенный пристав не слышит.

Пальцы пристава бурно рвут клавиши. Над ними склонилось унылое, скептическое лицо Маранца.

Пристав переходит к нежному piano, Маранц не выдерживает. В отчаянии обнимает он голову пристава и прижимает ее к груди.

Сокович вскакивает. Маранц шепчет ему на ухо или, вернее, куда-то пониже уха:

— *Пусть мне не дожить повести дочку под венец — если... если не сегодня...*

Маранц отступает, вьется, сучит ободранными ногами, потирает руки, мотает головой. Пристав разглядывает его с величайшей серьезностью. Маранц:

— *Король выдает сегодня замуж сестру... «Они» перепьются, и вы можете сделать на «них» дивную облаву...*

Сокович захлопывает крышку рояля. Он испытующе всматривается в гримасничающее, дергающееся лицо еврея.

На обочине тротуара, перед домом пристава, сидит молодая цыганка во многих трепаных юбках. Цыганка обвешана лентами, монетами, монисто. Она ест баранки и тянет вино из горлышка бутылки, рядом с ней прыгает на цепи мартышка. Вокруг обезьяны в полном неистовстве скачет детвора.

Дверь приставской квартиры открывается, на улицу проскользнул Маранц. Воровато оглядываясь, он быстро идет вдоль стены.

Цыганка схватила обезьяну, побежала за Маранцем, догнала его. Она умильно просит у него милостыню:

— *Подай, царевич... Подай, красавец...*

Маранц отплевывается, идет дальше. Цыганка проводила его долгим взглядом. Обезьянка, вскочившая на плечо женщины, тоже смотрит вслед Маранцу.

Улица на Молдаванке. Из-за угла показывается биндюг Менделя Крика. Старик пьян, он хлещет лошадей, клячи несутся бурным галопом, прохожие шарахаются в сторону.

**Мендель Крик,**
**слывущий среди биндюжников грубияном**

Мендель Крик размахивает кнутом. Раскорячив ноги, старик стоймя стоит в телеге, малиновый пот кипит на его лице. Он велик ростом, тучен, пьян, весел.

Биндюг несется во всю прыть. Пьяный старик орет прохожим — поберегись!.. Навстречу ему, виляя бедрами, идет поющая цыганка. Обезьяна деловито лущит орешки у нее на плече. Цыганка подает старику знак, едва заметный.

Вожжи в руках Менделя. Схваченные железной рукой, они с карьера останавливают лошадей.

Лицо Менделя, внезапно протрезвевшего, обращено к цыганке.

Цыганка проходит мимо Менделя. Она скосила глаз и поет:

— *Маранц, матери его сто чертей...*

Цыганка вильнула бедрами, она играет с обезьянкой и поет про себя:

*— Маранц был у пристава...*

Мендель пошевелил вожжами и поехал. Не в пример прежней езде лошади его идут шагом.

Изображение облупившейся вывески: «Извозопромышленное заведение Мендель Крик и Сыновья». На вывеске намалевано ожерелье из подков и английская леди в амазонке с хлыстом. Леди гарцует на битюге, битюг мечет в воздух передние ноги.

Под вывеской у невзрачного одноэтажного дома сидят на лавочке два парня и щелкают семечки. Они хранят важное молчание и смотрят вперед безо всякого выражения. Один из них — молодой перс с оливковым лицом и черными разросшимися бровями, другой — Савка Буцис. Одна рука у Буциса отрезана, обрубок ее зашит в болтающийся рукав, другой, целой рукой он с необыкновенной ловкостью и ухарством выгребает из кармана подсолнухи и издалека, не целясь, бросает их в рот. Промаха у него не бывает.

К дому подъезжает Мендель Крик. Парни — перс и Савка — в полном безмолвии, не поворачивая голов, отдают старику честь. Ворота перед Менделем раскрываются; человек, раскрывающий их, не виден.

Двор, где живут Крики, обширен, окаймлен приземистыми старинными строениями, загроможден голубятнями, телегами, распряженными лошадьми. В углу двора девки доят коров.

Три розовых, зернистых коровьих вымени, женские руки, перебирающие соски, и струи молока, брызгающие в подойник.

Одна из девок кончила доить. Она разгибает спину, потягивается, луч солнца зажигает рябое мясо развеселого ее лица. Девка зажмуривается. Во двор на разгоряченных жеребцах влетает Мендель. Старик прыгает с биндюга, бросает девке вожжи и, переваливаясь на толстых ногах, бежит к дому.

Девка ловко распрягает лошадей, она бьет по мордам играющих жеребцов.

### «Его величество король...»

Двухспальная, вернее сказать — четырехспальная, кровать загромождает комнату невесты Двойры Крик. Гигантское это сооружение забросано несметным количеством

расшитых подушечек. К кровати прислонился спиной Беня Крик. Виден подбритый его затылок.

Беня Крик играет на мандолине. Ноги его, обутые в лаковые щегольские штиблеты, положены на табуретку. Костюм Бени носит печать изысканного уголовного шика.

Широчайшая кровать — колыбель рода, побоища и любви. В комнату вваливается папаша Крик. Он стаскивает с себя сапоги; разматывая невообразимо грязные портянки, старик недоверчиво их оглядывает. Как грязно живут люди — приходит ему в голову. Мендель разминает взопревшие пальцы ног и, слегка робея в присутствии сына-«короля», бормочет:

*— Маранц был у пристава сегодня...*

Пальцы Бени, перебиравшего струны, цепенеют. Струна лопается и завивается вокруг ручки мандолины. Мандолина летит на кровать и врывается в подушки.

### Затемнение

С плеча Савки Буциса свисает пустой рукав, заколотый внизу булавкой — рубиновой змейкой.

Улица на Молдаванке. Перс и Савка сидят на лавочке у входной двери в квартиру Маранца. Они поглощены излюбленным занятием — щелкают подсолнухи. К дому Маранца подъезжает экипаж. На козлах осанистый кучер с патриархальным задом и раскидистой бородой. Кучер отмечен необыкновенным сходством с цыганкой, появлявшейся в первых сценах.

Из экипажа выходит Беня, он звонит у парадной двери. Вырезанное в двери окошечко отодвигается, сквозь него просовывается голова Маранца — хранилище немногих волос, чернильных пятен и перьев из подушки. Ужасный испуг отражается на его лице. Беня с удручающей вежливостью снимает перед маклером шляпу.

Равнодушная морда кучера. Он перебирает от скуки монисто, которое раньше было на цыганке.

Маранц спотыкаясь выходит на улицу. Беня здоровается с ним, обнимает его плечи и дружески сообщает:

*— Есть кое-чего заработать, Маранц...*

Указательный и большой палец Бени трутся друг о дружку. Жест этот обозначает, что предстоит выгодное дело.

Маранц колеблется. Силясь разгадать причину внезапного посещения, он всматривается в непроницаемое Бенино лицо.

Указательный и большой пальцы Бени движутся все медленнее, все загадочней: — *Есть кое-чего заработать, Маранц...*

Маклер решился. Жена выносит ему из дома сюртук, шоколадный котелок, парусиновый зонтик. Из передней выглядывает куча детей. На измазанных их мордочках чистым, бойким блеском горят семитические глаза. Маранц и Беня садятся в экипаж. Жена Маранца кланяется «королю». Длинные груди ее раскачиваются, как белье, развешанное во дворе и колеблемое ветром. Кучер погнал лошадей.

Удаляющийся экипаж. Видна дородная успокоительная спина кучера, котелок Маранца, панама Бени. Экипаж проезжает мимо постового городового. Городовой отдает Бене честь.

Однорукий Савка подманивает к себе мальчика, сына Маранца. Карапуз, охваченный ужасом и восторгом неизвестности, движется по кривой, путаной линии.

Берег моря. Набегающая волна. Вверху — белые дачи с колоннадами. Экипаж едет по шоссе над самым берегом моря. Беня и Маранц беседуют по-приятельски. Котелок и панама дружелюбно покачиваются. Лошади идут крупной рысью. Местность становится все глуше.

Опасения Маранца сменились чувством умиления перед красотами моря и скал. Он развалился на кожаных подушках, он расстегнул ворот рубахи для того, чтобы загореть немножко. Беня вынимает портсигар, предлагает Маранцу папиросу и говорит небрежно:

— *Люди говорят, что ты капаешь на меня приставу, Маранц...*

Дрожащие пальцы Маранца пристукивают папиросой по серебряной поверхности Бениного портсигара.

Экипаж въезжает в глухое укрытое место на берегу моря. Скалы, кустарник. Кучер останавливает лошадей, поворачивает к седокам бородатое лицо, перекидывает ноги внутрь экипажа.

Беня подносит Маранцу спичку. Еврей в ужасе закуривает. Он переводит глаза с Бени на кучера, перекинувшего ноги внутрь экипажа. Кучер медленно кладет ноги на плечо Маранцу и снимает с него котелок.

Перс играет с маленьким сыном Маранца в излюбленную детскую игру. Малыш кладет свои ладони на ладони перса и тотчас же их отдергивает. Перс якобы не успевает ударить, зато маленький Маранц колотит изо всех сил. Мальчик совершенно счастлив.

Берег моря. Волна взрывается под скалой. В воду падает котелок Маранца.

Экипаж едет вдоль берега. На Бене по-прежнему панама, но на Маранце не видно больше котелка. Голова его взъерошена и дергается. Кучер поднимает верх экипажа.

По широким, голубым, тающим волнам плывет котелок.

Вспененные, запрокинутые морды лошадей.

Игра между мальчиком и персом продолжается. Савка неутомимо грызет подсолнухи.

Экипаж с поднятым верхом проезжает мимо постового городового. Тот снова отдает честь.

Савка увидел вдали экипаж. Он потрепал мальчика по щеке, дал ему пятак и ласковым ударом колена по некоей части прогоняет его.

Из экипажа, остановившегося у дома Маранца, выходит Беня, он направляется к парадной двери.

Перс и Савка снимаются с лавочки и, обнявшись, уходят.

«Мадам» Маранц открывает Бене дверь.

*— Люди говорят, мадам Маранц, что покойный ваш муж капал на меня...*

В переплете двери искаженное лицо женщины.

Из экипажа медленно выползает труп Маранца.

Спины Савки и перса, лениво, вразвалку идущих по улице.

Труп Маранца, распростертый на земле.

На земле, у лавочки, горка шелухи от подсолнухов, нащелканных Савкой.



## Часть вторая

### Друзья «короля» едут на свадьбу Двойры Крик

Здание полицейского участка. Кирпичная трехэтажная стена. В третьем этаже тюремные окна, переделенные решетками. В окнах лица заключенных. Арестанты, охваченные необъяснимым восторгом, машут кому-то платками.

Улица на Молдаванке. Сбоку здание участка. Старая еврейка сидит на углу и ищет в волосах у внучки. Слышен шум. Старуха поднимает голову и смотрит на приближающуюся процессию.

Налетчики в свадебных архаических каретах направляются к дому старого Крика. В первой карете Савка и перс. В стальных вытянутых их руках по гигантскому букету. Налетчики одеты под масть Бене Крику, но вместо панам на них крохотные котелки, сдвинутые набок. Кучер украшен бантом и больше похож на шафера, чем на кучера.

Вторая карета — черный, колыхающийся, громадный ящик. В карете развалился Левка Бык — один из ближайших сподвижников «короля». В руке у него букет, на кучере его бант.

У ворот участка кучка благожелательных городовых. С почтением и завистью следят они за течением пышной процессии.

Третья карета. В ней сидит одноглазый Фроим Грач (левый глаз его вытек, съежился, прикрыт), представляющий разительную противоположность остальным налетчикам. Он в парусиновой бурке, смазных сапогах. Рядом с Грачом, угрюмым и сонливым,— кокетничающее сморщенное личико шестидесятилетней Маньки, родоначальницы слободских бандитов. Она в кружевном платочке. За их экипажем бегут мальчишки и зеваки.

Мимо участка медленно проезжает архиерейская карета Фроима и бабушки Маньки.

Арестанты неистово машут платками.

Старуха раскланивается с важностью императрицы, объезжающей войска.

В окне второго этажа сумрачный пристав Сокович.

Кабинет пристава. На стене портрет Николая II. У окна торчит спина Соковича. В широком кресле у стола сидит жирный, с мягким ворочающимся животом, помощник пристава Глечик. Помаргивая близорукими глазами, он сосет леденцы, которых у него целая коробка. Спина пристава являет признаки величайшего возбуждения. Она вздрагивает и ежится, как от укуса блохи.

Глечик вкладывает в рот груду леденцов. Они не сразу входят в отверстие его рта, заросшего опущенными усами. Пристав круто поворачивается, подходит к Глечику, тормошит его:

*— Каюк Бенчику... Сегодня на свадьбе мы «их» возьмем...*

Безнадежное лицо Глечика. Моргая, он спрашивает:

*— А зачем их брать?..*

Пристав машет рукой и выбегает из кабинета. Толстый Глечик поднимает раскачивающийся свой живот, он понуро плетется за Соковичем. В оттопыривающемся его кармане лежит кусок курицы, завернутый в промасленную бумагу. Грязная бечевка вываливается из кармана Глечика и волочится по полу.

Пристав бежит вниз по лестнице, за ним бредет Глечик.

Мирное житие во дворе участка. У стены — мордатый городовой стирает в лохани панталоны. В другом углу одесские обыватели — среди них мудрые, старые евреи и тучные торговки — с большой готовностью прощаются за руку с канцеляристом. Рукопожатие длится долго, руки прощающихся ворочаются самым странным образом, и после каждого судорожного этого рукопожатия канцелярист прячет в карман полтинник. Мимо мудрых стариков и тучных торговок пробегает на рысях Сокович.

У внутренней стены участка выстроились шеренгой городовые. К ним подходит пристав. Городовые едят начальство глазами. Пристав обращается к городовым с речью:

*— Братцы, там, где есть государь император,— там не может быть короля...*

Ряд усатых раскормленных физиономий. По мере того, как... пристав продолжает энергическую свою речь... лица городовых увядают.

Группа голубей на голубятне. Кто-то спугнул их хворостиной.

Глечик сует в голубятню длинную хворостину, потом он отбрасывает ее. Ничто не может развлечь его. На оплывшем его лице борются страсти и сомнения.

**Томление духа**
**помощника пристава Глечика**

Глечик вынимает из кармана записку и читает ее с грустью и тайным каким-то сладострастием.

Изображение пригласительного свадебного билета, увенчанного дворянской короной. В углу надпись чернилами: «Его Превосходительству мосье Глечику».— Печатный текст:

«Мендель Ушерович Крик с супругою и Тевья Хананьевич Шпильгаген с супругою просят Вас пожаловать на бракосочетание детей их Веры Михайловны Крик и Лазаря Тимофеевича Шпильгагена, имеющее быть во вторник 5 июня 1913 г. С почтением — родители».

Глечик с грустью читает билет. Тяжелый вздох колеблет унылую чащу его усов. Сомнения терзают его. Он отворачивается, закрывает глаза и начинает вертеть пальцами.

*— Идти или не идти?*

Вертящиеся пальцы Глечика. Один палец пришелся против другого. Значит — идти.

От полноты чувств Глечик бросает собаке свою курицу и убегает.

Глечик бежит по двору. Его чуть не сбивают с ног городовые, волокущие за шиворот арестованного. Арестованный этот Колька Паковский — тот самый юноша, который являлся уже перед нами в образе цыганки и кучера. Колька растерзан, пьян, ноги его подламываются, он волочится за городовыми и сосредоточенно, с пьяной нежностью лижет руку конвоира.

Пристав Сокович, подергивая бодрой ногой, продолжает свою речь:

*— Сегодняшняя облава должна дать нам в руки всю шайку Бени Крика...*

Потухшие лица городовых.

К приставу подтаскивают упирающегося Кольку.

*— Среди бела дня затеял поножовщину, ваше высокоблагородие...—*

докладывают конвоиры. Сокович бросает на Кольку рассеянный взгляд.

*— Посадить до утра. Завтра разберемся...*

Обмен рукопожатиями между обывателями и канцеляристом продолжается.

Конвоиры тащут Кольку по коридору участка. Он неутомимо целует сапоги своего стража.

Городовые открывают дверь камеры, вталкивают Кольку. Он летит кубарем.

Камера. Влетает Колька. Заключенные вскакивают как по команде, принимают гостя в объятия.

Колька покоится в объятиях окружающих арестантов. Он куражится, сползает на пол. Тюремные жители смотрят на него с жадностью, как на пришельца, принесшего благую весть. Над падающим Колькой смыкается их круг.

Снятые сверху лохматые головы, склонившиеся над Колькой. Круг их медленно расходится, Колька встал, и все же на полу распростерто человеческое тело.

На полу камеры лежит раздутый резиновый костюм, наполненный какой-то жидкостью и напоминающий по форме водолаза.

Затемнение

Клубы пара и дыма заволакивают экран. Из тумана возникают два беременных живота, обтянутые полосатыми юбками. Животы лежат рядышком на перекладине плиты.

На плите жарятся индюки, гуси, дымится всякая снедь. Беременные кухарки накладывают пищу на блюда. Над ними царит крошечная восьмидесятилетняя Рейзл. Иссохшее ее личико, обвиваемое клубами пара, полно величия и священного бесстрастия. В руках у Рейзл большой нож: она распарывает им животы у больших морских рыб, мечущихся по столу.

Беременные кухарки с полосатыми животами передают блюда затрапезным еврейским официантам в нитяных перчатках и улетающих бумажных манишках. На лицах лакеев пылают бородавки и в ненадлежащих местах торчат пучки волос. Они схватывают блюда и убегают.

Издыхающие рыбы мечутся по столу и бьют сияющими хвостами.

Свадьба во дворе Крика. Через весь двор протянуты китайские фонарики. Лакеи пробегают мимо стола, за

которым сидят нищие и калеки; нищие пьяны, они корчат рожи, стучат костылями, тащут официантов к себе, лакеи вырываются и бегут к главному столу, за которым неистовствует свита «короля». На первом месте новобрачные: сорокалетняя Двойра Крик, грудастая женщина с зобом и выкатившимися глазами, рядом с ней Лазарь Шпильгаген, тщедушное существо с истрепанным лицом и жидкой шевелюрой; тут же Беня, папаша Крик, Левка Бык, Савка, перс и их дамы — хохочущие молдаванские девки в пламенных шалях. Папаша Крик вопит:

— *Горько!..*

Пьяная невеста кладет обширную свою грудь на стол, она тянет вино из горлышка бутылки, чешет себе ноги под столом и лезет за пазуху к мужу, к кроткому Шпильгагену. Гости поддерживают клич папаши Крика:

— *Горько!..*

Налетчики, вскочив на стулья, льют в себя водку прямо из бутылок. Двойра наваливается на упирающегося Шпильгагена, она подтаскивает его к себе, как грузчик подтаскивает по сходням куль муки, и терзает его длинным, мокрым, хищным поцелуем. Налетчики бьют посуду.

Поцелуй Двойры и Шпильгагена. Хромой нищий подползает к новобрачным и с тупым вниманием следит за поцелуем.

Городовой тащит по коридору участка ведро с кипятком.

Камера. Городовой вносит кипяток. Колька выхватывает у него из рук ведро и опрокидывает кипяток на голову городового. Обваренный городовой падает.

Колька выскакивает в коридор. Он бросает резиновый костюм на кучу параш, сваленных в углу, делает в нем надрез и зажигает керосин, льющийся из резинового костюма.

Помощник пристава Глечик застыл в нерешительности у ворот дома Криков. Живот его стянут новым мундиром, за ним волочится сабля, на голове большой старинный картуз с лаковым козырьком. Грудь Глечика украшена медалями о-ва спасания на водах, ведомства императрицы Марии, в память 300-летия дома Романовых и проч. Глечик, робея, приоткрывает ворота.

В нескольких шагах от главного свадебного стола — диковинный музыкант. Перед ним турецкий барабан, к ноге музыканта привязана веревка, он приводит ею в движение медные тарелки на барабане, к колену его прикреплена палка, которой он колотит по барабану, верхняя же часть

его тела посвящена громадной трубе, похожей больше на свернувшегося удава, чем на трубу. Голубая палка солнца уткнулась в трубу. Музыкант отдыхает.

В глубине двора показался Глечик. К нему бежит Беня, они целуются три раза в обе щеки. Беня подает знак музыканту.

Музыкант вздрогнул и пришел в движение: он дует в трубу, дергает за веревку и палкой, прикрепленной к колену, бьет в барабан.

Беня ведет Глечика к гостям. Восторг присутствующих по поводу прибытия помощника пристава. Невеста в залитом вином подвенечном платье падает Глечику на грудь, папаша Крик колотит его изо всех сил по спине, шестидесятилетняя Манька целует его в лоб материнским поцелуем. Савка летит к Глечику с двумя бутылками водки в руках. Савкина баба пытается отобрать у него бутылку, он разбивает эту бутылку у нее на голове; налетая на Глечика, Савка всовывает бутылку ему в рот, как ребенку соску, тут же рядом хлопочет папаша Крик с огурцом в руке.

Музыкант неистовствует: каждая его конечность движется в направлении, противоположном направлению параллельной конечности.

Развеселые молдаванские бабы водят хоровод вокруг Глечика, которого накачивают водкой, огурцами, фаршированной рыбой, апельсинами. Бока баб цветут, в середине круга прыгают друг против друга старый Крик и бабушка Манька. Левка Бык, обезумев от восторга, стреляет в воздух. Он расталкивает круг, хватает старуху, вкладывает в ее руку револьвер. Манька сладко зажмуривается, нажимает курок...

Старушечья сморщенная рука, нажимающая курок.

Выстрел. Танец возобновляется с бешеной силой. Папаша Крик останавливается вдруг, он обнюхивает воздух и отводит Беню в сторону:

— *Мне сдается, Беня, что здесь пахнет гарью...*

Дирижируя танцами, Беня успокаивает отца:

— *Папаша, не обращайте внимания на этих глупостей. Прошу вас, выпивайте и закусывайте...*

Музыкант в движении, нога его трясется, труба его колышет солнце.

Ухарский молдаванский танец со стрельбой, с битьем посуды, разбрасыванием денег под ноги танцующим.

Край неба, окрашенный пожаром.

Пожарная команда мчится по улицам Молдаванки.

Толпа перед зданием горящего участка. Городовые выбрасывают сундучки из окна, дождь бумаг летит по воздуху. На коне скачет обезумевший Сокович.

Внутри здания в дыму по наклонной доске со страшной быстротой скользят три широких зада.

Стена участка. Из разбитых окон прыгают арестованные. Внизу на земле их принимают в объятия жены.

Музыкант в движении.

Похищение мужей молдаванскими амазонками. Бабы растаскивают арестованных по домам.

Танец во дворе Крика.

Пожарные привинчивают громадный резиновый шланг к водопроводному крану на улице. Они угрожающе направляют шланг в сторону пожарища, открывают кран и... несколько капель воды с великой натугой изливаются на землю. Кран испорчен.

На фоне неба, охваченного заревом, скручиваются две черные балки и рушатся вниз.

У пристава Соковича обгорел ус. Он смотрит на пожарище. Мимо него проходит Беня Крик и растерзанный, залитый керосином и водой, Колька Паковский. Беня приподнимает шляпу.

— *Ай, ай, ай, какое несчастье... это же кошмар!..*

Беня скорбно покачивает головой. Сокович переводит на него мутные, непонимающие глаза.

Затемнение

На дворе у Криков. Рассвет. Потухают фонарики. Упившиеся гости валяются на земле, как рассыпанный штабель дров.

Двухспальная кровать Двойры Крик. Новобрачная тащит к постели Шпильгагена, тот бледнеет, упирается, но сопротивление его слабеет, и он падает на кровать.

Музыкант, обвязанный веревками, палками, медными тарелками, спит, склонившись на барабан.




## Часть третья

### КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В ОДЕССЕ

#### Много воды и много крови утекло со дня свадьбы Двойры Крик

Лес знамен. На знаменах надписи: «Да здравствует Временное правительство!»

Грудастая дама в военной форме несет знамя с надписью: «Война до победного конца!»

По улицам марширует женский батальон времен Керенского. Он состоит из дам и девок. На лицах у дам печать решимости и вдохновения, у девок — заспанные лица.

Во весь экран — касса. Отделения ее набиты акциями, иностранной валютой, бриллиантами. Чьи-то руки вкладывают в кассу стопки золотых монет.

#### Рувим Тартаковский, владелец девятнадцати пекарен, определяет свое отношение к революции

Кабинет Тартаковского. Несгораемая касса во всю стену. Тартаковский — старик с серебряной бородой и могучими плечами — передает приказчику Мугинштейну деньги. Тот распределяет их по разным отделениям кассы.

Вздымающиеся революционные груди женского батальона текут по улице, набитой зеваками и визжащей детворой.

Тяжелая металлическая дверь кассы медленно захлопывается.

*— А теперь, Мугинштейн, пойдем поздравить рабочих...—*

говорит старик приказчику, и они выходят из кабинета.

Контора Тартаковского. Дореформенное учреждение, похожее на конторки в Лондонском Сити времен Диккенса. Все служащие без пиджаков, за ушами у них вставочки, а в ушах вата. Они очень толстые или очень худые. На толстых — фуфайки и замусоленные жилеты, на худых — манишки с бантами. Одни покрыты буйной растительностью, другие — безволосы; одни сидят на оборванных креслах, перекрытых подушками, другие взгромоздились на трехногие высокие стулья, но у всех такое выражение лица, как будто они только что проглотили что-то очень горькое. Один только бухгалтер-англичанин соблюдает нерушимое спокойствие. Он грызет трубку, окутывающую его клубами жесточайшего дыма. В углу мальчик вертит пресс, копирует письма. У окошечка с надписью «Касса» восседает пышная дама, нос с многими горбинками делает ее похожей на гречанку. По комнате проходят Мугинштейн и Тартаковский. Служащие замирают. Мальчик, завидев хозяина, с ожесточением начинает вертеть пресс. Он надувается, багровеет.

Множество сопливых, рахитичных детей, сваленных в кучи. Полуголые, с кривыми ногами, они кишат, как черви, на земле.

Громадный четырехэтажный дом на Прохоровской улице, на Молдаванке, где скучилась невообразимая еврейская беднота. Зеленые зябкие старики в лохмотьях греются на солнце, часовой мастер в опорках раскинул во дворе свой столик, лысые еврейки в отрепьях стряпают пищу в разбитых ведрах: у ведер этих высажено дно, они заменяют плиты. Тартаковский и Мугинштейн проходят по двору. Оборванные старики поднимаются со своих мест, они устремили на хозяина гноящиеся глаза, залитые кровавой обильной влагой, и кланяются ему. К Тартаковскому подбегает растрепанная еврейка в мужских штиблетах.

*— Что будет с клозетом, мосье Тартаковский? —*

спрашивает она старика. Тартаковский пожимает плечами.

*— А что должно быть с клозетом? —*

отвечает он. Еврейка, ухватив хозяина за руку, тащит его к себе в квартиру.

Женщина ведет Тартаковского вверх по лестнице, заваленной отбросами нечистой нищеты, нищеты, которая ни на что больше не надеется. Взъерошенные, одичалые коты носятся по лестнице.

Женщина притащила Тартаковского в свою уборную. Сиденья в этой уборной нет, оно разбито, в цементном

полу дыра, с потолка льется вонючая жидкость. Рядом с уборной, почти в самой уборной, кровать, набитая ватными лоскутьями. На кровати лежит горбатая девушка с аккуратно заплетенными косами. Тартаковский молодцевато хлопает женщину по плечу.

*— Николку холера взяла, мадам Гриншпун, теперь всем будет хорошо, и вам будет хорошо...*

Горбатая девушка смотрит на Тартаковского. По стене возле ее кровати течет вода.

По земле ползают дети — голые, рахитичные, сопливые дети гетто.

Тартаковский и Мугинштейн идут по двору мимо шевелящейся кучи детей. Старик ищет места, куда бы ему поставить ногу. В глубине двора вход в подвал, в пекарню.

Вывеска над подвалом: «Пекарня и булочная № 16 Акционерного общества Рувим Тартаковский». Сбоку другая вывеска, поменьше: «Принимаются заказы на торты фантази».

Осклизлая лестница, ведущая в подвал, ступени ее разбиты. Мальчик-подручный стаскивает вниз пятипудовый мешок. Он ложится на ступени и поддерживает головой катящийся вниз мешок.

Голые спины двух месильщиков: отлакированная потом спина молодого парня Собкова и кривая, с разбитыми лопатками, спина старика. Лопатки эти движутся не в ту сторону, куда им надо. Нескончаемая равномерная игра мускулов на мокрых спинах месильщиков.

Мугинштейн и Тартаковский спускаются по лестнице в пекарню. Они скользят, оступаются, приказчик бережно поддерживает хозяина.

Спины месильщиков. Собков работает и читает газету «Известия Одесского Совета рабочих депутатов», прибитую к стене над месильным чаном. Газета освещена мятущимся пламенем керосиновой лампочки.

Пекарня — смрадный подвал. Скудный свет проникает сквозь запыленные оконца, пробитые у потолка. В углах чадят керосиновые лампы без стекол. Пекаря обнажены до пояса. У пылающей печи возится с дровами истопник — веселый кривоногий мужичонка Кочетков, из другой печи мастер вынимает испекшиеся хлебы, посаженные на лопаты с длинными ручками.

Мастер выдергивает из печи лопаты с готовыми хлебами.

Тартаковский и Мугинштейн входят в пекарню. К ним стягиваются рабочие, похожие больше на духов из подзем-

ного царства, чем на людей. Тартаковский разглагольствует:

— *Поздравляю вас, господа, с любимой свободой... Теперь и мы вздохнем грудью...*

Тартаковский с жаром пожимает руки рабочих. Дожидаясь очереди, они вытянулись как хвост у лавки. Пекаря, непривычные к такому обращению, суетливо обтирают руки о передник, они протягивают ладони с жалкой неловкостью и сейчас же после рукопожатия счищают с хозяина налетевшую пыль.

Спина Собкова. Парень продолжает месить тесто и читает свою газету. Тартаковский хлопает его по бронзовому играющему плечу и протягивает руку. Собков долго вытаскивает руки из тугого теста, он поворачивает к хозяину лукавое лицо с вихрами и медленно, как деньги на блюде, подносит ему пятерню, убранную тестом. Кочетков — веселый мужичонка — кинулся к Собкову, он принимается счищать тесто с пальцев. Смеющийся Собков смотрит на хозяина в упор. Тартаковский понял, он круто повернулся и отошел. Кочетков подмигивает месильщику.

Змейки из теста колышутся на пятерне Собкова — бесформенной, чудовищно увеличенной.

### Затемнение

Кафе Фанкони. Толчея. Деловые дамы с большими ридикюлями, биржевые зайцы с тростями, одесская толпа. На помосте, где обыкновенно помещается оркестр, разбитной молодой человек потрясает кандалами. За его спиной сидит унылая личность с несимметричным лицом, с большими ножницами в руках. Ножницы приспособлены для раскусывания железа.

— *Граждане свободной России! Покупайте на счастье наследие проклятого режима в пользу геройских инвалидов. Пятьдесят рублей,— кто больше?*

У противоположной стены на бархатном диванчике сидят рядом три инвалида, три обстриженных дремлющих болванчика. Они обвешаны медалями и Георгиевскими крестами.

Декольтированная девица в большой шляпе с свисающими полями ходит с вазочкой между столиками и собирает деньги «на революцию». «Декольте» девицы съехало набок, башмаки ее истоптаны; от восторга, от весны, от деятельности длинный нос ее покрылся мелкими жемчугами по-

та. За одним из столиков сидит Тартаковский, окруженный стаей подобострастных маклеров. Стол его завален образцами товаров — зернами пшеницы, обрывками кожи, каракулевыми шкурками. Он кладет барышне в вазу двугривенный.

Аукционист на трибуне потрясает кандалами.

Декольтированная девица вьется между столиками. У окна развалился Беня Крик, он старательно пишет что-то на бумажной салфетке. Рядом с ним пьяный Савка, поедающий одну за другой трубочки с кремом. Барышня приблизилась к Бене. Король с шиком бросает в вазочку золотую монету. Аукционист поспешно снимается со своего места, он преподносит Бене одно звено из кандалов. Следом за аукционистом ковыляют инвалиды, они с полной безжизненностью благодарят Беню. Пьяный Савка уставился на это зрелище. Он поднимается на подламывающихся ногах и заглядывает барышне за кофточку в декольте.

Декольте и сумрачное, внимательное лицо Савки над ним.

Мимо столика Бени проходит Собков, принарядившийся ради воскресенья. Беня приглашает пекаря садиться.

*— Вот ты и дождался революции, Собков...*

Собков усмехается и показывает глазами на посетителей кафе.

*— Революция будет, когда монету у них заберем...*

Беня чистит перо полой Савкинового пиджака, мимика его лица чрезвычайно выразительна.

*— Насчет монеты ты прав, Собков...*—
говорит он и снова принимается за писание. Савка заснул. Собков разглядывает посетителей кафе.

У столика Тартаковского. Маклер вываливает из кармана груду золотых крестиков и ладанок.

*— Мосье Тартаковский, партию икон за половину даром...*

Тартаковский нехотя рассматривает товар, взвешивает крестики на ладони.

Беня сворачивает записку, подзывает официанта, просит передать записку Тартаковскому.

Товар Тартаковскому не подходит. Он отодвигает от себя «партию икон». Лакей подает ему записку.

Письмо Бени, написанное каракулями на салфетке с цветами:

*— Мосье Тартаковский, я велел одному человеку найти завтра утром под воротами на Софиев-*

*ской, 17 пятьдесят тысяч рублей. В случае, если он не найдет, так вас ждет такое, что это неслыханно и вся Одесса будет от вас говорить.*

*С почтением Беня Король.*

Тартаковский с возмущением комкает письмо, он делает Бене негодующие знаки, яростно дергает себя за ворот — вот, мол, сдирай последнюю рубаху — и немедленно принимается за писание ответа.

Официант подает инвалидам три бокала с гренадином. В бокалы воткнуты соломки. Безрукие болванчики потягивают гренадин через соломки.

Официант передает Бене ответ Тартаковского.

Послание Тартаковского, написанное тоже на салфетке:

— *Беня, если бы ты был идиот, то я написал бы тебе как идиоту, но я тебя за такого не знаю и, упаси боже, тебя за такого знать, денег у меня нет, а есть язвы, болячки, хлопоты, бессонница. Брось этих глупостей, Беня.*

*Твой друг Рувим Тартаковский.*

Беня прячет письмо Тартаковского в карман, расплачивается, будит Савку. Тот просыпается и, страшно выпучив глаза, хватает Беню за горло. Савке почудилось со сна, что к нему ночью нагрянула полиция. Очухавшись, он мгновенно стихает. Беня, Савка и Собков направляются к выходу. Тартаковский все еще дергает себя за ворот — сдирай, мол, последнюю рубаху... Король разводит руками — дескать, что я могу здесь поделать?..

Екатерининская, угол Дерибасовской. Прелестный весенний день. Одесская фланирующая толпа. Беня подзывает лихача — по-одесски штейгера — и, указывая на пьяного Савку, говорит извозчику:

— *Покатай его по воздуху, Ваня...*

Савка развалился в экипаже со всей пренебрежительностью, со всем шиком, на какой он способен. Лошадь пошла рысью.

Группа цветочниц на углу Дерибасовской и Екатерининской улиц. Игривые бабы с цветами на фоне витрин лучшего магазина в Одессе — магазина Вагнера. В окнах магазина выставлены заграничные товары — щегольские чемоданы, фарфор, безделушки, духи в коробочках, обитых голубым атласом. Среди цветочниц оборванная девочка лет пятнадцати. Король подходит к девочке, покупает у нее фиалки и незаметно для Собкова сует в ее букеты записочки. Девочка с необыкновенным напряжением смотрит на Беню.

Беня и Собков сворачивают к Николаевскому бульвару.


Не надо
книги
объясни
душой

Вокруг них кипит одесская толпа. В отдалении на черных, худых голых ногах плетется девочка-цветочница. Завороженная, она не сводит с Бени глаз.

Николаевский бульвар. Беня и Собков подходят к решетке у Воронцовского дворца. За решеткой кусты нераспустившейся сирени.

— *Скажи, Собков, кроме монеты, чего еще надо большевикам?* —

спрашивает Беня пекаря. Тот вынимает из кармана книжку Ленина, но Беня отводит рукой книгу.

Беня медленно разжимает губы:

— *Не надо книги, объясни душой, своди меня к твоим ребятам, Собков, где они у вас?*

Собков простирает руку и указывает на доки, на Пересыпь, на фабрики.

— *Вот они!* —

говорит пекарь.

Панорама Пересыпи, судостроительных заводов, дымящихся пароходов. Рабочие производят погрузку. Они обволакиваются дымом, идущим из пароходной трубы.

Затемнение

Порт. У эстакады группа биндюгов. К мордам лошадей подвешены торбы с овсом. Полуденное солнце. Под одним из биндюгов спит на земле, на нагретых камнях, Фроим Грач. Из-за угла показывается девочка с цветами.

Девочка пробирается к биндюгу Грача. Она щекочет его букетом. Грач просыпается с таким видом, как будто он и не спал. Девочка сует Фроиму записку и убегает.

Записка:

— *Грач, есть кое-чего говорить с тобой.*
*Беня.*

Грач вскочил на биндюг, он пускает лошадей вскачь.

Затемнение

Персидская чайная — чай-ханэ — на привозной площади. Грузчики и торговцы скотом пьют чай. За прилавком перс, появлявшийся уже в первой части. Цветочница, задевая одной ногой другую, входит в чайную. Перс наливает ей стакан крепкого чаю, девочка просовывает ему записку:

— *Абдулла, есть кое-чего говорить с тобой.*
*Беня.*

Перс прячет записку. Лицо его исказилось. Он хватает стаканы с недопитым чаем, выливает их, вопит, суетится, выталкивает клиентов, те смотрят на него с величайшим изумлением. Старик в баках вступает с персом в драку, но, убоявшись страшного лица чайханщика, отступает. Одна только девочка спокойно допивает чай.

Перс заглушает самовар, льет в трубу воду.

Затемнение

Резник Левка Бык, в халате, с окровавленным ножом, стоит на помосте. Внизу столпились еврейки. Они подают резнику (шойхету) куриц и уток для резки.

Левка перерезывает горло курицы.

Старая Рейзл подает шойхету петуха. Петух машет крыльями. Левка заносит нож. В это мгновение в резницу проскальзывает девочка-цветочница. В руках у нее букет цветов, она робко ступает по цементному полу, залитому кровью.

Нож дрожит в руке шойхета, глаза его расширяются. Он застыл, петух бьется в его руках.

Затемнение



## Часть четвертая

Контора Тартаковского. За главным столом управляющий Мугинштейн. Окутываясь дымом, работает у своей конторки англичанин. Служащий подносит Мугинштейну бумаги для подписи. Мугинштейн подписывает с роскошным росчерком. Форма одного письма ему не нравится, он бросает его на пол и плюет в сторону служащего, принесшего письмо. Тот, нимало не смутившись, тоже плюет. В это время с улицы в раскрытые окна вскакивают четыре человека в масках, с револьверами в руках.

На четырех подоконниках стоят, выпрямившись во весь рост, налетчики в масках.

— *Руки вверх!*

Ассортимент поднятых рук.

Фроим Грач, перс, Левка Бык и Колька Паковский занимают входы. На них смехотворные маски из цветного ситца. Всех можно узнать, особенно Грача, у которого маска каждый раз сползает.

Входит Беня. Он направляется к Мугинштейну.

— *Кто здесь будет за хозяина?*

Трепещущий Мугинштейн:

— *Я... я здесь буду за хозяина.*

Беня берет руки Мугинштейна, опускает их, дружелюбно здоровается с приказчиком, подводит его к кассе.

—*Отчини кассу с божьей помощью.*

Потрясенный Мугинштейн отрицательно качает головой. Беня вытаскивает из кармана револьвер и приказывает Мугинштейну:

— *Открой рот...*

Медленно раскрывающийся рот Мугинштейна, видны его зубы, растущие вкось.

Беня всовывает револьвер в рот Мугинштейна и медленно, не спуская с приказчика глаз, переводит предохра-

нитель на «огонь». Слюна течет из раскрытого рта, руки Мугинштейна тянутся к штанам. Он вытаскивает связку ключей из потайного места, из мешочка, пришитого к кальсонам.

Ассортимент поднятых рук.

Массивные двери кассы расходятся. Богатство Тартаковского предстало перед взорами зрителей. К кассе подплывает искаженное лицо перса, под черными сводами бровей горят его расширенные глаза.

Беня вытирает полой приказчикова пиджака дуло револьвера, забрызганное слюной. Он прячет револьвер, садится в кресло, закидывает ногу на ногу, раскрывает кожаный саквояж. Для начала Мугинштейн передает ему бриллиантовую дамскую брошку. Беня подходит к кассирше, воздевшей толстые руки, прикалывает к ее груди брошку.

Мощная грудь кассирши ходит ходуном.

Дама растеряна. Она переводит глаза с Бени на брошку. Руки ее подняты. На подмышках у нее большие круглые пятна от пота. Грач подходит к женщине, обнюхивает ее и морщится. Маска сползла у него на подбородок. Беня возвращается на свое место.

Передача ценностей началась. Мугинштейн передает Бене деньги, акции, бриллианты. Беня складывает добычу в саквояж. Они работают не спеша.

Общий вид конторы. Левка Бык препирается со стариком служащим, который кричит, что он не может больше держать руки поднятыми.

— *Разбойник, у меня грыжа...*—

вопит старик. Левка очень внимательно щупает живот старика и разрешает ему опустить руки.

Старик подбежал к кассирше и рассматривает ее брошку.

— *Дивный двухкаратник...*—

говорит он и причмокивает губами.

Передача ценностей продолжается. Она протекает без затруднений, руки Мугинштейна и Бени движутся равномерно.

Левка Бык прогуливается по конторе. Англичанин, страдающий от невозможности покурить, делает ему умоляющие знаки, указывает глазами на трубку. Левка вдвигает трубку в желтые зубы англичанина и зажигает спичку.

Движение рук Мугинштейна и Бени.

Трубка англичанина никак не раскуривается — это происходит оттого, что руки его подняты и бухгалтер не может примять табак. Левка зажигает одну спичку за другой. Вдруг зажженная спичка застывает у него в пальцах.

В окно вскочил пьяный Савка. Он орет, размахивает револьвером.

Левкина спичка догорела до конца. Она обжигает ему пальцы.

Пьяный Савка стреляет, Мугинштейн свалился. Беня, охваченный ужасом и яростью, кричит:

*— Тикать с конторы...*

Король схватил Савку за лацкан, он встряхивает его, трясет все сильнее.

*— Клянусь счастьем матери, Савелий, ты ляжешь рядом с ним...*

Налетчики убегают. На полу корчится раненый Мугинштейн. Старик с грыжей ползет к нему под столами.

Агонизирующий Мугинштейн и затем...

Обложка книги: «Гигиена брака».

Кудрявая девица с лицом веснушчатым, незначительным и столь внимательным, что со стороны оно может показаться мрачным,— склонилась над книгой «Гигиена брака».

### Милиция присяжного поверенного Керенского

Канцелярия милицейского участка. За столами девицы и чахлые студенты еврейского типа. Среди студентов осунувшийся Лазарь Шпильгаген. У телефона кудрявая барышня, увлеченная вопросами гигиены брака. Она долго не обращает внимания на надрывающийся телефонный звонок (телефон старой системы с наружным звонком) и, наконец, лениво снимает трубку.

*— Шпильгаген, доложите начальнику, что на Тартаковского налет...—*

говорит она соседу, вешает трубку на рычажок и снова погружается в чтение.

Шпильгаген вяло бредет к начальнику. Шнурки его башмаков распущены, он поправляет их по дороге.

### Начальник участка, присяжный поверенный Цысин

Кабинет начальника участка. Цысин, брюнет с изможденной и благородной внешностью, неудержимо ораторствует перед тремя инвалидами, теми самыми, в чью пользу продавали кандалы у Фанкони. Инвалиды затоплены

красноречием Цысина. Входит Шпильгаген. Начальник сначала не слушает его, потом приходит в ужасное волнение.

Размахивая руками, Цысин летит по коридору.

Старик с грыжей льет из медного чайника воду на кассиршу, упавшую в обморок. Она прикрывает рукой брошку.

Со двора участка медленно выползает танк. Из амбразуры танка выглядывает вдохновенное лицо Цысина.

Пекари, во главе с Собковым, бегут к конторе Тартаковского.

Тысячная толпа во дворе Тартаковского — женщины, ползущие по земле дети, зеваки, ораторы. С томительной медленностью вползает танк. Из танка выскакивает Цысин. Собков обращается к нему:

> *— Дайте мне несколько боевых ребят, и мы возьмем Короля...*

Цысин машет рукой, убегает, за ним устремляется толпа. Один только часовой мастер в опорках остается на своем месте. Он с скучливым видом поднимает к небу глаз, вооруженный лупой; солнце пламенным лучом упирается в лупу.

Комната в доме Криков. На стене в одной раме портреты Льва Толстого и генерала Скобелева. Старушка Рейзл подает суп Фроиму и Бене. Грач макает в суп большие куски хлеба, он уплетает свою порцию с аппетитом. Беня отодвигает тарелку. Рейзл подкладывает ему пупки и яички, но Беня от всего отказывается, ему не до пупков. В комнату врывается Собков.

> *— Не надо нам уголовных...—*

кричит пекарь и стреляет в Беню. Промах. Грач кидается на Собкова, подминает его под себя, душит. Беня оттаскивает Фроима.

> *— Отпусти его, Фроим,— черт разберет этих большевиков, чего им надо...*

Грач встает, полузадушенный Собков валяется на полу. Рейзл приносит второе, не удостаивая Собкова взглядом, она переступает через распростертое его тело и раскладывает жаркое по тарелкам. Беня барабанит по столу пальцами.

**З а т е м н е н и е**

**Через два дня**
**состоялись похороны Мугинштейна.**
**Одесса таких похорон не видала, а мир не увидит**

Кантор в торжественном облачении. За ним следуют мальчики в черных плащах и высоких бархатных шапках — синагогальные певчие.

Пышная колесница, три пары лошадей, лошади с плюмажами, мортусы в цилиндрах.

Толпа провожающих гроб. В первом ряду Тартаковский и еще один почтенный купец поддерживают старенькую тетю Песю, мать убитого.

Толпа — присяжные поверенные, члены общества приказчиков-евреев и дамы с серьгами.

Красный автомобиль Бени Крика мчится по улицам Одессы.

Тартаковский и сослуживцы покойного, в числе их — старик с грыжей и англичанин, несут гроб по кладбищенской аллее.

К кладбищенским воротам подкатывает автомобиль Бени Крика. Из него выскакивают Беня, Колька Паковский, Левка Бык и перс. В руках у Бени громадный венок.

Тартаковский и еще двое несут гроб. Их нагоняет Беня с соратниками. Налетчики отстраняют Тартаковского, старика с грыжей, англичанина и подводят стальные плечи под гроб. Невыразимое смятение пробегает по толпе. Тартаковский исчезает. Налетчики выступают медленно, скорбно, с горящими глазами.

Во весь экран гроб, покачивающийся на плечах налетчиков.

У кладбищенских ворот. Кучер Тартаковского отлучился по нужде. Широкая его спина маячит у закругления кладбищенской стены. Из-за ограды выбегает Тартаковский; он вскакивает в экипаж и сам погоняет лошадей.

Кантор молится над могилой. Беня поддерживает тетю Песю. Кантор берет горсть земли, чтобы бросить ее на гроб, но рука его застывает. К нему направляются два парня, несущие покойника Савку Буциса. Беня — кантору:

> — *Попрошу оказать последний долг неизвестному, но уже покойному Савелию Буцису.*

Кантор, дрожа и примериваясь, куда ему бежать, переходит к гробу Савки. Налетчики окружили труп. Проверяя кантора — не плутует ли он, не сокращает ли панихиду, они внимательно слушают молитву. Толпа тает, люди, отойдя шагов на десять от могил, обращаются в бегство.

Тартаковский нахлестывает лошадей. Кучер бежит за экипажем.

Кладбищенская аллея. Памятники — молящиеся ангелы, пирамиды, мраморные щиты Давида. Бегство смятенной толпы.

У гроба Савки заикается кантор, разливается в три ручья тетя Песя и молятся по заветам отцов налетчики.

У кладбищенских ворот толпа сметает все преграды: экипажи, трамвай, даже грузовые площадки берутся приступом.

Обессиленный кучер Тартаковского, отчаявшись догнать экипаж, раскрывает полы ваточного армяка и садится на землю, чтобы передохнуть.

Поток дрожек и телег. Люди стоят на телегах, их качает, как на корабле во время бури.

Две разряженные дамы на телеге из-под угля.

Красный автомобиль врезывается в толпу бегущих и исчезает.

### Затемнение

Голые спины Собкова и его длинного соседа. Движение мускулов на спинах.

В пекарне. Кочетков подбрасывает дрова в пылающую печь, мастер вынимает готовые хлебы. Входит Беня. Он отзывает Собкова в сторону.

Кладовая. На полках остывают хлебы, длинные ряды хлебов. Входят Собков и Беня.

*— Своди меня к твоим ребятам, Собков, и, клянусь счастьем матери, я брошу налеты...*

Собков поглаживает корку дымящегося хлеба.

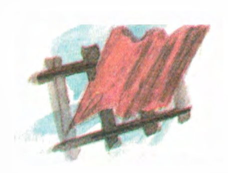
*— Наливаешь, парень...—*

вскидывает он глаза на Беню и тотчас отводит их. Король подходит к нему вплотную и кладет маленькую руку в перстнях на голое грязное плечо пекаря.

*— Клянусь счастьем матери, Собков...—*

повторяет он с силой.

Длинные ряды хлебов остывают на полках, хлебный дух зеленой волной ходит по кладовой, солнечный луч раздирает туман. За изгородью отлакированных хлебов — лица Бени и Собкова, склонившиеся друг к другу.



## Часть пятая

### КОНЕЦ КОРОЛЯ

На черном фоне извивается телеграфная лента.

Телеграфная лента ползет из аппарата:

*Лето от рождества Христова тысяча девятьсот девятнадцатое.*

Телеграфист принимает в аппаратной комнате депешу по прямому проводу. Военком Собков склонился над ползущей лентой. На столике рядом с аппаратом лежит буханка черного хлеба, изрезанного жилами соломы, и мокнут в миске с водой пайковые селедки. Телеграфист в шерстяной шапке, какую зимой носят лыжники и конькобежцы, рваное его пальто стянуто на животе широким монашеским ремнем, за плечами у него котомка с провизией: он, видимо, собрался уходить.

Буханка хлеба, мокнущие селедки. Пальцы телеграфиста ковыряются в буханке.

Собков читает ленту, ползущую на пулемет, поставленный рядом с аппаратным столиком. Он так же, как и телеграфист, залезает пальцами в самую сердцевину буханки и выковыривает оттуда мякоть.

Телеграфная лента:

*Военкому Собкову тчк Ввиду ожидающегося нажима неприятеля выведите Одессы и обезоружьте под любым предлогом...*

Пулемет, обмотанный телеграфной лентой. В уголку, поодаль, Кочетков чинит худой свой башмак. Не снимая его с ноги, Кочетков проволокой связывает отвалившуюся подошву.

Продолжение телеграммы:

*...Обезоружьте под любым предлогом части Бени Крика тчк*

Башмак Кочеткова — у ранта во всю длину подошвы правильно закрученные, откусанные узлы проволоки.

Собков сунул в карман ленту, он оторвал от буханки кусок и жует его на ходу. Военком и Кочетков выходят из аппаратной.

На черном фоне извивается ослепительная телеграфная лента. Конец ее...

Вползает в открытый, без капота, автомобильный мотор.

Во дворе телеграфной станции. Кладбище грузовиков и походных кухонь. Одна походная кухня действует. Кашевар-красноармеец стряпает щи. Он топит котел своей кухни деревянными колесами, отбитыми от других походных кухонь; их во дворе неисчислимое множество. Тут же бьется над ободранным, разболтанным автомобилем шофер Собкова. На моторе нет капота, шофер старается наладить машину, но толку от его усилий мало.

Мотор автомобиля — перевязанный проволокой и ремнями, латаный, дымящийся, мотор девятнадцатого года.

Во двор спускаются Собков и Кочетков. Они садятся в автомобиль.

— *В казармы, живее...*—

говорит Собков шоферу, тот вертит ручку, но завести мотор невозможно. Шофер растирает струи пота по багровому лицу, он с ненавистью следит за потугами мотора, перебирает какие-то клапаны и вдруг изо всей силы плюет в самое сердце мотора. Кашевар и Собков приходят ему на помощь, они тоже вертят ручку, но впустую. Кочеткову удается наконец завести машину. Шофер вскакивает на сиденье, дает газ, гигантское облако дыма вылетает из машины, с кряхтением она трогается.

Автомобиль выезжает из ворот. Шофер судорожно работает у руля. Облако дыма все разрастается, оно заволакивает экран, из желтого тумана возникают с необыкновенной резкостью: — замусоленные игральные карты, раскинутые веером. Их держит жилистая рука. Один палец на этой руке сломан, искривлен. Луч солнца пронизывает карты.

### N-ский «революционный» полк готовится к решительным битвам

Казармы «революционного» полка Бени Крика. На веревках, протянутых во всю длину казармы, развешано сохнущее солдатское белье. На белье казенные клейма.

Под веревками, где особенно густо нанизаны кальсоны с клеймами, идет азартная игра в карты, игра блатных. Партнеры — лупоглазый перс и папаша Крик, нацепивший на себя крохотный картуз с красноармейской звездой. Вокруг стола — толпа мазунов-налетчиков, знакомых нам по свадьбе Двойры Крик. Перс, убежденный в том, что победить его козырей невозможно, сдает карты с торжеством, со страстью. На лице папаши Крика написано кроткое уныние. Он долго размышляет, морщится, закрывает один глаз и наконец «убивает» первую карту перса.

Залитые солнцем карты в руке старого Крика.

Старик с грустью «убивает» вторую карту перса. К нему придвигается голая спина Кольки Паковского.

Рядом с Менделем на высоком стуле сидит обнаженный до пояса Колька Паковский. Старый китаец производит над ним операцию татуировки. Он наколол уже на спине Кольки у правой лопатки мышь и теперь загибает за плечо длинный и гибкий мышиный хвост.

Мендель бьет одну за другой все карты партнера. Лицо перса омрачилось. Он платит проигрыш новыми часами из вороненой стали. На столе возле него гора нераспакованных ящиков с новыми, только что из магазина, часами.

Казарма, забитая сохнущим бельем. В дальнем углу у окна Левка Бык в кожаном переднике, измазанном кровью, рассекает недавно зарезанного вола. Он и в казарме занимается прямым своим делом. Его окружили «красноармейцы», ждущие порции. За окном виднеются головы торговок, выстроившихся в очередь: они тоже ждут раздачи. Левка наделяет красноармейцев кровоточащим мясом, изредка он накалывает на нож чудовищные куски мяса и, не оборачиваясь, швыряет их за окно, как укротитель швыряет конину в клетку с тиграми.

Игра продолжается. Настал черед перса торжествовать. Дергаясь, хохоча, дрожа от возбуждения, он бьет карты старика и требует выигрыш. Папаша Крик платит новенькими кредитками, которые он вытаскивает из пачки, перевязанной как в банке. Две кредитки оказываются без оборота — одна сторона напечатана, на другой ничего нет. Старик подзывает одного из мазунов, отдает ему негодные кредитки.

*— Скажи Юсиму, что он у меня умоется юшкой за такую работу... Пусть допечатает...*

Мазун прячет кредитки и уходит. В дверях он сталкивается с Тартаковским и пропускает его в казарму. На Тартаковском сломанный солдатский картуз; лицо его носит

следы удивительного маскарада — усы сбриты, а борода оставлена, как у голландского шкипера.

Тартаковский пробирается на цыпочках вдоль стены. В руках у него бархатный мешочек с неизвестным содержимым. Старик перекрасился и одет соответственно духу времени — на нем рваный сюртук, на ногах опорки, только живот величествен по-прежнему. Следом за ним скользят еще два почтенных еврея. На одном из них кепи велосипедиста, сюртук и краги, на другом кепи поменьше и куртка с брандебурами.

### Командир N-ского «революционного» полка

Двор в здании красноармейских казарм. На одной из внуренних дверей вывеска — «Пехотный имени французской (тут от руки мелом дописано — и германской) революции полк». Беня в фантастической форме верхом на лошади. Фроим Грач стоит посредине двора и щелкает кучерским кнутом. Беня мчится карьером и описывает по двору правильные круги, как в манеже.

Низкая дверь. Три живота с трудом протискиваются сквозь узкую щель.

Скачка продолжается. Тартаковский и трепещущие его спутники проникают во двор. Они кланяются Бене, неутомимо описывающему круги. Командир N-ского «революционного» полка дает лошади шпоры, взвивает плеть, подскакивает к толстякам, те приседают. Тартаковский протягивает Бене бархатный мешочек с неизвестным содержимым.

Вышитая цветами надпись на бархатном мешочке: «От революционных кустарей города Одессы».

Беня разворачивает дары. В бархатном мешочке оказывается свиток Торы, пергамент намотан на лакированные резные палки. Беня передает Тору Фроиму Грачу. Тогда Тартаковский подступает ближе, он гладит дрожащей рукой морду лошади и начинает речь:

— *Революционные кустари просят вас...*

Бесстрастное лицо Бени, руки его, величественно сложенные на луке седла. Подальше — Фроим, разматывающий свиток. Тартаковский продолжает:

— *...просят вас защищать революционную Одессу в самой революционной Одессе и...*

Фроим разматывает Тору и вынимает из нее одну за другой царские сторублевки.

Беня скосил угол глаза в сторону Фроима. Тартаковский продолжает:

— *...в самой революционной Одессе и не выступать на какой-то там фронт...*

Гром распахнувшихся ворот, столб дыма, влетевший во двор — прервали речь революционного кустаря. Вслед за струей дыма тройка пожарных лошадей вкатывает во двор испортившийся по дороге автомобиль Собкова. На одной из лошадей восседает красноармеец в войлочных туфлях на босу ногу. Военком и Кочетков прыгают на землю, бегут к казарме. Шофер подходит к дымящемуся мотору, долго в него всматривается, поднимает к небу затуманенные глаза и задумчиво, несколько раз подряд, плюет в магнето.

Собков и Кочетков пробегают рысью калитку, сквозь которую с таким трудом проходили животы революционных кустарей.

Голос Тартаковского опустился до шепота, он все веселее и любовнее треплет морду лошади, два других делегата поглаживают ее бока. Беня наклонился к ним ближе; в другом углу Фроим скатывает пергамент.

Игра в казарме ведется с неослабевающей страстью. У противоположной стены, недалеко от Левки, расшвыривающего мясо, мылит себе щеку парень с грубым лицом, подстриженными усиками и забинтованными ногами. Тут же на койке, спиной к зрителям, спит коротковатая пухлая женщина в модных башмаках до колен. В казарму вбегают Собков и Кочетков. Военком вскакивает на трибуну, поставленную под перекрещенными знаменами.

— *Товарищи!*

Новоявленные «товарищи» лениво стягиваются к военкому. Левка обтирает о передник нож и идет к трибуне. Сюда же собираются мазуны: парень с намыленной щекой, китаец, Колька Паковский, обнаженный до пояса, и другие. Только перс и папаша Крик не встают с места, не прерывают игры — они по-прежнему обмениваются новыми часами и новыми кредитками.

— *Товарищи!* —

повторяет Собков. «Товарищи» устремили на него тусклые взоры. Они видны со спины, все как по команде чешут одной босой ногой другую.

— *Рабочая власть, простив прежние ваши преступления, требует честного служения пролетариату...*—

говорит Собков. Парень с намыленной щекой стоит к нему в профиль, лицо его уныло, большие пальцы играют.

Левка Бык натирает нож до блеска. Военком продолжает:

> *— Доверяя вам, Исполком решил образовать из вашего полка заградительные продовольственные отряды...*

Собков прерывает речь для того, чтобы проследить, какое впечатление сделало на налетчиков неожиданное его заявление. Налетчики аплодируют. Веселая эта работа — аплодисменты — нравится им, они хлопают все горячее. Распаленный военком лезет в карман за платком, рука его уходит все глубже, все дальше, не встречая никаких препятствий. Карман вырезан.

Превосходно вырезанный карман Собкова.

Военком застыл с раскрытым ртом. Ребята расползаются по своим местам; парень с грубым лицом, подстриженными усиками и забинтованными ногами мылит вторую щеку, дама его шевелится, просыпается, поворачивается к Собкову мятым лицом с кудряшками. Сбитый с толку военком переводит глаза с налетчиков на зевающую женщину, спустившую с койки жирные ножки в модных башмаках.

По казарме бежит мазун, вернувшийся с допечатанными деньгами. Он отдает их папаше Крику.

Собков, опомнившись, вытаскивает револьвер. Колька Паковский, растянувшийся в кресле, поворачивает голову вполоборота и снова отводит ее. Китаец все возится над его плечом, он расцветил красками мышиный хвост, обвившийся змеей вокруг Колькиного соска; Кочетков схватил военкома за руку.

Пальцы военкома, схваченные Кочетковым, слабеют, выпускают револьвер.



## Часть шестая

**Соблазненный «продовольственными» перспективами полк Бени Крика решил выступить из Одессы**

Пустынная улица в Одессе. Лавки заколочены досками, болтами, крюками. К двери нищенской лавчонки прибито изображение греческого короля, под ним надпись: «Здесь торгует иностранный подданный Меер Гринберг». Одинокая собака сидит посредине мостовой. Порванные телеграфные провода лежат у ее ног. Они склонились перед собакой, как знамена перед военачальником. Тучный хромой человек быстро уходит вдоль улицы, он тяжело налегает на ногу, выгнутую колесом. Далеко в пролете вымершей улицы в красной пыли солнца видна уходящая его спина.

Из-за угла выезжает на кровной лошади Беня Крик. Множество ленточек вплетено в гриву его коня. Рядом с ним едут Собков на лохматой сибирской лошаденке и одноглазый Фроим Грач в галифе. Остальной костюм Фроима — парусиновая бурка, смазные сапоги и кнут — остался без изменений. Тут же шагает Кочетков. Отваливающиеся его подошвы разевают унылые пасти. За всадниками следуют музыканты, восседающие на мулах. Мулы эти остались от времен оккупации Одессы цветными войсками. Мулы прядают длинными ушами; седел, стремян на них нет, они перекрыты семейными коврами. Впереди оркестра движется свадебный музыкант, поднявший к небесам сияющую свою трубу, о которой было уже сказано, что она походит больше на удава, чем на музыкальный инструмент.

В далекой перспективе, в запылившемся огне заката, спина уходящего хромца. Он подошел к посудной лавке, единственной незаколоченной лавке, и повернул к зрителю красное, вспотевшее доброе лицо.

Вслед за оркестром выступает орда Бени Крика. Бывшие налетчики в касках, они обмотаны пулеметными лентами, штаны носят навыпуск; одни идут босиком, на других разношенная, правда дырявая, но лакированная обувь. В толпе Бениных сподвижников — детские коляски, провожающие жены, матери, невесты. Все это визжит и путает ряды. За Колькой Паковским, не поспевая, семенит мать, маленькая старушка, она несет его ружье и ранец. Левка Бык толкает коляску годовалого своего сына. Рядом с ним жена — задорливая молдаванская баба, завороченная в пурпурную шаль. Левка Бык и его семейство выходят из рядов, он с тоской окидывает взглядом длинный ряд заколоченных лавок.

Показалась «артиллерия» — тачанки с пулеметами. Следом за «артиллерией» движется биндюг, на котором сооружено что-то вроде балагана. На биндюге надпись громадными буквами: «Труппа Политпросвета при N-ском имени французской революции пехотном полку». В глубине балагана — матрос с лентами и выпуклой грудью играет на ободранном пианино. Лилипуты — мужчина и женщина, одетые в бальные платья,— протягивают к публике кружки с надписью: «На украшение казармы».

В единственной незаколоченной лавке. Товары — фаянсовые унитазы, канализационные трубы, сиденья для ватерклозетов. Длинный мальчик, с зелеными веснушками и тонкой шеей, поливает пол из медного чайника. Он описывает на полу затейливые фигуры, рисует водой человечков и буквы. Хозяин лавки, хромой немец, вытирает полотенцем беспомощное широкое лицо. Он устал от быстрой ходьбы. На раскаленных отваливающихся его щеках кипит обильный пот, пот доброго толстого человека. Обтерев лицо, он лезет с полотенцем за пазуху, в это мгновенье дверь открывается и в лавку вламывается Левка Бык в сопровождении своего семейства.

Чайник дрогнул в руках мальчика. Изящные петли прервались, вода льется на пол безо всякого порядка.

Ряд фаянсовых сверкающих унитазов. Над ними склонилась испытующая рожа Левки. Он видит, что взять нечего, он колеблется, уходит, возвращается, захватывает с горя унитаз, особенно пышно расписанный розовыми цветами, швыряет его в коляску сына и уходит. Немец застыл с полотенцем за пазухой.

На углу Дерибасовской и Екатерининской. Кафе Фанкони заколочено, цветочниц нет на углу. Босая девочка в мешке, та самая девочка, которая разносила записки Бени,—

прижалась к пустой витрине магазина Вагнера. Первый ряд колонн — Беня, Фроим и Собков — поравнялись с нею. Торопясь и дрожа, она вытаскивает из-за пазухи розу, завернутую в газетную бумагу; путаясь между лошадьми, оборвыш бежит к Бене и протягивает ему розу.

Порт. Причальная линия так называемой арбузной гавани заставлена дубками. Закат золотит грязные паруса, воду, усеянную корками, и груды арбузов, мириады арбузов. Суденышки набиты ими до краев.

Выгрузка арбузов из дубка. Хозяин судна, грек, бросает арбуз грузчику, стоящему на берегу, тот передает арбуз другому грузчику, и так по всей линии до вагона. Расстояние между грузчиками — два-три шага.

Движение арбуза, перебрасываемого из рук в руки.

Несколько Бениных ребят наблюдают с каменными лицами погрузку арбузов. В рядах их происходит едва уловимое движение. С непостижимой быстротой бросают они в море грузчиков и образуют свою цепь от дубков до вагона. После мгновенной заминки выгрузка арбузов продолжается с прежней точностью.

Движение арбуза, перебрасываемого из рук в руки.

Грузчики, бывалые ребята, барахтаются в воде. Греки — хозяева дубков — наставляют паруса, готовятся к бегству. Вечер. В порту зажигаются огни.

Полк Бени Крика грузится в теплушки. Будущие «продовольственники» натаскали в вагоны груды мешков.

У дверей классного вагона, первого от паровоза, дежурит Кочетков. Беня и Фроим входят в вагон. Кочетков запирает за ними дверь на ключ. Фроим услышал визг ключа в замке, он обернулся, прыгнул, уставился на скуластого простоватого Кочеткова, постучал в стекло:

*— Пусти до ветру, Кочетков...*

Кочетков приставил винтовку к ноге:

*— Какой там ветер на войне?..*

Фроим внимательно осмотрел Кочеткова и скрылся в глубине вагона.

Дубки, круто скосив паруса, уходят в море. Мокрые грузчики карабкаются на берег. Вечер.

На перроне зажгли газовые фонари. Левка Бык тащит к вагону кучу мешков. Его встречает Собков и спрашивает:

*— Зачем столько мешков, Левка?*

Левка, согнувшийся под своей ношей, смотрит с удивлением на недогадливого военкома.

*— Для того, чтобы бороться с мешочниками, нужны мешки...—*

отвечает он и бежит дальше. За ним с корзиной в руках поспешает старая Манька — патриарх слободских бандитов.

Беня стоит в окне вагона. К нему подбегает запыхавшаяся Манька. Она вынимает из корзины четверть спирту и мандолину и подает их командиру.

Паровоз дает свисток.

Ребята Бени Крика катят по путям вагон с арбузами; они прицепляют его к своему поезду.

Полк погрузился. Красноармейцы из регулярных частей закрывают двери теплушек. Медленно, неотвратимо движутся двери на железных роликах. Пасти теплушек закрылись все сразу. Красноармейцы вскочили на тормозные площадки.

Паровоз дает последний свисток и трогается.

Красноармейцы, спрятанные за пакгаузами, прыгают на тормоза, лезут на крыши вагонов.

Дальние паруса в ночном море. Изрезанная луна в обвалах туч.

Поезд набирает скорость.

Уходящая Одесса — витая линия огней в порту, мигающий глаз маяка, отблески луны на черной воде, колыхающиеся тела шаланд и дыры парусов, пропускающие звезды.

В салон-вагоне. Ободранное просторное купе хранит следы недавнего великолепия. В углу, ввинченная в пол, золоченая ванна с орлами. На столе целый поросенок и четверть спирта. Собков разливает в разбитые черепки водку. На пиршестве присутствуют лилипуты, одетые в бальные туалеты. Незаметно ни вилок, ни ножей. Фроим разрывает поросенка руками.

В передней. Домовитый Кочетков устраивается у закрытой двери купе. Он поставил винтовку между ног, разостлал на столике грязный платок, высыпал табак и гильзы, обстругал палочку для набивки папирос.

Собков, Беня, Фроим и лилипуты чокаются посудинами разнообразнейшей формы и размеров — у черепков отбиты края, донышки перевязаны проволокой. Все выпили, кроме Собкова, вылившего свою водку за воротник. Беня и Фроим заметили его маневр, они переглянулись, подложили револьверы под карту-двухверстку, брошенную на стол.

Кочетков набивает папиросы, руки его движутся неторопливо. Он складывает папиросы аккуратными стопками.

Фроим разливает водку. Не спуская глаз друг с друга, компания чокается. Под картой-двухверсткой топорщатся

револьверы. Одни только лилипуты пьют весело, с жадностью.

Мчащийся поезд. Ночь. По крышам, у сцеплений, у тормозов мелькают ползущие силуэты красноармейцев. Последний вагон отрывается от поезда и катится назад. Искра бежит по рельсам вслед за оторвавшимся вагоном.

В купе. «Комсостав» пьет. На этот раз Беня и Фроим вылили свою водку, но сделали они это искуснее, чем Собков, ни для кого не заметно.

Кочетков в передней набивает папиросы.

В купе все притворяются пьяными. Собков целуется слюнявым размягченным поцелуем с Беней и Фроимом. Лилипуты, действительно пьяные, порываются танцевать. Фроим поднимает их на вытянутых руках и, выкидывая ноги в больших сапогах, отплясывает неведомый, сумрачный, старательный танец.

Второй вагон отрывается от состава и бежит обратно в ночь. Искра, подпрыгивая на рельсах, летит за ним.

Низко опустив голову, не меняя выражения лица, Беня играет на мандолине. Развалившись в кресле, Собков, вдребезги якобы пьяный, хлопает в ладоши. Фроим пляшет с лилипутами. Маленькая женщина обвила короткими ручонками кирпичную шею Фроима и целует его в губы.

Под столом течет струйка вылитой водки.

Кочетков набивает папиросы.

Пьяные лилипуты свалились. Они обнялись и заснули.

Беня швырнул мандолину в сторону, он разливает водку. Фроим, Собков и он сплели руки для того, чтобы выпить на брудершафт.

### На брудершафт

Все трое подносят черепки к губам. В это мгновение поезд остановился. От резкого толчка расплескалась водка, руки пивших на брудершафт медленно расплетаются. Собков подбегает к окну и открывает штору. Ночь залита пламенем гигантского костра. Багровые лучи ложатся на лица Бени и Фроима.

Поезд остановился в поле. В поезде остался только паровоз и салон-вагон, остальной состав отцеплен. Вагон Бени увешан вооруженными красноармейцами — они на крыше, на подножках, у тормозов, у окон. Костер пылает в пятидесяти шагах от полотна железной дороги. Два ча-

бана варят мирную похлебку в закопченном котелке. Из созревших хлебов выползают красноармейцы — кудлатые, низкорослые, босые мужики — и с ружьями наперевес бегут к вагону. Пламя костра вытягивается на дулах их ружей.

Собков отошел от окна, он бросил в золоченую ванну стакан с водкой.

*— Не серчай, Беня...—*

сказал он и выскользнул из вагона. Беня переводит глаза с Фроима на ванну, с ванны на спящих в углу обнявшихся лилипутов. Фроим складывает из топорных иссеченных своих пальцев фигу и подносит ее к лицу «короля».

Кочетков, стоя на подножке вагона, раздает папиросы кудлатым мужикам. Они вперебивку суют руки в его шапку.

Беня показался у окна.

Толкающиеся руки мужиков в шапке Кочеткова.

Беня обводит взглядом красноармейцев, облепивших вагон, дула ружей, устремленные на него, босого мужика, усевшегося на крюке, где сцепление, и Собкова, застывшего перед окном с телефонным аппаратом в руках.

В купе. Фроим с бешеной поспешностью разбивает пол вагона. Он рассчитывает ускользнуть через дыру в полу. К нему подкрадывается Кочетков и стреляет в голову одноглазого биндюжника. Фроим повернул к Кочеткову залитое кровью, притихшее, укоризненное лицо.

Собков не сводит глаз с открытого окна. В руках его аппарат полевого телефона. Беня медленно опускает штору.

Лилипуты, разбуженные выстрелом, вскочили. Кочетков подносит палец к губам. «Т-с-с», делает он, подходит к Бене, берет его за руку.

*— Жили — не ссорились...—*

говорит Кочетков и поворачивает Беню вокруг своей руки. В дверях вагона показались красноармейцы с ружьями на изготовку.

Подбритый затылок Бени. На нем появляется пятно, рваная рана, кровь, брызгающая во все стороны.

### Затемнение

В кабинете председателя Одесского Исполкома. Под мертвой пышной электрической люстрой горит керосиновая лампа. Председатель, сонный человек в папахе, в белой рубахе навыпуск и с обмотанной шеей, наклонился над диа-

граммой: «Кривая выработки кожевенных фабрик за первую половину 1919 года». Инженер из ВСНХ дает ему объяснения. Звонит телефон, председатель снимает трубку.

В поле у костра. Лежащий на земле Собков говорит по телефону. Рядом с ним прикрытые рогожей трупы Бени и Фроима Грача. Босые их ноги высовываются из-под рогожи.

Председатель, выслушав донесение, положил трубку. Он поднимает на инженера сонные глаза.

— *Продолжайте, товарищ...*

Две головы — одна в спутанной папахе, другая расчесанная — склоняются над диаграммой.



## БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ

В конце лета 1925 г. 1-я Госкино-фабрика заказала мне, по предложению Еврейского Камерного театра, сценарий на тему романа Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды». Постановка должна была быть осуществлена во время заграничной поездки театра.

Я согласился на сделанное мне предложение и испытал в связи с этим множество трудностей. Единственно чувство ответственности перед дирекцией Госкино-фабрики помогло мне преодолеть неприятные ощущения, непрестанно возникавшие во время работы над чужим и неблагодарным материалом. Роман Шолом-Алейхема оказался произведением, насквозь пропитанным мещанскими мотивами и не таящим в себе к тому же никаких намеков на кинематографическое зрелище. Потребовалось два месяца для того, чтобы забыть прочитанный оригинал. В течение следующих трех месяцев мне пришлось много раз менять заданную схему и разработку ее; заграничная «натура», ставившаяся прежде как обязательное условие, стала потом обузой, от которой нельзя было освободиться; режиссеры менялись и, следовательно, менялись требования, предъявляемые к сценарию. Требования эти я считал для себя в известной мере обязательными, потому что работа предпринималась и подгонялась для определенных режиссеров и актеров.

Замечания эти я предпосылаю сценарию для того, чтобы отвести от себя упреки в части, касающейся выбора темы и разработки некоторых предложенных мне положений.

*И. Бабель*

## ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

1. Угол двухспальной кровати. Ночь. Широкая спина местечкового богача Ратковича. Старик спит. Голая чья-то рука трепеща лезет под подушки. Раткович ворочается, во сне придавливает руку вора, старик снова движется, рука высвобождается, выхватывает связку ключей из-под подушки, исчезает.
2. Хорошо убранная (по-местечковому) комната в доме Ратковича. Летняя ночь. Лунный луч лежит на начищенном полу. Медленно раскрывается дверь. В комнату на цыпочках входит Левушка Раткович, 18-летний сын богача. Пламя свечи колеблется. Юноша ставит свечку на стол, подходит к несгораемому шкафу.
3. Семейное традиционное трюмо у одной из стен. В зеркале отражается дрожащий лунный луч и пламень свечи.
4. Левушка вскрывает несгораемый шкаф. Он вынимает оттуда шелковый талес отца и кисет. Из кисета падает на пол пачка кредиток. Стук. Юноша отбрасывает талес, в испуге он опускается на пол и всем телом прикрывает деньги.
5. В лунном луче на полу шелковый с черной каймой талес отца Ратковича.
6. Юноша все еще на полу. В зеркале отражается искаженное, полное страха лицо. За спиной его качнулось белое видение. Оно раскачивается все сильнее, приближается к преступнику, хочет схватить его. Левушка растягивается на полу во всю длину тела.
7. Кот, спавший в глубоком кресле, просыпается, потягивается, прыгает на висячую лампу, закутанную в белую простыню. Лампа раскачивается. Это и есть привидение, испугавшее Левушку.
8. Отражение движущейся лампы в зеркале.
9. Кот прыгает с лампы на спину простертого на полу

юноши. Лева вздрагивает, поднимает голову, опоминается. Он прячет деньги и опрометью бросается вон из комнаты.

10. Свеча догорела до конца. Она тухнет. Кот сворачивается в клубок, засыпает.

11. Спальня отца Ратковича. Он спит со старухой-женой в перинах на непомерной двухспальной кровати. Оба супруга в косынках. Через их комнату пробирается Лева. Он по-прежнему бос, сапоги его закинуты за спину. В руках у него скрипка и смычок, завороченные в тряпку. Он осторожно открывает дверь в следующую комнату, в спальню остальных детей Ратковича.

12. И ПОТОМСТВО ТВОЕ, О ИЗРАИЛЬ, БУДЕТ МНОГОЧИСЛЕННЕЕ, ЧЕМ ПЕСОК НА БЕРЕГУ МОРЯ...

13. Спальня детей Ратковича, больше похожая на дортуар в интернате. Множество кроватей самых разнообразных фасонов. Множество детей всех возрастов и цветов. Беглец вьется между кроватями, целует в лоб самую маленькую свою сестру, прыгает в окно.

14. Крыши целой системы небольших сараев занимают пространство от окна, из которого прыгает Раткович, до земли. Сараи лепятся один к другому. Крыши покаты, поросли жирным мохом, система их напоминает ряд индийских пагод. Раткович прыгает из окна на первую крышу.

15. Земля, озаренная лунным светом. Крыши отбрасывают тень. Тень от прыжка Ратковича.

16. Раткович прыгает с крыши на крышу. Тело его перелетает как тело гимнаста, летающего на воздушной трапеции. Наконец — на земле.

17. Пустынная улица в волынском пограничном местечке. Волшебный свет ночи заливает кривые улички, тесно застроенные древними домишками; улички эти похожи на декорацию из детской сказочной пьесы. Увязая в грязи, прижимая к груди скрипку, Раткович бежит по улице зигзагами, как бы спасаясь от погони.

18. Два пьяных мужика встречаются ему. Поддерживая друг дружку, мужики стоят, столкнувшись лбами и расставив ноги, как ружья в козлах. Потом они с великим трудом расходятся, щупают ворота неведомого им дома, пьяные их рожи безнадежны.

19. ...БЫЛА ЗДЕСЬ УТРОМ СКОБА И НЕ СТАЛО ЕЕ... ГОСПОДИ ИСУСЕ И ТЫ, ПРЕЧИСТАЯ МАТИ...

20. Пьяницы, отчаявшись найти свой дом, медленно лобызают друг друга, опускаются на колени; с величайшей

нежностью, внимательностью, сокрушением обсасывают они один другому всклокоченные бороды. Не в силах прервать поцелуя, мужики падают, обнявшись, в невыразимую местечковую грязь и так засыпают.

21. Вдали в закоулках мелькает легкое тело Ратковича. Он крадется к двухэтажному, изъеденному временем, дому причудливой, волынско-польской архитектуры с подземельями, сараем и хлевом в первом этаже.
22. Пьяницы изредка по инерции целуются и все глубже погружаются в засасывающую их грязь. Волосы их разметались, грязные сапоги торчат, как утонувшие колья, бороды всклокочены, лица полны задумчивости.
23. Раткович проникает в темный смрадный коридор, расположенный под жилыми помещениями двухэтажного дома. В глубине — в закуте — коровья морда.
24. В темном углу коровника, заставленном бочками, ведрами, баграми, скорчилась женская фигурка, закутанная в балахон.
25. Раткович приближается к закуте, стучит шестом в потолок.
26. Фигурка в углу вздрогнула, прыгнула, опрокинула ведро. Из ведра густой белой струей течет на землю молоко.
27. Раткович стучит шестом в потолок. Женская рука схватывает шест, из закуты выходит Рахиль Монко, 17-летняя дочь местечкового бегельфера[1]. Балахон скрывает ее тело и лицо.
28. Рахиль открывает лицо, она бросается к Ратковичу, губы ее тянутся к его губам, но тотчас же девушка отшатывается. Слезы показываются на ее глазах, она смотрит на юношу с необыкновенной нежностью.
29. РЕШЕНО, МОЙ ДРУГ?..
30. Раткович берет узкую руку Рахили. Руки их дрожат длительной, нервической дрожью, которую нельзя унять.
31. Струя молока медленно вьется по земляному полу сарая.
32. Раткович наклоняется к Рахили. Он говорит:
33. РЕШЕНО... МЫ БЕЖИМ С ОЦМАХОМ ЗА ГРАНИЦУ. ОЦМАХ БУДЕТ ИГРАТЬ ТАМ ТРАГИЧЕСКИЕ РОЛИ, А Я СТАНУ СОЛИСТОМ В ОРКЕСТРЕ... И ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА, В МОСКВЕ, МЫ ПОВЕНЧАЕМСЯ С ТОБОЙ, РАХИЛЬ...

---

[1] Служка в хедере, в дореформенной еврейской школе *(евр.)*.

34. Лица Ратковича и Рахили сближаются. Глаза их прикрыты, веки трепещут. Они приближаются друг к другу и снова отшатываются. Мучительная игра юношей и девушек перед первым поцелуем. Раткович неловко прижимает губы к щеке девушки. Раскрывшиеся недвижимые ее глаза смотрят в сторону, слезы текут по счастливому лицу. Левушка придвигает губы все ближе к ее рту. Скрипка падает у него из рук. Рахиль застыла, не шевелится. Юноша целует ее в губы. Рахиль улыбается, дрожит и обнимает вдруг Левушку изо всех сил.
35. Скрипка на земле. Струя молока медленно обтекает ее.
36. Первый поцелуй. Корова высовывает кроткую морду из закуты и облизывает большим своим языком влюбленных. Диафрагма.
37. Степь, луна. У обрыва стоит бричка с высоким верхом, задрапированная рваным тряпьем. Бричка эта в точности схожа с кибиткой из цыганского табора. На козлах дремлет балагула. Он яростно почесывается во сне, сучит ногами, скребется спиной о кожаный верх своего «экипажа».
38. Небо. Полнолуние. Чистый свет луны. Медленно проходят лебединые облака.
39. В далекой перспективе, у края горизонта, бегущие Раткович и Рахиль.
40. Балагула чешется яростно, но не просыпается. Одно резкое его движение чуть не опрокидывает бричку. Тогда из тряпья высовывается подвижное бабье лицо.
41. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ, МЕЕР?
42. Возница просыпается, поворачивает к пассажирке невозмутимейшее лицо.
43. НИЧЕГО, БЛОХИ...
44. Блещущее лицо луны.
45. Река. Лунные полосы на воде.
46. У обрыва над рекой — Раткович и Рахиль. Руки их вытянуты и дрожат. Раткович прижал к груди скрипку. Влюбленные расходятся в разные стороны, они идут колеблющимися шагами, идут медленно, потом быстрее, потом бегут не помня себя.
47. Бричка, спящий балагула.
48. Раткович, задыхаясь от быстрого бега, приближается к бричке. Он бросает скрипку в кучу тряпья, валится в изнеможении на телегу. Баба колотит дремлющего возницу в спину.
49. ГОНИТЕ, МЕЕР...

50. Балагула взвивает кнут над равнодушнейшими в мире клячами. Они не трогаются с места. Тогда Меер лезет каждой из них кнутом под хвост. Лошади отбрыкиваются и галопом срываются с места. Телега, прыгая с камня на камень, летит по откосам к блещущей реке.

51. В глубине телеги, прижавшись друг к другу, сидят баба и Раткович. Юноша передает бабе пачку кредиток. Косынка спадает с бабы, обнаруживая лысый череп и выразительную физиономию еврейского комедианта Оцмаха. Оцмах задирает целую коллекцию юбок, одетых на него, доходит до штанов, расстегивает их больше, чем того требуют обстоятельства, и прячет деньги в мешочек, пришитый к кальсонам. Он опускает свои юбки и в полном блаженстве склоняется на плечо Ратковича.

52. Клячи въезжают в реку, они уходят все глубже в воду. Лунный свет лежит на волнах. Меер стоймя стоит на козлах, лошади по брюхо уходят в светящуюся бурлящую воду. Испуганный Оцмах лезет на самый верх брички. Одной рукой он обхватил Меера, другой придерживает то место, где зашиты деньги. Лицо его изображает избыточное количество переживаний. Дно уходит все глубже.

53. Степь. Над обрывом фигура Рахили. В дальней перспективе бричка, выбирающаяся на противоположный берег реки.



## ВТОРАЯ ЧАСТЬ

54. ОЦМАХ СТАНОВИТСЯ ТРАГИЧЕСКИМ АКТЕРОМ.

55. Зеркало. Над зеркалом электрическая лампа. Ярко освещенное лицо Оцмаха. Он гримируется. Грим: длинная седая борода, разделенная надвое, как у дворецкого, нависшие брови, румянец во всю щеку, в ушах бутафорские гигантские серьги, на голове пудреный

парик, какой носили при дворе французских королей в конце XVIII века.

56. КОРОЛЬ ЛИР, ПРОШЕДШИЙ ПУТЬ ОТ ШЕКСПИРА... К ОЦМАХУ.

57. Оцмах во всем своем величии. Он доволен собой. На нем лаковые офицерские ботфорты со шпорами, белые лосины и бархатная куртка, как у пажей.

58. Убогая актерская уборная. Рядом с Оцмахом Ратнович настраивает скрипку. Оцмах обращается к юноше:

59. ПУСТЬ Я НЕ БУДУ ОЦМАХ, ЕСЛИ Я НЕ УТРУ СЕГОДНЯ ПОССАРТУ СОПЛИ...

60. Оцмах схватил звонок, ринулся за кулисы. Он пробегает мимо трех женщин, разукрашенных самым неожиданным образом.

61. ТРИ ДОЧЕРИ КОРОЛЯ ЛИРА.

62. Две дочери — немолодые тучные еврейки, третья — девочка лет шести. На актрисах, так же как и на Оцмахе, лаковые ботфорты со шпорами. Животы их запиханы в атласные жилеты. На одной из женщин что-то вроде каски, из-под каски выбиваются две прицепных косы, на другой — шапочка, утыканная перьями. У третьей дочери короля Лира, у шестилетней девочки,— распущенные волосы, в волосах венок из бумажных цветов. Девочка одета в сарафан. Еврейки закусывают перед поднятием занавеса. Мимо них пробегает Оцмах со звонком.

63. Оцмах вбегает на сцену, занавес опущен.

64. ВО ДВОРЦЕ У КОРОЛЯ ЛИРА.

65. На сцене сбоку стоит кресло короля Лира. Над креслом развешаны японские веера и семейные фотографии неведомых людей, большей частью военных. Прямо против зрителя шкаф с еврейскими надписями, в таких шкафах в синагогах хранятся свитки Торы. Оцмах потрясает звонком, смотрит сквозь дырочку в занавесе на зрительный зал.

66. 8-й ряд партера. Публика, пришедшая из захудалого галицийского городка. Хасиды, старухи в коричневых париках и наколках, молодые люди с бачками, пышные еврейки в корсетах. Множество детей. Дети грудного возраста составляют треть всех зрителей. Дети визжат, плачут или спят. Один младенец доставляет особенно много хлопот своей матери. Внезапно он успокаивается. Лицо его принимает выражение глубокомыслия и задумчивости. Сосед дамы в бешенстве вскакивает.

Он показывает на свой мокрый сюртук и на лужу у кресла. Дама всплескивает руками, уносит ребенка.

67. Через весь театр и фойе дама несет на отлете ребенка, испускающего крики и жидкость. Она вылетает на балкон и усаживает сына высоко над перилами, над городом, утонувшим во мгле.
68. Оцмах продолжает осмотр зрительного зала. К нему подбегает управляющий театром.
69. ПРОФЕССОР РЕТИ В ТЕАТРЕ!..
70. Оцмах с недоумением смотрит на управляющего. Тот поясняет:
71. ЗНАМЕНИТЫЙ ПРОФЕССОР РЕТИ ИЗ БЕРЛИНСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ...
72. Оцмах закутывается в черный плащ, расшитый бабочками и черепами. Он летит за кулисы, оттуда в аванложу и встречает с глубокими поклонами входящих в ложу профессора и его дочь. Профессор — седой старик во фраке и с кудрями. Оцмах извивается перед стариком.
73. СЕГОДНЯ, ГОСПОДИН ПРОФЕССОР, ВЫ ИМЕЕТЕ СЛУЧАЙ ПОСМОТРЕТЬ, КАК НЕКИЙ ОЦМАХ УТРЕТ ПОССАРТУ СОПЛИ...
74. Оцмах исчезает так же стремительно, как и появился. Ошеломленный профессор смотрит ему вслед.
75. В зале тушат свет. Публика рассаживается, в проходах играют дети. Оцмах в плаще выходит при опущенном занавесе к рампе. Он отвешивает глубокий поклон и произносит:
76. СЕЙЧАС ПЕРЕД ВСЕМИ ГОРЯЧО ЛЮБИМЫМИ КЛИЕНТАМИ НАШЕГО ДЕЛА ПРОЙДЕТ ПОСЛЕДНЯЯ НОВИНКА НЬЮ-ЙОРКСКОГО АВТОРА И КУПЛЕТИСТА ЯКОВА ШЕКСПИРА, А ИМЕННО: «КОРОЛЬ ЛИР, ИЛИ СВОИ ЛЮДИ — СОЧТЕМСЯ...»
77. Оцмах кончает речь, отвешивает глубокий поклон и исчезает за занавесом. В это мгновение над ямой оркестра взвивается палочка дирижера, представляющая из себя обыкновенную трость с серебряными монограммами и ремешком на конце.
78. Капельмейстер в офицерской австрийской форме, на голове у него ермолка. Он держится неподвижно, движения его едва уловимы, он не дирижирует, а только подмигивает тем, кому надо вступать.
79. Оркестр в действии. Музыканты — хасиды в капотах.

На видном месте Радкович. В углу барабанщик-немец высоко поднял свою булаву. Барабанщик пьян.
80. Капельмейстер с глубокой серьезностью подмигивает барабанщику.
81. Пьяный немец ринулся к барабану и нанес инструменту сокрушающий удар. Не глядя на тревожные подмигивания капельмейстера, немец продолжает колотить по барабану. Женщина, оказавшаяся у немца за спиной, оттаскивает его от инструмента. Женщина цепко держит пьяного мужа за фалду и отпускает его только тогда, когда ему надо ударить в барабан.
82. Профессор Рети и дочь его, глядя на барабанщика, помирают со смеха. Они сидят в аванложе. Старик откидывается на спинку кресла и хохочет.
83. Оркестр смолкает. Капельмейстер подмигивает Ратковичу. Тот вступает.
84. СОЛО.
85. Упрямое лицо Ратковича, скрипка, тонкие пальцы, бегущие по струнам.
86. Профессор Рети полулежит на кресле, смех сбегает с его лица. Старик приподнимается, всматривается в Ратковича.
87. СОЛО.
88. Тонкие пальцы Ратковича, бегущие по струнам.
89. Жена барабанщика прислонилась к дремлющей мужниной спине и, растроганная, слушает игру Ратковича.
90. Профессор перегнулся над барьером ложи. Он не спускает с Ратковича глаз. Старик схватил за руку дочь.
91. ЧТО С ВАМИ, ПАПА?
92. Старик упоен, он выпрямился во весь рост, поет, дирижирует, изгибается...
93. КАК ОН ИГРАЕТ! АХ, КАК ОН ИГРАЕТ, ЭТОТ МАЛЬЧИК...
94. Раткович вскочил со своего стула. Он играет стоя. Вдохновение раскачивает его. Худое, упрямое его лицо искажено, бледно, прекрасно. Пальцы с дьявольской быстротой рвут струны. Он кончил.
95. Капельмейстер, раскрыв рот и подняв хлыст, застыл у своего пульта.
96. Музыканты, согнувшись, лезут к выходу. Раткович, сутулясь, бредет за ними. Барабанщик проснулся, он вздрагивает и наносит сокрушительный удар барабану. В эту минуту взвивается занавес.
97. Профессор бросился вон из ложи. Он зацепился за дверную ручку, разорвал фрак, бежит дальше.

98. Занавес поднят. Оцмах в непринужденной, но скорбной позе развалился на троне. У ног его три дочери, они с обожанием подняли глаза на отца. В противоположном углу — унылые придворные в разнообразнейших одеяниях. У трона — шут. Это рыжий еврей, невообразимо длинный. На нем клетчатые американские брюки, тирольская шапочка, в руках трещотка. Оцмах, очнувшись от тяжкого раздумья, хлопает в ладоши.

99. Кокетливая горничная в наколке и переднике придвигает к королевскому трону столик с бутылкой вина и закуской. На бутылке этикетка. Изящно отставив мизинец, Оцмах наливает себе вина в стакан, половину стакана он выпивает, остальное царственным жестом выплескивает на пол. Немедленно появляется горничная с метелкой и подметает.

100. Музыканты, согнувшись, пробираются к выходу по узкому коридору, расположенному под сценой. Вбегает Рети, он хватает Ратковича за лацкан.

101. КТО ВЫ?.. ОТКУДА ВЫ?..

102. Раткович с удивлением смотрит на старика. Профессор все сильнее дергает его лацкан.

103. КТО ВАШ УЧИТЕЛЬ?

104. Раткович кланяется боком, угловато, очень неловко:

105. Я... Я УЧИЛСЯ У РАББИ ЗАЛМАНА В ДЕРАЖНЕ, ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНИИ...

106. Фрак старика разодрался. Нервический старик — он пожимает Ратковичу руку, хватается за голову, гладит плечо Ратковича.

107. ИГРАЙТЕ МНЕ, ИГРАЙТЕ, МОЕ ДИТЯ...

108. Раткович беспомощно оглядывается по сторонам, подобострастный капельмейстер делает знак, чтобы он играл. Юноша подносит скрипку к подбородку.

109. Трагедия короля Лира разворачивается. Старшая дочь, у которой выпирают планшетки от корсета, пляшет перед королем. Она принимает сладострастные позы. Придворные хлопают в ладоши и подпевают, как на еврейской свадьбе. Но вот один из придворных — на нем цилиндр и латы — решился на неслыханную наглость, он ущипнул за грудь дочь короля. Оцмах это заметил. Оцмах выхватывает из ножен меч и бросается на оскорбителя. Кровавый поединок. Король и придворный фехтуют.

110. Профессор Рети сидит в углу за кулисами на куче канатов и, закрыв лицо, слушает игру Ратковича.

Юноша кончил. Старик снимает руки с лица, исковерканного волнением. Он вскакивает, хватает Ратковича за руку, тащит к большому конторскому календарю, прибитому к стене. На календаре дата — 19 августа — четверг — 1909. Указывая на календарь, старик говорит:

111. ИДИТЕ КО МНЕ В УЧЕНИКИ И, КЛЯНУСЬ ВАМ, ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА ВЫ БУДЕТЕ ВЕЛИКИМ АРТИСТОМ...

112. Изображение календаря. Чья-то рука медленно загибает верхний листок и переворачивает его.



## ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

113. Брянский вокзал в Москве. Группа носильщиков и встречающих поезд. В глубине железная решетка с указателем прибытия поездов.

114. Указатель. Дата и час прибытия: 11/X 1912 г. Прибытие из Киева—1 ч. 57 мин.

115. ДАТА НА УКАЗАТЕЛЕ.

116. Поезд подкатывает к перрону. Носильщики и публика бросаются навстречу подходящему поезду.

117. Толчея на перроне. Выгрузка пассажиров. Родственные сцены.

118. Из вагона III класса выходит румяная, русская рослая девушка. Ее принимает на руки целая семья — старый полковник, разбитной студент, два кадетика в больших картузах, старая дева в шляпе с свисающими лентами. Девушку целуют, суют ей цветы, заказывают носильщиков. У всех растроганные лица. Вслед за девушкой выходит Рахиль с узелками.

119. Людская волна несет Рахиль к выходу. Она сгибается под тяжестью своих сундучков и котомок.

120. Носильщики катят по платформе тележки, нагруженные доверху багажом. На одной из тележек живая птица в клетках. Скрежещущие потоки несутся мимо Рахили. Она загородила им путь. Растерявшаяся

девушка стиснута горами несущегося багажа. Носильщики честят ее на все корки. Носильщик кричит:

121. ВИДАТЬ НАШЕНСКИХ ИЗ ЦАРЕВОКОКШАЙСКА...
122. Оглушенная Рахиль отшатывается. Тележки проносятся мимо нее и чертят молнии.
123. У камеры хранения ручного багажа. Рахиль сдает вещи. Через нее летят тюки, узлы, чемодан.
124. Рахиль на площади перед Брянским вокзалом. Разъезд. Провинциалка в Москве. Она подходит к городовому, спрашивает у него дорогу. Городовой в нитяных перчатках объясняет очень вежливо, какой номер трамвая ей нужен. Девушка бежит к трамваю.
125. Рахиль в трамвае. Вокруг нее трамвайные пассажиры — безжалостнейшие люди в мире. Рахиль с восторгом осматривает никогда не виданную роскошь трамвайного убранства.
126. Сосед Рахили, унылый красноносый чиновник в форменном картузе, кисло спрашивает ее:
127. ЧЕМУ ВЫ РАДУЕТЕСЬ, БАРЫШНЯ?..
128. Рахиль отвечает ему сияя:
129. ТАК ПРИЯТНО ЕЗДИТЬ В МОСКОВСКОМ ТРАМВАЕ...
130. Чиновник поднимает брови и отодвигается. Он думает, что имеет дело с умалишенной.
131. Рахиль сходит с трамвая, идет к старинному двухэтажному дому, на котором вывеска: «Номера «Россия» И. П. Буценко».
132. Кухня в номерах «Россия». Сияющая чистота. Владельцы номеров супруги Буценко, старые старички с оттопыренными опрятными животами. Оба в чистых передниках, стряпают. Оба заняты приготовлением вареников.
133. Рахиль у подъезда номеров «Россия». Она вынимает из сумки письмо, звонит.
134. Кухня. Звонок. Буценко снимает с себя передник, семенит к парадной двери.
135. Буценко открывает Рахили дверь. Что угодно? Рахиль робко подает ему письмо. Старик ведет ее к конторке, он вынимает из контрки медные очки, читает. Во время чтения лицо его освещается умильной улыбкой.
136. Изображение письма: «ЛЮБЕЗНЕЙШИЙ ИВАН ПОТАПЫЧ, ПОДАТЕЛЬНИЦУ СЕГО, МОЮ ЗЕМЛЯЧКУ, ОТ ВСЕЙ ДУШИ РЕКОМЕНДУЮ ТЕБЕ

КАК ЖИЛИЦУ. С ВЕЛИКИМИ ТРУДНОСТЯМИ ВЫБРАЛАСЬ ОНА ИЗ НАШЕГО МЕСТЕЧКА В МОСКВУ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ, К КОТОРОМУ ЧУВСТВУЕТ НЕПРЕОБОРИМУЮ СТРАСТЬ...»

137. Старичок бросает письмо, пожимает руки Рахили, заливается нескончаемым смехом, ведет девушку на кухню к жене.

138. На кухне. Буценко подводит Рахиль к старушке:

139. ЖИЛИЦА К НАМ ОТ ВЛАДИМИРА СЕМЕНЫЧА...

140. Старушка всплескивает пухлыми руками, обтирает пальцы о передник, целует Рахиль в обе щеки. Буценко оттаскивает Рахиль.

141. ПОГОДИ ЛИЗАТЬСЯ, МАТЬ... ВЗДУЙ-КА НАМ СПЕРВА САМОВАРЧИК...

142. Буценко вводит девушку в номер. Уютная старомодная комната. В углу образа, лампада. Другой образок, совсем крохотный, привешен к изголовью кровати. Буценко суетится, раскладывает вещи, убегает с кувшином за водой.

143. Образок у полога кровати.

144. Рахиль одна. Она снимает шляпку, подходит к окну.

145. Из окна видна древняя московская церковка с луковками.

146. Буценко, сияя и отдуваясь, вносит кувшин с водой, чистое полотенце. Рахиль принимается за свой туалет. Она чистит зубы, долго умывается. Фыркает от наслаждения. Старик умильно смотрит на распустившиеся ее волосы, девический прекрасный затылок. Но Рахиль умывается долго. Старичку надоедает ждать с полотенцем в руках, он подходит к столу, читает паспорт Рахили, лицо его изменяется.

147. Рахиль умывается, фыркает.

148. По коридору с подносом в руках плывет старушка Буценко. На подносе чайный прибор, дымящиеся пирожки, маленький самовар, окутывающий паром старушкину голову.

149. У Буценко в руках паспортная книжка. Он испытывающе взглядывает на Рахиль, потом с скверным лицом продолжает чтение паспорта.

150. Изображение паспортной книжки на имя РАХИЛЬ ХАНАНЬЕВНЫ МОНКО, ДЕВИЦА, 19 ЛЕТ...

151. На лице старика недоумение. Трясущимися руками водружает он на носу очки, читает на третьей странице паспортной книжки.

152. Надпись на паспорте: «ГДЕ ЕВРЕЯМ ЖИТЬ ДОЗВОЛЕНО...»

153. Старушка расставляет на столе пышки, самовар, стаканы. Рахиль только что умылась. Смеясь, протягивает она к старику за полотенцем обнаженные сильные руки. Но Буценко не дает полотенца, тянет его к себе. На кротком его лице — укоризна, испуг, гнев. Он говорит, качая головой:

154. ЕВРЕЙКА... ОХ, КАКОЙ СТЫД...

155. Лицо Рахили. Не получив полотенца, она медленно вытирает мокрое лицо подолом юбки.

156. Буценко, топая ножкой, кричит жене: уноси все обратно... Негодующая старушка уносит приготовленный для Рахили самовар. Голова старушки окутывается паром. Диафрагма.

157. Вечер. Бойкая, дореволюционная московская толпа. Сбоку — часовенка. Видны зажженные свечи, сияющие иконы, богомольцы, бьющие поклоны. Из-за угла выходит Рахиль.

158. Три крохотные девочки-цыганки пляшут на улице. Цыганята в длинных до земли юбках, они обвешаны монистом, бьют в бубен. Цыганята увидели Рахиль, бросились к ней, окружили, пляшут.

159. Рахиль пытается разомкнуть их буйный круг.

160. Рахиль дает цыганятам монету и спасается от них. Ей загораживает дорогу старый перс в расшитом халате. Он улыбается старческой, важной улыбкой и раскрашенным пальцем трогает грудь Рахили.

161. Рядом с Рахилью и персом вырастает фигура полуголого юродивого. Тело юродивого дрожит крупной частой дрожью. Лысая, яйцевидная голова его раскачивается.

162. Пальцы перса с раскрашенными ногтями медленно ползут по груди Рахили.

163. Три лица — Рахиль, перс, юродивый.

164. Юродивый гримасничает, слюна кипит в клочковатых его усах, он грозно требует милостыни. Рахиль убегает.

165. Не помня себя девушка бежит по улице, за ней ковыляет юродивый.

166. Ночь. Рахиль бежит по Замоскворецкому мосту.

167. Москва-река, набережная. Блеск снегов. Черное железо решеток на снегу. Вдали освещенные окна фабрик и домов.


Без мальчиков не пускаем

168. Тихий переулок в Замоскворечье. Ряд газовых фонарей. Хорошо одетый человек в шубе пьет, прислонившись к стене, водку из бутылки.
169. В глубине переулка дверь гостиницы «Герой Плевны».
170. Вывеска: «СЕМЕЙНЫЕ НОМЕРА ДЛЯ ПРИЕЗЖАЮЩИХ С УДОБСТВАМИ — «ГЕРОЙ ПЛЕВНЫ».
171. Рахиль подбегает к двери гостиницы, берется за ручку. Дверь неожиданно распахивается. Из номеров выходит человек лет двадцати четырех; лицо у него круглое, веселое, беспечальная, бездомная студенческая фуражка торчит в его кудрях. Он осматривает Рахиль очень внимательно, задерживается у подъезда. Рахиль входит в гостиницу.
172. В служебном отделении гостиницы «Герой Плевны». Номерной Орлов, заспанный малый в жилетке, играет в шашки со степенным старичком старообрядческого типа. На парне калоши на босу ногу и кавалерийские рейтузы, подвязанные внизу бечевкой. Сквозь обычное брезгливое выражение его лица проступает крайний азарт. Старик глубокомыслен, но уверен в себе, он, видимо, побеждает.
173. Шахматная доска. Положение номерного безнадежно, рука его делает отчаянный ход.
174. Входит Рахиль. Она спрашивает:
175. МНЕ БЫ НОМЕР...
176. Номерной, не поднимая головы:
177. БЕЗ МАЛЬЧИКА НЕ ПУСКАЕМ...
178. Рахиль не понимает. Номерной кричит ей с досадой:
179. КТО-ТО У ТЕБЯ ЕСТЬ? ФРАЙЕР КТО ТВОЙ?..
180. Изумленное лицо Рахили.
181. Коридорный и старичок в полном азарте. Старичок делает решительный ход.
182. Парень в студенческой фуражке расхаживает перед дверью гостиницы. Из номеров выходит Рахиль. Она останавливается, прислоняется к стене, закрывает глаза. Парень срывает шапку с кудрей и спрашивает девушку:
183. КТО ВЫ ТАКАЯ? ПОЧЕМУ ВЫ ЗДЕСЬ... В ЭТОМ ПРИТОНЕ?..
184. Рахиль открывает глаза.
185. Я... Я ЕВРЕЙКА...
186. Баулин почесывает затылок, он размышляет.
187. ПОСЛУШАЙТЕ, ТОВАРИЩ... МЕНЯ НЕ ПУСКАЮТ В «ПЛЕВНУ» БЕЗ ДЕВОЧКИ, ВАС НЕ ПУСТЯТ БЕЗ МАЛЬЧИКА... ПОСЛУШАЙТЕ, ТОВАРИЩ, МОЯ

ФАМИЛИЯ БАУЛИН, Я ПАРЕНЬ СВОЙ... Я ПАРЕНЬ ЧЕСТНЫЙ...

188. Рахиль исподлобья смотрит на Баулина. Она колеблется, потом вдруг улыбается и протягивает ему руку.

189. Номерной сокрушенно смотрит на доску. Партия им проиграна. Старичок ехидно пьет чай. Калоша спадает с ноги номерного. Ногтями одной ноги он чешет другую. В комнату входят Баулин и Рахиль. Баулин:

190. СПРОВОРЬ-КА НАМ, ПАПАНЬКА, НОМЕРОЧЕК...

191. Номерной встает, потягивается.

192. А ОНА СКАЗЫВАЛА — У НЕЙ КОТА НЕТ...

193. Замызганный коридор ночной гостиницы. Номерной со свечой впереди, за ним идут Рахиль и Баулин.

194. Одна из дверей в коридоре распахивается, трепещущая женская рука и обнаженное плечо высовывается в коридор, женщину мгновенно втаскивают обратно в номер, дверь захлопывается.

195. Коридорный подводит Баулина и Рахиль к двери предназначенного им номера. В углу, у стены, свалены в кучу ночные посудины, разбитые жестяные умывальники и картины в золотых рамах. Номерной открывает дверь.

196. В комнату «ночной» гостиницы входят Орлов, Баулин, Рахиль. Номерной открывает свет. Баулин указывает на подозрительной чистоты белье на кровати.

197. РИЗЫ-ТО ПЕРЕМЕНИ, ДРУЖОЧЕК...

198. Номерной обиженно рассматривает запятнанную простыню.

199. МЫ ОПОСЛЯ КАЖДОГО МЕНЯЕМ...

200. Коридорный меняет простыню и ухитряется положить старую на стол вместо скатерти.

201. Во время манипуляций номерного Рахиль читает надпись, выцарапанную гвоздем на зеркале.

202. Надпись: СЕГОДНЯ В ЧАС ПОПОЛУНОЧИ ИМЕЛ ДЕЛО С ДИВНОЙ ДЕВУШКОЙ — ДРУГОМ, ИМЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ НАЗВАТЬ, ДАВАЙ, ГОСПОДИ, ЧТОБЫ ОБОШЛОСЬ БЛАГОПОЛУЧНО...

203. Рахиль отходит от зеркала. Баулин старается своим телом загородить надписи, которыми испещрены стены. Номерной выходит. Баулин запирает за ним дверь, обращается к девушке:

204. СПИТЕ, ДРУГ МОЙ, УЖ Я ПОСТЕРЕГУ ВАС...

205. Трепеща, Рахиль взбирается на постель с ногами, сворачивается в клубок. Баулин расстилает себе

у порога шинель, он украдкой вынимает из шинели тючок с типографским шрифтом и пачку прокламаций...

206. Изображение прокламации, изданной Московским Комитетом социал-демократической партии.
207. Баулин кладет себе под голову тючок и прокламации, украдкой сует револьвер под самодельную подушку, растягивается у порога.
208. АВОСЬ СОСНЕМ...
209. Рахиль, свернувшись в комочек, с ужасом слушает обычный шум ночной гостиницы.
210. В соседнем номере. На разметавшейся постели офицер без мундира, в рейтузах и сапогах, борется с женщиной, одетой в шелковое черное глухое платье. Он ломает ей руки.
211. Баулин курит, усмехается, потом он протягивает руку к штепселю, гасит электричество. Тьма.



## ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ

212. Ночь. В переулок входит наряд полиции.
213. Полицейские вскрывают дверь гостиницы «Герой Плевны».
214. Полицейские, стараясь не шуметь, идут вверх по лестнице.
215. Под иконой спит заливистым сном номерной Орлов. Он по-прежнему в калошах. На плечо его опускается рука городового. Городовой:
216. БЕСПРОПИСОЧНЫЕ ЕСТЬ ЧТОБЫ НОЧЕВАЛИ?..
217. Номерной вскочил. Он отвечает почесываясь:
218. БЕСПРОПИСОЧНЫХ ВРОДЕ КАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ...
219. Полицейские с номерным выходят из комнаты.
220. В коридоре. Мгновенное судорожное хлопанье дверей и тишина.
221. Баулин спит у порога на шинели; услышав шум, он вскакивает, схватывает револьвер.

222. Ноги часовых топчутся в коридоре, торчат сабли.
223. На полу тючок Баулина и связка прокламаций.
224. Рахиль, свернувшись в клубок, спит сном юности и неведения.
225. Баулин вскочил, прислушивается.
226. ОБЛАВА.
227. Окно, небо, звезды. Баулин вскочил на подоконник.
228. Пустынная улица. Чистильщик сапог, старый айсор, укутанный в цветистое тряпье, чистит сапоги городовому. Дремлющий городовой расположился на лавочке. Вдруг он вскочил.
229. Баулин прыгает из окна второго этажа. Он упал на землю, сломал себе ногу.
230. Городовой выхватывает свисток, свистит.
231. Из переулка бежит на подмогу второй городовой, очень маленького роста, в очень большом картузе и с многими медалями.
232. Надувшееся багровое лицо первого городового. Он не решается подойти к Баулину, распростертому на земле, но свистит с упоением, с сладострастием, как тетерев на току.
233. Старый айсор с слезящимися глазами робко подтаскивает свой сундучок к недочищенному сапогу городового.
234. Сломанная нога Баулина. Баулин царапает грязный уличный, залитый собачьей мочой, снег.
235. Два городовых, отступив на несколько шагов, готовятся прыгнуть на беззащитного человека. Они подхлестывают себя криком, размахивают револьверами и, наконец, бросаются на Баулина: один душит его и свистит все упоительнее, другой связывает сломанные ноги.
236. Нога Баулина, сломанная в колене, повернутая в сторону.
237. Номер гостиницы «Герой Плевны». Посредине широкой постели лежит спиной вверх мужская фигура, перекрытая простыней. Блестит только лысина мужчины и на лысине шишка. По обеим сторонам «гостя» тревожатся две девочки, проститутки, лет по шестнадцати.
238. Обход в гостинице продолжается. Полицейские яростно стучат в дверь номера. Дверь открывается.
239. Мужчина, завернутый в простыню, не меняет позы. Он высовывает руку из простыни, лица его не видно, блестит только лысина и на лысине шишка.

240. Протянутая рука, в руке паспорт. Рука полицейского хватает паспорт.
241. Полицейский читает паспорт. Подозрительность сменяется на его лице серьезностью и чувством служебного долга.
242. Изображение паспорта на имя действительного статского советника и почетного опекуна Аполлона Силыча Густоватого.
243. «Фигура» и проститутки в том же положении. Городовой почтительно кладет на спину «фигуре» паспорт и с поклоном удаляется.
244. В другом номере. Проститука лет сорока пяти в ожидании облавы сонливо курит папиросу, на ней длинная рубаха с оборванными кружевами. К стене в ужасном испуге прижался гимназистик лет шестнадцати. Он успел облачиться в мундирчик, под мундиром кальсоны. Вламываются городовые. Надзиратель мальчику:
245. ВЫ ЧТО ЗДЕСЬ ДЕЛАЕТЕ, МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ?..
246. Гимназистик заикается:
247. НА УЛИЦЕ ШЕЛ... ДОЖДЬ... Я РЕШИЛ... ПЕРЕЖДАТЬ...
248. Полицейский толкает старую проститутку: выходи...
249. Околоточный отечески распекает гимназиста, подносит ему штаны.
250. Страстная площадь. Ночь. Полицейские гонят проституток, захваченных во время облавы.
251. Уличные проститутки спасаются от облавы. Они подбегают к первым встречным пешеходам, берут их под руку, делают вид, что прогуливаются с мужьями, с постоянными своими мужчинами.
252. К пожилому еврею, облаченному в большую енотовую шубу, подбегают две проститутки; каждая рвет его в свою сторону. Еврей, занятый невеселыми мыслями, переводит с одной женщины на другую старые свои усталые глаза, берет обеих под руки и ведет их, как дочерей на прогулке.
253. Стоянка извозчиков у Тверской. Проститутки теребят извозчиков.
254. Лихач-горбун в щегольском армяке. К нему подбегает девушка в белой пуховой шапочке, с родинкой на подбородке. Она просит горбуна ехать поскорее. Горбун:
255. ПРИШЛИ ВПЕРЕД ДЕСЯТКУ...

256. Женщина ставит ногу на подножку. Она говорит:
257. НЕТУ У МЕНЯ ДЕНЕГ... БЕРИ ЧТО ХОЧЕШЬ...
258. Горбун скосил голубые глаза — ладно, мол,— и погнал лошадей.
259. Извозчики летят гуськом по Тверской. В экипажах спасающиеся проститутки.
260. Горбун въезжает в глухой переулок, возле пустыря. Он останавливает лошадей, наставляет верх, перелезает к женщине в экипаж. Диафрагма.
261. Городовые пригоняют к зданию участка захваченных в облаве проституток.
262. Большая полутемная комната, переделенная решеткой. Женщин загоняют за решетку.
263. Лица проституток, прильнувшие к решетке. Среди них: старая проститутка, ночевавшая с гимназистом, Рахиль и женщина в глухом шелковом платье, боровшаяся в номере с офицером. Присутствие ее в гостинице и в этом месте необъяснимо. Она мечется, просит у часового папиросу. Часовой сворачивает ей собачью ножку, зажигает спичку, он ласково смотрит на «барыню» и потом отворачивается, чтобы не обидеть ее своим участием. Женщина дергается, затягивается и сейчас же с плачем бросает папиросу.
264. Комната, где производится медицинский осмотр проституток. Над медицинским креслом яркая электрическая лампа. У кресла доктор в халате (доктор этот тот самый кислый чиновник, с которым разговаривала Рахиль в трамвае) и фельдшер. Поодаль сидит за столиком канцелярист. Городовой вводит проститутку, ночевавшую с гимназистом. Она без понуждения ложится на кресло. Доктор склоняется над ней. В руках у него инструменты. Затемнение.
265. Канцелярист с пером за ухом ждет диагноза.
266. Осмотр кончен. Женщина встает с кресла. Доктор канцеляристу:
267. ЛЮЭС... ВТОРАЯ СТАДИЯ... СЛЕДУЮЩАЯ...
268. Женщина покорно идет к столику, канцелярист пишет что-то в ее бумагах. Городовые втаскивают растрепавшуюся, растерзанную Рахиль.
269. Доктор, ко всему привычный, приготовляет инструменты.
270. Городовые кладут Рахиль на кресло. Старый городовой с добрым лицом говорит ей:
271. ТЕБЕ ЖЕ ПОЛЬЗА, ДУРОЧКА, А ТО СКОЛЬКО НАРОДУ ПЕРЕЗАРАЗИШЬ...

272. Ужасное лицо Рахили под колпаком электрической лампы.
273. Из тьмы выдвигается лицо доктора. Он узнал девушку, спрашивает ее:
274. ВЫ КТО ТАКАЯ?.. ПОЧЕМУ ВЫ ЗДЕСЬ?..
275. Губы девушки шевелятся:
276. Я... Я ЕВРЕЙКА...
277. Канцелярист с вставочкой за ухом 'ждет диагноза.
278. Рахиль на кресле. Растерянный доктор говорит канцеляристу:
279. З...ЗДОРОВА... СЛЕДУЮЩАЯ...
280. Рахиль подходит к столику канцеляриста. Он протягивает ей документы. Рахиль отшатывается, спрашивает,— что это? Канцелярист говорит:
281. ЖЕЛТЫЙ БИЛЕТЕЦ ДЛЯ ВАШЕЙ СВЕТЛОСТИ...
282. Девушка озирается, она мнет в руках заклейменный документ. В это мгновение над ней склоняется лицо околоточного, заросшее черным буйным волосом. Волос этот косматым нимбом окружает толстое твердое жадное лицо. Околоточный показывает Рахили тючок, захваченный в ее номере.
283. ВАШ ШРИФТОК, ДЕТКА?
284. Тюк с шрифтом в руке околоточного.
285. Околоточный, приоткрыв рот, ждет ответа. На лице его мольба неумелого в своем деле человека — сознайся, голубушка, сознайся, мой дружок, помоги... Рахиль оборачивает к полицейскому изумленное лицо.
286. Сумрачная, сводчатая комната участка. Над столом мигает висячая керосиновая лампа, прикрытая дырявым колпаком казенного образца. У стены в клеенчатом рваном кресле корчится Баулин. Он лежит спиной к зрителю, нога его кое-как забинтована. Над арестованным склонился старый городовой с добрым лицом. Старик льет Баулину в рот воду из горлышка большого закопченного чайника.
287. Надзиратель вводит в комнату Рахиль и делает городовому знак — поставить арестованных друг против друга. Околоточный подводит под лампу взъерошенное косматое свое лицо, тычит шрифт в лицо Баулину и все с тем же искательным, жадным лицом добивается ответа.
288. НА ОЧНОЙ СТАВКЕ СОЗНАЙСЯ, ДРУЖОК, СУКИН СЫН... ТВОЙ ШРИФТ?

289. Баулин мечется на своем кресле. Он делает неосторожное движение, падает на землю, стонет. Над ним снова склоняется старый городовой. Пальцы Баулина царапают, пожимают, гладят пухлую руку городового.
290. Перекошенное лицо Баулина поворачивается к зрителю, он стонет:
291. ОХ, МАМА...
292. Городовой — Баулину на ухо:
293. СДЕЛАЙ МИЛОСТЬ, ГОСПОДИН, СОЗНАЙСЯ... ТЕБЯ В БОЛЬНИЦУ НАДО...
294. Околоточный подбирается к Баулину. Вынуждая признание, он с жалким, внимательным лицом, не сводя глаз с Рахили, нажимает на больную ногу арестованного.
295. ТВОЙ ШРИФТ?
296. Лицо Баулина. Шепчущие губы:
297. ОХ, МАМА...
298. Рахиль подступает к околоточному. Она говорит:
299. ШРИФТ МОЙ...
300. Околоточный оставляет ногу Баулина, он суетливо кивает головой.
301. ВОТ СЛАВНАЯ ДЕТКА...
302. говорит надзиратель с обрадованным прояснившимся лицом и приготовляется слушать.
303. Рахиль дает вымышленные показания. Она отчеканивает слова, лицо ее освещено порывистым масляным светом лампы.
304. ШРИФТ ЭТОТ Я ДОСТАЛА...
305. говорит она и задумывается, что бы еще сказать.
306. Околоточный, боясь, что Рахиль передумала и не будет давать показаний, придвигается к Баулину и снова нажимает на разбитую ногу. Баулин прыгнул, закричал, потерял сознание. Тогда Рахиль заговорила. Она лепечет быстро, не останавливаясь. От нетерпения околоточный сучит под столом толстыми ногами. Он поглаживает сломанную ногу Баулина, а другой рукой мнет, дергает, вертит во все стороны космы своих волос. Лицо его светится, губы шевелятся, брови ходят ходуном, глаза блестят.



## ПЯТАЯ ЧАСТЬ

307. ЗА ТЫСЯЧУ МИЛЬ ОТ НОМЕРОВ «РОССИЯ».
308. Улица в Берлине. Кучка прохожих у афишного столба. Гигантская афиша объявляет о концерте Лео Рогдая.
309. Улица в Берлине. Величественное здание отеля «Империя». На высоте пятого этажа ползает по фасаду маляр, моет вывеску. Маляр, веселый безобидный малый, заключен в деревянный ящик, прикрепленный блоками к выступу крыши. Маляр поет во все горло, потом прерывает пение, прислушивается.
310. Улица, снятая с высоты пятого этажа, так, как ее видит маляр.
311. Изображение афиши. На ней дата: 4 СЕНТЯБРЯ 1912 ГОДА.
312. Маляр опускается на блоке к третьему этажу. Он останавливает свой ящик у раскрытого окна, откуда исходят звуки, так его поразившие.
313. Номер Ратковича в третьем этаже отеля «Империя». Ратковича уже нет, есть знаменитый виртуоз Лео Рогдай. Полдень. Комната артиста. Неубранная низкая широкая постель. Цветы, подношения разбросаны по всей комнате. Лавровый венок в футляре. У камина фотографическая карточка Рахили. На столике остатки ужина, раскупоренная бутылка вина. К стенам приколоты афиши и расписание концертов в Берлине, Гамбурге, Мюнхене. Рогдай изменился, постарел, утончился. Полуодетый, ходит он по комнате, берет пальцами несколько аккордов, подносит скрипку к подбородку. Затемнение.
314. Повторение сцены 105: Профессор Рети слушает за кулисами захолустного театра игру Ратковича.
315. Рогдай играет. В окно просовывается благоговейная физиономия маляра. Он сдергивает с головы шапчонку, мнет ее в руках.
316. ГОСПОДИН АРТИСТ, НЕ МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СЫГРАТЬ ПАДЕСПАНЬ?
317. Рогдай улыбается, подходит к окну, играет падеспань.

318. Маляр мнет засаленную шапчонку, пальцы его прищелкивают все быстрее, все веселее.
319. Два шара катятся по бильярдному столу.
320. У борта ладонь, согнутая ковшиком. Большая холеная рука с бриллиантовым перстнем на мизинце. В углублении ладони движется кий.
321. Бильярдная отеля «Империя». Антрепренер Рогдая Витторио Маффи целится в один из двух оставшихся шаров. Вокруг стола, где он играет, столпилось множество народа. Маффи — мужчина громадного роста, сухой, гибкий, черноволосый, морщинистый; в партнере же его — в герре Кальнишкере — все дышит кротостью, терпением, достоинством. Росту в Кальнишкере мало, линии его крохотного тела округлы, живот не слишком вздут, ноги семенят неспешно. Оба игрока без пиджаков. Маффи делает удар. Промах. Итальянец морщится, отходит, вернее, прыгает в сторону; концом кия он угодил прямо в рот зазевавшемуся старику-мазуну. Маффи оборачивается, он всовывает кий поглубже в рот обезумевшего от страха мазуна и притискивает его к стене.
322. Маленькая жирная ладонь Кальнишкера у борта. В углублении ладони ходит кий.
323. Распятый мазун с кием во рту. Он прижат к стене. Невозмутимый Маффи воткнул в него кий и повернулся к нему спиной.
324. Кальнишкер делает удар. Шар падает в среднюю лузу. На бильярде остался один шар — пятнадцатый номер. Кальнишкер отпивает из стакана молоко, не спеша отставляет стакан и заказывает:
325. ОТ ДВУХ БОРТОВ ПЯТНАДЦАТОГО В УГОЛ...
326. С убийственной медленностью Кальнишкер натирает кий мелом.
327. Спина Маффи, торчащий изо рта мазуна кий, отчаянное лицо мазуна, вцепившегося в кий зубами.
328. Кальнишкер, испытывая партнера, целится долго, отнимает кий, снова целится. Шар стоит у противоположного борта. Маленький человечек употребляет тяжкие усилия для того, чтобы достать шар, он навалился животом на бильярд, приподнялся на цыпочках, коротенькая его нога дрожит в воздухе. Кальнишкер делает удар. Шар падает. Кальнишкер низко кланяется своему партнеру.
329. Мгновенная гримаса на лице Маффи. Он, не оборачиваясь, вынимает кий изо рта мазуна, тот кидается на

него с кулаками, но старика вовремя оттаскивают. Его убеждают:

330. УПАСИ ВАС БОГ... ВЕДЬ ЭТО ВИТТОРИО МАФФИ, АНТРЕПРЕНЕР ШАЛЯПИНА, АНТРЕПРЕНЕР РОГДАЯ, ДУЭЛЯНТ, ИГРОК, БРЕТЕР...

331. Старик слушает, молчит, озирается. Большая слеза течет по морщинистой щеке, застревает в усах и блестит на кончике волос. Пробегает лакей и салфеткой смахивает слезу.

332. Лакеи подают игрокам пиджаки. Маленький Кальнишкер отводит в сторону громадного Маффи. Кальнишкер умильно склоняет набок расчесанную головку.

333. РАСПОРЯДИТЕСЬ УПЛАТИТЬ, ДОРОГОЙ СИНЬОР МАФФИ...

334. Маффи смотрит на партнера с высоты огромного своего роста. Он не знает, на что решиться,— ударить Кальнишкера или заплатить ему. Кальнишкер бормочет еще умильнее:

335. РАСПОРЯДИТЕСЬ, ЗОЛОТОЙ СИНЬОР МАФФИ...

336. Маффи, не проронив ни слова, отходит от Кальнишкера. Он хватает оставленный им в углу чемодан, прыгает к выходу. Кальнишкер неутомимо семенит за ним. Маффи оборачивается и бормочет сквозь зубы:

337. ПРИХОДИТЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ НА ВИЛЛУ ГРЕННЕ... ВЫ ПОЛУЧИТЕ ТАМ ВАШИ ПАРШИВЫЕ ПЯТЬСОТ МАРОК...

338. Маффи убегает. Кальнишкер кланяется исчезающей спине итальянца, подходит к столу и допивает маленькими глотками свое молоко.

339. Рогдай играет маляру. Рабочий в такт танцу прищелкивает пальцами.

340. Пышный вестибюль отеля «Империя». Маффи с чемоданом в руках бежит вверх по лестнице. Он берет по три ступеньки сразу. Портье и лакеи кланяются ему.

341. Портье отеля у своей конторки. Портье похож на императора Наполеона. Сходство это соблюдено во всех мелочах, и даже клок волос положен на лбу, как у императора французов. Портрет Наполеона красуется тут же на конторке. На груди у портье на широкой ленте привешено пенсне.

342. Сиденье маляра и болтающиеся его ноги, снятые снизу.

343. Рогдай с воодушевлением играет простецкому своему слушателю. Маляр в совершенном блаженстве швыря-

ет свою шапочку на землю. Внезапно между маляром и Рогдаем опускается штора.

344. Рогдай оборачивается. У двери стоит Маффи и держит руку на шнурке, регулирующем штору. Маффи бросает чемодан на середину комнаты, хлопает себя хлыстом по ногам и цедит с расстановкой:

345. ВОТ УЖЕ ПОЛГОДА, КАК НЕТ ЖИДОЧКА РАТКОВИЧА, А ЕСТЬ ЗНАМЕНИТЫЙ ЛЕО РОГДАЙ, НО ДО СИХ ПОР У ЗНАМЕНИТОГО РОГДАЯ НЕТ ШЕЛКОВОГО БЕЛЬЯ, НЕТ КРОВНЫХ ЛОШАДЕЙ, НЕТ ЛЮБОВНИЦЫ ИЗ ХОРОШЕГО ОБЩЕСТВА... КОГДА ВЫ СТАНЕТЕ МУЖЧИНОЙ, РОГДАЙ?..

346. Отбрасывая ногой вещи, лежащие на полу, Маффи подходит к камину. Он снимает карточку Рахили, морщится, всматривается.

347. Портрет Рахили Монко.

348. Рогдай побагровел. Он выхватывает из рук Маффи карточку и прячет ее в карман пиджака. Маффи улыбается чуть заметно и поднимает хлыстом комнатную туфлю Рогдая. Итальянец вертит на острие хлыста эту старенькую растоптанную туфлю с большой дырой на месте большого пальца, потом выбрасывает ее за окно.

349. Туфля Рогдая падает на крышу соседнего дома.

350. Маффи указывает Рогдаю на принесенный им чемодан.

351. ЭТО ВАМ... ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫ СТАЛИ МУЖЧИНОЙ...

352. Рогдай раскрывает чемодан, вынимает оттуда седло, револьвер... Он смотрит на Маффи с изумлением. Итальянец хлопает себя хлыстом по ногам.

353. ДА, ДА... БУДЬТЕ МУЖЧИНОЙ!

354. Рогдай продолжает разборку чемодана. Он вынимает флакон духов, бритвы, подусники, дамские подвязки, кружевные дамские панталоны и еще какую-то вещь, которую юноша бросает тотчас же обратно в чемодан. Маффи топает ногой:

355. БУДЬТЕ МУЖЧИНОЙ!..

356. Рогдай вытаскивает из чемодана бутылку абсента. Маффи разливает абсент, подносит бокал Рогдаю и кричит грозно:

357. ДЕТИ ПЬЮТ МОЛОКО, ЛОШАДИ ПЬЮТ ВОДУ, МУЖЧИНЫ ПЬЮТ АБСЕНТ... БУДЬТЕ МУЖЧИНОЙ!

358. Растерявшийся Рогдай чокается с антрепренером, который кричит ему:
359. ПЬЮ ЗА МУЖЧИНУ!..
360. Пьют. Нога Маффи уперлась в кожаное сиденье кресла, сиденье уходит все глубже под давлением сильной длинной ноги. Кожа лопается, обнажаются пружины.
361. Рогдай выпил абсент, покачнулся. Итальянец наливает ему еще стакан и заставляет выпить. Лицо Маффи искажено тиком, дергающим его лицо, он повелительно следит за тем, как пьет Рогдай. Юноша выпил до дна, покачнулся, захохотал. Маффи наклоняется над Рогдаем.
362. А ТЕПЕРЬ, ЦЫПЛЕНОК, МЫ ПОЕДЕМ К ЖЕНЩИНЕ, КОТОРАЯ СДЕЛАЕТ ИЗ ВАС МУЖЧИНУ...
363. Лицо Маффи медленно поворачивается, и тогда зритель видит, что одно ухо у Маффи отрезано.
364. Щека с отрезанным ухом. Диафрагма.
365. Вестибюль отеля «Империя». Портье, похожий на Наполеона, смотрится в зеркало, поправляет на лбу свой наполеоновский клок, снимает телефонную трубку.
366. Контора для найма прислуги и кормилиц, у стены три сонных немки кормилицы. Все трое сложили руки на животах; толстыми рабочими руками они подпирают тяжелые груди. У конторки хозяйка заведения — сухопарая немка с желтыми взбитыми волосами и вставным немигающим глазом. Звонит телефон. Хозяйка снимает трубку. Лицо ее разворачивается, как длинная пружина, и на конце этой пружины — давно приготовленный восторг.
367. Портье у телефона:
368. ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ФРАУ ПУТЦКЕ. НАМ В ОТЕЛЬ НУЖНА ДЕШЕВАЯ ГЛАДИЛЬЩИЦА И ОДИН ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЙ ИСТОПНИК...
369. Глаза фрау Путцке. Один глаз бойко ворочается в орбите, другой, стеклянный, сохраняет голубую неподвижность.
369а. Фрау Путцке кланяется и потрясает трубкой.
370. Я ЖДУ НЕ СЕГОДНЯ ЗАВТРА ПАРТИЮ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ ИЗ КЕНИГСБЕРГА. Это ДУРНЫЕ ЛЮДИ, НО ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ...
371. Одна из кормилиц уснула, опустила руки. Необъятная ее грудь расползается все шире, перекрывает живот.

372. Портье согласен получить дурных, но дешевых людей. Он кладет трубку, принимается за писание счетов, но конторка его шатается, одна ножка стола чуть короче остальных.
373. По лестнице спускается Маффи и захмелевший Рогдай.
374. Из-за угла вылетел автомобиль Маффи. В трепещущих его лучах возник и заметался старенький глуховатый почтальон. Автомобиль подкатывает к подъезду отеля.
375. Маффи и Рогдай направляются к автомобилю. Пьяный Рогдай останавливает почтальона, кладет руку ему на плечо и спрашивает с блаженной улыбкой:
376. БЫЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-НИБУДЬ СЧАСТЛИВЫ, ГОСПОДИН ПОЧТАЛЬОН?
377. Удивленный почтальон недослышал. Он глуховат. В руках его пачка писем и газет. Старик поспешно вынимает вату из ушей.
378. Изображение газеты в руках почтальона. Начальные строки одного из объявлений: «Эмигрантка Рахиль Монко разыскивает...»
379. Рогдай хохочет, повторяет вопрос. Почтальон разводит руками. Был ли он когда-нибудь счастлив? Не приходилось. Почтальон кланяется подвыпившим господам, закладывает вату в уши, входит в здание гостиницы.
380. Маффи и Рогдай садятся в автомобиль, уезжают.
381. В вестибюле отеля почтальон кладет на конторку портье кипу писем и газет, уходит. Портье занят своей работой, его бесит неустойчивость столика, все время шатающегося. Он разрывает только что полученную газету, подкладывает ее под ножку столика, сразу ставшего устойчивым. Обрывок газеты отвалился и лежит в стороне.
382. Изображение оторванного куска газеты. Начало объявления:
383. ЭМИГРАНТКА РАХИЛЬ МОНКО, ОТБЫВШАЯ КАТОРГУ В НЕРЧИНСКЕ, РАЗЫСКИВАЕТ ЛЬВА РАТКОВИЧА, УРОЖЕНЦА МЕСТЕЧКА ДЕРАЖНИ ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНИИ, СООБЩИТЬ ПО АДРЕСУ: КЕНИГСБ...
384. Портье пишет, облокотившись о стол, который больше не шатается.
385. Ночной сияющий Берлин. В высоте вращающийся электрический круг: ЛЕО РОГДАЙ.

386. Автомобиль Маффи вьется в потоках карет, трамваев, грузовиков.

387. Внутренность автомобиля. Между пьяным Рогдаем и Маффи — азартная карточная игра. На полу автомобиля валяются деньги. Машину трясет, игроки, не обращая на это никакого внимания, стукаются о притолоку, продолжают игру.

388. Сильный толчок. Рогдай подпрыгнул, цилиндр его вонзился в гвоздь, прибитый к верху автомобиля, и повис на гвозде. Рогдай вытаскивает одну кредитку за другой и бросает их на сиденье. Цилиндр его висит на расстоянии полуметра от головы. Маффи мечет банк.

389. Шофер поворачивает голову; улыбаясь, следит он за необычайной игрой.

390. Игра продолжается. Выигрывает Маффи.

391. Вдали на черном фоне неба вращаются уменьшенные расстоянием электрические буквы: ЛЕО РОГДАЙ.

392. Рогдай швырнул пачку кредиток, среди них карточка Рахили Монко. Пьяный Рогдай не видит карточки. Большая рука Маффи прикрыла деньги, он сдает, выигрывает, сгребает кредитки, отшвыривает карточку.

393. Подъезд виллы Гренне. Над табличкой «ВИЛЛА ГРЕННЕ» электрическая лампочка.

394. Аллея, усаженная платанами. Сноп света. Засверкавшая листва деревьев. Автомобиль Маффи взлетает на пригорок.

395. Внутренность автомобиля. Карточка Рахили завалилась за ковер. Рогдай снимает с гвоздя цилиндр и криво нахлобучивает его на лоб.

396. Автомобиль Маффи останавливается у подъезда виллы Гренне. Маффи и Рогдай входят в дом.

397. Передняя в доме баронессы Гренне. Швейцар, рослый малый с прекрасной и двусмысленной физиономией, открывает парадную дверь. Входят Рогдай и Маффи, они отдают швейцару пальто.

398. Вешалка в передней баронессы Гренне. Цилиндры, выстроившиеся в ряд.

399. Цилиндры, снятые сверху, тусклый блеск на черном шелку. В цилиндре Рогдая — дыра.

400. Маффи разделся, побежал вверх по лестнице. Он берет по три ступеньки сразу.

401. Швейцар осведомляется у Рогдая: как доложить?

402. ДОЛОЖИТЕ БАРОНЕССЕ: РОГДАЙ.

403. Образ Христа, освещенный таинственно и тускло. Картина итальянского мастера эпохи кватроченто. У прибитых ног Христа головы двух девушек-подростков, склонившихся над рукоделием. В волосах у них пышные банты.
404. Вечер. Салон баронессы Гренне. Салон убран просто, роскошно, с достоинством и вкусом. У стола благостный патер читает вслух книжку Альфонса Доде «Тартарен из Тараскона».
405. Титульный лист книги.
406. Патера слушают — старая баронесса, величественная дама с важным лицом, и две дочери-подростки (пышные банты в волосах, туфли на низких каблуках и проч.). Старуха слушает внимательно и улыбается ласково, чуть заметно, девочки хохочут. У другой стены два аристократических старика с орденскими лентами. Один из них худ, длинен, многоволос, другой тучен, короток, плешив, но оба неуловимо как-то похожи друг на друга. Входит лакей, докладывает:
407. ГРАФ ДЕ РОГДАЙ.
408. Старушка откладывает рукоделие, идет навстречу гостю. Старики с орденскими лентами приосаниваются. Патер прекращает чтение. Старушка представляет гостя своим домочадцам, подводит к дочерям.
409. МЫ ОЧЕНЬ РАДЫ ЗНАКОМСТВУ С ТАКИМ ПРОСЛАВЛЕННЫМ ВИРТУОЗОМ.
410. Девочки делают книксен. Рогдай знакомится с патером, баронесса представляет его длинному старичку:
411. ГРАФ САН-САЛЬВАДОР.
412. Церемонное представление. Баронесса представляет скрипача второму старичку, короткому:
413. БАРОН САНТ-ЯГО.
414. Церемонное представление. Рогдая усаживают и предлагают ему послушать «Тартарена из Тараскона».
415. Коридор в доме Гренне. Маффи останавливается у двери, стучит, требует: откройте.
416. Угол комнаты Эллен, дочери баронессы Гренне. Зеркало. В зеркале отражаются обнаженные прекрасные плечи Эллен.
417. Полуодетая Эллен. Она молода и очень красива. Эллен услышала стук. В ужасном волнении бросается она к шкафу, нервически перебирает платья, отбрасывает их, груда платьев вырастает на полу. Эллен останавливается на простом черном платье.

418. Маффи у закрытой двери. Он колотит себя хлыстом по ноге. Эллен выходит из комнаты... Прелестным девическим движением она протягивает Маффи обе руки. Чувства силы, юности, красоты делают ее счастливой. Маффи бормочет что-то, берет ее за руку, медленно оборачивает вокруг себя.
419. КАКОЕ ДРЯННОЕ ПЛАТЬЕ...
420. говорит он и хлопает себя по ноге все сильнее. Эллен отшатывается от него.
421. Изображение Христа. Девочка, дочь баронессы, очень внимательно рассматривает в лорнет...
422. Рогдая, ерзающего в своем кресле.
423. Патер читает с упоением. В особенно забавных местах он поднимает палец кверху.
424. Бархатная портьера, отделяющая салон от другой комнаты, раздвигается. Появляется лицо Эллен — ослепительное и бледное.
425. В салон входит Маффи, за ним Эллен в декольтированном платье. Длинный пояс, расшитый золотом, волочится за ней по полу. Рогдай вскочил. Он смотрит на Эллен во все глаза. Маффи, играя хлыстом, говорит Эллен:
426. ПЕРЕД ВАМИ, БАРОНЕССА, ТОТ САМЫЙ ЛЕО РОГДАЙ, ПОТРЯСАЮЩАЯ ИГРА КОТОРОГО...
427. Юноша не может оторвать от Эллен ослепленных глаз. Он медленно целует ее руку. В это мгновение швейцар подает ему карточку Рахили.
428. ИЗВОЛИЛИ УРОНИТЬ...
говорит швейцар и кланяется. Смущенный Рогдай выхватывает у него карточку, сует ее в карман. Эллен обращает к Маффи глаза, полные обожания и страха.



## ШЕСТАЯ ЧАСТЬ

429. Елка на столе. Несколько игрушек висят на ветвях ели.
430. В салоне баронессы Гренне. Эллен, младшая ее сестра Августа и Рогдай украшают елку. Они веселы, дурачатся, разбивают хлопушки.

431. Эллен взбирается на стол, водружает на вершине елки деда мороза, осыпает дерево искусственным снегом. Рогдай прилаживает свечки. Он отрывается от работы, чтобы взглянуть в сторону хохочущей, раскрасневшейся Эллен. Взгляд его очень ласков.
432. Передняя в доме баронессы. Швейцар полирует себе ногти.
433. Маленький Кальнишкер звонит у парадной двери.
434. Швейцар впускает посетителя. Кальнишкер спрашивает:
435. МОЖНО ВИДЕТЬ СИНЬОРА МАФФИ?
436. Посетитель произвел на лакея невыгодное впечатление. Ничего не ответив, он снова принимается за чистку ногтей и бурчит между делом:
437. СИНЬОР МАФФИ НИКОГО НЕ ПРИНИМАЕТ.
438. Ледяной этот прием нисколько не охладил маленького Кальнишкера. Он раскланивается и кротко заявляет:
439. Я ПОДОЖДУ...
440. Кальнишкер неторопливо раздевается, он пытается повесить на вешалку свое пальто, но это ему не удастся, потому что Кальнишкер мал ростом, ему не достать до крючка. Кальнишкер подтаскивает к вешалке бархатную скамеечку для ног, становится на нее, вешает пальто и котелок и садится в сторонке на высокое кресло. Коротенькие его ноги не достают до полу. На лице Кальнишкера непреоборимое терпение.
441. Лакей презрительно отворачивается от посетителя.
442. Коротенькие ноги Кальнишкера болтаются над полом.
443. Эллен и Рогдай обряжают куклу, натягивают на нее чулочки и модные подвязки. Они отставляют куклу и любуются делом своих рук.
444. Коротенькие ноги Кальнишкера болтаются над полом.
445. Лакей ведет себя не менее хладнокровно, чем Кальнишкер. Он встает, вытаскивает из кармана Кальнишкера часы, смотрит — который час? Кальнишкер поднимает на него невыразительные глаза.
446. Я ПОДОЖДУ...
447. говорит Кальнишкер, болтая ножками. В это мгновение дверь распахивается, и в переднюю влетает Маффи. Он сразу потускнел, увидев Кальнишкера. Маленький человек приближается к итальянцу мелкими шажками и отвешивает низкий поклон.
448. Эллен и Рогдай обряжают для елки куклу — большого Бэби с надутыми щеками и жирным животом. Дура-

часъ, они одевают кукле лифчик, панталоны, взбивают ей прическу.

449. Маффи разглядывает Кальнишкера. Тик трогает его лицо. Он вынимает точно так же, как это сделал раньше его лакей, часы из жилетного кармана Кальнишкера и смотрит — который час? Он думает — ударить или заплатить проигрыш? Кальнишкер все в той же позиции с склоненной расчесанной головкой. Маффи бежит к лестнице, Кальнишкер семенит за ним.

450. Эллен и Рогдай одели наконец куклу; она теперь в платье, в манто, с зонтиком. Рогдай, смеясь, прижимает ее к груди. В это мгновение в салон входит Маффи. Эллен выхватывает из коробки другую куклу и с радостным сияющим лицом бежит навстречу Маффи. Она протягивает ему обе руки, но итальянец отходит в сторону, чтобы дать место Кальнишкеру. Маффи:

451. ПОЗНАКОМЬТЕСЬ, БАРОНЕССА, С ГЕРРОМ КАЛЬНИШКЕРОМ... ОН ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ВАШЕЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ ФАРФОРА...

452. Эллен побледнела, уронила куклу. Кальнишкер поднимает куклу с пола. Трепеща, Эллен подает Кальнишкеру руку, они уходят. Рогдай бросается вслед за ними. Маффи его останавливает:

453. СОГЛАСНО НАШЕМУ ДОГОВОРУ...

454. говорит Маффи, глядя на Рогдая в упор.

455. По коридору, уставленному статуями и пальмами, идут Кальнишкер и Эллен. У Кальнишкера в руках кукла, он острит очень достойно. Эллен молчит. Лицо ее недвижимо и бледно.

456. Маффи говорит Рогдаю, прижимающему к груди куклу, одетую в манто:

457. ПО НАШЕМУ ДОГОВОРУ, МИЛЫЙ РОГДАЙ, ВЫ УЕЗЖАЕТЕ СЕГОДНЯ В ТУРНЕ ПО ФРАНЦИИ И АНГЛИИ И ПОЭТОМУ...

458. Кальнишкер и Эллен входят в будуар Эллен. Она предлагает гостю садиться.

459. Рогдай не выпускает куклы из рук. Маффи поворачивается к нему вполоборота. Краешек отрезанного уха виден зрителю.

460. И ПОЭТОМУ ВЫ НЕ УСПЕЕТЕ ОСМОТРЕТЬ КОЛЛЕКЦИЮ БАРОНЕССЫ ЭЛЛЕН...

461. Маффи поворачивается к зрителю изуродованной щекой.

462. Отрезанное ухо. Из него...

463. Перебирая зыбкими ножками выходит чудовищно уродливая, крохотная, взлохмаченная, аристократическая собачонка.
464. Шесть разодетых собак и две старых кротких англичанки шествуют, направляясь к выходу, по вестибюлю отеля «Империя». Портье выбегает из-за конторки, пропускает в вертящиеся двери одну за другой шесть утомленных собак и двух англичанок. Дверь вертится медленно, последняя собака исчезает в летящих крыльях двери, и вслед за ней в вестибюль вваливается ошеломленный Баулин с узелком, за Баулиным — Рахиль. Портье накидывается на Баулина — что вам нужно здесь? Баулин протягивает ему письмо.
465. ОТ ФРАУ ПУТЦКЕ...
466. Портье водружает на носу пенсне, висящее на шелковой ленте. Он читает письмо, окидывает Баулина критическим оком. Баулин постарел, ослабел, оброс бородой. Портье:
467. ВЫ БУДЕТЕ У НАС ИСТОПНИКОМ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ.
468. Потом портье обращается к Рахили. Он приятно удивлен ее лицом, простым и тонким. Ему хочется убедить ее в том, что и он человек с необыкновенными чувствами. Портье поправляет свой шелковый шнурок и говорит, расшаркиваясь:
469. АХ, СУДАРЫНЯ, В ПРОШЛОМ СТОЛЕТИИ ЛЮДИ С МОЕЙ НАРУЖНОСТЬЮ СТАНОВИЛИСЬ ИМПЕРАТОРАМИ, А ТЕПЕРЬ...
470. Портье разводит руками. Он недоволен XX веком.
471. В вестибюль гостиницы входят Маффи и Рогдай. Рахиль стоит к ним спиной. Они поднимаются по лестнице. Пройдя несколько ступеней, Рогдай останавливает Маффи.
472. ЧТО ЭТО ЗА КОЛЛЕКЦИЯ ФАРФОРА У БАРОНЕССЫ ЭЛЛЕН?..
473. Маффи пренебрежительно машет рукой, он берет с маху три ступеньки и исчезает. Рогдай останавливается; мысль о коллекциях фрейлейн Эллен не дает ему покоя.
474. Рахиль продолжает разговор с портье. Вдруг она спрашивает его:
475. МОЖНО МНЕ ПРОТЕЛЕФОНИРОВАТЬ В АДРЕСНЫЙ СТОЛ?
476. Портье удивлен, но он отвечает — пожалуйста. Рахиль входит в телефонную кабинку, снимает трубку...

477. Рогдай медленно спускается по лестнице. Он входит в телефонную кабинку, расположенную рядом с первой.
478. Рахиль у телефона:
479. АДРЕСНЫЙ СТОЛ? СООБЩИТЕ МНЕ АДРЕС ЛЬВА РАТКОВИЧА, РУССКОГО ПОДДАННОГО...
480. Стеклянное окошечко в перегородке, отделяющее одну кабинку от другой. Сквозь окошечко виден затылок Рахили и спина Рогдая.
481. Рогдай у телефона.
482. Салон Гренне. Старая баронесса подходит к телефону.
483. Рогдай у телефона:
484. МОЖНО ПОПРОСИТЬ БАРОНЕССУ ЭЛЛЕН?..
485. Старуха, кивая головой, отходит от телефона.
486. Помещение адресного стола. Барышня ищет фамилию Ратковича, палец ее задерживается у фамилии Рогдай, ползет дальше, она не находит нужной фамилии, говорит в телефон:
487. ЛЕВ РАТКОВИЧ, ВЫХОДЕЦ ИЗ РОССИИ, У НАС НЕ ЗНАЧИТСЯ...
488. Рахиль вешает трубку, выходит из кабинки.
489. Портье обращается к Рахили:
490. ВЫ БУДЕТЕ У НАС ГЛАДИЛЬЩИЦЕЙ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ...
491. Портье велит номерному отвести Рахиль в помещение для прислуги. Рахиль, Баулин и номерной уходят.
492. Рогдай ждет у телефона.
493. Стеклянная матовая дверь комнаты Эллен. Старая баронесса подходит к двери, хочет постучать, но в это мгновенье в комнате Эллен гаснет свет.
494. Рогдай ждет у телефона.
495. Старая баронесса подходит к телефону:
496. ПРОСТИТЕ, У ЭЛЛЕН СЕЙЧАС УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
497. Рогдай опускает трубку, он забыл положить ее на телефон.
498. Телефонная трубка болтается у стены.
499. Номерной и Рахиль спускаются вниз в подвал. Мраморная лестница, перекрытая ковром, сменяется цементной лестницей, еще ниже идут осклизлые, темные, разбитые ступени, забросанные всякой дрянью. Номерной и Рахиль минуют подземелье, подходят к двери, заколоченной бревнами. Номерной потянул дверь к себе. Из комнаты вырвалась туча пара. Рахиль отшатнулась.

500. ЧТО ЭТО?
спрашивает она у номерного.
501. ЭТО ПРАЧЕЧНАЯ...
отвечает служитель, берет ее за руку...
502. вводит в густую смрадную завесу из пара и дыма. В обширном подземелье, в мощных, все заволакивающих столбах пара, колеблются неясные, скрюченные очертания людей. Вдали в непроницаемом тумане едва намечаются бредущие фигуры номерного и Рахили.
503. Служитель подводит Рахиль к большому гладильному столу. У стола зияет отверстие трубы, через которую подается в прачечную грязное белье. Из трубы сыплются ночные рубахи, измятые простыни. Рахиль отступает.
504. Я НЕ БУДУ РАБОТАТЬ В ЭТОМ АДУ...
505. кричит она. Служитель смеется.
506. ТОГДА СНИМИТЕ СЕБЕ, ФРЕЙЛЕЙН, НОМЕР В БЕЛЬЭТАЖЕ...
507. Довольный своей остротой, он смеется все громче. Из клубящегося тумана выползают один за другим китайцы, голые до пояса, с дымящимися, пенящимися руками. Они подбираются к Рахили совсем близко, клубы пара колеблют смутные линии желтых их тел, китайцы, глядя на хохочущего лакея, медленно растягивают рты и усмехаются. В это мгновение из трубы вываливается громадная куча белья и погребает под собой Рахиль.
508. Экран окутан паром. Два огненных луча пробиваются сквозь пелену тумана, движутся и растут.
509. По ослепительной Фридрихштрассе мчится автомобиль. Рядом с сиденьем шофера свалены чемоданы. В автомобиле Маффи и Рогдай. Они едут на вокзал.



## СЕДЬМАЯ ЧАСТЬ

510. ПОСЛЕ ПОБЕДНОГО ШЕСТВИЯ ПО ГОРОДАМ ЕВРОПЫ РОГДАЙ ВЕРНУЛСЯ В БЕРЛИН И ОБЪЯВИЛ ТАМ СВОЙ ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ.

511. Берлин. Ночь. Площадь перед театром. Освещенная громада театра. Толпа бурно атакует главный подъезд.
512. Капельдинеры сдерживают у закрытых дверей натиск толпы. По обеим сторонам подъезда афишные столбы. На них наклеены афиши о концерте Лео Рогдая. Уличные мальчишки забрались на афишные столбы. Они ждут момента, когда можно будет нырнуть в толпу и пробраться в театр зайцами.
513. Мальчишки, свесившиеся с афишных столбов. На афише о концерте Лео Рогдая — дата: 9 МАРТА 1914 ГОДА.
514. Боковые подъезды театра. Цепь зеленых газовых фонарей. Съезд аристократической публики.
515. Вереница автомобилей и карет, вытянувшихся у подъезда.
516. Помещение кассы. Хвост у кассы. Кассир выдает последний билет, вывешивает табличку об аншлаге и захлопывает окошечко.
517. Бурлящая толпа перед главным подъездом. Конные шуцманы врезываются в толпу.
518. Угол уборной, где сидит Рогдай. Сумрак. Настольная лампа прикрыта абажуром. Рогдай сидит спиной к зрителям. Длинные ноги его вытянуты, голова упала. Лицо Рогдая медленно поворачивается к зрителю. Призрачное, страстное, худое — оно неузнаваемо изменилось за год.
519. ПОСЛЕ ГОДА СЛАВЫ И ГОДА ДРУЖБЫ С СИНЬОРОМ ВИТТОРИО МАФФИ.
520. Скрипач протягивает узкую руку к бутылке вина. Рядом с вином лежит скрипка и смычок. Рогдай во фраке, в бальных туфлях. Он рассматривает этикетку на бутылке, лицо его дергается. Он говорит подбежавшему лакею:
521. УБЕРИТЕ ЭТУ ВОДИЦУ, ДАЙТЕ МНЕ АБСЕНТУ...
522. Капельдинер уносит вино.
523. Скрипка, смычок. Пальцы Рогдая перебирают струны.
524. Лакей приносит другую бутылку. Рогдай наливает себе абсент, пьет.
525. Длинное запрокинутое горло Рогдая, раздувающееся от вливаемого в него спирта.
526. Главный подъезд театра. Капельдинеры открывают двери. Толпа врывается в вестибюль. Люди теснят друг дружку, работают локтями.
527. Мальчишки соскальзывают с афишных столбов и по головам, по спинам публики пробираются в вестибюль.

528. Одна из боковых лестниц театра. Вверх по лестнице несутся измятые, возбужденные люди. Передовой потрясает обломком трости.
529. Другая лестница. Множество людей, в их числе Баулин и Рахиль,— бегут на галерею.
530. Ослепительно освещенный театральный зал. Из всех дверей вливаются потоки людей.
531. В фойе. Профессор Рети, нисколько не утративший своей восторженности, внушает окружающей его молодежи:
532. ОН БЫЛ МОИМ УЧЕНИКОМ, ГОСПОДА...
533. Вокруг старика сбивается толпа. Он с энтузиазмом рассказывает им о своем ученике, о чудесной его истории.
534. Группа русских занимает самые дешевые места на галерке. Они хохочут, толкаются и ведут себя так же, как ведет себя счастливая молодежь на всех галерках мира. Баулин дает Рахили апельсин, она надкусывает его.
535. Барьер ложи. На барьере резной веер, бинокль, отделанный жемчугами, длинная коробка конфет. Рука Эллен переламывает конфету и отбрасывает ее.
536. В ложе баронессы Гренне. У барьера застыла декольтированная, потрясающе бледная Эллен и старушка баронесса в черной наколке. В глубине ложи безмятежно спят граф Сан-Сальвадор и барон Сант-Яго, украшенные неизменными лентами и орденами.
537. Первые ряды кресел, дорогие ложи. Декольтированные женщины, лорнирующие друг друга. Тщательно вымытые и выбритые мужчины.
538. Русские наконец уселись. Рахиль доела свой апельсин. Она обращается к Баулину:
539. О РОГДАЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ОН ВЫХОДЕЦ ИЗ РОССИИ..
540. Баулин отвечает — не знаю; он протягивает Рахили еще один апельсин. Смеясь, она отдает Баулину половину.
541. Рогдай в уборной настраивает скрипку.
542. Зрительный зал. Публика на своих местах. Капельдинеры закрывают дверь. Люстры медленно гаснут.
543. Гаснущие люстры. Желтый, умирающий их свет.
544. Поднимается занавес. На сцене симфонический оркестр. Ждут дирижера.
545. Рогдай настроил скрипку. Он берет пальцами несколь-

ко аккордов, один тише другого, бросает скрипку и скрывается за портьерой. Вбегает капельдинер:

546. ВАШ ВЫХОД...
547. За портьерой Рогдай делает себе впрыскивание морфием...
548. На сцене. Дирижер подходит к пюпитру, оглядывается, ищет глазами Рогдая.
549. Капельдинер мечется по уборной Рогдая.
550. ВАШ ВЫХОД...
551. Рогдай выходит из-за портьеры. Он берет скрипку, бежит к выходу.
552. Зрительный зал. Тьма. Молчание. Сотни рук начинают аплодировать.
553. В далекой перспективе сияющая сцена. К рампе подходит крохотный, уменьшенный расстоянием Рогдай и раскланивается.
554. Руки Рахили разжимаются, из них выпадает программа и кусок апельсина.
555. Листок бумаги, колеблясь в воздухе, летит с галерки и падает в партер на чью-то шевелюру.
556. Лицо Рахили. Она подалась вперед, страшное волнение сотрясает ее. Она кричит:
557. ЛЕВУШКА...
558. Баулин зажимает ей рот.
559. В далекой перспективе сцена. Рогдай играет.
560. Кассир бежит по коридору. В руках у него плетеный железный ящик с деньгами.
561. Угол уборной Рогдая. Маффи проверяет корешки проданных билетов. Вбегает кассир и торжественно ставит перед Маффи ящик с деньгами.
562. АНШЛАГ, СИНЬОР МАФФИ, СУМАСШЕДШИЙ АНШЛАГ...
563. Маффи вынимает из ящика кучу денег, тик трогает его щеки, весь стол усеян кредитками.
564. Куча денег на столе. Большие белые руки Маффи прикрывают разбросанные кредитки, на указательном пальце Маффи блестит перстень благородной и редкой формы.
565. Блещущий бриллиант в перстне у Маффи. Из бриллианта...
566. Пальцы Рогдая, с дьявольской быстротой бегущие по струнам.
567. Восторженный профессор Рети всячески мешает своим соседям: он жестикулирует, подпевает, машет руками.

568. Бледное, искаженное, вдохновенное лицо Рогдая. Оно прижато к скрипке.
569. Пальцы Маффи, пересчитывающие деньги.
570. Скрипка Рогдая, поющий его смычок, растрепавшиеся волосы.
571. Пальцы Маффи, пересчитывающие деньги. На них ложится рука Эллен.
572. Маффи поднимает голову. Перед ним Эллен.
573. ВИТТОРИО...
574. говорит она с нежностью:
575. ...ВЫ НЕ ЛЮБИТЕ МЕНЯ, ВИТТОРИО?..
576. Скрытая зевота раздувает челюсти и скулы Маффи. Он борется с зевотой, облетающей его лицо, и не сводит с Эллен внимательных глаз.
577. ЛЮ... ЛЮБЛЮ...
578. цедит он, нехотя сгибается и целует руку, на которой пальцы Эллен провели четыре кровавых истерических полосы.
579. Пальцы Рогдая, бегущие по струнам.
580. Потухшие люстры под расписным потолком театра. Лампочки наливаются желтым светом, разгораются.
581. Сотни аплодирующих рук. Отделение кончилось.
582. Лестница. Голые серые стены. Рахиль бежит вниз.
583. Рогдай в своей уборной. Он окружен толпой поклонников и поклонниц. Женщины аплодируют под самым его носом. Жестикулирующий, восторженный профессор Рети атакует его. Мимо них проходит Эллен. Рогдай расталкивает толпящихся вокруг него людей, увлекает Эллен в глубь комнаты. Он спрашивает задыхаясь:
584. В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, ЭЛЛЕН,— ДА ИЛИ НЕТ?..
585. Эллен вырывает руку, она рассеянно бормочет:
586. ДА, ДА, ДА...
587. И уходит.
588. Рахиль бежит вниз по лестнице, вдоль глухих серых стен.
589. Рогдай обращается к одному из хлыщей, хлопающих в ладоши под самым носом виртуоза:
590. ПОСЛУШАЙТЕ... Я ХОЧУ НАПИТЬСЯ СЕГОДНЯ...
591. Франт вытягивается в струнку и шутливо отдает честь:
592. ЕСТЬ, КАПИТАН...
593. У входа в уборную Рогдая. Капельдинер загораживает дорогу Рахили, пытающейся прорваться за кулисы.
594. ПРОПУСТИТЕ МЕНЯ К РОГДАЮ...

595. кричит она и отталкивает служителя; он замахивается. Из-за двери выглядывает Маффи.
596. ЧТО ЗДЕСЬ ЗА ЯРМАРКА?
597. Рахиль бросается к Маффи, она умоляет пропустить ее за кулисы. Маффи склоняется перед девушкой; поклон этот — очень светский, очень тонкий, едва заметный:
598. С КЕМ ИМЕЮ СЧАСТЬЕ?
599. Рахиль:
600. Я РАХИЛЬ МОНКО, ЗЕМ... ЗЕМЛЯЧКА РОГДАЯ...
601. Итальянец кланяется во второй раз, берет руку девушки, и прежде чем поднести к губам загрубелую эту, красную, с дурно остриженными ногтями руку, он окидывает ее мгновенным боковым взглядом и задерживает трепещущие пальцы в своей большой и спокойной руке. Рахиль дергает руку, итальянец целует кисть ее на сгибе, кланяется в третий раз и говорит:
602. НЕ БУДЕМ ВОЛНОВАТЬ РОГДАЯ ВО ВРЕМЯ КОНЦЕРТА, НЕ УГОДНО ЛИ ПОЕХАТЬ КО МНЕ, ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ У МЕНЯ ЧЕРЕЗ ЧАС...
603. Рахиль пожимает руки Маффи. Итальянец вынимает из жилетного кармана пудреницу, карандаш для губ и протягивает их растерявшейся Рахили.
604. НЕ УГОДНО ЛИ ПОПРАВИТЬСЯ?
605. Рахиль отшатывается. Карман ее платья расстегивается, в кармане — дуло маленького браунинга.
606. Пальцы Маффи захлопывают крышку пудреницы.
607. Дуло браунинга, выглядывающее из кармана.
608. Маффи прячет пудреницу и карандаш для губ в жилетный карман и уводит Рахиль.
609. Подъезд театра. Автомобиль Маффи. В машине дремлет шофер. Ни лица, ни рук его не видно. Шофер закутан в шубу, возвышающуюся над рулем меховой бесформенной глыбой. Трудно угадать человека за этой торчащей шершавой скалой. К автомобилю подходят Маффи и Рахиль. Итальянец подсаживает девушку, захлопывает за ней дверцу, расталкивает шофера. Из невообразимой кучи меха не спеша высовывается маленькое морщинистое и удивительно равнодушное лицо шофера. Маффи говорит, куда ехать, и прыгает в автомобиль... Прожекторы автомобиля зажигаются. Два стремительных луча ложатся на мостовую. Машина двинулась.
610. Ночь. Улица Берлина. В высоте вращается ослепительная электрическая скрипка с гигантскими буквами: ЛЕО РОГДАЙ.

611. Автомобиль Маффи выбрался из центра города. Он вьется между телегами, везущими на рынок битых свиней.
612. Усаженная платанами аллея возле виллы Гренне. Ночь. Колеблющиеся верхушки деревьев. Внизу на земле летит автомобиль Маффи, и впереди него летят две огненные стрелы прожектора.
613. Салон баронессы Гренне. Ночь. Венецианское окно. Луна плывет мимо окна и бросает мертвенный свой луч на статую, стоящую в нише у окна, на мраморное слепое лицо Аполлона.
614. Маффи и Рахиль выходят из автомобиля. Итальянец вынимает из вазочки, вделанной в стенку автомобиля, розу и преподносит ее Рахили.
615. Вестибюль в доме Гренне. Звонок. Швейцар открывает дверь. Маффи отводит швейцара в сторону и строго ему что-то наказывает. Лакей — рослый малый с прекрасным и двусмысленным лицом — искоса взглядывает на Рахиль.
616. Салон Гренне. Лакей открывает свет. Маффи указывает девушке место возле статуи Аполлона и сам растягивается в кресле против нее. Он закуривает сигару. Рахиль:
617. НЕ ПРАВДА ЛИ, МЫ ДОЛЖНЫ ЗАСТАВИТЬ РОГДАЯ ПОРВАТЬ КОНТРАКТ С ЕГО АНТРЕПРЕНЕРОМ?.. ОН СОВСЕМ БОЛЕН, ЕМУ НАДО ЛЕЧИТЬСЯ, НЕ ПРАВДА ЛИ?
618. Маффи утвердительно кивает головой. Дверь в салон слегка приоткрывается. Рахиль вскакивает, она застывает у статуи Аполлона.
619. В комнату входит полицейский чиновник. Рахиль всем телом подается вперед и видит полицейского и пробор его, расчесанный тщательно, до блеска. Маффи кланяется чиновнику, выхватывает из кармана Рахили револьвер, кладет его на стол и говорит, указывая на девушку:
620. ИМЕЮ ЧЕСТЬ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ РАХИЛЬ МОНКО, РУССКУЮ УГОЛОВНУЮ ПРЕСТУПНИЦУ, БЕЖАВШУЮ ИЗ РОССИИ И ПОДЛЕЖАЩУЮ НЕМЕДЛЕННОЙ ВЫДАЧЕ РУССКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ.
621. Лицо Рахили, обращенное к Маффи. Она выронила цветок, преподнесенный ей итальянцем. Смятая роза падает на браунинг.
622. Роза и револьвер.



## ВОСЬМАЯ ЧАСТЬ

623. На блюде красуется жареный гусь с плюмажем. Гусь этот служил для кутящей компании пепельницей. Он весь истыкан окурками.
624. Блюдо с нетронутым гусем стоит посредине стола, забросанного посудой, залитого вином. Рука Рогдая втыкает в гуся дымящуюся папиросу.
625. Отдельный кабинет ресторана. Рассвет. Остатки постыдного пиршества. Рогдай, шатаясь, делает несколько шагов.
626. Он переступает бездыханное тело валяющегося на полу человека. Спящий подогнул ноги, он закусил бифштекс, наколотый на вилку, и так и заснул.
627. Разгорающееся небо. Восход солнца.
628. Улица в Берлине. Одинокий дворник метет тротуар у отеля «Империя». Дворник облокачивается на метлу, заворачивает рубаху, чешет голый живот и, подняв всклокоченную голову к небу, зевает, долго, упрямо, с дрожью.
629. Сквозь ветви озаренных солнцем деревьев виден котел для выварки цемента. В котле, спутавшись, перемешавшись грязными телами, спят беспризорные ребята. Один из них проснулся, чихнул, протянул к небу черные, тонкие руки и подмигнул пьяному, прислонившемуся к котлу. Пьяный этот — Рогдай. На нем фрак, бальные туфли и смятый цилиндр, надвинутый на лоб.
630. Рогдай приподнимает цилиндр, мутные его глаза бессмысленно устремлены на подмигивающего мальчика; он уходит шатаясь.
631. Конура Баулина рядом с камерой парового отопления. Комната изрезана вздутыми жилами — трубами от котлов. Комната стиснута пыльными лапами труб. Бородатый, плохо одетый человек русского обличья, расхаживает по комнате. В неутомимом его хождении чувствуется давнишняя тюремная сноровка. Он протоптал полосу от одного угла к другому... Отлакиро-

ванная полоса мерцает на выщербленном полу. Рядом с конурой — камера парового отопления. Баулин возится у котлов.

632. Баулин растапливает котел, разбивает молотом уголь. Он работает рассеянно и по недосмотру колотит по башмакам, брошенным рядом с грудой угля. Истопнику невмочь работать, тоска одолевает его. Он превратил башмаки в блин и не видит этого. Баулин бросает молот, идет в свою комнату. Бородатый человек приостанавливает бег, он говорит, глядя на Баулина в упор:

633. ИТАК, ТОВАРИЩ БАУЛИН, МЫ НЕ ВОЗРАЖАЕМ ПРОТИВ ОТЪЕЗДА ВАШЕГО В РОССИЮ НА НЕЛЕГАЛЬНУЮ РАБОТУ...

634. Баулин кивает головой. Он подходит к окну, вырезанному высоко в стене под потолком. В окно видны заплетающиеся ноги в бальных туфлях, ноги Рогдая.

635. Прачечная в отеле «Империя». Китаец заснул над грудой выглаженных им крахмальных мужских рубах. Тонкая струйка слюны вытекает изо рта спящего и растекается по сияющей манишке. Стол Рахили свободен. В комнату входит Баулин. Он склоняется над столом Рахили, смотрит на часы, показывающие четвертый час утра.

636. Солнце всходит над платановой аллеей, ведущей к дому Гренне.

637. Рогдай, путаясь в деревьях, пробирается к вилле.

638. Вестибюль в доме баронессы. Вещи и мебель разбросаны в беспорядке. Уборка. Стулья поставлены на столы, вешалка отодвинута. Вдоль стены крадется Рогдай.

639. В коридоре. Рогдай натыкается на бархатную портьеру, отделяющую одну из комнат от коридора. Из комнаты доносятся голоса... Рогдай слушает, цепенеет.

640. Комната баронессы Гренне. Маффи в бешенстве колотит хлыстом по столу. Перед ним в служебных позах баронесса, граф Сан-Сальвадор и барон Сант-Яго. Маффи кричит:

641. ВСЕ, ЧТО Я ЗАРАБАТЫВАЮ НА КОНЦЕРТАХ РОГДАЯ, УХОДИТ НА ВАШУ ЗЛОВОННУЮ ДЫРУ... С ВОСКРЕСЕНЬЯ ПОВЫСИТЬ РАСЦЕНКУ НА ЖЕНЩИН. НА ЭЛЛЕН В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ...

642. Маффи размахивает хлыстом перед самым носом баронессы.

643. Рогдай заворачивается в портьеру.

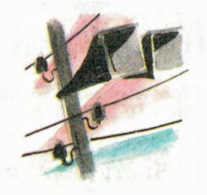
644. Маффи трясет графа Сан-Сальвадор.

645. А ВАС Я ВЫГОНЮ И ВОЗЬМУ НА ВАШЕ МЕСТО ЭКС-КОРОЛЯ ПОРТУГАЛЬСКОГО...
646. Шевелящаяся портьера. За тяжелыми ее складками содрогающееся тело Рогдая.
647. Ободранный граф Сан-Сальвадор отступает перед разъяренным своим повелителем. Старик, перепуганный насмерть, крестится мелким частым крестом.
648. Рогдай пробирается вдоль стены. Видна только сутулая его спина.
649. В коридоре старинные часы бьют четыре. Кукушка кивает бойко головой.
650. Рогдай открывает дверь в комнату Эллен и отшатывается.
651. Край неба. Восход солнца.
652. В комнате Эллен. Она спит в постели с Кальнишкером.
653. Рогдай пробирается к ночному столику, где в стакане воды лежит искусственная челюсть Кальнишкера. Рогдай берет челюсть, пальцы его сжимаются.
654. Пальцы Рогдая сжимают челюсть Кальнишкера. Диафрагма.
655. Из диафрагмы: слепое мраморное лицо Аполлона.
656. Письменные принадлежности, разложенные с необыкновенной тщательностью и любовью: чернильница, стопка ручек и карандашей, тряпочка для обтирания перьев, аккуратно нарезанная бумага, пресс-папье, машинка для оттачивания карандашей.
657. Салон баронессы. Допрос Рахили полицейским чиновником. Рахиль прижалась к статуе. Чиновник пишет протокол много часов. Он пишет медленно, каллиграфически, забыв обо всем на свете. Почерк его — дьявольской красоты.
658. ИТАК, ВЫ ПОЛИТИЧЕСКАЯ, А НЕ УГОЛОВНАЯ?..
659. спрашивает чиновник и, получив утвердительный ответ, снова начинает разрисовывать исписанные листы, похожие больше на японские гравюры, чем на рукопись.
660. Рахиль обнимает мраморные ноги Аполлона. Статуя чуть-чуть сдвинулась с деревянного своего основания.
661. Рогдай входит в гардеробную комнату Эллен. Он открывает платяной шкаф и перебирает платья, висящие на плечиках.
662. Раскрытый шкаф Эллен. Вещи светской женщины. Туфли, платья, духи, перчатки.

663. Рогдай находит платье, в котором была Эллен, когда они познакомились, платье с длинным расшитым золотом поясом.
664. Баронесса Гренне и старички выходят гуськом из комнаты... Разъяренный итальянец бросает им вслед хлыст и попадает в согбенную спину Сан-Сальвадора.
665. В гардеробной Эллен. Рогдай снимает со стены портрет, изображающий его в пору юности и силы. В стену вбит крюк.
666. Крюк на стене.
667. В салоне. Чиновник кончил четвертую страницу и собирается писать пятую. Не спеша промокает он исписанный лист, любуется им, встряхивает его. В комнату входит Маффи.
668. ВЫ ЕЩЕ ЗДЕСЬ?
669. Чиновник, брошенный с небес на низменную землю:
670. ФРЕЙЛЕЙН УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОНА ИМЕЕТ ЧЕСТЬ БЫТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНИЦЕЙ. Я ПИШУ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ...
671. Маффи зевает, машет рукой.
672. КОНЧАЙТЕ И УВЕЗИТЕ ЕЕ... ПОРА СПАТЬ...
673. Маффи снимает с себя фрак, кидает его. Фрак зацепился за статую и повис на руке Аполлона. На тахте для Маффи приготовлена постель. На ночном столике выставлено все, что бывает нужно ночью сорокалетнему мужчине, т. е. облатки, бутылка содовой воды, французский роман, халат и проч. и проч. Итальянец расстегивает воротник. Морщится, воротник сидит туго.
674. Рахиль, не отходя от статуи Аполлона, спрашивает Маффи:
675. ГДЕ РОГДАЙ?
676. Маффи швырнул воротник, наливает себе содовой воды и отвечает:
677. РАЗВЕ Я СТОРОЖ БРАТУ МОЕМУ, АВЕЛЮ?..
678. Статуя Аполлона сдвинулась с места. Рахиль уперлась в нее плечом, она сбрасывает с пьедестала саженную фигуру. Статуя Аполлона падает на пол, на тахту, разбивает голову Маффи, разлетается на множество кусков.
679. Рахиль повалила Маффи на тахту. Она царапает ему лицо и кричит:
680. ГДЕ РОГДАЙ?

681. Голова Маффи разбита, глаза залеплены. Рахиль душит его, чиновник набрасывается на девушку, зажимает ее в наручники.
682. Окровавленный, ослепленный Маффи щупает руками воздух. Он приподнимается и ползком тащится к Рахили.
683. Полицейский волочит по полу отбивающуюся Рахиль. Вышибает дверь и у портьеры в соседней комнате натыкается на чьи-то ноги.
684. Тело Рогдая, повесившегося на поясе, расшитом золотом, покачнулось от толчка. Оно медленно вертится и поворачивается удавленным лицом к зрителю.
685. Рахиль заглянула в лицо самоубийцы, подняла кверху руки, закованные в кандалы, и упала на пол.
686. Маффи ползет за Рахилью следом. Он нащупывает в кармане револьвер, вынимает его и стреляет не целясь.
687. Рука Рогдая, сжимавшая челюсть Кальнишкера. Пуля пробивает руку, пальцы мертвеца разжимаются, выпускают челюсть. Тело удавленника вертится и оборачивается спиной. Диафрагма.
688. Конура Баулина. Бородатый человек, примостившись у труб, чинит свои штаны, он зашивает их неумелыми, мужскими, солдатскими стежками и изредка взглядывает в сторону камеры парового отопления, где Баулин разводит котлы.
689. Баулин у пылающего котла. В подвал тихонько входит Рахиль... Она снимает косынку с головы. Голова ее седа. Она прислонилась к стене, молчит, потом спрашивает, не поднимая головы:
690. КУДА ТЕПЕРЬ?..
691. Пламя разгорающихся углей. Баулин отвечает:
692. ТЕПЕРЬ В РОССИЮ...
693. В переплете труб лицо бородатого человека, склонившегося над штанами. Он скосил глаза в сторону Баулина и снова отвел их.
694. Полоса на полу, протоптанная Баулиным и его другом.

# ПРИЛОЖЕНИЕ



# КИНОСЦЕНАРИИ



## КИТАЙСКАЯ МЕЛЬНИЦА

*(Пробная мобилизация)*

### Часть первая

На вершине скирда; озаренный солнцем степной орел. Облака. Края их озарены закатывающимся солнцем. Саша Панютин, деревенский энтузиаст и изобретатель, устанавливает антенну на ободранной крыше бывшего барского дома. С крыши видно:

РОДИНА ЕГОРА ЖИВЦОВА — ДЕРЕВНЯ ПОВАРЕНШИНО.

Деревня, опоясанная лесами. Змеится и блестит река.

Неубранные поля, стога.

Панютин окончил работу — поставил антенну, вбил последний гвоздь.

Антенна, режущая перистые облака.

Зал бывшего барского дома — теперь изба-читальня.

Колонны, купидоны на резных ножках стола. Лицо одного из купидонов закрыто наполовину «Правдой».

На столе радиоприемник, устроенный в металлической коробке из-под пастилы, и громкоговоритель.

На скамьях — крестьяне, приготовившиеся услышать благую весть.

Большие заскорузлые руки крестьян.

Груды плугов в сарае.

Ручки плугов.

На другой скамье — комсомольцы, крутые вихры, смеющиеся глаза.

В разные стороны углов расходятся два ряда рук — молодых и старых.

Черевков — избач-комсомолец, рослый добродушный детина, у аппарата. Он поднял руку.

СЛУШАЙТЕ МОСКВУ, ГРАЖДАНЕ...

Московская радиостанция — кружево стальных перекладин.

Коробка из-под пастилы, детектор, рычажки. Рука Панютина двигает их.

В избе-читальне ряд деревенских старух, исполосованных морщинами.

За скамьями толпятся крестьяне.

Разодетые девки.

Парни с гармошкой.

На фоне стенной газеты сивый старик в лаптях, в меховой шкуре. Шкура тащится за ним, как за римским патрицием.

Вдохновенный Черевков:

СЛУШАЙТЕ МОСКВУ, ГРАЖДАНЕ...

Крыши главной улицы в Москве. Лес антенн.

Старуха в латаной шали держит у уха трубку. Голова ее охвачена металлическим обручем.

ЗАГОВОРИЛА.

Большие капли пота потекли по старушечьему лицу.

Большой театр в Москве.

Сцена Большого театра.

На трибуне оратор-китаец. Перед ним микрофон от радио.

МИТИНГ ПРОТЕСТА КИТАЙЦЕВ, ЖИВУЩИХ В МОСКВЕ, ПРОТИВ НАСИЛИЙ АНГЛИЧАН.

Переполненный китайцами театр.

Пятна света на скуластых лицах.

Цепь роговых очков.

Ряд студентов-китайцев в роговых очках.

Люстра Большого театра отражается в очках.

Оратор-китаец. Над ним статуя Ленина с протянутой рукой.

Свет блестит на бронзовой голове Ленина.

Сквозь восьмидесятилетние пальцы старухи металлическая трубка радио.

Смятенное лицо старухи.

ЧТОЙ-ТО БОЖЕСТВЕННОЕ ГОВОРЯТ, А ЧЕГО, НЕ ПОНЯТНО...

Старуха крестится.

Оратор-китаец.

Ряд дремучих деревенских бород.

В бороде застрял колос.

Руки китайцев на бархатной обшивке балкона.

Среди студентов — восторженно бушующий Живцов, секретарь комсомольской ячейки Поваренщино. Он приехал делегатом на съезд Авиахима и завернул между делом на китайский митинг. Пиджак его, одетый на толстовку, распахнут. Вокруг тела вьется цепь от дедовских часов.

Он низенький, прыщавый, длинноволосый, в растрепанных больших сапогах. Грудь его разукрашена значками. Тут — КИМ и Авиахим, и Мопр, и О-во спасания на водах и многое другое.
Китаец на трибуне говорит очень горячо.
Живцов повторяет все жесты оратора.

ДОЛОЙ МИР-Р-РОВОЙ ИМПЕРИАЛИЗМ.

Кричит Живцов самозабвенно.
Раскрытый перекошенный рот Живцова и 32 неприкосновенных его зуба.
Сосед Живцова — студент-китаец — снимает очки, протирает их, близорукими радостными глазами смотрит на Живцова и протягивает ему руку.
Живцов и китаец со страстью трясут друг другу руки.
Московская улица. Густой пар из окна прачечной «Личный труд Су-Чи-Фо».
Из пара выплывает горка ослепительно выглаженного белья.
Солнечный луч пронизывает движущиеся столбы пара и ложится на белье.
Внутренность китайской прачечной. Китаец, голый до пояса, с клочковато-азиатской бороденкой стирает претенциозные дамские панталоны.
Над китайцем в золоченой раме олеография: «Ночь в Венеции».
По лицу гондольера текут слезы. Это — пар.
Стоянка аэропланов на берегу Москвы-реки.
Плакат: «Агитполеты для делегатов съезда Авиахима».
В кабинку самолета входят киргизы в халатах.
Пола цветистого халата над колесом самолета.
Старая китаянка — жена Су-Чи-Фо — гладит. Слезы падают на белье.
Она перeглаживает.
Крылья летящего аэроплана.
В прачечную входит сын Су-Чи-Фо — студент, сосед Живцова по Большому театру.
Еще одна слеза на белье. Старуха перeглаживает.
Су-Чи-Фо привязывает к чемодану новенький жестяной чайник.
Москва с аэроплана.
Су-Чи-Фо вынимает железнодорожный билет из сложных карманов жениной кофты и передает его сыну.
Железнодорожный билет — Москва—Чита—Маньчжурия.
Кружева, придавленные утюгом, трепещущая рука китаянки.

Восторженный Живцов в кабинке летящего самолета.
Снятая сверху Москва-река. Берега ее покрыты газетными листами.
Купальщики жарятся на солнце, читают газеты.
Живцов стучит пилоту.

ОЧЕНЬ ЛЮБОПЫТНО, ТОВАРИЩ, ПРЯМО ОТОРВАТЬСЯ НЕ МОГУ, А ТОЛЬКО НАДО К ПОЕЗДУ, В ПОВАРЕНШИНО.

Самолет снижается.
Свисающие с гладильной доски кружева. Утюг в руке китаянки.
Слеза падает на утюг и кипит.
Отъезжающий сын Су-Чи-Фо прощается с отцом. Он берет руку, окруженную облаком мыльной пены.
Подходит к плачущей матери...
Самолет садится на землю...
Дверь открывается, выскакивает Живцов.
На плече у китаянки отпечаток руки сына из мыльной пены.
Колеса самолета.
Движущиеся колеса трамвая.
Костыли на ступеньках трамвая.
Движущиеся колеса автобуса.
Мощные колеса паровоза.
Сигнал: в руке железнодорожника три раза качнулся фонарик.
Колеса паровоза дрогнули, двинулись.
В тамбур вагона влетают вещи Живцова, а за ними и сам Живцов.
Живцов сталкивается в тамбуре со студентом-китайцем.
Работа стрелок. Множество рельс у большого Московского вокзала.
Живцов говорит:

ДАЛЕКО ЕДЕШЬ?

В одной руке китайца заграничный чемодан, в другой — жестяной чайник. Он отвечает:

В ХАНЬКОУ.

Пригородные строения плывут мимо поезда.
Работа стрелок (общий план).
Живцов прижимает к груди купленную им в Москве гармошку.

А Я В ПОВАРЕНШИНО... ПО ДОРОГЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.

Говорит он.
Китаец улыбается, обнажая ослепительные зубы.
Поезд набирает скорость.

В озеро воткнулась луна, колышутся камыши.
На середину озера выплывает какая-то птица.
Живцов и китаец на ступеньках летящего поезда.
Оживленная беседа.
Китаец рассказывает Живцову.
Ослепительно освещенный, размытый недавним ливнем крутой подъем в горах. Старый рикша, напрягаясь и дрожа, везет в гору коляску.
В коляске англичанин и бульдог.
Тонкие лакированные колеса вздрогнули и остановились. Рикша изнемог.
Затем колеса вновь поползли наверх, ползли медленно, трудно.
Китаец рассказывает.
Мимо поезда: русский пейзаж — река, облитая луной, убегая, изгородь поднимается по холму.
На ступеньках вагона китаец все рассказывает потрясенному Живцову о своей родине.
Хлев. Бочка с водой. Огни пробегающего поезда в воде.
Корова ломает их, пьет. Капли стекают с волосатых ее губ, и в каплях продолжают сверкать огни поезда.
Мучительное движение рикши вверх.

## Часть вторая

Коровы в реке.
Над водой множество поднятых кверху коровьих морд, изнывающих от жары.
Поле. Зной. Пропылившееся стадо овец.
Овцы сунули морды под брюхо друг дружке.
Полдень. Жаркое солнце. Сонное царство Поваренщино.
Вымершая базарная площадь, забросанная шелухой, обрывками сена, навоза.
Кооперативная лавка заколочена...
На двери замок...
На замке записка:

Я УШЕДЦИ ОБЕДАТЬ.

В запертой лавке боров тычется мордой в миску с хлебовом.
Прохожий человек в венгерке отрывает от записки уголок, свертывает собачью ножку, закуривает.
Струйка дыма тянется к слепящему кругу солнца.
Налетающий паровоз.
Захолустная станция. Мелькают станционные постройки.
Перрон, заставленный множеством бидонов от молока.

По перрону прогуливаются барышни местного «высшего общества».

У каждой из них по чувствительному изъяну — то нос велик, то ноги кривые, а то прыщи.

На станцию влетает поезд. Среди ободранных маленьких бараков он возвышается и трепещет прекрасной, сложной сверкающей горой.

Китаец прощается с Живцовым.

В СЛУЧАЕ ЧЕГО-НИБУДЬ В КИТАЕ — ПИШИ, БРАТ, ОБМОЗГУЕМ.

Говорит Живцов.

Китаец снимает с себя значок Гоминьдана, прикалывает его Живцову.

Егор мгновенно ощутил себя беспомощным бойцом под знаменем Гоминьдана.

Он срывает с себя заветную, купленную в Москве гармошку, сует ее китайцу. Тот пытается отказаться, но поздно, поезд уходит.

Мимо местных девиц в окне международного вагона проплывает англичанин.

Проплывает озадаченный китаец с большой гармонией в руках.

Коновязь у трактира «Свой труд второго разряда с подачей».

На фоне внутреннего вида трактира холмистая, ободранная поверхность деревенского бильярда с деревянными шарами.

Мужицкая рука раздавливает очищенное яйцо.

Склонившись над бильярдом, Ерема, мечтательный мужик с лысой головой, в бахроме апостольских волос...

...кормит яйцом выводок цыплят, расположившихся на бильярде.

В уголке бильярда остатки Ереминой трапезы.

Чайник стоит на трех шарах с затертыми номерами.

К трактиру подбежал бодрый Живцов, огрел сонную клячу...

...постучал в окно.

ЕРЕМА.

Ерема встрепенулся...

...выбежал из трактира.

Бильярд. От топота шагов один из шаров, стоявших под чайником, качнулся и упал в лузу.

Посреди базарной площади в пыли, разморившись, спит пьяный.

Собака чешется об него, как об косяк двери, зевает, укладывается.

Безмятежная русская равнина, исхлестанная кривыми дорогами.
По проселочной дороге, оживленно беседуя, трясутся Ерема и Живцов на телеге. Ее влечет громадная лошадь, похожая на верблюда. Она запряжена в крохотную телегу. О лошади этой надо сказать, что она престарелое, положительное существо, не одобряющее своего легкомысленного хозяина Ерему.

МЕЛЬНИЦУ-ТО ЯЧЕЙКА ПОЧИНИЛА?

Спрашивает Живцов у Еремы.

СОВА, БАЮТ, НА МЕЛЬНИЦЕ УТЯТ ВЫВЕЛА...
ГДЕ ЕЕ ПОЧИНИТЬ...

Отвечает Ерема, помахивая бильярдным кием, к которому привязан ремешок,— получился кнут.
На площади валяется просмоленное бревно.
На нем выступили капли пота.
Базарная площадь.
Мужичонка, горькая беднота, доит лохматую коровенку, запряженную в телегу. Мужичонка напился, укладывается спать под телегу.
В сонное царство врывается Живцов.
Он огрел кнутом спящего посреди площади и собаку.

РАССПАЛИСЬ ТУТ БЕЗ МЕНЯ...

Орет Живцов, размахивая кием.
Спящий и собака завертелись, побежали.
Живцов барабанит в дверь запертой лавки.
Сторож избы-читальни, увидев в окно Живцова, заметался.
Из лавки высовывается припухлое, в перьях лицо приказчика и сейчас же скрывается.
Бегство встревоженных кур.
Приказчик в запертой лавке судорожно снижает цены, он срывает этикетки...
...и переписывает и ставит цены на 10% ниже.
Живцов барабанит в дверь избы-читальни.
Испытанный сторож заводит граммофон.
Встревоженные куры перелетают через плетень.
Баба, задрав подол, бежит через площадь.
Вертящаяся пластинка граммофона.
Живцов размахивает кием:

РАССПАЛИСЬ, ЧЕРТИ.

Выдоенная корова несется вскачь.
На козлах испуганный мужик.
Навстречу корове и мужику движется нескончаемая цепь возов с зерном. Урожай, видимо, велик.
На одной телеге, куда зерно ссыпано без мешков, играют

в сияющей под солнцем ржи два пузатых голых младенца.
Цепь возов пересекает базарную площадь.

ГОСПОДИ-БАТЮШКО... САМОГОНУ-ТО,
САМОГОНУ-ТО СКОЛЬКО.

Умиленно говорит Ерема...
...оглядывая поток телег.
Играющие младенцы.
Зерно под солнцем.

А МОЛОТЬ К МИРОЕДАМ?

Кричит отчаявшийся Живцов.

ГОНИ НА МЕЛЬНИЦУ, ЕРЕМА...

Вертящаяся пластинка граммофона.
По дороге к мельнице во всю прыть несется телега Живцова.
Медленно величавое течение возов.
У Еремы лопнула постромка.
Он не замечает этого, нахлестывает свою лошадь.
На краю горизонта, у реки полуразрушенная мельница с ободранным колесом.
На чердаке мельницы — недвижимая сова.

ГОНИ, ЕРЕМА...

Кричит Живцов.
Перед мельницей мостки, которые вот уже четыре года как ненадежны. Телега подлетает к мосткам.
Ерема крестится...
...телега взлетает на мост...
...доски подламываются...
...в воздухе мелькнуло крестное Еремино знамение.
Живцов, лошадь, телега падают в овраг.
Сова.
Оторвавшееся от телеги колесо катится по меже между двумя нескошенными полями.
Межа отделяет поле, на котором густая высокая стена волнующихся хлебов, от чахлой, плохо выделанной полосы.
Катящееся колесо.

ОПЫТНОЕ ПОЛЕ ПОВАРЕНШИНСКОЙ ЯЧЕЙКИ ВЛКСМ.

Жатва. На опытном поле колос густ, тяжел, высок.
Работают две американские косилки.
На одной из них избач Черевков.
На другой Панютин.
Комсомолки вяжут снопы.

«ОПЫТНОЕ» ПОЛЕ ГЕРАСИМА ЧЕРЕВКОВА.

Плохо возделанная полоса дала чахлый, редкий колос.

Герасим — азартный, трепетный мужичишка и...
...дед Черевков — дряхлый старик в посконной рубахе и широких штанах — жнут серпами.
Серп старика падает бессильно.
Жена Герасима — бойкая большая баба — вяжет снопы.
У СЫНА-ТО ПШЕНИЦЫ ПОПШЕНИСТЕЙ БУДЕТ.
Ехидно говорит она мужу.
Стена высоких хлебов и жалкие колосья Герасима.
Чистая размашистая работа косилок.
Старозаветный серп старика движется немощно. От натуги дед опрокидывается на спину, не может встать, только ногами сучит. Герасим, смотря на «работничка», плюет с досады.
Старуха ядовита...
А У СЫНА-ТО ПШЕНИЦЫ ПОПШЕНИСТЕЙ БУДЕТ.
Взбешенный Герасим бросил серп, перемахнул через межу.
...побежал к косилке, на которой работает сын, преградил ей путь.
ТЫ У ОТЦА РАБОТАЙ, СУКИН СЫН, А НЕ У ЧУЖИХ ЛЮДЕЙ.
ПОРОТЬ БУДУ.
Кричит он и хлопает себя по штанам.
Черевков, добродушнейший верзила, сгреб маленького отца, сунул его под мышку, продолжает работать.
Дед сидит на острых ягодицах, жует губами. Выцветшие его глаза слезятся. Старуха орет над ним.
С болтающейся, под мышкой у сына, ноги Герасима слетает лапоть.
К работающим косилкам приближается Ерема, несущий на плечах остатки своей телеги.
Чумазый, исцарапанный Живцов и меланхолическая Еремина лошадь, влачащая обломки оглобли, в которой запутался кий с ремешком.
Комсомольцы, завидев Живцова, бегут к нему.
Черевков, забыв об отце, бросает его.
ТЫ У ОТЦА РАБОТАЙ, СУКИН СЫН, А НЕ У ЧУЖИХ ЛЮДЕЙ.
Трепаный Герасим снова наскакивает на сына.
Межа разделяет два поля.
ТЫ У СЫНА РАБОТАЙ, ДУРЬЯ ТВОЯ ГОЛОВА — ТОЛК БУДЕТ...
Говорит Герасиму Живцов, поочередно степенно здороваясь за руки с комсомольцами.
Дед на земле.

Ряд колосьев, подрезанных косилкой.
Волнующаяся стена хлебов...
Впереди стада белоголовый пастух Тереша.
Налившиеся колосья бьют его по груди, по значку КИМа.
Пастух углубился в чтение арифметического задачника.
Страница арифметического задачника движется в высоких хлебах.

## Часть третья

Комсомольская ячейка обмолачивает зерно, снятое с опытного поля.
Дружная работа молодых неистовых рук.
Полет снопов чертит радугу в закатном небе.
Взмахи рук.
Рубахи, прилипшие к потным спинам.
Парни, густо покрытые пылью, подают снопы.
Девки на крыше молотилки принимают снопы.
Девки пересмеиваются, толкаются, пересаливают свои снопы неумеренной деревенской шуткой.
Девушка, подающая снопы, не рассчитала движения.
Сноп ее перелетел через молотилку.
Она расхохоталась, выругалась.
К молотилке прибита кружка с надписью: «У целях культурной борьбы за матюкание — копейка золотом».
Девушки ухарски бросают копейку в кружку.
Мешки постепенно наполняются зерном, сыплющимся из молотилки.
Парни уносят мешки на потных мускулистых спинах.
На гигантском омете соломы:
Черевков.
С омета видна покойная русская равнина — скошенные поля, лесок, речка.
Солома подается Черевкову стальными тросами.
В проволоке горит и ходит солнце.
Пастух Тереша все учится. Он зарылся в золотую солому.
Выписывает из книги задачу: 4+4+4+7 — будет, по мнению Тереши, 24.
Босоногие мальчишки верхами на жеребых кобылах возят к омету солому. Ноги их весело болтаются на оттопыренных лошадиных боках.
Мальчишки подвезли солому. Черевков подтягивает ее тросами и...
подгребает под ней прилежного Терешу с его задачником, тетрадкой и карандашиком.

У молотилки мешки, наполняющиеся зерном.
Деревенская церковь, превращенная в закром.
Парни сваливают туда мешки.
Церковь по самые брови Николая-угодника полна зерном.
Замусоленный флажок с буквами РСФСР.
Флажок этот прицеплен к локомобилю. Машинистом Панютиным.
Он возится у пылающей топки.
Буйный ход локомобильного колеса.
Мешки наполняются зерном.
Мальчонка лет десяти, опоясанный ремнем. На ремне висит сабля.
Едет на связке соломы наверх к Черевкову.
Подает ему повестку.
Повестка: Порядок дня Пленума Поваренщинской Сельской ячейки ВЛКСМ:
1) Международное положение в Китае — докладчик т. Живцов.
2) Электрификация водяной мельницы и по возможности всеобщее — докладчик т. Живцов.
3) Половая крайность в ячейке и уклон — докладчик т. Варя.
Мальчонка соскочил с омета и подал повестку Панютину.
Тот читает ее при свете горящей соломы.
Полет снопов в небе.
Мальчишка с саблей забрался к девкам на молотилку.
Девки черны от пыли, глаза и губы их сверкают, как у негров.
Они читают повестку с религиозной серьезностью.
Из первой части — мучительный нескончаемый подъем китайца рикши в гору.
У ободранного, сломанного мельничного колеса, у плотины, изрытой свиньями и наполненной всяческой деревенской дрянью: скелетами животных, ведрами без донышек, истлевшими козырьками — Живцов.
Он склонился над китайским номером «Прожектора».
В дверях мельницы мечтает Ерема. Он кнутиком считает: ...летающих на небе галок.
Лошадь Еремы рвет с чужого дерева яблоки и поедает их.
Искаженное лицо Живцова над фотографией.
Деталь — лицо рикши, облитого потом.
Полет снопа.
ШАБАШ!..
Парни подают последний сноп.
Место у молотилки, где работали комсомольцы,— опустело — ни одного человека. (При помощи наплыва.)

Комсомольцы, окончившие молотьбу, умываются у бочки. Вода становится чернее сажи, но в ней отражается солнце и смеющиеся лица.

Скирда. Круглый ров.

Стряпуха ставит большую миску щей.

В середине миски, в жирных щах плавает радужный круг солнца.

Деталь — восхождение рикши.

Склонившееся над фотографией лицо Живцова, сквозь сетку разметавшихся его волос видна страница журнала с изображением рабочих-китайцев, убитых в перестрелке с иностранными войсками.

Веселая трапеза комсомольцев, жующие рты, смеющиеся глаза, с ложек стекают сверкающие капли. Парни острят и...

...кружка по борьбе с матюканьем пляшет как угорелая.

Миска со щами опустела наполовину, но солнце в ней плавает по-прежнему.

На омете соломы вырастает Живцов.

Лицо его искажено печалью и вдохновением. Он вещает с омета:

У ТОЕ САМОЕ ВРЕМЯ, КОГДА...

Лицо рикши.

...КОГДА КИТАЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ЖДЕТ ВАШЕЙ ПОДМОГИ...

Набитый рот Тереши, остановившиеся его скулы, выпученные глаза.

Под столом девка толстой босой ногой толкает ногу парня. Нога играет.

Живцов уходит глубже в солому. Речь его становится все грозней:

...КОГДА ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ ХВАТАЕТ ЗА ГОРЛО И НАХАЛЬНО МЕЛЕТ ПРОЛЕТАРСКУЮ ПШЕНИЦУ...

Комсомольцы отложили в сторону ложки.

Из кузницы выглянули два цыгана: один кузнец, другой цыган привел ковать лошадь.

Живцов до колена ушел в солому, он размахивает руками:

...КОГДА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАПИТАЛ НЕ ДОПУЩАЕТ НАС ВОССТАНОВИТЬ МЕЛЬНИЦУ...

Полукругом оставленные ложки.

Под столом девка толкает соседа. Нога парня недвижима.

Копыто лошади дергается в руке кузнеца.

Живцов по пояс ушел в солому. Пыль и солнце...

...КОГДА КИТАЙСКИЕ БРАТЬЯ ОБЛИВАЮТСЯ КРОВЬЮ...

Лицо рикши — страшное, голое, черное, круглое, как отполированный чугунный шар, по которому стекают потоки солнца и пота.

Комсомольцы встали, подошли к омету.

Молодые спины, молодые головы, крутые вихры.

В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ — ВЫ...

Разрезанный калач с изюмом.

Рикша упал и на четвереньках лезет, лезет прямо на Живцова. Лицо Живцова. Блуждающие глаза, вдохновение его ищет выхода, вдохновению его нужно прорваться, и оно прорывается.

А ПОТОМУ ОБЪЯВЛЯЮ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ЧЛЕНОВ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА МОБИЛИЗАЦИЮ НА ЗАЩИТУ КИТАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ДОБРОВОЛЬЦЫ, ПОДЫМАЙ РУКИ!

Руки комсомольцев взлетают кверху.

Саша Панютин поднимает искалеченную руку.

На небе, на пламенеющем облаке — рука Панютина с отрубленным пальцем.

Варя-комсомолка, вязавшая снопы, крепко целует свою соседку.

Лошадь вырвала копыто из рук кузнеца.

Цыган вскочил на подкованную лошадь и помчался.

Вокруг Живцова смыкается трясущийся веселый лес поднятых рук.

У комсомольцев такие лица, точно они дают клятву.

А Живцов... Живцов понял, что он совершил необыкновенный, совершенно неожиданный подвиг.

Он с каким-то недоумением, по пояс в соломе, отступает перед надвигающимися ликующими товарищами.

Ошалелый цыган скачет по деревенской улице. Ему навстречу две старухи с ведрами на коромысле. Одна старуха большая, другая маленькая.

ВОЙНА!

Крикнул им цыган и помчался дальше.

Маленькая старуха, облитая с головы до пят водой из ведра своей спутницы — большой старухи.

Клубы пыли по дороге за скачущим цыганом.

## Часть четвертая

Ночь в Поваренщине. Странная, многозначительная ночь.

В окнах мечутся огоньки.

Дым валит изо всех труб, расстилается по звездному небу.

Луг. Цветы колышутся под луной. По цветам скачет цыган на лошади.
Цветы под лошадиными копытами.
Костер тянется к небу.
У костра на опушке леса — цыганский табор.
Старик, озаренный пламенем костра, рассказывает молодежи историю о великих конокрадах и великих певцах.
Деревенское кладбище. Кресты, облитые луной.
Ерема поспешно копает.
Морда коня в пене.
Цыган подскакал к костру.
Вертясь на вспененной лошади, он кричит:

ВОЙНА!..

Из-под кибитки, обращенной к огню, лицо старой цыганки.
У табора, в лесу, в луже дождевой воды дрожит отражение молодого месяца.
На полу горы убогих деревенских сапог, требующих починки.
Тусклый жировичок освещает хату сапожника.
Он и дочка его, девочка лет десяти, работают лихорадочно.
Старческая рука и детская ручонка вперемежку, изо всех сил, стучат молотками по подметкам.
В окно просовывается чья-то рука, бросает на кучу сапог еще три пары громадных, как дома.
Девочка, у нее полон рот дратвы, поворачивает важное рабочее лицо.
В домах мечутся огоньки.
Карта Китая, освещенная колеблющимся светом свечи.
По карте ползает громадный палец.
Черевков, Тереша и еще один «доброволец» склонились над картой.
Черевков водит пальцем по карте. Он высказывает следующий стратегический план:

ЧЕРЕЗ СИЧЬЖЮУАН ПРЯМО НА ПЕКИН И МАХНЕМ...

Тереша склоняется к тому, чтобы действовать осторожней:

В ОБХОД ЕГО, ГАДА, ВЗЯТЬ.

Плачущая старуха Черевкова складывает пироги в сумку.
Сын, желая утешить старуху, берет ее в охапку, вертит во все стороны, пляшет с ней:

ОХ, МАМКА, ЗАВИНТИМ ДЕЛА.

Старуха пляшет, плачет и смеется.
Лицо деревенской знахарки.
В избе богатея.

Знахарка разлила по стаканам наговоренную настойку из мух, подает ее ужасающимся парням.

С МОЛИТВОЙ ВЫПЕЙ... ГОСПОДЬ, ГЛЯНЬ, НАУТРО И ВЫВЕРНЕТ... НИ НА КАКУЮ ВОЙНУ НЕ ПОЙДЕШЬ...

Знахарка с полным знанием дела плюет на все четыре стороны и шепчет заклинания.

Обезумевший от страха парень мечется, крестится и пьет.

Черевков все пляшет со своей плачущей и смеющейся старухой:

ОХ, МАМКА, ЗАВИНТИМ ДЕЛА.

Парень катается по полу...

...лицо его сведено судорогой, на губах пена.

Белоснежная модель Волховстроя, вырезанная вдохновенным ножиком Саши Панютина. Сквозь слюдяное оконце игрушечной электростанции пламень копеечной свечи.

Головы Живцова и Панютина сквозь оконце электростанции.

В комнате Живцова. Ободранная койка, этажерка с книгами, портфель, засохшие колосья. Только и хорошего в комнате, что пышная модель Волховстроя да полка с книгами.

Полка заставлена собраниями сочинений Ленина.

Корешки многочисленных ленинских книг.

С Живцовым Саша Панютин, твердо сознающий, что совершилось великое, но двусмысленное событие.

НАВИНТИЛ ТЫ, ЕГОР, ДЕЛОВ.

Говорит Панютин, тоскливо озирается.

Взор его падает на стул о трех ножках.

Вздыхая, он берет стул, примеряется к нему, принимается за работу.

Живцов и сам знает, что навинтил. В глубокой задумчивости он расхаживает по комнате.

Панютин чинит стул, вздыхает.

НАКРУТИЛ ТЫ, ЕГОР, ДЕЛОВ...

На деревенской колокольне юродивый бьет набат.

Цыганский табор, играя огоньками кибиток, переходит реку.

Место, оставленное табором. Вбитые колышки, навоз, тлеющие остатки костра.

На кладбище Ерема роет изо всех сил.

Обильная неисчерпаемая шевелюра Живцова. В ней медленно шевелятся призадумавшиеся, нерешительные его пальцы.

НАКРУТИЛ ТЫ ДЕЛОВ, ЕГОР...

Говорит Панютин, увлеченный починкой стула.

Корешки книг Ленина.
Живцов нерешительно подходит к этажерке, берет книгу, раскрывает.
Титульный лист. Портрет Ленина, прищурившегося, лукавого.
Склонившаяся над портретом голова Живцова, разметавшиеся обильные его волосы.
В сарае, изборожденном лунными полосами, махонький, пьяненький Герасим Черевков. Роется в сбруе, выискивает вожжу.
В избу Черевкова вламывается махонький, трепаный отец. Наскакивает на большого сына, замахивается вожжой.

ЧИЧАС ПОРОТЬ ТЕБЯ БУДУ ЗА ЭТИ ДЕЛА.

Верзила сын бережно усаживает пьянчужку на лавку, сует ему пирог.
Мужичонка, не выпуская вожжи, ест обиженно, с некоторым восторгом, проистекающим оттого, что очень уж необыкновенные события.
Медленно листается ленинская книга.
Свет падает на юмористическое лицо Панютина.

ВОТ ЕЖЕЛИ СЕКРЕТАРЬ СЕЛЬЯЧЕЙКИ КЛСМ ОБЪЯВЛЯЕТ ВСЕОБЩУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ — ЧТО ТОГДА ДЕЛАТЬ?

Говорит Панютин.
Сконфуженные пальцы Живцова в шевелюре.
Лукавое, прищуренное лицо Ленина.
Медленно листается книга.
Лицо Живцова над переворачивающимися страницами.
Панютин, мурлыча песенку, пристраивает к стулу четвертую ножку.
Страница перевернулась, легла. Здесь должна начаться выписка из Ленина, которую можно отнести к необычайному происшествию в Повареншино.
Выписка.
На полатях в избе Черевкова лежит в овчинах дряхлый дед.
Он тоже требует себе пирогов. Внук подает ему.
Выписка из Ленина.
Светлеющее лицо Живцова.
Дед на полатях жует пироги. Горох сыплется по овчине.
Лошадь Еремы бродит по селу, стучится в окна, ищет хозяина.
Окошко приоткрывается, ей кричат:

НЕТУ ЕРЕМЫ, ПРОВАЛИВАЙ...

И она идет дальше.

Ерема выкопал из могилы что-то длинное, завернутое в рогожу.
Он очень доволен, вытирает рукой пот.
К нему приближается костлявая подруга лошадь, волочащая оглоблю. Она наконец нашла его.
Лошадь устремляет на хозяина укоризненный взор — шальной ты, мол, Ерема, несерьезный человек.
Она берет его зубами за ворот, тащит.

ИДУ, ИДУ.

Бормочет сконфуженный Ерема.
Живцов закрывает книгу и медленно приподнимает лицо, озаренное внезапно счастливой, все разрешающей мыслью.
Модель Волховстроя. Сквозь слюдяное оконце лицо Живцова.
Панютин ставит на пол стул, прочно стоящий на всех 4-х.
Четыре ножки стула.
Среди цветов, в луже дождевой воды дрожит молодой месяц.
На фоне побледневшего неба дымятся повареншинские трубы.

## Часть пятая

Небо. Рассвет.
Петух влетает на забор, закукарекал.
Петушиная нога со шпорой.
Лапоть со шпорой.
Тереша, обутый в лапоть со шпорой, идет по дороге.
Впереди Терешиного стада новый пастух — старый, прокуренный, грязный.
Вброд по реке переправляется необозримая цепь телег.
Река бурлит, сияет, льется между колесами.
На телеге, ушедшей в воду, девки и мужики. Девичьи ленты летят по ветру.
Цветы плывут по реке.
Три парня, распевая, обнявшись за плечи, идут «являться» на сборный пункт. Они увешаны оружием и гармошками.
На краю горизонта, по кривым дорогам, текут толпы крестьян.
Ребят поприбавилось. Их пятеро.
Они стучат в окно к богатеям.

ВЫХОДИ, МАКСИМКА... ЯВЛЯТЬСЯ НАДО.

В запертой горнице — распростертый на полу — кулацкий сын.
Мертвенно искаженное его лицо.

Парни идут дальше, их уже семь.
У закрытой винной лавки...
Плакат: «По случаю гражданской войны в Китае продажа русской горькой закрыта на 3 дня».
На фоне плаката блаженно пьяные трепаные головы отца и деда Черевковых.

И ЭХ ЖЕ ТЫ, РАССЕЯ, ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА.
ДА ЭХ ЖЕ ТЫ, РАССЕЯ, ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА.

Черевковы пляшут самозабвенно.
С холма текут толпы людей. Великое переселение повареншинских народов.
В толпе два гиганта крестьянина, похожи друг на друга, верно, братья.

АЛЬ ПОМЕЩИКУ ОТДАВАТЬ.

Говорит один из них, указывая на...
Расстилающуюся перед ними прекрасную необозримую Россию.

НЕ ОТДАДИМ.

Отвечает другой.
Четыре твердо идущих ноги в лаптях.
Старуха Черевкова дает сыну крестик. Парень сконфужен, отказать трудно, а взять незачем.

ЖИТЕЛЕЙ-ТО КИТАЙСКИХ ГЛЯДИ НЕ ОБИЖАЙ...
ЦЫБИК ЧАЮ ВОЗЬМЕШЬ И ДОВОЛЬНО С ТЕБЯ.

Наказывает старуха сыну.
Парень незаметно прячет крестик за голенище.
Всю улицу заняли поющие, обнявшиеся за плечи парни.
Их уже не семь, а пятнадцать.
Цветы плывут по реке. ЗТМ ⟨затемнение⟩.
Разукрашенный всеми мыслимыми значками Егор с портфелем в руках, в папахе шествует к мельнице, к сборному пункту.
За ним движется построившееся в ряды неисчислимое воинство.
Тут и комсомольцы со знаменем, и охотничьими ружьями, и гармошкой.
Тут и деревенская бородатая пехота в лаптях, опутанная воющими бабами,
орущими младенцами,
лающими собаками.
Тут и кавалерия, пять лесных объездчиков в германских касках, оставшихся со времен великой войны.
Живцов взошел на холм, величественно вздел руку.
Воинство онемело.
Все глаза впились в главнокомандующего Егора.

Сквозь ряды пробирается запыхавшийся Ерема. В руках его завороченный в рогожу предмет, выкопанный им на кладбище. Он с размаху ставит его перед Живцовым, разворачивает — оказывается, пулемет.

ВОСЕМЬ ЛЕТ ДЕРЖАЛ — ЖЕРТВУЮ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.

Истекая восторженными словами, говорит Ерема.

Воинство сделало на караул.

Цыган скачет по улице заштатного города.

НАЧАЛЬНИК N-СКОЙ УЕЗДНОЙ МИЛИЦИИ В РАЗГАРЕ МИРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Двор милиции в заштатном городке.

Начальник в галошах на босу ногу, в галифе со штрипками стрижет овцу.

Во двор влетает цыган.

ВОЙНА!

Орет он, вертясь на лошади и докладывая...

пораженному начальнику о начавшихся в соседней волости военных действиях против милитаристов, засевших в Шанхае.

Живцов у мельницы на вершине холма.

Ерема ласкает пулемет.

Живцов поднял руку:

ГРАЖДАНЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ, НОЧЬЮ ИМЕЛ СВЯЗЬ СО ВЦИКОМ... КИТАЙСКИЕ БРАТЬЯ САМОСИЛЬНО УПРАВЛЯЮТСЯ... ОПРЕДЕЛЕННО ВЦИК СССР ПРЕДЛАГАЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ТЕКУЩИМИ ДЕЛАМИ — ПОЧИНИТЬ МЕЛЬНИЦУ НА 100% ЗАДАНИЯ.

Собака Тереши зевнула, помахала хвостом, отошла.

Разочарованный Ерема переводит глаза с...

...пулемета на Егора...

...с Егора на пулемет...

Группа светлеющих старушечьих лиц.

Ряд комсомольских лиц, игра их: сначала изумление, потом усмешка.

ПЕРЕХИТРИЛ... РЯБОЙ ЧЕРТ...

В сарае Панютин возится с инструментами: лопатами, топорами, пилами, мешками с песком.

Тереша с восторгом отвязывает от лаптей шпоры и прячет их в карман.

ПЕРЕХИТРИЛ... ИВАНЫЧ.

Варя кричит Тереше:

ЗАЧЕМ ПРЯЧЕШЬ... ВЫБРАСЫВАЙ.

Тереша отвечает:

АВОСЬ ПРИГОДИТСЯ...

Шпора оттопыривает карман Тереши.

Черевков опрометью кидается к матери.

ПОЛУЧАЙТЕ, МАМАША...

Он отдает старухе крестик, наконец-то избавился.

Возмущенный Ерема, сопровождаемый пьяненьким Герасимом Черевковым, тащит прочь пулемет.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖОН Я СЕГОДНЯ КОГО-НИБУДЬ ПОБЕДИТЬ.

Орет Ерема.

ТЕКУЩИЕ ДЕЛА ВЦИКА СССР.

Раскрытый сарай возле мельницы. Комсомольцы разбирают инструменты: лопаты, топоры, пилы, тачки.

По дороге верхом скачут милиционеры, предводительствуемые начальником.

Недостриженная овца.

На дне оврага сидят Ерема и Герасим.

Пробуют пулемет.

Пули чертят отвесно стоящие стены оврага.

ТЕКУЩИЕ ДЕЛА ВЦИКА СССР.

Взмах лопат.

Взмах рук.

Взмах лопат.

Взмах рук.

Сыплющаяся земля.

Дружная работа комсомольцев на плотине.

Шпора порезала Терешин карман и вышла наружу.

Горка гармоний, отложенных в сторону.

Горка оружий, отложенных в сторону.

Взмахи лопат.

Взмахи рук.

Стройка на мельнице — пыль столбом — топот.

В столбах пыли неистовый Живцов.

Тонкая струйка воды втекает в грязный пруд.

Милиция применяет тонкий стратегический маневр, окружает овраг, где стрелял Ерема.

Милиционеры ползут на животах с ружьями наперевес.

Обнявшись с пулеметом и друг с дружкой, в овраге глубоким сном спят Ерема и его соратники.

Милиционеры с ружьями наперевес подползли к краю оврага.

Кидаются на спящего Ерему.

Ерема, погребенный под горой барахтающихся милиционеров.

У-Р-Р-Р-А!

Кричит проснувшийся, не понимающий, в чем дело, Ерема.

ТЕКУЩИЕ ДЕЛА ВЦИКА СССР.

Черевков прибивает к ободранному мельничному колесу новые тесины.

Плотина все растет, мешки с песком падают в воду.

Работа внутри мельницы.

Потревоженная сова...

...вылетает из мрачного своего убежища.

Дуло ружья — выстрел.

Приток реки, ранее текший в сторону, повернул к пруду.

Все усиливающаяся струя воды втекает в пруд.

Гнилушки, горы тряпья, всякая деревенская дрянь — всплывает на поверхность, показывается чистая вода.

Лошадь Еремы стоит над потоком, ждет, когда схлынет грязная вода,— дождалась, начала пить.

Вода поднялась — пруд полон.

Живцов поднимает заслонку.

На колесо мельницы, покрытой вперемежку со старыми свежими тесинами, падает блещущая вода. Колесо ожило, двинулось, пошло.

Убитая сова. ЗТМ ⟨затемнение⟩.

ТЕКУЩИЕ ДЕЛА ВЦИКА СССР.

Починенные, вращающиеся жернова.

Бегущее колесо, на солнце блещет стекающая вода.

Мука сыплется с жерновов.

Из церкви, превращенной в закром, крестьяне уносят на мельницу зерно.

Николай-угодник постепенно открывается.

И ЭХ ТЫ, РАССЕЯ, ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА.

Отец и дед Черевковы пляшут.

Мука течет с жерновов.

Деревенская улица. В рядах старых соломенных крыш горит под солнцем одна новая.

Цветы плывут по реке.

Сквозь бегущее колесо, сквозь струи воды — усталые, потные, веселые лица комсомольцев.

Конец



## СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ, 4

### I

Из здания ЦК ВКП(б) на Старой площади, 4, вышел сухощавый человек в кожаном пальто.

Над его головой — лепные буквы вывески: «ЦК ВКП(б-ов)».

Глаза человека в кожаном пальто смотрели не мигая прямо перед собой.

Его толкнула пробежавшая с пакетом женщина; он не почувствовал толчка и медленно пошел вперед — к длинному ряду машин, стоявших наискосок от здания ЦК.

Он нашел свою машину, открыл дверцу и сел рядом с шофером.

Долговязый шофер с лицом простодушным, курносым и азартным включил газ.

Машина шла по Москве.

Проезжая мимо Кремля, шофер искоса посмотрел на человека в кожаном пальто:

— Периферия?..

Сухощавый покачал головой:

— Москва...

Машина ныряет из переулка в переулок.

— Кто же мы, Алексей Кузьмич? — сказал шофер, не поворачивая головы.

Человек в кожаном пальто вышел из оцепенения.

— Кто мы?.. Дирижаблестрой.

— Крепко!..— покрутил шофер головой.

Мелькают огни столицы.

Шофер — не поворачивая головы:

— Если по науке, дирижабль этот — как его понять?

— Понять надо, Вася, что легче воздуха...

Вася снова покрутил головой:

— Крепко!..

Алексей Кузьмич пошевелился:

— Как бы мы с тобой от этого Дирижаблестроя сами легче воздуха не оказались!..

Вася — ворочая рулем:

— Свободная вещь...

Машина шла по Москве.

— Как держать, Алексей Кузьмич?

— На шоссе, как на дачу ездили летом... Двенадцатый километр...

Машина оставила за собой город. С обеих сторон отливают изумрудом ранние весенние поля.

Вася остановился у двенадцатого километра. Алексей Кузьмич вышел из машины и пошел по мокрой траве в сторону от шоссе. За ним неумело ступает длинными ногами Вася.

Алексей Кузьмич стоял среди бесконечного пустого поля. Мокрая трава облепила его сапоги. Вася стоял рядом.

Оба молчали. Алексей Кузьмич оглянулся кругом, обвел глазами поле — всюду было пусто, только вдали чернели развалины старой казармы да торчала кривая, голая одинокая верба.

— Площадка...— сказал Алексей Кузьмич.

Вася обвел глазами «площадку» и произнес не то соболезнующе, не то злорадно:

— Было ты поле, стала площадка!..

— Все оно здесь,— заговорил Алексей Кузьмич.— Верфь, эллинги, газоочистительная станция, газгольдеры, конструкторская — весь Дирижаблестрой!

— Ну, и в чем дело? — запальчиво перебил его Вася.— В чем дело, Алексей Кузьмич?.. Выдвинули нас в двадцать шестом цехом заведовать... не хуже людей заведовали. Выдвинули нас в замдиректора на сорок втором — тоже от людей не стыдно было! В чем дело, Алексей Кузьмич? А хоть бы и легче воздуха...

— Вот и в ЦК так говорят...— сказал Алексей Кузьмич, не то соглашаясь, не то размышляя...

## II

Деревянный барак на площадке Дирижаблестроя. Фанерными листами отгорожен небольшой куток с надписью: «Начальник Дирижаблестроя».

Через все помещение, прогрызаясь сквозь фанерный заборчик, протянула длинную черную трубу печка-времянка.

В «кабинете» начальника сидит Алексей Кузьмич в оперном кресле с перламутровой инкрустацией. Перед ним колченогий стол, заваленный бумагами, проектами, образцами материалов. В «кабинете» шум, гомон, толпится строительный народ; десятник в запачканных известью резиновых сапогах унылым басом заявляет:

— Не хотят — и край!

Мурашко вскинул на него глаза.

— Как не хотят?

— А по какому им случаю хотеть? — огрызнулся десятник.— На Анилинстрое по четвертому разряду отрывают, а у нас по второму работай! Потом столовая, вроде... как бы... не удовлетворяет...

— Это почему?

— Никак, товарищ Мурашко, не удовлетворяет... Теперь землекоп какой? Ему котлеты подай, а другой выищется — бефстроганов требует. Пообтерся народ!..

Мурашко записал в блокнот и обернулся к другому прорабу — рябому человечку с металлическим метром в руках:

— Ты чего?

Многочисленность и непрерывность строительных огорчений выработали в прорабе мрачную решимость в выражениях:

— Я?.. Через два дня стану...

— Цемент?..

— Он... Бочек сорок наскребу — и аминь.

За перегородкой на ящике, заменявшем стул, сидела секретарша — полная, добрая, розовая женщина. На втором ящике побольше лежали бумаги и стоял телефон, похожий на полевой и напоминавший своим видом фронт и передовые позиции. Секретарша безмятежным голосом сказала через перегородку:

— Алексей Кузьмич! Четвертый стройтрест...

Мурашко взял трубку:

— Мурашко у телефона...

Тут возникает большой кабинет директора стройтреста, человека с удивленно-поросячьим молочным лицом. За креслом директора стоит, нашептывая ему что-то на ухо, зам с черно-синей шевелюрой и излишне выразительным лицом провинциального актера.

Директор стройтреста тонким обиженным голосом жалуется в телефон:

— Не иначе, товарищ Мурашко, как вы с луны свалились!..

— А мы воздухоплаватели,— мрачно отвечает Мурашко,— нам не страшно...

Зам нагнулся к уху своего патрона и прошипел:

— Ты покрепче!..

Директор весь надулся:

— Я повторяю, что цемента нет и не предвидится!

Зам приник к самому уху патрона:

— Ты пожестче!

— К вашему сведению,— раздается тогда удручающе ровный голос Мурашко,— к вашему сведению: из Новороссийска четырнадцатого по накладной № 94611 в ваш адрес отгружено две тысячи тонн цементу. Двадцать первого он поступил на ваш московский склад.— И начальник Дирижаблестроя повесил трубку.

Поросячье лицо директора выразило высшую степень изумления и обиды.

— Говорит... четырнадцатого отгружено,— растерянно пролепетал он,— а двадцать первого поступило на склад!

Зам с излишне выразительным лицом побагровел, потом побледнел:

— Такое дело, Иван Семенович, это была одна записка...— зашептал он и стал озираться...

«Кабинет» Мурашко. Перед столом начальника стоял коротенький бухгалтер, похожий на гуся, собиравшегося взлететь. Поглаживая себя руками, он сдобным голосом выговаривал:

— Генеральную смету мы исчисляем в двадцать восемь миллионов.

За окном — дремучий голос:

— Аксинья, стрельни сорок копеек на заварку!

Мурашко посмотрел на оглаживающего себя бухгалтера:

— Не уложимся. Берите мою цифру — тридцать пять.

Бухгалтер весь вывернулся, как от удара бичом:

— Алексей Кузьмич, разрешите доложить...

Из-за перегородки — умиротворяющий голос секретарши Агнии Константиновны:

— Возьмите трубку... ЦК комсомола...

Возникает кабинет секретаря ЦК ВЛКСМ. В кресле беленькая девушка с косами, уложенными вокруг головы. Она пробежала глазами бумаги, лежавшие на столе, и заго-

ворила с напористостью, которая не только была деловитость, но и молодость, и веселье, и сила, переполнявшие ее:

— Товарищ Мурашко, это тебе нужны, погоди?..— Девушка еще раз пробежала бумагу: — Конструкторы дирижаблей, эллингов, причальных мачт, водители аппаратов легче воздуха, механики газоочистительной станции... Погоди...— Она перевернула бумагу и закончила еще неудержимей: — Инженеры с воздухоплавательным уклоном, чертежники, работавшие на проекте дирижабля?..

Мурашко, зараженный этим потоком юности и веселья, в тон девушке ответил:

— Мне.

Секретарь ЦК отложила бумаги в сторону.

— Так вот, получишь хороших комсомольцев без всякого уклона.

Мурашко встрепенулся:

— А что я с ними делать буду?

— А другие что делают? — Секретарь ЦК посмотрела в окно — за окном была Москва.— Перемотаешь на свою катушку.

— А хваленая помощь где? — сказал тогда Мурашко.

— Зато какого мы тебе комсорга подобрали,— прервала его девушка с косицами,— бригадир сборки с электрозавода. Кремень человек.

Мурашко повесил трубку, но отсвет оживления не скоро еще сошел с его лица.

— Алексей Кузьмич,— подпрыгивал у его стола бухгалтер,— разрешите доложить... Не говоря уже об инструкции № 380, нас форменным образом режут лимитами.

В комнату Мурашко не столько вошла, сколько вломилась крохотная девушка в льняных непокорных кудрях и с лицом, на котором было написано непоколебимое упорство восемнадцати весен...

— Предупреждаю, что я их в глаза не видела! — сказала она с порога.

— Кого это? — спросил Мурашко, мало чему удивлявшийся.

— Да дирижаблей этих...

— А зачем, собственно, вам их видеть?

— Вот новое дело! — удивилась девушка.— Комсорг от ЦК комсомола — и «зачем вам их видеть»!

— Комсорг от ЦК?

— Ага,— ответила девушка.— Познакомились...

Она тряхнула руку Алексея Кузьмича и направилась к двери.

— Пойду посмотрю общежитие строительных рабочих, что-то оно кисло у вас выглядит. На дрянь похоже...

И не столько ушла, сколько вывалилась.

— Скандальная девица! — заключил, глядя ей вслед, главный бухгалтер.

— Бомба! — добавил прораб и уступил место бухгалтеру, подпрыгивающему все сильнее.

— Алексей Кузьмич, лично для меня точка зрения правительства абсолютно ясна. Дело в том, что лимиты...

— Ставьте тридцать пять...— перебил Мурашко тоном, исключавшим дискуссию.

Секретарша открыла дверь и пропустила голубоглазого розового старичка.

— Профессор Полибин,— сказала она, и на добром лице ее появились испуг и значительность.

Мурашко замахал на всех руками; комната опустела. Мурашко придвинул профессору единственное кресло с инкрустацией, а сам присел на кипу связанных паркетных дощечек.

Полибин заглянул в окно, огляделся кругом и медовым голосом произнес:

— Я бы отметил, что вы уже начали...

За перегородкой готовый взлететь бухгалтер пытался излить свое горе секретарше:

— Мне-то, Агния Константиновна, точка зрения правительства хорошо известна...

В «кабинете» Полибин, бегая по собеседнику голубыми глазками, сладчайше излагал целую декларацию:

— Я бы расценил, уважаемый Алексей Кузьмич, вопрос о кандидатуре на пост главного конструктора как вопрос более или менее неразрешимый... В самом деле, кто представляет данную дисциплину у нас в Союзе?

Мурашко придвинулся поближе на своей кипе.

— Знаменитый наш Иван Платонович Толмазов,— продолжал, неутомимо бегая глазами, Полибин,— академик, теоретик чистой воды...

— О нем и не мечтаем,— сказал Мурашко.

— Из школы Ивана Платоновича,— струился тенорок Полибина,— я бы остановился на Васильеве, но... молод, недопустимо молод...

— Недостаток, который с годами проходит,— заметил Мурашко.— А кого бы прикинуть помимо школы Ивана Платоновича?

Полибин — с остановившимися глазками, как бы проникая внутрь собственного сознания:

— Жуков, Петр Николаевич... Perpetuum mobile...[1] Фантаст, я бы выразился, маньяк... Есть еще Ястржемский, но этот, я бы сказал, не подойдет... не наш...

Мурашко согласился:

— Этот не подойдет.

Пауза.

— А если, уважаемый профессор, вас за бока?..

Необыкновенное благообразие проступило на розовом лице Полибина... Он открыл рот, но в это мгновение у секретарши за перегородкой разразилось сражение: сражалась кроткая Агния Константиновна с пожилой женщиной в берете и с вытертой горжеткой на шее.

— Профессор Полибин — величина,— тыча в Агнию Константиновну сумкой, кричала женщина с горжеткой,— но я мать, гражданка, перед вами стоит мать!

Сватовство в кабинете Мурашко подходило к концу.

— Я мог бы указать в заключение,— рябь душевного волнения тронула елей полибинского голоса,— указать на весь мой двадцативосьмилетний научный стаж, на всю мою общественную работу, как сочувствующего с 1927 года...

Мурашко постучал указательным пальцем по собственному колену и поднялся:

— Обдумаем, дорогой профессор, обсудим... Поговорим...

Полибин, округлив спину, пожал сухонькой ладонью широкую руку Мурашко и попятился назад. В дверях на него налетела горжетка. Она пропустила его, потом загородила собой дверь и перешла в наступление:

— Товарищ директор...

Мурашко нахлобучил кепку:

— Послезавтра... Сейчас уезжаю...

Но до отъезда было далеко. В дверях стояло существо, победоносно возбужденное и готовое к бою.

— Когда у матери к вам такое горе, тогда можно подождать с отъездом.— И она вытащила из сумки письмо.

— Это не от кого-нибудь письмо... Это от Елисеева...

[1] Вечный двигатель *(лат.)*.

Мурашко пробежал письмо и с интересом взглянул на посетительницу.

— Вы мать Фридмана?

— Я мать лихача...— скорбно ответила женщина.

Мурашко — запихивая бумаги в портфель:

— Товарищ Фридман... Раиса Львовна?

— Раиса Львовна.

— Все это хорошо, пилотом мы его возьмем, почему не взять, но дело-то все через год, не раньше... Потом, он ведь по субстратостатам, а у нас Дирижаблестрой...

Но Раиса Львовна не поколебалась.

— Что я у вас спрашиваю? Я спрашиваю одно: имеет право мать хотеть, чтобы ее единственный сын раскрывал парашют не в пятидесяти метрах от земли, а в трехстах метрах?.. На месте товарища Ворошилова,— всхлипывая, сказала Раиса Львовна,— я бы такого человека разорвала на куски, но, как мать, я должна терпеть...

Мурашко решительно схватил портфель:

— Раиса Львовна, право, мне некогда...

Раиса Львовна высморкалась и вытерла глаза.

— У вас, наверное, тоже есть мама?.. Она бы меня поняла, ваша мама... Как он рос?..— завопила она неожиданно.— Почему вы меня не спрашиваете, что я испытала, пока я его вырастила?.. Он же рос у меня на одном сливочном масле, на куриных котлетах, на одних витаминах. Душу я отдавала этим котлетам, все я отдавала этим котлетам, чтобы они, не дай бог, не пережарились, чтобы они, не дай бог, не недожарились... И что я этим достигла?.. Сегодня затяжной прыжок с неба, завтра с Луны...

— Знаете что, Раиса Львовна,— перебил ее вдруг Мурашко.

— Нет, я не знаю,— всхлипывая, сказала мамаша Фридмана.

— Знаете что,— глаза Мурашко засверкали, и он придвинулся к ней вплотную.— Вы должны будете поставить нам столовую, Раиса Львовна. И если ваш Лева попадет сюда — кормить его вместе со всеми остальными котлетами на чистых витаминах...

Пораженная мамаша Фридмана сделала шаг назад:

— Вы, кажется, тоже лихач, товарищ директор... Я к вам пришла с таким горем...

Но Мурашко уже перешел в наступление:

— На чистом сливочном масле, на витаминах, а? Товарищ Фридман?

## III

Ночь. Идущий поезд. Купе мягкого вагона.

Мурашко погрузился в чтение английской технической книги. Рядом с ним вяжет кружевной воротник для платья русая спокойная женщина с пробором, лет двадцати шести.

Женщина взглянула на часы:

— Первый час...

— Я выйду... вы ложитесь.

Мурашко вышел в коридор и закурил.

Из умывальной прошел рослый, смугло-румяный, длинноногий парень в форме Аэрофлота. На плече у него висело мохнатое полотенце, в руках он держал мыльницу.

— Мурашко!.. Здорово!.. Куда?

— В Воронеж...

— Попутчик?.. Попутчица?..

— Попутчица...

— Категория?..

Мурашко немного подумал.

— Скорей всего домашнее животное...

— Не интересно,— сказал рослый парень с полотенцем и вошел к себе в купе.

Мурашко курил у окна; в стекло — мокрые, черные, трясущиеся на быстром ходу поля.

Спутница Мурашко успела к этому времени облачиться в пижаму, расчесать гребнем мягкие волосы. Она вынула из чемодана черную кожаную трубку с чертежами, положила ее в сгиб постели к стене и прикрыла простыней; потом достала из сумки маленький револьвер и проверила патроны. Револьвер она положила под подушку, легла и укрылась одеялом.

## IV

Невообразимый грохот. Размахивая деревянными саблями, сражаются двое мальчишек лет пяти-шести. Человек девяти лет играет на самодельном барабане, и, наконец, патриарх — двенадцатилетний Игорь — летает по комнате, уцепившись за деревянную модель большого дирижабля, подвешенного на веревках к потолку. Спокойствие сохраняет собака — старая лохматая собака, философски дремлющая на пороге.

Маленькие оконца заставлены геранью и кактусами. Повыше цветов укреплены клетки с птицами: здесь скворцы, дрозды, канарейки и птицы непонятного назначения. Все это поет, верещит, свистит.

В углу на двух табуретах — корыто. Пышно причесанная, пухлая женщина стирала белье, медленно и равномерно намыливая его. При этом она читала книгу, поставленную на подоконник.

На пороге этой необычайной комнаты в изумлении застыл Мурашко. На приход его никто не обратил внимания, только собака открыла один глаз и снова закрыла его.

— Я, гражданка, звонил, звонил...

При звуках чужого голоса дети перестали играть и с непритворным удивлением уставились на Мурашко. Летавший мальчик спрыгнул вниз. Собака вздрогнула от неожиданности.

— А у нас не заперто,— простодушно ответила женщина с высокой прической и стряхнула с покрасневших рук мыльную пену.— Что у нас возьмешь? Вам Жукова?.. Петя! — закричала женщина.— Петя!

В ответ ей сердито свистнул скворец.

— Нет его?..— огорчился Мурашко.

Женщина вытерла руки о передник.

— Да есть он, только не откликается. Он никогда не откликается. А вы войдите...

И забыв о Мурашко, она принялась за чтение.

Комната Жукова. На окнах опять герань и клетки с птицами. На деревянных полках — реторты, колбы, пузырьки. В углу токарный станок. На полу развалившиеся штабеля книг. На стульях, на столе, на кровати разложены чертежи. За столом с изрезанной клеенкой сидел в черной гриве волос человек лет пятидесяти в стальных очках, в ненужной бороденке и быстро чертил рейсфедером.

Мурашко кашлянул, постоял, пошуршал ногами. Но человек за столом ничего не слышал, или, вернее, он слышал таинственную, ему одному понятную музыку. Мурашко кашлянул громче. Жуков поднял голову от чертежа:

— Да?..

— Я из Москвы...— сказал Мурашко.

— Короче,— перебил его Жуков.

— Хочу предложить вам работу...

Жуков, откинув голову, захохотал, потом умолк, потом сказал отрывисто:

— Состою на службе... Конструктор привязных аэростатов... Халтурой не занимаюсь.

— Не то,— остановил его Мурашко.— Вы подавали в Совнарком докладную записку о проекте нового дирижабля?

Жуков вскочил:

— Комиссия? Вы комиссия? Черт вас побери!

Он выхватил из открытого ящика кипу бумажек и начал швырять их в Мурашко:

— Вот они, вот они!

— Кто — они? — сказал Мурашко.

— Справки от докторов, черт вас побери! Справки, что я здоров... Не удалось толмазовым вашим свести меня с ума! — неожиданным фальцетом взвизгнул Жуков.— И не удастся!..

Его привела в чувство невозмутимость Мурашко. Он смешался, сердито блеснул глазами из-под очков, отвернулся.

— Зачем вы приехали?

— Пригласить вас на работу в Дирижаблестрой.

Жуков с силой провел черту рейсфедером, откинулся, подумал и мирным, скорее утвердительным, тоном сказал:

— Вы приглашаете меня?.. Вы сумасшедший?

Мурашко вынул картонный квадратик с фотографической карточкой.

Жуков в ужасе отпрянул.

— Бумажка?!

— Всего только удостоверение начальника Дирижаблестроя.

Жуков пронзительно посмотрел на гостя — за стальными очками горела буйная, упрямая мысль. Он провел рукой по волосам, затем быстро свернул несколько чертежей, взял две папки, связал все это веревкой, надел пальто, нахлобучил шляпу.

— Едем,— сказал он.

Оба вышли в соседнюю комнату.

— Катя, я еду в Москву,— невнятно пробормотал Жуков и неумело потрепал ребят по волосам.

Жена Жукова вытерла руки, подошла к мужу, поцеловала его в бороду и сказала:

— Привези лимонов.

Жуков, глядя поверх детей:

— Цицерону не забыть цитварного семени... Цицерон — это скворец,— растерянно сказал он Мурашко и вдруг заорал на детей: — Мать не обижайте!

— До свиданья, товарищ Жукова,— поклонился Мурашко.

— До свиданьица! — Она перестала читать и с детским любопытством спросила: — А зачем вы его забираете?

— Очень нужен,— сказал Мурашко.

Собака открыла сразу оба глаза. Отчаянно свистнул скворец...

На глухой провинциальной улице Мурашко и Жуков остановились на повороте, пропуская мимо себя автомобиль.

— Должность ваша будет...

— В Дирижаблестрое я готов подметать полы! — быстро сказал Жуков.

Мурашко улыбнулся:

— Будете главным конструктором, Петр Николаевич.

Жуков махнул бородой:

— Неважно... Главное, чтобы они летали...

— Кто — они?

— Советские дирижабли...

## V

Приемная в Экономсовете СНК. Обложенные пачками бумаг группы хозяйственников, директоров, докладчиков, пришедших защищать свои проекты,— люди со всех концов страны.

Прошел человек с монгольским лицом, мелькнул расшитый халат.

Раскрылись заветные двери, из зала заседания вылетел человек в расстегнутом френче, с раскрытым портфелем, из которого хочет вылететь стайка бумаг. К нему ринулся поджидавший в дверях зам.

— Придерживаться инструкции № 380,— злобно, почти мистически прошептал вошедший.

Зам встал в позицию.

— Но позвольте...

— Ничего не позволяют,— пустым голосом сказал первый.

В приемной за столом — изучающий материалы Мурашко. Главбух бросил на него огненный взгляд и простонал:

— Алексей Кузьмич!

Вытирая платком с лица пот, катится из заветных дверей директор четвертого стройтреста. Перед ним вырастает сине-черный зам в хорошо сшитом костюме.

— Зарезали! — пролепетал директор.

Зам выпрямился:

— То есть на каком основании зарезали?

— На том основании, что извольте руководствоваться установленными лимитами...

И снова стон главбуха Дирижаблестроя:

— Алексей Кузьмич!..

Распахнулась заветная дверь. Дребезжащий голос секретаря:

— Дирижаблестрой...

С места срывается докладчик — длинный человек с пенсне на шнурке. Он увлекает за собой Мурашко. Дверь за ними закрывается.

Бухгалтер переходит тогда к заму из четвертого стройтреста. В нем он находит единомышленника:

— Абсолютно не хотят считаться с тем, что если человек знает точку зрения правительства, то с таким человеком надо считаться...

Зал заседаний. Десяток людей за круглым столом. Вкрадчивый докладчик, дергая пенсне на черном шнурке, сыплет привычные слова:

— В основном инструкция № 380 выполнена Дирижаблестроем с некоторыми поправочными коэффициентами, учитывая специфичность объекта. Принимая далее повышенные лимиты по строительству, комиссия предлагает исчислить стоимость объекта в 32 миллиона 446 тысяч рублей...

В приемной у заветной двери подпрыгивает бухгалтер.

В зале заседаний — заключительное слово председателя:

— Есть, товарищи, мнение...— говорит он.— Ввиду неудовлетворительности генерального проекта, ввиду того, что крохоборчески составленная смета не дает действительных перспектив этого важного дела, есть мнение, товарищи, вернуть проект для переработки... Предельный срок строительства установить в полтора года... Сумму

капиталовложений определить ориентировочно в девяносто миллионов рублей. Предложить Дирижаблестрою представить новый проект и смету, исходя из этих показателей. Имеются возражения?

— Нет,— сказал Мурашко изменившимся, как бы охрипшим голосом,— не имеется.

Председатель кивнул секретарю, ведшему протокол:

— Возражений нет...

VI

По шоссе с громадной быстротой летит машина...

У переезда ее останавливает милиционер:

— Предъявите права.

На шоферском месте Вася, он сразу начал торговаться:

— Шестьдесят пять, больше не давал!

— Сто двадцать ты давал,— ответил милиционер.— Чья машина?

— Моя,— раздается голос Раисы Львовны, и плечо с горжеткой высунулось из окна.

— А вы кто?

— Я — Дирижаблестрой,— ответила Раиса Львовна. И когда машина тронулась, плечо с горжеткой снова показалось в окне и внушительно сказало: — Товарищ, надо знать, кого задерживать!

Машина идет по территории Дирижаблестроя, с трудом пробираясь мимо наваленных штабелей кирпича, досок, бревен, бочек с цементом. Машина едет мимо растущей кирпичной стены, мимо экскаваторов, грызущих грунт, мимо тягачей, увозящих платформы с грузом. На мгновение машина остановилась, чтобы пропустить игрушечный поезд узкоколейной железной дороги. В открытом маленьком вагончике сложены оконные рамы и стандартные двери. Глухой шум экскаваторов, скрежет лебедок, музыка стройки. В машине, остановившейся у шлагбаума, Раиса Львовна проводит с Васей производственное совещание:

— Как вы думаете, Василий, если завтра для ИТР будет на закуску рубленая селедочка?..

— Красота! — заявляет Вася.

— На первое куриный бульончик с фрикадельками...

— Пойдет! — подтверждает Вася.

— На второе кисло-сладкое мясо...

Тут Вася спасовал:

— Это — не знаю...

— Дивное блюдо,— уверяет его Раиса Львовна.— На третье штрудель...

— Красота! — мотнул головой Василий.— При вас, мамаша, свет увидали...

На повороте Раиса Львовна выскочила из машины.

— Но чего мне это стоит,— сказала она, удаляясь.— Дошло до того, что днем я мужа абсолютно не вижу...

Раиса Львовна проходит мимо остатков барака у одинокой, чудом уцелевшей вербы. Барак растаскивают молниеносно.

К прорабу величественно подплыла Раиса Львовна:

— Гражданин, где здесь вторая столовая?

Прораб — указывая на рабочих, разбирающих барак:

— Она самая...

— Ее же ломают?!

— Оно верно, что ломают,— согласился прораб.

— А новая?..— упавшим голосом сказала Раиса Львовна.

— Новую построить надо... Куда вы, гражданка?!

Перепрыгивая через обломки барака, Раиса Львовна мчалась к зданию главной конторы.

У Мурашко в этом здании новый кабинет — комната, в которой рабочие ставят четвертую готовую стену рядом с дверью. Но Мурашко сидит уже за письменным столом. Две уборщицы раскладывают на полу ковер.

Мимо секретарши пронеслась Раиса Львовна.

— Алексей Кузьмич! Ее же нет!..

— Кого нет?!

— Столовой нет! Я вне себя!..

— Выстроим, Раиса Львовна...

— Но вы же сказали заведовать?

— Заведовать успеется. А вы бы, пока суд да дело, за горло строителей, поставщиков, материальную часть...

Разговор был прерван необычным появлением Агнии Константиновны. С красными пятнами на лице она объявила страшным шепотом:

— Толмазов...

Мурашко вскочил, стал застегивать гимнастерку:

— Ну, Раиса Львовна, жара! Про Толмазова слыхали?

— Я, кажется, интеллигентный человек...— с достоинством произнесла Раиса Львовна.

Мурашко торопливо прибирал бумаги на столе, сунул тарелку с печеньем в ящик стола, поднял с полу и бросил в корзину бумажные клочья. При этом он говорил Раисе Львовне:

— Значит, действуйте... Неужели и вас учить?

— Меня учить не надо,— с сомнением в голосе сказала Раиса Львовна,— но поскольку вы просили заведовать...

И она удалилась.

Мурашко придвинул мягкое кресло поближе к столу.

В приемной около раскрасневшейся секретарши разговаривали двое: дышавший покоем и уверенностью немолодой человек с коротко стриженными волосами в просторном и дорогом костюме. Это был знаменитый человек — Толмазов. И рядом с ним — широкоплечий, чуть скуластый, тяжелый, крепко скроенный парень с невеселым лицом, аспирант Толмазова — Васильев.

— Иван Платонович,— говорил Васильев,— на вас вся надежда. Одно ваше слово...

— Скажем это слово,— ответил Толмазов голосом таким же просторным, как его костюм,— скажем, Сережа... В обиду не дадим...

В дверях — Мурашко.

— Прошу, Иван Платонович...

Мурашко за столом, Толмазов — в кресле.

— Очень уж редко видеть вас приходится, Иван Платонович.

Толмазов — с допустимым для академика кокетством:

— На этот раз я в роли просителя...

— Значит, повезло нам,— вырвалось у Мурашко. Толмазов вопросительно посмотрел на начальника строительства.

— Исполнить просьбу Толмазова,— объяснил свое восклицание Мурашко,— дело очень приятное... Приятных дел не так уж много, Иван Платонович.

Академик улыбнулся.

— Ну, спасибо. Дело идет об аспиранте нашего института Васильеве. Он недавно защитил диссертацию, защитил блестяще. Темой была моя вихревая теория.

Мурашко сочувственно кивнул головой.

— Васильев соединяет глубокие познания по аэро-

динамике с большой тщательностью и точностью в работе...

Мурашко снова кивнул головой.

— И вот оказывается, Васильева, как члена ВЛКСМ, перебрасывают на ваше строительство. Хотелось бы думать, товарищ...

Начальник строительства подсказал:

— ...Мурашко.

— ...товарищ Мурашко, что вы не станете возражать против оставления его при кафедре.

— Стану,— сказал Мурашко.— По правде говоря, были у меня некоторые колебания по поводу этой кандидатуры, но после той характеристики, которую вы ему дали... Придется вам отдать Васильева Дирижаблестрою, Иван Платонович...

У Толмазова по лицу пробежала тень. Он встал.

— Мне остается обратиться в высшую инстанцию...

В кабинет ворвался растрепанный Жуков.

— Алексей Кузьмич, просто вы кирпич после этого!.. На верфи опять...

Ошеломленный Толмазов отошел в сторону, но Жуков его увидел — и оба оцепенели.

— Здравствуйте, Иван Платонович! — раздался после паузы неожиданно тонкий голос Жукова.

Толмазов поклонился. Жуков поклонился в свою очередь, но в глазах его уже заблистали молнии:

— Как видите, жив и с ума не сошел...

— Если судить по вашей последней статье...

Жуков весь вскинулся, рванулся вперед:

— Не согласны?

Толмазов покачал головой:

— Коренным образом...

— Неужели же вы не удосужились понять?! — закричал Жуков, наступая на академика.

Толмазов повернулся к Мурашко и снисходительно объяснил:

— Мы с Петром Николаевичем спорим лет эдак с двадцать...

— В курсе,— сказал Мурашко.

Между тем Жуков кричал что-то близкое к бреду:

— Крючок, Иван Платонович, я-то крючок, никуда не гожусь, а вы похорошели, честное слово, похорошели... Красавец... Юноша-красавец, мужчина-красавец, старик-красавец... Бог — Иван Платонович, божество!..

Жуков извивался, дергал руками, метался по комнате.

Толмазов поморщился — и чтобы переменить неприятный ему разговор:

— Вы тоже с визитом к товарищу Мурашко?

Жуков чуть не плюнул:

— Да какой визит! Все из-за верфи...

Мурашко — слегка подавшись вперед:

— Петр Николаевич — главный конструктор Дирижаблестроя.

— А-а,— протянул потрясенный Толмазов.

— Вот вам и «а»! — Глаза Жукова сверкнули задорным мальчишеским огнем, и он убежал, что-то бормоча на ходу.

— Очень опасный шаг,— сказал тогда Толмазов, потерявший всю свою официальность.— Это фантазер, самоучка... Очень опасный человек!

— А мы его уравновесили,— взглянув на Толмазова, сказал Мурашко.— Мне звонили сегодня, Иван Платонович... Назначен Ученый совет Дирижаблестроя во главе с уважаемым академиком Толмазовым...

— Вы шутите? — сказал академик.

— Какие шутки,— сказал Мурашко,— надо же все-таки, чтобы они летали!

— Кто — они? — спросил Толмазов.

— Советские дирижабли...

## VII

Мы видим удлиненные корпуса верфи, разбросанные на обширной площади эллинги, газгольдеры, причальную мачту. Некоторые здания готовы, другие отделываются, третьи в лесах. Огромный экскаватор захватывает доисторическими челюстями грунт и неустанно прорубается дальше.

Мы видим готовые здания управления, аэродинамической лаборатории, новой столовой.

Мы попадаем в конструкторскую. На чертежные столы, на склоненные головы девушек-чертежниц падают яркие снопы света.

В углу над столом надпись: «Старший инженер группы оперения».

Случай свел когда-то Наташу Мальцеву с товарищем Мурашко в одном купе поезда. Теперь она на настоящем своем месте — «старший инженер группы оперения», двадцатишестилетняя русая женщина с пробором...

Ярко освещенный коридор. Блеск стен и больничная тишина.

По коридору мчится взъерошенный Жуков, его догоняет главбух.

— Петр Николаевич, ваша уборщица прислала заявление, просит пособия за счет жалованья!

Жуков — отрывисто, на ходу:

— Аксинья... Хорошая женщина. Очень хорошая женщина. Дайте пять тысяч!

Еще мгновенье — и главбух, распростерши короткие крылышки, поднимается в воздух.

— Петр Николаевич! Она же просит восемьдесят рублей!..

Но Жуков уже скрылся в дверях конструкторской.

Наташа Мальцева подняла на Жукова пристальные, спокойные глаза, молча придвинула к нему большой чертеж с надписью: «Скоростной дирижабль «СССР—1», конструкция инженера Жукова» и кивнула уборщице:

— Сергея Ивановича!

Жуков быстро перебирал груду дополнительных чертежей, лежавших на соседнем столе. Потом впился глазами в эскизный чертеж разреза дирижабля.

— Здоровенная штука!

Наташа — все с тем же пристальным, спокойным взором, устремленным на Жукова:

— Гениальная.

Жуков сердито блеснул очками:

— Девичья восторженность?..

Наташа пожала плечами:

— Очевидность...

Вошел Васильев. К нему живо повернулся Жуков.

— Сергей Иванович, ну-ка, путевку в жизнь младенцу...

— Как видите, Васильев,— негромко сказала Мальцева,— дошло дело и до аэродинамических расчетов... Слово за вами...

Васильев подошел к чертежам, склонился над ними:

— Я не совсем разбираюсь. У вас гондола...

— К чертям гондолу! — закричал Жуков.— Внутрь... Залезать!.. Никаких телег!.. Внутрь...

— Баки для горючего...— начал Васильев.

— Никаких баков! Никакого горючего. Водородные моторы... Собственным газом...

— Основные идеи Петра Николаевича...— сказала Мальцева.

— Основные идеи Петра Николаевича мне известны,— перебил ее Васильев,— тем не менее я хотел бы найти рули управления...

Ярко и страстно блеснули из-под очков глаза Жукова:

— Не найдете!

— Тогда позволительно узнать,— с неприкрытой насмешкой спросил Васильев,— как вы будете управлять кораблем?

Жуков рванулся вперед, его остановил чертежный стол.

— Васильев, вы живете в восемнадцатом веке! Вместо рулей — кольцо, восьмиметровое кольцо на хвосте. Оно дает вам управление, скорость, подвижность... Батюшки, пятый!..— закричал он, бросив взгляд на часы.— Господь бог-то ждет небось? Сергей Иванович, значит, так — раздраконить!

И убегая, главный конструктор не то продекламировал, не то прокукарекал:

— А-э-ро-ди-на-мически!

Васильев смотрел ему вслед до тех пор, пока не захлопнулась дверь.

— Не знаю, куда раньше звонить,— сказал он Мальцевой,— в психиатрическую лечебницу или в НКВД? Сумасшедший это или вредитель?

— Это гений,— ответила Наташа.

— Опровергающий дважды два?

Тогда Наташа Васильеву в тон:

— Дважды два — это вихревая теория Толмазова?

Васильев взорвался, сжал руками стол.

— Нет, уважаемые товарищи,— закричал он, как будто уже выступал на митинге.— Нет, товарищи, тут наука не ночевала! Тут дело партийное, товарищи!

— У нас все дела партийные,— сказал Мурашко, возникший в дверях.— Спокойно, молодежь.

— Ишь, старый выискался! — пробормотала Аксинья, приютившаяся в углу.

— Алексей Кузьмич,— выпрямился Васильев,— я заявляю со всей ответственностью: моя группа рассчитывать этот бред не будет. Я требую экспертизы.

Наташа прищурилась:

— В лице академика Толмазова?

Васильев — едва сдерживая ярость:

— Если вам известен больший авторитет?..

## VIII

Аэродинамическая лаборатория Дирижаблестроя. К потолку подвешены модели дирижаблей. На натянутой проволоке слабо качается серебряная, зализанная сигара с убранной внутрь гондолой и винтомоторной группой.

Рядом, в помещении аэродинамической трубы,— комиссия: Толмазов, Жуков, Мурашко, Васильев, Мальцева, Полибин, инженеры из конструкторского бюро. Гудит мотор воздушного насоса. Глаза обращены на стрелки приборов.

Мальцева выключила мотор.

Толмазов прошел в помещение модельной, за ним остальные. Он стал у стены, сверился с записью в блокноте.

— Теперь по результатам испытаний в трубе. Я принимаю водородный мотор, на это можно рискнуть. Я допускаю возможность небольшого увеличения скорости.

— Небольшого увеличения? — запальчиво перебил Жуков.— С полутораста километров на триста!

Толмазов продолжал:

— В остальном я напомню о вещах, известных каждому школьнику. При вашей конструкции кольца, заменяющего рули, кольцо неизбежно будет прилипать в пограничном слое воздуха, другими словами — дирижабль будет неуправляем. Потрудитесь взглянуть — справочник фирмы Армштадт в Мангейме...

— Все ясно,— сказал Жуков,— луну выдумал немец!..

— На луну собирались вы, Петр Николаевич,— возразил Толмазов.

— Дойдет и до луны,— проворчал Жуков.

Видя, что обсуждение уклоняется от научного русла, вмешался Полибин:

— Я бы отметил,— полился медовый голос,— некоторый дилетантизм в конструкции уважаемого Петра Николаевича...

— Придется с кольцом расстаться, Петр Николаевич,— грубо, в лоб сказал Толмазов.

— Я бы склонился к тому, чтобы присоединиться к заключению уважаемого Ивана Платоновича...— журчал Полибин.

Жуков сел в кресло. Он опустил голову, обхватил ее руками, закрыл глаза.

— Годы...— раздался его шепот,— десятилетия... ухабы... отчаяние... Мучить? — вскочил он.— Всю жизнь

мучить? — Тощее тело его дергалось. Глаза мучительно сияли.— Жрецы науки! Архимандриты!..— выкрикивал он.— Три перста — два перста... Старая вера... Никониане!..

— Это все ваши аргументы? — холодно спросил Толмазов.

Жуков закрыл глаза и затих на мгновение.

— Мой аргумент,— сказал он неожиданно раздельно,— будет тот, что построенный нами дирижабль... мною, ею,— указывая на Мальцеву,— ею...— указывая на уборщицу,— будет летать над вашей поповской головой! Летать выше всех, дальше всех, быстрее всех!

Толмазов пожал плечами.

— Это стихи, а не наука. Возможность подъема дирижабля при нынешней его конструкции я считаю исключенной...

— Есть предложение начать заседание Ученого совета,— обычным своим голосом сказал Мурашко.

Толмазов встал и двинул креслом:

— Считаю излишним.

Жуков:

— Впервые присоединяюсь к мнению почтенного Ивана Платоновича...

Мурашко огляделся, чуть помедлил:

— Поскольку испытания в трубе дали неопределенный результат,— сказал он без всякой значительности,— проверим дискуссию в воздухе...

— Тогда у меня другое,— ринулся к нему Васильев,— другое, чисто человеческое: кто будет, которые поведут в воздух собственный гроб?..

## IX

— Испытательная команда дирижабля «СССР—1» прибыла в ваше распоряжение в составе командира корабля Елисеева, пилота высоты Фридмана, пилота направления Петренко, инженера корабля Битюгова, штурмана Алексеева, радиста Аспарьяна, первого бортмеханика Гуляева, второго бортмеханика Борисова.

Перед закрытыми воротами эллинга летчик-испытатель Елисеев отдает рапорт Мурашко. Рядом с ним выстроились восемь летчиков в форме Аэрофлота.

Яркое июльское утро. Летное поле. В воздухе звено самолетов.

— Здравствуйте, товарищи! — сказал Мурашко.

— Здравствуйте! — ответили пилоты.

— А где у вас здесь Фридман?

Елисеев подвел Алексея Кузьмича к голубоглазому гиганту.

— Пилот высоты Лев Фридман.

— Ничего ребенок! — сказал Мурашко.

Фридман покраснел:

— Мамаша небось натрепалась?

Раздвигаются громадные ворота эллинга. На стропах висит серебряный дирижабль «СССР—1».

У дирижабля сборочная бригада во главе с Вихрашкой. Рядом с нею, сдерживая волнение, Наташа. Жуков сидит в кресле около кормы.

Пилоты обходят дирижабль. В глазах у них жадное любопытство.

Фридман, проходя мимо Вихрашки, украдкой пожимает ей руку. Пилоты и Мурашко подходят к корме корабля.

— Ну-ка, Наташа, раздраконьте,— Жуков жестом подзывает Мальцеву,— а то я навру...

Неожиданно сильный голос Наташи:

— Товарищи, перед вами дирижабль «СССР—1» конструкции инженера Жукова. В основу этой конструкции положена новая идея, которая должна дать нам резкое увеличение скорости, радиуса действия, высотного потолка и, главное, простоту и надежность управления...

Лицо Жукова, слушающего с закрытыми глазами...

Залитая светом новая столовая Дирижаблестроя. Накрахмаленные скатерти, начищенные полы, много цветов.

Раиса Львовна не упускает случая, чтобы провести производственное совещание.

— Что бы вы мне посоветовали на первое,— спрашивает она у главбуха,— фаршированную селедку или рубленую печеночку?

— Щи, почтеннейшая! — в сердцах отвечает бухгалтер.— Когда вы дадите нам обыкновеннейшие щи?

Высоко стоит солнце. По летному полю, направляясь в столовую, идет группа пилотов и конструкторов.

Рядом шагают два земляка — Мурашко и Елисеев.

— Давно дома не был?

— Да только что оттуда,— говорит Елисеев.

— Как там наши ребята?

— Ребята цветут,— сказал Елисеев.— Федька Костромин — секретарь райкома.

— Ишь ты!

— Витька у станка... Говорили, немыслимую какую-то норму дал...

— Варюха?..— спросил Мурашко.

— Варюха замуж вышла: парень свой, только под выходной никуда не годится.

— Дергает?

— Сильно...

— Ну, а Пономарев?..

Вторая пара — Вихрашка и Фридман.

— Если ты действительно хочешь за мною ухаживать,— наставительно говорит Вихрашка,— то ничего нового ты не придумаешь. Достань два билета на «Анну Каренину», а в выходной поедем на Химкинский вокзал...

В третьей паре — юный пилот Петренко и Агния Константиновна.

— Я лично с Володей Коккинаки в корне не согласен насчет скорости. Конечно, дирижабль на большой дистанции всегда обгонит. Я Володьке так и сказал...

— Занятная машина,— задумчиво говорит идущий вместе с Васильевым второй бортмеханик Борисов, личность изглоданная и чем-то тоскливая,— очень занятная... Толмазовская вихревая теория, пожалуй, того...

— Не думаю...— процедил сквозь сжатые зубы Васильев.

Он быстро оглянулся по сторонам:

— Гроб... Летающий гроб. Вопрос еще — летающий ли?..

Мутные глаза Борисова с немым изумлением остановились на Васильеве. Тот еще раз оглянулся.

— Любительство... Авантюра!..

— Ты погоди...— растягивая слова, промычал Борисов,— ты...

— После поговорим! — Васильев заметил подходивших Наташу и Вихрашку.

— Товарищ Васильев! — позвала Наташа.— Это предательство,— сказала она Васильеву.— Это хуже, чем предательство, это тупость!

— Вечером собираю комитет комсомола,— сообщила Вихрашка и тряхнула головой.

Васильев вспыхнул:

— Вопрос в комитете поставлю я сам и еще кое-где...

Наташа всматривалась в него, как будто впервые увидела:

— Неужели ты действительно тупой человек? —

произнесла она медленно, раздельно, испытующе, как бы спрашивая самое себя.

Васильев хотел ответить, сдержался, отошел, снова вернулся.

— Пожалуйста, дай мне чистый платок.

Наташа дает ему чистый платок и забирает грязный к себе в сумочку.

Вихрашка не может прийти в себя от изумления:

— Ну и хам!..

— Почему хам? — удивилась Наташа.

— Грязный платок сует!

— Да он уехал из дому и не успел чистый взять,— сказала Наташа.— Выйдешь замуж, тоже будешь о платках думать.

— Муж? — закричала Вихрашка.

— Вспомнила! — засмеялась Наташа.— Четвертый год...

У входа в столовую выстроился весь персонал во главе с Раисой Львовной.

— Товарищи пилоты! — встретила она прибывших заранее приготовленной речью.— Разрешите от имени коллектива стахановской столовой номер один...— И заметила сына.— Смотрите, мой лихач!..— закричала мамаша Фридман.

— Мамаша,— недовольно сказал Лева,— вы опять набираете высоту?

## X

Общежитие пилотов. Ночь перед полетом.

Ораторствует Петька:

— Я Мишке так и отрезал...

— Какому Мишке?

— Мишке Громову. Кому же еще?.. Нет, Миша, я в вопросах высотного режима с тобой не согласен... Можно и без кислородного прибора брать высоту...

Важно присутствие духа...

— Треплетесь,— сухо заметил сидевший на кровати Борисов,— когда тут гроб!..

— Какой гроб? Глазетовый? — осведомился Лева.

— По желанию заказчика,— огрызнулся Борисов.— Летающий гроб инженера Жукова с кольцом на хвосте!

Я вихревую теорию тоже читал, кольцо в пограничном слое будет неуправляемо, это факт...

— Ну, если бы Вася тебя слыхал! — вскричал Петренко.

— Какой Вася? — с досадой спросил Борисов.

— Да Молоков же!..

— Отвяжитесь! — тоскливо сказал Борисов.— Тут нарушается целая научная теория!..

В дверях Елисеев.

— Митинг перед полетом?.. Спать!

— Есть, спать! — ответил Лева и растянулся на кровати.

Мигая глазами, перед Елисеевым стоял второй бортмеханик Борисов.

— Товарищ командир, разрешите сделать заявление... На основании полетного наставления СССР от полета отказываюсь ввиду ненадежности кольцевой системы управления.

Пауза.

Молчание; поиграли скулы Елисеева и окаменели.

— Пожалуйста,— сказал он.— Имеете право. Еще есть отказ?

Молчание.

— Отказов нет,— сказал Лева.

— Отказов нет,— повторил Елисеев.— Спать! — И обернувшись к Борисову: — Переходите в четвертое общежитие...

Елисеев вышел.

Борисов торопливо собирал вещи.

Молчание. Оно длится так долго, что становится невыносимым.

— Ладно,— бормочет Борисов, собирая вещи,— воздушное наставление тоже попусту не писали...

В эллинге опробование водородных моторов. Перед Мурашко вырос Елисеев.

— Второй бортмеханик отказался пойти в испытательный полет, мотивирует ненадежностью системы управления.

— Товарищ командир,— трепеща, сказала Вихрашка,— я всю винтомоторную группу своими руками собирала...

— Не могу взять в полет непилота,— сказал Елисеев.

— «Не могу взять»! — проворчал Жуков.— А кого брать, как не ее?.. У нее не полет в глазах, звезды в глазах!

Елисеев улыбнулся:

— Звезды в глазах уставом не предусмотрены...

Сомнения разрешил Мурашко:

— Пойдешь в полет как член испытательной комиссии.

— «Спасибо» говорить? — буркнула Вихрашка.

— Обойдется.

— В глазах же полет,— ворчал Жуков.— Чего вам еще?..

## XI

Раннее утро. Косые лучи солнца. Стартовая команда выводит из эллинга дирижабль. В стороне стоит группа членов Ученого совета.

— Я бы отметил весьма оригинальную форму объекта.

Фраза эта не может принадлежать никому, кроме Полибина.

Толмазов, стоящий особняком, увидел рядом с собой Васильева и высоко поднял бровь.

— Вы не летите?

— Мною подано особое мнение,— мрачно сказал Васильев.

Мощное гудение мотора.

— Я бы сказал...— начал Полибин.

— А вы скажите,— перебил его Толмазов.

Толмазов был невежлив. От этого даже Полибин разинул рот...

В рубке управления дирижабля — Елисеев, Фридман, Петренко.

У моторной группы — бортмеханик и Вихрашка. По внутреннему коридору дирижабля идут Наташа и Мурашко...

— Ну вот и летим, Алексей Кузьмич...

— А ведь насилу разрешили,— сказал Мурашко.— Толмазов с Васильевым поработали... как следует... Команда Елисеева.

— Дать свободу!

— Есть, дать свободу! — ответил стартер.

— В полете! — крикнул стартер.

— Есть, в полете,— ответил Елисеев.

Дирижабль оторвался от земли.

Жуков постоял у окна, борода его вздрагивала, потом, спотыкаясь, глядя вперед невидящими глазами, подошел к приборам.

— Рули на взлет! — команда Елисеева.

— Есть, рули на взлет!

— Держать высоту восемьсот!

Мощное, ровное гудение моторов.

Молниеносные, ловкие, уверенные движения Вихрашки у моторов.

Голос Елисеева:

— Дать полный газ!

— Есть, дать полный газ! — как эхо отзывается пилот...

На земле.

Члены Ученого совета следят за эволюциями дирижабля.

— Я бы сказал,— просачивается голос Полибина,— что атмосферная тень более или менее бессильна парализовать кольцо Жукова...

На дирижабле.

Далекий голос Елисеева:

— Держать курс сто двадцать!

И тотчас же эхо:

— Есть, держать курс сто двадцать!

Жуков взглянул на прибор.

— Скорость триста! — закричал он на весь дирижабль и простер руки — на него прыгнула Вихрашка, поцеловала его и убежала к моторам.

— Я очень счастлива! — сказала Наташа, пристально по своей привычке глядя на Жукова.

На земле.

Полибин не может отказать себе в удовольствии сообщить академику Толмазову:

— Я бы отметил, что дирижабль абсолютно свободно управляется по горизонтали, что до некоторой степени противоречит вихревой теории...

В воздухе.

Голос Елисеева в мегафоне:

— Иду на посадку!

— Давай, Елисеич,— радостно ответил Мурашко.

Голос Елисеева яснее:

— Приготовиться! Переложить рули на посадку!

И сейчас же отзываются покорные голоса:

— Есть, переложить рули на посадку!

Но высота не убывает.

Дирижабль описал еще один круг. Фридман снова повернул штурвал. Жуков посмотрел на альтиметр. Высота не убывала.

— Товарищ командир! — негромко докладывает Фридман.— Рули высоты отказали!

Елисеев покраснел.

— Переложить резко рули на посадку!

— Есть, переложить резко рули на посадку.

Еще один круг. Фридман повернул штурвал. Вздрогнуло кольцо на хвосте дирижабля. Высота не убывала.

— Потеряла я колечко,— процедил про себя Елисеев,— потеряла я любовь...

Еще один круг.

На земле.

— Что такое, Иван Платонович? — тревожно спросил Васильев.

— Они не могут опуститься,— сказал Толмазов,— что и следовало ожидать...

— Позвольте,— взвизгнул Полибин,— вы говорили, что они не смогут подняться!

В воздухе.

— Ветер,— говорит Елисеев обыкновенным своим голосом,— как бы не забросило на высоту...— И другим голосом скомандовал: — Рули на посадку до отказа!

Лева Фридман с усилием повернул штурвал. На корме дирижабля громко хлопнуло кольцо; рванулась и поползла вверх оборванная штурпроводка.

— Травлю газ,— обыкновенным своим голосом сказал Елисеев Мурашко,— и сажусь статически. С этим кольцом иначе опуститься нельзя.

Дирижабль метало над полем. Елисеев заглянул вниз, на качающуюся землю...

— Пилотам Фридману и Петренко выйти на оболочку,— сказал он,— осмотреть оперение, закрепить штурпроводку!

— Есть, выйти на оболочку.

За штурвалы сели Елисеев и штурман.

По внутренней шахте на оболочку выходят Фридман и Петька. Они ползут по оболочке, цепляясь за стропы, раскачиваемые ветром. Поддерживая друг друга, ползут

к хвосту, нащупывают оборванный кусок троса, завязывают его узлом.

Дирижабль прибивало ветром к земле.

— Как?..— спросил Мурашко.

— Лучше не бывает,— ответил Елисеев.— Заработал руль направления.

И сказал в мегафон:

— Всему экипажу, кроме пилотов, приготовиться к прыжкам!

— Есть, приготовиться к прыжкам!

— Зачем? — спросил Мурашко.

— Не рассуждать! — побагровел Елисеев.— Выполнять приказ! Прыгать по аварийному расписанию!..

Первым прыгнул за борт Мурашко. Затем посыпались бортмеханик, штурман, радист, инженер корабля.

Вихрашка, подбегая к выпускному люку, успела пожать руку Леве Фридману.

Наташа на мгновение задержалась у выпускного люка:

— Петр Николаевич, что же вы?..

— Разговоры?! — раздался голос Елисеева.

И Наташа полетела вниз.

Белыми облачками парили в воздухе парашютисты. Внутри остались замершие у рулей пилоты, Елисеев и Жуков.

— Товарищ Жуков, прыгайте!

Жуков отмахнулся.

— Бросьте молоть чепуху! Я буду до конца.

Резкий поворот рукоятки управления газом. Хлопнул, открываясь, газовый клапан.

Дирижабль шел вниз. На мгновение мелькнуло скуластое лицо Елисеева, широко раскрытые глаза Фридмана...

На земле.

Раиса Львовна вышла в форменной тужурке из здания столовой. Две подавальщицы несли за нею на блюде шоколадный торт в виде дирижабля.

— Скорей,— сказала Раиса Львовна.— Они идут домой!..

Дирижабль шел вниз.

— Отдать гайдтропы! — скомандовал Елисеев.

Полетели якоря. Дирижабль качнулся и вздрогнул в нескольких метрах от земли.

По полю бежала стартовая команда, хватая раскачиваемые ветром стропы. Нос дирижабля стукнулся о землю. Отлетел в сторону Елисеев. На него скатился расколотый прибор. Жуков упал на палубу, повалился в сторону. Пилоты уцепились за штурвал.

— Потеряла я колечко...— сказал Елисеев.— Все в порядке.— И вытер выступивший на лбу пот.

Фридман сидел, вцепившись обеими руками в штурвал.

— Вылезай, приехали! — сказал ему Елисеев.

Один за другим приземлялись парашютисты. К Наташе подбежал трясущийся Васильев. Задыхаясь, она сказала:

— Сережа, ты не помнишь, как мы рассчитали рейнольсы?

К дирижаблю бежали люди. Из открытого люка Елисеев и Лева вынесли неподвижное тело Жукова.

Всхлипнула мама, на торт мелко закапали слезы... Из-под черной гривы волос по высокому лбу Жукова расползалось пламенное, алое пятно крови. Расколотые очки бессильно свисали врозь.

— Послушайте, Жуков...— сказал Толмазов, первым подбегая к раненому.

Кровавое пятно на лице Жукова делалось все больше и заливало щеки.

## XII

Ночь. Три ослепительных луча висячих ламп озаряют склоненные головы Мальцевой, чертежницы Вари и лысую луковицу доброго старого тощего инженера Лейбовича.

В углу, затянутом тьмой, незатухающе светятся глаза Вихрашки.

— Ты скоро, Наташа? — говорит она чуть слышно и не двигаясь с места.

— Скоро...

Группа Мальцевой ищет ошибку в конструкции дирижабля. Ищут ошибку и в другом конце коридора — в кабинете Мурашко, в новом кабинете Мурашко, с тяжелой мебелью, с коврами и портьерами.

Это бурное заседание одной из бесчисленных комиссий с тем накалом страстей, который обычно предшествует переменам в жизни учреждения.

У стола выпрямился Мурашко, неправдоподобно бледный. К нему тянутся руки, сжимающиеся в кулаки, несутся яростные крики.

— Тысячи раз вам сигнализировали! — вопит Борисов.

— Право на риск! — стучит по столу графином Фридман.

Грохот восклицаний заглушил его слова. Этот грохот прорезал беспечный тенорок.

— Что за шум, а драки нет! — входя, сказал Полибин, обмахнул платочком кресло и опустился в него.

Пренебрежение, значительность, почти брезгливость, с какой он развалился в кресле, были так разительно несхожи с прежним Полибиным, что собрание застыло...

— Давайте, уважаемый,— пряча платок, кивнул Полибин Мурашко.— Давайте, я слушаю вас...

Чертежная, населенная призраками тревоги и молчания.

— Наташа, ты скоро?

Наташа встала, колеблясь, и словно чужими ногами подошла к столу Лейбовича, разложила чертеж, подозвала глазами Вихрашку.

— Мне кажется, что это здесь, Лейбович.

Озаренные лучом головы над расчетом...

В кабинете Мурашко. Закинув голову, говорит Мурашко, опираясь ладонями о край стола:

— Я возражаю и буду возражать до конца...

— Короче, уважаемый,— прерывает его Полибин.

В чертежной.

Варя, Наташа и Лейбович вскочили, как будто на месте чертежа увидели зашевелившуюся змею.

Наташа закрыла глаза, потом открыла их, лицо ее было смочено слезами...

— Вихрашка, милая...— сказала она и протянула обе руки вперед.

— И все-то дело,— ожесточенно трясла мальчишеской головой Варя.— И вся-то авария!

Вихрашка переводила глаза с Лейбовича на Варю, с Вари на Наташу.

— Лейбович, милый,— сказала Наташа, дернулась, схватила расчет и опрометью убежала.

Из кабинета Мурашко шумной толпой вывалились в коридор заседавшие.

С несвойственной ему положительностью Фридман сказал шедшему рядом с ним Петренко:

— Дирижабль я, конечно, сожгу... Гробокопатели его не увидят!.. Ты меня не знаешь, Петренко...

— Я тебя знаю,— возразил Петренко.

Мимо них прошел Мурашко. Его догнал мелкими шажками Полибин и взял начальника Дирижаблестроя под руку:

— Просился к вам старый Полибин — пренебрегли! А Полибин тут как тут... как будто бы и не стоило ссориться со стариком...

И стучащими, старательными шажками он побежал дальше. Ему навстречу, несомая крыльями счастья, мчалась Наташа. Крылья эти принесли ее к Мурашко.

— Ну-с, так-с,— сказал Мурашко,— слушали, постановили: предложить некоему Мурашко работу, пока суд да дело, свернуть; Жукова отстранить, дирижабль не то выбросить на свалку, не то снести в ломбард!..

— Алексей Кузьмич,— перебила его трясущаяся Наташа.

— Еще не все! Материалы передать прокурору. Теперь все.

— Алексей Кузьмич,— тихо сказала Наташа и взяла начальника за руку.— Я нашла ошибку...

## XIII

Он почти лег на стол. Магический свет лампы падает на гриву волос, на повязку, сквозь которую проступила кровь. Жуков чертит.

Звонок.

— Войдите,— и он приблизил лицо вплотную к чертежу.

Но это звонок у входной двери. У входной двери Наташа, Фридман, Вихрашка.

Ночь. В машине сквозь стекло мелькнуло лицо Васи. Звонок трещит безостановочно.

— Не слышит,— сказал Фридман и дернул ручку.

Дверь открылась. Она не была заперта. Комсомольцы на цыпочках прошли коридор и детскую, где спали четыре маленьких Жукова.

Подняв голову от чертежа, Жуков увидел гостей.

— Петр Николаевич! — голос Вихрашки вздрагивал, он был неумело суров и неумело торжествен.— От имени комитета комсомола, от имени всех комсомольцев мы выражаем вам сочувствие... И потом еще — мы выражаем уверенность...

— Я нашла ошибку,— ласкающим своим голосом сказала Наташа.

— Будет летать, маэстро!..— закричал Фридман и осекся. Отсутствующее лицо Жукова. Пятно крови, как звезда, на повязке, глаза, устремленные поверх собеседников.

— Петр Николаевич,— выдвинулась Вихрашка вперед,— мы должны сейчас же сделать...

— Делать надо вот что...— ответил Жуков и развернул перед комсомольцами нарисованное на ватманской бумаге чудовище невиданной формы.

— Делать надо болид будущего...

Он дернул себя за повязку.

— Вот осуществленные межпланетные путешествия... Вот полет на Луну. Скорости в тысячи километров в высших слоях атмосферы.

— Луна подождет,— ответил Фридман.— Поехали на верфь, Петр Николаевич...

На лицах комсомольцев смятение, почти отчаяние.

— Вы здесь сидите,— волнуясь, сказала Вихрашка,— Петр Николаевич, и не знаете... На Мурашко нажим отчаяннейший... Завтра другие люди будут всем ведать, не вы...

— Вы не правы, Петр Николаевич,— сказала Наташа.

При звуках негромкого, непреклонного голоса Наташи Жуков сжался, метнулся, замер.

— Сегодня нужно одно: чтобы «СССР—1» прошел испытания...

— Покажите,— протянул к ней руку Жуков.

Наташа подала расчет.

Вихрашка удалилась на цыпочках в соседнюю комнату. Быстро набрала на телефоне номер:

— ЦК партии?.. 518... Там у вас Мурашко из Дирижаблестроя... Насилу сдвинули, Алексей Кузьмич...

Голос Мурашко:

— В каком состоянии?

— Да в каком состоянии?.. Болид будущего... Сейчас потащим на верфь...

Жуков молча сидел над расчетом. Потом встал, с тоской огляделся; что-то беспомощное и печальное отразилось на его лице.

— Петр Николаевич,— боязливо сказала Вихрашка,— ждем только вас... Вся сборочная на месте...

Жуков закрыл глаза.

— Новый аэродинамический расчет...— казалось, он говорил сам с собой,— перемены в кольце... Не сделаем... Никогда не сделаем...

Он прошелся по комнате с необычайной для него медленностью и усталостью. Неожиданно улыбнулся Наташе. Закинув голову, вышел в соседнюю комнату и набрал номер телефона. Неумелыми, негородскими словами Жуков медленно говорил в трубку:

— Я телефонирую в квартиру академика Толмазова?.. Если Иван Платонович захочет, пусть подойдет к телефонному аппарату...

Из квартиры Толмазова ответила старая женщина московского профессорского типа в молодящем ее пестром халате.

— Иван Платонович два часа как спит... Кто это говорит?

— Это говорит Жуков, у которого есть дело к Ивану Платоновичу... Дело, которое никто в Союзе, кроме Ивана Платоновича, исполнить не может.

Его прервал голос Анны Николаевны Толмазовой:

— Я попрошу вас в это время Ивана Платоновича не беспокоить...

И повесила трубку.

Жуков потер лоб и обернулся к комсомольцам.

— Она просит...— сказал он запинаясь,— она просит не беспокоить...

## XIV

Жена академика ошиблась. Академик не спал. На длинном его столе разложены чертежи конструкции Жукова.

Толмазов переходит от одного чертежа к другому. Он взъерошен, руки его дрожат. Дрожащей рукой берет он пепельницу. Пепельница падает.

В дверях пудреное, насурьмленное лицо Анны Николаевны.

— Иван Платонович, ты не спишь?

— Как видишь...

— Иван Платонович, звонил этот Жуков... Я не позвала...

— Сейчас же соединить!

— Тебя не поймешь, Иван Платонович,— обидчиво сказала Анна Николаевна,— то ты кричишь, что он сумасшедший...

Толмазов изучает чертежи...

— Иван Платонович, поскольку ты не спишь, я хотела поговорить с тобой о Тамаре... Тамара просит путевку...

Толмазов поднял голову от чертежа.

— Безумен Жуков,— проговорил он,— нормальна Тамара, нормальна ты... нормален Полибин... С вами вместе стал нормален и я — и перестал быть Толмазовым!..

Анна Николаевна чуть не заплакала:

— Господи... Иван Платонович... что же это такое? Все наперебой говорят, что дирижабль не мог сесть, а ты...

— Дура! — Толмазов задохся.— Почему он поднялся?!

— На этот вопрос вы и должны ответить,— сказал голос в дверях.

Толмазов обернулся. На пороге стоял Мурашко.

— Как вы прошли? — пролепетала Анна Николаевна.

— Домработница открыла...

За дверью — полуодетая, смятенная домработница.

— Уйди,— сказал Толмазов жене.

Анна Николаевна уползла и заплакала уже за дверью.

Толмазов стоял возле чертежей, как бы защищая их.

— Чем я обязан?

— Для того чтобы «СССР—1» прошел испытания, для того чтобы дополнить, видоизменить теорию академика Толмазова, для того чтобы Советский Союз узнал, что у него есть выдающийся конструктор Петр Жуков,— для этого академик Толмазов должен сделать аэродинамический расчет по кольцу Жукова...

— Я не совсем понял.

Руки Толмазова дрожали.

— Нет, вы поняли. И еще должны вы понять, что это дело...

Вопрос во взгляде Толмазова.

— Ну, чтобы они летали. Мне поручено Коммунистической партией, поручено Советской страной... Это поручение... ну, как бы это сказать попроще... это поручение я выполню.— Мурашко сел.— Я жду ответа,— сказал он.

## XV

В очень хорошей машине развалился Полибин. Рядом угрюмый Васильев, угрюмее, чем всегда.

Мимо несутся поля, покрытые поспевшей рожью.

— Мой юный друг,— разглагольствует Полибин,— я бы сказал, что в Главном управлении вы не были на высоте... Новые птицы... новые песни... В заместителе главного конструктора я хотел бы больше уверенности и, не будем бояться слов, апломба... Призаймите у Ивана Платоновича...

— Да нечего занимать... После полета совсем тронулся...

— И очень просто, мой юный друг... Полет-то, скомпрометировав Жукова, весьма ощутительным образом задел вихревую теорию знаменитейшего академика Толмазова... У бильярдистов это называется комбинированный удар, когда одним ударом кия прорывается сукно, разбивается лампа над бильярдом и протыкается глаз партнера... Но, между прочим, в Главном управлении надо было быть энергичнее, а то как бы, мой друг, Жуков и компания не зашевелились...

Машина несется к Дирижаблестрою, мимо неярко блещущих полей...

В монтажной главной верфи сборочная бригада Вихрашки разбирает детали кольца.

— Ребята, гляди,— несется звонкий Вихрашкин голос,— чтобы за комсомольской бригадой дело не стало!..

— А когда оно за нами ставало? — басом отвечает долговязый парень, весь измазанный в машинном масле.

В дверях появилась непременная Аксинья:

— В чертежную зовут...

Вихрашка умчалась. Бежать надо было быстро, так как новый работник в конструкторской ждать не любил.

Новый этот работник был Иван Платонович Толмазов.

— Мальцева, мы проверим с вами боковые сечения... Лейбович, четыре часа на расчет... Где бригадир сборки?

— Здесь,— сказала Вихрашка и оробела.

— Фамилия ваша?..

— Аня Иванова...

— Ребята, у Вихрашки есть фамилия!

— Товарищ Иванова, в шесть часов надо закончить демонтаж кольца. Жуков, заснули вы, что ли?

— Я не заснул,— ответил Жуков.

Он смотрел на скинувшего пиджак Толмазова застенчиво и восхищенно и без особенного толка метался от одного чертежного стола к другому.

— Сережа,— Толмазов увидел оцепеневшего на пороге Васильева,— куда вы запропастились? Проверьте монтаж кольца. Завтра летим...

— На чем? — пропел тенорок за спиной Васильева, и появился Полибин.

Двинув ножкой, он склонился в сторону Толмазова и, не в силах удержать откровенной злобы, прошипел:

— Прыть для академика похвальная, но вряд ли не запоздалая...

В дверях появился Мурашко. Полибин двинул ножкой в его сторону.

— Привет товарищу Мурашко! Только что из Главного управления... Образована аварийная комиссия... Председатель оной комиссии перед вами... Для начала запечатайте-ка вы, друг мой, эллинг и распорядитесь о прекращении всяких работ.

— Письменный приказ,— сказал Мурашко.

— Воспоследует незамедлительно,— пропел Полибин и, казалось, стал выше ростом.

## XVI

В здании рядом с эллингом молча и быстро работали Васильев и Наташа, соединяя какой-то провод.

Вихрашка и Фридман в кустах около газгольдера положили жестяные пакеты и быстро повели от них электрический провод.

В будке, недалеко от здания управления Дирижаблестроя, шофер Вася и чертежница Варя соединяли в пучок тонкие провода и привинчивали к мраморной доске рукоятку.

Вася посмотрел на часы и включил рубильник.

От пакета, лежавшего в кустах, повалил густой дым. В дежурке Дирижаблестроя Петренко читает книгу. Завыла сирена. Ей ответили колокола громкого боя. Вспыхнули сигнальные лампочки, затрещал пожарный телеграф, зазвонили многочисленные телефоны на столе дежурного.

Петренко схватил две трубки зараз:

— Пожары на очистительной станции?! Первый и второй эллинги?.. Пожар на складе материалов?!

Петька бросил все трубки и схватился за единственный молчавший телефон.

— Квартиру Мурашко! Начальника строительства!.. Начальника!

Вопль Петренко долго оглашал дежурку.

Небо закрыли клубы черного дыма.

На газоочистительную станцию промчалась пожарная команда.

Спокойный голос Елисеева сказал в телефон:

— Дым подходит к эллингу, Алексей Кузьмич...

— Что вы предлагаете? — спросил Мурашко.

— Предлагаю вывести дирижабль в воздух.

— Действуйте согласно пожарной инструкции,— сказал Мурашко, положил трубку на рычаг и улыбнулся в первый раз за все эти дни.

На ходу одевались летчики.

Стартовая команда стремительно выводила дирижабль из эллинга.

С огнетушителями в руках пробежала группа комсомольцев из сборочной бригады Вихрашки.

Дым, жирный и черный, образовал на небе гряду туч, распухавших все больше.

Дирижабль оторвался и пошел в воздух...

Он прошел над шоссе, по которому мчался автомобиль Полибина.

Услышав гул моторов, Полибин выглянул из машины и увидел уходивший в небо дирижабль.

Из своего кабинета вышел Мурашко и обратился к секретарше:

— Агния Константиновна, сообщите отбой пожарной тревоги.

С борта дирижабля по радиотелефону звонила Вихрашка:

— Алексей Кузьмич, управляемость отличная. Скорость двести сорок. Все в порядке.

Дирижабль неожиданно развернулся против ветра.

— Курс сто двадцать! — скомандовал Елисеев.

— Есть, курс сто двадцать! — ответил Петренко и притворно нахмурился.

Дирижабль, послушно проделывая все эволюции, все увеличивал скорость.

И, наконец, очередь труднейшего из маневров.

— Спуск по спирали! — командует Елисеев.

— Есть, спуск по спирали! — ответил Фридман, от напряжения оскалив зубы.

Двухсотметровая серебряная сигара перешла в пике, спиральными кругами пошла к земле, на мгновение замерла и начала круто набирать высоту.

По радиотелефону звонила Наташа:

— Есть, спуск по спирали, Алексей Кузьмич! Все в порядке!

К выходившему из здания управления Мурашко подлетел ошеломленный Полибин с пакетом в руках.

— И за что только этим пожарным деньги платят! Задумали когда тревогу делать!..— повернулся к нему Мурашко.

И пошел на летное поле.

У эллинга на пустом перевернутом баке сидели рядышком два старика, закрывшись ладонями от солнца,— смотрели на плывший в высоте дирижабль.

Рядом с ними разноголосо шумела толпа рабочих и конструкторов Дирижаблестроя.

К двум старикам подошел такой же старый слесарь из монтажной, сел рядом с Толмазовым и Жуковым и, также закрывшись ладонями от солнца, стал следить за полетом «СССР—1»...

Летное поле заполнялось приехавшими из Москвы летчиками, корреспондентами, работниками авиационных заводов...

Шел третий час полета «СССР—1». Уже были побиты рекорды скорости и высоты.

Тогда к Мурашко подошел простоватого вида пятидесятилетний человек, председательствовавший в комиссии при прохождении сметы Дирижаблестроя.

— Ну, меня, брат, из Совнаркома взяли...

— Куда же это?..

— Да опять в ЦК. Я к тому, что придется, брат, ко мне наведаться... Дирижаблестрой-то уже перестал быть «строем»...

В пламенеющем небе — последнее видение серебристого «СССР—1».

## XVII

Из здания ЦК ВКП(б) на Старой площади, 4, вышел сухощавый человек. Мгновение постоял, потом направился к длинному ряду автомобилей, ожидавших против подъезда.

Машина двинулась...

— Москва? — спросил Вася.

— Периферия...

Пауза.

— А именно сказать, кто мы, Алексей Кузьмич?..

— Высотные бомбовозы... Вот кто мы... Завод номер...

За окнами летела Москва.

# КОММЕНТАРИИ



## КОНАРМИЯ

Цикл рассказов «Конармия» родился на основе дневниковых записей, сделанных Бабелем в период его пребывания в 1-й Конной армии (1920 г.) в качестве корреспондента газеты «Красный кавалерист» (псевдоним К. Лютов).

Публикуемые с 1923 по 1926 гг. в московских, одесских и ленинградских периодических изданиях под рубриками «Из книги «Конармия», «Из дневника», «Миниатюры» рассказы И. Бабеля впервые вышли в Госиздате отдельной книгой в конце мая 1926 г. В нее вошло тридцать четыре рассказа. По свидетельству редактора книги Д. Фурманова Бабель предполагал включить в «Конармию» пятьдесят названий: «Глав до двадцати в общем написано, напечатано; двадцать написано, но не напечатано, эти просто будут звеньями, цементом для других. Десять пишутся — эти главы большие, серьезные, в них будет положительное о коннице, они должны будут восполнить пробел... Всего пятьдесят глав». После обсуждения «Конармии» в Доме печати, где в адрес автора были высказаны критические замечания, Бабель, по словам Фурманова, сказал следующее: «Что я видел у Буденного — то и дал. Вижу, что не дал я там вовсе политработника, не дал вообще многого о Красной Армии, дам, если сумею, дальше» (Дм. Фурманов. Из дневника. «Молодая гвардия». М., 1934, с. 85, 86). Книга Бабеля стала заметным событием литературной жизни первого послереволюционного десятилетия. «Конармия»,— писал Н. Берковский,— одно из значительных явлений в художественной литературе о гражданской войне» (Новый мир, 1925, № 7, с. 153). В. Полянский отмечал, что в «Конармии», как и в «Севастопольских рассказах» Л. Толстого, «героем в конце концов является «правда» ...поднявшейся крестьянской стихии, поднявшейся на помощь пролетарской революции, коммунизму, хотя бы и своеобразно понимаемому» (В. Полянский. Вопросы современной критики. М.— Л., 1927, с. 279—280).

В 30-е годы Бабель публикует еще два рассказа, тематически связанные с циклом «Конармия»,— «Аргамак» и «Поцелуй», первый из которых включается автором в очередное (7-е) издание книги. Однако многим набросками, сделанным на основе «конармейского» дневника, не суждено было обрести законченную художественную форму (см.: «Из планов

и набросков к «Конармии».— Литературное наследство. М., 1965, т. 74, с. 490—499).

С 1926 по 1933 гг. «Конармия» выдержала восемь изданий, кроме того, включалась автором в последний прижизненный сборник избранной прозы «Рассказы» (1936). В настоящем издании цикл печатается по тексту этого издания. В комментариях приводятся первые публикации и авторские даты, если таковые имелись. Купюры, вызванные конъюнктурой, восстановлены.

Переход через Збруч.— Газ. «Правда», 1924, 3 августа. Датировано: *«Новоград-Волынск, июль 1920 г.»*

Костел в Новограде.— Газ. «Известия Одесского Губисполкома, Губкома КП(б)У и Губпрофсовета»[1], 1923, 18 февраля.

Стр. 9. *...и горе тебе, Речь Посполитая, горе тебе, князь Радзивилл, и тебе, князь Сапега, вставшие на час!* — Речь Посполитая (Rzecpospolita Polska) — республика Польская. С 1569 по 1795 гг. официальное название польско-литовского государства. Возрождено в буржуазной Польше в 1918—1939 гг.

*Радзивилл, Сапега* — представители старинных польских княжеских родов.

Письмо.— Газ. «Известия». Одесса, 1923, 11 февраля. Датировано: *«Новоград-Волынск, июнь 1920 г.»*, дата впоследствии снята.

Стр. 11. *...нахожусь в красной Конной армии товарища Буденного.*— Буденный Семен Михайлович (1883—1973) — в 1919—1920 гг. командарм 1-й Конной армии.

Начальник конзапаса.— Журн. «Леф», 1923, № 4 под названием «Дьяков». Датировано: *«Белев, июль 1920 г.»*

Стр. 15. *Начальник штаба Ж.*— Имеется в виду К. К. Жолнаркевич.

Пан Аполек.— Журн. «Красная новь», 1923, № 7.

Солнце Италии.— Журн. «Красная новь», 1924, № 3 под названием «Сидоров». Датировано: *«Новоград, июль 1920 г.»*

Гедали.— Журн. «Красная новь», 1924, № 4. Датировано: *«Житомир, июнь 1920 г.»*

Стр. 29. *...томы Ибн-Эзра.*— Ибн-Эзра (Авраам бен-Меир, 1093—1167) — средневековый еврейский богослов, математик, астроном и поэт.

*...Диккенс, где была в тот вечер твоя тень?* — Имеется в виду роман Чарлза Диккенса (1812—1870) «Лавка древностей» (1841).

Стр. 30. *...Я учил когда-то Талмуд, я люблю комментарии Рашэ и книги Маймонида.*— Талмуд (учение, изъяснение) — основной памятник иудаизма, многотомное собрание разнородных сведений по теософии, этике, истории, медицине. Рашэ (точнее: Раши) — под этим именем известен один из выдающихся комментаторов Библии и Талмуда рабби Соломон Исхак (1040—1105). Маймонид или Рамбам (настоящее имя: Моисей

---

[1] Далее сокращенно — Газ. «Известия». Одесса.

бен-Маймон бен-Иосиф, 1135—1204) — еврейский средневековый философ, вероучитель и врач, автор известных книг «Мишне-Тора» и «Морэ Невухим» («Путеводитель блуждающих»).

Мой первый гусь.— Газ. «Известия». Одесса, 1924, 4 мая. Датировано: *«Июль 1920 г.»*

Стр. 32. *— Ты из киндербальзамов,— закричал он, смеясь.*— Киндербальзам (нем.) — буквально: детский бальзам. Здесь в ироническом смысле: маменькин сынок.

Стр. 33. *...чтобы прочесть в «Правде» речь Ленина на Втором конгрессе Коминтерна.*— Имеется в виду сделанный В. И. Лениным 19 июля 1920 года «Доклад о международном положении и основных задачах коммунистического интернационала».— Газ. «Правда», 1920, 24 июля.

Рабби.— Журн. «Красная новь», 1924, № 1.

Стр. 35. *В страстном здании хасидизма вышиблены окна...*— Хасидизм (от древнеевр. хасид — благочестивый) — одно из религиозно-мистических учений в иудаизме, распространенное в Польше и на Украине.

Стр. 36. *...юношу с лицом Спинозы.*— Спиноза Бенедикт (1632—1677) — голландский философ.

Путь в Броды.— Газ. «Известия». Одесса, 1923, 17 июня (литературно-научное приложение к № 1060). Датировано: *«Броды, август 1920 г.»*

Учение о тачанке.— Газ. «Известия». Одесса, 1923, 23 февраля.

Смерть Долгушова.— Газ. «Известия». Одесса, 1 мая. Датировано: *«Броды, август 1920 г.»*

Комбриг два.— Журн. «Леф», 1923, № 4 под названием «Колесников». Датировано: *«Броды, август 1920 г.»*

Сашка Христос.— Журн. «Красиая новь», 1924, № 1.

Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча.— Журн. «Шквал». Одесса, 1924, № 8 с посвященнем Д. А. Шмидту, «начдиву Второй Червоной».

*Шмидт Дмитрий Аркадьевич* (наст. фамилия: Гутман, 1896—1937) — член РСДРП(б) с 1915 г., участник гражданской войны на Украние Д. А. Шмидт был дружен с Бабелем и поэтом Э. Багрицким. Шмидту Багрицкий посвятил либретто оперы «Дума про Опанаса».

Кладбище в Козине.— Газ. «Известия». Одесса, 1923, 23 февраля.

Прищепа.— Газ. «Известия». Одесса, 1923, 17 июня (литературно-научное приложение к № 1060). Датировано: *«Демидовка, июль 1920 г.»*

История одной лошади.— Газ. «Известия». Одесса, 13 апреля под названием «Тимошенко и Мельников». Датировано: *«Радзивиллов, июль 1920 г.»*

Споры о «Конармии» в литературных и военных кругах побудили Бабеля прн подготовке первого издания «Конармии» заменить подлинные фамилии на вымышленные. Так Мельников стал Хлебниковым, Тимошен-

ко — Савицким (см. об этом письмо И. Бабеля от 19.XI.1924 г. в 1 томе наст. изд.).

К о н к и н.— Журн. «Красная новь», 1924, № 3. Датировано: *«Дубно, август 1920 г.»*

Стр. 66. *...ведет в штаб Духонина для проверки документов.*— Выражение эпохи гражданской войны, означающее: вести на расстрел. Духонин Н. Н. (1876—1917) — белогвардейский генерал. Убит солдатами.

Б е р е с т е ч к о.— Журн. «Красная новь», 1924, № 3. Датировано: *«Берестечко, август 1920 г.»*

Стр. 70. *...топтали вековую дорогу к хасидскому хедеру, и старухи по-прежнему возили невесток к цадику.*— Хедер (от д р е в е е в р. комната) — еврейская начальная школа для обучения мальчиков основам иудаизма. Цадик — хасидский святой, праведник.

С о л ь.— Газ. «Известия». Одесса, 1923, 25 ноября (литературное приложение к № 1195).

В 1925 году по сценарию Бабеля рассказ был экранизирован на Одесской кинофабрике. Сюжет рассказа послужил также основой для одноактных опер, написанных современными советскими композиторами (Б. Парсаданян, Н. Богословский). Печатается в редакции 1926 г.

В е ч е р.— Журн. «Красная новь», 1925, № 3 под названием «Галин». Датнровано: *«Ковель, 1920 г.»*

А ф о н ь к а Б и д а.— Журн. «Красная новь», 1924, № 1.

У с в я т о г о В а л е н т а.— Журн. «Красная новь», 1924, № 3. Датировано: *«Берестечко, август 1920 г.»*

Э с к а д р о н н ы й Т р у н о в.— Журн. «Красная новь», 1925, № 2.

Прототипом героя рассказа был в определенной мере командир 34 кавполка 6 кавдивизии К. Трунов (см. очерк Бабеля «Побольше таких Труновых!» в 1 томе наст. изд.).

Стр. 91. *Евреи спорили о Каббале...*— Каббала (от д р е в н е е в р. предание) — мистическое учение и мистическая практика в иудаизме.

И в а н ы.— Журн. «Русский современник», 1924, № 1.

Стр. 96. *Фармазонщик он, а не глухарь...*— Фармазонщик — искаженное от французского franc mason (вольный каменщик). Употреблялось в значении безбожник, вольнодумец, здесь — симулянт.

П р о д о л ж е н и е и с т о р и и о д н о й л о ш а д и.— Журн. «Красная новь», 1924, № 3 под названием «Тимошенко и Мельников». Датировано: *«Галиция, сентябрь 1920 г.»*

В д о в а.— Газ. «Известия». Одесса, 1923, 15 июля (литературно-художественное приложение к № 1084), под названием «Шевелев». Датировано: *«Галиция, август 1920 г.»*

З а м о с т ь е.— Журн. «Красная новь», 1924, № 3. Датировано: *«Сокаль, сентябрь 1920 г.»*

И з м е н а.— Газ. «Известия». Одесса, 1923, 20 марта.

Ч е с н и к и.— Журн. «Красная новь», 1924, № 3.

П о с л е  б о я.— Журн. «Прожектор», 1924, № 20. Датировано: *«Галиция, сентябрь 1920 г.»*

Стр. 124. ...— *Значит, ты молокан?* — Молокан — член религиозной секты, возникшей в России во второй половине XVIII века. Молокане проповедовали нравственное совершенствование и отрицали церковные обряды.

П е с н я.— Журн. «Красная новь», 1925, № 3 под названием «Вечер». Датировано: *«Сокаль, VIII, 1920 г.»*

С ы н  р а б б и.— Журн. «Красная новь», 1924, № 1.

Стр. 128. *...мы увидели свитки Торы...*— Тора (учение, закон) — традиционное еврейское название «Пятикнижия» Моисея.

Стр. 129. *...страницы «Песни Песней»...*— «Книга Песнь Песней Соломона» — раздел Ветхого Завета в Библии, собрание лирических песен на языке иврит.

А р г а м а к.— Журн. «Новый мир», 1932, № 3. Датировано: *«1924—1930».*

П о ц е л у й.— Журн. «Красная новь», 1937, № 7. При жизни автора в цикл «Конармия» не включался. По свидетельству вдовы Бабеля, А. Н. Пирожковой, писатель намеревался это сделать в очередном издании «Конармии», но не успел.

## РАССКАЗЫ 1925—1938 гг.

Этот раздел составлен из произведений, большая часть которых, по замыслу писателя, должна была войти в циклы рассказов «История моей голубятни» и «Великая Криница». Некоторые сюжеты так или иначе примыкают к «Одесским рассказам». Все произведения расположены в соответствии с хронологическим принципом, по первым публикациям. Рассказы, вошедшие в издание: И. Б а б е л ь. Рассказы. М., Гослитиздат, 1936,— печатаются по тексту этого сборника и специально не оговариваются.

И с т о р и я  м о е й  г о л у б я т н и.— «Красная газета». Л., 1925, 18, 19, 20 мая. Вечерний выпуск. Датировано: *«1925 г.»*

В примечании к журнальной публикации сообщалось, что рассказ является началом автобиографической повести (Красная новь, 1925, № 4). Бабель работал над книгой рассказов о детстве до последних дней, называя ее в письме к родным «заветным трудом». Предполагалось, что готовая рукопись будет сдана в издательство осенью 1939 года.

Стр. 144. *...учился в Воложинском ешиботе.*— Ешибот — еврейская духовная семинария.

Стр. 145. *...и других польских инсургентов.*— Инсургент (л а т.) — повстанец, участник восстания.

Стр. 146. *Так в древние времена Давид, царь иудейский, победил Голиафа.*— По библейскому преданию второй царь Иудеи Давид

убил филистимлянина — великана Голиафа (Первая книга Царств, гл. 17).

П е р в а я л ю б о в ь.— «Красная газета». Л., 1925, 24 и 25 мая. Вечерний выпуск. Авторская дата — *1925 г.*

Бабель считал рассказ продолжением «Истории моей голубятни» и в письме к Горькому от 25 июня 1925 г. сообщал, что он появится в альманахе «Красная новь» (№ 1. М.— Л., 1925), «выходящем на днях», то есть в конце июня.

Стр. 157. *...заберете мой карбач и уедете...*— Карбач — здесь: карбованец (у к р.) — рубль.

С т а р а т е л ь н а я ж е н щ и н а.— «Перевал». Литературно-художественный альманах. Сборник шестой. М.— Л., 1928. Печатается по этому изданию.

К а р л - Я н к е л ь.— Журн. «Звезда», 1931, № 7.

Стр. 163. *Примакову — в дивизию червонного казачества.*— Примаков Виталий Маркович (1897—1937) — советский военачальник, в гражданскую войну командовал конным полком, дивизией и конным корпусом Червонного казачества.

Стр. 164. *...как памятник дюку де Ришелье.*— Ришелье А. Э. дю Плесси (1766—1822) — градоначальник Одессы и генерал-губернатор Новороссийского края. Памятник в Одессе — работа известного русского скульптора И. Мартоса (1754—1835).

П р о б у ж д е н и е.— Журн. «Молодая гвардия», 1931, № 17—18 с подзаголовком «Из книги «История моей голубятни». Авторская дата — *1930 г.*

Сообщая матери о появлении рассказа в журнале, Бабель предостерегал от буквального восприятия его сюжетов (см. письмо от 14 октября 1931 г. в 1 томе наст. изд.). Подробнее об автобиографическом цикле см.: С. П о в а р ц о в. Мир, видимый через человека.— Журн. «Вопросы литературы», 1974, № 4.

Стр. 171. *...Из Одессы вышли Миша Эльман, Цимбалист, Габрилович, у нас начинал Яша Хейфец.*— Известные американские скрипачи, ученики Л. Ауэра. Уроженцы России.

*Загурский содержал фабрику вундеркиндов...*— О прототипе Загурского, известном музыканте-педагоге П. С. Столярском (1871—1944) см.: У. С п е к т о р. Ученик Столярского — Бабель.— Журн. «Музыкальная жизнь», 1985, № 18.

*...к профессору Ауэру в Петербург.*— Ауэр Л. (1845—1930) — известный скрипач и дирижер, профессор Петербургской консерватории с 1866 по 1917 гг.

Стр. 173. *...Знаете ли вы, кто такое был Бенвенуто Челлини?* — Челлини Бенвенуто (1500—1571) — известный итальянский скульптор, ювелир и писатель.

В п о д в а л е.— Журн. «Новый мир», 1931, № 10 с подзаголовком «Из книги «История моей голубятни». Авторская дата — *1929 г.*

Стр. 179. *...Синедрион вынуждал умирающего покаяться...*— Синедрион — верховный суд в Иерусалиме.

*...Сюда же я припутал Рубенса.*— Рубенс Питер Пауэл (1577—1640) — фламандский живописец.

Стр. 182. *...на Судный день и на Рош-Гашоно.*— Судный день по библейскому преданию — день Страшного суда над грешниками. Раш-Гашоно или Рош Ашана (Рош га-Шана) — один из главных еврейских религиозных праздников, традиционно отмечаемый осенью. Буквально означает: начало года.

Стр. 183. *...О римляне, сограждане, друзья...*— Здесь и далее фрагменты из трагедии Уильяма Шекспира (1564—1616) «Юлий Цезарь» в переводе И. Козлова.

Гапа Гужва.— Журн. «Новый мир», 1931, № 10 с подзаголовком «Первая глава из книги «Великая Криница». Авторская дата — *«весна 1930 г.»* Печатается по этому изданию.

В 1930—1931 гг. Бабель неоднократно бывал в местах так называемой «сплошной» коллективизации, например, в Бориспольском районе под Киевом, в селе Великая Старица, оставившем, как он писал родным, «одно из самых резких воспоминаний за всю жизнь». В результате этих поездок родился замысел книги о коллективизации деревни. Во избежание недоразумений писатель в новой работе изменил подлинное название села. Подробнее см. в статье: И. Смирин. И. Бабель в работе над книгой о коллективизации.— Филологический сборник, вып. VI—VII. Алма-Ата, 1967.

Конец богадельни.— Журн. «30 дней», 1932, № 1 с подзаголовком «Из одесских рассказов». Авторская дата: *1920—1929*. Печатается по тексту: И. Бабель. Рассказы. М., «Федерация», 1932.

Стр. 195.— *Жизнь — смитье...*— Смитье *(укр.)* — дерьмо.

Дорога.— Журн. «30 дней», 1932, № 3. Датировано: *1920—1930*. Печатается по тексту журнала.

Стр. 204. *Это был Иегуда Галеви...*— Галеви И. (1080—1142) — еврейский средневековый поэт.

Стр. 205. *Это была библиотека Марии Федоровны...*— Мария Федоровна — жена русского царя Александра III.

*...подарком султана Абдул-Гамида.*— Абдул-Хамид II (1842—1918) — турецкий султан с 1876 по 1909 гг.

Стр. 206. *Он поговорил с Урицким.*— Урицкий Моисей Соломонович (1873—1918) — активный участник Октябрьской революции, председатель петроградской ЧК.

Иван-да-Марья.— Журн. «30 дней», 1932, № 4. Датировано: *1920—1928*.

Впервые рассказ анонсирован журналом «Новый мир», 1931, № 11. Малышев С. В. (1877—1938) — видный советский хозяйственник, «красный купец» первых пятилеток.

Стр. 209. *...вязали у порога чулки Гулливера.*— Гулливер — герой

известного сатирического романа Джонатана Свифта (1667—1745) «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Люмюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей» (1726).

Стр. 210. *Советским главнокомандующим был назначен Вацетис.*— Вацетис Иоким Иокимович (1873—1938) — советский военачальник, участник гражданской войны.

Г ю и д е М о п а с с а н.— Журн. «30 дней», 1932, № 6. Датировано: *1920—1922.*

Оценку Бабелем своего рассказа см. в статье: О л ь н и к. Писатель И. Бабель в «Смене».— Смена, 1932, № 17—18.

Стр. 221. *...где давали «Юдифь» с Шаляпиным.*— «Юдифь» — опера русского композитора Александра Николаевича Серова (1820—1871).

Стр. 223. *...и стал читать книгу Эдуарда де Мениаль — «О жизни и творчестве Гюи де Мопассана».*— В русском переводе книга вышла в 1910 г.

*...двоюродной сестры Флобера.*— Флобер Гюстав (1821—1880) — французский писатель.

Н е ф т ь.— Вечерняя Москва, 1934, 14 февраля, № 37.

В машинописном экземпляре рассказа (ЦГАЛИ, ф. 622, оп. 1, ед. хр. № 42) после слов «обойдемся без Макса и Морица» в тексте следует: «Я этих евреев с их семейственностью знаю — он сам прибежит, как свинья на веревочке».

После слова «хахали» в тексте следует: «Потом я позвонила Мирончику, чтобы прислал машину, у него хватило такта не соваться с Фордом, приехал новенький Паккард. Мы...» После слов «дом наш, оказывается» следует: «Обдираловыми и Разуваловыми так добротно построен, что...»

У л и ц а Д а н т е.— Журн. «30 дней», 1934, № 3.

Критика положительно оценила рассказ: «Незаслуженно мало у нас говорили о разбросанных по журналам «Парижских рассказах» Бабеля. В «Улице Данте» — перед нами живой Париж, с его страстями, живыми людьми, повседневным бытом. Бабель умел найти тему и умел ее понять».— А. Г р а н. О заграничной и советской тематике.— Литературная газета, 1934, 12 ноября, № 151.

Стр. 230. *...в другую субботу слушала «Богему»...*— «Богема» (1895) — опера итальянского композитора Джокомо Пуччини (1858—1924).

Стр. 234. *Здесь жил Дантон...*— Дантон Жорж Жак (1759—1794) — деятель Великой французской революции.

Машинописный экземпляр рассказа с подзаголовком «из парижских рассказов» хранится в ЦГАЛИ. После слов «с этой мыслью я уехал в Марсель» в тексте следует: «Там увидел я родину свою — Одессу, какою она стала бы через двадцать лет, если бы ей не преградили прежние пути, увидел неосуществившееся будущее наших улиц, набережных и кораблей» (ЦГАЛИ, ф. 622, оп. 1, ед. хр. № 42).

Д и  Г р а с с о.— Журн. «Огонек», 1937, № 23. Печатается по тексту журнала.

Стр. 235. *...на гастроли Ансельми и Тито Руффо...*— Ансельми Джузеппе (1876—1929) — итальянский оперный певец и композитор. Титта Руффо (1877—1953) — итальянский оперный певец.

*...нам пообещали Шаляпина...*— Шаляпин Федор Иванович (1873—1938).

Грассо Д. (1873—1930) — знаменитый итальянский трагик, уроженец Сицилии. В рассказе Бабеля, по-видимому, описывается спектакль по народной пьесе «Feudalismo», где актер, игравший пастуха, перегрызает горло своему сопернику.

С у л а к.— Журн. «Молодой колхозник», 1937, № 6. Печатается по этому изданию.

С у д.— Журн. «Огонек», 1938, № 23 с подзаголовком «Из записной книжки». Печатается по этой публикации.

Впервые рассказ анонсирован журналом «30 дней», 1931, № 10—11.

М о й  п е р в ы й  г о н о р а р.— Впервые посмертно в альманахе «Воздушные пути», кн. 3, Нью-Йорк, 1963. Печатается по автографу, хранящемуся в частном архиве. Датировано: *1922—1928.*

По свидетельству А. Н. Пирожковой в основу сюжета положена история, рассказанная автору его давним знакомым П. И. Сторицыным (Коганом). Вместе с другими рассказами «Мой первый гонорар» был отвергнут редколлегией альманаха «Год XVI». В фонде альманаха (ЦГАЛИ, ф. 622, оп. 1, ед. хр. 42) сохранился машинописный экземпляр рассказа «Справка», представляющего вариант «Моего первого гонорара». Впервые рассказ «Справка» опубликован в кн.: И. Б а б е л ь. Избранное. Кемерово, 1966.

Ф р о и м  Г р а ч.— Альманах «Воздушные пути», кн. 3, Нью-Йорк, 1963.

5 мая 1933 г. Бабель сообщал родным из Сорренто, что А. М. Горький взял у него для альманаха «Год XVI» трн новых рассказа. Это «Нефть», «Улица Данте» и «Фроим Грач». Все рассказы редколлегией альманаха (А. Фадеев, В. Ермилов, В. Кирпотин, П. Павленко) были отвергнуты. Общее мнение редколлегии выразилось в резолюции Фадеева на обороте последней страницы рассказа «Фроим Грач»: «Рассказы, по-моему, неудачны, и лучше будет для самого Бабеля, если мы их не напечатаем. Ал. Фдеев. 6/VI—33 г.» — ЦГАЛИ, ф. 622, оп. 1, ед. хр. 26. Печатается по тексту машинописи, хранящейся в ЦГАЛИ (ф. 622, оп. 1, ед. хр. 42).

З а к а т.—Литературная Россия, 1964, 20 ноября.

Подробнее об истории создания рассказа см.: Л. Л и в ш и ц. От «Одесских рассказов» к «Закату».— Памир. Душанбе, 1974, № 6. Печатается по автографу, хранящемуся в частном архиве. Последняя страница утеряна.

К о л ы в у ш к а.— Альманах «Воздушные пути», кн. 3, Нью-Йорк,

1963. Печатается по автографу, хранящемуся в частном архиве. Подзаголовок «Из книги «Великая Старица». Датировано: *«Весна 1930 г.»*

См. комментарии к рассказу «Гапа Гужва». Подробнее о рассказе см.: С. Поварцов. Рассказы И. Бабеля 30-х годов.— «Ученые записки МОПИ им. Н. К. Крупской», том 223; Советская литература, вып. 9. М., 1968.

## ПЬЕСЫ

Закат.— Журн. «Новый мир», 1928, № 2.

Написанная в 1926 г., пьеса вышла отдельным изданием два года спустя (М., «Круг», 1928). Бабель остался недоволен качеством издания: «грубейшие опечатки совершенно искажают смысл» (см.: письмо к А. М. Горькому от 29 февраля 1928 г. в 1 томе наст. изд.). Ошибки и опечатки в тексте оставались и во всех последующих публикациях пьесы. В настоящем издании «Закат» печатается по машинописному экземпляру, представленному в Главрепертком МХАТом-2 (ЦГАЛИ, ф. 656, оп. 1, ед. хр. 198). Пьеса была разрешена к постановке, но со значительными купюрами; например, целиком вычеркивалась сцена в синагоге и ряд важных по смыслу реплик. В письме к И. Л. и А. Г. Слоним от 23 октября 1927 г. Бабель писал, что не согласен с замечаниями Главреперткома и готов «снять пьесу с репертуара».

Впервые драма «Закат» поставлена режиссером В. Федоровым на сцене Бакинского рабочего театра (премьера — 23 октября 1927 г.). В роли Менделя Крика — арт. Н. Соколов. Сильной стороной спектакля стала его прямая антимещанская направленность; режиссера привлекла «социальная значимость пьесы». Как остросоциальную пьесу поставил «Закат» и режиссер А. Грипич в Одесском русском драматическом театре (премьера — 25 октября 1927 г.). В интервью одесскому еженедельнику «Театр-клуб-кино» (1927, № 18) Грипич назвал «Закат» «крепкой драматургической постройкой», которую надо «взять на крепкий зуб постановочного приема». Решенный в стиле «гиперболического реализма», спектакль звучал как современная трагедия об отцах и детях. 1 декабря 1927 г. состоялась премьера «Заката» в Одесском украинском театре (Держдрама). По свидетельству критиков режиссер В. Вильнер поставил спектакль «в бытовом разрезе».

В Москве постановку «Заката» осуществил режиссер Б. Сушкевич на сцене МХАТ-2 (премьера — 28 февраля 1928 г.). Театр акцентировал философскую проблематику драмы, несмотря на стремление режиссера вести спектакль в сатирическом плане борьбы с мещанством. Критика отмечала внутреннюю противоречивость спектакля.

Подробнее о пьесе см.: Л. Я. Лившиц. Драматургия И. Э. Бабеля.— «Литературная Одесса 20-х годов». Тезисы межвузовской научной конференции. Одесса, 1964; С. Поварцов. История создания, проб-

лематика и сценическая судьба драмы И. Бабеля «Закат».— Проблемы русской литературы. Омск, 1974. По мотивам пьесы и двух одесских рассказов осуществлена постановка музыкального спектакля «Закат» в Рижском русском драматическом театре (премьера — 31 марта 1987 г.). Свою версию пьесы предложил Московский академический театр им. В. Маяковского (премьера — 15 января 1988 г.).

Стр. 308. *...Вирсавию, жену Урии-военачальника.*— Вирсавия или Бат-Шеба — в Библии дочь Елиама, жена Урии Хеттеянина. После гибели мужа стала женой царя Давида и родила ему сына (Вторая книга Царств, гл. II).

Стр. 315. *Иисус Навин, остановивший солнце...*— Иисус Навин или Иисус Христос, он же Сын Божий — мифический основатель христианства.

«Мария».— Журн. «Театр и драматургия», 1935, № 3. Печатается по изданию: И. Бабель. Мария. М., Гослитиздат, 1935.

Бабель читал пьесу в Литературном музее 24 февраля 1934 года. Присутствовавший на вечере А. Гладков записал в дневнике: «Мария» очень трудна будет для театра своей простотой и лаконизмом. Не знаю, правомерно ли такое сравнение, но мне захотелось сказать, что она почти так же трудна, как трудны для сцены маленькие драмы Пушкина» (А. Гладков. Из попутных записей.— Вопросы литературы, 1976, № 9, с. 188).

Стр. 325. *Я разбиваю семеновскую трагедию...*— Семеновская трагедия — волнения солдат Семеновского полка в октябре 1820 г.

Стр. 328. *...Распутин и немка Алиса, погубившая династию...*— Распутин — Новых Григорий Ефимович (1872—1916) — аферист при дворе Николая Второго. Алиса — жена царя Аликс Виктория Елена Бригитта Луиза Беатриса Гессен — Дармштадтская (Александра Федоровна).

Стр. 331. *Феликс Юсупов был бог...*— Юсупов Ф. Ф. (1887—1967) — русский князь, участник убийства Распутина.

*Фредерикс был дружен с князем Сергеем...*— Фредерикс В. Б. (1838—1927) — граф, министр двора Николая Второго.

## ВОСПОМИНАНИЯ, ПОРТРЕТЫ

В Одессе каждый юноша...— «Литературная газета», 1962, 1 января.

Написано в 1923 г. как предисловие к коллективному сборнику начинающих одесских писателей. Издание не было осуществлено. По словам К. Паустовского, этот текст «нашел среди своих бумаг один из тех, о ком писал Бабель» (К. Паустовский. Книга скитаний. М., 1964, с. 35). Печатается по тексту первой публикации.

⟨Фурманов⟩.— Журн. «Москва», 1963, № 4.

Выступление Бабеля 15 марта 1936 г. в Союзе писателей на вечере,

посвященном десятилетию со дня смерти Д. Фурманова. Печатается по этой публикации.

Стр. 359. *Вместе с одним французским писателем...*— Имеется в виду Андрэ Мальро (1901—1976).

Багрицкий.— Альманах. «Эдуард Багрицкий». Под редакцией В. Нарбута. М., 1936. Печатается по этой публикации.

М. Горький.— Журн. «СССР на стройке», 1937, № 4. Печатается по тексту журнала.

Об этом номере журнала, полностью посвященного Горькому, «Литературная газета» (1937, 20 июля, № 39) писала: «И. Бабель, составивший план номера, написавший блестящую передовую и мастерски смонтировавший фотоиллюстративный материал горьковского номера, показал себя талантливейшим журналистом».

Начало.— «Литературная газета», 1937, 18 июня. В тот же день под заголовком «Из воспоминаний» в газете «Правда».

Основой для очерка явилось интервью Бабеля корреспонденту «Комсомольской правды» С. Трегубу (см.: «Учитель. Беседа с тов. И. Бабелем».— Комсомольская правда, 1936, 27 июля). О некоторых разночтениях в интервью и очерке рассказано в кн.: С. Трегуб. Спутники сердца. М., 1964. Печатается по тексту тринадцатого альманаха «Год XXI». М., 1938.

⟨Утесов⟩.— Журн. «Москва», 1964, № 9.

Написано в 1939 г. в качестве предисловия к рукописи Л. Утесова «Записки актера». Перед самым выходом книги, в связи с арестом И. Бабеля, предисловие было изъято. Утесов Леонид Осипович (1895—1982) — советский эстрадный певец, народный артист СССР. Родился в Одессе.

Печатается по тексту первой публикации.

## СТАТЬИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ

⟨Выступление на заседании секретариата ФОСП⟩.— Журн. «Памир». Душанбе, 1974, № 6. Печатается по тексту журнала.

Работа над рассказом.— Журн. «Смена», 1934, № 6 с подзаголовком «Из беседы с начинающими писателями».

Стр. 378. *Раньше я как бы декламировал фразу за фразой, проверял все на слух...*— О методе работы Бабеля см. рассказ И. Л. Лившица в записи Ал. Лесса (Ал. Лесс. Короткие рассказы.— «Вопросы литературы», 1968, № 1, с. 236). Печатается по тексту журнала.

*А вот Илья Эренбург любит писать на вокзале...*— Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967) — советский писатель.

*...в кацавейке Баранцевича, Рышкова или Потапенко.*— Баранцевич К. С. (1851—1927), Рышков В. А. (1862—1924), Потапенко И. Н. (1856—1929) — русские писатели.

Речь на Первом Всесоюзном съезде советских писателей.— Литературная газета, 1934, 24 августа под заголовком «Содействовать победе большевистского вкуса». Полный текст выступления Бабеля с авторской правкой печатается: газ. «Правда», 1934, № 234, 25 августа.

Стр. 381. *Если сказать словами Зощенко...*— Зощенко Михаил Михайлович (1895—1958) — советский писатель.

Стр. 382. *...должны быть написаны слова Соболева...*— Соболев Леонид Сергеевич (1898—1971) — советский писатель.

⟨О работниках новой культуры⟩. — Впервые в сокращении «Литературная газета», 1936, 31 марта с подзаголовком «Из речи тов. И. Бабеля». Печатается по тексту газеты.

Стр. 383. *...которым начинать с Джойса и Пруста невозможно.*— Джойс Джеймс (1882—1941) — ирландский писатель; Пруст Марсель (1871—1922) — французский писатель. Книги этих художников написаны сложным методом («поток сознания»).

Стр. 386. *Здесь было выступление Серебрянского...*— Серебрянский М. И. (1900—1941) — советский литературный критик.

*Книги Фурманова и Островского...*— Романы «Чапаев», «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей».

Путешествие во Францию.— Журн. «Пионер», 1937, № 3. Печатается по тексту журнала.

⟨О творческом пути писателя⟩.— Журн. «Наш современник», 1964, № 4. Печатается по этой публикации.

Стенограмма беседы И. Бабеля с участниками вечера в Союзе писателей 28 сентября 1937 г. Встреча проводилась по инициативе журнала «Литературная учеба». Бабель читал присутствующим рассказы «Ди Грассо» и «Справка». В стенограмме выступление заканчивается словами: «Что касается нашей дальнейшей работы, то в следующий раз мы сделаем так: нужно отправляться от конкретного, чтобы не получилось «взгляд и нечто». Я прочту, и тогда у нас пойдет бой. О подросших своих детях я не буду говорить, пусть они живут, как хотят, они уже большие, а тут я буду драться, как лев» (ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 17, ед. хр. № 57).

## КИНОСЦЕНАРИИ

Беня Крик.— Журн. «Красная новь», 1926, № 6 с примечанием редакции: «Предлагаемая вниманию читателя вещь представляет собой киноповесть, сценарий для кино. В основу его взяты «Одесские рассказы» И. Бабеля». Одновременно в одесском журнале «Шквал» (1926, № 22—27) как «кино-роман» под названием «Карьера Бени Крика». Текст сценария написан в расчете на эстетику немого кино, о чем прежде всего свидетельствуют надписи, выделенные крупным шрифтом. В 1926 г. «Беня

Крик» вышел отдельным изданием в издательстве московской артели писателей «Круг». Печатается по этой публикации.

Отмечая выпуклость и выразительность художественных образов Бабеля, критика в то же время выражала опасения по поводу определенной романтизации анархической натуры главного героя, что было нежелательно «в пору борьбы с бандитизмом» (см. рецензию А. Дермана в журнале «Книга и профсоюзы», 1927, № 3—4). Сценарий Бабеля привлек внимание кинематографистов. Известно, что С. Эйзенштейн собирался снимать «Беню Крика» на первой кинофабрике Совкино, но ввиду изменившейся ситуации Бабель передал сценарий на одесскую фабрику ВУФКУ, где постановку фильма осуществил режиссер В. Вильнер. «Беня Крик» вышел на экран в январе 1927 г. «Мне как постановщику,— заявил режиссер корреспонденту одесской газеты в день премьеры фильма,— приходилось все время отделываться от воздействия насыщающих одесский воздух романтических легенд о «благородном налетчике» Мишке Япончике и ориентироваться на необходимость затушевывания какой бы то ни было бандитской героики... Мы стремились уйти не только от романтики, но также лишить картину выдвинутого на первый план героя» («Вечерние Известия». Одесса, 1927, 18 января). В рецензии Альцеста подчеркивалось, что кампания против фильма, начавшаяся задолго до его рождения, была поспешной и необдуманной, лента Вильнера менее всего заслуживала упрека в апологии хулиганства и романтическом смаковании похождений известного налетчика («Вечерние Известия». Одесса, 1927, 19 января). «Фильм, снятый по сценарию Бабеля, разрушал легенду о Мишке Япончике»,— писал критик Д. Маллори в журнале «Советский экран» (1927, № 7). Главную роль в фильме сыграл артист Ю. Шумский.

По свидетельству А. Я. Каплера, на просмотре «Бени Крика» в Харькове присутствовал Л. Каганович и остался недоволен «романтизацией бандитизма». С этой формулировкой фильм вскоре был снят с проката. Бабель считал его неудачным. «Картина очень плохая»,— писал он в одном из писем к Т. В. Кашириной в январе 1927 г. На вопрос корреспондента, как он относится к снятию «Бени Крика», Бабель сказал: «Я считаю, что в постановке была допущена ошибка и с моей стороны и со стороны фабрики. С моей стороны — в том, что я не поставил непременным условием непосредственное свое участие в постановке, а фабрики — в том, что к этой постановке она меня не привлекла. Фильма поставлена не так, как я ее написал, написал я ее не так, как она поставлена. В дальнейшей своей работе в кино это условие мое ставится как обязательное» (М. Куш. У Бабеля.— «Вечерние Известия». Одесса, 1927, 2 апреля).

Блуждающие звезды.— Журн. «Кино-печать». М., 1926. Печатается по этой публикации.

Изданию сценария по известному роману Шолом-Алейхема предшествовали публикации под тем же названием. Печатая часть сценария, «Советский экран» (1926, № 7) писал: «Роман повествует о еврейском юноше из западного городка, бежавшем из дому за границу и став-

шем знаменитым скрипачом. Прославленный скрипач попадает в авантюристскую среду, чужое влияние губит его. И. Бабель, переделав этот роман в сценарий, очистил авантюру, выдвинул на передний план быт (еврейское местечко и гостиница в Замоскворечье), дал новых людей, сконцентрировал действие». С фрагментом сценария познакомила своих читателей газета «Кино» (1926, 16 марта). Кроме отдельного издания, Бабель дважды опубликовал «Блуждающие звезды» как «рассказ для кино», являющийся литературной обработкой третьей части сценария (см.: журн. «Шквал». Одесса, 1925, № 31; журн. «30 дней», 1926, № 1). По сценарию Бабеля на одесской кинофабрике ВУФКУ режиссером Г. Гричером-Чериковером в 1926 г. был снят фильм, появившийся на экране в начале 1927 г. Несмотря на аншлаги, лента не принесла Бабелю творческого удовлетворения. Рецензент журнала «Советское кино» (1927, № 5—6) писал о «Блуждающих звездах»: «Установка картины — на средний коммерческий стандарт, граничащий со штампом. Вместо корявой остроты — приглаженная красивость. Упор на так называемые «фотогеничные» кадры. И едва ли не самое характерное — счастливый конец, которого нет в сценарии Бабеля. Своей цели режиссер достиг,— вышла неплохая средняя коммерческая картина. Она будет идти, будет собирать зрителя, но Шолом-Алейхема и Бабеля в ней нет или почти нет».

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### *Киносценарии*

Китайская мельница (Пробная мобилизация).— Публикуется впервые по авторской машинописи. Сюжет сценария позаимствован из одноименного фельетона «Комсомольской правды». В 1927 г. по сценарию Бабеля режиссер А. Левшин снял кинокомедию, премьера которой состоялась в июле 1928 г. В фильме получила своеобразное комедийное преломление актуальная для тех лет тема китайской революции. Китайские мотивы встречаются также в произведениях современников Бабеля: в повести Вс. Иванова «Бронепоезд 14-69», пьесе С. Третьякова «Рычи, Китай!», рассказе А. Сорокина «Хао-Чан».

Старая площадь, 4.— Журн. «Искусство кино», 1963, № 5. Сценарий подготовлен к печати сотрудником Госфильмофонда СССР В. Деминым. Предисловие Л. Лившица. На титульном листе машинописи: «И. Бабель. «Старая площадь, 4». Сценарий звукового художественного фильма. Киностудия «Союздетфильм». 1939». Датировано: «20.IV.39». Печатается по этой публикации.

## СОДЕРЖАНИЕ

### КОНАРМИЯ

РАССКАЗЫ 1925—1938 гг.



ПЬЕСЫ



ВОСПОМИНАНИЯ, ПОРТРЕТЫ

СТАТЬИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ



КИНОСЦЕНАРИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ

*Киносценарии*

**Бабель И. Э.**

Б12 Сочинения. В 2-х т. Т. 2: Конармия; Рассказы 1925—1938 гг.; Пьесы; Воспоминания, портреты; Статьи и выступления; Киносценарии/Сост. и подгот. текста А. Пирожковой; Коммент. С. Поварцова; Худож. В. Векслер.— М.: Худож. лит., 1990.— 574 с.

ISBN 5-280-02453-8 (Т. 2)

Второй том составили произведения разных жанров: рассказы — цикл «Конармия», а также написанные в разные годы жизни с 1925 по 1938; пьесы, воспоминания, портреты, статьи, выступления, киносценарии.

Б $\frac{4702010206-459}{028(01)-92}$ без объявл. **ББК 84Р7**

Исаак Эммануилович
БАБЕЛЬ

---

СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ
Том второй

Редактор *Т. Аверьянова*

Художественный редактор *И. Сальникова*

Технический редактор *Л. Витушкина*

Корректоры *О. Стародубцева, И. Шевякова*

ИБ № 7069

Сдано в набор 04.08.89. Подписано в печать 12.03.90. Формат 84X108 1/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура „Тип Таймс". Печать офсетная. Усл. печ. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 120,96. Уч.-изд. л. 32,13. Тираж 100 000 экз. Изд. № 111-437. Заказ № 182. Цена договорная.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство „Художественная литература". 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Диапозитивы изготовлены в Можайском полиграфкомбинате В/О „Совэкспорткнига" Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93. Минская фабрика цветной печати. 220115, Минск, Корженевского, 20.